Рафаэль САБАТИНИ

ДИЛЕММА КАПИТАНА БЛАДА И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Свыше ста иллюстраций английских и американских художников

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рафаэль Сабатини
(1875–1950)

Рафаэль Сабатини

Дилемма капитана Блада и другие рассказы

Творческое объединение
Алькор

Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплётной компании
ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Санкт-Петербург
СЗКЭО

УДК 821.111.1
ББК 84(0)6-445
С12

Rafael Sabatini
The Outlaws of Falkensteig, 1899–1902
The Fortunes of Lal Faversham, 1901–1902
Stories of the French Revolution, 1900–1940
The Brethern of Main, 1920–1921

Перевод с английского
Льва Сергеевича Самуйлова

Первые 100 пронумерованных экземпляров
от общего тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Классический европейский переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.
Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.
Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.
6 бинтов на корешке ручной обработки.
Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmero
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока
с трех сторон методом механического торшонирования
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.
Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

С12 **Сабатини Рафаэль. Дилемма капитана Блада и другие рассказы.** — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2023. — 664 с.: ил.
РафаэльСабатини (1875–1950), английский писатель итальянского происхождения, широко известен как автор знаменитой трилогии «Одиссея капитана Блада», «Хроника капитана Блада» и «Удачи капитана Блада». В сборнике представлены тридцать шесть рассказов писателя, где капитан Блад появляется впервые. Они объединены в четыре цикла: «Хроники Заксенбергского королевства», «Лал Февершем, любимец Фортуны», «12 историй о Великой французской революции» и «Береговое братство». Все тексты книги даны в переводе Льва Сергеевича Самуйлова. Издание сопровождается иллюстрациями, позволяющими воочию увидеть героев Сабатини.

ISBN 978-5-9603-0970-7 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0971-4 (Кожаный переплет)
© СЗКЭО, 2023
© Самуйлов Л. С., перевод, 2023

Хроники Заксенбергского королевства

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ШУТА

I

Повернувшись спиной к веселой толпе придворных, заполнивших бальный зал Шверлингенского дворца, Куони фон Штоккен, заксенбергский Hofnarr[1], вышел на балкон и обратил свой взгляд на спящий внизу город. Затем устало вздохнул, и его насмешливое худое лицо приняло странное — полупечальное, полупрезрительное — выражение.

Там, на балконе, поставив локти на холодный камень и подперев подбородок руками, он мог дышать вольным, неосквернённым воздухом небес, мог позволить лицу принять абсолютно любое выражение, — словом, мог отдохнуть, если вообще есть отдых для того, чья душа полна горечи и злобы, а сердце едва не разрывается от скрытой в нем безнадежной страсти.

В последнее время этот остроумный дурак, к сожалению, сильно переменился. Прежде его шутки были изящными и веселыми и не задевали никого, кроме глупцов и спесивцев, ничего другого и не заслуживавших; теперь же, увы, он стал замкнутым и угрюмым, ходил вялый и молчаливый, погруженный в какие-то свои мысли, от которых только лишь временами пробуждался для того, чтобы дать выход вспышке ужасного и даже богохульного веселья, заставлявшего мужчин содрогаться, а женщин, полагавших шута одержимым бесами, осенять себя крестным знамением.

Его язык, с которого некогда слетали блистательные и искрометные bon-mots[2], с жадностью ловимые слушателями, теперь сравнивали — не так уж и несправедливо — с жалом какой-нибудь ядовитой гадины, и многие из тех, кому доводилось ощутить на себе колкость его саркастичных замечаний, усердно молились о том, чтобы король поскорее счел нужным подыскать вместо него другого шута.

Излюбленной мишенью для самых едких колкостей дурака как-то внезапно стал молодой французский аристократ, маркиз де Савиньон,

[1] Придворный шут (нем.)

[2] Остро́ты (фр.)

в честь fiançailles[1] которого с высокородной Луизой фон Лихтенау и был устроен нынешний fête[2]. Двор находил это странным, ибо красавец-француз всегда обращался с Куони любезно и доброжелательно.

Что же случилось? Одни утверждали, что Куони стареет; но это было не так, ведь ему едва ли исполнилось тридцать, а силой и проворством — пусть он и был шутом — с ним не сравнился бы ни один заксенбергский солдат. Другие насмешливо шептали, что он влюбился, и даже не могли представить себе, сколь близки были к истине!

Увы! Бедняга Куони! Десять лет он покрывал себя славой, расхаживая в этом наряде шута, но теперь вдруг словно начал стыдиться причудливой черной туники и остроконечного колпака с бубенцами и порой от затаенного стыда опускал голову; временами он с горечью проклинал в душе судьбу, которая сделала его забавой для придворных и, похоже, забыла, что он человек и что у него тоже есть сердце.

Стоя на балконе и бесцельно глядя то вверх, на звездное летнее небо, то вниз, на спящий город Шверлинген — в эти минуты его длинная, гибкая фигура купалась в потоке света, лившегося из находившегося за спиной окна, а слух терзали звуки музыки и пирушки, — несчастный шут ощущал, как не чувствовал никогда прежде до этой ночи, всю горькую низость своего положения. В агонии, тем более ужасной, что душу его наполняло отчаяние, он бросился на стоявшую в уголке каменную скамью и закрыл лицо руками. Так он просидел уже пару минут, сотрясаясь всем своим сильным телом от бурных рыданий, облегчить которые, возможно, помогли бы слезы, никак, увы, не шедшие из глаз, — когда раздавшиеся неподалеку шаги вынудили его усилием воли взять себя в руки.

В проеме открытой двери на какой-то миг возникла высокая, стройная девичья фигура, и, когда, подняв глаза, Куони заметил ее, он резко вскочил на ноги и обратил к девушке свое бледное лицо, на которое как раз таки и упал лившийся из комнаты свет, ясно обнаружив следы разразившейся в душе шута бури страданий.

При виде его перекошенного лица девушка вскрикнула от удивления.

— Что с тобой, Куони? — спросила она, выступив вперед. — Увидел призрак?

— Да, госпожа, — ответил шут тоном, преисполненным горчайшей печали. — Я и в самом деле увидел призрак — призрак счастья.

— И что, это виде́ние было так мучительно, как показывают твои лицо и тон? Лично я бы восприняла все иначе.

— Возможно, и я бы воспринял увиденное иначе, будь все это осязаемым и достижимым; но я увидел лишь призрак счастья — иными словами, отблеск чужих радостей, тень, словно специально созданную для того, чтобы вселять отчаяние в сердца тех бедолаг, на долю которых счастье может и не выпасть.

---

[1] Помолвка (фр.)

[2] Праздник (фр.)

— И ты один из этих бедолаг, Куони? — спросила девушка тоном, полным заинтересованности и симпатии, тоном, который бы мог быть неверно истолкован человеком мудрым, но только не дураком. — А говорят, — продолжала она, — жизнь шута весела и беззаботна. Я даже слышала от кого-то из тех вон утонченных кавалеров, что в них она пробуждает зависть.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь, — ответил Куони с презрительным смехом, — и, осмелюсь заметить, многим из них шутовской колпак пришелся бы куда более впору, чем мне!

Резко поменяв тон и став вдруг серьезным, он произнес почти шепотом:

— Фройляйн фон Лихтенау, сегодняшний fête дается в честь вашей помолвки; соблаговолите же принять от бедного шута глубочайшие, искреннейшие пожелания счастья.

В его тоне прозвучало нечто столь необычное и занятное, что девушка безотчетно почувствовала себя глубоко тронутой.

— Я принимаю твои пожелания и благодарю тебя, друг Куони, от всего сердца, — любезно ответила она, протягивая ему руку.

— Вы назвали меня другом! — воскликнул Куони, подходя на шаг ближе. — Назвали другом бедного шута! Да благословит вас Господь за это слово!

— Куони! Куони! — донеслось из гостиной; но шуту не было до этого дела, потому что, склонившись, он поднес руку девушки к своим губам и поцеловал тонкие пальчики, как лобызают какую-нибудь святую реликвию.

— Да благословит вас Господь, и, если когда-нибудь вам понадобится друг, клянусь мессой, тот, кого вы только что удостоили этого похвального титула, будет рядом.

И, удалившись, прежде чем фройляйн Луиза успела ответить, он вошел в salon[1].

— Куони! Куони! Где ты? — прокричали с десяток голосов.

— Здесь, — мрачно ответил шут, — а в чем дело? Или тут, в этой комнате, собралось недостаточно дураков, раз уж для пополнения ваших рядов вдруг понадобился я?

Куони столь долго носил маску, что был не в силах забыть роль, которую играл в жизни; едва он вышел к гостям, как все следы недавних эмоций исчезли с его лица, хотя настоящее выражение — полумеланхоличное, полупрезрительное — осталось.

Пристальный взгляд его темных глаз пробежал по сверкающей толпе придворных красавиц и беспечных кавалеров в поисках человека, готового принять его вызов.

Где же Фельсхайм, Альтенбург, Бридевальд и другие бойкие на язык остроумные бездельники? Все они молчали! Молчали, ибо, прекрасно зная злобность шута, отнюдь не желали подставляться под его колкие выпады при всем дворе.

[1] Гостиная (фр.)

Склонившись, он поднес руку девушки к своим губам...

Один лишь débonnaire[1] молодой иностранец, маркиз де Савиньон, оказался достаточно опрометчивым для того, чтобы скрестить с ним оружие.

— Я слышал, Куони, — с самодовольной улыбкой заметил маркиз на великолепном, хотя и с легким налетом иностранного акцента, немецком, — ты подумываешь уйти из шутов в придворные.

— Это было бы просто, — ответил шут, пожав плечами, — ибо различие между дураком и придворным — лишь в названии.

[1] Добродушный (фр.)

— Ну да, ну да, — продолжал Савиньон, — но задумайся на минутку, принц шутов, и представь, что станет с Заксенбергом в твое отсутствие. Его величеству никогда не найти другого такого же дурака!

— Разве что король назначит моим преемником вас, — последовал дерзкий, язвительный ответ, вызвавший хихиканье среди тех, кто стоял вокруг, и тщеславный француз побледнел от гнева.

— Похоже, ты забыл, господин дурак, — резко произнес он, — что обращаешься к маркизу де Савиньону, а не перебраниваешься с каким-нибудь своим приятелем-клоуном!

Он ранил Куони более глубоко, чем вообразил сам, и гордая душа шута чуть не вывернулась наизнанку, корчась от боли под жгучим бичом презрительных слов маркиза, вновь напомнивших ему о той пропасти, что пролегала между ними в обществе. Но на его, Куони, лице, по которому медленно расползлась мягкая, снисходительная улыбка, эти эмоции не отразились.

Только те, кто был хорошо с ним знаком, заметили легкое сжатие тонких губ, предвещавшее, как им было известно, колкий ответ.

Наклонив голову вбок и подперев рукой подбородок, Куони несколько мгновений взирал на Савиньона через полузакрытые веки, будто впал вдруг в сонливую томность, а затем неспешно и чуть ли не устало ответил:

— Да нет, господин де Савиньон, забывчивость, полагаю, скорее в вашем роду, чем в моем. Не вы ли сами, милорд, как-то раз, во время осады Ла-Рошели — как рассказывают, — когда Rochellais[1] совершили дерзкую sortie[2], забыли, где идет бой? Да забыли так прочно, что в своей рассеянности галопом унеслись на юг и к ночи были уже в Руайане, в добрых десяти лигах от места сражения.

Тут настал черед содрогнуться уже Савиньону, и, в то время как остроумная реплика шута была встречена взрывом громкого смеха, лицо француза приобрело сероватый оттенок, а зубы стиснулись от ярости. Куони же, заметив это, безжалостно продолжал:

— Неужели вы не видите в этом ничего смешного, милорд? К чему этот хмурый взгляд?.. Полноте! Вы нагоняете на меня скуку; в вашей душе остроумия не больше, чем в устрице — молока!

И с непринужденным смехом, в котором прозвучало презрение, шут удалился, чтобы позволить и другим испытать остроту его языка, от которого, за исключением короля, не был защищен никто.

Француз проводил высокую, ладно скроенную фигуру долгим взглядом, затем, сочтя за лучшее прикинуться равнодушным, пожал плечами и, издав безрадостный смешок, вышел на балкон, решив поискать бальзам для своей уязвленной души в руках невесты.

---

[1] Ларошельцы (фр.)

[2] Вылазка (фр.)

II

В течение нескольких недель, последовавших за тем праздничным вечером, когда Куони фон Штоккен столь жестоко оскорбил маркиза де Савиньона, эти двое старались избегать присутствия друг друга.

Гордый и тщеславный французский кавалер, похоже, не забыл об унижении, которому подвергся, и воспоминания об оном то и дело вынуждали его пальцы стискивать украшенную драгоценными каменьями рукоять миниатюрного кинжала, тогда как в сердце маркиза, полном ненависти к шуту, одна за другой рождались ужасные клятвы отмщения.

Но не один лишь его кинжал был готов совершить убийство. В голове Куони тоже мелькали скверные мысли, и как-то вечером, когда Савиньон с безмятежной в тот час душой рассказывал фройляйн Луизе нечто такое, о чем она не раз уже слышала от него раньше, маркиз, вероятно, даже не подозревал, что из-за штор у него за спиной за ним наблюдают два больших пылающих глаза, а мускулистая рука сжимает острый итальянский клинок.

Знай француз, что смерть от него так близко, на расстоянии вытянутой руки, его смех был бы менее веселым, манеры — менее непринужденными, настроение — менее беспечным. Но он об этом даже не догадывался, и, должно быть, его оберегал некий ангел, ибо вооруженная рука, уже вскинутая в грозном жесте, так и не опустилась, — шут возвратил кинжал в ножны и бесшумно удалился тем же путем, каким и пришел.

Но по мере того, как одна за другой стремительно пролетали недели, а свадьба маркиза приближалась, странная и необъяснимая удрученность некогда беззаботного шута лишь усиливалась. С каждым днем он выглядел все более и более худым, словно некая беспощадная болезнь разъедала его тело изнутри, медленно подтачивая жизнь и силы. С каждым днем его бледные щеки становились еще бледнее, а под глазами пролегли глубокие черные круги, наводившие на мысль о страданиях и бессонных ночах.

Более жалкой, скорбной картины, чем являл собой бедный шут, когда рядом не было никого, кто мог бы заметить его чувства, трудно было себе представить.

Между тем, однако, в Заксенбергском королевстве имелись и другие дела, заслуживающие внимания — куда более важные, нежели тайные муки томящегося от любви шута. Ходили слухи о заговоре с целью свержения Зонсбекской династии, — заговоре, организованном, как поговаривали, многими знатными дворянами, уставшими от молодого короля Людвига IV, который, похоже, был так занят подражанием порокам двора своего французского кузена, что уделял крайне мало внимания делам королевства и благоденствию народа.

Подобный недостаток порой встречается у королей, особенно молодых, поскольку монархи, сними с них порфиру, — самые обычные люди. Людвига, однако же, Господь одарил характером, который был столь же решительным и серьезным, когда дело касалось одних вопросов, сколь бывал слабым и легко-

...Из-за штор у него за спиной за ним наблюдают два больших пылающих глаза, а мускулистая рука сжимает острый итальянский клинок.

мысленным, когда речь заходила о вопросах других; к тому же правителю Заксенберга повезло иметь у себя в услужении хитроумного и дальновидного Риттера Хайнриха фон Грюнхайна, капитана королевской гвардии.

Этот дворянин доложил Людвигу о серьезной проблеме: часть аристократии, недовольная его величеством, активно подстрекает народ к открытому мятежу. Положение требовало принятия решительных мер — и они были приняты.

Как-то вечером, примерно через месяц после fête, описанного в предыдущей главе, и за неделю до дня, назначенного для свадьбы Луизы фон Лихтенау, король сидел за столом в своем кабинете.

Вокруг стола располагались пятеро придворных: два старых и верных слуги прежнего монарха, отца короля нынешнего, — герцог Оттрау и граф фон Хорст; еще двое во цвете лет — Риттер фон Грюнхайн, капитан королевской гвардии, и герр фон Рецбах, министр; тогда как пятым был не кто иной, как молодой и беспутный Отто фон Ронсхаузен, фаворит его величества.

Лица всех этих шестерых мужчин выражали озабоченность и тревогу, ибо было решено, что именно в эту самую ночь Заксенберг позаимствует одну из самых ужасных страниц из истории Франции: ближе к рассвету в Шверлингене должно было произойти нечто подобное Варфоломеевской ночи.

— Так будет лучше, господа, — промолвил король, и хотя лицо его выглядело бледным и изможденным, голос был спокойным, — ибо, обнародуй мы все это дело и предай изменников открытому суду, как знать, *что* воспоследует? Народ всегда готов восстать против тех, кто им правит, да и кто присягнет, что суд над этими мятежниками не пополнит ряды предателей, ибо измена — болезнь заразная, и не станет сигналом к открытому восстанию? А вот если завтра распространится известие, что десять знатных дворян были найдены убитыми в своих постелях, будет высказана масса догадок и предположений — притом что сам факт их смерти многим покажется несколько прискорбным, — но те, кто прислушивался к суждениям этих десятерых и точил оружие в предвкушении схватки, всё поймут и придут в ужас, увидев, сколь жуткая участь постигла их вожаков. Поверьте, господа, они умолкнут и рассеются.

— Не рассмотрит ли ваше величество... — начал было седовласый герцог Оттрау, но король прервал его резким взмахом руки.

— Я *уже* всё рассмотрел, господа, и принял решение. Так ли уж важно, *как именно* умрут эти люди? Они вполне заслужили свою участь и, если бы попытались выступить открыто, не избежали бы эшафота, так что какая разница, убьет их кинжал или же топор? Для них — никакой, для меня же — существенная.

Король говорил твердым, не допускавшим дальнейшей дискуссии тоном, разве что Грюнхайну оставалось получить указания его величества.

— Вот список, капитан, — продолжал король, беря со стола лист бумаги. — Сейчас я зачту имена тех, кому мы вынесли приговор: Кервенхайм, фон Хульд, Нинберге, Бланкенбург, Эберхольц, Рецвальд, Лейбниц, Хартенштайн, Ройсбах и этот француз, маркиз де Савиньон.

— Касательно последнего, сир, — отважился заметить Ронсхаузен, фаворит короля, — ваше величество ведь не забыли, что он подданный короля Франции?

— Этого мы не забыли, — ответил Людвиг, — как помним и то, что к предательству он, чужеземец, которому я всегда выказывал глубокую благосклонность и уважение и который, останься он в живых, женился бы на одной из знатнейших дам моего двора, — присовокупил еще и неблагодарность. Без сомнения, тот, кого они хотят посадить на трон вместо меня, отсыпал ему кучу золота; но маркиз заплатит за свое безрассудство так же, как и другие заплатят за свое, — собственной жизнью; и я не вижу, с какой

стати я должен буду ответствовать перед королем Франции за происшедшее в моей столице случайное убийство его подданного. Вопрос закрыт, господа; Риттер фон Грюнхайн знает, как привести этот план в исполнение. На этом — всё, — промолвил король, вставая, — но, когда вы услышите, как колокола церкви святого Освальда пробьют полночь, помолитесь за упокой души десяти изменников, по которым и прозвучит эта отходная. А теперь давайте присоединимся ко двору.

Один за другим придворные вышли из кабинета вслед за королем, а потом, когда дверь закрылась за последним из них, из-за богатой дамастной драпри[1], которой было занавешено одно из окон, выглянула голова, и пара темных глаз быстро оглядела комнату; в следующий миг шторы раздвинулись и вперед выступил Куони фон Штоккен.

Его смуглое лицо выражало безграничное, почти сатанинское ликование, а тихий глумливый смех, сорвавшийся с тонких губ, мог сравниться разве что с хохотом самого дьявола-искусителя в час его победы.

— Похоже, месье де Савиньон, вас угораздило вляпаться в политику, — пробормотал шут, потирая худые, сильные руки, — и сегодня ночью вы умрете. Дурак! Беспросветный дурак! То, что вы знатного происхождения, богаты, в фаворе и у французского короля, и у заксенбергского, отнюдь не утолило вашей алчности; вам захотелось сделаться еще и творцом истории, и, как и десятки, сотни таких же, как вы, ранее, вы сами погубили себя! О, что за создание — человек! Тьфу!

И с усмешкой презрения ко всему человеческому роду в целом и к маркизу де Савиньону — в частности Куони бросился в кресло, которое еще пару минут назад занимал король.

— Подумать только, — продолжал шут, — что человеку, который вот-вот женится на такой женщине, как фройляйн Луиза фон Лихтенау, придется вступить в схватку со смертью! Заклинаю вас мессой, сир, — воскликнул он, поднимая свою длинную руку и говоря так, словно король сейчас перед ним и слышит его, — не лишайте его жизни! Пощадите его и облачите в мой шутовской наряд; не хотелось бы, чтобы этот неисправимый дурак отправился в мир иной!

Затем вдруг насмешливая улыбка сошла с лица Куони, сменившись серьезным, печальным выражением, ибо в голову ему пришла такая мысль: «Но что подумает завтра, когда до нее дойдут новости, фройляйн Луиза? Как вынесет это?» Шут прекрасно знал, что она любит Савиньона всем сердцем, и стоило ему лишь подумать об этом, как зубы его заскрежетали, а ногти стиснутых рук вонзились в ладони.

Куони представил себе, какой девушка будет завтра, и в его душу накатила огромная, бурная волна печали и жалости, омывшая и очистившая ее, эту душу, от той греховной радости, которую он ощущал еще пару мгновений назад. «Она зачахнет и умрет от всего этого, — сказал он себе, — как я сейчас чахну и умираю от любви к ней! Увы! Бедняжка Луиза!» Шут тяжко и скорбно

[1] *Драпри* — то же, что и портьера.

вздохнул, а затем, подперев подбородок руками и опустив локти на колени, уставился себе под ноги и погрузился в раздумья.

Так Куони просидел около часа, странным образом обдумывая странные мысли и взвешивая в уме странное решение. Наконец шуту случилось поднять глаза, и взгляд его упал на часы из золота и слоновой кости. Содрогнувшись, Куони резко вскочил на ноги.

— Himmel![1] — воскликнул он. — До полуночи, когда по маркизу прозвонят отходную, осталось всего полчаса!

На миг он застыл в нерешительности, но затем быстро прошел к двери и скрылся.

III

Между тем вышло так, что вследствие пожара, несколькими днями ранее уничтожившего особняк Савиньона на Клостерштрассе, маркиз оказался гостем своего будущего тестя графа фон Лихтенау.

В ту самую ночь — то есть, как сообщает нам постыдная страница заксенбергских хроник, в ночь 12 августа 1635 года — Савиньон удалился в комнату, отведенную в его покоях под спальню, едва пробило одиннадцать.

Ощущая себя еще вполне бодрым, маркиз, естественно, пребывавший в поэтическом настроении, достал французский перевод «Одиссеи» и, бросившись в роскошное кресло, с головой ушел в приключения Улисса[2] на острове Калипсо. Сердце молодого француза было полно симпатии к полубогине и презрения к царю Итаки, когда шорох оконных штор возвратил Савиньона в Заксенберг и его окрестности, заставив вздрогнуть. Подняв глаза, он заметил в окне темную фигуру, и, прежде чем успел хотя бы пошевелить пальцем, в комнату запрыгнул некий человек — перед ним со странным выражением на лице возник Куони фон Штоккен.

Вообразив, что этот визит имеет отнюдь не дружественную цель, маркиз выхватил из-за пояса кинжал, отчего по серьезному лицу шута пробежала легкая улыбка.

— Уберите оружие, месье де Савиньон, — спокойно проговорил он. — Я не наемный убийца, но те, что придут вслед за мной, вполне заслуживают того, чтобы так называться.

— Что ты хочешь этим сказать? — высокомерно вопросил маркиз.

— У меня для вас новость, месье, — ответил Куони, понизив голос до шепота. — Заговор по свержению Зонсбекской династии раскрыт.

Француз столь резво выскочил из своего кресла, словно кто-то ткнул в него кинжалом.

---

[1] Здесь: Боже! (Буквально: Небеса! — нем.)

[2] *Улисс* — латинизированная форма имени Одиссей.

— Ты лжешь! — вскрикнул он.

— Лгу? — равнодушно промолвил шут. — Что ж, если заговор не раскрыт, то как вышло, что о нем известно мне?

Затем, будто и не замечая ажитации Савиньона, Куони все в той же неторопливой манере продолжал:

— У меня есть для вас и другая новость: у его величества имеется список имен главных заговорщиков; ваше имя фигурирует в этом списке; и волеизъявление короля таково, что как только колокола церкви святого Освальда пробьют полночь, десятерым знатным дворянам это возвестит о том, что их последний час на земле прожит, ибо к каждому из них в комнату проникнут трое палачей, которые и приведут в исполнение смертный приговор, что был без суда вынесен королем два часа назад.

Француз находился в таком изумлении, что не сразу нашелся с ответом. Снова опустившись в кресло, он побелел от страха и взирал на придворного дурачка округлившимися глазами. На подобные темы не пристало шутить, да и вид Куони имел столь впечатляющий и серьезный, что у маркиза не возникло ни малейших сомнений в правдивости его слов.

— И что — ты один из трех убийц, коим было поручено умертвить меня? — проговорил наконец Савиньон, и во взгляде его полыхнула ненависть, вызванная воспоминанием о случившейся у него с шутом жестокой распре.

— Нет, — коротко и ясно ответил Куони.

— Тогда зачем ты здесь? — резко вскричал маркиз. — Для чего? Отвечай! Явился позлорадствовать по поводу моей кончины?

— Я пришел для того, чтобы попытаться спасти вас, — последовал холодный, гордый ответ.

— *Спасти меня?* Я верно тебя расслышал?

— Ну да, спасти вас. Но для того, чтобы я преуспел в этом, вам, милорд, нельзя терять ни минуты. Снимайте ваш дублет. Скорее!

И в то время как маркиз начал машинально повиноваться ему, шут продолжал:

— У ратуши, на углу Клостерштрассе, вы обнаружите ожидающий седока экипаж. Садитесь в него без единого слова; кучер уже получил указания и отвезет вас в деревушку Лоссниц, расположенную в трех лигах отсюда. В карете есть сверток с одеждой, которая будет вам впору. Остановившись у постоялого двора «Черный олень», вы найдете приготовленного для вас коня. Направьте его в сторону границы, и к восходу солнца вы окажетесь в добрых пятнадцати лигах от Шверлингена и вне досягаемости короля Людвига, ибо вскоре он, конечно же, узнает о том, что вы всё еще живы. Скачите во весь опор — и завтрашней ночью будете спать уже во Франции. Вот, возьмите мое облачение.

И, подойдя к маркизу, Куони протянул ему свою длинную черную тунику, которую успел снять, пока говорил.

При виде шутовского наряда француз засомневался, в мозгу его вспыхнуло подозрение.

— А это не один из твоих розыгрышей, господин шут?

— Не верите мне, — воскликнул Куони, нетерпеливо поведя плечами, — подождите немного и сами всё увидите!

— Нет-нет, Куони, я тебе верю! — вскричал маркиз. — Но зачем это нужно?

— Зачем? — переспросил шут. — Какой же вы дальновидный мудрец! Что подумал бы кучер, которому предстоит отвезти вас, увидь он вместо меня какого-то кавалера? Да и потом, вдруг по дороге отсюда к ратуше вы случайно столкнетесь с убийцами? Неужели вы не видите, какую службу может сослужить вам мой колпак с бубенцами?

— Верно, верно, — пробормотал маркиз.

— Так не теряйте больше времени, до полуночи осталось всего несколько минут. Давайте же, надевайте!

Поизвивавшись и так и этак, Савиньон с горем пополам влез в черную бархатную тунику, после чего Куони натянул ему на голову увенчанный петушиным гребнем капюшон таким образом, чтобы черты лица маркиза оказались скрытыми, и отступил назад, дабы оценить эффект.

— Клянусь мессой, — воскликнул шут с мрачным смехом, — вам все это очень даже к лицу! А я ведь всегда утверждал: так оно и будет! Вот возьмите еще и мой жезл с погремушкой, — теперь вы ничуть не отличаетесь от тех дураков, что когда-либо расхаживали по королевской передней. Кто бы мог подумать, что Савиньон превратится в дурака, а Куони — в придворного! Ха-ха! Превосходная шутка, достойная королевы шутов — Смерти!

— Твое веселье выглядит неуместным, — проворчал маркиз.

— Так же, как и ваши узкие бриджи шоколадного цвета в сочетании с этой туникой; но это и неважно, тут всё — часть потрясающего розыгрыша.

Затем, внезапно сделавшись серьезным, Куони добавил:

— Готовы? Тогда следуйте за мной; я покажу дорогу.

Открыв дверь, шут безмолвно и совершенно бесшумно провел маркиза из спальни вниз по широкой дубовой лестнице.

На первом этаже, в просторном холле, обитом деревянными панелями, Куони приостановился и, пошарив рукой, нащупал давно уже, к счастью, известную ему пружину. Одна из панелей отъехала чуть назад, обнаружив проход, куда они с французом и устремились.

Вскоре они очутились во внутреннем дворике позади особняка и через небольшую скрытую дверь вышли на улицу.

Там на какой-то миг приостановились; начинался дождь; небо было затянуто облаками, стояла кромешная тьма.

— Ваш путь лежит вон туда, — тихо произнес Куони. — На углу найдете карету. Делайте так, как я вам сказал, и да поможет вам Бог. Прощайте!

— Но как же ты? — воскликнул Савиньон, которому вдруг пришло в голову, что теперь и жизнь самого шута может оказаться под угрозой. — Ты не идешь?

— Не могу. Я должен вернуться, чтобы выдать себя за вас и принять гостей, ибо, если они обнаружат, что вас нет, начнутся поиски, за вами бросятся в погоню еще до того, как успеете покинуть город, и тогда вам уж точно несдобровать.

— Но ты окажешься в смертельной опасности!

— На этот счет не волнуйтесь, — последовал мрачный ответ.

— Но...

— Довольно уже этих «но»; уходите, пока не пробило полночь, или, клянусь мессой, ваше пребывание в Шверлингене будет пренеприятнейшим образом продлено. Прощайте!

Отступив назад, шут захлопнул дверь, и Савиньон, дрожащий от холода, остался один. Он уже было решил, что Куони над ним посмеялся, но тут же осадил себя: как бы дурак узнал про заговор, не будь он, этот заговор, раскрыт?

И все же, подумал он, к чему бы Куони проявлять такую заботу о его, маркиза де Савиньона, побеге и жизни? Как-никак они злейшие враги... Однако же страх взял в душе француза верх над сомнениями, и в конечном счете, поклявшись: если Куони провел его, он вернется пусть и только лишь для того, чтобы свернуть шуту шею, маркиз торопливо зашагал в указанном направлении.

Тем временем Куони вернулся в спальню француза: выряженный в одежды Савиньона и в его же шляпе, надвинутой на глаза так, чтобы скрыть лицо, он бросился в кресло, в котором еще недавно сидел маркиз, и принялся ждать.

Вскоре гулкий колокол церкви святого Освальда пробил полночь; едва отголосок последнего удара замер в тихом ночном воздухе, как ухо шута уловило другой, более близкий звук.

Вскочив на ноги, Куони обернулся и увидел у открытого окна, через которое они и проникли внутрь, трех вооруженных шпагами мужчин в масках.

В мгновение ока шут выхватил из ножен рапиру Савиньона.

— В чем дело, господа? — вскричал Куони, имитируя чужеземный акцент француза. — Что вы ищете?

— Маркиза Анри де Савиньона, — промолвил один, чей голос шут не узнал.

— Я к вашим услугам, — высокомерно ответил Куони. — Что нужно? Вы, верно, грабители или убийцы, раз являетесь в таком виде и врываетесь в мою спальню в столь поздний час?

— Мы пришли сообщить следующее, — проговорил все тот же человек, произнося слова так, будто повторял заученный наизусть урок. — Ваша измена изобличена, и потому именем короля мы предлагаем вам приготовиться к смерти.

— Отличная шутка, господа! Ловко придумано! Конечно же, вы не простые разбойники, но, боюсь, вышло небольшое недоразумение.

— У вас ровно пять минут на то, чтобы подготовить свою душу к переходу в мир иной.

— Вы очень заботливы, господа, — отозвался Куони, выказывая свою шутовскую склонность к насмешке, — но облагодетельствовать себя

я не просил, и, надеюсь, после вашего ухода у меня будет в запасе еще куча лет для претворения вашего любезного предложения в жизнь.

— Да этот тип смеется над нами! — воскликнул один из до сего момента молчавших убийц. — Может, уже покончим с нашим делом?

Спутники пытались сдержать его, но, выступив вперед наперекор им, он бросился на Куони с обнаженной шпагой.

Видя, что с наскоку совладать с «маркизом» их товарищу не удалось, двое других убийц тоже устремились вперед, и через несколько мгновений разразилась яростная схватка. Во всем Заксенберге не было, возможно, фехтовальщика искуснее, чем этот гибкий, как пантера, ловкий и подвижный шут, но слишком уж неравны были силы, и Куони заранее знал, что обречен. Впрочем, прошло минут пять, не меньше, прежде чем шпага одного из bravo[1] пронзила шуту грудь.

Куони охнул и рухнул лицом вниз, выронив рапиру, которая с громким звоном упала на паркетный пол.

В коридоре раздались торопливые шаги, а вслед за ними послышались и голоса: домочадцы, встревоженные бряцанием стали и шумом борьбы, уже спешили к покоям маркиза де Савиньона.

Один из убийц шагнул было к упавшему, чтобы довершить начатое, вонзив в сердце поверженного противника острый кинжал, но, обеспокоенные приближающимися звуками и не забывшие приказание: ни в коем случае не попасться, двое других bravo вытащили его в сад через окно, прежде чем он успел исполнить свой замысел.

— Уходим, — промолвил тот, кто нанес роковой удар, — ему осталось жить пару минут — рана смертельная, даже не сомневаюсь.

Едва убийцы исчезли в ночи, как дверь комнаты распахнулась настежь, и любопытствующая кучка полуодетых мужчин и женщин с испуганными лицами застыла на пороге, глядя на представшую перед ними картину.

— Маркиза убили! — воскликнул чей-то голос, за ним последовал женский вопль, и, когда толпа расступилась, в комнату вошли старый, седовласый граф Лихтенау и его находящаяся уже на грани обморока дочь.

Оба они замерли, уставившись на распростертое на полу тело и медленно расползавшееся вокруг него темно-красное пятно.

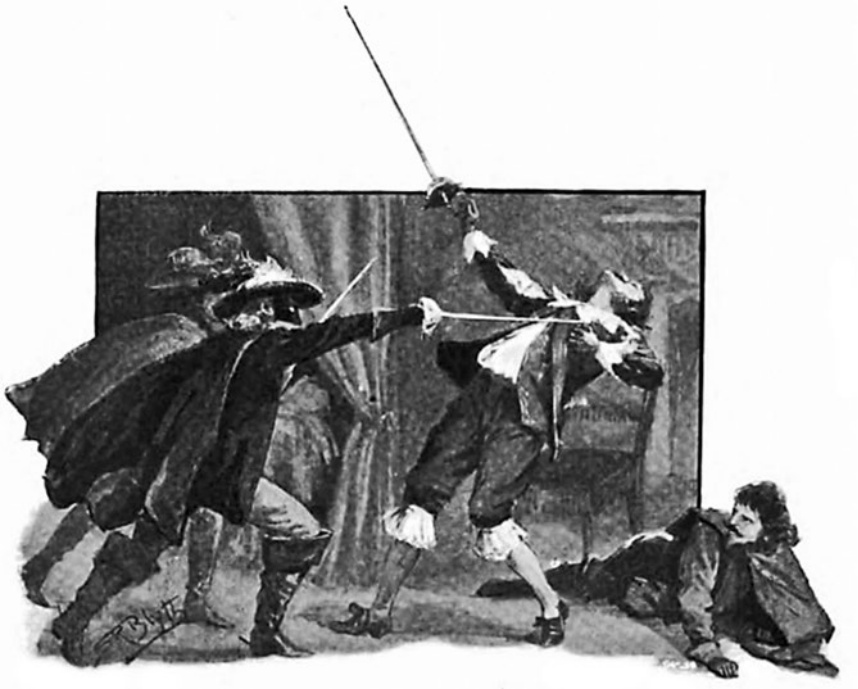
— Анри! — вскричала вдруг девушка и, бросившись вперед, упала на колени возле потерявшего сознание Куони.

Затем, когда ее отец осторожно перевернул тело, чтобы установить характер раны, из груди Луизы вырвался еще один — отличный от первого — вопль, но шут, придя в себя и открыв глаза при этом звуке, перехватил ее взгляд и прошептал едва слышно:

— Тише, моя госпожа! Не говорите, что я — не маркиз. Если вам дорога его жизнь, молчите; пусть все поверят в то, что Савиньон умирает, и разнесут эту весть.

---

[1] Брави́, наемный убийца (ит.)



...Шпага одного из bravo пронзила шуту грудь.

— Что это значит? Что это значит? — простонала девушка, заламывая руки, хотя инстинктивно и понимая, что слова Куони продиктованы серьезными причинами.

— Отошлите их... и отца тоже... и я объясню, — прошептал шут, и при каждом произнесенном им слове из раны вырывался новый фонтанчик крови.

Когда все удалились, она приподняла его голову и положила себе на колени, и шут рассказал ей *всё*, попросив не раскрывать правду до утра.

— Подумать только, что из всех людей именно ты — *ты!* — Куони, всегда, казалось бы, его ненавидевший, столь благородно отдал жизнь ради спасения *его* жизни! — воскликнула девушка.

— Нет, госпожа, я отдал жизнь не ради него, но ради *вас*. Я пожелал спасти его из-за вашей любви к нему. Мы с ним поменялись местами, потому что я хотел избавить вас от страданий и боли, которые неизбежно охватили бы вас при виде его трупа. *Его* жизнь кому-то дорога — моя же ничего не стоит.

Девушка не нашлась что на это ответить, но слезы, ручьем бежавшие из ее глаз, были для Куони красноречивее любого ответа. Наконец-то она *поняла!*

— Я так счастлив, — пробормотал он через несколько мгновений, — о, безмерно счастлив! Останься я в живых, моя голова никогда не покоилась бы на ваших коленях. При жизни я никогда не посмел бы сказать вам, как говорю сейчас, когда перед лицом смерти стерлись все различия в происхождении и положении, — что люблю вас.

Тихо плача, девушка склонилась над ним...

Девушка вся затрепетала, затем на какой-то миг их взгляды встретились. Она не была бы женщиной, если бы ее сердце не наполнилось нежностью и жалостью к бедному, почти всеми презираемому шуту, который пожертвовал жизнью, дабы сделать счастливой *ее*.

Осмелев в жутком присутствии Смерти, этой старухи с косой, Куони прошептал голосом еще более слабым, чем прежде:

— Луиза, я умираю... Здесь только вы и я, никто никогда не узнает... Поцелуйте меня!

Тихо плача, девушка склонилась над ним так, что ее распущенные волосы накрыли его голову и шею, и губы фройляйн Луизы, полные жизненных соков и юности, прикоснулись к губам шута, уже тронутым ледяным холодом смерти.

По телу его пробежала дрожь, грудь поднялась в долгом последнем вздохе — и смолкло все, кроме едва слышных всхлипываний девушки, чьи слезы капали на обращенное к ней лицо, которое улыбалось ей в смерти.

ПРОКЛЯТИЕ

Я стоял в горделивой, вызывающей позе, опустив острие шпаги, на котором все еще сохранялась кровь опрометчивого дурака, на свой сапог, и с холодным презрением окидывал взглядом с десяток праздношатающихся собак, окруживших меня, — из разряда псов лаявших, но кусать не осмеливавшихся.

Двое из них подняли с земли поверженного мною и потерявшего сознание противника и теперь пытались остановить кровь, обильно хлеставшую из нанесенной ему раны. Остальные стояли вокруг нас, рыча и фырча, словно дворняжки, которыми, по сути, они и были, но стараясь держаться от меня на расстоянии.

— Ужасная рана, Mein Herr, — сказал один из тех, что склонились похлопотать над упавшим.

— Он сам искал ссоры, — сердито воскликнул я, — и свое ранение получил в честном бою. Если кто-то из присутствующих скажет, что это не так, я отвечу ему, что он — лжец, и докажу это на его шкуре, реши он выступить вперед и попытаться изобразить мужчину.

Их рык был прерван свирепостью моего тона и жестов, и, хотя взгляды оставались мрачными и угрюмыми, языки молчали.

Я излил свое презрение в резком насмешливом смехе.

— Что ж, милейшие, — промолвил я затем, убирая шпагу в ножны и направляясь к тому месту в толпе, где она была не столь плотной, — раз уж никто не оспаривает мое слово, прошу вас позволить спокойно удалиться.

При моем приближении раскрылся проход. Не для меня, как я подумал сначала, — для кое-кого другого.

Высокий худощавый мужчина в одеянии монаха-капуцина и с накинутым на голову капюшоном локтями проложил себе путь туда, где стоял я.

Его глубоко посаженные глаза встретились с моими, и пару мгновений он выдерживал мой взгляд со смешанным выражением печали и гнева.

— Вижу, вы снова принялись за свое грязное дело, мастер фон Хульденштайн, — проговорил он ровным, напыщенным тоном, от которого в лицо мне бросилась кровь.

— Вы слишком уж полагаетесь на неприкосновенность своей мешковины, — пылко ответил я.

Его глубоко посаженные глаза встретились с моими,
и пару мгновений он выдерживал мой взгляд
со смешанным выражением печали и гнева.

— А вы слишком уж полагаетесь на смерть герцога Рецбаха, — парировал он с показным праведным негодованием. — Пока герцог был жив, указ соблюдался, и люди вашей породы приходили в ужас от всех тех способов, которыми они могли умереть на зловещем лобном месте Шварценбаума. Но берегитесь, сударь, — продолжил он, повысив голос, — вам недолго осталось безнаказанно заниматься этим проклятым ремеслом. При необходимости я обращусь к королю, и вы узнаете, что в Шверлингене все еще есть как правосудие, так и возмездие.

Побелев от ярости, я шагнул было к нему, но капуцин отмахнулся почти презрительным жестом, и мой язык, обычно такой живой и острый, прилип к зубам.

Он склонился над лежащим без сознания человеком, тогда как я смотрел на него, кипя от гнева и тщетно ломая голову в поисках подходящего ответа.

Вскоре монах снова повернулся ко мне с горящими глазами.

— Этот человек может умереть, сударь, — вскричал он. — Вы меня слышите? Он может умереть!

— Так побрейте ему голову — вы же это умеете — и отпустите грехи, — ответил я с бездушным цинизмом.

Изумление и негодование, казалось, на миг лишили его дара речи. Затем он воскликнул:

— О, Бог накажет вас, сына Каина! Вас уничтожит ваш собственный смертоносный клинок, и если когда-либо в сей растраченной впустую жизни откроется путь к лучшему, — он поднял правую руку вверх, и его изможденное тело, казалось,

расширилось и выросло на моих зачарованных глазах, — пусть непреодолимым препятствием на этом пути окажется ваша же проклятая шпага. В этот час, если он когда-либо настанет, да поразит вас проклятие Божие, и падет на вас Его месть!

Дрожь пробежала по толпе, как от самих этих слов, так и от устрашающего тона, которым они были произнесены, — и многие перекрестились, словно этот монах был Дьяволом.

— Заткнись, преподобный, — пробормотал я, подходя к нему вплотную и сверля взглядом. — Не вынуждай меня делать то, о чем я мог бы потом пожалеть.

— Подите прочь! — ответил он весьма смело. — На вашей душе и так уже больше, чем...

Он резко прервался. Почти бессознательно я наполовину вытащил из ножен кинжал, и его глаза уловили блеск стали. Краска сошла со щек, и он отпрянул назад, бормоча что-то на латыни.

Я рассмеялся над его внезапными страхами и, убрав в ножны кинжал, повернулся, чтобы уйти. Толпа молча расступилась передо мною, и таким образом я наконец избавил себя от его присутствия, после чего вернулся в город, который не далее как полчаса назад покинул в обществе человека, находившегося теперь между жизнью и смертью, — того, над кем хлопотали вульгарный сброд и монах-капуцин.

Когда проходил под аркой Хайнрихштора, солнце уже садилось, и я почти не думал обо всем, что случится, прежде чем оно взойдет снова, или же о том, каким меня застанет рассвет.

Я угрюмо побрел в направлении трактира «Меч и корона», где, как казалось, мог найти вечернее развлечение.

В сердце у меня вертелась целая куча злобных мыслей против священника, посмевшего прилюдно отчитать и обрушить на мою голову свое ребяческое проклятие, но ни одной — против бедняги, которого я пронзил шпагой и который — насколько мне было известно — мог умереть еще до утра.

От места дуэли я прошел до гостиницы «Меч и корона» прямиком и в приличном темпе, но весть о происшедшем опередила меня. Едва я показался на пороге, как старик Армштадт поспешил к двери, отбросив в сторону свои обычные учтивые и подобострастные манеры, точнее, заменив их грубыми и оскорбительными, каковых прежде за ним я никогда не замечал.

— Только не в мой дом, мастер фон Хульденштайн! — резко вскричал он, преграждая мне путь своей дородной фигурой. — Под моей крышей новых жертв вы не найдете!

Это было сказано чересчур откровенно — и кем? Стряпуном, в заведении которого я являлся давним клиентом! Черт подери! Неужели я дожил до того, что меня не пускает в таверну и оскорбляет какой-то виноторговец, едва вылезший из сточной канавы?

— Святое причастие! А ты не стесняешься в выражениях, мошенник. Ну-ка посторонись! — пророкотал я, делая шаг вперед.

Но он не сдвинулся с места.

— Да поразит вас проклятие Божие, и падет на вас Его месть!

— Этот дом — мой, — дерзко ответил он, — и мой долг — защищать его репутацию. Или вы хотите услышать, что «Меч и корона» — прибежище для убийц и насмешников над священниками? Ступайте прочь!

На мгновение я с сомнением огляделся. Гнев повелевал мне наказать наглого пса так, как он того заслуживал, благоразумие же подсказывало убираться восвояси.

Трое или четверо прохожих уже остановились, с любопытством ожидая исхода этой необычной перебранки. Признать себя побежденным и отступить на их глазах было болезненно для гордости, однако, продолжая и дальше упорствовать в своем отчаянном стремлении попасть внутрь, возможно, я лишь бы спровоцировал сцену, уход от которой оказался бы еще более унизительным.

С безрадостным чувством подавленной ярости я понял, что должен уйти, и потому удалился, стараясь сохранять достоинство и поглядывая, не посмеет ли кто-либо из зевак прокомментировать мой уход. Клянусь душой, если бы один из них хотя бы улыбнулся, я бы затеял с ним ссору, но, прекрасно меня зная, они проявили мудрость и позволили мне уйти с миром.

Сойдя с крыльца «Меча и короны», я ясно осознал, что с этого часа винная лавка стала для меня символом отношения всего Шверлингена. Город для меня был закрыт. Куда бы я ни пошел, всюду меня ждал такой же прием. Оставаясь в столице Заксенбергского королевства, я вынужден бы был голодать, а голодать — занятие не из приятных.

Я в полной мере осознал, сколь за это ответственно проклятие капуцина, и мысленно предал анафеме этого сующего нос не в свои дела монаха в ответ.

Право же, чу́дное положеньице! И все же неожиданностью для меня оно не стало. Давным-давно можно было предвидеть, что таким и будет конец той гнусной жизни, которую я вел с тех самых пор, как отец в праведном гневе выгнал меня из дома.

Да, можно было предвидеть, что это случится. Шаг за шагом я спускался по крутому склону жульничества и бесчестья, отчетливо видя, что лежит внизу, но не предприняв ни единой попытки остановить свой позорный спуск. Возможно, дьяволу и доводилось обхаживать более гнусного негодяя, хотя, может, и нет.

Мог ли я впасть в еще более глубокую моральную деградацию и затем попытаться вытащить из ее трясин гордое древнее имя Хульденштайнов и свой запятнанный герб? Едва ли. Я самому себе напоминал человека, который увяз в болоте — увяз слишком глубоко, чтобы когда-либо выбраться оттуда самостоятельно; застрял там столь прочно, что лишен возможности двигаться дальше и теперь не имел иного выбора, кроме как, барахтаясь, ждать в этой топи конца.

Но если я и должен был ждать, то определенно не в Шверлингене, где меня знал каждый и где всякий брошенный на меня взгляд отныне был бы сродни оскорблению. Мне следовало уйти. Вот только куда?

Ответ на этот вопрос отсутствовал.

Внезапно меня охватило страстное желание снова увидеть отцовский замок в провинции Хаттау, дом, который когда-то был моим и принадлежал всем, кто носил нашу фамилию, — всем, кроме меня, отверженного. Вдруг захотелось увидеть тех, с кем меня разлучили двенадцать лет тому назад.

Там жил старик-отец. Как знать? Быть может, старость смягчила его сердце, а приближение смерти настроит его на всепрощающий лад. Там жили мои сестры; Эстер, старшая — она уже должна была поседеть, и малышка Стефания, плакавшая в ту ночь, когда я покинул замок. Там жил Фриц. Помнит ли он старшего брата, который первым научил его сидеть на лошади и держать в руке шпагу? Я с сомнением покачал головой. С тех пор прошло уже двенадцать лет, а Фриц в те далекие дни был десятилетним пареньком. Теперь он уже взрослый мужчина!

По мере того как я размышлял обо всем этом, во мне крепла решимость. Да, я уйду, сейчас же отправлюсь в путь! Затем я вдруг застыл на месте, и из груди вырвался протяжный стон.

Но как добраться до замка? Лошади у меня не было, свою последнюю я продал двумя неделями ранее, — как не имелось и денег; я почти мог сказать, что не было у меня и одежды. Даже камзол на плечах был изношен до предела, бриджи находились не в лучшем состоянии, а сапоги выглядели так, что за них покраснел бы любой конюх.

И все же мне следовало уйти, и, клянусь мессой, я бы ушел — да, даже если бы... Я с ужасом отбросил эту гнусную мысль. Как-то недавно я подумал, что нет такого бесчестия, которого бы мне не довелось испытать. Явно ошибался — одно все же оставалось. Я все еще мог стать грабителем и злодеем и требовать денег с обнаженным клинком в руке. Нет, только не это! Все же во мне есть что-то от гордости Хульденштайнов!

Я расхохотался — или, быть может, это сам дьявол моими устами насмехался над лучшим во мне? Не знаю. Достаточно было того, что я посмеялся над собственными угрызениями совести. Неужели я настолько разборчивый, что постесняюсь силой вырвать пухлый кошелек у какого-нибудь богатого дурака, не желающего расставаться с ним подобру-поздорову? Мне уже доводилось совершать столь мерзкие поступки, пусть там и было все немного иначе. Почему же меня должно остановить это? Для человека, чья честь чиста, это было бы невозможно; но для меня... Ба! Это был единственный путь... и он привел бы меня домой.

На протяжении всех этих злополучных размышлений я бесцельно бродил по улицам, а между тем стемнело, наступила ночь. Воздух — помню это отчетливо — был резким и морозным, хотя и шел уже апрель месяц.

Я остановился у церкви святого Освальда и несколько мгновений, пока Искуситель боролся с моим ангелом-хранителем, постоял там, склонив голову. На какое-то время злой дух был побежден, и, двинувшись дальше, я направился к мрачному дому на Мондштрассе, где занимал комнату на первом этаже. Мой путь пролегал через северный квартал города, где фонари появились лишь

— ...Или вы хотите услышать, что «Меч и корона» — прибежище для убийц и насмешников над священниками?

в 1645 году, когда министром стал Валленхайм — описываемые же мною события происходили двумя годами ранее. Впрочем, ярко светила луна, небо казалось безоблачным, и видно было вполне сносно — уж лучше бы все обстояло иначе!

Быстрым шагом я завернул за угол Мондштрассе и был уже шагах в пятидесяти от своей двери, когда мое внимание привлек высокий всадник, приближавшийся с противоположного конца узкой улочки. Его плащ развевался за спиной на ветру, а серебристые кружева на камзоле поблескивали в лунном свете. Именно это, вкупе с его величественной осанкой, заставило предположить, что он — птица, годная для ощипывания, и вынудило меня отступить в тень дверного проема, снова пробудив то мерзкое намерение, которое я некоторое время назад не без труда подавил.

Я оглядел улицу с обеих сторон: никого. Царила мертвая тишина, нарушаемая лишь позвякиванием шпор от соприкосновения с неровной мостовой. Воистину, сам дьявол вел этого человека ко мне!

И, прежде чем он понял, что перестарался,
я пронзил его насквозь от груди до спины.

Я почувствовал, как к голове прилила горячая кровь, вознесенная туда стыдом за себя самого и за тот мерзкий поступок, на который, казалось, меня толкали обстоятельства. Воздух был полон насмешливых звуков, даже слабый шелест ветра, казалось, мурлыкал в моих ушах: «Грабитель!»

Я расстегнул ножны и замер в ожидании. Как же медленно он приближался! Я поднес руку ко лбу, затем отдернул ее, влажную от пота — холодного пота страха. Тьфу! Я был глупец, трусливый слабак! Жизнь — игра, и кости выпали против меня.

Склонив голову, что-то тихонько напевая на ходу, он поравнялся со мной.

Глухой к последнему призывному крику чести и совести, я выскочил из мрака и, выхватив шпагу, приставил острие к его груди и преградил путь.

Он поднял глаза, запрокинул голову, будто лошадь, которую внезапно осадили, и продемонстрировал худое орлиное лицо и заостренную бородку.

Губы его приоткрылись, но прежде чем он смог что-то сказать, я гневно прорычал:

— Только пискни и, клянусь Богом, выпущу тебе кишки! — прохрипел я.

— Ты смелый плут, — пробормотал он тоном, в котором прозвучала легкая насмешка, — но слишком самонадеян. Пресвятая Дева, неужели я похож на женщину, если ты боишься, что я стану звать на помощь при виде какого-то — одного-единственного — прощелыги?

— Храбро и мудро сказано, о глупец! — ответил я, немало уязвленный его поведением и словами. — Сохраняй это разумное расположение духа, и наше дело будет быстро улажено.

Он безмятежно улыбнулся той снисходительной, терпимой улыбкой, которой какой-нибудь великий лорд мог бы одарить мальчишку — подручного конюха.

— Могу я поинтересоваться природой интересующего тебя дела?

— Кошелек и драгоценности. Быстро!

— Если это всё, — спокойно сказал он, снимая с пальцев пару перстней, — терять время нет смысла.

Он протянул мне безделушки, и я, не сводя с него глаз, выбросил за ними руку. Один из перстней лег мне на ладонь, другой задел ее ребро и упал на землю. Инстинктивно я проследил за ним взглядом — это-то меня и сгубило! Быстрый как молния, незнакомец воспользовался моей секундной невнимательностью и, выбив у меня из рук шпагу, со смехом отскочил назад.

Прежде чем я в полной мере осознал, что произошло и как меня провели, он выхватил собственный клинок и встал в защитную позицию.

— Теперь, милейший, — произнес насмешник, — похоже, я в лучшем положении для того, чтобы обсудить вопрос о праве на мой кошелек. Если, конечно, — добавил он с тонким презрением, — ты все еще на него претендуешь.

Мне не хотелось этого делать, но положение было безвыходным. Мужество, или, скорее, пренебрежение смертью, знакомое лишь тому, кто живет никчемной жизнью, было последним остававшимся у меня подобием добродетели. Я бы не вынес, если бы меня сочли трусом, — пусть даже человек, совсем меня не знавший.

Зазвенели клинки, и мы сошлись в схватке; каждый нерв — начеку, каждый мускул — наготове. Затем вдруг вспомнились слова священника, и меня пробрал озноб. Уж не была ли та сверкающая точка, что плясала передо мной в лунном свете, предназначена для исполнения проклятия капуцина?

Я отогнал от себя эту мрачную мысль. Фактически, именно он мне ее и внушил. Чтобы остаться в живых, пришлось бы пустить в ход всю мою силу и ловкость, ибо никогда прежде Каспар фон Хульденштайн не встречал себе равного.

Стиснув зубы и прерывисто дыша, мы трусили то вверх, то вниз по этой тихой улочке, продолжая суровый бой. Совершая один ложный выпад за другим, я пытался обойти защиту противника, но ему удавалось не только парировать мои удары, но и вполне успешно контратаковать. Сражение шло в полутьме, каждый из нас не раз и не два поскальзывался или же оступался. И все же в конце концов я подбил его на длинный выпад, вовремя уклонился в сторону и, прежде чем он понял, что перестарался, пронзил его насквозь от груди до спины.

Со сдавленным стоном противник повалился к моим ногам и замер неподвижно.

Я огляделся с чувством, близким к леденящему ужасу. Кругом по-прежнему не было ни души.

Затем я опустился рядом с раненым на колени и, едва сознавая, что делаю, довершил свое мерзкое дело, забрав его драгоценности и увесистый кошелек. Пошатываясь, я поднялся на ноги и снова с опаской огляделся. На какой-то миг мне пришло в голову попытаться перевязать его рану, но почти тотчас же я отбросил эту мысль. По тому, как клинок вошел в тело, я знал характер ранения. К чему было продлевать его агонию?

Затем меня обуяла дикая паника. Словно обезумевший, я побежал по улице к своему жалкому жилищу, находившемуся всего в десятке шагов от того места, где он лежал.

Дверь была заперта, а постучать мне не хватило духу, — вдруг бы тот, кто явился открыть, увидел распростертую на земле фигуру? Я ударил рукой по окну. Она было не на задвижке и распахнулось от прикосновения. Спустя мгновение я уже стоял в своей комнате, дрожа от полного осознания содеянного. Отшвырнул в сторону кошелек, будто он обжигал мне руки. Боже, что же я натворил? Осмелюсь ли вообще теперь когда-либо вернуться домой и сжать благородную руку отца в своей, запятнанной этим двойным преступлением? Даже не знаю, как долго я простоял там, размышляя о содеянном и сокрушаясь о том, что это не мое тело лежит на улице, на камнях мостовой.

Ах! Смогу ли я когда-либо забыть эти ужасные моменты? Смогу ли забыть, как внезапное осознание долгой жизни в грехе и разврате, оставшейся у меня за плечами, жизни, кульминацией которой стал только что совершенный мною гнусный поступок, охватило меня и потрясло странным, неведомым ужасом — чувством, что проклятие монаха на самом деле было проклятием Бога? Нет; все это я, несомненно, буду помнить до конца своих дней. Не забуду и того, как эти жуткие страхи на какой-то миг ушли, уступив место старым воспоминаниям, столь же прекрасным, сколь и печальным. Перед глазами стремительно пронеслись годы, предшествовавшие моему падению, с острой, мучительной силой вернув в те безмятежные, тривиальные часы, когда мы не испытываем ни глубокого наслаждения, ни глубокой боли. Ибо разве это не самые счастливые часы жизни — часы простого покоя и удовлетворения? Все это пронеслось в моем мозгу за несколько мгновений, после чего верну-

— Бога ради, скажите, кто вы? — вскричал я.

лась реальность, с ее страхами и преступлением, и, встряхнувшись, я пересек комнату и нащупал трутницу. Дрожащей рукой я ударил по кремню, наверное, дюжину раз, прежде чем сумел зажечь стоявшую на столе свечу. Потом бросился на ближайший стул и, закрыв лицо руками, неподвижно сидел до тех пор, пока сердце вдруг не замерло от легкого стука в дверь. Вскочив, я прислушался. Возможно, меня видели, и была вызвана стража. Если все так и есть — как знать? — быть может, монах обратится с жалобой к королю, и эдикт так или иначе будет приведен в исполнение. Я умру смертью преступника от рук палача — проклятие капуцина все же падет на меня!

Затем я рассмеялся над своими опасениями. Тьфу! Представители закона пришли бы не с таким робким стуком. Я снова услышал его и, не в силах вынести ожидания, схватил свечу и направился к двери. Едва открыл ее, как в прихожую ввалилось тело. Это был мой недавний противник, и при виде него я содрогнулся, обуреваемый тысячью страхов.

Должно быть, он в самом деле обладал могучей жизненной силой, раз уж дотащился так далеко. Или же к моей двери его привела чистая случайность? Может, и так.

Быстро, прежде чем он успел поднять глаза, я выронил свечу и затушил ее каблуком. Затем опустился рядом с ним на колени и приподнял его голову.

— Спасибо, друг, — едва слышно пробормотал он. — Меня привел сюда свет в вашем окне. Похоже, я умираю. На улице на меня напал грабитель. Он нанес смертельную рану и забрал все деньги, которые у меня были.

— Позвольте, я взгляну на нее, — пробормотал я, постаравшись изменить голос.

— В этом нет смысла. Вы лишь зря потратите время, а жить мне и так осталось всего несколько мгновений. Лучше послушайте; я должен кое-что сказать...

После короткой паузы он прошептал:

— Вам знаком в Шверлингене некто Хульденштайн — Каспар фон Хульденштайн?

— Да, я слышал о таком, — ответил я с необъяснимым смятением в сердце.

— Тогда разыщите его и скажите, что теперь он — хозяин Хульденштайна. Скажите ему, что неделю назад не стало его отца, — умирая, он простил сыну все прегрешения. Перед тем как испустить последний вздох, он поручил мне передать это послание, и я явился сюда, чтобы донести до этого обездоленного, как мне представлялось, человека весть о переменах в его судьбе. Как вы и сами видите, он никогда не услышит эту новость из моих уст, но пообещайте мне, что завтра сами передадите ее ему. Пообещайте мне это!

— Бога ради, скажите, кто вы? — вскричал я.

— Я — Фриц фон Хульденштайн, его брат, — прошептал он. Потом добавил нечто такое, чего я не расслышал, поник головой вперед и замер у меня на руках. Смутно припоминаю, как, почти лишившись рассудка, я снова зажег свечу и пристально вгляделся в лицо моего умершего брата, пытаясь найти хоть какие-то черты мальчугана, каким знал его и любил. Затем я отбросил свечу и с диким, безумным воплем выбежал из дома, оставив дверь нараспашку открытой.

Так вот и вышло, что на рассвете я потерял сознание на пороге монастыря капуцинов в Лёйбли и что теперь Каспара фон Хульденштайна не существует.

Зато есть келейник Каспар, в рясе из мешковины, бдениями и бичом, постом и молитвой стремящийся хоть как-то искупить прошлое в ожидании того часа, когда придет избавление от душевных мук, от которых есть лишь одно лекарство.

РАЗБОЙНИК ФАЛЬКЕНШТАЙГА

Когда мужчине случается полюбить двух женщин, и при этом он не может определить, которую из них любит больше, положение его затруднительно и достойно сожаления.

Так произошло и со мной, Отто фон Ронсхаузеном, фаворитом Людвига IV Заксенбергского. С одной стороны, леди Фрида фон Хорст — светловолосая, с нежными карими глазами, казалось бы, пробуждавшими то немногое хорошее, что еще оставалось во мне; с другой — темноглазая, гордая, с королевской осанкой, хотя и хрупкого сложения, графиня фон Барнабат, в чьем смехе звучала нотка презрения, чьи взгляды волновали душу воина — наследие всех, кто носил мое имя и вдохновлял на доблестные поступки.

И я... я любил обеих; каждую по-разному и в разную пору. В дни печалей и скорбей, а в жизни фаворита их немало, хотя некоторые так и не думают, я обращался за утешением к моей светловолосой деве; в часы же безрассудства и веселья искал королеву-смуглянку, которая не терпела мое унылое настроение.

По людским меркам одна была бедна, но несла в своей душе бесценное сокровище нежности и сочувствия; другая — богата в мирском понимании и владела обширными и плодородными землями и — как я тогда полагал — черствым сердцем.

И между этими двумя я трепыхался, как флюгер в ветреный день, ухаживая то за одной, то за другой, и, раз уж закон таков, что жениться на обеих я не мог, любя обеих с каждым днем со все большим пылом.

Но в конце концов его величество, от глаз которого ничто не могло укрыться, заметил мое замешательство и решил проблему, как это принято у королей. И пусть в 1638 году он был еще молод и находил больше прелести в кубке вина или в глазах дамы, чем в чтении книг или делах государственных, он все же обладал собственной мудростью, по причине каковой летописцы и окрестили его Людвигом Проницательным.

— Отто, ты человек небогатый, — сказал он мне однажды, и в какой-то мере то была правда, поскольку, помимо имени и воинственной души, о коих я уже

упоминал, мое наследство было действительно скудным. И все же, будучи придворным и вдобавок фаворитом, я улыбнулся и с невозмутимым видом поклонился.

— Небогатый, ваше величество? — воскликнул я. — Небогатый, когда вы столь щедро осыпали меня вашими королевскими милостями? Кто говорит, что я небогат?

— Ну, будет, будет, дружище, так говорю я, — ответил он со смехом. — Ты, конечно, дерзок на язык и щедр на лесть, но отнюдь не богат. Успокойся, я сейчас совершенно серьезен.

Его величество и серьезность были сочетанием столь непривычным, что протесты замерли у меня на губах, и из чистого любопытства я промолчал.

— При моем дворе есть одна дама, — сказал он, — которая, судя по тому вниманию, которое ты выказывал ей в последнее время, занимает в твоем сердце особое место. Она благородна, красива и богата и, мне представляется, была бы не прочь стать леди Ронсхаузен. Отто, ты женишься на ней.

В вопросе столь деликатном, как этот, его величеству было бы лучше расспросить меня о моих матримониальных планах, прежде чем приказывать мне жениться. Однако у королей и избалованных детей есть свой, оригинальный взгляд на мир, и, не желая терять высокое положение, которое я занимал в Заксенберге, я мог дать лишь один ответ.

— Я повинуюсь вашему величеству, как и во всем, — сказал я. — Назовите ее, господин, и, если она согласна стать госпожой Ронсхаузен и хозяйкой земель, коими я распоряжаюсь по доверенности еврейских вампиров, я немедленно приведу священника.

— Плут лицемерный, ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду — это Хильда фон Барнабат.

Я ответил ему, что не прошу ничего лучшего, как подчиниться его желаниям, и тотчас вышел, и весело напевая по дороге, отправился в Лейбниц, где проживала вышеназванная дама, вполне довольный тем, каким образом все уладилось.

И настроение мое не изменилось бы, если бы, проезжая через парк Шверлинген, я не встретил случайно девицу, сидевшую в задумчивости у ручья. У нее были золотистые волосы и нежные карие глаза, и звали ее Фрида фон Хорст.

Я натянул поводья и, охваченный внезапной печалью, наблюдал за ней, размышляя, как лучше поступить, когда она вдруг повернула голову и встретилась со мною взглядом. С радостным криком, ибо в душе она была ребенком и совершенно не разбиралась в придворных хитростях, она встала и позвала меня к себе.

Я подъехал и, как последний глупец, протянул руку и попрощался.

— Вы отправляетесь в путешествие? — воскликнула она, вытаращив глаза.

— Еду в Лейбниц, — сказал я.

— Лейбниц? Да ведь это недалеко. Всего-то пять лиг.

Я наклонился, чтобы поцеловать ей руку, но она вырвала ее...

— Верно, — ответил я, как какой-нибудь шут, — всего-то пять лиг.

И тогда, заметив тон, каким я говорил, и краткость того, чей язык — по крайней мере, в обращении к ней — обыкновенно отличался гораздо более пламенным красноречием, она догадалась об остальном.

— Вы едете в замок Барнабат? — спросила она.

— Я еду в замок Барнабат, — подтвердил я, надеясь, что найду это владение в руинах, а мою будущую невесту погребенной глубоко под ними.

— Ах! — воскликнула она, и мне показалось, что ее голос слегка дрогнул. — Понимаю. Прощайте, милорд, — быстро, пока я не убедился, что ее губы задрожали, добавила она. — Да пребудет с вами счастье. Adieu![1]

[1] Прощайте! (фр.)

Я наклонился, чтобы поцеловать ей руку, но она вырвала ее у меня и умчалась, прежде чем я успел сказать еще хоть слово — не то чтобы я нашелся, что сказать, если бы она осталась, поскольку в тот день я как-то странно поглупел.

Я провожал взглядом ее мелькавшую между деревьями грациозную фигуру, пока она не скрылась из виду; затем, вздохнув, вскочил в седло и, сердито тряхнув поводьями, с тяжелым сердцем поскакал прочь — со своим сватовством.

От Шверлингена до Лейбница одна мысль у меня в голове заслоняла все остальные: каждый шаг моей кобылы уводит меня все дальше от нежной девушки, которую я люблю, и приближает к горделивой и надменной леди, которую я уже начал ненавидеть.

Тысячу раз я проклинал свой гибкий язык, давший слово повиноваться королю. Но пусть мы, Ронсхаузены, и не отправили на Небеса много святых, всё же мы были людьми чести, и наш девиз гласил: «Данное слово — свершенное дело». Стану ли я первым, кто окажется недостойным этого девиза? Нет. Даже если мне придется страдать и сожалеть до конца жизни, слово следует держать, чтобы потомки могли, не краснея, указывать на эту строку на своем гербе.

И так вышло, что с наступлением вечера я натянул поводья во дворе замка Барнабат и, спешившись с мрачным лицом, выражение которого скорее подошло бы похоронам, чем помолвке, отправился на поиски владычицы этих величественных башен.

Хозяйка приняла меня достаточно любезно, как это было у нее обычно, и, после того, как с моей одежды отряхнули пыль, подвела меня к богато сервированному и сверкающему дорогим стеклом, золотой и серебряной посудой столу, за которым она оказывала мне почести с несравненной грацией.

Сначала я был неразговорчив и груб, но потом, под влиянием рейнского вина, которое она поставила передо мной, и живого остроумия, коим она пыталась меня развлечь, язык мой развязался, и губы вспомнили, как улыбаться. И вскоре, сам того не заметив, я уже сообщал ей последние новости двора и все текущие сплетни Шверлингена, приперчивая свои рассказы той острой иронией, которой учат в приемных и будуарах и которая придает вкус самой пресной беседе.

И вот, под взглядом этих темных глаз, полных лукавого веселья, я признаюсь в этом сейчас, краснея от смущения — мое хмурое настроение рассеялось, а вместе с ним и все мысли о малышке Фреде. Я был рабом, жалким, малодушным рабом очарования этой прелестной кудесницы, и в тот момент меня не интересовала никакая другая женщина в мире.

А потом, покончив с едой, мы вышли на балкон подышать вечерним воздухом, и я сказал ей то, с чем приехал. Как я это сказал, сам не знаю, да оно и неважно. Помню только, что говорил я долго и страстно — поскольку луна висела в небе, и свет, источаемый ею, был полон поэтического вдохновения, —

Я осмелился тихо произнести ее имя.
— Хильда! Да не смотрите вы на ту гору,
посмотрите на меня. Дайте же мне ответ.

и когда закончил, то обнаружил, что стою на коленях на холодных камнях, просительно вглядываясь в ее лицо и ожидая услышать ответ, который должен был либо осчастливить меня, либо глубоко огорчить.

Мой взгляд остался без ответа. Она смотрела через долину на величественный Фалькенштайг, чьи вечные снега отливали серебром в лунном свете. В конце концов, когда камни начали холодить мои колени, я устал от неловкой позы и, поскольку было бы тяжким нарушением этикета оставить предложение без ответа, осмелился тихо произнести ее имя.

— Хильда! Да не смотрите вы на ту гору, посмотрите на меня. Дайте же мне ответ.

— Я потому должна смотреть на Фалькенштайг, — тихо ответила она, с задумчивой грустью глядя перед собой, — что дала обет: не позволять ухаживания и не выходить замуж, пока Базиль фон Кервенхайм на свободе на той горе.

— Но какое отношение имеет к вам предатель фон Кервенхайм, разбойник Фалькенштайга? — воскликнул я, поднимаясь с колен.

В ее глазах на мгновение вспыхнул гневный огонь, а маленькие белые ручки сжались в кулаки.

— Я скажу вам, — промолвила она с каким-то неистовством. — Сядьте здесь, рядом со мной.

Я покорно повиновался и выслушал пространную историю о том, как этот Кервенхайм смертельно оскорбил ее. При этом, насколько я мог судить, проступок не был слишком уж омерзителен и отвратителен, поскольку, похоже, заключался только в его любви к ней. Возможно, впрочем, что я недостаточно внимательно отнесся к деталям, которые она мне изложила, ибо мысли мои были далеко и сосредоточились на воспоминаниях, кои пробудило упоминание имени «Кервенхайм».

Мысленно я видел Базиля фон Кервенхайма таким, каким он был два года назад: самым веселым придворным в Шверлингене и, наравне со мной, в фаворе у короля. Я вспомнил, как его величество открыто пренебрегал им и как в отместку сей гордый дворянин перешел в ряды тех, кто стремился свергнуть Зонсбекскую династию.

В моем воображении возникла занятная сцена закрытого заседания совета, на котором его величество постановил, что десять главарей революционной партии должны быть тайно казнены, и в списке осужденных стояло имя Кервенхайма.

Затем я вздрогнул, вспомнив, как утро застало восьмерых из этих десяти остывшими и неподвижными в своих постелях. Двое остались на свободе; один был иностранный дворянин, о побеге которого рассказывали любопытную историю; другим был Базиль фон Кервенхайм, который, собрав вокруг себя нескольких заговорщиков, бежал в горы, где вел с тех пор жизнь грабителя и злоумышленника. Он захватил частично разрушенный замок на почти неприступном уступе Фалькенштайга и там устроил свой разбойничий двор.

Из задумчивости меня вывел голос моей собеседницы.

— До тех пор пока тот, кого называют Владетелем Фалькенштайга, не будет доставлен в Шверлинген, Хильда фон Барнабат не станет принимать ничьих ухаживаний. Таков, милорд, мой вам ответ.

Я встал и прошелся по балкону, прокручивая кое-что в уме. Ее эльфийская красота, музыка голоса и колдовство темных глаз воспламенили меня, и я наконец дал ей единственно возможный ответ, пообещав в выражениях решительных и образных, что захвачу Кервенхайма или погибну.

— *Вы?* — воскликнула она с ноткой насмешки в голосе. — *Вы?*

— А почему нет? — возразил я, слегка нахмурившись.

— Для такого предприятия нужен воин, а не галантный кавалер.

На какой-то миг я даже забыл, любил я ее или ненавидел.

— Пусть мне всего двадцать пять лет, сударыня, — ответил я, уязвленный ее тоном, — на моем счету около десятка дуэлей. Вы несправедливы, полагая, что хорошо подвешенный язык и бархатный дублет указывают на малодушное сердце. Если грубоватый любовник в кожаной куртке вам больше по вкусу, я бы посоветовал поискать его среди ваших конюхов.

— Останьтесь, Ронсхаузен, — воскликнула она, протягивая руки. — Простите меня! Я говорила необдуманно и не желала придавать словам тот смысл, который вы нашли в них.

Мой гнев испарился, как облако дыма.

— Мне гораздо легче умереть, — галантно и даже искренне ответил я, — чем жить без вас. И поскольку, по вашим собственным словам, вы не примете ухаживаний до тех пор, пока Кервенхайм не будет доставлен в Шверлинген, для меня открыт только один путь. Не говорите больше ничего. Я исполнен решимости, и мое слово твердо, как камень. Поединок начался, Владетель Фалькенштайга! — воскликнул я, поворачиваясь лицом к заснеженной горе, где стоял замок разбойника. — Прежде чем солнце взойдет снова, на свете не будет либо тебя, либо меня!

Хильда вздрогнула, когда я заговорил, и перекрестилась.

— Вы исполнены решимости? — спросила она некоторое время спустя. — Тогда идемте со мной. Возможно, я смогу вам помочь.

Она отвела меня обратно в комнату, которую мы недавно покинули, и, взяв перо и чернила, написала что-то на листке, пока я стоял, пораженный, рядом с ней, а затем велела мне прочесть:

Милорд,

я в крайне затруднительном положении и очень нуждаюсь — для защиты — в сильной руке и отважном сердце. Вы не раз говорили о своей любви ко мне. Если она еще не умерл, и вы готовы дать мне доказательство этого, встретимся завтра в час вечерней молитвы наедине у Алтаря Дьявола.

Хильда фон Барнабат.

Она запечатала послание и адресовала его графу Базилю фон Кервенхайму в его замок Фалькенштайг.

— Мой посыльный доставит это еще до утра, и завтра к полудню я получу ответ, который, обещаю вам, будет утвердительным, — сказала она. — Прошу вас, милорд, вернитесь в Шверлинген за конным отрядом и отправляйтесь с ним к Алтарю Дьявола, дабы наконец преуспеть там, где столь многие потерпели неудачу из-за отсутствия женского ума.

Я едва не вскричал от радости, поскольку, помимо обещания успеха, план был доказательством ее благосклонного отношения к моему сватов-

ству, иначе зачем бы ей было так стараться помочь мне заслужить право ухаживать за ней?

Я снова и со всей страстью поклялся, что прежде чем мир станет старше на двадцать четыре часа, Владетелю Фалькенштайга подрежут крылья. Затем, уходя, обнял ее с намерением поцеловать, но она с нежной твердостью отстранила меня от себя.

— Потом, — пробормотала она, и я, помня ее клятву, послушно вышел, более не ропща.

На следующее утро я явился к королю в ранний час. Камердинер не желал меня впускать, указывая, что его величество еще спит и что мне лучше подождать утреннего выхода короля.

Но, в конечном счете, после жарких споров и немалых угроз я все же добился своего и удостоился редкой чести узреть королевский лик под ночным колпаком.

Вид монарх имел бледный, под глазами темнели тяжелые круги, поскольку накануне вечером он устроил попойку для всех придворных Шверлингена, продолжавшуюся до тех пор пока все, кроме него, не оказались под столом — это был один из его любимых способов показать им, насколько он их превосходит.

Он был слишком вялым и сонным, чтобы рассердиться на меня за вторжение. Но при первом же упоминании имени Кервенхайма король резко выпрямился и показал, что действительно полностью проснулся. И когда я попросил дюжину вооруженных людей, чтобы отправиться и схватить ненавистного преступника, он дал мне свое согласие без малейшего колебания.

Полчаса спустя я снова был в седле, во главе двадцати отважных солдат в броне и стали, звон снаряжения которых звучал приятной музыкой для уха воина. Рядом со мной ехал лейтенант Штоффель, отважный юноша, жаждущий приключений и продвижения по службе, — лучшего товарища, чем он, у меня и быть не могло.

В полдень мы остановились в тенистой долине, примерно в трех милях от Лейбница и, пока мы там отдыхали, к нам присоединился неожиданный новобранец. Сама госпожа фон Барнабат.

Я удивился, увидев, как она приближается к нам между деревьями верхом на серой лошади, одетая в зеленую, отделанную золотым кружевом мантию для верховой езды, которая превосходно смотрелась на ее стройной фигуре. Но когда она спешилась и, смеясь, сказала, что пришла на свидание к Алтарю Дьявола, я выразил ей свой самый решительный протест. Эта женщина, однако, умела получать то, что хотела, и всегда своего добивалась; более того, она самым убедительным образом доказала мне, что ее присутствие совершенно необходимо.

— Можете не сомневаться, — безапелляционно заявила она, — хотя Кервенхайм и шлет сообщение, что будет там, он не покажется, пока не увидит, что я его жду. Мало того, что вы испытаете унижение, вернув-

шись с пустыми руками, так еще и, почуяв предательство в моем отсутствии, он может разобраться в этом деле и распорядиться так, чтобы вы вообще не возвратились.

В ее аргументах был смысл, и потому в конце концов я с ней согласился и принялся успокаивать Штоффеля, который клялся всеми чертями Ада, что в таком деле, как наше, женщины — лишнее.

Солнце едва скрылось за Кройсенскими Альпами, когда мы достигли отрогов Фалькенштайга. Последние три или четыре лиги мы продвигались осторожно, держась под прикрытием деревьев, чтобы блеск стали столь многочисленного отряда не предупредил о нашем приближении обозревавших окрестности сверху дозорных.

Мы ненадолго остановились на возвышенности, пока я держал военный совет со Штоффелем и уславливался о том, как нам следует действовать. Затем, дабы не заставлять Владетеля Фалькенштайга ждать, мы быстро двинулись вперед.

Спустя несколько минут нам пришлось спешиться и повести лошадей вверх через покрывавший горный склон густой сосновый лес, пока я опять не скомандовал остановиться.

В сотне ярдов впереди лежало открытое пространство. За ним возвышалась стена зазубренных гранитных скал, известных как Алтарь Дьявола. Тени деревьев с каждым мгновением становились длиннее и гуще, и там, где мы стояли, царила почти ночная тьма.

Как раз в тот момент, когда мы остановились, из долины, принесенный ветерком, от которого в соснах послышался дрожащий шелест, донесся возвещавший вечернюю молитву звук колокола. Приказав своим людям оставаться на месте, я снова вскочил в седло и поскакал вперед к самому краю деревьев, ведя лошадь миледи под уздцы. В последний момент сердце мое сжалось от дурного предчувствия, и, опасаясь, как бы с моей спутницей не случилось несчастья, я даже шепнул ей, чтобы она не показывалась, а предоставила все дело нам.

— Теперь, Ронсхаузен,— воскликнула она, — отступать уже слишком поздно!

Она была смертельно бледна, ее рука, которую я поднес к губам, слегка дрожала, но, когда она отважно вышла на открытую поляну, на устах ее плясала храбрая улыбка.

Когда она остановилась у гранитного алтаря, из долины донесся последний звон колокола; затем стук копыт разбудил эхо на склоне холма.

Я на миг оглянулся. Не издавая ни звука, чтобы не выдать свое присутствие, мои люди постепенно рассредоточились по лесу, как я им велел, с расчетом окружить Алтарь Дьявола и быть готовыми выскочить по моему сигналу.

В следующее мгновение на открытой поляне перед миледи возник всадник и, склонившись над шеей своего жилистого коня, взмахнул шляпой с плюмажем. Это был стройный, гибкий мужчина лет тридцати, с голубыми

глазами и длинными светлыми локонами, которые странно контрастировали с его бронзовой кожей. Под курткой из прочной кожи красовался дублет из дорогого темно-красного бархата с тончайшими пышными кружевами на запястьях. С отделанной золотом перевязи из черного шелка свисала длинная рапира. Вообще, он больше походил на придворного задиру, чем на бандита с гор.

С первого же взгляда я узнал Кервенхайма, но у меня было мало времени, чтобы потворствовать своей фантазии в каких-либо сравнениях относительно того, насколько он мог измениться с тех пор, как я видел его в последний раз. Пока я отмечал изложенные выше детали, он направил свою лошадь вперед и, прежде чем я успел пошевелить пальцем, схватил леди Хильду за талию левой рукой, снял с седла и бросил перед собой, как мешок с зерном, через шею лошади. Резко развернувшись, он вонзил шпоры в бока своего коня и с диким смехом помчался вокруг алтаря тем же путем, которым и прискакал.

Слабый, приглушенный женский крик зазвенел у меня в ушах.

— Ко мне, Ронсхаузен! На помощь!

Я бросился за ними. Огибая деревья, через поляну и вокруг гранитных валунов я мчался, стиснув зубы, в бешеном темпе, рискуя в любой момент сломать себе шею, если бы моя лошадь случайно оступилась. Передо мной пролегала почти ровная дорога, и по ней, примерно в тридцати ярдах впереди, несся Кервенхайм. Его шляпа слетела на землю, и длинные светлые локоны развевались позади него на ветру.

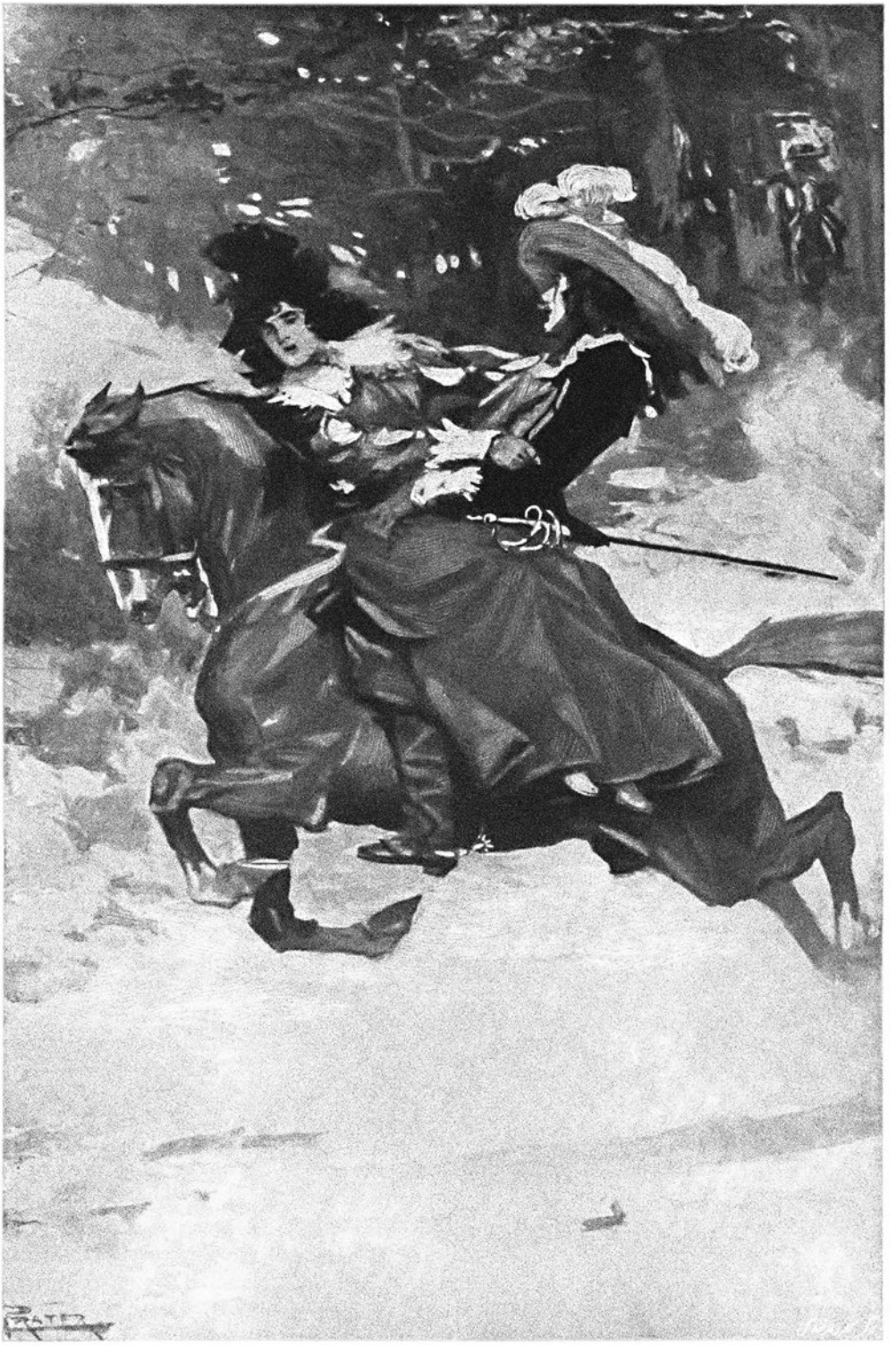
И все же, несмотря на двойную нагрузку на его коня, я не догнал разбойника, потому что его жеребец был свежее, в то время как моя лошадка в тот день проделала длинный путь и уже начала фыркать.

— Штоффель! — проревел я. — Штоффель!

В следующую минуту раздался выстрел, произведенный от дерева справа, и пуля просвистела рядом. За первым выстрелом последовал второй, третий. Я выругался и еще глубже вонзил шпоры. Моя лошадь, взбешенная наказанием, резко дернулась и встала на дыбы, так что я едва успел выпрыгнуть из седла, прежде чем она рухнула с пулей в груди. Я не остановился, чтобы посмотреть направо или налево, но, сунув шпагу под мышку, побежал так быстро, как только позволяли мои негнущиеся колени и тяжелые сапоги. Позади меня раздался стук копыт. Я обернулся и, к своей радости, увидел Штоффеля и остальных, приближавшихся ко мне растянутым галопом.

Где-то треснул мушкет, за ним раздалось с полдюжины выстрелов, а потом, казалось, целый полк дал залп. Я снова оглянулся. Штоффель все еще скакал первым, на добрых десять ярдов опережая своих людей, но позади него уже несколько лошадей лишились всадников.

Передо мною был мост. Я взбежал на него и вслепую двинулся дальше. Кервенхайм казался всего лишь размытой тенью в сумерках, с каждым мгновением становившейся все менее отчетливой. Горло сжалось от бессилия; в ярости и отчаянии я изрыгал проклятья, ругался и плакал на бегу.



Он бросил ее перед собой, как мешок с зерном, через шею лошади.

Но едва я сбежал с моста, как из-за деревьев по обе стороны пыльной горной дороги выскочили вооруженные люди. В одно мгновение меня схватили, повалили на землю и обезоружили, прежде чем я успел воспользоваться шпагой. Опустившись рядом со мной на колени, они связали меня по рукам и ногам; в рот мне засунули кляп, после чего меня оставили лежать на спине, словно связанную птицу, и смотреть в синее небо, где то тут, то там появлялась звезда, тогда как мои похитители вернулись к мосту, чтобы не позволить моим людям пройти. Скачущий отряд приблизился, и вскоре по мосту зазвенели копыта: отряд с боем пробивался вперед. Крики, проклятия, стоны смешивались с испуганным ржанием раненых животных.

Кто-то бросился к тому месту, где я лежал. Полдюжины разбойников вступили в борьбу с крепышом, который заставил дюжину их рук трудиться вовсю. В конце концов бандиты повалили его, связали и бросили рядом со мной. Это был бедняга Штоффель. Ему тоже заткнули рот кляпом, говорить он не мог, но красноречивый взгляд его пылающих глаз был ужасен.

Так мы и лежали бок о бок, пока наконец бой не прекратился, и мы не поняли, что те из наших, кто не погиб, бежали. Это мало что значило. Я уже не сомневался, что рассвет застанет нас на Соколиной виселице, о которой мне доводилось слышать жуткие истории, и у меня было тяжело на сердце — не за себя, но за тех, кого я привлек к этому безумному предприятию.

* * *

Ночь мы провели в мрачном подземелье старого замка, и рассвет застал нас замерзшими и в самом подавленном состоянии. Мы ожидали встретить уготовленный нам, как мы полагали, конец, но настраивались к нему немного по-разному. Я сидел на деревянной скамье, пытаясь вспомнить какую-нибудь из тех молитв, которым моя мать учила меня в детстве. Штоффель, опустив голову, расхаживал из угла в угол и перебирал в уме давно забытые проклятия.

В конце концов мой разум вернулся к вещам материальным, мысли мои, естественно, обратились к миледи, и я громко застонал от осознания собственной глупости, по причине которой позволил ей сопровождать нас. Для нас — меня и Штоффеля — это не имело большого значения. Короткая отсрочка засчитывается в жалованье солдата, а смерть — хотя она и не слишком приятна, когда ты молод, — ставит крест на всем. Для нее же все складывалось по-другому. Она даже не удостоилась бы милости умереть. Ей придется жить — жить во власти разбойника Фалькенштайга.

Тщетно я пытался утешить себя тем доводом, что Кервенхайм — человек благородной крови и джентльмен. Я с полной ясностью сознавал, что тот, кто в течение двух лет вел безрассудную жизнь Владетеля Фалькенштайга и общался с такими людьми, какие имелись у него под рукой, едва ли будет любезен в своих манерах и привычках.

В одно мгновение меня схватили, повалили на землю и обезоружили, прежде чем я успел воспользоваться шпагой.

Наконец мои мрачные размышления были прерваны — дверь открылась, и появился тот, кто исполнял обязанности нашего тюремщика.

— Кто из вас называет себя Отто фон Ронсхаузеном? — грубо спросил разбойник.

Я ответил ему, что я, и он велел мне пойти с ним к Владетелю Фалькенштайга.

Когда я вошел в Rittersaal[1], где меня ждал Кервенхайм, тот приветствовал меня любезным кивком.

[1] Парадный зал рыцарского замка (нем.)

— Добро пожаловать в Фалькенштайг, мой дорогой Ронсхаузен, — весело воскликнул он. — Визит главного фаворита его величества — честь, на которую я даже не смел надеяться, хотя частенько и думал об этом, как некоторые думают о каком-нибудь замке в Испании. Проходите, раздавим по этому поводу бутылочку.

— Я бы сейчас с куда бóльшим удовольствием размозжил чью-нибудь голову, — угрюмо ответил я. — Herr Gott[1], сударь, неужели вы настолько потеряли всякое чувство приличия и отреклись от принципов, которые в вас воспитали, что можете все это обращать в шутку? Если под этим дублетом, который, даже не сомневаюсь, вы стащили с вьючной лошади какого-нибудь странствующего портного, осталась хоть искра чести, давайте уладим это дело между собой. Верните мне шпагу, и выйдем отсюда на свет.

Ответом мне был взрыв смеха.

— Черт бы вас побрал, сударь! — вскричал он. — Я не собираюсь убивать вас; живой вы для меня дороже. Да и потом, если вы устали от жизни, есть и другие способы избавиться от нее, помимо моего клинка — хотя умереть до того, как вы послужите мне, было бы слишком низким трюком.

— И что же это может быть? — спросил я, позволяя любопытству пересилить гнев, который вызвала его насмешка.

— Говорят, король вас очень любит.

— Я слышал об этом, — бесстрастно ответил я.

— Следовательно, можно предположить, что он заплатит за вас большой выкуп.

— Кервенхайм, вы мне отвратительны! — воскликнул я. — Himmel! Я общался с вами, сидел с вами за одним столом, играл с вами в карты, но уж лучше я отправлюсь к праотцам, чем добровольно останусь в одной комнате с тем, кто мог подумать о такой иудиной сделке — торговле плотью и кровью, которую презрел бы даже еврей!

Темный румянец проступил на его лице, голубые глаза резанули блеском стали. На какой-то миг мне показалось, что сейчас он меня ударит.

— Замолчите, глупец! — резко пробормотал он. — И если вина со стола Людвига не совсем затуманили вам мозги, подумайте. Кто заставил вас вести против меня эту бесчестную игру? Вот вы говорите, что сидели со мной за одним столом. И все же вы не постеснялись попросить у короля конный отряд, чтобы прийти и схватить своего бывшего товарища, коему уготовила ловушку девица, пленившая ваше воображение. Я когда-нибудь причинял вам зло, Ронсхаузен? За что у вас на меня зуб? Или вы полагаете, что, если бы вас объявили вне закона и оставили воевать со всем миром, дабы изо всех сил бороться за свое существование, я поступил бы так же, как поступили вы, всего-навсего по наущению женщины? Полноте, милорд, мне кажется, это вы вели себя, как Иуда.

[1] Господи (нем.)

— Верните мне шпагу, и выйдем отсюда на свет.

Что я мог ему ответить? Каждое сказанное им слово было правдой, хотя до той минуты мне все представлялось в ином свете. Я видел в нем исключительно врага короля и государства, против которого я как верноподданный имею право вести войну, не задумываясь о том, что мои действия продиктованы не верностью или честью, а языком женщины.

Как ни странно, когда я осознал все это, леди Хильда упала в моих глазах, и с того момента я любил ее уже куда меньше за то, что она втянула меня в столь недостойное предприятие. Перед моими глазами встал образ Фреды фон Хорст — такой нежной, такой доброй, такой невинной. Она бы не понудила меня играть роль жандарма.

И все же, разве я не должен был корить себя больше, чем леди Хильду? Разве не я сам предложил взяться за это дело? Она не просила меня, даже

не предлагала мне это сделать. Каковы были ее слова? Да, в тот момент я их вспомнил: «До тех пор пока тот, кого называют Владетелем Фалькенштайга, не будет доставлен в Шверлинген, Хильда фон Барнабат не станет принимать ничьих ухаживаний».

Я был несправедлив; корить ее было не в чем. Только тогда я вспомнил о ее собственном незавидном положении и почти невольно выпалил:

— Что вы с ней сделали?

— С кем?

— С графиней фон Барнабат. Где она?

Он тихо рассмеялся.

— На пути в Шверлинген.

— Вы отпустили ее?! — пылко воскликнул я.

Он взял со стола шляпу и водрузил на голову.

— Она отправилась диктовать королю условия вашего выкупа. Говорят, он вас любит. Я верю, что так оно и есть, поэтому выкуп за вас — земли Кервенхайма, мое имя и честь. Либо в один из ближайших трех дней я поеду в Шверлинген и получу от его величества прощение, либо вы, мой друг, будете повешены вон на той сосне.

До меня начало доходить.

— Она уехала, чтобы предложить эти условия? — ахнул я.

— И добиться от короля разрешения стать моей женой, — сказал он.

Какой жестокий удар! Какое разочарование! Мои чувства смешались.

— Будь я проклят! — вскричал я. — Выходит, меня одурачили?

Пару мгновений он смотрел на меня печально, потом вздохнул.

— Хотел бы я, чтобы все было иначе, Ронсхаузен, но что сделано, то сделано. Не вините ее. Она любила меня всем сердцем и потому, забыв о своей гордости, помогла мне захватить единственного человека во всем Заксенберге, за которого я мог потребовать упомянутый выкуп. И все же, — он снова вздохнул, — я хотел бы, чтобы все было иначе.

* * *

Но когда я, Отто фон Ронсхаузен, глажу белокурую головку моей жены и смотрю в ее нежные карие глаза, я воздаю хвалу Господу за то, что все не было иначе, ибо король быстро заплатил за меня выкуп, после чего Кервенхайм, восстановленный в своих правах, стал одним из самых верных его защитников.

ЗАТЕЯ Д'ОБВИЛЯ

Будучи предупрежденным о том, что в то утро настроение у его величества — не из лучших, я не без некоторого трепета пересек парадную вслед за лакеем, вызвавшим меня из караульного помещения.

Я застал короля наедине с милордом Ронсхаузеном, и едва оказался в его присутствии, сразу же понял, что мой информатор ничуть не преувеличил состояние королевских нервов. Лицо короля было багровым, а обычное добродушное выражение омрачалось хмурым взглядом, который сделался сердитым, как только он увидел меня.

— Это еще что за шутки, болван? — воскликнул он, поворачиваясь к лакею. — Зачем ты привел ко мне лейтенанта Штоффеля? Разве я не сказал, что мне нужен капитан фон Грюнхайн?

— Быть может, ваше величество не изволят гневаться, когда узнают, что Риттер фон Грюнхайн лежит в постели с приступом подагры, который не позволяет ему ступить на землю?

— Ну и дела! Похоже, моим стражникам нужен новый капитан со здоровыми и крепкими ногами. Но разве я, — прорычал он, снова набрасываясь на незадачливого слугу, — просил тебя оставаться здесь? Так и будешь стоять тут весь день, dummkopf[1]?

Несчастный с готовностью отступил перед бурей августейшей раздражительности и через секунду скрылся из виду в складках портьеры. Когда он ушел, король вроде как немного успокоился и подошел к окну, у которого стоял милорд Ронсхаузен. Какое-то время они беседовали так тихо, что, за исключением крепких словечек, время от времени срывавшихся с уст его величества, я ничего из сказанного не расслышал. Наконец, в который уже раз нетерпеливо поведя плечами, Людвиг IV снова повернулся ко мне.

— Итак, — сказал он, — твой капитан не в состоянии почтить нас своим присутствием! Ты слышал новости?

— О набеге на Морицау, сир?

---

[1] Дурак, глупец, болван (нем.)

— Ну да, о чем же еще? Heilige Jungfrau [1], я думал, что покончил с этими проклятыми разбойниками Фалькенштайга, когда простил Кервенхайма. Я надеялся, что шайка разбежится, а вместо этого узнаю́, что у них появился новый вожак. Тебе что-нибудь известно об этом Фельсхайме, которого они избрали своим главарем?

— По словам Риттера фон Грюнхайна, сир, это разорившийся картежник из Вюртемберга, к разбойникам Фалькенштайга он присоединился около года тому назад. Какое-то время он был лейтенантом Кервенхайма. Поговаривают, он очень смел и дерзок.

— Да, и большой весельчак, — пробормотал Ронсхаузен, — если уж пародирует привилегию вашего величества взимать налоги.

— Клянусь Святой Могилой, сегодня он, быть может, и смеется, — свирепо прорычал король, — но посмотрим, так ли уж ему будет весело, когда его вздернут на одной из виселиц Шварценбаума. Штоффель, — резко добавил он, — возьми человек двадцать и проследи за тем, чтобы уже через час все были в седле и готовы покинуть Шверлинген.

— И куда я должен буду направиться, ваше величество?

— Куда? — воскликнул он с новой вспышкой гнева. — Куда? В Морицау, к дьяволу, да куда тебе заблагорассудится, лишь бы ты вернулся с Фельсхаймом или его трупом. Теперь понятно?

— Да, сир, как нельзя лучше. Выезжаю немедленно, — и, видя, что оставаться в такой атмосфере опасно, я поклонился и без дальнейших церемоний развернулся и направился к выходу.

— Штоффель! — воскликнул король, когда моя рука коснулась портьеры. — Я выплачу вознаграждение в пять тысяч крон за этого разбойника, живого или мертвого. Доставь его в Шверлинген, и награда — твоя!

Я молча поклонился и уже одной ногой переступил порог, когда он снова меня окликнул.

— Штоффель, черт бы побрал твое нетерпение! Если ты его привезешь, я сделаю тебя капитаном моей стражи, а старику Грюнхайну — да будет проклята его подагрическая нога — назначу пенсию!

— Ваше величество слишком добры ко мне. Я сделаю...

— Да, да. Ступай, парень, не стой там вечно. Убирайся!

Мало того, что он проклял мое нетерпение, так еще и обругал как какого-нибудь бездельника, хотя я задержался исключительно потому, что он сам меня окликнул! Определенно, в то утро он пребывал в не самом благостном настроении.

Час спустя, сменив шляпу с плюмажем на стальной шлем и вооружившись так, словно отправлялся на войну в чужих краях, я проскакал во главе своего отряда по улицам Шверлингена и с грохотом выехал через Хайнрихстор на дорогу, что вела в Морицау.

Мы прибыли туда в полдень следующего дня и были встречены вестями о том, что Фельсхайм двинулся на юг, а накануне вечером совершил еще один

[1] Святая Дева! (нем.)

Я проскакал во главе своего отряда по улицам Шверлингена
и с грохотом выехал через Хайнрихстор на дорогу,
что вела в Морицау. Мы прибыли туда в полдень следующего дня
и были встречены вестями о том, что Фельсхайм двинулся на юг...

набег — на деревушку Фенсбрюке. Он и в самом деле был дерзкий малый, раз уж отважился отойти столь далеко от замка Фалькенштайг.

На возвышенностях — или, скорее, на горе Фалькенштайг — он мог противостоять любой армии без малейшего опасения угодить в плен. Но продвигаясь дальше, на открытую местность, в то время как за ним повсюду вели охоту люди короля, и тем самым рискуя оказаться отрезанным от всех возможных путей к отступлению, он действовал слишком уж смело, — такого я от него не ожидал.

Я незамедлительно отправил одного из солдат в Шверлинген с просьбой к королю прислать мне, по меньшей мере, еще человек двадцать, а сам сразу же поехал в Фенсбрюке. Мы прибыли туда в тот же вечер, и жители деревни приветствовали нас достаточно радостно, ибо наше прибытие означало защиту, в которой, впрочем, они нуждались не так уж и сильно, ибо Фельсхайм оставил им мало чего такого, что можно было бы защищать. Держа этот факт в уме, а также в силу кое-каких добытых мною новостей о передвижениях Фельсхайма, мы пробыли в деревне всего с пару часов, не более, и тем же вечером перебрались в соседний городок Штайнау, где я на какое-то время устроил штаб и принялся ждать запрошенный мною отряд.

С учетом порученного мне задания по поимке разбойника, что, впрочем, и так было моим, лейтенанта стражи, долгом, я сплел для этой цели обширную и прочную сеть, однако подробностями о том, что и как было сделано, утомлять вас не стану. Но в том рвении, с коим я принялся за работу, было и нечто большее, чем просто долг. Одна восхитительная, с озорным взглядом блондиночка из Шверлингена с нетерпением ждала известия о том, что Ганс Штоффель заслужил славу, пять тысяч крон и звание капитана, а теперь едет в столицу, чтобы жениться на ней. Она была дочерью Риттера фон Грюнхайна, а старый воин не слишком-то благосклонно относился к моему сватовству. Поначалу он недовольно хмурился всякий раз, когда видел нас вместе, но затем все же соизволил пообещать, что, когда я получу звание капитана, он меня выслушает.

И вот теперь мне представился шанс, и я был решительно настроен одержать победу. В глубине души я благословлял Фельсхайма, предоставившего мне такую возможность, и благословил бы его еще раз десять в тот день, когда повез бы в Шверлинген, где его ждала виселица.

В течение трех дней после прибытия в Штайнау я не получал о Фельсхайме никаких известей. Несомненно, негодяй вознамерился никоим образом не привлекать внимания к своему нынешнему местонахождению. Между тем я разослал по округе шпионов, в основном крестьян, коих я привлек на службу обещанием ста крон любому, кто принесет мне новости, которые приведут к поимке Фельсхайма.

Наконец из Шверлингена прибыл отряд под командованием сержанта, который сообщил мне нечто совершенно ошеломляющее: у меня, дескать, появился соперник, поспоривший на десять тысяч крон, что он схватит Фель-

схайма в одиночку, — вот только, добавил сержант, часов в одиннадцать вечера, когда нужно будет забрать бандита и переправить в столицу, нам, возможно, придется помочь этому спорщику людскими ресурсами.

Эта новость меня озадачила; я уже начинал опасаться, как бы этот незваный гость не опередил меня и не лишил тем самым победы. Впрочем, рассмеявшись, я спросил у сержанта, как зовут этого безумного хвастуна.

— Это молодой французский дворянин, прибывший ко двору прямо в день вашего отъезда. Как я слышал, выпив в тот вечер за столом слишком много вина, он заключил пари с милордом Ронсхаузеном. Сначала его величество оставил их спор без внимания, но в конечном счете объединенные усилия этого француза и милорда Ронсхаузена, который сейчас сильно нуждается в деньгах, побудили короля выдать господину д'Обвилю желанный ордер, в соответствии с которым ему разрешается запросить оговоренную в пари помощь в том случае, если она ему понадобится.

— И это он называет «провернуть в одиночку»?

— Похоже, он все же попытается заманить Фельсхайма в западню сам, без посторонней помощи. Я слышал, это до безрассудства смелый дворянин, героически проявивший себя на родине, в Ла-Рошели, — по слухам, у Людовика XIV он на отличном счету.

— В этом предприятии доблесть ему уж точно понадобится, — пробормотал я. — Он попадался тебе на глаза в Шверлингене?

— Нет, он уехал поздним вечером в день прибытия, сразу же после получения королевского ордера.

— Тогда где он сейчас? — воскликнул я в изумлении.

— С тех пор о нем ничего не было слышно.

Я рассмеялся, ибо представлялось вполне вероятным, что в своем пылком стремлении подобраться поближе к Фельсхайму этот парень уже расстался с жизнью или же угодил в руки разбойников.

В тот же день я уже закончил свою полуденную трапезу, но все еще сидел за столом в общем зале постоялого двора «Черный бык», где снял комнату, когда одна из дверей, располагавшихся у лестницы, распахнулась и в зал прошел высокий, прекрасно сложенный мужчина с румяным лицом. Он был в кожаной куртке без рукавов, надетой поверх дублета, и высоких сапогах для верховой езды из необработанной кожи; на боку у него болталась поразительной длины и прочности шпага. С поля его коричневой шляпы, смешиваясь с волосами, с которыми оно было почти схоже по цвету, свисало длинное красное перо.

Это был примечательный мужчина, чья внешность определенно привлекала к себе внимание, и, когда он прошел мимо меня твердым шагом, каждой линией своей ладно скроенной фигуры выражая решимость, силу и бойкость, я окинул его пристальным взглядом. Очевидно, он был солдатом. Я понял это как по его военной выправке, так и по одежде, и пока я размышлял о том, к какой он может принадлежать службе, его взгляд встретился с моим,

и, внезапно осознав, что я смотрю на него скорее изучающе, нежели вежливо, я отвернулся. Впрочем, через окно я увидел, как он вскочил на коня и ускакал прочь, и это зрелище лишь утвердило меня в уже сформировавшемся у меня мнении.

Едва он скрылся за углом, тишину спокойной улицы разорвали стук копыт, щелканье кнутов и громыханье колес кареты. Спустя мгновение хорошо оборудованный дорожный экипаж, запряженный четверкой взмыленных лошадей, с оглушительным шумом подъехал к воротам «Черного быка».

Случайно взглянув в тот момент на трактирщика, который поспешно выскочил за порог встречать нового гостя, я вдруг обратил внимание на поведение некоего крестьянина, вот уже некоторое время находившегося вместе со мной в общем зале, — до сих пор я его почти не замечал. Теперь же он вскочил на ноги и стоял в дверях гостиницы, с открытым ртом глядя в том направлении, куда вниз по улице умчался дворянин с румяным лицом, и при этом, казалось бы, совершенно не замечая нового постояльца. Почти тотчас же крестьянин перевел взгляд на меня, и, по выражению его лица, я уж было подумал, что он вот-вот ко мне обратится, но тут поперек притолоки упала тень, и до моих ушей донесся мягкий, почти женственный голос.

— A, monsieur le Capitaine[1], добрый день!

Стоявший передо мной смуглый, стройный мужчина кланялся мне, широко размахивая шляпой с плюмажем и забрасывая меня тысячью комплиментов относительно того, какая, дескать, это для него честь — возможность лично со мной познакомиться.

Он был одет по последней моде и вооружен тонкой рапирой с эфесом, украшенным драгоценными камнями, и тростью с золотым набалдашником; кроме того, от него жутко разило мускусом. Пару мгновений я искоса взирал на его грациозные антраша, задаваясь вопросом, с каким еще таким французским (кто он по национальности, я догадался по его говору) танцмейстером мне довелось познакомиться, когда на сей счет меня просветили его следующие слова:

— Я месье д'Обвиль, — промолвил он, распрямившись и явив моему взору бледное, благородное лицо. — Возможно, вы слышали обо мне и о том деле, которое привело меня в Штайнау.

Я поклонился и ответил утвердительно, немало изумленный услышанным. Неужели этот забавный щеголь, этот дамский угодник и есть тот самый человек, который решил изловить самого дерзкого разбойника, когда-либо сидевшего в седле? Heilige Jungfrau! Не будь это невежливо, я бы рассмеялся ему прямо в лицо.

— Не присядете ли вы, сударь? — сказал он с иностранным акцентом, коим отличалась его речь. — И позвольте мне заказать вино.

[1] Господин капитан (фр.)

Он был одет по последней моде... Пару мгновений я искоса взирал на его грациозные антраша.

Он подозвал хозяина, тот с готовностью откликнулся, и, когда принесли вино и трактирщик покинул нас, спросил, есть ли у меня какие-либо новости о Фельсхайме.

По правде говоря, я мало что знал, но и о том немногом, что мне было известно, я был намерен держать язык за зубами, ибо у меня имелась веская причина быть недовольным его вмешательством: пусть с той минуты, как я увидел его, я и перестал его опасаться. Тем не менее, в своем ответе я был вежлив.

— Как мне ни прискорбно сообщать это вам, месье д'Обвиль, новостей о нем у меня вообще никаких.

Я уже видел, как от меня уплывают звание капитана и пять тысяч крон.

Он с недоверием, а может, и в силу нетерпения, покачал головой, и я был вынужден добавить:

— Дело более сложное, чем казалось на первый взгляд, месье, и боюсь, вскоре вы сами это поймете.

Он улыбнулся с выражением глубочайшего снисхождения.

— Ну, — сказал он, — оно и впрямь могло бы оказаться сложным, реши я действовать с помощью силы, как это делаете вы. Но в военной науке есть такая штука, как стратегия. А теперь скажите мне, сударь, что вы намереваетесь делать с теми двумя десятками человек, которых вам дал король?

— Отрезать Фельсхайму отступление к возвышенностям.

— Этого-то я и боялся. И вы полагаете, Фельсхайм ничего об этом не знает?

— А даже если и знает — что с того?

— Что с того? — переспросил он. — Pardieu[1], скажите мне, monsieur le Capitaine, а вам не приходило в голову, что, располагая подобной информацией, Фельсхайм примет необходимые меры предосторожности? Вы ищете небольшую армию, в которой с полсотни разбойников. И что помешает полу-

[1] Ей-богу (фр.)

сотне мирного вида крестьян пройти один за другим сквозь ваши шеренги? Скажите, откуда вы знаете, что этого уже не произошло?

Я откинулся на спинку стула, понимая, что предположение этого щёголя является не таким уж и невероятным, и постепенно начал осознавать, что, быть может, он вовсе и не такой дурак, каким я его считал сначала.

— Не беспокойтесь, monsieur le Capitaine, — добавил он, прикоснувшись изящными белыми пальчиками, унизанными перстнями с ослепительно сиявшими камнями, к моему рукаву, — этого пока что еще не случилось.

— Вы прекрасно информированы, — воскликнул я, не сдержав усмешки.

— Как видите, — холодно ответил он. — Вы только что заявили мне, monsieur, что вам ничего неизвестно о местонахождении Фельсхайма, и добавили, что я, вероятно, столкнусь в своем деле с множеством трудностей. Eh bien, monsieur[1], позвольте мне сообщить вам, что я знаю, где этот разбойник будет этим вечером, в девять часов, — и будет один. Нет-нет, не нужно так волноваться; прошу вас, сядьте и выслушайте меня. Мне нужна ваша помощь.

Я в смятении ждал от него продолжения, мысленно уже стеная от отчаяния и видя, как от меня уплывают звание капитана и пять тысяч крон, а вместе с ними и малышка Агата фон Грюнхайн.

— Я устроил для негодяя ловушку, — продолжал француз. — Как я установил, в броне этого Фельсхайма есть слабое место — женщина, cela va sans dire[2]. Свои безумные набеги он совершает не в поисках добычи, как вы полагаете, а в поисках этой девушки, которую ее отец куда-то увез — вследствие этой неуместной привязанности, из деревушки Штанштадт на отроге Фалькенштайга. Я написал Фельсхайму, заявив, что располагаю информацией о местонахождении его возлюбленной и готов продать ему эти сведения. Я предложил ему встретиться со мной кое-где сегодня вечером и сказал ему, что, если он явится не один, то на месте rendez-vous[3] меня не обнаружит. Вот его ответ.

Я взял протянутый мне листок и прочел следующее:

Кем бы вы ни были, от всего сердца благодарю вас за подаренный мне луч надежды. Завтра в девять часов вечера я буду в охотничьем домике и клянусь, что приду один. Вы осторожны, но и я осторожен не меньше вас, и, если с вами будет сопровождение, будьте уверены: вы меня не увидите; если же вы меня предадите, поверьте, вы в этом сильно раскаетесь.

А. ф. Ф.

Это было достаточно зловещее письмо, а сидевший передо мной щеголеватый денди едва ли выглядел человеком, который рискнул бы навлечь на себя месть разбойника.

---

[1] Так вот, монсеньор (фр.)

[2] Само собой разумеется (фр.)

[3] Встреча (фр.)

— И вы намерены пойти туда? — спросил я.

— Crédieu[1], разумеется, намерен. Все, что мне от вас нужно, monsieur le Capitaine, — это чтобы вечером вы были наготове с полудюжиной человек, и ровно в десять спокойно выехали из города и направились к охотничьему домику, что стоит на окраине Темного леса. Знаете это место?

Я кивнул.

— На то, чтобы добраться туда, у вас уйдет с четверть часа. Только постарайтесь при приближении не шуметь; вам будет лучше спешиться, как только окажетесь ярдах в ста от домика, и дальше пройти пешком. Затем подождите, пока я не позову вас. Если до одиннадцати этого не произойдет, возвращайтесь в Штайнау и займитесь поисками Фельсхайма уже сами, ибо это будет означать, что я потерпел неудачу и на месте рандеву были люди Фельсхайма. Вам все понятно?

Я снова кивнул и уже собирался задать вопрос, но господин д'Обвиль ответил на него, прежде чем я успел открыть рот, сказав, что, если все пройдет хорошо, королевская награда в пять тысяч крон все равно достанется мне. Это заметно подняло мне настроение, и я почти не сомневался, что, если наше предприятие увенчается успехом, звание капитана тоже от меня никуда не денется.

Случайно подняв глаза, я вдруг встретился с пристальным взглядом крестьянина, которого впервые заметил, когда постоялый двор покинул дворянин с румяным лицом. И снова мне показалось, что этому типу не терпится ко мне обратиться. Я не ошибся. Возможно, прочитав на моем лице вопрошающий взгляд, крестьянин подошел к нашему столу и попросил у меня разрешения кое-что сказать. Получив оное, он поинтересовался, не лейтенант ли я Штоффель, на что я, естественно, ответил утвердительно.

— И вы ведь пытаетесь изловить этого бандита Фельсхайма, не так ли?

— Так и есть, — ответил я.

Господин д'Обвиль взглянул на парня со странной смесью любопытства и презрения: для французского дворянина крестьянин не человек, а животное низшего порядка.

— Вы с ним встречались? — таков был следующий вопрос моего собеседника.

— И как бы это было возможно? — вопросил уже я.

— У вас даже нет его описания?

— Увы, но нет. Мой отъезд из Шверлингена выдался слишком внезапным, — затем, вспомнив, с кем я разговариваю и что я стою, как идиот, и отвечаю на вопросы незнакомца, я начал проявлять нетерпение. — К чему все эти вопросы, плут?

На загорелом лице крестьянина возникла странная улыбка.

— А вы видели рыжеволосого дворянина, покинувшего постоялый двор за пару минут до прибытия этого благороднейшего лорда?

[1] Черт возьми! (фр.)

Я схватил его за воротник жалкого дублета и яростно встряхнул.

Д'Обвиль быстро вскинул на него глаза.

— Рыжеволосого? — сказал он. — Такого высокого, военной выправки, мужчину с остроконечной бородкой?

Я перевел взгляд с одного на другого, и то, что я увидел на их лицах, породило в моей голове странную фантазию.

— Кто это был? — спросил я, обращаясь к крестьянину.

Я уже заранее знал, каким будет его ответ.

— Андреас фон Фельсхайм, ваша добыча.

— Тебе-то откуда это известно?

— Как — откуда? Я ведь из Морицау, где этот пёс неделю назад лишил меня всего моего скудного скарба, — ещё бы мне не знать!

Вне себя от гнева, я схватил его за воротник жалкого дублета и яростно встряхнул.

— Идиот! — прорычал я. — Ты видел его, знал, кто он такой, но так и сидел там, в зале, не произнеся ни слова, хотя это позволило бы нам его задержать! Неужто он лишил тебя не только твоего скарба, но и последних мозгов? Да уж!

Ослабив хватку, я повернулся к господину д'Обвилю. Он стоял подбоченясь, глаза его свирепо сверкали, на его женоподобном лице играла усмешка.

— У вас что, действительно нет описания этого бандита? Да я бы...

— Мне нет никакого дела до того, *что* бы сделали вы, — сердито выпалил я. — Как и вам не должно быть дела до того, *что* делаю я.

— Pardon[1], — пробормотал он с поклоном. — Услышанное так меня взволновало, что я позабыл о хороших манерах. Вы абсолютно правы: не мне судить о том, как вы ведете свою операцию, так что прошу вас простить мне высокомерие моего вопроса.

Несмотря на это вежливое извинение, в нашем общении с той минуты чувствовалась некоторая напряженность, и я ощутил облегчение, когда он отправился в свою комнату, сказав, что ему нужно переодеться и привести свою внешность в большее соответствие с его ролью торговца информацией.

Хотя он уже и доказал мне, что является человеком сообразительным и наделенным способностью к коварным интригам, все же, когда я мысленно сравнил его стройную фигуру с плотной комплекцией разбойника, у меня зародились определенные опасения относительно исхода его рискованного предприятия.

Если, конечно, изящные кружевные манжеты на его запястьях не скрывали силу, как минимум, аналогичную тому острому уму, который таился за его глупой наружностью; мне казалось, что охотник, скорее всего, сам превратится в добычу еще до того, как охота будет закончена. Обсуждая вскоре дело с моим сержантом, я обмолвился об этих своих сомнениях и заметил, что мне даже интересно, каким образом этот утонченный француз рассчитывает в одиночку одолеть могучего разбойника. Но Готтлиб в ответ лишь рассмеялся.

— Так вы не слышали, *что* привело к этому безумному пари? — спросил сержант. — Как мне сказали, в тот вечер, когда оно было заключено, обсуждалась прошлая жизнь Фельсхайма, и кто-то заметил, что, помимо прочего, этот разбойник некогда был королем пьяниц.

При этих словах господин д'Обвиль вскочил и принялся похваляться, что, если бы только этого «короля пьяниц» доставили в Шверлинген, он бы легко его перепил — Фельсхайм, мол, валялся бы под столом, тогда как сам д'Обвиль сохранил бы полную ясность ума. За этим последовал жаркий спор, вынудивший француза заключить пари, что он в одиночку поймает Фельсхайма. Никаких условий не выдвигалось, но, похоже, все и так поняли, что в качестве оружия господин д'Обвиль выберет бутылку, хотя я и не знаю,

[1] Прошу прощения (фр.)

с помощью какой уловки он намерен заставить Андреаса фон Фельсхайма сесть с ним за стол.

Я ничуть не сомневался, что этот хитрец придумает, *как* это сделать. И все же подобный план сражения представлялся мне не слишком надежным и к тому же опасным.

— Проходя мимо стоявшей во дворе кареты господина д'Обвиля, — промолвил вскоре Готтлиб, — я случайно увидел через окно корзину, из которой торчали горлышки этак с десятка бутылок. Из этого я заключаю, что он намерен поступить именно так, как я и сказал. У него репутация самого отпетого пьяницы при французском дворе. И все же, — задумчиво произнес сержант, — я готов поручиться, что Фельсхайм тнюдь не простак.

Я так и не смог расспросить об этом господина д'Обвиля, потому что снова увидел его лишь ближе к девяти часам вечера того же дня. Перемена в его внешности была поразительной. На нем не было ни кружевных манжет, ни драгоценных камней; с его выцветшей шляпы безвольно свисало сломанное перо, а в потертых ножнах он нес тяжелую шпагу.

Его одежда была изношенной, шпоры ржавыми, а волосы такими растрепанными, что придавали бледному лицу изможденное выражение. Он и в самом деле выглядел как дворянин, переживавший нелегкие времена.

Заметив отразившееся на моем лице изумление, он улыбнулся и, попросив меня, в качестве прощального напутствия, не подвести его, сел на такую же измученную и жалкую, как и он сам, клячу и ускакал прочь.

Едва пробило десять, верный своему обещанию, я покинул Штайнау и со своим небольшим эскортом из шести человек направился к охотничьему домику, стоявшему на окраине Темного леса. Ярдах в ста от нужного нам места я остановился и, оставив одного из парней с лошадьми, вместе с остальными пятью осторожно и бесшумно продвигался до тех пор, пока мы не коснулись стен сторожки. Примерно с четверть часа мы прождали там в настороженном молчании, но за это время ни один звук не нарушил тишины ночи, ни один луч света не рассеял мрак. Судя по всему, в сторожке не было ни души.

Меня уже начало охватывать пробуждавшее самые дикие фантазии нетерпение, когда вдруг наверху тихо открылось окно и меня окликнул д'Обвиль, с чужеземным акцентом спросивший:

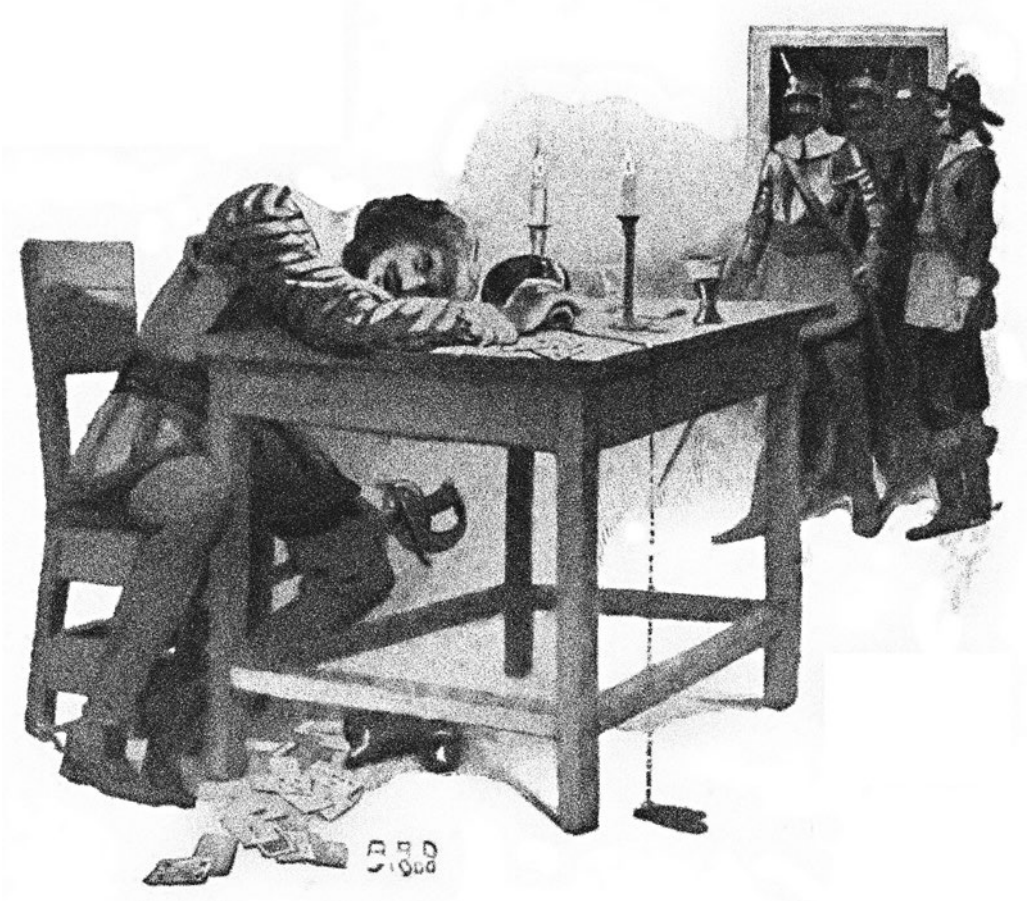
— Это вы, monsieur le Capitaine?

— Я.

— Я его взял, дружище. Подождите, отопру вам дверь.

Спустя несколько мгновений д'Обвиль впустил нас в сторожку и по узкой лестнице провел в комнату наверху, где он принимал своего гостя.

При свете пары свечей я узрел занятную картину. В центре просторной пустой комнаты стоял грубой работы квадратный стол. За этим столом сидел мужчина; голова его упала вперед и покоилась на левой руке, открывая лицо, которое, несмотря на его мертвенную бледность, я быстро опознал как лицо румяного дворянина, коего я видел в тот день на постоялом дворе в Штайнау.



При свете пары свечей я узрел занятную картину. За столом сидел мужчина; голова его упала вперед и покоилась на левой руке...

На столе и на полу вокруг него были разбросаны игральные карты. Полдюжины пустых бутылок валялись тут и там по всей комнате, а на столе стояли два стакана. Правая рука Фельсхайма сжимала горлышко перевернутой бутылки, из которой вытекала на стол струйка красного вина, все еще капавшего в образовавшуюся на полу лужу.

Д'Обвиль с самодовольной улыбкой осмотрел свою работу.

— Вот он, господа, — промолвил он, — ваш отважный Фельсхайм, пьяный, как Бахус. В Шверлингене его величали королем пьяниц, на мой взгляд, он заслуживает того, чтобы называться королем дураков.

— Да он же в дымину! — воскликнул я, отводя в сторону растрепанные волосы бандита, чтобы лучше рассмотреть его мертвенно-бледное лицо.

— По правде говоря, так оно и есть: я подсы́пал ему в вино снотворное. Но пойдемте, задерживаться небезопасно. Скачите с ним как можно скорее в Штайнау и, во избежание проблем, никому не говорите, кого везете. Возьмите в «Черном быке» мою карету и закиньте его внутрь. Завтра к полудню вы будете уже в Шверлингене, куда приеду и я, как только раздобуду другой экипаж.

* * *

Был полдень следующего дня, когда в сопровождении сорока моих парней я достиг Шверлингена с каретой, в которой находился наш драгоценный пленник, так еще и не очнувшийся от оцепенения. Весть о нашем успешном возвращении опередила нас, и, когда мы весело въехали в столицу, люди вышли посмотреть на наш проезд и придать нашему продвижению видимость триумфального возвращения домой с войны.

Отовсюду неслись приветственные возгласы, и на Фрюлинг-Гассе, когда я случайно взглянул вверх, мой пульс участился при виде красавицы Агаты, махавшей мне платком из окна второго этажа.

Во дворе замка нас встречал сам король вместе с Ронсхаузеном и кучей других придворных. Его величество пребывал в прекрасном настроении и, когда я выбрался из кареты, хлопнул меня по плечу.

— Хотя, как я слышал, это сделал тот безумный француз, я все равно сдержу свое обещание, *капитан* Штоффель.

Я поклонился, потрясенный его щедростью, и краем глаза заметил мрачную физиономию Ронсхаузена, несомненно, он уже задавался вопросом, у какого бы легковерного еврея ему одолжить десять тысяч крон.

— Сомневаюсь, что он уже протрезвел, — сказал я, открывая дверцу кареты. И я не ошибся: наш пленник все еще спал. Энергичное встряхивание в какой-то мере привело его в чувство. Он открыл глаза и удостоил меня отсутствующим взглядом, после чего, схватив за воротник дублета, я вытащил его из кареты.

Но едва он, тупо озираясь по сторонам, оказался снаружи, позади меня поднялся невообразимый гомон. Я повернулся в поисках объяснения сего факта. Ронсхаузен — в этом не могло быть сомнений — едва сдерживался, чтобы не расхохотаться, в то время как лицо короля потемнело от гнева. Я переводил взгляд с одного на другого, охваченный смутным опасением, что что-то не так. Затем король заговорил.

— И это — твой пленник? — спросил он хриплым голосом. — Это Фельсхайм? Говори же, осёл! Я жду.

— Да, это пленник месье д'Обвиля, — запинаясь, пробормотал я, после чего некоторые из придворных в голос рассмеялись, а его величество топнул ногой и сжал в кулаки руки.

— Пленник месье д'Обвиля? — насмешливо переспросил он. — Нет, болван, это сам месье д'Обвиль!

У меня голова пошла кругом. Уж не грезил ли я наяву? Этот румяный, рыжеволосый мужчина — д'Обвиль?

— Ваше величество, должно быть, это какая-то ошибка... — пролепетал я, едва сознавая, что говорю.

— Да, это и в самом деле ошибка, чудовищная ошибка. Следуй за мной и захвати с собой этого пьяного идиота. Пойдем, Ронсхаузен, надо бы во всем разобраться.

Когда мы добрались до личных покоев его величества, я рассказал ему свою историю, и король оказал мне честь, ни разу меня не прервав. Едва я закончил, в апартаменты провели господина д'Обвиля, уже принявшего тонизирующее средство. Он выглядел смертельно бледным и крайне подавленным, но, похоже, уже пришел в норму.

— Я оплошал, сир, — сказал он.

— И это еще слабо сказано, — сухо заметил Людвиг. — Извольте рассказать нам, как это вышло.

— Произошло вот что, сир, — сказал он. — Три дня назад в Фортштадте мне нанес визит некий довольно-таки бедно одетый дворянин, который заявил, что слышал о моем пари и что у него есть план, как заманить Фельсхайма в ловушку. Он сказал, что раскроет мне этот план, если я заплачу ему две с половиной тысячи крон; в противном случае он пойдет прямиком к офицеру, коему поручена поимка разбойника, и предложит ему разделить пополам награду в пять тысяч крон. Я принял его предложение, и он сообщил мне, что его план состоит в том, чтобы заманить Фельсхайма в охотничий домик в Темном лесу, написав ему, что у него, обедневшего, увы, дворянина, есть кое-какая информация относительно девушки, которой интересовался разбойник, и он готов эту информацию продать. Так мы и сделали, и вчера утром он показал мне ответ Фельсхайма, в котором говорилось, что вечером, в девять часов, тот будет в охотничьем домике.

— Этот мой бедно одетый друг предложил мне тоже отправиться на rendez-vous, сказав, что я встречусь с ним уже там, на месте, и настоятельно попросил меня никому не открывать, кто я такой, — не то, мол, вдруг об этом узнает кто-нибудь из шпионов Фельсхайма и предупредит хозяина. Я внял его просьбе и, хотя вчера случайно наткнулся на постоялом дворе в Штайнау на лейтенанта Штоффеля, даже не стал с ним разговаривать. Явившись в охотничий домик, я обнаружил там моего союзника, уже меня поджидавшего. Фельсхайма еще не было. Мой бедно одетый друг провел меня в одну из комнат второго этажа, запер за собой дверь и сунул ключ в карман. Затем, прежде чем я понял, что он задумал, в грудь мне уткнулось острие его клинка, и он сообщил мне, что он и есть Фельсхайм и что, поскольку я хвастался, что легко перепью его, а сам сохраню ясность ума, в то время как он будет валяться под столом, он принес с собой корзину вина и готов посостязаться со мной.

— Пленник месье д'Обвиля? — насмешливо переспросил король. —
Нет, болван, это сам месье д'Обвиль! —
У меня голова пошла кругом.

— Я подчинился — какой у меня был выбор? — и по его требованию отдал ему свою шпагу. Потом мы сели за стол, и, чтобы скоротать время, он предложил сыграть в ландскнехт[1]. Я согласился, и наш поединок сразу же начался.

— Выпивая стакан за стаканом, мы какое-то время не отставали один от другого, затем он вылил остатки бутылки в собственный стакан и сходил еще за одной, из которой налил мне. Мы вместе подняли стаканы и вместе же их осушили. Затем — но было уже слишком поздно! — я ощутил во рту

[1] *Ландскнехт* — карточная игра.

горький привкус и понял, что в мое вино что-то подмешали. Я схватил бутылку за горлышко, намереваясь швырнуть в него, но тут вдруг у меня закружилась голова... И больше я ничего не помню.

Когда он закончил, на несколько мгновений воцарилась тишина, и лицо Людвига, казалось бы, просветлело. Наконец король рассмеялся.

— Клянусь Святой Могилой, он одурачил вас двоих самым красивым образом, и не сомневаюсь, что к этому моменту уже вернулся на возвышенности. Что ж, этот шанс мы упустили, но будем надеяться, что нам все же представится другой. Можешь идти, Штоффель, — добавил он беззлобно, — но советую тебе не показываться открыто в Шверлингене, пока все это дело не будет забыто.

ЗАЛОЖНИК

Андреас фон Фельсхайм, предводитель разбойников Фалькенштайга, нахмурив брови и сжав губы, с задумчивым видом сидел у огня, а я, его лейтенант, догадываясь, *что* у него на уме, не решался нарушить томительное молчание. Наконец он встал, машинально подбросил в очаг парочку поленьев, затем, сердито фыркнув, подошел к окну и принялся вглядываться во тьму.

— Как думаешь, Гесслер, — воскликнул он спустя какое-то время, — не мог этот придурок Дитрих наломать дров?

— По правде говоря, — ответил я, — если бы все прошло хорошо, они должны были быть здесь еще час тому назад.

— Что могло пойти не так? — раздраженно бросил он. — Вроде бы проблем у них возникнуть не должно было: путь был чист. Тише! Что это?

Сквозь завывания ветра до нас донесся стук копыт, с каждым мгновением становившийся все более отчетливым. Лицо Фельсхайма сделалось черным, как ночь.

— Beim blute Gottes[1], — пробормотал он, — все же что-то пошло не так!

Всадник остановился у двери трактира. На лестнице прозвучали быстрые шаги, и мгновение спустя дверь резко распахнул бледный, испуганного вида мужчина, грязный и в растрепанной, местами рваной одежде, в котором нелегко было узнать отважного разбойника Виттенберга.

— Мы угодили в западню, капитан, — воскликнул он. — Дитрих и еще одиннадцать человек взяты в плен, двое убиты.

Фельсхайм указал на стоявшую на столе бутылку, и Виттенберг, не тратя время на благодарности, схватил ее, налил себе полный стакан и одним махом осушил до дна.

— А теперь, — холодно произнес Фельсхайм, — расскажи нам, что произошло.

Не сильно углубляясь в подробности, Виттенберг поведал нам следующее: в полулиге от Фортштадта они наткнулись на роту стражников, скакавших на юг встречать французского посла, который, как ожидалось, завтра должен был пересечь границы Заксенберга и которого затем эти стражники должны

[1] Клянусь кровью Господней (нем.)

— Мы угодили в западню, капитан, — воскликнул Виттенберг. — Дитрих и еще одиннадцать человек взяты в плен, двое убиты.

были сопроводить в Шверлинген. Окруженные, наши парни были вынуждены вступить в бой, а поскольку их было всего пятнадцать против почти четырех десятков солдат, их поражение было неизбежным. Шестеро разбойников были ранены, двое убиты на месте, после чего остальные сдались.

Сам Виттенберг спасся лишь чудом. Переодевшись крестьянином, с наступлением темноты он проник в Фортштадт, где все еще находились солдаты, и узнал, что, поскольку командовавший ими офицер был тяжело ранен, они будут вынуждены отказаться от порученной им миссии по встрече и сопровождению посла и в спешном порядке вернутся в столицу вместе с захваченными в плен бандитами.

— Глупцы! — воскликнул Фельсхайм, когда Виттенберг закончил. — Какие же вы глупцы, что сдались! Разве не лучше встретить смерть как настоящие воины, чем быть доставленными в Шверлинген и умереть на виселице как преступники?

Виттенберг понуро опустил голову, но ничего не ответил.

— А что там солдаты? — спросил я у него через пару мгновений.

— Четверых из них мы убили, еще пятерых ранили, — это помимо офицера, нашего старого друга Штоффеля, получившего, как я уже сказал, весьма серьезное ранение.

— Хо-хо! — хохотнул Фельсхайм, но тут же одернул себя. — И что это нам дает? Бедный Дитрих и еще одиннадцать наших славных товарищей сейчас на пути к виселице. Herr Gott! Неужели мы ничего не сделаем для того, чтобы попытаться спасти их?

Подперев рукой подбородок и устремив взгляд себе под ноги, он какое-то время пребывал в задумчивости, а затем негромко рассмеялся.

— Клянусь Святой Девой, придумал! — воскликнул он. — Посол в каком-то смысле сослужит нам добрую службу. Пойдемте, — живо добавил он, — если мы хотим к утру добраться до Тургена, нельзя терять ни минуты. На то, чтобы ехать на гору Фалькенштайг за подмогой, у нас просто нет времени, так что придется нам все провернуть втроем. Виттенберг, позови герра Шварца.

Таким образом, был вызван пожилой хозяин «Золотого кубка» — более надежного союзника у нас в королевстве и не было, — и Фельсхайм попросил его срочно раздобыть карету, в которой не стыдно было бы путешествовать человеку самого благородного происхождения — такому, к примеру, как милорд Ронсхаузен, фаворит короля.

Спустя пару часов я и Фельсхайм, разодетые как придворные щеголи, сели в прекрасно оборудованный дорожный экипаж и с Виттенбергом в качестве кучера стремительно умчались из Хоэнбурга.

Было около полудня следующего дня, когда мы с грохотом въехали во двор гостиницы «Заксенбергская» в Тургене. В углу этого четырехугольного двора стоял роскошный экипаж, вокруг которого царили суета и оживление, ибо владельцем его был не кто иной, как его превосходительство маркиз де Корай, посол Людовика XIV при дворе Шверлингена.

— Держи ухо востро́, Гесслер, — сказал Фельсхайм, спрыгивая на землю, — и внимательно следи за всем, что происходит.

Я последовал за ним в гостиницу, где после непродолжительной беседы с хозяином нас провели в комнату, отведенную для посла, которого мы нашли сидящим за столом. Это был мужчина лет сорока, высокого роста и благодушной наружности, в очень богатых одеждах. Он встал, когда мы вошли, после чего Фельсхайм выдвинулся вперед и, экстравагантно поклонившись, сообщил его светлости, что он — Отто фон Ронсхаузен, по специальному указанию его величества явившийся в Турген для того, чтобы приветствовать господина маркиза в Заксенберге от имени своего августейшего господина.

В ответной речи исполненной необычайной учтивости господин маркиз заявил, что он очарован оказанной ему честью, и предложил Фельсхайму изволить составить ему компанию за столом.

У француза не возникло ни малейших подозрений: Фельсхайм, разорившийся картежник из Вюртемберга, предводитель разбойников, некогда был дворянином и даже состоял при дворе.

И пока я ел и пил в невозмутимом спокойствии, его светлость и Андреас фон Фельсхайм, обмениваясь шутками и остроумными замечаниями, наслаждались вином.

Наконец с трапезой было покончено, и, выйдя во двор, ибо пришло уже время отправляться в путь, — мы «вдруг» обнаружили, что что-то не так с осью нашей кареты. Фельсхайм пришел в ярость из-за этой мелкой поломки, которую он отнес на счет небрежности Виттенберга.

— Пфф, mais donc![1] — воскликнул господин де Корай. — Если вы соблаговолите оказать честь моему скромному экипажу... — и он махнул унизанной перстнями рукой в направлении своей собственной великолепной кареты с гербом Кораев, ярко сверкавшим на солнце.

Словом, все прошло так, как и планировал Фельсхайм, и мы покинули Турген в карете месье де Корая в компании самого господина маркиза и его камердинера. Виттенберг расположился снаружи, рядом с кучером господина де Корая, которому он указывал дорогу.

Ближе к полуночи мы подъехали к дверям «Золотого кубка». Герр Шварц провел маркиза наверх — в ту самую комнату, где накануне вечером Виттенберг сообщил нам о несчастье, постигшем Дитриха.

Задрав нос, господин де Корай оглядел унылую комнатушку и уже начал снимать перчатки, как вдруг снизу до нас донеслись звуки драки. Раздался громкий стук (такой обычно производит какой-нибудь опрокинутый предмет мебели), за которым последовал крик о помощи. Посол быстро повернулся.

— Diable![2] — проворчал он. — Что это было?

— Шалость какого-нибудь пьянчужки, забытого в общем зале, — ответил Фельсхайм с улыбкой.

---

[1] Право же! (фр.)

[2] Черт! (фр.)

— Peste[1], сударь, вот и опять!.. И, клянусь душой, это голос Франсуа.

Он сделал шаг к двери, но Фельсхайм достиг ее раньше и встал перед ним, спиной к ней.

— Если ваш лакей попал в беду, господин маркиз, я не могу позволить вам подвергать себя какому-либо риску, пытаясь помочь ему. Я отвечаю перед королем за вашу безопасность.

В его тоне прозвучала нотка насмешки, которая, хотя и была едва уловимой, не ускользнула от господина де Корая.

— Вы изволите шутить со мной, сударь, — холодно воскликнул он. — Прошу вас позволить мне пройти.

— Нет. Я этого не сделаю.

— Не сделаете? Sangdieu[2], странные манеры у вас в Заксенберге! Вот что я вам скажу, сударь: хозяин этой лачуги выглядит отъявленным головорезом, и, ventre-saint-gris[3], нравится вам это или же нет, я не позволю ему перерезать горло моему слуге. Посторонитесь, сударь.

— Что ж, попробуйте пройти, — ответил Фельсхайм и, прежде чем господин де Корай успел догадаться, что он задумал, выхватил шпагу и угрожающе приставил ее к груди француза.

Посол отшатнулся с возгласом удивления и пару мгновений пристально смотрел на Фельсхайма. Затем вдруг он, похоже, осознал ситуацию во всех деталях.

— Mort Dieu[4], сударь! Понимаю, вы устроили мне здесь ловушку, мерзавец. Кто вы такой?

— Я не Отто фон Ронсхаузен, — ответил Фельсхайм, опустив шпагу и уткнув ее острием в мысок сапога, — и не фаворит короля. Напротив, я — его bête noire[5]. Меня зовут Андреас фон Фельсхайм. Когда-то я состоял при вюртембергском дворе, теперь же известен в королевстве как «Разбойник Фалькенштайга».

— И каковы же, господин Разбойник, ваши намерения по отношению ко мне? — с напыщенным презрением вопросил господин де Корай.

— Сейчас я их вам объясню. Вчера наши люди наткнулись на отряд королевской стражи, значительно превосходивший их численно, и, в силу злосчастных превратностей боя, два моих друга погибли, а еще двенадцать находятся теперь в Шверлингене и будут повешены, как только его величество пожелает, чтобы их судили и приговорили к смертной казни. Естественно, я был крайне опечален незавидным положением, в котором оказались мои товарищи, и с целью вырвать их из когтей закона придумал план, подразумевающий ваше временное пребывание в заточении. Будьте же

---

[1] Проклятье! Тьфу ты! (фр.)

[2] Господи! (Буквально: кровь Господня! — Le sang de Dieu — фр.)

[3] Черт возьми! (Буквально: живот святого пьяницы — фр.)

[4] Клянусь смертью Господней (сокр. от Par la mort de Dieu — фр.)

[5] Предмет особой ненависти и отвращения (фр.)

...Прежде чем господин де Корай успел догадаться, что он задумал, Фельсхайм выхватил шпагу и угрожающе приставил ее к груди француза.

благоразумны, сударь, и отдайте себя на мою милость. Сопротивление бесполезно.

Посол побелел от гнева.

— Отдать себя на *твою* милость?! — прохрипел он. — На милость бандита и вора?! Sangdieu, мерзавец, да перед тобой — дворянин французского королевства!

— Клянусь Мессой, если вы не обуздаете свой дерзкий язык, не пройдет и часа, как я сделаю вас дворянином королевства Небесного! — прорычал Фельсхайм. — Ваш клинок, сударь!

Вместо ответа маркиз выхватил шпагу, но, едва клинок вышел из ножен и прежде чем француз успел встать в защитную стойку, Фельсхайм сделал резкий выпад и быстрым ударом сверху полоснул его по руке. Раздался крик боли, шпага господина де Корая упала на пол, и Фельсхайм придавил ее ногой.

— Это был нечестный удар! — воскликнул маркиз.

— Который, однако же, спас вашу честь, — усмехнулся Фельсхайм. — Как бы вы смогли носить клинок на боку после того, как скрестили его с вором?

Он поднял оружие и, подойдя к двери, распахнул ее настежь.

— Эй, Шварц, Виттенберг! Подойдите. У меня есть для вас работа.

Работа, которую поручил им Фельсхайм, заключалась в связывании господина де Корая и не обошлась без изрядного количества богохульств как с одной стороны, так и с другой. В конце концов, впрочем, дело было сделано, и Фельсхайм велел трактирщику не спускать с его светлости глаз до тех пор, пока он, Андреас фон Фельсхайм, не вернется и не выпустит господина маркиза на свободу.

— Что ж, Гесслер, — сказал он, — а теперь мы переходим ко второму акту нашей комедии. В карету господина де Корая запряжены свежие лошади, сын герра Шварца облачен в великолепную ливрею бывшего кучера господина маркиза, в то время как сам кучер пытается утешить в подвале несчастного Франсуа, камердинера. Пойдем, мы едем в Шверлинген — прямо ко двору, шельмец ты этакий! — я как его светлость господин маркиз де Корай, посол французского двора, а ты как... дай-ка подумать... как мой друг, Гаспар де Крепиньи. Это громкое имя, и если будешь немногословен, никто и не догадается, что ты родился не с ним.

* * *

Мы были примерно в трех лье от Шверлингена, когда наткнулись на конный отряд, двигавшийся нам навстречу. Возглавлял этот отряд бойкий молодой лейтенант с пышным плюмажем и длинными локонами, и едва только его взгляд упал на герб Корая на нашей карете, как он приказал остановиться и сообщил нам, что эти люди предназначаются для сопровождения его светлости и что, если бы не одно досадное происшествие, точно такой же отряд встретил бы нас в Тургене.

Мы благополучно добрались до Шверлингена, и король принял нас в высшей степени любезно. В тот вечер нас пригласили на роскошный банкет, на котором Фельсхайм появился в светло-голубом костюме с серебристой тесьмой, стибренном из саквояжа господина де Корая. Король посадил его по правую от себя руку, и какое-то время все шло прекрасно. Молодому монарху нравился каждый, кто мог оказать честь бутылке, а в этом великом искусстве псевдо-посол, похоже, вполне мог затмить все прежние дости-

жения, свидетелем которых доводилось быть королю, так что завоевать сердце Людвига ему удалось без труда. Хлопнув «маркиза» по спине, король назвал его «принцем славных парней», да и вообще, одну за другой извергал нелепости, которых я уже и не помню, но которые красноречиво свидетельствовали о том, что вино ударило в его августейшую голову.

— Клянусь Святой Могилой, я и думать не мог, что во Франции есть столь благородный пьяница! — воскликнул король, раз уже в двадцатый выпивая за здоровье разбойника.

— Франция, сир, — промолвил Фельсхайм, икнув, — великая нация! Я пью за нее!

Он осушил свой наполненный до краев кубок, а когда заговорил снова, речь его стала путаной и перемежалась отборными ругательствами, которые, как по мне, не следует использовать, говоря с особой королевских кровей. Более того, все, что он нес, было в высшей степени оскорбительным, чему я очень удивился, потому что в часы возлияний наш предводитель имел обыкновение быть веселым, но никогда — грубым. Он выражался исключительно по-французски и во весь голос расточал окружающим похвалы, время от времени проводя сравнения, в которых чуть ли не открыто насмехался над тем, как в Заксенберге делают то или иное.

Я ожидал, что в любой момент разразится буря, потому что Людвиг слыл человеком вспыльчивым, и проклинал глупость и неосмотрительность Фельсхайма. На лицах многих дворян румянец от вина перерастал в еще более густой румянец гнева, и мне уже казалось, что я вот-вот увижу, как красивое, озорное лицо Фельсхайма омоется рейнским вином. Но над каждой новой сальной шуткой Фельсхайма король смеялся все громче и громче — быть может, потому что не ухватывал всю их суть, — так что придворные, которые остаются всего лишь придворными, пока подражают поведению своего господина, были вынуждены сдерживаться.

Однако в конце концов Андреас зашел слишком далеко. Он говорил об охоте и в ярких выражениях описал охоту на оленей в Блуа, которую никогда не видел, а затем, обращаясь к присутствующим, высокомерно вопросил:

— А у вас в вашем Заксенберге, мои дорогие хозяева, есть что-либо сравнимое с этим?

Смех сошел с лица короля, и усилием воли он вынудил мышцы своего лба сложиться в хмурые складки. Охота и бутылка — то были два его больных места. Сказать ему, что в каком-то из этих времяпрепровождений он уступает остальному миру, значило смертельно его оскорбить.

— Beim blute Gottes! — проревел он, наклоняясь к дерзкому разбойнику. — Вы говорите смело, господин де Корай, но, мне кажется, опрометчиво смеетесь над тем, о чем ничего не знаете. Стало быть, ваш августейший хозяин охотится в Блуа на оленя? И вы называете это охотой? Для женщин и детей это, возможно, и подходящая забава, но только не для мужчин. Да будет вам известно, сударь, в моем Шверлингенском парке, который по площади вдвое

— ...Вы охотитесь на этого зверюгу с аркебузами.
Невежество посла было встречено взрывом смеха.

больше вашего хваленого Парижа, мы охотимся на кабана. Вот это, на мой взгляд, действительно королевская забава — для истинных воинов.

— Пережиток варварских времен, сир, — холодно ответил Фельсхайм, — за тем лишь исключением, что — я в этом даже не сомневаюсь — вы охотитесь на этого зверюгу с аркебузами.

Невежество посла было встречено взрывом смеха, в котором прозвучало неприкрытое презрение.

— С аркебузами!— пробулькал король. — Ха-ха! Да вы, сударь, меня в могилу сведете! Нет, клянусь душой, я покажу вам, *как* мы охотимся. Эй, Ронсхаузен! Да будь он проклят, этот молокосос, — уснул! Тогда ты, Альтенау. Распорядись-ка о том, чтобы завтра нам организовали охоту. Покажем господину де Кораю нечто такое, о чем по возвращении в Париж ему будет что рассказать французским придворным.

И, раз уж на следующий день была назначена охота, его величество счел за благо предложить компании разойтись, чему я очень обрадовался, ибо уже опасался, как бы очередная пьяная выходка Фельсхайма не оказалась для нас роковой.

Но едва мы остались одни в наших великолепных апартаментах, я с глубочайшим изумлением увидел, как с лица Фельсхайма исчезла пустая ухмылка, а на ее месте появилось выражение веселого, трезвого лукавства. Он опустился

на ближайший стул и, уперев руки в бока, засмеялся так, как на моей памяти никогда не смеялся.

— Herr Gott! — воскликнул он. — Уж и не знаю, есть ли такая рыба, которую так же легко поймать на крючок, как пьянчужку Людвига!

— Разве ты и сам не вел себя за столом как последний забулдыга, Андреас? — воскликнул я, глядя на него искоса.

— Что? И ты туда же, Гесслер? Неужто вы все купились? Завтра, дружище, ты все поймешь. Завтра мы охотимся на кабана! Ха-ха!

На следующее утро, часов в одиннадцать, во дворе замка собралась веселая компания в светло-желтых, зеленых и золотых кружевах и, дождавшись короля, выехала в Шверлингенский парк.

Фельсхайм, вооруженный мощным копьем, ехал рядом с Людвигом, чье лицо несло на себе отпечаток многодневных кутежей. В то утро наш предводитель сказал мне дюжину слов, от которых у меня чуть волосы не встали дыбом: придуманный им план, ради исполнения которого он и заманил короля на охоту на кабана, был слишком уж дерзким! Какое-то время мы ехали в окружении небольшой группы болтавших между собой придворных; Фельсхайма его величество нарочно держал рядом с собой, желая лично заставить посла краснеть за его вчерашние насмешки. Но как только был замечен кабан, охота пошла уже всерьез, и постепенно крутившиеся вокруг нас придворные один за другим начали исчезать кто где, ибо все жаждали заполучить драгоценный камень, который, по установленному королем обычаю, преподносился тому, чье копье первым попадало в шкуру добычи.

Словом, вышло так, что по прошествии часа, или около того, помимо меня и Фельсхайма, рядом с королем остался один лишь милорд Ронсхаузен, фаворит.

Мы проезжали через одну из самых густых частей леса, когда вдруг Фельсхайм полуобернулся в седле с такими словами:

— Мне уже жуть как хочется, сир, оказаться с кабаном лицом к лицу! Прямо-таки сгораю от нетерпения!

Это был сигнал, заранее согласованный между нами для выполнения отчаянного плана Фельсхайма.

Как следствие, дабы привлечь внимание милорда Ронсхаузена к располагавшимся справа от него кустам, я ловко ударил его лошадь хлыстом за ушами. От неожиданной острой боли животное встало на дыбы, молотя копытами воздух; затем, резко дернувшись и тем самым едва не скинув с себя седока, — помчалось вперед, словно выпущенная из арбалета стрела, со скоростью, которая, как представлялось, должна была не позволить фавориту спешиться уж пару миль точно, разве что вылететь из седла ему случайно помог бы какой-нибудь низко свисающий сук.

Как только Ронсхаузен стремительно пронесся мимо короля, который в тот момент был всецело поглощен беседой со своим спутником, — Людвиг повернулся в поисках причины столь отчаянной скачки, и тогда Фельсхайм

Король извивался, как угорь, но в то же время цеплялся руками за Фельсхайма, так как в противном случае неизбежно упал бы на землю, а ногами все еще пытался ухватиться за свое седло.

внезапно обхватил правой рукой королевскую шею и резким рывком уложил короля поперек седла, едва не стащив его с лошади. Застигнутый врасплох и справедливо полагавший подобное внимание Фельсхайма совсем не почтительным Людвиг открыл было рот, чтобы позвать на помощь, но тут же свободная рука Фельсхайма — лошадью в этот момент он управлял одними коленями — сунула королю меж зубов дикую грушу.

Завязалась «борьба в седле», едва не доведшая бедных животных до бешенства. Король извивался, как угорь, но в то же время цеплялся руками за Фельсхайма, так как в противном случае неизбежно упал бы на землю, а ногами все

еще пытался ухватиться за свое седло. За несколько секунд я обездвижил его ремнями, которые велел мне принести Фельсхайм. Затем, связанного по рукам и ногам, Андреас перекинул его через шею своего коня и, с силой пришпорив животное, резвым галопом умчался вправо; я же, ведя лошадь, с которой мы стащили короля, так быстро, как только мог, последовал за ним. Так мы ехали примерно с полчаса и за это время, вероятно, сумели удалиться от остальных охотников лиги на две и достигли окраины парка.

Там мы приостановились, и Андреас натянул на побагровевшее от гнева лицо короля маску.

Затем мы отпустили королевского коня и дальше уже передвигались с большой осторожностью, избегая всех более или менее людных мест. К ночи мы благополучно добрались до Бридевальда и, найдя несколько пасшихся в поле лошадей, не мудрствуя лукаво, перекинули седла со спин наших измученных животных на спины самой крепкой пары и продолжили наш путь.

Всю ночь мы ехали молча, и, что касается лично меня, то я уже умирал от голода и усталости. С первыми лучами зари мы достигли Хоэнбурга и остановили наших взмыленных лошадей у двери «Золотого кубка».

Старик Шварц тут же откликнулся на наш стук и, засыпав нас кучей вопросов о нашем спутнике в маске, провел всех наверх. Уложив короля в углу, Фельсхайм потребовал вина, еды и света. Когда все это было доставлено, он велел герру Шварцу возвращаться в постель и запер за ним дверь.

Мы разрезали путы, которыми был связан наш пленник, сняли маску, вытащили кляп и поставили его на ноги. Лицо короля было перекошено от ярости, глаза зловеще сверкали. Клянусь Мессой, нам еще повезло, что от этой груши у него так свело челюсть, что какое-то время ему было трудно произносить слова, не то одному Богу известно, какие бы богохульства достигли наших ушей.

— Вы, конечно же, сир, сейчас пребываете в недоумении от столь странного поведения французского посла, — серьезно проговорил Фельсхайм. — И действительно, будь я французским послом, ваше недоумение имело бы под собой основания. К несчастью для меня, я человек не столь высокого полета, — я всего лишь Андреас фон Фельсхайм, разбойник Фалькенштайга.

— Der Teufel![1] — обретя наконец дар речи, взревел король, и мне показалось: еще немного — и его глаза вылезут из орбит. — Тебя повесят, негодяй, видит Бог, повесят!

И Людвиг разразился потоком оскорблений, который Андреас прервал в самом его разгаре.

— Вашему величеству не мешало бы вспомнить о вашем собственном положении. Неразумно угрожать повесить человека, который держит тебя в своей власти. Не сомневаюсь: когда-нибудь, если вам удастся меня поймать, вы передадите меня в руки палача или, быть может, колесуете, но речь сейчас не об этом. В данный момент есть другие, кто куда ближе к веревке, чем я,

[1] Здесь: проклятье! (Буквально: Черт! — нем.)

— Не соблаговолит ли ваше величество оказать честь этому скромному столу?

и любовь к этим людям толкнула меня на отчаянный шаг: похитить вашу священную персону и удерживать вас в качестве заложника до тех пор, пока они не окажутся на свободе.

— Если ты имеешь в виду тех двенадцать мерзавцев, которых схватил Штоффель, позволь мне сказать тебе, что все они будут повешены точно так же — уж это я тебе обещаю! — как будешь повешен и ты, пёс, когда я тебя поймаю!

— Я так не думаю, сир, — ответил Фельсхайм тоном поразительного хладнокровия. — Если Дитрих или кто-либо из его товарищей пострадает от рук закона, клянусь вам, и Господь мне свидетель, я собственноручно вздерну вас, хоть вы и король, на самой высокой сосне Фалькенштайга.

От этой угрозы король побледнел.

— Ты смеешь мне угрожать?

— Я посмею даже и большее, если вы не будете благоразумны. Полноте, сир, таковы уж превратности войны. Подпишите помилование для двенадцати моих товарищей, находящихся в данный момент в Шверлингене, и в обмен я дарую свободу не только вам, но и французскому послу, который

был мною пленен и сейчас сидит под охраной в подвале этого самого постоялого двора, — как я понимаю, Заксенберг отвечает за его безопасность перед Францией.

— Да ты сошел с ума! — вспыхнул король. — Я не стану с тобой торговаться.

— Тогда я доставлю вас обоих в Фалькенштайг и повешу так близко к Небесам, как вам висеть никогда бы и не посчастливилось — ни в этом мире, ни в следующем. Позови Шварца, Гесслер. Пусть разбудит Виттенберга и подготовит карету — выезжаем через пару часов. — Затем, повернувшись к Людвигу, он добавил: — Не соблаговолит ли ваше величество оказать честь этому скромному столу? Не сомневаюсь, вы голодны.

— Наглец! — вскричал король, после чего Фельсхайм пожал плечами и переключил свое внимание на каплуна, и в этом полезном занятии я вскоре составил ему компанию, в то время как Виттенберг остался сторожить нашего пленника.

Вскоре Фельсхайм встал и, поклонившись королю, вывел меня из комнаты.

— Гесслер, — сказал он, — могу я рассчитывать на то, что ты и Виттенберг доставите короля и господина де Корая в Фалькенштайг в целости и сохранности?

— Конечно же, можешь!

— Смотри только не дай маху, не то я поплачусь своей шеей. Через час я отправлюсь в Шверлинген, объясню, как обстоят дела, милордам Ронсхаузену и Барнабату и, думаю, договорюсь об освобождении Дитриха, ибо я даже не сомневаюсь, что они окажутся более рассудительными, чем его величество. Впрочем, если в течение недели, считая с завтрашнего дня, я не вернусь в Фалькенштайг с Дитрихом и остальными для того, чтобы освободить наших пленников, это будет означать, что я потерпел неудачу и, вероятно, мертв. Тогда поступай с королем так, как сочтешь наиболее приемлемым для будущего благополучия нашей компании.

Поскольку я не сопровождал его в Шверлинген, не могу описать, как его там приняли. За двое суток я довез пленников до нашего убежища в горах, в разрушенном замке Фалькенштайг, и там, снедаемый глубокой тревогой, принялся ждать, ибо разбойники поклялись, что, если с их предводителем случится беда, они жестоко отомстят королю.

Но на седьмой день после нашего с Фельсхаймом расставания в Хоэнбурге мое ожидание закончилось прибытием Андреаса, Дитриха и еще одиннадцати наших товарищей. Офицер стражи, явившийся вместе с ними с завязанными глазами, ровно в таком же виде был затем препровожден вместе с королем и послом к отрогам горы. Оттуда они направились в деревушку Метлинген, где их ждал конный отряд, которому предстояло доставить короля обратно в столицу.

В ту ночь мы, разбойники Фалькенштайга, веселились и пили за самого отважного из всех нас — Андреаса фон Фельсхайма.

ЖЕНИТЬБА ЛИНДЕНШТАЙНА

В случайной стычке с отрядом разбойников Фалькенштайга я получил от рук одного из бандитов ранение, из-за которого почти два месяца балансировал между жизнью и смертью. И когда я наконец поднялся с одра болезни и наполнился радостью жизни до той восхитительной степени, какую способен испытать только тот, кто был близок к потере этого ощущения в юности, мне случилось сделать открытие, которое заставило меня пожалеть о том, что хирурги его величества были столь искусными.

Риттер фон Грюнхайн нарушил данное мне слово. Он всегда смотрел на мои ухаживания за его дочерью с явным неодобрением, но, видя, что и девушка, и я едины в своих мыслях и что его сопротивление в конце концов окажется бесполезным, он, пусть и скрепя сердце, все же согласился, когда я заслужил звание капитана, позволить нам соединиться.

Теперь, когда я выздоровел и наконец смог добиться от Риттера фон Грюнхайна выполнения его обещания, я, по правде сказать, пришел в полное смятение, обнаружив, что во время моей болезни старый воин изменил свое мнение и пытался силой изменить еще и мнение дочери.

Могущественный, богатый и распутный молодой граф фон Линденштайн пал жертвой чар моей прекрасной Агаты и преподнес себя претендентом на ее руку. Искушение увидеть дочь графиней фон Линденштайн, а не просто женой капитана Ганса Штоффеля, оказалось слишком сильным для Грюнхайна. Настолько сильным, что вынудило его забыть данное слово.

Но моя милая Агата оказалась непокорной. Она любила именно Ганса Штоффеля и именно за Ганса Штоффеля вышла бы замуж, пусть бы даже сто графов томились от любви и пылали к ней страстью. Когда Риттер фон Грюнхайн услышал, что я почти выздоровел, он, опасаясь моего вмешательства и возможного побега, увез дочь незнамо куда. Но мой любезный информатор из собранных им сведений заключил, что, вероятнее всего, она находится близ Фортштадта, в замке, принадлежащем ее тетушке, которая разделяет взгляды отца Агаты. Предполагалось, что мою возлюбленную будут держать там взаперти, до тех пор пока, как постановил ее отец, она не сочтет нужным образумиться и выйти замуж за Линденштайна.

И так уж вышло, что как-то летней ночью, недели этак через три после выздоровления, я очутился на одной из узких фортштадтских улочек, где, прислонившись спиной к стене, отбивался от шпаг трех вероломных головорезов, устроивших мне засаду.

И хотя в Заксенберге я слыл отменным фехтовальщиком, в тот день все складывалось для меня как нельзя хуже, и я уже даже начал было отчаиваться, когда вдруг перед моими глазами сверкнул четвертый клинок, и поразительно знакомый моим ушам голос прокричал, немало меня обрадовав:

— А теперь — давайте-ка на меня, трусливые негодяи! На меня!

Я услышал, как его шпага звякнула о клинок одного из моих противников, который повернулся, чтобы встретить его, и в следующий миг тело злодея упало к моим ногам. В один прыжок новоприбывший встал рядом со мной лицом к оставшимся двоим. Большего и не требовалось. Они попятились, а затем, показав нам свои спины, бросились наутек.

В самых подходящих словах, какие мне удалось подобрать, я поблагодарил своего спасителя за оказанную мне услугу, которую, впрочем, он тут же, как и подобает джентльмену, до крайности принизил. Насколько я смог разглядеть в царившем вокруг полумраке, это был кавалер среднего роста, судя по всему, хорошо одетый. Лица его я не мог видеть из-за тени, отбрасываемой на него шляпой, но голос определенно где-то слышал раньше, вот только не мог понять где.

Через несколько мгновений он опустился на одно колено рядом с раненным им бандитом и перевернул его. Едва он это сделал, плащ, который был на этом типе, сполз с его плеч, открыв очертания белой лошади, вышитой на его дублете.

— Himmel!— воскликнул кавалер. — На нем ливрея Линденштайнов! Похоже, сударь, у вас имеются враги в самых высших сферах!

Ливрея Линденштайнов! Так вот чем объяснялось нападение! Граф прослышал о моем прибытии в Фортштадт и попытался таким вот способом убрать меня со своего пути. Очевидно, полученная мной информация была верной: Линденштайн явно понял, что я напал на след пропавшей Агаты, потому-то он и решился натравить на меня своих sbirri[1].

— Пойдемте, — сказал мой спаситель, — если сюда вдруг завернет патруль, вряд ли нам поздоровится, когда нас здесь обнаружат. Надеюсь, вы окажете мне честь распить со мною бутылочку?

Я охотно согласился, и мы вместе отправились в гостиницу «Пилигрим», где в то утро, по прибытии в Фортштадт, я снял комнату.

Как только мы поднялись в эту комнату и, сняв шляпы, оказались лицом к лицу при тусклом свете восковых свечей, с наших губ в один и тот же миг сорвался возглас взаимного узнавания.

— Капитан Штоффель! — воскликнул он.

— Андреас фон Фельсхайм! — ахнул я.

[1] Здесь: подручные (мн. от sbirro — ит.)

Так вот чем объяснялось нападение! Граф прослышал о моем прибытии в Форштадт...

Мы стояли в замешательстве, уставившись друг на друга с открытыми ртами и, без сомнения, поражаясь такому вот случайному стечению обстоятельств, приведшему к тому, что знаменитый разбойник Фалькенштайга спас жизнь тому единственному человеку в Заксенберге, чья смерть его бы обрадовала, как никакая другая. Наконец Фельсхайм разразился искренним смехом.

— Beim Teufel[1], забавное дельце. Еще вчера я и подумать не мог, что в следующую нашу встречу буду сражаться с вами бок о бок. Я был бы безмерно рад чести поужинать с вами, господин капитан, но боюсь, ваша репутация пострадает, если вас увидят в моей компании. Так что, Gute nacht![2]

[1] Черт подери! (нем.)

[2] Спокойной ночи! (нем.)

Он потянулся за шляпой и действительно вознамерился покинуть меня, но я его задержал. Уйди он — и эта история так и не была бы рассказана.

— Герр фон Фельсхайм, — воскликнул я, — сегодня вечером вы оказали мне большую услугу, и хотя вы, возможно, самый отъявленный разбойник во всем Заксенберге, а я — капитан королевской стражи, все же не вижу причин, почему бы нам не поужинать вместе по-дружески. Завтра мы разойдемся в разные стороны, и я обещаю вам амнистию на три дня, в течение которых вы будете в безопасности. Что скажете?

— Скажу, что вы говорите, как какой-нибудь античный пророк, и произнесли сейчас слова мудрости и любви, которыми нехорошо пренебрегать. Ваше здоровье, господин капитан!

Мы поужинали вместе, охотник и его добыча, и, сколько себя помню, я никогда не проводил более веселой ночи. Мы засиделись допоздна и крепко выпили, и, когда наконец он покинул меня, я не смог сдержать вздоха при мысли о том, что мы никогда больше не встретимся лицом к лицу как друзья.

Но мое предположение оказалось неверным: Судьбе было угодно, чтобы мы снова встретились как товарищи уже на следующий день.

Я сидел, заштопывая дыру, которую в вечерней заварушке проделала в моем дублете чья-то шпага, и размышлял о своем положении в Фортштадте, а также о положении моей любимой Агаты в замке Эберхольц по соседству, — когда в дверь постучали, и, к моему безграничному изумлению, передо мной предстала элегантная фигура Фельсхайма.

— Повезло, что я застал вас здесь, господин капитан, — сказал он, снимая шляпу и проходя в комнату. — Я к вам по важному делу, касающемуся вас самого и дамы, на которой вы желаете жениться.

Я вскочил на ноги.

— Что вам об этом известно? — воскликнул я.

— Достаточно. И потому я скажу вам вот что: на вашем месте я бы не сидел здесь, изображая портного. Отложите иглу в сторону, капитан, и достаньте шпагу.

— А не слишком ли много вы себе позволяете? — сердито воскликнул я, ибо мне не понравилось его насмешливое подшучивание.

Вместо ответа Фельсхайм рассмеялся и, придвинув к себе стул, сел.

— Мне никак, — сказал он, — не давало покоя нападение, жертвой которого вы стали прошлым вечером. Но слушайте. Покинув вас, я направился в «Два голубя», ибо хозяин этого постоялого двора — человек, которому я полностью доверяю; уж он-то точно, как я знаю, меня не выдаст. Я снял там комнату и намеревался на рассвете отправиться в Фалькенштайг, но проспал допоздна, а когда проснулся, солнце стояло уже высоко в небе, а в соседней комнате звучали голоса.

Стены там тонкие, и внезапно я отчетливо услышал ваше имя. Особого значения этому я не придал. Вы известная личность — пусть и сами чините свои дублеты, — и в Заксенберге о вас поговаривают. Но мгновение спустя я услышал имя Линденштайна. Перед глазами у меня тут же встала ливрея

того мерзавца, которого мы оставили лежать на Кёнигштрассе. Я вскочил с кровати и припал ухом к стене, решив, что будет полезно услышать, о чем же там говорится. Впрочем, господин капитан, я не стану вас утомлять дословным пересказом интереснейшего диалога, который состоялся между милордом Линденштайном и Германом Вульфом, его подручным и самым отпетым мошенником, какого только можно найти в Германии. Можете поблагодарить своего святого покровителя за то, что этим утром Андреасу фон Фельсхайму посчастливилось выступить в роли подслушивающего, и знайте: устав от постоянных отказов девицы благосклонно принимать его ухаживания, граф при помощи этого негодяя Вульфа замыслил нечто такое, что, по его разумению, должно привести к вашей, а заодно и госпожи Агаты погибели. Столь гнусный план мог прийти человеку в голову разве что с подачи самого дьявола!

Герман Вульф должен предстать перед госпожой Агатой в роли вашего посыльного, который явится, чтобы спасти ее из лап тетушки и сопроводить к вам. Вульф отправится с ней в небольшую часовню святого Христофора в деревушке Абентурн, где Линденштайн будет ждать их с подкупленным им священником, который должен будет провести церемонию бракосочетания нарочито невнятным, бормочущим голосом, чтобы не было слышно имен. Линденштайн совершает святотатство, выдавая себя за Ганса Штоффеля, и полагается на темноту, ибо все это должно пройти ближайшей ночью, и на необходимость спешки. Сей последний факт, как надеется граф, произведет на леди должное впечатление, вследствие чего она не станет задавать уместных вопросов.

— Herr Gott! — воскликнул я. — Это чудовищно! Но Агата уж точно не купится на подобный обман. Она наверняка обнаружит подлог, когда Линденштайн попытается выдать себя за меня!

— В таком случае эти славные джентльмены прибегнут к силе, которую Бог дал им для защиты слабых, и поскольку нет лучшего способа защитить женщину, чем стать ее мужем, хочет того девица или же нет, ее обвенчают с графом фон Линденштайном.

— Beim blute Gottes! — вскричал я. — Я убью его, этого графа!

— У него влиятельные друзья. Сам король...

— Да плевать я хотел! Где я могу его найти?

— Тьфу ты! Да подождите вы минутку, господин капитан. Я придумал для вас план гораздо более безопасный и красивый, чем простое убийство графа. Когда обо всем станет известно, это сделает его мишенью для всех насмешников и остряков Заксенберга. А теперь слушайте меня внимательно. Линденштайну и Вульфу пришла в голову мысль выдать себя за вас и какого-нибудь вашего друга, к примеру, меня. Прекрасно! Так вот, я подумал, что было бы весьма занимательно *нам с вами* выдать себя за Линденштайна и Вульфа в их попытке выдать себя за вас и меня. Вульф для обитателей замка Эберхольц — человек, совершенно незнакомый. Он появится там в десять часов и будет бросать камешки в окно леди до тех пор, пока она это окно не откроет. Затем

Я рассказал ей о дьявольском плане Линденштайна и о том, что мы придумали, дабы этот план расстроить.

он кинет наверх веревочную лестницу и шепнет ваше имя. Она решит, что он явился от вас, поймает лестницу — и будет такова. Словом, приходит он с ложью, уходит — с дамой. Таков, если вкратце, план действий.

Тем временем граф с наступлением сумерек отправится в Абентурн, где поужинает, а чуть позднее двинет в часовню святого Христофора, где на полночь у него назначена встреча.

— И каков же ваш план? — лихорадочно спросил я.

— Я уже вам сказал. Что до всего прочего, то, если вы мне доверитесь, обещаю вам — дело выгорит.

Я продолжал настаивать на более подробном ответе и, когда получил его, то, несмотря на переполнявшие меня гнев и тревогу, не сдержал смеха и выдал Фельсхайму карт-бланш.

Затем он попросил меня черкнуть три строчки, которые он мог бы предъявить Агате, чтобы завоевать ее доверие. Я так и сделал и вдобавок снял с пальца кольцо, которое мне подарила сама Агата и которое я попросил показать ей,

чтобы окончательно развеять сомнения в его искренности, если таковые у нее вдруг возникнут.

Затем, посчитав неразумным оставлять Линденштайна и его приспешника без присмотра на слишком уж долгое время, Фельсхайм покинул меня и вернулся на постоялый двор «Два голубя». Сгорая от нетерпения, терзаясь сотней страхов, порожденных моим собственным бездействием, я ждал его возвращения.

Примерно через полчаса после захода солнца он наконец-то явился, и на его миловидном лице был написан успех.

— Я хотел собственными глазами увидеть, как милорд Линденштайн отправляется в Абентурн, — сказал он. — Он только что выехал. Не падайте духом, господин капитан, все идет хорошо. Два часа назад я был в замке и представился тетушке посланником графа, о котором Линденштайн ей уже упоминал. Я заметил, что, на мой взгляд, было бы неплохо, если бы я сам мог поговорить с леди и подготовить ее к запланированному побегу во избежание каких-либо проблем в будущем. Тетушка ничего не заподозрила. Она во всем со мной согласилась и тотчас же провела меня к госпоже Агате — столь красивой девушки, по правде говоря, я никогда и не видел! — которой она представила меня как друга графа фон Линденштайна, принесшего ей от него некое послание.

Как только она оставила нас наедине, я в мгновение ока шепнул леди на ухо, по чьему поручению я явился *в действительности*. Боже, вы бы только ее видели!.. Презрительный вид, с которым она меня приняла, тотчас же сменился выражением радости и нетерпения! От одной мысли о том, сколь легко этот негодяй Вульф мог обмануть ее, не опереди мы его, меня бросило в дрожь. Показав ей ваше письмо и кольцо в качестве доказательств моей честности, я рассказал ей о дьявольском плане Линденштайна, и о том, *что* мы придумали, дабы этот план расстроить. Мы с ней условились, что в половине десятого она спустится к нам в сад — не по веревочной лестнице из собственного окна, а через одно из окон столовой, которое находится всего в ярде, или около того, от земли. Затем вы отправитесь в Абентурн, где подкупленному Линденштайном священнику придется вас обвенчать. Но время поджимает, а нам еще нужно поужинать.

От нетерпения я стал раздражительным и напрочь потерял аппетит, что, впрочем, легко компенсировал Фельсхайм, который ел за двоих и пил за четверых. Наконец трапеза закончилась, я уплатил по счету, и мы вышли к поджидавшим нас у двери лошадям. Ночь была темной и безлунной, и пробило ровно девять, когда мы вскочили в седло и поскакали в направлении замка Эберхольц, который стоит на холме за Фортштадтом.

У подножия этого небольшого возвышения мы натянули поводья. Фельсхайм спешился и, оставив меня с лошадьми, исчез среди густых кустов, над которыми, словно огромная черная тень в ночи, вырисовывался замок. Для меня последовал еще один период ожидания, к счастью, оказавшийся коротким. Через несколько минут Фельсхайм появился снова, а с ним — маленькая фигура в плаще и капюшоне. С радостным криком она подбежала ко мне и, когда я подхватил ее на руки, уткнулась очаровательным личиком

мне в плечо и, смеясь и всхлипывая, казалось, была готова провести в таком положении целую вечность.

Вернул нас к реальности, как всегда, насмешливый голос Фельсхайма:

— Время не ждет, господин капитан, и поскольку для тех, кого ослепила любовь, особой разницы, где нежничать, нет, возможно, вы все же сочтете целесообразным отправиться в путь.

Мгновение спустя мы уже мчались галопом в направлении Абентурна. Агата все еще была у меня на руках, так как мы с ней были вынуждены ехать на одной лошади.

Нужно ли распространяться о вещах, о которых мы с Агатой говорили во время этой поездки? Фельсхайм, с похвальной тактичностью, уехал чуть вперед, предоставил нас самим себе, и так же, клянусь честью, поступили бы и вы.

Когда мы добрались до часовни святого Христофора, до полуночи оставалось чуть больше получаса.

Фельсхайм спрыгнул на землю и взбежал по полудюжине ступеней крыльца, где его поглотила мгла. Спустя мгновение он вынырнул из темноты и сообщил, что священник уже на месте.

Мы тут же спешились, и Фельсхайм увел лошадей, сочтя нужным спрятать их где-нибудь, чтобы, в случае каких-либо неожиданностей, их присутствие нас не выдало.

Когда спустя какое-то непродолжительное время он вернулся, а в нашей ситуации каждая минута была на вес золота, мы вместе поднялись по ступеням и, отворив щеколду, распахнули дверь. Черный, непроницаемый мрак заполнял небольшую часовню, за исключением располагавшегося в дальнем ее конце алтаря, где, образовывая унылый круг желтого света, служивший лишь для того, чтобы подчеркнуть тени за пределами его узкой досягаемости, горели четыре тонкие восковые свечи. Рядом с алтарем неясно вырисовывалась высокая фигура в сутане, выглядевшая так, словно она была «выделана», — иного слова я даже подобрать не могу — из царившей вокруг тьмы.

Мы быстро прошли вверх по проходу между рядами, прекрасно слыша, как глухим стуком отдаются наши шаги, и через несколько мгновений остановились в причудливом круге этого мрачного света.

— Вижу, вы уже здесь, — пробормотал священник. — Все готово. Можно приступать. — Но тут я вдруг случайно повернул голову в сторону Агаты, свет упал прямо на меня, и он воскликнул, вытянув вперед свое длинное худое лицо:

— Это еще что такое? Вы не граф фон Линденштайн.

— И что с того, господин священник, что с того? — поспешно возразил я. — Неужели в Заксенберге не бывает других свадеб, кроме свадьбы милорда Линденштайна? Полноте, господин священник, давайте лучше ускоримся!

— Но...

— Знаю, знаю. Вот, возьмите этот кошель и проведите церемонию подобающим образом, но с деньгами.

Мы через несколько мгновений остановились
в причудливом круге этого мрачного света.
— Вижу, вы уже здесь, — пробормотал священник. —
Все готово. Можно приступать.

Наконец все закончилось, и как нельзя кстати. Едва священник произнес последние строки, Фельсхайм, наклонившись ко мне, прошептал:

— Тише! Он уже на подходе.

Снаружи до нас донесся стук копыт, становившийся все более и более громким. Агата инстинктивно придвинулась ко мне в поисках защиты. Священник покосился на нее.

— Уходим, Фельсхайм. Скорее!

Разбойник сделал два шага вниз по проходу, затем повернулся.

— Слишком поздно, — сказал он, и его рука потянулась к висевшей у него на боку в ножнах шпаге. Затем, вытащив из-за пазухи петриналь[1],

[1] *Петриналь* — короткое кавалерийское ружье, стреляло каменными пулями, отчего и получило свое название (πέτρος — греч. «камень»).

он направил длинный блестящий ствол на священника, чье лицо тотчас же сделалось пепельным.

— Прибыл милорд Линденштайн, — сказал Фельсхайм. — Мы не хотим, чтобы он обнаружил нас здесь, и потому укроемся во мраке у двери. Пока он не уйдет, этот петриналь будет нацелен на вас. Будете осмотрительны — бояться вам нечего. Но если предадите нас словом или знаком, или даже намеком на то, что этой ночью здесь прошло венчание... что ж, тогда нашему Святому Отцу, папе римскому, придется пополнить списки святых еще одним именем.

Когда он закончил говорить, у крыльца часовни остановилась лошадь, и мы едва успели укрыться в полумраке, как дверь распахнулась и на пороге возникла высокая фигура, резко очерченная белым сиянием теперь уже взошедшей луны. В тот же миг голос, в котором я узнал голос Линденштайна, спросил:

— Еще не прибыли?

— Еще нет, милорд, — дрожащим голосом ответил священник.

— А пора бы. Ага! Я их слышу.

И действительно, пока он говорил, я снова уловил отдаленный стук копыт. Линденштайн закрыл дверь и неторопливо зашагал по проходу.

Когда он вышел на свет, я увидел, что он облачен в багрово-золотистую ливрею капитана королевской стражи. Волосы граф специально так растрепал, чтобы они падали ему на лицо, почти скрывая черты лица. Однако, не удовлетворившись только этим, он неспешно поднялся по ступеням алтаря и задул две из четырех свечей.

— Напрасная трата воска, да и не подобающая случаю, — промолвил он, рассмеявшись.

Следующие несколько минут, затаив дыхание, мы провели в напряженном ожидании. Моя малышка Агата все это время прижималась ко мне, словно дитя к матери, а милорд Линденштайн молча расхаживал взад и вперед по проходу, — я даже испугался, как бы в один из своих разворотов он случайно не наткнулся на нас. Случись это, мне бы пришлось оплатить службу по его отлетевшей на небеса душе. Наконец ожидание подошло к концу, но за ним последовало нечто такое, что едва не заставило меня вскрикнуть от изумления.

В дверях стоял Герман Вульф, а рядом с ним — какая-то женщина в плаще с капюшоном.

Словно во сне, я смотрел на то, как он ведет ее к алтарю, у которого их поджидал Линденштайн. Я увидел, как граф наклонился и поцеловал ее руку, потом услышал монотонную латынь службы. Затем они преклонили колени, я услышал благословение, увидел, как они встали, вместе проследовали вниз по проходу и вышли на лунный свет. Вульф придержал для графа дверь и оставил ее открытой, когда сам покинул часовню вслед за ними.

— Господи, Фельсхайм, что это значит?

У разбойника вырвался сдавленный смешок.

— Это значит — молчите и слушайте.

Через открытую дверь до нас донесся грубоватый, но в то же время игривый голос Линденштайна.

— А теперь, малышка, почему бы тебе не поцеловать своего мужа? — затем голос вдруг изменился: в нем зазвучал дикий, необузданный гнев. — Himmel! Это еще что за девица?

В волнении я сделал шаг вперед и, все еще оставаясь в тени, выглянул наружу. Линденштайн снял с головы девушки капюшон, и, когда он уставился на нее при лунном свете, на лице его отобразились такие ярость и ужас, что на него было страшно смотреть.

— Herr Gott! — проревел граф. — Ты кого мне привел, болван? Это что, какая-то шутка, пёс? Отвечай мне!

— Разве это не госпожа Агата?

— Клянусь Небесами — нет!

— Нет? — переспросил Вульф, подходя на шаг ближе. — Тогда кто же это, во имя всех святых?

Голос его вдруг изменился: в нем зазвучал дикий, необузданный гнев.
— Himmel! Это еще что за девица?

— И ты еще спрашиваешь, пёс? Неужто ты сам не видишь, что женил меня на судомойке из замка Эберхольц?

Девушка опустилась, скорее, даже рухнула, на нижнюю ступеньку крыльца и разразилась громкими рыданиями. Пару мгновений Вульф отсутствующим взглядом взирал то на одного, то на другую, затем комичная сторона всего этого дела дошла до его сознания в полной мере, и он громко расхохотался.

— Смеяться изволишь, мерзавец! — вскричал Линденштайн, вне себя от ярости, а затем, извергая жуткие проклятья, ринулся вперед и ударил своего подручного по губам.

Смех замер в горле Вульфа, и с ревом обезумевшего животного он выхватил шпагу и бросился на графа.

— Никто не может похвастать тем, что он ударил Германа Вульфа и остался жив! — прорычал он. — Защищайтесь!

— Графиня фон Линденштайн вполне может сейчас овдоветь, — шепнул мне на ухо Фельсхайм. Он не ошибался, ибо Герман Вульф был одним из самых опасных фехтовальщиков Заксенберга. Все закончилось довольно-таки быстро. Стремительный ложный выпад — и, прежде чем милорд успел принять исходное положение, что-то сверкающее выдвинулось наружу из его спины, и он с криком упал.

Вульф же, даже не взглянув на испуганную девушку, которая, вся дрожа и всхлипывая, сидела на ступенях, отвязал своего коня и, вскочив в седло, галопом умчался прочь.

— Вы видели, что произошло? — спросил Фельсхайм у подошедшего к нам в этот момент священника.

— Я вижу результат. Но как это случилось, я не видел, иначе мне следовало бы вмешаться, — проворчал служитель алтаря.

— Этого вполне достаточно. Если этот человек умрет, вы сможете засвидетельствовать, каким образом он встретил свой конец, как, впрочем, это сделает и та бедняжка, которой я и не думал причинять боль подобным зрелищем. Вот тут — деньги для удовлетворения насущных потребностей графини. О графе вы позаботитесь сами. Мы же сейчас уезжаем.

В ту же ночь мы отправились в Штайнау. Там, уже у городских стен, Фельсхайм с нами попрощался.

— Вы должны мне пятьдесят золотых крон, которые у меня ушли на подкуп Лизхен, кухарки, которая дождалась Германа Вульфа в комнате госпожи Агаты и в итоге стала графиней фон Линденштайн, — сказал он.

— Я должен вам гораздо больше, Фельсхайм.

— О, не будем об этом! Но деньги вы можете выплатить мне в следующую нашу встречу, которая, как мне хотелось бы верить, произойдет не скоро, ибо я пока не намерен попадать в руки закона. Прощайте, сударыня. Прощайте, господин капитан, и да сопутствует вам удача!

Он поцеловал руку Агаты, пожал мою, а потом, развернув коня, ускакал в ночь, в свое горное разбойничье убежище.

РАЗБОЙНИК И ЛЕДИ

Как-то раз вечером Андреасу фон Фельсхайму, знаменитому разбойнику, случилось ехать одному по лесам Альтенау. Доро́гой он (ибо несмотря на все его грехи, Фельсхайм все же был веселым бандитом) распевал воинственную песенку о своем родном Вюртемберге. Едва он свернул на тропу, которая через несколько мгновений должна была вывести его из леса, как вдруг наткнулся на даму, одетую в платье для верховой езды из алого бархата с золотыми кружевами. Прислонившись спиной к дереву, она сидела в позе полнейшей безысходности.

Дама приветствовала его появление легким радостным возгласом, за которым последовал стон боли, после чего, придя к выводу, что с ней приключилось какое-то несчастье и она нуждается в помощи, Фельсхайм натянул поводья и, галантно взмахнув шляпой, заявил, что будет рад оказать леди любую услугу.

— Право же, сударь, — промолвила она голосом, в котором естественная мягкость теперь подчеркивалась жалобной ноткой, — мне неловко просить вас об одолжении, но ваша помощь действительно была бы мне весьма кстати.

— Не изволит ли мадам сказать, что я могу для нее сделать?

— Увы, сударь, я ехала этим путем полчаса назад, и, пребывая в глубокой задумчивости, не заметила, как моя лошадь уж и не знаю чего испугалась, пока не обнаружила, что невоспитанное животное сбросило меня со своей спины и убежало. Я так неудачно упала, что не могу ступить на ногу, и, не случись вам проезжать этой дорогой, мне, возможно, пришлось бы провести здесь ночь.

— Судя по всему, у вас вывих, сударыня. Я в таких делах немного разбираюсь, поэтому позвольте мне осмотреть вашу ногу.

Фельсхайм подъехал ближе и уже хотел было спрыгнуть на землю, но тут дама вскинула на него глаза, на щеках ее выступил легкий румянец, и, смущенно улыбнувшись, она мягким жестом остановила его.

— Нет-нет, сударь, прошу вас, не утруждайтесь излишне. Но я была бы вам крайне признательна, если бы вы помогли мне добраться до замка Хульденштайн.

Андреас ответил не сразу, словно им вдруг овладели необъяснимые сомнения. За те несколько секунд, что длилось его молчание, он позволил

Фельсхайм вдруг наткнулся на даму, одетую в платье для верховой езды... Прислонившись спиной к дереву, она сидела в позе полнейшей безысходности.

себе внимательно рассмотреть ее бледное овальное лицо, с которого на него, отвечая на его взгляд взглядом прямым и искренним, взирала пара темных глаз, больших и влажных, как у ребенка; и результатом этого пристального осмотра стало то, что Фельсхайм понял: леди молода и очень красива.

— Если позволите посадить вас на мою лошадь, сударыня, — сказал он наконец, — мы доберемся до Хульденштайна за каких-нибудь полчаса.

Фельсхайм взял ее изящную фигуру на руки и поднял в седло с такой легкостью, будто она весила не больше перышка. На какой-то миг он задержал девушку в своих объятиях, локон ее надушенных волос коснулся его щеки, и этот миг ответственен за многое из того, что случилось впоследствии.

Взяв коня под уздцы, Фельсхайм повел его обратно тем же путем, который только что проделал. По дороге они разговаривали о многих вещах, как это бывает с людьми, оказавшимися в подобных обстоятельствах. Вскоре они вышли из леса, и далее следовали уже вдоль берега реки Лёйб, на противоположном берегу которой, вздымая к небу свой гребень, возвышался Фалькенштайг, оплот разбойников.

— Мрачная гора, не правда ли? — спросила она, глядя через реку. — Более подходящего прибежища для тех отважных бандитов, которые там укрываются, наверное, и не сыщешь.

По красивому лицу Фельсхайма пробежала тень улыбки.

— Мне даже как-то грустно, — продолжала она, — становится при мысли о том, что когда-нибудь этот отчаянный храбрец Фельсхайм, вероятнее всего, умрет смертью обычного преступника на виселице в Шверлингене.

Фельсхайм смерил ее долгим взглядом, а потом рассмеялся.

— Beim Grab[1], сударыня, вы говорите о нем как о каком-то герое прошлого.

— А как еще мне, по-вашему, о нем говорить? Для меня он и есть — воплощение героя славных былых времен. Жить, вкушая счастье свободы и власти, быть таким, как он, — это и значит быть мужчиной!

— Увы, сударыня, быть может, вы и правы, — рассмеялся Андреас, — но в глазах закона он всего лишь жалкий вор, доставляющий кучу хлопот королю, и как жалкого вора его, вне всякого сомнения, и повесят, когда поймают.

После того, как Фельсхайм передал леди на попечение слуг, ответивших на его стук в ворота Хульденштайна, и дама любезно поблагодарила его за оказанную услугу, разбойник вскочил в седло и стремительно унесся прочь, безустанно думая о женщине, которая сожалела о том, что Андреаса фон Фельсхайма когда-нибудь повесят.

Мысли о ней настолько овладели Андреасом, что после того вечера, когда он встретил ее в лесу Альтенау, редко проходил день, когда бы он не спускался в долину под тем или иным предлогом, а иногда и вовсе не находя иной отговорки, кроме той, что ему нужно размяться.

Затем ему пришло на ум пересечь реку на лодке, для чего он позаимствовал грубо выделенное суденышко некоего Антона Хюбли — крестьянина, жившего на отрогах Фалькенштайга, — на нем Фельсхайм переплывал через Лёйб и неспешно проходил на веслах мимо окон замка, отвесно возвышавшегося над кромкой воды.

Во время своего третьего подобного путешествия Андреас увидел леди шествующую по тянувшемуся вдоль берега саду, и в этот миг, ощутив, как колотится сердце, он в полной мере осознал, *что* с ним случилось.

Она увидела его и, узнав, подошла к воде с улыбкой на полных, сочных губах и с игривым лукавством приветствовала его как своего рыцаря и спасителя. И он так осмелел от ее приветствия, что попросил у нее дозволения

[1] Клянусь могилой [предков] (нем.)

покинуть лодку и прогуляться с ней по саду, и это дозволение было дано ему с такой быстротой, что он чуть не сошел с ума от надежды и радости.

В тот день он узнал, что ее зовут София фон Хульденштайн и что она живет в этом замке одна, став последней представительницей своего рода после того, как Каспар фон Хульденштайн ушел в монастырь, а Фриц был убит в Шверлингене. В ответ разбойник сказал ей (и ложь обожгла ему язык), что он — Андреас фон Бонау, дворянин из Вюртемберга, к которому фортуна была не слишком благосклонна.

С тех пор его прогулки на лодке Хюбли стали почти ежедневным явлением, как и встречи с Софией фон Хульденштайн в саду замка.

И вот как-то в один из сентябрьских вечеров, недели этак через три после их первой встречи, — когда Андреас сидел рядом с Софией у реки, он вдруг в полной мере осознал всю степень своей вины, и обычно веселый его язык сковало молчанием. Какое-то время девушка терпела это его настроение, а потом спросила:

— Вас что-то угнетает, господин фон Бонау? Сегодня вы так унылы, печальны, только и делаете, что тяжко вздыхаете.

— Увы, сударыня, я только сейчас понял, что я — отъявленный негодяй, и осознавать это не слишком приятно.

Она взглянула на него с любопытством, и румянец медленно сошел с ее щек, когда она увидела его такого — сидящего с хмурым видом и мрачно глядящего куда-то за горизонт.

— Сударыня, — внезапно воскликнул он, — чего бы это мне ни стоило, я должен кое-что вам сказать. Меня зовут не Андреас фон Бонау, а Андреас фон Фельсхайм. Как?! Вас это не пугает, сударыня? Вы слышите такое, вдруг узнаёте, что я — знаменитый разбойник Фалькенштайга, человек, объявленный вне закона, нечестивый бандит, и вы всё еще здесь?

Она ответила на его удивленный взор пристальным взглядом, который немало его озадачил.

— Вы забыли, сударь, *что* я говорила о Фельсхайме, когда мы впервые встретились? — тихо спросила она. — Что быть таким, как он, это и значит — быть мужчиной?

— Beim Grab, сударыня, — воскликнул Фельсхайм, — хотя это будут последние мои слова вам, я все же должен сказать их: с того самого часа, как я заглянул в ваши глаза в лесу Альтенау и одну короткую секунду держал вас в своих объятиях, пока поднимал вас в седло, мое сердце принадлежит вам. Я не мальчик, сударыня; мне тридцать пять лет, я живу уже дольше, чем большинству мужчин довелось бы прожить и за две жизни, и когда такому человеку, как я, случается полюбить...

— Замолчите, сударь! — воскликнула она. — Я не могу, не могу это слышать!..

Бледное лицо, вздымающаяся грудь, дрожащие руки — все свидетельствовало о том, что леди пребывает в глубоком волнении.

С реки донесся всплеск весел, но в возбуждении момента Фельсхайм был глух к любым посторонним звукам.

С реки донесся всплеск весел, но в возбуждении момента Фельсхайм был глух к любым посторонним звукам.

— Ступайте, герр Фельсхайм. Скорее же, уходите! Вы не знаете, какие вам здесь угрожают опасности. Ах, да не стойте вы, как истукан! — продолжала она со слезами мольбы в глазах. — Если, как говорите, вы меня любите, докажите это, подчинившись моей воле, и сейчас же уходите!

Затем глаза ее широко распахнулись, наполнились ужасом и уставились куда-то мимо него. Щеки ее сделались пепельно-серыми, с губ сорвался слабый стон.

— Боже! — прошептала она. — Слишком поздно! Слишком поздно!

Андреас быстро обернулся, чтобы поискать у себя за спиной объяснение ее странным словам, и представшее взору зрелище пришлось ему не по вкусу. Незаметно подкравшаяся под прикрытием берега лодка, приближения которой он, поглощенный разговором с Софией, не заметил, уже остановилась у подножия лужайки, и в этой лодке стояли шестеро вооруженных мужчин в кирасах и шлемах.

Словно загнанный зверь, он обернулся в поисках пути к побегу и заметил калитку, что вела из сада. Но не успел он сделать и пары шагов в том направ-

лении, как калитка открылась, и через нее в сад вошла еще одна группа солдат и совсем юный офицер, который смело направился к Андреасу.

Распрямившись, разбойник наблюдал за его приближением презрительным взглядом, хотя и понимал: похоже, это конец, из столь тяжелого положения выбраться удастся едва ли.

Пройдя с полдюжины шагов, офицер остановился и, попытавшись, но тщетно, придать своему свежему юному голосу свирепость, призвал Фельсхайма сдаться.

Затем офицер подал знак своим людям, уже образовавшим вокруг Андреаса кольцо из двадцати человек, и по этому знаку двое из них вышли вперед и, схватив разбойника: один — за левое запястье, другой — за правое, связали ему руки за спиной.

Когда его уводили, Фельсхайм на миг повернул голову и обвел сад темными глазами в надежде уловить последний взгляд Софии фон Хульденштайн — взгляд сочувствия, память о котором он смог бы унести с собой в свое последнее путешествие. Но девушки нигде не было видно.

* * *

Ту ночь он провел в сырой и грязной камере хюненбергской тюрьмы, но на рассвете следующего дня его вывели и, развязав руки, чтобы он мог держать поводья, дали ему лошадь и под конвоем повезли в Шверлинген. Его определили в середину конного отряда, и, подстраховки ради, в паре шагов позади него с перекинутым через луку седла мушкетом ехал солдат, готовый открыть огонь, если он вдруг окажется достаточно безумен для того, чтобы попытаться сбежать.

Несмотря на то, что положение его было почти безнадежным, солнечный свет и чистый воздух полей вкупе с предоставленной ему возможностью делать зарядку заметно приободрили Фельсхайма, вытащив его из трясины уныния, в которую он погрузился минувшей ночью. К тому же вышло так, что задержавший разбойника и уже предвкушавший славу, которую ему должна была принести триумфальная поимка Фельсхайма, лейтенант Трольдаль, офицер, командовавший этим небольшим отрядом, пребывал в благостном расположении духа.

И вскоре, движимый желанием казаться безрассудным до конца и умереть так, как он жил, с улыбкой на устах и шуткой на языке, Андреас сделался столь остроумным и веселым, что одну за другой отпускал тонкие реплики, от которых лица окружавших его солдат расплывались в улыбке.

— Клянусь Мессой, господин Разбойник, — наконец воскликнул Трольдаль, — удары судьбы вас отнюдь не сломали!

— Полноте! К чему грустить, когда мне жить-то осталось всего неделю? Нет, сударь, раз уж мой путь подошел к концу, позвольте мне хотя бы эти последние дни провести в веселье и радости.

— И все же, — настаивал лейтенант, — полагаю, найдется немного людей, которые держались бы столь же невозмутимо, угодив в руки закона.

— Напомнить вам, *как* я угодил в эти руки? Я был один против двух десятков солдат — о такой чести я не мог и мечтать! Если бы я пал от одного-единственного клинка или стал жертвой предательства, если бы я слепо ступил в уготовленную мне ловушку, вот тогда мне действительно было бы отчего горевать и печалиться.

Трольдаль взглянул на него искоса.

— Heilige Jungfrau![1] — воскликнул он. — Неужто вы так и не поняли, что вас провели? А ведь догадаться не так уж и трудно: король заманил вас в западню, которую подстроила для вас женщина, и в эту западню, несмотря на всю вашу хваленую проницательность, вы ступили самолично, по доброй воле и достаточно слепо!

Фельсхайм похолодел при этих словах и хриплым голосом попросил офицера просветить его. Вняв просьбе пленника, Трольдаль довольно-таки подробно изложил ему историю о том, как Стефания фон Нойш, известная шверлингенская придворная красавица, взялась выполнить миссию, в которой столь часто терпели неудачу мужская сила и хитрость, над коими она, в свою очередь, намеревалась восторжествовать благодаря своему женскому остроумию: передать грозного Фельсхайма в руки людей короля.

Офицер заявил, что первая встреча Фельсхайма с дамой была не простой случайностью, каковой казалась, а выполнением плана, который Стефания придумала уже давно, но смогла претворить в жизнь только теперь, спустя многие недели. Трольдаль и его люди разместились в Штайнау, поскольку их прибытие в Хюненберг могло бы напугать разбойника, укрывающегося в разрушенном замке на противоположном берегу Лёйба. Как только леди фон Нойш поняла, что Фельсхайм у нее на крючке, она отправила к ним гонца, и они спустились по реке, достигнув Хульденштайна ровно в тот час, когда, по расчетам леди Стефании, разбойник должен был почтить ее своим присутствием.

Фельсхайм в ответ не произнес ни слова, и почти в течение часа после того, как лейтенант закончил говорить, ехал молча, опустив голову и нахмурив брови — все недавнее безрассудство умерло в нем.

Они достигли вершины холма Мориц, который так постепенно поднимается из долины Хюненберг, что кажется недостойным называться холмом, — но лишь до того момента, пока ты не достигнешь наивысшей его точки и оттуда не обозришь расстилающуюся внизу местность. Собственно Хюненберг оттуда почти не виден, разве что крыши отдельных его домов, проглядывающие вдалеке, за лесом Альтенау. Но массивная квадратная башня замка Хульденштайн, расположенного примерно в четырех лигах от того места, где они остановились, была видна как на ладони.

— Heilige Jungfrau! — воскликнул лейтенант, прикрыв глаза рукой. — Это еще что такое?

[1] Святая Дева! (нем.)

Фельсхайм в ответ не произнес ни слова, и почти в течение часа после того, как лейтенант закончил говорить, ехал молча.

Его восклицание было столь неожиданным и прозвучало столь резко, что каждый из отряда, повернувшись в седле, посмотрел в указанном офицером направлении. Над замком волнообразно взмывало ввысь нечто такое, что издали выглядело плотной черной завесой.

— Herr Gott! — вскричал кто-то. — Да это же дым! Замок горит!

Солдаты переглянулись, и утренний воздух наполнился гулом голосов, тут же, однако, стихшим по знаку Трольдаля. В воцарившейся тишине отчетливо послышался стук копыт.

— Кто-то несется сюда во весь опор, — сказал лейтенант. — Быть может, сейчас мы узнаем, что там происходит. Не нравится мне этот дым; огонь наводит на мысль о грабежах, а грабежи, господин Разбойник, наводят на мысль о ваших друзьях. Клянусь Мессой, это женщина! Держу пари на сотню крон, это ваша подруга Стефания, герр Фельсхайм.

Андреас посмотрел вниз, на белую дорогу, по которой в облаке пыли действительно, как и сказал Трольдаль, сломя голову мчалась женщина. Когда она проскакала еще метров тридцать, Фельсхайм увидел, что предположение лейтенанта относительно личности этой дамы также было верным.

Ее лицо было мертвенно-бледным, волосы растрепаны и покрыты, как и вся ее одежда, тонким слоем белой пыли.

— Himmel! — выдавила она из себя, с трудом переводя дух. — Я уж думала, мне никогда вас не настичь! В Хульденштайн нагрянули эти бандиты — разбойники Фалькенштайга, как их тут называют. Как видите, они подожгли замок и из мести за поимку своего предводителя мародерствуют в Хюненберге. Поезжайте обратно, сударь! Скачите со скоростью ветра, если хотите спасти тех несчастных, что там проживают!

— Этого-то я и боялся, — проворчал лейтенант, гневно нахмурившись. — Вы знаете, сколько их, этих разбойников?

— Как я слышала, человек двадцать.

— Ха! Тогда, клянусь Богородицей, вам не придется путешествовать одному, герр Фельсхайм, — надеюсь, у вас будет теплая компания! Микаэль, — воскликнул он, обращаясь к человеку с мушкетом, — оставайся здесь и присматривай за этим грабителем... Ты тоже останься, Вайс. Привяжите его к дереву и дожидайтесь нашего возвращения. Если на вас вдруг случайно наткнется кто-нибудь из его чертовых приспешников, вышибите Фельсхайму мозги и уносите ноги. Понятно? Прекрасно. Остальные — со мной, в Хюненберг! Сударыня, отдохните немного, а потом, если пожелаете, можете последовать за нами.

По команде Трольдаля его подопечные выстроились в линию, затем, повинуясь его резкому выкрику: «Vorwärts![1]», галопом помчались в направлении долины, оставив Фельсхайма позади с двумя солдатами и предавшей его женщиной.

Микаэль — тот, что был с мушкетом, — резким тоном приказал Фельсхайму спешиться, и разбойник машинально повиновался, избегая устремленного на него пристального взгляда девушки. Вайс тоже соскочил на землю и, взяв у Микаэля мушкет, держал его направленным в грудь разбойника, пока его товарищ также, в свою очередь, слезал с лошади. Затем Микаэль вытащил из седельной сумки кожаное стремя, кивком указал Фельсхайму на росшее поблизости дерево и приказал направляться к нему. Оба солдата следовали за разбойником по пятам.

Микаэль молча протянул руку за мушкетом, и Вайс так же молча протянул ему оружие, но в тот самый момент, когда мушкет переходил из рук в руки, Стефания, которая до сих пор неподвижно сидела в седле, с внимательным любопытством наблюдая за происходящим, вдруг, пришпорив своего скакуна, направила его прямо на солдат и сбила с ног обоих, прежде чем они успели отскочить в сторону; уже падая, Микаэль спустил курок. Фельсхайм резко обернулся на выстрел, и как нельзя вовремя: подлетевшая к нему на коне Стефания, наклонившись, уже протягивала ему петриналь, призывая взять оружие и защищаться. Быстро придя в себя от изумления: столь неожиданной была эта помощь, Андреас на какой-то миг был готов отказаться от этого дара свободы из ее рук. Затем, вспомнив, что, если он этого не сделает, то уже максимум через неделю будет повешен, Фельсхайм схватил петриналь и, уперев

[1] Вперед! (нем.)

приклад в грудь, направил дуло прямо на Микаэля как раз в тот момент, когда парень пытался подняться на ноги. Другой солдат все еще лежал там, где упал, судя по всему, без сознания.

— Замри!— прорычал Фельсхайм. — С той секунды, как лошадь мадам сбила вас двоих с ног, ситуация изменилась. Если хочешь когда-нибудь снова увидеть Шверлинген, исполняй мои приказы быстро и точно.

Он подошел к солдату и протянул к нему левую руку.

— Давай сюда это стремя. А теперь повернись. Beim Teufel! Повернись, я сказал, не то сейчас ты у меня закружишься в смертельном вращении! Так-то лучше... Заведи руки за спину.

Фельсхайм быстро и ловко связал его запястья вместе, затем, подведя солдата к тому самому дереву, которое минуту назад парень сам выбрал для Андреаса, разбойник крепко-накрепко привязал к нему своего пленника при помощи все того же кожаного стремени.

Выбрав из трех лошадей самую, как ему показалось, выносливую, Фельсхайм легко вскочил в седло. Затем он повернулся к Стефании и на мгновение заколебался, все еще совершенно не понимая ее поступка.

— Сударыня, — промолвил он наконец, — действительно ли, как мне сказал лейтенант Трольдаль, вас зовут Стефания фон Нойш?

Кровь бросилась ей в лицо, глаза опустились, когда она услышала слова, сказавшие ей: он знает все.

— Да, сударь, — пробормотала она. — Меня действительно зовут так.

Фельсхайм молчал. Казалось, он никак не может решить — высказаться до конца или же просто взять и без лишних слов удалиться?

— Сударыня, — воскликнул он наконец, — как мне следует понимать ваш последний поступок?

— Не спрашивайте, сударь. Не стремитесь понять — просто уходите. Путь свободен. Через час вы будете уже на том берегу.

— И все равно, сударыня, я в замешательстве: не знаю, чему и верить. Это правда, что наша встреча в лесу Альтенау не была случайной?

— Да, — едва слышно произнесла она, — это было запланировано.

— И вы не подвернули ногу?

— Нет.

— И вы обещали королю, что поможете меня поймать?

— О да, да. Зачем вы меня мучаете?

— Тогда скажите, сударыня, во имя всего святого: почему, после того как весь этот ваш спектакль закончился столь грандиозным успехом, вы сбили с ног этих двух парней и вложили мне в руку оружие?

— Я сделала, сударь, не только это, — воскликнула она с неожиданной пылкостью. — Я собственноручно подожгла замок Хульденштайн, придав тем самым правдоподобия моей истории о набеге ваших разбойников, и отправила лейтенанта Трольдаля обратно в Хюненберг с дурацким поручением, ввиду чего с вами и осталось всего два конвоира.

Вдруг Стефания, пришпорив своего скакуна,
направила его прямо на солдат и сбила с ног обоих,
прежде чем они успели отскочить в сторону.

У Фельсхайма отпала челюсть; он смотрел на спутницу округлившимися от изумления глазами.

— Herr Gott! Так это тоже была игра?! И чтобы она, эта ваша игра, выглядела более реальной, вы сожгли замок. Но зачем, сударыня, зачем?

— О, вы и в самом деле слепы, сударь, если вам нужно это разъяснять! — воскликнула Стефания, отводя взгляд от разбойника в сторону теперь уже вовсю пылающей башни. — Как вы не можете понять, что я сделала это затем, что хотела спасти вас и исправить то, что натворила? Я ведь предупреждала вас вчера, в саду, просила уйти, но было уже слишком поздно. Я сказала королю, что, играя с вами, легко заманю вас в ловушку, но... но... прости меня, Господи, — добавила она, разразившись слезами, — вчера вдруг обнаружила, что уже не играю.

Но уже через несколько мгновений, быстро взяв себя в руки, она сердито воскликнула:

Она резко развернула коня и, прежде чем он успел ответить, стремительно умчалась в направлении Штайнау.

— О-о-о! Да что же вы стоите, как какой-то кретин, и вынуждаете меня краснеть от стыда за то, что я говорю вам все это! Прощайте, герр Фельсхайм. Едва ли мы встретимся снова. Но, быть может, если в голове у вас отложится мысль, что, как бы ни постыдно я поступила с вами, я все же загладила свою вину тем, что спасла вашу жизнь, вы не станете думать обо мне слишком уж плохо. Adieu!

Она резко развернула коня и, прежде чем он успел ответить, стремительно умчалась в направлении Штайнау.

Фельсхайм несколько мгновений наблюдал за ней, затем горестно вздохнул.

— Так вот заканчивается мой первый роман, — пробормотал он, — и я надеюсь, если все они будут столь же горького вкуса, единственный. Beim Hölle[1], даже интересно, что вам, сударыня, скажет настоящая София фон Хульденштайн, когда узнает, что это вы устроили пожар в ее замке, и все это — ради жалкого мошенника вроде меня.

Он рассмеялся коротким, резким смехом и, пришпорив коня, понесся по склону холма вниз, к реке.

[1] Клянусь Преисподней! (нем.)

ЗАВИСТЬ ДЕЛЬВЕНТАЛЯ

Милорд Дельвенталь так шарахнул по столу своим толстым кулаком, что задребезжали бокалы, и раз в двадцатый за последний час обозвал короля глупцом, а графа фон Бозенхардта — негодяем.

Гуго фон Дельвенталь был невысоким, тучным мужчиной лет сорока, чье широкое красное лицо, обрамленное растрепанными рыжими волосами и украшенное короткой заостренной бородкой того же оттенка, — едва ли могло похвастаться красотой, даже когда разум милорда был преисполнен благостной умиротворенности. Но в тот осенний вечер его лицо сделалось уродливым от желчи, а зловещего блеска маленьких голубых глаз следовало избегать, ибо казалось, что его взгляд несет несчастье.

Стояла осень 1643 года, и мятежный герцог Леопольд Дрюсдауский со своими австрийскими наемниками подходил к границам Заксенберга.

Его величество король Людвиг IV поручил графу фон Бозенхардту собрать войско численностью триста человек и, встав во главе этого войска, взять на себя командование городом Кройцбург. Милорду Дельвенталю была назначена подчиненная должность лейтенанта Бозенхардта, и Бозенхардт приказал ему отправиться в Кройцбург в сопровождении капитана Штоффеля, то есть меня, и полудюжины стражников, чтобы предупредить бургомистра о намерениях короля относительно его города и подготовить Кройцбург к прибытию нового гарнизона под командованием Бозенхардта.

Дельвенталь, конечно же, постарался скрыть свое возмущение и зависть по поводу чести, оказанной таким образом Бозенхардту, — чести, которая (справедливо или ошибочно), по его мнению, должна была достаться ему. Но теперь, когда мы сидели одни на постоялом дворе «Черный бык» в Штайнау, он сбросил маску и без утайки обнажил передо мной свои чувства по этому поводу.

— Некоторые дураки, — сказал он с ухмылкой, — называют нашего короля Людвига «проницательным». Если они продолжат так его величать и после сегодняшнего, не называть их самих «дураками» сможет разве что откровенный льстец.

Дельвенталь одарил меня красноречивым взглядом,
преисполненным жалости и презрения.
— Толковый солдат, говоришь? Я бы скорее сказал, бестолковый дурак.

— Милорд, — осмелился заметить я, бросив быстрый взгляд на закрытые двери, — мне кажется, в эту смутную пору вряд ли разумно *так* говорить о его величестве. Вам не мешало бы иметь в виду, что в общем зале находится с полдюжины солдат, и если они вас услышат...

— Herr Gott, капитан Штоффель, — проревел он, — какое мне дело до того, кто меня слышит? Они услышат правду. Сама моя любовь к Людвигу побуждает меня так говорить. Как ему удастся подавить восстание и арестовать мятежного герцога, если он подходит к решению этой проблемы таким вот образом? Кто такой этот Бозенхардт, что ему поручили командовать таким гарнизоном, как Кройцбург? К тому же, этот город, словно язвой, поражен предательством. Фу! Меня тошнит от одной мысли об этом.

— Он толковый солдат, — возразил я.

Дельвенталь одарил меня красноречивым взглядом, преисполненным жалости и презрения.

— Толковый солдат, говоришь? Я бы скорее сказал, бестолковый дурак. Я вообще сомневаюсь в его преданности, герр Штоффель. Видит Бог, я бы ничуть не удивился, если бы он оказался предателем! И подумать только: сегодня утром в Морицау этот наглый выскочка подошел ко мне и шепеляво попросил отправиться в Кройцбург и сообщить бургомистру, что в следующую среду он, Бозенхардт, войдет в город со своими людьми. Beim Hölle, герр Штоффель, неужели я дожил до того, что должен передавать послания какому-то вонючему бургомистру?

Дельвенталь засмеялся мерзким, полным самоиронии смехом и, вероятно, продолжил бы изрыгать уж и не знаю какие там новые оскорбления, но тут я, вроде как невзначай заметив, что час уже поздний, встал и заговорил о постели.

Хотя над Заксенбергом висела туча войны, в ту ночь я спал крепко и наутро проснулся поздно. С улицы до моих ушей донесся топот копыт, лязг удил и звон снаряжения, сопровождавшийся гулом голосов и перемежаемый случайными выкриками — все это указывало на присутствие там многочисленного конного отряда.

Окончательно проснувшись, я сел в постели, прикидывая, *что* бы мог весь этот шум значить, затем, движимый любопытством, встал и, поспешно одевшись, спустился по лестнице.

На полпути я наткнулся на хозяина, поднимавшегося с побледневшим лицом и заметно дрожавшими под весом его дородного тела ногами.

— Господин капитан, — вскричал он, увидев меня, — нам конец! Сюда идут разбойники Фалькенштайга, ведомые этим архидьяволом Андреасом фон Фельсхаймом собственной персоной!

Он сказал и еще что-то, но я уже не расслышал, потому что эта новость придала мне такую скорость, что я в один миг достиг подножия лестницы и распахнул дверь, что вела в главный зал трактира.

Мои парни, столпившись у окон, отчаянно толкались между собой, чтобы хоть мельком взглянуть на происходящее на улице, в то время как Дельвенталь один стоял подбоченясь в дверях, выглядывая наружу. Когда я вошел, он повернулся ко мне с почерневшим от гнева лицом.

— Beim Teufel, капитан Штоффель, — воскликнул он, — похоже, помимо Леопольда Дрюсдауского, у этого несчастного королевства есть и другие враги, от которых мы будем вынуждены защищаться! Здесь свирепая шайка разбойников, несомненно, явившихся разграбить Штайнау вслед за разграбленным месяц назад Майнингеном!

Подойдя к тому месту, где он стоял, сквозь толпу собравшихся на улице испуганных граждан я увидел длинную вереницу вооруженных всадников — сотни две с половиной, не меньше, — чей свирепый, мужицкий, бандитский вид как раз таки и был рассчитан на то, чтобы привести этот небольшой городок в смятение и ужас.

Они были выстроены так, словно ожидали какой-то команды, и вскоре — а все это время я наблюдал за ними с живейшим любопытством и некоторой

тревогой, — прямо к двери трактира подъехал кавалер в сверкающих латах и широкополой шляпе с плюмажем, — более галантного наездника я бы и представить себе не смог! Этот изысканный мужчина был не кто иной, как Андреас фон Фельсхайм, грозный разбойник Фалькенштайга, чья голова была оценена в огромную сумму — пять тысяч крон.

Он приветствовал меня дружеской улыбкой и взмахом шляпы, ибо, хотя я и был капитаном королевской стражи, а он — предводителем разнузданной шайки бандитов, истребить которую королю все никак не удавалось, все же когда-то мы, Фельсхайм и я, были товарищами, и тогда он оказал мне неоценимую услугу. Словом, вполне естественно, что я испытывал к нему добрые чувства и временами лелеял надежду, что когда-нибудь настанет день, когда я смогу, так или иначе, вернуть долг, который лежал между нами.

Спешившись и бросив поводья одному из своих людей, он направился ко мне.

— Рад встрече, господин капитан, — сказал он, — у меня для вас есть новости. Надеюсь, я не слишком опоздал, и благородный лорд Дельвенталь все еще здесь, с вами?

Прежде чем я успел ответить, Дельвенталь выдвинулся вперед.

— Что вам от меня нужно, герр Фельсхайм? — спросил он неприветливым тоном.

— На сей раз, милорд, я пришел не грабить, а служить королю — и вам.

Дельвенталь, похоже, ему не поверил.

— Прекрасные слова, — произнес он с усмешкой. — И что вы хотите взамен?

— Услуга, которую я желаю оказать государству, имеет такую ценность, что его величество отнюдь не переплатит, если дарует мне и моим товарищам прощение за совершенные в прошлом преступления, — ответил разбойник. — Да и вы, милорд, заплатите мне за услугу, которую я собираюсь вам оказать, не больше, чем я того заслуживаю, если похлопочите за меня и в дальнейшем проявите интерес к тому, чтобы прощение, о котором я говорю, мне было назначено. Уделите мне несколько минут беседы, и вы узнаете, чем я хочу с вами поделиться. Хозяин, бутылку рейнского вон за тот стол!

Он указал на стол в углу комнаты, и мы, по его приглашению, прошли туда и сели.

— Мое дело в какой-то степени касается и вас, милорд, — сказал Фельсхайм, наполняя стакан. — Мне стало известно, что вы были назначены, уж и не знаю, в силу какого такого глубокого заблуждения о ваших заслугах, лейтенантом графа фон Бозенхардта, который с тремя сотнями человек должен занять Кройцбург и не позволить мятежному герцогу Леопольду захватить город. Я верно информирован?

Дельвенталь утвердительно кивнул.

— Ваша личная преданность королю Людвигу, да хранит его Бог, пусть он и не питает ко мне слишком уж нежных чувств, — хорошо известна, милорд,

Разинув рот, Дельвенталь уставился на разбойника осоловелым взглядом.
— Вы хотите сказать, что Бозенхардт — предатель?

потому-то я и пришел к вам, чтобы сказать: человек, которому вы служите, продал себя и своих рекрутов герцогу Леопольду, так что, помогая ему овладеть Кройцбургом, вы помогаете ему удержать город не для короля, как вам кажется, а для австрийского мятежника.

При этой удивительной новости румяные толстые щеки Дельвенталя в один миг побледнели, и, разинув рот, он уставился на разбойника осоловелым взглядом.

— Вы хотите сказать, — выдавил из себя он, когда наконец обрел дар речи, — что Бозенхардт — предатель?

— Да, и даже хуже того — он такой же предатель, каким был Иуда, ибо он предает самого своего господина[1]. Я был в Кройцбурге. Во всем Заксенберге нет другого такого города, где бы столь явственно ощущался дух измены.

[1] Игра слов. Английское «master», помимо прочих значений, означает не только «господин», но и «учитель».

Впрочем, это, милорд, вы, должно быть, и без меня знаете. Но чего вы, как я полагаю, не знаете, так это того, что не только местные жители по большей части являются сторонниками Леопольда, но и сам гарнизон численностью в сто голов. Бургомистр, который тоже в союзе с мятежником, и этот предатель Бозенхардт замыслили заговор, и вы, милорд, слепо им помогаете.

Дельвенталь побагровел от с трудом сдерживаемого возбуждения и, хлопнув ладонью по столу, прохрипел:

— Вы можете это доказать, сударь, вы можете это доказать?

— Вчера утром, — сказал Фельсхайм, — когда я уже отъехал от Кройцбурга примерно на три лиги, я случайно наткнулся на бандитского вида воришку, который рылся в карманах несчастного, коему он только что проломил голову. Увидев меня, он дал деру, а я спешился, чтобы оказать раненому помощь. Я расстегнул его дублет, чтобы ему было дышать, и тут мое внимание привлек пакет, спрятанный у него на груди. Я вытащил его и с огромным удивлением обнаружил, что это письмо, адресованное Карлом Грайницем, бургомистром Кройцбурга, его светлости герцогу Леопольду Дрюсдаускому в Турген, где, судя по всему, курьер и должен был с герцогом встретиться.

— Herr Gott! — прорычал Дельвенталь. — Оно у вас при себе, это письмо?

Вместо ответа Фельсхайм достал из кармана письмо и, расправив его на столе, протянул Дельвенталю.

На минуту-другую, пока милорд внимательно читал послание, воцарилась тишина, затем последовала буря ругательств, и Дельвенталь, положив письмо передо мной, велел мне прочесть:

Милорд герцог,

позвольте мне с глубочайшим уважением и удовлетворением сообщить вашей светлости о присяге, принесенной вам жителями и гарнизоном Кройцбурга. Граф Арнольд фон Бозенхардт обещает присоединиться ко мне в течение недели с отрядом в триста человек. Как только они окажутся в стенах Кройцбурга, наши ворота закроются до прибытия вашей светлости.

Далее, в искусно подобранных выражениях, следовали пожелания всего наилучшего и в конце наконец — подпись Карла Грайница.

Я ахнул от изумления. Подумать только: граф фон Бозенхардт — предатель! Не предоставляй это письмо неопровержимых тому доказательств, я бы скорее поверил, что сам король питает привязанность к Леопольду.

Но сколь бы я ни был поражен и опечален тем, что существовал (и, к счастью, был раскрыт!) столь коварный заговор, все же в глубине души, следует признаться, я отчасти был рад такому повороту событий, ибо мысленно я уже видел Фельсхайма помилованным и ведущим новую, достойную жизнь.

— И в качестве платы за эту информацию, герр Фельсхайм, — осведомился я, — вы просите от короля прощения за прошлые преступления?

— Beim Grab! — воскликнул Дельвенталь. — Как по мне, так это станет вполне приличествующей наградой за оказанную вами государству услугу!

— Об этом — чуть позже, — промолвил разбойник с улыбкой. — Сейчас же обсудим вот что. Зная о вашем присутствии здесь и имея на руках это письмо, я придумал, как можно побить графа фон Бозенхардта его же оружием. Для претворения в жизнь моего плана — и только лишь для этого, ни для чего другого — я и привел сюда с собой около трехсот человек. На протяжении пяти лет, — продолжал он с оттенком грусти в голосе, — я вел беззаконную жизнь, насмехаясь над королем и ни во что не ставя государство. Несколько раз меня едва не поймали, но фортуна была ко мне благосклонна, и мне удавалось остаться на свободе. Однако же мое ремесло опасно и, судя по всему, имеет печальный конец. Сегодня я намерен с ним покончить — обнажить свою шпагу во имя короля и государства и нанести удар ради Зонсбекской династии, что принесет мне прощение благодарного короля. А теперь слушайте, милорд: правда ли, что вы едете в Кройцбург для того, чтобы подготовить город к прибытию Бозенхардта?

— Да, это так, герр Фельсхайм.

— Тогда, милорд, я предлагаю вам немедленно отправиться в Кройцбург с вашими солдатами в качестве эскорта и выполнить задание, с которым вас послал граф фон Бозенхардт, словно со дня вашего отбытия из столицы ничего и не случилось. Вот только вам нужно будет сообщить вероломному бургомистру, что Бозенхардт прибудет в город не в среду, а сегодня в полночь. Я со своими людьми займу место графа и его войска, и под покровом ночи мы войдем в Кройцбург вместо них; оказавшись непосредственно в городе, мы сможем посмеяться над Бозенхардтом и всеми его мятежниками. Что скажете, милорд: разве я не заслужил прощение для себя и моих товарищей?

Дельвенталь пришел в восторг от плана разбойника и принялся расхваливать его на все лады. В поисках причины далеко ходить было не нужно. Дело было не столько в преданности милорда Людвигу, сколько в его зависти к Бозенхардту. Он ликовал скорее оттого, что предательство графа открылось и от мысли о его приближающемся бесчестии и поражении, нежели от перспективы спасти Кройцбург от Леопольда Дрюсдауского. К тому же, быть может, он уже видел, как предложенная Фельсхаймом затея покроет его, Дельвенталя, несмываемой славой.

— Во избежание ненужных волнений и кровопролития, которые могут начаться, когда бургомистр обнаружит, что его обманули, — добавил Фельсхайм, — будет неплохо, если вы ему скажете, что Бозенхардт желает войти в город тайно, и добьетесь того, чтобы нас не вышел встречать весь гарнизон. Наш успех во многом зависит от того, удастся ли застать их врасплох.

Дельвенталь полностью поддержал и это его предложение.

— Не волнуйтесь, — сказал он, — я позабочусь о том, чтобы в момент вашего прибытия гарнизон спал.

Затем он наполнил свой бокал до краев, поднялся на ноги и, произнеся тост за Фельсхайма, выпил за успех его предприятия и провал плана Бозенхардта. Было заметно, что Дельвенталю не терпится приступить к выполнению своей части задачи. Он приказал моим солдатам готовиться к отъезду и полчаса спустя выехал в Кройцбург. Меня он оставил с Фельсхаймом.

Примерно через час после захода солнца Андреас фон Фельсхайм снова собрал своих разбойников на главной улице Штайнау, и по его команде мы выехали из города, к глубочайшему облегчению местных жителей, которые не могли поверить в свою удачу: разбойники Фалькенштайга уходили из Штайнау, не подвергнув его разграблению!

Мы ехали по кройцбургской дороге в ускоренном темпе и так гнали лошадей, что уже вскоре после полуночи стояли под крепкими древними стенами недовольного королем города.

У южных ворот мы обнаружили опущенный подъемный мост и заметили смутные очертания нескольких человек, укрывавшихся в тени, под арочным проходом. Все это — и тишина на городских стенах — говорило о том, что Грайниц подчинился предписанию Дельвенталя сохранить наше прибытие в тайне.

Фельсхайм подождал, пока его люди проедут по мосту во главе с Гесслером, его лейтенантом, и лишь затем последовал за ними, а вместе с ним — и я. На открытом пространстве за воротами мы обнаружили выстроившихся в шеренги разбойников; чуть впереди них стоял бургомистр, сопровождаемый дюжиной копейщиков с раскачивавшимися на их алебардах фонарями и дерзким молодым офицером. Как только мы проехали за ворота, Грайниц выступил вперед и, внимательно оглядев нас, пробормотал имя Арнольда фон Бозенхардта. Это был маленький седобородый человечек, который стремился с помощью тяжелых доспехов и большого меча придать своей хилой фигуре вид силы и важности.

Он узнал меня и степенно приветствовал, хотя мне и показалось, что я уловил огонек удивления в его взгляде, — а затем перевел взгляд на Фельсхайма, который был ему незнаком.

— Как так вышло, мой господин, — сказал он тонким, дрожащим голосом, — что я не вижу графа фон Бозенхардта?

— А вот так! — воскликнул Фельсхайм с резким смешком. — И вы вряд ли увидите его до той минуты, пока не взойдете вместе с ним на эшафот, господин мятежник.

Бургомистр выпрямился во весь рост и смерил разбойника долгим взглядом.

— Я вас не знаю, сударь, — ответил он со спокойным достоинством, — и не понимаю.

— Возможно, палача вы поймете лучше.

— Это вы — мне?! — гневно прохрипел Грайниц. — Мне — бургомистру Кройцбурга?!

Бургомистр выпрямился во весь рост
и смерил разбойника долгим взглядом.
— Я вас не знаю, сударь, — ответил он
со спокойным достоинством, — и не понимаю.
— Возможно, палача вы поймете лучше.

— Уже не бургомистру, — ответил Фельсхайм, вытаскивая из кобуры пистолет и приставляя дуло к голове старика. — И не вздумайте дергаться, герр Грайниц.

Суровый тон разбойника и вид оружия напрочь лишили бургомистра достоинства и мужества. С белым, как молоко, лицом и стучащими одно о другое коленями он повернулся к Дельвенталю и дрожащим голосом попросил милорда объяснить, в чем его обвиняют, и спасти ему жизнь.

— Ваша жизнь нам не нужна, герр Грайниц, — сказал Дельвенталь. — Но вам придется отдать нам вашу шпагу и ключи от Кройцбурга. Ваши письма к герцогу Леопольду были перехвачены, так что ваша измена раскрыта, как и измена вашего сообщника Арнольда фон Бозенхардта.

— Это ложь!— взвизгнул маленький человечек. — Я не писал никаких писем. Это какой-то заговор с целью захватить город, и мятежники — это вы. Эй, там, копейщики! На помощь!

Но его призыв запоздал. Десятка два сторонников Фельсхайма уже окружили небольшой отряд и потребовали сдать оружие, которое было им отдано с той покорностью, которую людям внушает страх. Как только бургомистр это увидел, на какой-то миг воодушевивший его проблеск решительности угас, и он превратился в жалкого труса — на такого без слез и не взглянешь! Под дулом пистолета Фельсхайма он тотчас же стал покладистым и безропотно повиновался каждому приказу преступника, хотя, стуча зубами, и бормотал беспрестанно, что он — самый верный подданный короля Людвига, какого только можно было найти в Заксенберге.

— Заткнись, болван, — прорычал наконец Фельсхайм, — и веди нас к караульне.

Тотчас же умолкнув, Грайниц сделал то, что ему было велено, и вскоре мы оказались перед большим квадратной формы строением, расположенным примерно в сотне шагов от ворот, через которые мы вошли. С полдюжины вооруженных мужчин вышли из здания и теперь стояли с разинутыми ртами, глядя на то, как мы к ним приближаемся. Когда Фельсхайм приказал им позвать командира, они отступили в дом и вскоре снова появились в сопровождении высокого, статного офицера, во взгляде которого при виде нашей компании отразилось явное замешательство.

Фельсхайм вкратце сообщил ему, что измена Кройцбурга и его гарнизона была раскрыта, и велел ему вернуться и распустить людей без оружия.

— Кто вы такой? — потребовал ответа офицер.

— Beim Grab! — взорвался Фельсхайм. — Неужели вы думаете, что я приехал сюда отвечать на вопросы мятежника?

Последовала яростная перепалка, результатом которой стало то, что офицера обезоружили и связали.

В окнах караульни и в окнах соседних строений начали появляться огни, и на улицу высыпала встревоженная толпа наспех одетых горожан, привлеченных стуком копыт, бряцаньем оружия и звуками пронзительных голосов.

Пришпорив коня, Фельсхайм подлетел к двери, у которой так же тупо слонялись солдаты, вышедшие первыми, и спросил, есть ли тут еще офицер, помимо тех двоих, которых мы уже арестовали. Других офицеров нет, ответили они; есть разве что сержант. Фельсхайм приказал им позвать его, и когда парень пришел, повторил ему те же распоряжения, которые отказался выполнять его командир. Сержант оказался более сговорчивым и стал послушным, как ребенок, после твердого заверения преступника, произнесенного голосом достаточно громким для того, чтобы эти его слова услышали все, кто стоял вокруг, — что, если люди, составляющие гарнизон Кройцбурга, не согласятся один за другим выйти из караульни без оружия, он подожжет здание и не пощадит ни единой живой души. Какое-то время еще шли переговоры, но в конце концов гарнизон сдался, безвольный, словно стадо баранов, и едва ли понимающий, что происходит.

Из караульни солдаты с позором направились к городским воротам в сопровождении сотни разбойников под командованием Гесслера, в то время как Фельсхайм снова обратил свое внимание на дрожащего бургомистра и велел тому идти в ратушу, пожелав, чтобы мы с Дельвенталем, который был в полном восторге от нашего успеха, сопровождали его и стали свидетелями акта правосудия. Десятка два бандитов, вслед за которыми мы шли, расчищали нам путь толстыми концами своих пик сквозь толпу, теперь выросшую до огромных размеров, но робкую и боязливую, какой и подобает быть толпе бюргеров в присутствии вооруженных людей.

В зале совета, куда нас привел Грайниц, Фельсхайм быстро уладил с ним все вопросы.

— Полагаю, в этой вашей дыре предательства проживает тысяч этак семь жителей, — заметил он.

— Семь с половиной, — поправил его бургомистр.

Фельсхайм мрачно улыбнулся.

— Тем лучше. Чтобы спасти город от разграбления, а Кройцбург его вполне заслужил, вы должны выплатить мне пятьдесят тысяч крон, которые я передам в королевскую казну на расходы государства по кампании против вашего вожака — мятежника Леопольда.

Грайниц ахнул.

— Это черт знает что! — воскликнул он. — У вас нет на это полномочий. Да это же настоящий бандитизм! Более того, сударь, вся эта сфабрикованная история о нашей измене...

— Герр Грайниц, — прервал его разбойник, — полагаю, я уже ясно дал понять, что я здесь не для того, чтобы препираться с вами. Вы напрасно протестуете: у меня есть доказательства вашего предательства.

— Но пятьдесят тысяч крон!.. — простонал Грайниц, весь дрожа. — Herr Gott, да во всем этом городе не наберется столько денег!

— В Кройцбурге есть серебряных и золотых дел мастера. Впрочем, как уже говорил, я здесь не для того, чтобы препираться с вами. Заплатите мне

На следующее утро нас навестил Грайниц, явившийся заплатить Фельсхайму затребованную им сумму.

названную сумму или же отдайте город на разграбление моим людям, и я готов поклясться: счет будет вдвое большим. И, клянусь Богом, герр Грайниц, если вы сейчас же не воспримите все всерьез, я повешу вас без отпущения грехов на одном из ваших собственных стропил.

Грайниц в ужасе отпрянул.

— Деньги будут выплачены завтра, — простонал он, ломая руки.

— Наконец-то вы образумились, — рассмеялся Фельсхайм. — Смотрите, только выполните свое обещание.

На этом мы покинули бургомистра и удалились в гостиницу «Королева», и, после того как Фельсхайм поручил своему лейтенанту Гесслеру охрану этого места, отправились спать.

На следующее утро нас навестил Грайниц, явившийся заплатить Фельсхайму затребованную им сумму.

В городе было тихо, и хотя тут и там собирались люди и шепотом обсуждали случившееся, никаких хлопот они нам не доставляли. Фельсхайм почти весь день осматривал оборонительные сооружения, ибо уже в среду, то есть не далее как через сутки, должен был прибыть Бозенхардт, и к этому нужно было подготовиться. Дельвенталь сопровождал Андреаса, и в тот вечер, когда мы ужинали вместе, как только не превозносил разбойника, заранее предсказывая ему блистательное будущее.

В конце концов Фельсхайм в довольно-таки резкой форме положил конец его восхвалениям, да и вообще был угрюм и молчалив, не пил и почти не разговаривал.

Уже представляя, какой объем работы нас ожидает с утра, мы отправились спать пораньше, и лично я спал, как убитый.

На следующее утро меня разбудил громкий стук в дверь гостиницы, и, когда я сел в постели, спрашивая себя, что бы это могло означать, то уловил гул множества голосов, звон снаряжения и топот копыт, которые напомнили мне о моем пробуждении на постоялом дворе в Штайнау двумя днями ранее.

Вскочив с кровати, я подошел к окну и, посмотрев вниз, на улицу, сильно удивился увиденному.

Огромное море солдат в стальных доспехах простиралось, казалось бы, до самого горизонта, но мое внимание привлекли с полдюжины всадников в ярких одеждах, находившихся прямо под моим окном, так как перед ними, мне он в тот миг показался воплощением Ужаса, стоял Карл Грайниц, что-то говоривший с видом чрезвычайной серьезности. Затем вдруг с уст моих сорвалось смачное ругательство, ибо в одной из самых заметных фигур этой группы я узнал графа фон Бозенхардта. Стало быть, несмотря на наши приготовления, он все же вошел в город! Но где же был Фельсхайм и где его триста парней?

Неужели разбойников Фалькенштайга наконец-то схватили? Если так, подумал я, то им не поздоровится, как уже не поздоровилось всем прежним союзникам Фельсхайма, пусть даже и в борьбе за правое дело, ибо Бозенхардт был не тот человек, который сохранил бы жизнь или свободу тому, кто стал свидетелем его предательства, а Фельсхайм представил нам веские того доказательства.

В мою дверь постучали, и в комнату вошел полуодетый Дельвенталь. Его толстое лицо выглядело бледным и озабоченным. Дрожащей, как осиновый лист, рукой он протянул мне клочок бумаги.

— Вы видели, кто внизу, милорд? — вскричал я.

— Видел, — скорбно ответил он.

— Но что все это означает? Где Фельсхайм?

— Исчез, beim blute Gottes, исчез! Испарился, вместе со своими тремя сотнями головорезов и пятьюдесятью тысячами крон, заплаченными ему этим малодушным глупцом. Да будем мы все прокляты за то, что позволили провести себя подобному негодяю!

Эта новость ошеломила меня; более того, тон Дельвенталя предвещал катастрофу.

— Не понимаю... — пробормотал я, как только ко мне вернулся дар речи.

— Прочтите вот это, — сказал он, указывая на листок бумаги, который я машинально взял у него из рук, — и вы всё поймете. Его подсунули ночью под мою дверь.

Со зловещим предчувствием я пробежал глазами письмо следующего содержания:

Милорд,

когда вы это увидите, граф фон Бозенхардт, по всей вероятности, уже войдет в Кройцбург, тогда как я буду на пути к Фалькенштайгу. В обмен на пятьдесят тысяч крон, которые я заработал с немалым для себя риском, позвольте мне дать вам два совета. В следующий раз, когда вы окажетесь в гостинице, не заявляйте о своей зависти и своем мнении во весь голос,— как знать, вдруг в комнате над вами снова окажется кто-то, кто случайно услышит вас и извлечет выгоду из того, что узнает. Я сам собственноручно написал письмо Грайница к герцогу Леопольду, и, пока вы спали в субботу ночью в Штайнау, привел с горы Фалькенштайг три сотни моих товарищей, таких же разбойников, как и я. Остальное вы поймете сами, и, без сомнения, проклянете меня как презреннейшего негодяя.

Прочитав, я вернул письмо Дельвенталю, который взял его со стоном, и я, не находя более подходящего выражения своим мыслям, простонал в ответ.

Спустя полчаса мы с Дельвенталем были арестованы за государственную измену, а еще через десять дней предстали перед королем в Шверлингене и рассказали ему нашу историю, показав письмо преступника.

Мне не хотелось бы сейчас вспоминать о том, *что* — со всей присущей ему прямотой — сказал по этому поводу Людвиг; приятного в его словах, по правде говоря, было мало. Мы с Дельвенталем, естественно, впали в немилость, и, если бы начавшаяся примерно через месяц война не предоставила мне возможность вернуть себе доброе имя, вероятнее всего, все это дело стоило бы мне звания капитана.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ФЕЛЬСХАЙМА

«Фельсхайм умрет завтра в полдень!»

Я сидел один в убогой комнате, которую снимал в доме Гензеля, кожевенника, и эта ужасная мысль беспрестанно вертелась у меня в голове.

Разбойники Фалькенштайга теперь уже не были могущественной, доблестной компанией, бросавшей вызов королю и государству и в случае чего находившей прибежище в полуразрушенном горном замке. В безумный час Фельсхайм, наш главарь, связал свою судьбу с мятежным герцогом Леопольдом, и на роковом поле Майерната, где честолюбивый герцог потерпел окончательное поражение, Фельсхайм оставил три с лишним четверти своих славных последователей.

В тот день Фельсхайм дважды спас герцогу жизнь, один раз и сам был на волосок от того, чтобы лишиться при этом собственной.

Но за риск, которому разбойник подвергал себя, он, по крайней мере, заслужил благодарность Леопольда, и в ту ночь, когда все для нас было потеряно, герцог умолял его вернуться в Австрию, где обещал найти ему почетное место в армии.

Мне, лейтенанту Фельсхайма, Леопольд сделал аналогичное предложение, и в своем стремлении принять его я убедил Андреаса поступить так же. Долго уговаривать Фельсхайма не пришлось, ибо он и сам, похоже, был вполне готов воспользоваться шансом вернуться к достойной жизни, покончив с ремеслом разбойника, особенно теперь, когда в подчинении у него уже почти никого не осталось.

Но тут он вспомнил о женщине, чье милое лицо вот уже несколько месяцев властвовало — заочно — над его сердцем, о женщине, которая, как он полагал, любила его. Вот почему, с благодарностью приняв предложение герцога, Фельсхайм решил сначала съездить в Шверлинген с намерением просить леди Стефанию фон Нойш стать его женой и отправиться вместе с ним в Австрию, где его ждала новая жизнь.

Тщетно я указывал ему на опасности, которые волей-неволей должны были подстерегать его в столице Заксенберга, ибо за его голову была предложена цена в пять тысяч крон, и проходимцев, желавших заработать эти деньги,

хватало; непреклонный в своей решимости, он бы отправился в Шверлинген в любом случае. В конечном счете, осознав всю тщетность попыток отговорить Фельсхайма от этой поездки, я выразил намерение сопровождать его, и в этом стремлении был так же тверд, как и он в своем.

Простившись с герцогом Леопольдом, мы приехали в Шверлинген, где Андреас фон Фельсхайм сделал леди Стефании предложение, которое было тотчас же принято. Все уже было готово к отъезду, и, казалось бы, никто не догадывался о нашем нахождении в городе, когда вдруг, словно гром среди ясного неба, до меня дошла весть о том, что Фельсхайм арестован.

За время нашей разбойничьей жизни Андреасу случалось попадать в самые безнадежные ситуации, но никогда еще его не заточали в тюрьму, из которой был только один выход — на эшафот. Надежда уже угасла в моей груди, и я задержался в Шверлингене лишь для того, чтобы увидеть конец самого отважного, дерзкого и доблестного человека, который когда-либо носил шпагу.

«Завтра в полдень Фельсхайм умрет!»

Beim blute Gottes, думать об этом было невыносимо. Я поднялся на ноги, подошел к окну, распахнул ставни и выглянул в черную ноябрьскую ночь. Пока я стоял там, сквозь завывания ветра и стук дождя до меня донесся грохот колес и цокот копыт по неровной мостовой тянувшейся внизу улицы. Шум прекратился, когда прямо у двери приютившего меня дома остановилась карета.

В тревоге я отошел от окна и застыл в ожидании. Несомненно, этот гость и карета явились по мою душу. Кто бы это мог быть? При мысли о служителях закона по спине у меня пробежал холодок, но тут скрипнули ступени лестницы, дверь широко распахнулась, и на пороге возникла женщина в плаще и скрывавшей бóльшую часть лица маске.

Прежде чем я успел заговорить, она закрыла дверь и прошла в комнату; затем, сняв плащ и маску, явила мне при свете единственной свечи, горевшей на столе, фигуру и лицо Стефании фон Нойш, самой красивой женщины при дворе Шверлингена — женщины, которая невольно и привела Фельсхайма к погибели. Она была бледна, как смерть; вокруг лихорадочно блестевших чудесных темных глаз пролегли черные круги, свидетельствовавшие о страданиях и бессоннице.

— Слава Богу, герр Гесслер, я нашла вас! Но как вы осмелились здесь задержаться? — воскликнула она, не обращая внимания на предложенный мною ей стул. — Почему остались?

Я пожал плечами.

— И сам не знаю, сударыня, если не считать того, что я не могу заставить себя покинуть это место, пока в последний раз не увижу нашего бедного предводителя.

— И вы довольствуетесь тем, что лежите здесь, в надежном укрытии, и даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь ему?

— Помочь ему! Herr Gott, сударыня, *что* я могу сделать — я, и сам объявленный вне закона и повсюду разыскиваемый? Сто́ит мне лишь показать лицо там, где оно известно, и — прощай свобода и жизнь!

— Думаете, — воскликнула она с внезапным презрением, — будь вы сегодня на месте Фельсхайма, он бы оставил вас палачу из страха за свою собственную жизнь? Вспомните, как он спас Дитриха, когда король поклялся того повесить. Подумайте об этом, герр Гесслер.

— Увы, сударыня, — ответил я со вздохом, — Фельсхайм — человек изобретательный, каковым я не являюсь. Но, Beim Grab, вы ошибаетесь, если полагаете, что я боюсь подвергнуть свою жизнь опасности. Если бы я только знал, как можно ему помочь, я пошел бы на любой риск, но сделал бы все от меня зависящее. К сожалению, сударыня, я не вижу, что в этой ситуации можно предпринять.

— О, и почему я не мужчина? — воскликнула она, как и до нее восклицало множество женщин. — А так — что я могу поделать?! Единственное оружие женщины — ее слезы и мольбы, и, видит Бог, я пользовалась ими до тех пор, пока не превратилась в забаву для каждого глупца при дворе, где один самодовольный болван даже посмел назвать меня «вдовой разбойника»!

Эти последние слова она произнесла с содроганием.

— Я пошла к королю и на коленях умоляла его сохранить Фельсхайму жизнь, сказав, что Андреас явился в Шверлинген лишь для того, чтобы просить меня поехать с ним в Австрию в качестве его жены, и что, если его величество простит Фельсхайма, он избавится от него раз и навсегда. Но Людвиг только посмеялся надо мной и посоветовал мне отказаться от «безнадежных», как он выразился, попыток спасти Фельсхайма, дабы мое доброе имя не пострадало от постоянных увязываний с именем этого разбойника. Я донесла свои мольбы до королевы-матери, до герцога Рецбаха, до милорда Ронсхаузена, и везде — везде — получала один и тот же ответ: на счету Фельсхайма слишком уж много преступлений, и король поклялся, что его повесят. И завтра… О Боже, сжалься надо мной, это я, я довела его до этого!

Леди Стефания опустилась в кресло и какое-то время, уставившись в стену, неподвижно сидела с сухими глазами и выражением страдания на прекрасном лице, на которое было тяжко смотреть. Затем, взяв себя в руки, она сказала:

— Возможно, вы удивитесь, герр Гесслер, когда я скажу вам, зачем пришла. Дело вот в чем. Видя, что мольбами помилования для Андреаса мне не добиться, сегодня я попросила короля разрешить мне хотя бы нанести Фельсхайму прощальный визит, взяв с собой священника, который бы его исповедовал. Сначала Людвиг и слышать ни о чем подобном не желал, но в конце концов, пусть и с явной неохотой, все же дал мне на это свое дозволение. Он так боится, что Фельсхайм снова от него ускользнет, что приказал коменданту замка Гедельт никого не пускать к пленнику без разрешения, подписанного самим его величеством. Таковое разрешение король

Тщетно я ломал голову в поисках нового плана.

мне дал: оно выписано на меня саму и на одного из монахов-капуцинов из монастыря Лёйбли, — после чего отправил аббату сообщение, в котором просил разрешить одному из монахов сопровождать меня этим вечером в тюрьму. Сейчас я еду в Лёйбли за священником и вместе с ним отправлюсь прямо в замок Гедельт, если только... — Сделав паузу, она пристально посмотрела мне в лицо.

— Договаривайте, сударыня.

— Для того-то я вас и искала. Я отправлюсь в замок вместе с этим священником, если только вам, с учетом сказанного мною, не придет в голову какая-нибудь блестящая мысль, которая приведет к спасению Фельсхайма даже в столь печально складывающихся обстоятельствах.

От ее слов у меня закружилась голова, нервы затрепетали от возбуждения.

— Сударыня, — воскликнул я, — Фельсхайм должен снять с монаха его рясу и скрыться в ней, оставив монаха в камере вместо себя. Я еду с вами.

Она покачала головой.

— В пропуске указано: «Женщина, предъявительница сего пропуска, и священник».

— Тогда, сударыня, вам придется сделать это без меня. Несомненно, если вы поговорите с Фельсхаймом, он как-нибудь справится с монахом, а затем переоблачится в его одежды.

— Вы забываете о том, что тихо такое не провернешь. За дверью будет стоять надзиратель, и если он услышит хоть малейший шум, то подаст сигнал тревоги. О, думайте же, сударь, думайте, во имя всего святого!

Тщетно я ломал голову в поисках нового плана: другого выхода я не видел. Меня охватила сильная лихорадка; глаза жгло, рот пересох, мозг парализовало.

— Увы, ничего не приходит в голову, сударыня! — воскликнул я наконец. — Оставьте меня. Езжайте в Лёйбли. Позвольте мне подумать спокойно, в одиночестве. Когда монах будет готов, возвращайтесь сюда, быть может, к той минуте на меня снизойдет озарение. Если же нет — что ж, до ночи у нас еще будет время подумать о том, как вытащить Фельсхайма; в крайнем случае, отведете к нему священника, а там уж — как карты лягут!

— Вы что-нибудь придумаете, герр Гесслер, обязательно придумаете. Я буду молиться за то, чтобы Небеса ниспослали вам вдохновение, — сказала она.

Когда она ушла, я бросился в ближайшее кресло и, подперев подбородок раскрытыми ладонями, принялся думать, думать и еще раз думать. То, что я в итоге придумал, представлялось делом почти безнадежным, и однако же другого выхода, кроме как отдаться на милость судьбы, у нас не было.

Я снова и снова прокручивал в голове зародившуюся у меня безумную мысль, вертел ее и так, и этак, затем вскочил на ноги, открыл дверь и позвал хозяина.

Гензель был плотным, смуглолицым малым лет сорока, хитрым и находчивым мошенником, которому я мог доверять. Я вкратце рассказал ему, что мне нужно, и был рад услышать в ответ, что он знает, где можно раздобыть эти вещи за несколько минут. Я выдал ему запрошенную им сумму, а затем, в его отсутствие, занялся удалением со своего лица каких бы то ни было следов бороды и усов. Это столь сильно изменило мою внешность, что, когда он вскоре вернулся, то уставился на меня в изумлении, и если бы не моя одежда, скорее всего, не узнал бы.

— Нашел-таки? — воскликнул я, увидев принесенную им рясу из грубой коричневой ткани. — Прекрасно. А теперь давай довершим перевоплощение, и в этом, Гензель, мне понадобится твоя помощь.

Я снял дублет, снова сел и попросил его как можно быстрее сделать мне тонзуру. Посмеявшись над этой моей прихотью, об истинной цели которой он и близко не догадывался, он состриг мои длинные локоны, а затем принялся за макушку, которая вскоре сделалась лысой как яйцо, будучи окруженной легкой челкой коротких черных волос. Когда дело было сделано, я снял ботинки и чулки и надел на голые ноги купленные им сандалии. Затем я сменил свою мягкую рубашку и бархатные бриджи на рубашку и бриджи из грубой шерсти.

Я снял дублет, снова сел и попросил его как можно быстрее сделать мне тонзуру.

В конце я надел рясу и, поигрывая свисавшими с пояса четками, вероятно, выглядел этаким истинным праведником, бичующим себя плетью.

Вернувшаяся вскоре леди Стефания бросила на меня косой взгляд, а потом спокойно спросила, как я сюда попал, с какой целью явился, и где кавалер, в чьей комнате я нахожусь. Было не время шутить, так что я спросил:

— Вы привели монаха, сударыня?

Она отпрянула с испуганным криком. Затем, уставившись на меня широко распахнутыми глазами, пробормотала:

— Герр Гесслер!.. О, быть этого не может!

— Успокойтесь, сударыня, это действительно я.

— Но почему вы в такой одежде?

В ответ я поделился с ней пришедшей мне в голову идеей. Она выслушала меня с приоткрывшимся ртом и вздымающейся грудью, а когда я закончил, схватила мою руку, и прежде чем я успел опомниться, снова и снова принялась подносить ее — мою руку подлеца и мошенника — к своим нежным губам! Мне стало так стыдно, что я резко убрал руку, и, положив конец незаслу-

женным благословениям, которые она призывала на мою голову, попросил ее как-нибудь заманить монаха наверх. Не знаю, с помощью какой хитрой уловки она этого добилась, но вскоре в мою комнату вошел дородный, пузатый монах, пробормотавший приветственное: «Benedicite!» [1]

— Господин священник, — сказал я, после чего он изумленно моргнул, — этот Фельсхайм, которого вы собираетесь посетить, — мой хороший друг, и, прежде чем он умрет, я должен перекинуться с ним парочкой слов. Поэтому я посещу его вместо вас, пока вы какое-то время побудете в погребе. — Он съежился, вероятно, от страха, и я поспешил добавить: — Нет-нет, не бойтесь. Ваша святость не подвергнется опасности искушения, ибо этот погреб совершенно пуст.

Моя интонация, как я понимаю, была совсем не священнической; ей не хватало того мягкого, успокаивающего звучания, которое рождается из свободного владения латынью. К тому же, я обратился к нему «господин священник», что сразу же выдало во мне самозванца.

— Сын мой, — весь трепеща, воскликнул монах, — что это за пародия? Какое святотатство ты намерен совершить? Какой грех замышляешь?

Сколь ужасным я был грешником, монаху сказал мой ответ, ибо я в самых нечестивых выражениях приказал ему спуститься со мной в подвал, где он мог бы, за неимением лучшего занятия, помолиться о том, чтобы грех, на грани которого я стоял, обрушился на головы тех, кто меня до этого довел.

После довольно-таки продолжительного спора и несмотря на все его возражения, дескать, в пустом, унылом погребе он может умереть от холода, в конце концов монах все же изволил спуститься в подвал.

Я сел в стоявшую внизу карету и вместе с леди Стефанией быстро понесся сквозь ветер и дождь той штормовой ночи в замок Гедельт, где пребывал в заточении Фельсхайм. Очевидно, карету ждали, ибо ворота сразу же открылись, и мы въехали во внутренний двор крепости. Там мы вышли, и солдат с фонарем повел нас вверх по лестнице, а затем, уже наверху, — по бесконечному мрачному коридору, в котором стук моих сандалий отдавался глухим эхом. Наконец, остановившись у какой-то двери, он постучал, открыл дверь и предложил нам войти.

Мы очутились в хорошо обставленной комнате, освещенной десятком свечей в серебряных канделябрах и обогреваемой пылавшим в камине огнем, который меня очень обрадовал, потому что я обнаружил, что в одеждах священника мне становится уже холодно. Высокий, ладно скроенный мужчина военной выправки сделал пару шагов нам навстречу и, поклонившись моей спутнице, сообщил ей, что он — Риттер фон Гевених, комендант крепости; и хотя он ожидал нашего визита, тем не менее просмотрел ордер с предельным вниманием, а затем позвонил в стоявший на столе колокольчик.

— Пришлите ко мне Бауэра, — сказал он явившемуся на вызов солдату.

Когда парень удалился, Гевених перекинулся несколькими словами с леди

[1] Здесь: приветствую вас! (лат.)

Стефанией, чью бледность и заметную дрожь он, без сомнения, отнес на счет горя, переполнявшего ее вследствие печального положения возлюбленного. Я начал перебирать четки в надежде на то, что, увидев мою глубокую поглощенность столь полезным занятием, он воздержится от нечестивого вмешательства в мои молитвы. Но, похоже, он был лишен приличествующих угрызений совести.

— Боюсь, отец, — сказал он, — вы найдете герра Фельсхайма не слишком склонным к раскаянию.

Опустив глаза, я спокойно продолжал свое бормотание, словно заканчивая читать молитву Богородице, которую в тот момент припоминал, и за время полученной таким образом передышки взвесил свой ответ.

— Что вы сказали, сын мой? — медленно подняв глаза, спросил я столь мягким голосом, что с трудом узнал в нем свой собственный.

— Я сказал: боюсь, вы обнаружите, что герр Фельсхайм не очень-то и раскаивается в своих многочисленных грехах.

— Увы, — вздохнул я. — Я могу только молиться о том, чтобы небесная благодать растопила сердце этого нечестивца, наполнив его душу благочестивым сожалением и тем самым должным образом подготовив его к приближающемуся концу.

В этот момент в дверь постучали, и последовало объявление, что Бауэр прибыл. Это был высокий тип неприступного вида, с ключами на поясе, указывавшими на род его занятий.

— Отведешь эту даму и преподобного отца в камеру Фельсхайма, — сказал Гевених. — Дама может пробыть там пять минут, а священник, который посетит разбойника после нее, — четверть часа. В обоих случаях подождешь снаружи. По завершении визита проводишь их до кареты. Я же сейчас удаляюсь к себе.

Слова коменданта развеяли страх, который меня одолевал, — страх, что ему захочется узнать, как прошла исповедь Фельсхайма. Я снова задышал полной грудью, и вслед за надзирателем и шествовавшей рядом со мной леди Стефанией прошел по одному коридору, затем по другому, спустился по лестнице, поднялся, снова спустился и наконец остановился у обитой большими железными гвоздями небольшой дубовой двери, у которой стоял караульный. Бауэр вставил в замок тяжелый ключ и, с грохотом повернув его, распахнул дверь и кивком предложил леди Стефании войти.

Затем последовал непродолжительный период ожидания. Бауэр что-то сказал мне, но я снова был занят четками и в ответ просто чуть наклонил голову: я готов был на любые уловки, лишь бы ни он, ни караульный не услышали моего голоса. Наконец Стефания, всхлипывая, вышла, и, склонив голову и сложив руки, я вошел в камеру и закрыл за собой дверь.

Мы с леди Стефанией решили, что, дабы проверить действенность моей маскировки — это был важный фактор для того, что должно было последовать, — она не станет раскрывать Фельсхайму личность явившегося с ней, о чем она должна была заранее предупредить Андреаса, монаха.

В тот же миг Фельсхайм вскочил на ноги
с легким возгласом удивления...

В камере, если не считать тюфяка в углу, стула и стола, на котором находились фонарь и раскрытая книга, было пусто.

Фельсхайм встретил меня с поклоном и поблагодарил за утешение, с которым я пришел и о степени которого он тогда даже не догадывался. Он выглядел бледнее обычного, но в остальном его красивое лицо было таким же спокойным и величественным, как и всегда, в то время как его гибкая фигура была прямой и не выказывала никаких признаков слабости. Я прошел к креслу, откинув капюшон, чтобы, когда я сяду, свет полностью осветил мое лицо, и хотя его темные глаза были устремлены прямо на меня, в них не сверкнуло ни лучика узнавания.

По моему знаку он опустился на колени рядом со мной и не узнал мой голос, когда я полушепотом попросил его прочесть вслед за мной Confiteor[1].

— Confiteor Deo Omnipotente, — начал я, затем, не сдержавшись, уже своим обычным голосом добавил: — Черт бы тебя побрал, Фельсхайм, тупая твоя башка!

В тот же миг он вскочил на ноги с легким возгласом удивления и какое-то время смотрел на меня с немым изумлением.

— Гесслер! — наконец проговорил он задыхаясь, но уже совладав с эмоциями — ибо он произнес это шепотом, — и тихо рассмеялся.

Но каждый миг был на вес золота, и быстрым, лихорадочным шепотом я пересказал ему свой план. Сначала он категорически отказался из-за риска, которому подвергал себя я, в ответ на что я разозлился, ибо мы впустую тратили время, и пылко заявил, что в действительности почти ничем не рискую. Затем, так как он все еще колебался, я упомянул о ждавшей Фельсхайма леди, и его сопротивление было сломлено.

Словом, я быстро принялся за работу и состриг его бороду и усы — возиться с волосами было уже некогда.

Поверх дублета он носил, как тогда было модно, широкий синий шелковый пояс — один из тех поясов, которые обвивают талию несколько раз и имеют в длину около четырех или пяти ярдов. На этот-то пояс я и рассчитывал. По моему указанию Фельсхайм снял его, а затем — и дублет с кружевами, в то время как я избавился от рясы и предстал перед ним в одной рубашке, шерстяных штанах и сандалиях; вкупе с безволосой головой и голыми ногами эта скудная одежда придала мне дивный вид наготы. Затем, по моей просьбе, он взял свой пояс и одним концом связал мне вместе лодыжки, после чего дважды обернул пояс вокруг меня и другим концом связал мне руки за спиной и, беспомощного, словно птица на вертеле[2], уложил на тюфяк.

---

[1] Краткая покаянная молитва, читаемая в Римско-католической церкви в начале мессы, а также в некоторых других случаях.

[2] *Птицу на вертеле* обычно жарят со связанными крылышками и ножками — отсюда и такое сравнение.

Затем он взял мою рясу капуцина и, облачившись в нее, натянул на голову капюшон таким образом, чтобы скрыть верхнюю часть лица, но при этом оставил открытыми остриженный подбородок и верхнюю губу. Затянув пояс и тем самым завершив свое перевоплощение, Фельсхайм подошел к тюфяку, наклонился ко мне и пробормотал:

— Как мне отблагодарить тебя, мой верный друг? Herr Gott! Если с тобой что-то случится...

— Да не волнуйся, ничего не случится, — ответил я. — А отблагодарить меня ты сможешь, когда мы встретимся в Тургене. Но иди же! Возьми фонарь и книгу и попроси их оставить Фельсхайма наедине с его молитвами. Мой голос они не слышали, так что можешь говорить с ними совершенно спокойно, — только не своим собственным. В карете, в сумке, ты найдешь сто крон; они тебе пригодятся.

— Но как же ты? Тебе ведь деньги тоже понадобятся.

— Я об этом уже подумал. В поясе, который я ношу под этой рубахой, у меня тоже есть сотня крон. Удачи, Фельсхайм. Теперь заткни мне рот кляпом и уходи.

Он запихнул мне в рот платок, затем, пробормотав: «До встречи!», встал, взял со стола фонарь и книгу, открыл дверь и вышел, с грохотом захлопнув дверь за собой. Гнусавым голосом, в котором я и сам не узнал бы голос Фельсхайма, он произнес:

— Несчастный молится. Я забрал свет и книгу, оставив его во тьме, чтобы ничто не отвлекало его от общения с его Богом.

Чей-то гортанный голос что-то ответил, в замке повернулся ключ, и послышался звук удаляющихся шагов. Вдалеке загремела закрывающаяся дверь, и воцарилась тишина, нарушаемая разве что топтанием на месте вооруженного караульного за дверью и неистовым биением в моей груди.

Наконец, когда по прошествии примерно четверти часа ничего не произошло, я смог снова вздохнуть свободно, будучи уже уверенным в том, что им удалось сбежать.

Затем последовал долгий период ожидания в положении легкого дискомфорта, длившегося ровно до тех пор, пока башенный колокол не пробил полночь. У Фельсхайма была фора в два часа: большую я дать ему не осмелился. Пошевелив челюстями, я почти избавился от кляпа, и отчаянно замычал, взывая о помощи.

Топтание солдата у моей двери замерло, после чего я удвоил свои «крики» и вскоре с удовлетворением услышал его быстро удаляющиеся шаги; судя по всему, встревожившись, он отправился за комендантом. Я не ошибался, ибо уже через несколько минут услышал звук голосов и быстрый топот торопливых ног. Затем в замке снова заскрежетал ключ, дверь широко распахнулась, и в мою камеру ворвался вооруженный фонарем Бауэр, а вслед за ним — полуодетый комендант.

Увидев меня, лежащего на тюфяке, полуголого, связанного по рукам и ногам и все еще с кляпом во рту, Гевених громко выругался:

Увидев меня, лежащего на тюфяке,.. Гевених громко выругался.

— Herr Gott Donnerwetter![1] Да это же священник! Но тогда где же Фельсхайм?..

Он резко остановился и в замешательстве огляделся, как будто все еще надеялся обнаружить разбойника в какой-нибудь щели. Затем он все понял.

— Боже! Он сбежал! — вскричал он. — И я вижу как, будто сам при этом присутствовал! Эта женщина одурачила нас и вывела его отсюда в одеждах этого капуцина. Идиот! — гневно прорычал он, набрасываясь на Бауэра. — Кого ты проводил обратно к карете?

— Ну как же — даму и монаха, freilich[2]!

— *Монаха*, болван! Неужто не понимаешь? Этот монах и был Фельсхайм! Да и вы тоже хороши, господин священник! — воскликнул он, поворачиваясь ко мне, лежавшему на полу и очарованному той быстротой, с какой комендант ухватил всю суть случившегося. — Рассказывайте! Я хочу в точности знать, *что* тут, черт подери, произошло!

[1] Здесь: Боже правый! (нем.)

[2] Разумеется! (нем.)

Когда по моей просьбе путы разрезали и я со стоном и страдальческой гримасой поднялся на ноги, я поведал коменданту, что едва я вошел, нечестивый и неблагодарный бандит, чью душу я явился спасти из разверзшейся Преисподней, схватил меня за горло так крепко, что я не смог произнести ни звука, и так держал до тех пор, пока я не потерял сознание, считая себя уже мертвым. Когда — каким-то чудом — я пришел в сознание, то обнаружил, что нахожусь в том незавидном положении, в котором меня и нашли мои спасители. Это было все, что я знал, но, быть может, добавил я с надеждой, с тех пор, как это случилось, не так уж и много времени прошло, и безжалостного бандита все еще можно схватить и повесить.

— *Не так уж и много!..* — проворчал комендант. — Да с тех пор, как он покинул тюрьму, прошло уже два часа, а еще через два его уже и след простынет, тем более, мы не знаем, каким путем он ушел. Beim Hölle, даже не знаю — и даже представлять не хочу, — *что* скажет его величество, когда об этом услышит. Полагаю, скоро у замка Гедельт будет новый комендант. Пойдемте, господин священник, мы должны сейчас же доложить обо всем королю. Пусть час и поздний, вам придется сопроводить меня во дворец и там рассказать свою печальную историю. Пойдемте, милейший.

И так уж вышло, что, накинув на себя плащ, дабы скрыть скудость моего наряда, через полчаса я был в покоях короля Людвига, находившегося уже в постели, и повторил ему историю, которую чуть раньше рассказал Гевениху. Гнев Людвига был воистину королевским, как и набор отборнейших ругательств, слетавших с его уст. Несчастного Гевениха он обозвал не заслуживающим доверия идиотом, и в какой-то момент я уж было подумал, что в ярости своего безумия король набросится на незадачливого коменданта. Однако Людвиг взял себя в руки и, покончив с Гевенихом, снова повернулся ко мне.

— Убирайтесь с глаз моих долой, господин монах! — прорычал он. — Меня тошнит от одного вашего вида. Возвращайтесь в свой монастырь и переоденьтесь там в более соответствующие достоинству вашего призвания одежды!

Я не заставил просить себя дважды, и уже через пару минут выехал из дворца в карете, которую мне велел предоставить король.

Оказавшись за городскими воротами, я немало удивил кучера, когда приставил к его голове пистолет и приказал ему свернуть на фортштадтскую дорогу и мчаться так, словно сам дьявол несется за нами по пятам.

До Фортштадта я добрался без происшествий и там ухитрился раздобыть комплект одежды для верховой езды и по счастливой случайности! — парик.

Неделю спустя я присоединился к Фельсхайму и леди Стефании в Тургене, обнаружив, что они уже вступили в законный брак. Оттуда мы вместе, оставляя позади опасности и нашу жизнь вне закона, отправились в Австрию, где нас тепло встретил герцог Леопольд, сдержавший свое обещание.

Ланселот Невершем, любимец Фортуны

ШУЛЕРСКИЕ КОСТИ

Найдется ли тот, кто, полагая себя верным, с бесстрастным сердцем может размышлять об унижениях, которым подвергался мой сеньор и господин Карл Второй в год своего мнимого правления в Шотландии? Король лишь по титулу, в обрамлении показного величия, но осажденный шпионами, и менее король, чем самый ничтожный из комиссии Кирка, реально правившей и сделавшей его своим вассалом.

Как так вышло, что в процессе своего «очищения» — как они сами это называли — они изгнали из числа его придворных благородного Гамильтона, аристократичного Лодердейла, родовитого Каллендера и всех прочих, кого окрестили «зловредными», но оставили рядом с ним меня? Вот ведь загадка! Ибо воистину, помимо «зловредности», которую эти непочтительные псы приписывали лояльной партии, к коей я имел честь принадлежать, они могли бы заметить во мне и зловредность иного рода, которую я, в общем-то, никогда и не пытался скрывать, глубоко укоренившуюся злобу по отношению к ним самим и ко всему, что имело отношение к их дьявольскому «Ковенанту»[1].

В воскресенье, когда король играл в карты, его посетила кучка кислолицых министров, которые гнусавыми голосами прочли ему проповедь относительно того, как важно соблюдать День Господень, и едва они услышали, что он ударил служанку под подбородок, как обрушили на его нечестивую голову массу обвинений и угроз: смотрите, мол, как бы ваш трон не сменился на позорный стул для кающихся грешников.

Так что неудивительно, что, когда в тот сентябрьский вечер в Пертский замок прибыл маркиз Аргайл (человек крайне неприятный, в тот день он был на удивление трезв и выглядел весьма удрученным) и сообщил его величеству о разгроме шотландцев при Данбаре, король ничуть не расстроился, как того ожидал маркиз, а, напротив, громко рассмеявшись, вскричал:

— Черт подери, да я этому даже рад!

— Сир! — укоризненным тоном воскликнул Маккаллум Мор.

---

[1] «Национальный *ковенант*» 1638 года — манифест шотландского национального движения в защиту пресвитерианской церкви.

— Что-то не так? — холодно вопросил король, в то время как его пылающие черные глаза метнули на маркиза такой взгляд, что тот смутился и, возможно, вспомнил, что должен проявлять по отношению к королю уважение.

Пару мгновений Карл стоял, пристально глядя на него, затем, развернувшись и подав Бекингему знак следовать за ним, прошел в соседнюю комнату, где, как я узнал позже, упал на колени и, несмотря на то, что Кромвель был убийцей его отца и его собственным непримиримым врагом, вознес хвалу Господу за уничтожение шотландцев.

После ухода короля воцарилась мертвая тишина. Милорд Уилмот обменялся улыбкой с сэром Эдвардом Уокером; Кливленд и Вентворт многозначительно переглянулись, в то время как стоявший рядом со мной маркиз де Вилланёф прошептал мне на ухо:

— Обратите внимание на выражение лица милорда Аргайла.

И действительно, хмурая физиономия маркиза являла собой зловещее зрелище. В этот момент к нему подошел сэр Джон Гиллеспи, и они принялись о чем-то тихо переговариваться. Вскоре к ним присоединился мистер Вуд из Комиссии Кирка, также услышавший опрометчивые слова его величества, и когда я взглянул на эту беседующую троицу, мной овладело чувство, близкое к страху, — возможно, это было предчувствие того, что должно было последовать, тех плодов, семена которых, не сомневаюсь, были посеяны в минуты этого совещания.

Ко мне подошел ярко одетый молодой человек и приветствовал меня словами, более соответствовавшими моим вкусам и призванию:

— Не сыграть ли нам с вами в хэзард[1], мистер Февершем?

Я взглянул на лицо парня — гладкое, девичье лицо, обрамленное золотистыми локонами — и на секунду заколебался. Он не был богат и за две ночи проиграл мне тысячу крон. Это было, как мне казалось, почти бесчестно, но он заявил, что я должен предоставить ему реванш, и на это оставалось ответить только одно: «К вашим услугам!»

В общем, я и милорд Горинг сели за стол и целый час играли в хэзард; фортуна была на моей стороне, хотя я и пытался её презреть. Так всегда бывает с фортуной — бесстыдной негодницей, которая лучезарнее всего улыбается тому, кто ею пренебрегает.

Через час лорд Горинг предложил сменить хэзард на пэсседж[2], что мы и сделали, но богиня случая отнюдь не стала к нему благосклоннее.

Один за другим те, кто стоял вокруг стола, удалились, и вскоре мы остались в зале одни, за исключением сэра Джона Гиллеспи, который, подойдя ближе, встал за стулом лорда Горинга и принялся наблюдать за игрой.

---

[1] *Хэзард* — известная с давних времен игра в кости, на основе которой возник крэпс. Была очень популярна в Англии в XVII–XVIII в. (англ. hazard означает «случай», «случайность»).

[2] *Пэсседж* — то же, что и пассе-дис (фр. passé dix), игра в кости, в которой выигрывает тот, кто получает 11 очков на трех костях. (Англ. passage означает «проход».)

Он заявил, что я должен предоставить ему реванш,
и на это оставалось ответить только одно:
«К вашим услугам!»

Бедный парень сидел с белым лицом, поджатыми губами и горящим взглядом, стремясь к победе так, как люди борются со смертью, и проклиная каждый бросок. Когда пробило полночь, он наконец отодвинул свой стул.

— Прошу меня извинить, мистер Февершем, но сегодня я больше играть не буду, — промолвил он, попытавшись — но тщетно — в силу своего воспитания придать голосу бесстрастный тон.

— Мистер Февершем и в самом деле грозный противник, — заметил сэр Джон. — Во Франции он многому научился.

В голосе этой ковенантской твари и сородича Аргайла было нечто такое, что мне не понравилось, хотя тогда я и оставил это без внимания. Встав и выразив вежливое сожаление по поводу постоянного невезения его светлости, я сунул в карман сотню крон, — впятеро больше той ничтожной суммы, которая могла бы составить мой выигрыш, пожелай я того.

Я надеялся, что замечание Гиллеспи относительно того, что во Франции я многому научился, послужит милорду Горингу предостережением и вынудит его впредь играть с соперником одного с ним по уровню мастерства, но нет: не замечая, что противник сильнее его, парень приписывал свои потери одной только лишь удаче.

Так продолжалось целую неделю, и вскоре в замке только лишь и говорили, что о проигрышах лорда Горинга и выигрышах Лайонела Февершема. Вокруг стола, чтобы посмотреть нашу игру, собиралась толпа — сэр Джон Гиллеспи всегда был в первых рядах, — и в итоге моя удача вошла в поговорку.

Наконец как-то раз его величество отвел меня в сторону с улыбкой, в которой таилось нечто более серьезное.

— Лал, — сказал он, положив мне на плечо руку, — если бы мне везло хотя бы вполовину от твоего, я сейчас был бы королем Англии. Но если ты любишь меня, Лал, то больше играть не будешь — по крайней мере, в замке. Ты знаешь мое положение, знаешь, сколь непроходимо глупа эта комиссия Кирка. Боюсь, как бы это все не привело к тому, что она публично объявит мой двор игорным домом и припишет этому поражение в битве при Данбаре.

— Ваше величество, — воскликнул я, — простите, если...

— Нет-нет, — рассмеялся он. — Это ты меня прости за то, что доставляю тебе неудобства своей просьбой, но, сам понимаешь, эта комиссия Кирка...

И король пробурчал что-то еще себе под нос — возможно, слова молитвы.

Я с радостью воспользовался столь веским оправданием, когда лорд Горинг снова обратился ко мне со своим ежедневным приглашением, но находившийся рядом сэр Джон Гиллеспи заявил, что, если мы желаем продолжить наше развлечение, то неподалеку, на Хай-стрит, есть гостиница «Роза».

Я мог бы спросить этого пресвитерианского пса, какой-такой интерес побуждает его призывать нас продолжать то, что идет вразрез с его верой, но мое положение, как вы можете понять, стало несколько щекотливым, и мне не подобало выказывать нежелание играть с милордом Горингом.

Так вот и вышло, что через пару ночей мы с Горингом устроились в веселой комнате на втором этаже гостиницы «Роза». С нами туда явились его светлость Бекингем и компания джентльменов, которые сели играть в ландскнехт в соседней комнате, а также неизбежный сэр Джон.

В ландскнехт он не играл, а просто стоял рядом с Горингом — словно Сатана, подумал я, наблюдающий за искушаемой жертвой. По правде говоря, у меня уже какое-то время назад возникла мысль, что сэр Джон замышляет нечто против Горинга или против меня, и в тот вечер меня не покидало чудовищное желание затеять с ним ссору. Впоследствии у меня были все причины пожалеть о том, что я не повиновался этому побуждению.

Беда пришла следующей ночью. Бекингем и его друзья снова находились в соседней комнате, дверь в которую была открыта, так что с того места, где мы сидели, мы могли видеть их, просто подняв глаза. Сэр Джон, развалившийся в кресле рядом с нами, наблюдал за тем, как лорд Горинг проигрывает, и на его худом, мрачном лице играла сардоническая усмешка.

Час был поздний, свечи уже догорали, и мой разум притупился от паров выпитого мною хереса, но, быть может, именно это обстоятельство и помогло мне лучше справиться с тем, что последовало далее.

Внезапно Горинг с проклятием швырнул стаканчик из-под костей на пол и вскочил на ноги так резко и неуклюже, что опрокинул стул, который с грохотом упал позади него. Через открытую дверь я увидел, как Бекингем, повернув голову, рассмеялся, и услышал такие его слова:

— Февершему везет, джентльмены, только и всего.

Прежде я никогда еще не замечал за Горингом столь неподобающих проявлений гнева, и это удивило меня тем более, что его потери в тот вечер не составили и пятидесяти крон, тогда как в другие разы он вставал из-за стола с улыбкой, выплатив мне сотни.

— Впредь, мистер Февершем, — сказал он, — можете играть с дьяволом!

Право же, изрядно набравшись, я милейший человек на свете, но, не выпей я уже несколько бутылок хереса, был бы вынужден жестоко расквасить его светлости нос за эти слова. Как бы то ни было, я лишь рассмеялся, а потом, прежде чем взял себя в руки, ибо от выпитого смех человека становится продолжительным, сэр Джон встал и спросил:

— Не сыграете ли со мной в пэсседж, мистер Февершем? — спросил он. — Любопытно было бы сразиться с противником, которому столь поразительным образом благоволит удача.

— Тут милорд заявил, что мне следует играть с дьяволом, — ответил я, икнув. — Что ж, как я понимаю, дьявол — это почти то же самое, что и пресвитерианин, так что давайте, сэр Джон.

Он бросил на меня ядовитый взгляд и придвинул стул ближе. Мне никогда не приходило в голову, до чего же странно, что этот столп трезвого, добродетельного Кирка играет в пэсседж, и за эту легкомысленность я опять же виню херес.

Горинг поставил локти на стол и, подперев подбородок руками, принялся наблюдать за нами.

Сэр Джон собрал кости в стаканчик и протянул его мне. Я бросил, он бросил; я бросил еще раз, набрал одиннадцать и выиграл пять золотых каролусов, которые он поставил на кон. Мы начали снова и закончили так же.

— Ну же, сэр Джон, — воскликнул я, — признайтесь: это куда более увлекательная штука, чем проповедь. Пробирает до дрожи, не так ли, сэр поп? Черт возьми, да это...

Я внезапно остановился и зачарованно уставился на его указательный и большой пальцы, между которыми он вертел одну из выброшенных мною костей. Секунду он держал ее неподвижно; затем она медленно, но верно и фатально повернулась. Моей первой мыслью было, что от хереса у меня кружится голова и я стал жертвой иллюзии, но слова Горинга, которые он прошипел мне на ухо, сказали мне обратное.

— Вы — негодяй! — произнес он, и из-за выпитого вина и охватившего меня смятения мне не хватило ума ударить его: я так и остался сидеть с разинутым ртом, тупо уставившись на Гиллеспи.

Наконец шотландец заговорил.

— Вот мы и раскрыли секрет вашей удачи, мастер Февершем, — и с жестом невыразимого отвращения он швырнул на стол «заряженные» кости[1].

При этих словах я обрел дар речи.

— Секрет, сэр Джон?! — вскричал я, попытавшись подняться, но он толкнул меня обратно в кресло.

— Тише, сэр, — ответил он, — или вас услышат другие. Я не ищу вашего позора.

— Позора?! — воскликнул я. — Будь я проклят, сэр поп... сэр пресвитер Иоанн... вы мне за это ответите!

— Замолчите, — приказал Гиллеспи столь резким тоном, что я невольно повиновался. — Выслушайте меня, сэр. Я ни за что не буду отвечать перед вами. Моя шпага предназначена для людей чести, а не для уличенных мошенников, людей, которые играют «заряженными» костями. Нет, держите руки над столом! Если вы хотя бы на дюйм обнажите свой клинок, я позову милорда Бекингема и тех других джентльменов и покажу им эти кости. Лорд Горинг сможет засвидетельствовать, как они вами использовались.

Я откинулся на спинку стула, и на лбу у меня выступили капли пота, в то время как мой затуманенный вином мозг тщетно пытался найти выход из этого безнадежного положения.

— Лорд Горинг, — сказал сэр Джон, указывая на приставной столик, — не подадите мне чернильницу и перо?

Его светлость принес ему запрошенные предметы, после чего, найдя лист бумаги, сэр Джон принялся писать, тогда как я наблюдал за ним, словно во сне.

— Что вы делаете? — наконец спросил я, и в ответ он положил передо мной лист бумаги, на котором я не без труда — и с немалым ужасом — прочел следующее:

Я, Лайонел Февершем, настоящим признаюсь в том, что вечером десятого сентября 1650 года от рождества Христова, играя в хэзард и пэсседж с милордом Горингом и сэром Джоном Гиллеспи в гостинице «Роза» на Хай-стрит в Перте, с гнусным намерением обобрать вышеупомянутых джентльменов использовал шулерские кости, и за сим нечестным занятием был пойман за руку сэром Джоном Гиллеспи в присутствии милорда Горинга, в доказательство чего ставлю ниже свою подпись.

— Подпишите, — приказал сэр Джон в ответ на мой вопрошающий взгляд и протянул мне перо.

— Вы предлагаете мне подписать это? — в ужасе пробормотал я. — Да вы в своем уме, сэр Джон?

— Подпишите! — повторил он.

Ах, теперь-то легко сказать, как мне следовало поступить. Мне следовало в гневе перевернуть стол и пинками спустить сэра Джона с лестницы. Но я был настолько обескуражен обвинением в жульничестве и страхом публичного позора, что не сделал ни того, ни другого.

---

[1] *«Заряженные»* (шулерские) *кости* — игральные кости, механически измененные таким образом, чтобы при броске выпадала нужная шулеру комбинация чисел.

— Сэр Джон, — запротестовал я, — клянусь, это ложь — гнусная, чудовищная ложь. Если кости и в самом деле «заряжены», значит, мы оба пользовались таковыми; как они сюда попали, не знаю. Но повторюсь: мы оба ими пользовались.

Он отрывисто рассмеялся и указал на кучку золотых монет, лежавших слева от меня, — возможно, там было шестьдесят или семьдесят крон.

— Однако же победить ухитрились один только вы, — усмехнулся он. — Вы, за последнюю неделю выигравший у лорда Горинга несколько тысяч. Давайте же, мистер Февершем, подписывайте.

— Ни за что, — упрямо ответил я.

Сэр Джон встал.

— Боюсь, мистер Февершем, вы не осознаёте всей серьезности вашего положения. Если вы сейчас же не подпишете эту бумагу, я буду вынужден позвать сюда его светлость Бекингема и всех остальных и предать это дело огласке. Вот — кости, вот — выигранные вами деньги, а вот — милорд Горинг, свидетель. Можете сами себе представить, что из всего этого воспоследует.

Я представил — и похолодел от одной мысли о том, что меня ждало. В своем воображении я уже видел себя опозоренным, отстраненным от двора и — что хуже всего — на всю жизнь обесчещенным.

— Если я подпишу эту бумагу, — хрипло спросил я, — как вы ею воспользуетесь?

— Никак, если вы выполните мои требования, одобренные также и лордом Горингом.

— И в чем они заключаются?

— Вы никогда больше не прикоснетесь ни к стаканчику с костями, ни к колоде карт и вернете лорду Горингу все те деньги, которые выиграли у него за последнюю неделю. На таких условиях я сохраню все в секрете. Вы согласны, милорд?

Его светлость кивнул.

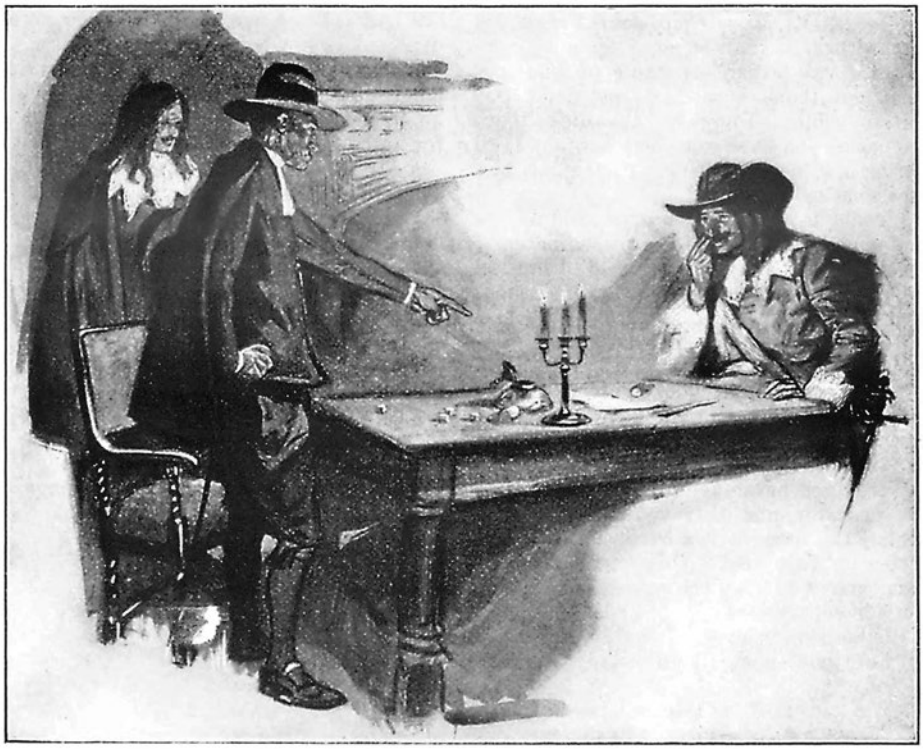
— Но, джентльмены, — запротестовал я, — клянусь честью...

— Честью человека, игравшего «заряженными» костями, — усмехнулся Гиллеспи. — Хватит уже, сэр, подписывайте!

В отчаянии я схватил перо и поставил под этим мерзким обязательством свое имя. Как только это было сделано, Гиллеспи быстро, словно опасаясь, что я могу раскаяться в содеянном, схватил листок и подал лорду Горингу знак собрать кроны, выигранные мною у него столь честно, сколь честно только могут быть выиграны кроны в игре.

* * *

На следующее утро я проснулся с тупой головной болью, да еще и сильно обеспокоенный тем, что случилось в «Розе». Сначала я пришел в ярость из-за того, что позволил себе подписать столь ужасный документ, но затем, когда обдумал все более трезво, понял, что, в сущности, иного выхода у меня



— Вот — кости, вот — выигранные вами деньги, а вот — милорд Горинг, свидетель. Можете сами себе представить, что из всего этого воспоследует.

и не было. Я был не из тех, кто смог бы вынести столь гнусное обвинение. Помимо прочих приписываемых мне качеств, я был известен как отчаянный игрок, такой, который чуть ли не жил за счет своего ума в игре. Откладывая те скудные гроши, которые выдавал мне король, я был таким же бедным охотником за состоянием, как и любой другой из его сторонников, — парламент лишил моего отца последнего акра земли. Кроме того, моя удача в игре — в сочетании с мастерством — в последнее время граничила с чудом, что придало бы обвинению Гиллеспи ужасающее правдоподобие.

Я уже принял свою обычную дозу мускадина с яйцами, когда кто-то постучал в дверь моей комнаты, и Джайлс, мой камердинер, впустил сэра Джона Гиллеспи. Спровадив Джайлса с поручением, на выполнение которого у него должно было уйти около часа, я повернулся к моему посетителю.

— Мы одни? — спросил Гиллеспи.

— Совершенно, — ответил я.

— Мистер Февершем, — сказал он, — вас, без сомнения, беспокоит воспоминание о документе, который вы подписали прошлым вечером?

— Ответ вам известен, сэр!

— И если бы вам представилась возможность вернуть себе этот клочок бумаги, вы бы охотно ею воспользовались, не так ли?

— Опять же — ответ вам известен.

— Что ж, мистер Февершем, я пришел заключить с вами сделку. Вы можете заполучить для меня кое-что такое, в обмен на что вы получите свою расписку.

— Что это? — нетерпеливо воскликнул я. — Что это за «кое-что»?

— Король, — холодно ответил он.

— Король? — пробормотал я. — Не понимаю.

— Король. Карл Стюарт. Позвольте мне объяснить, мистер Февершем. Вы и сами слышали, как несколько вечеров тому назад этот заблуждающийся, злобный молодой человек заявил, что рад разгрому шотландцев при Данбаре. Так вот, сэр, эти слова задели не только меня, но и других видных государственных деятелей. Тем же вечером было перехвачено письмо Карла Стюарта герцогу Гамильтону, в котором говорилось о таких вещах, которые ни один ковенантер[1] не потерпел бы даже от короля. Это на его счет, на счет этого проклятого короля, на счет его кутежей и вертящихся вокруг него богохульных распутников мы относим сие наше разгромное поражение. Это его безбожное, мерзкое поведение навлекло на наши головы гнев Господа.

— Воздержитесь от подобных речей, сэр Джон! — прорычал я, не в силах больше выносить все это. — Вы — предатель.

— Уж лучше быть предателем злого короля земного, чем предателем владыки небесного, — ответил фанатик, вскакивая на ноги. — Выслушайте меня, мистер Февершем. Мы полны решимости, я и некоторые другие смиренные орудия Господа, избавить Шотландию от этого нечестивого монарха. Он нужен этому еретику Кромвелю — что ж, пусть кровь юноши будет на нем. Мы передадим короля Кромвелю. К сожалению, большинство в комиссии Кирка и парламенте против этого, и потому нужно действовать хитростью. Господь вложил в мою руку орудие; этот глупый мелкий лорд, чьи деньги вы выиграли, был в отчаянии от своих потерь и долгов. Кромвель предлагает за никчемную персону Карла Стюарта по меньшей мере три тысячи фунтов; эти три тысячи ушли у меня на подкуп лорда Горинга. Вчера я авансом выплатил ему эту сумму за то, чтобы он помог напоить вас допьяна и засвидетельствовал, что вы играли «заряженными» костями, которые я сам положил на стол.

— Проклятье! — вскричал я, вне себя от ярости. — И как это гнусное, лживое мошенничество согласуется с вашей — смиренное вы орудие Господа! — верой?

Сэр Джон холодно улыбнулся.

— Цель оправдывает средства.

— Клянусь Богом, цель оправдает и меня, когда я перережу вам горло!

С этими словами я бросился к своей шпаге, но прежде чем смог до нее добраться, сэр Джон наставил на меня пистолет.

[1] Сторонник «Ковенанта».

— Сядьте, болван, — прорычал он, — или ваши мозги разлетятся сейчас по всей комнате.

Я вернулся на свое место. Какой у меня был выбор?

— Итак, сэр, — продолжал он, — я одурачил вас, потому что вы мне нужны. Вы близки с Карлом Стюартом. Вы не раз были его спутником в той или иной эскападе самого низкого пошиба, его ментором в той или иной развратной затее. Вам придется еще раз побыть таким завтра вечером. Выманите его из замка — без разницы, под каким предлогом, — но позаботьтесь о том, чтобы в десять часов он был вместе с вами на углу Хай-стрит и Мейден-лейн.

Когда он договорил, я рассмеялся долгим, громким, издевательским смехом.

— Прочь с моих глаз, мразь, сын ублюдочной нации! — вскричал я наконец. — Вы только с пистолетом в руке и можете выполнять такие вот иудины поручения!

На вид совершенно спокойный и невозмутимый, он поднялся на ноги.

— Сейчас я пойду, — холодно сказал он, — и предъявлю подписанную вами накануне бумагу королю. Затем я представлю ее комиссии Кирка, вместе с кое-какой имеющейся у меня информацией о вашей недавней связи с Джеймсом Грэмом, графом Монтрозом. Что, уже изменились в лице? Клянусь Небом, на то есть причина, ибо, полагаю, я вызвал в вашем воображении не самую приятную картину: сначала бесчестье, потом палач. Вы всецело в моей власти, мистер Февершем. Стоит мне лишь сжать руку крепче, и я разотру вас в порошок, а я сделаю это, если вы не подчинитесь.

Что толку и далее описывать мучения человека, терзаемого страхами не только смерти, но и бесчестья? Я продолжал сопротивляться, но все более и более слабо, пока наконец, как мне ни стыдно, что я вынужден об этом писать: не согласился выполнить его просьбу.

Я должен был доставить короля в портшезе. Сэр Джон встретил бы меня на пересечении Хай-стрит с Мейден-лейн и, убедившись в том, что король и в самом деле со мной, отдал бы мне расписку.

— Что касается всего остального, — сказал он, — то вы сами увидите, что ловчить со мной бесполезно. Предупредите короля или донесете на меня в парламент, и мне достаточно будет предъявить этот документ, чтобы доказать: вы с помощью лжи пытаетесь уничтожить человека, располагающего неопровержимой уликой против вас. И смотрите приходите один, ибо я приму меры предосторожности, и если вы каким-то образом обманете меня, пострадаете от того только вы один.

— А что насчет Горинга? — осведомился я.

— Он не в курсе происходящего. Этот болван был в отчаянии от своих потерь, но даже если он и раскается в том, что случилось прошлым вечером, все равно не осмелится ничего сказать ради своего же блага. Доброго вам дня, мистер Февершем; смотрите не подведите меня.

Вот так и вышло, что днем я оказался рядом с королем и заявил, что, если следующим вечером он пойдет со мной в Уотергейт, его ждет развеселое представление. Его величество, всегда готовый к забавам, способным развеять скуку его шотланд-

— Сядьте, болван, — прорычал он, —
или ваши мозги разлетятся сейчас по всей комнате.

ского царствования, охотно согласился. Таким образом, дело было сделано, и я стал жертвой мук моей совести за ту грязную работу, к которой был привлечен.

На следующий день Карл, пребывавший в прекрасном расположении духа, при всех упомянул о том, что вечером мы с ним собираемся отправиться повеселиться в Уотергейт. Сэр Джон Гиллеспи, присутствовавший при этом заявлении, спустя несколько мгновений подошел ко мне и шепнул на ухо: «Вы сделали мудрый выбор, мистер Февершем», на что я ничего не ответил.

Горинга там не было; более того, после случившегося в «Розе» я и вовсе его не видел. Но около семи часов вечера, когда я сидел у себя, терзаемый невыразимыми страданиями, он вдруг ворвался в мою комнату. Он был бледен, глаза налиты кровью, вид растерянный. Закрыв дверь, он подошел ближе и вытащил из-под плаща два кожаных кошеля, которые выглядели ужасно тяжелыми и, когда он положил их на стол, зазвенели золотом.

Глубоко изумленный, я взирал на него без единого слова.

— Мистер Февершем, — начал он хриплым голосом, отводя глаза, — я пришел смиренно возместить то, что в моих силах. В этих кошелях около трех тысяч фунтов, полученных мною от Джона Гиллеспи за то, что я помог ему обмануть вас позапрошлым вечером в «Розе». Ибо вас провели, мистер Февершем, —

те «заряженные» кости Гиллеспи вытащил из собственного кармана. Эти деньги, сэр, в большей степени ваши, нежели мои, — по крайней мере, мне они не нужны; распоряжайтесь ими так, как сочтете нужным. Просить вас простить меня, мистер Февершем, я даже не осмеливаюсь: слишком уж отвратителен мой проступок. Но если вы потребуете сатисфакции, я буду рад вам ее предоставить.

Я сидел в кресле и смотрел на этого удрученного идиота, смотрел спокойно и холодно. Черт подери! Кое-что хитрюга сэр Джон все-таки не учел.

— Вы готовы, милорд, — строго спросил я наконец, — пойти со мной к королю и во всем признаться?

Он отпрянул, побледнев еще сильнее.

— Нет, нет! — вскричал он. — Я не могу. Это навлечет на меня позор и бесчестие.

— Разве документ, находящийся сейчас у Рутвена[1], означает для меня нечто меньшее? — холодно вопросил я. — Вы сказали, что готовы предоставить мне сатисфакцию.

— Я имел в виду сатисфакцию в форме дуэли, — робко пояснил он.

— Полагаете, если я убью вас, это как-то спасет мою честь? — спросил я с презрительным смешком. Похоже, дела никак не желали поправляться. Затем, уж и не знаю откуда, на меня вдруг снизошло вдохновение.

— Как вы сюда вошли? — резко спросил я.

— Как? Через южную галерею.

— Вас кто-нибудь видел?

— Никто, кроме стражника у ворот замка. Но почему вы спрашиваете?

— Почему? Потому что мне не хотелось бы, чтобы стало известно, — воскликнул я, подбоченившись, — что я был здесь тет-а-тет с тем, кто обвиняется в государственной измене и на чей арест выписан ордер.

— Боже! Что вы имеете в виду? — испуганно пробормотал он, представляя собой в этот миг жалкое зрелище.

— Что я имею в виду, глупец? А то, что когда вы снова свяжетесь с мошенником вроде Гиллеспи и задумаете вместе с ним какое-нибудь мерзкое предприятие, сначала проясните для себя досконально, во что вы на самом деле ввязываетесь. А так, милорд, вы сами набросили петлю на вашу могучую шею.

— Мистер Февершем, — запричитал он, — умоляю вас, объясните...

И я объяснил — но с кучей оговорок и изменений, из-за которых смысл сказанного порой становился неясным, — что деньги, полученные им от Гиллеспи, поступили от Кромвеля в качестве платы тому, кто выдаст короля. Я показал ему, каким именно образом он стал участником заговора, к счастью, раскрытого, и добавил, что изменник Гиллеспи уже находится под арестом. Нарисованная мною картина ожидавшего Горинга бесчестия и позорной смерти так его напугала, что в конце концов он бросился мне в ноги и, обнимая мои колени, принялся умолять спасти его, засвидетельствовав правду.

---

[1] Клан *Рутвен* — один из кланов равнинной части Шотландии. Февершем имеет в виду шотландца сэра Джона Гиллеспи.

— Вы хотите, чтобы тем самым я навлек подозрения на самого себя и сам рискнул шеей? — презрительно усмехнулся я. — Ну уж нет. Но вот что, лорд Горинг, послушайте... Я мог бы тайно вывезти вас из замка и из Перта, и, будучи убежденным в вашей невиновности в измене, готов это сделать.

— О, благодарю вас! Тысячу раз благодарю, мой спаситель, мой...

— Встаньте, болван, — резко прервал я его. — Подойдите, дайте-ка мне на вас взглянуть. Да, сойдет. Вы с королем почти одного роста... благодарите Небеса за то, что и комплекции у вас схожие, ибо этим вечером вам придется изображать короля.

Я подробно объяснил, что от него требуется, и он охотно согласился на все мои предложения, ибо и в самом деле считал себя утопающим, а предложенный мною выход был для него соломинкой.

Приказав ему ни в коем случае не покидать мою комнату, я отправился на поиски Джайлса, отличавшегося незаурядной сообразительностью. Я поделился со слугой своими желаниями, результатом чего стало то, что к девяти часам мы нарядили его светлость в черный костюм с золотыми кружевами, позаимствованный из гардероба его величества. Золотистые локоны Горинга мы спрятали под тяжелым черным париком, который был точной копией волос его величества; кремово-белую кожу покрасили соком грецкого ореха, чтобы придать лицу «цыганский» — как у короля — оттенок. Жженой пробкой Джайлс нарисовал его светлости длинные черные брови, так что в конечном счете он уже совсем не походил на лорда Горинга и был в достаточной мере похож на Карла Стюарта для того, чтобы сыграть ночью уготованную ему мною роль. Когда же мы дали ему плащ, и он набросил его на плечи так, чтобы скрыть подбородок и рот, сходство с королем стало поразительным.

Более того, его светлость оказался искусным имитатором и, проникшись духом затеи, одну за другой принимал перед нами столь характерные позы Карла, что нужно было иметь воистину рысьи глаза, чтобы заметить обман, особенно учитывая тот факт, что наблюдателям предстояло созерцать всю картину лишь в прерывистом свете факела или фонаря.

Когда мы с Горингом вышли из моей комнаты и через южную галерею проследовали в королевские покои, было без четверти десять. Поскольку его величество, как я и предполагал, все еще ужинал, прихожая была пуста и слабо освещена. Но едва я втолкнул своего спутника в проем у стены близ окна, как звуки шагов и голосов возвестили о приближении короля.

Как только он возник на пороге, я бросился к нему.

— Так ты здесь, Лал? — воскликнул Карл. — А то я уж было удивился, когда не увидел тебя за столом.

— Сир, — торопливо прошептал я, — умоляю вас, прикажите слугам подождать снаружи и позвольте мне закрыть дверь.

Он удивленно поднял глаза, но в моем голосе было нечто такое, что побудило его удовлетворить мою просьбу.

— Это еще что за прихоть, Лал? — спросил он, когда дверь закрылась.

— Сир, умоляю вас ни о чем сейчас меня не расспрашивать. Сегодня вечером в Уотергейте не будет никаких развлечений, но если ваше величество удалится в свою комнату и изволит ни с кем до моего возвращения не видеться, обещаю вам увлекательнейший рассказ.

Естественно, он проявил любопытство, но я просил его столь настойчиво и с такой пылкостью говорил о некоем деле, от которого-де зависело сразу несколько жизней, что в конце концов он согласился исполнить мою волю, и я закрыл за ним дверь его комнаты.

— А теперь, милорд, — прошептал я, вытаскивая Горинга из его укрытия, — сыграйте короля, и вы спасены.

Мы пересекли прихожую, и, когда я широко распахнул дверь, а те, кто находились за ней, низко склонили головы, я с удивлением услышал то, что для всего мира было голосом короля, исходившим из складок его плаща.

— Черт подери, Лал, что за безумное чванство!

Он едва заметно кивнул толпе ничего не подозревающих придворных и зашагал впереди меня.

Во дворе, прежде чем сесть в портшез, ему, как это обычно делает король, пришлось вдохнуть вечерний воздух — на благо собравшихся.

— Проклятье, Лал, — вскричал он голосом Карла, — до чего ж холодно! — Затем, обращаясь к стоявшим в ожидании носильщикам, он добавил: — Шагайте быстрее, милейшие!

Случайно обернувшись, когда поднимали портшез, я заметил наблюдавшего за нами от ворот Гиллеспи и даже обрадовался тому, что Горинг произнес эти слова.

Ночь была ясная, лунная, портшез мерно раскачивался. Я зашагал рядом с ним вниз по Хай-стрит; сэр Джон следовал за мной ярдах в пятидесяти. Когда мы достигли угла Мейден-лейн, с полдюжины мужчин вышли из переулка и чуть постояли там, пока мы не прошли, а потом двинулись следом. Я поотстал, и несколько мгновений спустя меня настиг Рутвен.

— Вы поступили мудро, мистер Февершем, — усмехнулся он. — Вот ваша расписка. Теперь бы вам лучше позаботиться о спасении вашей собственной шеи.

Дав этот совет, он оставил меня, и пару секунд я наблюдал за небольшой процессией, двигавшейся к Уотергейту. Затем при свете луны взглянул на полученный от сэра Джона лист бумаги: это действительно был тот документ, который меня вынудили подписать в «Розе». Развернувшись, я со всех ног побежал обратно в замок.

В тот вечер я развлек его величество рассказом о том, что произошло, хотя и пересказал эту историю с некоторыми изменениями, которые счел необходимыми и цель которых угадать нетрудно.

Нетрудно представить, что случилось, когда сэр Джон Гиллеспи обнаружил, какого-такого короля он везет к Кромвелю. Уже на следующий день был выписан ордер на его арест, но в Перте его больше не видели как, впрочем, и милорда Горинга.

О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В БЕЙЛИНОЧИ

Как наткнуться на любовь, когда ты знаешь наверняка, что твои чувства запутались в сети соблазнов нашего времени? Я представлял себе это так: теплая атмосфера, аромат цветов, пение птиц; в глаза тебе бьет солнечный свет, под ногами — упругий газон; твой разум не знает ни малейших забот, сердце поет в ритме мелодий природы — тогда-то ты, убаюканный стихами, что рождаются в твоей голове на досуге, и позволяешь появиться любви.

Однако ко мне она пришла совсем не так. Был холодный октябрь, деревья — не более чем каркасы их летнего великолепия — стояли изможденные и голые, земля уже начала твердеть от прикосновения ранних морозов, небо выглядело тусклым и мрачным. Во всем этом было мало поэзии, и, клянусь, мой нос посинел от колючего ветра, налетевшего на нас со стороны Грэмпианс. Тогда-то меня и нашла любовь; она пришла в один миг, когда, плотно закутавшись в плащ, я гулял с госпожой Маргарет под стенами замка Бейлиночи.

Я был уже не мальчик. Тогда я действительно уже не считал себя молодым, потому что, хотя мне и было всего двадцать семь, многое из того, что мне довелось пережить, заставляло меня чувствовать себя более зрелым, ибо еще до того, как у меня прорезались зубы мудрости, я побывал на поле ожесточенной битвы и был трижды ранен. От Эдж-Хилла, где в сорок втором мой девственный клинок впервые познал вкус плоти, я последовал за пылким Рупертом, служа Стюартам на протяжении всего периода разорявших Англию кровопролитных войн. После нашего поражения и казни мученика я предложил свои услуги сначала Испании, а потом и Нидерландам, и должен сказать, что если и есть занятие, которое старит мужчину сильнее, то я такового не знаю.

В любви, как и в войне, я уже прошел курс обучения, ибо Купидон всегда следует по пятам за Марсом. Начиная с юношеского увлечения в Кентербери, когда мне было пятнадцать, и до прошлогоднего tendresse[1] с одной фламандской бургомистршей, я мог бы, пожалуй, насчитать с полдюжины таких случаев. Но в присутствии моей милой леди Маргарет я покраснел

[1] Здесь: нежный роман (фр.)

от стыда при воспоминании о них и даже подумал (так грешники мечтают о Рае): «Вот бы всего этого раньше было поменьше!», ибо до этого часа истины настоящей любви я не знал.

То была изящная, хрупкая девушка, быть может, лет двадцати, с милым, обаятельным лицом, темными волосами, серыми глазами и улыбкой, которая легко превратила бы ад в рай. Несмотря на все свое добродушие, она была очень гордая, а более лукавой и остроумной женщины я вообще никогда не встречал.

Ее отцом был сэр Эверард Фицморрис, как и я сам, разорившийся по причине поддержки Стюартов дворянин, искавший и нашедший в этом заброшенном замке Бейлиночи прибежище от лицемерных ищеек Кромвеля.

За неделю до этого я тоже явился туда просить защиты от ковенантеров, ибо имел веские основания опасаться их жестокого со мной обращения. Я был одним из соучастников злополучного побега Карла из Перта — известного теперь как «Начало», — побега, который, не прояви Уилмот и Бекингем позорную робость, избавил бы моего господина и повелителя от десяти лет тяжких скитаний.

Со мной приехал милорд Карлстон, чье положение было не лучше моего, и сэр Эверард принял нас любезно и сердечно, как, впрочем, и его сестра, леди Гризель, наша настоящая хозяйка и владелица Бейлиночи — и его дочь Маргарет. Нам и нашей свите — моему камердинеру Джайлсу и двум слугам, сопровождавшим милорда Карлстона, было отведено северное крыло замка, и там мы целую неделю провели в безопасности и покое.

На протяжении всей этой недели во мне зарождалась любовь к госпоже Маргарет, внезапно открывшаяся в то утро, о котором я и пишу, и на какое-то время лишившая меня дара речи, из-за чего моя спутница, видимо, сочла меня скучным, ибо вскоре она отлучилась под каким-то пустячным предлогом и вернулась в дом.

Едва она удалилась, как на эту бесплодную полоску земли, которую здесь неудачно именовали «террасой», вышел лорд Карлстон и подошел ко мне с циничной улыбкой на благородном лице.

— Февершем, хитрый вы плут, — бросил он мне, — будьте осторожны! Вы с госпожой Маргарет отправились гулять еще час тому назад, а вернулась она только сейчас.

Я знал его как распутника, хотя и не худшего, чем большинство из нас, тех, кто возмужал при дворе Карла Второго. То был способный молодой человек, одаренный язвительным языком, и на протяжении этой быстро пролетевшей недели мы проводили вместе кучу времени, просиживая ночи напролет за бутылкой-другой хереса и развлекая друг друга рассказами о былых приключениях. Я проникся к нему симпатией, которую всегда испытываешь к тому, с кем делишься секретами, но в тот момент я желал, чтобы он был подальше от Бейлиночи.

— Эта леди — дочь нашего хозяина, — сказал я со строгим укором.

— И к тому же — милая девушка, — дерзко ответил он.

Я пожал плечами.

— Полноте, Февершем, — промолвил он, ничуть не смутившись, и взял меня под руку. — Черт бы побрал ваш кислый вид! Она очаровательная дама; у нее самые яркие глаза, самые сладкие губы, самые изящные лодыжки...

— Да забери вас чума! Вы же вроде как приличный человек!.. Неужели вы не видите, что такие, как мы, недостойны прикасаться даже к краю ее одежд?

— Ступайте своим путем, лицемер! — воскликнул он. — Клянусь, это же из Священного Писания. К краю ее одежд — ну конечно! Тьфу, меня от вас тошнит! Да кто стремится к ним прикасаться? Вот ее губы...

Я выдернул свою руку из его руки и замер на месте, чувствуя, как от гнева краснеет лицо.

— Карлстон, — начал было я, но он снова прервал меня, рассмеявшись:

— Да будет вам — больше не скажу ни слова!.. И все же, спорю на пятьдесят золотых каролусов, не пройдет и трех дней, как я добьюсь прикосновения этих святых губ...

— Кровь и раны! — вскричал я, но затем сменил гнев на презрение и тоже рассмеялся. — Черт возьми, не будь это так кощунственно, я бы с радостью выиграл у вас деньги, чтобы научить вас обуздывать свое тщеславие, ибо ни через неделю, ни через месяц вы не добьетесь ее согласия замарать вашими усами даже кончики ее пальцев.

— Да неужели? — воскликнул он, вскидывая свою красивую голову. — Хорошо, мистер Февершем. Раз уж вы не желаете спорить, я обязуюсь поцеловать пальцы этой милой леди, к подолу нижней юбки которой мы недостойны прикасаться, в течение ближайшей недели, а если не сделаю этого, выплачу вам двести каролусов — клянусь честью.

Пару секунд я взирал на него с удивлением, а затем произнес:

— Только смотрите, Карлстон, не применяйте силу.

— Пфф! Да за кого вы меня принимаете?

— Я имею в виду не только силу в буквальном значении этого слова, но и силу фальшивых речей и лживых обещаний. Не забывайте о ее простодушии и невинности, а также о том, что вы джентльмен.

При этих словах он изменился в лице, и мы какое-то время стояли, поедая друг друга взглядом. Затем он рассмеялся и встряхнул своими золотистыми локонами.

— Черт подери, Февершем, эти шотландские туманы затуманили ваши кентские мозги. Но все равно: если я потерплю неудачу, мои каролусы станут вашими. Я уже дал вам слово. О том, чем это может закончиться, подумаем в свое время.

На этой не слишком дружеской, как вы понимаете, ноте мы расстались, и пропасть между нами с каждым часом становилась все шире. Карлстон

Будь между нами честное соревнование за ее любовь,
возможно, я бы нес это бремя с более непринужденной грацией.

открыл кампанию в тот же вечер. Он появился за ужином в безвкусном дублете ярчайших расцветок, который привез с собой в замок, украшенном лентами всюду, где он их только смог прицепить, и кучей других безделушек. Его красивые белые руки были сплошь унизаны драгоценностями, а локоны благоухали, как комнатная собачка какой-нибудь придворной дамы. Сэр Эверард дважды взглянул на него, когда он занимал свое место рядом с госпожой Маргарет, в то время как миледи Гризель широко раскрыла глаза, затем, будучи женщиной, перевела взгляд с него на племянницу и едва заметно улыбнулась. Что касается меня, то, глядя на его статную, изящную фигуру, я ощутил такую ненависть, какую до того часа никогда ни к кому не испытывал.

Комедия, начавшаяся в тот вечер, продолжилась и на следующий день, и длилась на протяжении целой недели. И на протяжении всего того времени я едва ли перекинулся с Маргарет парой слов, ибо Карлстон всегда был с ней рядом, и — что раздражало меня больше всего — она, казалось, ничуть против этого не возражала. Сделавшись угрюмым и мрачным, я с трудом сохранял самообладание. Будь между нами честное соревнование за ее любовь, возможно, я бы нес это бремя с более непринужденной грацией. Но так как я знал, что дело лишь в потакании тщеславию милорда Карлстона, мое сердце ожесточилось, и я поклялся: если он и в самом деле заслужит ее привязанность и разрешение поцеловать ее руку, а затем придет ко мне, смеясь и хвастаясь этим, я вызову его на дуэль на склонах Ангуса, где и оставлю его, холодного и окоченевшего, с кровавым пятном на красивом дублете.

На седьмой день после того, как милорд принялся воплощать свою затею в жизнь, я увидел их утром гуляющими вместе по саду. Спустя несколько мгновений Карлстон вошел в холл, по которому я расхаживал, и я заметил на его лице, обычно таком веселом и беспечном, выражение резкого недовольства.

— Какой-то вы мрачный, милорд, — произнес я с усмешкой, и он натужно рассмеялся в ответ.

— Разрази меня гром, если у меня нет на то веских причин! Эта наивная девица, похоже, будет стоить мне двести каролусов. Но поверьте, — добавил он, отворачиваясь, — я еще не проиграл. До вечера еще есть время.

Я ничего не ответил, и он ушел.

Ближе к полудню в том же самом холле я наткнулся на миледи. Она приветствовала меня с улыбкой, и на какой-то миг взгляд ее ясных серых глаз задержался на моем лице.

— Вы бледны, мистер Февершем, — промолвила она с доброй заботой в голосе, — и в последнее время грустны, как я заметила. Боюсь, это вынужденное заточение терзает вас столь сильно, что вы жаждете уехать из Бейлиночи.

— Мадам, вы несправедливы ко мне. Дело короля, которому я служу, сейчас в таком состоянии, что все, кто верен его величеству, выглядят бледными и грустными. В остальном же, милая леди, в Бейлиночи есть то, что заставляет меня вздыхать скорее при мысли о возможном отъезде отсюда, нежели о проводимом мною здесь времени.

Говоря это, я пристально смотрел на нее, и моя смелость, без сомнения, проистекала из смущения, которое некоторое время назад я заметил в Карлстоне. Встретившись со мной взглядом, она опустила глаза, и часть румянца сошла с ее щек. Было ясно: она поняла, что я имею в виду, ибо никаких вопросов от нее не последовало. Воцарилось неловкое молчание. На помощь мне пришел раздавшийся снаружи быстрый топот ног. Дверь распахнулась, и в комнату, с безумным взглядом и испуганным выражением лица, ворвался один из слуг сэра Эверарда.

На берег милорда вытащил один из слуг хозяина замка.

— Там... это... — пробормотал он со своим варварским северным акцентом. — Лэрд Карлстон... добрый лэрд...

— Что с ним, придурок? — вскричал я.

— Кажись, утанюл! — выпалил он.

— Утонул! — ужаснулась Маргарет.

— Да нет, — послышался другой голос, — будем надеяться, не совсем утонул. Жизнь из него еще не ушла.

В следующий миг двое слуг Карлстона внесли в дом своего промокшего хозяина. Когда они уложили его перед огнем, его руки безвольно повисли по бокам; глаза были закрыты, щеки выглядели посиневшими. Однако сердце его все еще билось, и он дышал, пусть и слабо. В мгновение ока пальцы Маргарет расстегнули воротник его дублета. По ее приказу тотчас же принесли ви́ски, и, опустившись рядом с милордом на колени, она принялась растирать ему брови и руки.

— Как это случилось? — осведомился я.

— Его светлость отправился порыбачить на озеро, — ответил лакей Карлстона, — и, должно быть, поскользнулся, так как с того места, где мы стояли — ярдах[1] в ста от милорда, — мы услышали всплеск и увидели, как он исчез под водой. На берег милорда вытащил один из слуг хозяина замка.

— Видите, мистер Февершем? — воскликнула Маргарет. — Он дышит уже свободнее.

[1] Ярд (английская мера длины) — три фута, или 91,44 см.

В этот момент Карлстон глубоко вздохнул и открыл глаза. Встретившись взглядом с Маргарет, он секунду-другую смотрел на нее рассеянно, а затем пробормотал:

— Это вы, милая госпожа!.. И я не мертв! Это вы вернули меня к жизни!

Он схватил ее руку и медленно поднес к губам.

В сложившейся ситуации это было вполне естественным действием, но, даже отметив это, я догадался, что он вздумал схитрить. Я вспомнил, что Карлстон прекрасный пловец, понял, что синеватый оттенок его щек — не более чем естественный результат октябрьского погружения в ледяные воды озера Лох-Эск, и, будто зачарованный, наблюдал за тем, как поднимается к его губам рука миледи. Изящные пальцы уже приблизились к широкой линии его усов, когда эта рука вдруг отдернулась, на миг зависла в воздухе, а затем со звонким шлепком опустилась на ухо его светлости.

— Надеюсь, это, милорд, — сказала Маргарет, презрительно усмехнувшись, — поможет вам восстановить кровообращение. Что касается всего прочего, то можете выплатить мистеру Февершему двести каролусов, ибо даже этот хитрый трюк вам не удался, и мне кажется, теперь вы едва ли осмелитесь провернуть нечто подобное снова.

Я стоял ошеломленный, не веря своим ушам, тогда как Карлстон вскочил на ноги с быстротой, которую трудно было ожидать от того изнуренного человека, коим он выглядел еще минутой ранее. Его брови грозно нахмурились, а в глазах теперь пылал такой гнев, что, казалось, еще немного — и он потянется за оружием.

— Проклятие! — прорычал он, поворачиваясь ко мне. — Вы обманули меня, подлец!

— Если кто-то из нас и подлец, милорд, то не я, а вы, — холодно ответил я. — Вы солгали!

Грязно выругавшись, он опустил руку на эфес своей шпаги, но прежде чем успел ее вытащить, Маргарет встала между нами.

— Джентльмены, — воскликнула она, — давайте вы на этом и закончите! Мистер Февершем вас не обманывал, милорд. Я сама слышала, как вы хвастались. Я услышала это невольно, ибо такова уж общая ошибка бахвалов — все они говорят слишком громко.

— Раз уж вы нас подслушивали, миледи, — пробормотал Карлстон с усмешкой, которая вызвала у меня желание ударить его, — меня ничуть не удивляет то, какой оборот приняли дела. И на этом мы, мадам, — добавил он с невеселой усмешкой, — отнюдь не закончим, ибо, клянусь Небесами, это дело будет иметь продолжение и зайдет дальше, чем вы или этот ваш кавалер полагаете.

— Милорд... — начал было я, но тут Маргарет снова вмешалась:

— Довольно, мистер Февершем! И так уже сказано слишком много. Лорд Карлстон, несомненно, сочтет нужным удалиться.

Он покинул Бейлиночи час спустя, не сказав ни слова прощания или благодарности хозяину.

Следующую неделю у нас в Бейлиночи царили покой и — что касается лично меня — счастье. Произошедшее сблизило меня и миледи, и почти все время мы проводили вместе. Она и вправду была так добра, что в один прекрасный день прозвучали слова, которые я и не предполагал когда-либо произнести, и я, рыцарь удачи, бедный искатель приключений, преклонил колени перед этой чистой, милой леди, словно перед какой-то святыней.

Ее нежные глаза были влажными, а голос слегка дрожал, когда она протянула мне руку для поцелуя и велела встать. Но едва я это сделал, моя радость омрачилась внезапными угрызениями совести, порожденными чувством собственного достоинства, которое пробудила во мне эта моя любовь.

— Милая госпожа, — воскликнул я, — я зашел слишком далеко. В мгновения счастья я совсем позабыл о своем жалком положении. Я бедный солдат удачи — хулиган и задира, не имеющий ни владений, ни дома.

— Нет, Лал, — ответила она с нежностью, не поддающейся никаким описаниям, — вы — верный, достойный джентльмен, которого привела к нищете благородная преданность своему королю. И за это ваше жалкое положение я люблю вас, Лал, не менее сильно, чем за вашу высокодуховную сущность.

Таков был рассвет нашего счастья — счастья, которому, увы, вскоре суждено было прерваться.

Похоже, покинув Бейлиночи, Карлстон вместе с тем покинул и лояльную партию, к которой принадлежал до тех пор. Как я недавно узнал, судя по всему, он отправился к этому косоглазому столпу Ковенанта, маркизу Аргайлу, и предложил стать предателем и доносчиком на службе комиссии Кирка и королевства. Он жаждал моей погибели, а вместе с ней — и погибели сэра Эверарда Фицморриса. На службе Маккаллуму Мору он наткнулся на дьявольски хитрого негодяя-пресвитерианца и сородича Аргайла по имени сэр Джон Гиллеспи, между коим и мною пролегала самая жгучая и непримиримая ненависть, какая когда-либо приводила к нанесению самых сокрушительных по силе ударов.

Этот Гиллеспи — пёс, некогда пытавшийся продать короля Кромвелю, нашел широкое применение своим предательским инстинктам в охоте на тех лоялистов, которые взялись за оружие во имя сражения за честь своего монарха. Едва он узнал, что Карлстон спит и видит, как бы ему схватить некоего Лайонела Февершема, как тотчас же принялся действовать в этом сообща с его светлостью.

В стремлении увидеть меня связанным по рукам и ногам Гиллеспи позволил своему рвению превзойти всякое благоразумие, и, не дожидаясь, пока Аргайл предоставит ему отряд людей, необходимых для этого предприятия, собрал группу наемников-головорезов, самолично возглавил ее и, в сопровождении Карлстона, отправился на север в поисках моей скромной персоны.

Известие о его приближении я получил — и мгновенно пришел к вышеуказанному выводу — всего за час до его появления в Бейлиночи. Эту новость принес мне мой верный Джайлс, которого Гиллеспи и его отряд застали в Кирримьюре и которому пришлось со всех ног поспешить в замок, чтобы предупредить меня.

Я тут же отправился к сэру Эверарду и, изложив ему проблему от начала до конца, указал на надвигавшуюся на нас опасность. Он выслушал меня спокойно и остался бесстрастным, даже когда я сказал ему, что люблю его дочь, ибо настал момент все прояснить.

Сэр Эверард был высокий, осанистый мужчина, и на его благородном лице отпечаталась печальная улыбка, когда он ответил:

— Я заметил это еще несколько дней тому назад, Лал, и надеялся сразу услышать об этом от тебя самого.

— Сэр Эверард... — начал было я, но он жестом остановил меня.

— Сейчас на это нет времени, парень. Прислужники Кирка уже у моих ворот. Времена нынче печальные, Лал, но мы будем надеяться и молиться о скорейшем и благословенном возвращении его величества на английский престол, и когда это случится, нам будет возвращено также и то, что мы потеряли на службе королю, нашему господину. Вот тогда, Лал, у тебя будет достаточно времени для того, чтобы подумать о браке. Ну, да хватит об этом... Я сейчас же покину Бейлиночи вместе с леди Гризель и Маргарет. В Инвернессе у меня есть друзья. Туда-то мы и отправимся, и если ты не прочь поехать с нами...

Я покачал головой, пусть и с неохотой.

— Нет, сэр Эверард, — ответил я, хотя с радостью последовал бы туда, куда отправлялась моя леди. — Говорят, Миддлтон с примерно десятитысячной армией все еще на севере. Я постараюсь присоединиться к нему, ибо может так случиться, что вскоре будет нанесен удар.

Он не предпринял ни малейшей попытки убедить меня изменить решение, ибо и сам, будь он в моем возрасте, наверняка поступил бы так же. Он уже собирался покинуть меня, чтобы предложить дамам готовиться к путешествию, когда раздавшиеся снаружи крики и лязг оружия сообщили нам о том, что наши враги уже прибыли и путь к отступлению отрезан.

Мы находились в высоком сводчатом холле замка и, услышав этот неприятный шум, инстинктивно схватили друг друга за руки и обеспокоенно переглянулись. Впрочем, у меня эта слабость длилась недолго. Выругавшись, я подскочил к столу, на котором лежала пара пистолетов. Я схватил их и удостоверился в том, что они заряжены.

— Что ты намерен делать, Лал? — в ужасе воскликнул старый дворянин.

— Что я намерен делать, сэр Эверард? Что ж, я намерен отдать свою жизнь за как можно более высокую цену и умереть здесь. Вы же не думаете, что я горю желанием отправиться на виселицу в Перте?

Едва я произнес эти слова, как дверь резко распахнулась, и в комнату вошел Карлстон, а за ним — Гиллеспи и шестеро головорезов столь мерзкого вида, какие только и могут сопровождать человека его положения.

— Как видите, я вернулся, — воскликнул его светлость с грубоватым смешком, — вернулся для того, чтобы заплатить по счету.

Я стоял прямо, заложив за спину руки, в которых сжимал пистолеты. Даже не взглянув на Карлстона, я обратился к Гиллеспи.

— Добрый день, сэр поп... сэр пресвитер Иоанн, — презрительно произнес я. — И какое Иудово дело привело сюда вас?

Сэр Джон Гиллеспи подошел ко мне с кислым выражением на худом, землистого цвета лице.

— Да вот, явился арестовать вас, нечестивца, и вас тоже, сэр Эверард, — мрачно ответил он.

— По какому обвинению?

— По обвинению в зловредности и заговоре против Ковенанта.

Он стоял в ярде от меня, и прежде чем смог догадаться о моем намерении, я приставил один из пистолетов к его голове.

— Если хоть один из ваших бандитов-приспешников пошевелит рукой или ногой, сэр Джон, — вскричал я во весь голос, — я вышибу ваши гнусные мозги!

Разрази меня гром, но я чуть не рассмеялся: кругом вдруг воцарилась звенящая тишина; они стояли совершенно неподвижно, словно каменные изваяния, не осмеливаясь проявить смелость. Только лишь сэру Джону хватило мужества поднять руку, но прежде чем она достигла уровня его пояса, холодное дуло моего пистолета уперлось ему в лоб, и я пророкотал:

— Осторожнее, сэр Джон, или, клянусь живым Богом, я выстрелю.

Видно, в моем голосе и взгляде было нечто такое, что сказало ему: я совершенно серьезен. Увидев, как в один миг побледнело его лицо, я поспешил воспользоваться полученным преимуществом.

— Прикажите вашим людям бросить оружие, сэр Джон, — скомандовал я, но он не ответил. — Вы что, не слышали меня, сэр? — прорычал я. — Прикажите им бросить оружие, или я укажу вашей пресвитерианской душе дорогу в ад.

Прерывающимся голосом он отдал приказ, и тут же раздался звон падающих мечей и пистолетов, прозвучавший для моих ушей веселой музыкой.

— Они все подчинились, сэр Эверард?

— Все, кроме лорда Карлстона.

— Возьмите этот пистолет, сэр, — сказал я, вытягивая левую руку, — и, если он продолжит упорствовать, застрелите его без пощады.

Повернувшись лицом к Карлстону, сэр Эверард взял пистолет, и спустя мгновение, в ответ на его резкий оклик, я услышал, как с грохотом упала на паркетный пол шпага его светлости.

— Прикажите ему встать вон там с теми другими мерзавцами, — сказал я, и вскоре, когда и в этом моя воля была исполнена, попросил сэра Эверарда собрать брошенное оружие и положить его на стол позади меня.

— А теперь, сэр пресвитер Иоанн, — сказал я Гиллеспи, — прикажите вашим головорезам пройти за ту дверь, что находится слева от них.

— Куда она ведет? — угрюмо спросил он.

— Какая разница? Прикажите им пройти за нее, шелудивый вы пёс.

И, чтобы чуть подогнать его, я еще сильнее прижал дуло к его виску. Мое распоряжение было исполнено, и через пару мгновений холл опустел, остались лишь сэр Эверард, сэр Джон и я сам.

— А теперь вы последуете за вашими людьми, сэр Джон, и узнаете, куда они ушли. Отступите назад. Медленно. Давайте!

Шаг за шагом я довел его до двери комнаты, в которую уже вошли его приспешники. Едва Гиллеспи переступил порог, я потянулся вперед, закрыл дверь и задвинул засовы. Прочная дубовая дверь выдержала бы любой натиск, тогда как единственное в той комнате оконце, через которое туда поступал свет, было слишком узким для того, чтобы через него мог пролезть человек.

Теперь они были нашими пленниками — без малейшей надежды на побег. С ликующей усмешкой я повернулся к сэру Эверарду. Старый рыцарь был бледен от волнения, на его лбу выступил пот.

— А ты смельчак, парень! Черт подери, в жизни не видел никого более храброго.

Я снова усмехнулся. Из-за двери до нас доносились голоса наших пленников, им явно было что обсудить.

— Пойдемте, сэр Эверард, — воскликнул я, — нужно уезжать.

— А с ними-то что? — спросил он, указав большим пальцем на дверь.

— Пусть дохнут там. Хотя, возможно, было бы милосерднее поджечь замок и, избавив их от мук голода, дать им отведать то, что приберегла для них вечность!

У меня состоялся небольшой спор с сэром Эверардом, осуждавшим варварство моих мыслей, но вскоре этим прениям положило конец появление леди Гризель и Маргарет. Они вышли к нам, дрожа от страха, и несказанно обрадовались, увидев нас целыми и невредимыми. Когда же сэр Эверард восторженно и с кучей любезных преувеличений рассказал им о совершенном мною пустячном поступке, моя милая леди зарделась от удовольствия и устремила на меня гордый взгляд серых глаз, которые теперь лучезарно сияли, не оставляя сомнений в том, что отныне ее сердце навек отдано мне.

На закате, часа через два, они наконец выехали в Инвернесс в сопровождении полудюжины слуг сэра Эверарда, захватив с собой все ценности, которые только могли увезти. Мы расстались во дворе замка, ибо так как я собирался отправиться в Лохнагар, нам уже было не по пути. Маргарет

Мы расстались во дворе замка...
Маргарет задержалась чуть дольше остальных.
Мы оба питали надежду на то, что будущее подарит нам
еще немало счастливых дней.

задержалась чуть дольше остальных, и пусть наше расставание было чревато печалью, в душе мы оба питали надежду на то, что будущее подарит нам еще немало счастливых дней. Она нежно попросила меня не рисковать собой понапрасну и помнить о том, что я принадлежу ей.

— Прощайте, мой кавалер, — прошептала она, когда я все же проводил ее до ворот, у которых ждал сэр Эверард. — Будьте верным, отважным и удачливым, и до следующей нашей встречи носите это в память обо мне.

Наконец она уехала, а я пару минут так и стоял у ворот, не сводя глаз с грохочущей кареты и держа в руке оставленный ею мне на прощание медальон с крошечной миниатюрой ее ангельского личика.

Со вздохом, исполненным не только печали, я обернулся и обнаружил у себя за спиной Джайлса с уже оседланными лошадьми, готовыми к долгой поездке.

Попросив его подождать меня, я поднялся в свою комнату — собрать вещи и привести себя в должный вид.

Вскоре все это было сделано, и я, вооруженный и одетый для верховой езды, снова спустился в холл — в последний раз взглянуть на дверь, закрывшуюся за Гиллеспи и его отрядом. Я был уже на лестнице, когда вдруг уловил стук копыт. Уже предчувствуя нечто дурное, я поспешно спустился на полпролета вниз к первому же окну, располагавшемуся на лестничной площадке, выглянул наружу и заметил отряд всадников, крупной рысью поднимавшийся по дороге к замку и состоявший человек этак из двадцати, в латах и касках, выдававших род их занятий.

Это была не бандитская шайка, вроде той, что сопровождала Гиллеспи, а организованная рота солдат, состоявших, как я понял с первого же взгляда, на службе Ковенанту.

«Скорее вниз!» — сказал я себе, и, перепрыгивая через четыре ступеньки, стремительно сбежал по лестнице.

Запыхавшийся, я выскочил во внутренний двор.

— Джайлс, — прокричал я.

Он повернул ко мне лицо, на котором застыло выражение отчаяния, и прежде, чем успел сделать нечто большее, чем просто выругаться, отряд оказался уже у ворот.

Что ж, игра была сыграна, и, судя по всему, в конечном счете в этот день побеждал Ковенант. Мне оставалось лишь принять поражение с подобающим достоинством, и потому молодого офицера, скакавшего во главе отряда, я приветствовал вежливым поклоном. И тут вдруг уже, казалось бы, покинувшая меня фортуна оказала мне занятную и весьма неожиданную милость. Я и по сей день не могу понять, что же ввело офицера в заблуждение, если не тот факт, что, увидев меня в полном снаряжении, он просто-напросто обманулся. Достаточно сказать, что слова, которыми он ответил на мое приветствие и которые глубоко меня поразили, — были такими:

— Не имею ли я чести обращаться к сэру Джону Гиллеспи?

Достаточно сказать, что слова, которыми он ответил на мое приветствие, были такими: «Не имею ли я чести обращаться к сэру Джону Гиллеспи?»

Возможно, мне и недостает остроумия придворного щеголя, но в минуту опасности здравомыслие меня еще ни разу не подводило. Вот почему, несмотря на охватившее меня величайшее изумление, я снова поклонился и без малейших колебаний ответил:

— Ваш покорный слуга, сэр.

— Я — капитан Кэмпбелл, — сказал он, спешиваясь и бросая поводья одному из своих подчиненных. — Мне сказали, что я смогу найти вас здесь. Я привез вам вот это вот письмо от маркиза Аргайла.

— Вы явились весьма кстати, сэр, — холодно сказал я, беря письмо и ломая печать. — Эти злобные псы, Февершем и Фицморрис, оказались не такой легкой добычей, как я ожидал. Они встретили меня с кучкой безбожных приспешников, и не приставь я пистолет к голове старшего из этих сыновей Баала и не пригрози застрелить его, если его головорезы меня ослушаются, вы бы прибыли слишком поздно, капитан. Впрочем, несмотря на все это, они у меня теперь под замком, хотя, не подоспей вы как нельзя более своевременно, я бы и не знал, что с ними делать. Но что там пишет милорд Аргайл?

И пока офицер смеялся над моими словами, я обратил свое внимание на письмо. То был адресованный Гиллеспи категоричный приказ передать захваченных им пленников капитану Кэмпбеллу и немедленно отправляться в Лохнагар, где сэру Джону следовало захватить двух отъявленных злодеев, описание которых приводилось чуть ниже.

Я протянул бумагу Кэмпбеллу.

— Вот ваши приказы, капитан, и мои. Моя лошадь готова, так что я выезжаю сию же минуту. Поскольку мои здешние пленники должны быть вверены вам, поднимитесь и заберите их, — идите на производимый ими шум. Надеюсь, вы останетесь довольны вашей добычей.

Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, и, опасаясь, как бы у него не зародилось каких-либо подозрений, я поспешил добавить:

— Не одолжите ли мне трех солдат? Для успешного выполнения миссии мне может понадобиться помощь.

Его лицо просветлело, и он с улыбкой ответил:

— Вижу, вам не терпится истребить врагов Израиля. Возьмите шестерых.

— Достаточно будет и трех, — ответил я, запрыгивая в седло. — Слишком много, возможно, будет даже опасно.

И правды в этих моих словах было больше, чем подозревал капитан.

Спустя пять минут я выехал из Бейлиночи вместе с Джайлсом и тремя солдатами, в то время как Кэмпбелл и его сассенахи[1] отправились забирать своих пленников. Я мчался как ветер, ибо думал, что погоня неминуема. Однако фортуна продолжала мне улыбаться: часа в два или три той зимней ночи мы с Джайлсом — при потворстве получившего от нас щедрую взятку трактирщика — покинули постоялый двор, на котором остановились...

[1] Здесь: англичане (шотл. презр.)

покинули, не попрощавшись с нашим дремлющим эскортом. К рассвету нас от него отделяли двадцать миль труднопроходимой местности.

Два дня спустя, в гостинице Инверари, я услышал историю, рассказанную с приторной елейностью одним лояльным королю горцем о том, как некий молодой придворный франт одурачил два отряда ковенантеров, вступивших в бой между собой в Бейлиночи: каждый из этих двух отрядов полагал другой кучкой враждебно настроенных злодеев. Впоследствии я узнал, что, когда Кэмпбелл отодвинул засовы на двери, Гиллеспи и его люди, хотя они и были безоружны, яростно набросились на солдат. Свою ошибку они обнаружили только после того, как четверо из них расстались с жизнью.

К счастью для меня, убедить капитана Кэмпбелла в том, что его одурачили, Гиллеспи удалось лишь через пару часов.

ПОСЛЕ БИТВЫ ПРИ ВУСТЕРЕ

Мне долго казалось, что все то, что случилось со мной, начиная с рассвета в Вустере в ту злополучную среду, третьего сентября пятьдесят первого года и заканчивая полуднем четверга, когда я, изнуренный и усталый, упал в лесу близ Ньюбери, длилось не часы, а годы.

Я был одним из бойцов того доблестного отряда, который выехал из ворот Сидбери под личным водительством нашего отважного сеньора-монарха и атаковал мятежников в Перри-Вуд с такой яростью, что они были вынуждены бежать со всех ног, побросав пушки. Я был одним из тех, кто в тот краткий час ликования искал взглядом Лесли и его шотландскую лошадь. Я видел, как этот предатель наблюдал за нами, закутавшись в свой плащ, но так и не пошевелился, чтобы довести дело победы, так хорошо нами начатое, до конца. И когда затем «железнобокие» Кромвеля оправились и, возвратившись, разметали нас по склону холма, словно осенний ветерок листья, я понял, что битва проиграна, проиграна из-за подведшего всех нас Лесли, и мысленно проклял этого вероломного шотландского пресвитерианина, как проклинаю его память — пусть он уже и мертв — по сей день.

Я был одним из тех искалеченных и истекающих кровью солдат, которые ринулись в поисках укрытия к городским укреплениям, в то время как сзади на нас изрыгали адский огонь пушки. Я был одним из той последней жалкой кучки, которая прорубила королю путь сквозь толпу «круглоголовых» у ворот Сидбери, а когда наконец пришел в себя, весь покрытый кровью и грязью, с пустячной раной, проделанной пистолетной пулей в мякоти моей левой руки, то услышал на улицах Вустера крики: «Спасайся, кто может!»

Лишь каким-то чудом я выбрался из города, когда на эти развалины уже опускалась ночь, и направился вдоль Северна в сторону Глостера. Я несся вперед как сумасшедший, позабыв об усталости того жаркого дня. Лишь раз я остановился у края холма, чтобы дать передышку лошади и избавиться от кольчуги, казалось, весившей целую тонну. Я забросил доспех в канаву и несколько мгновений стоял, прислушиваясь. Отдаленное уханье какой-то ночной птицы было единственным звуком, нарушавшим тишину. В чистом небе ярко сверкали звезды, тогда как внизу, под ними, на поле близ Вустера,

Позади меня что-то зашуршало. Я резко обернулся и едва не закричал, вдруг заметив перед собой человеческую фигуру, но затем увидел, что это была всего лишь девушка.

лежали сотни, если не тысячи, искалеченных тел. Ночной воздух был чистым и прохладным; вдыхая его, я чувствовал, что набираюсь сил. Донесшийся до меня откуда-то издалека цокот копыт напугал меня так, словно я был малое дитя, и я с лихорадочной поспешностью снова вскочил в седло и, до крови пришпорив свою клячу, вынудил ее продолжить путь. Я смутно осознавал, что должен достичь Кента, где у меня имелись друзья, на помощь которых, возможно, я мог рассчитывать.

Ориентируясь по очертаниям Котсуолдских холмов, я ехал в направлении Сайренсестера до тех пор, пока — после полуночи — мое замученное животное не остановилось, не задрожало и не упало подо мной. Несколько часов я проспал под прикрытием живой изгороди, а затем проснулся, весь дрожа, ибо во сне я снова увидел все ужасы предыдущего дня. В небе стоял стальной морок рассвета; от холода у меня окоченели конечности.

Я нашел пасшуюся в поле лошадь — бедную, жалкую клячу — и водрузил ей на спину седло моего павшего жеребца. Вот так, на краденом животном между колен, я и скакал иноходью; рассвет застал меня в Лечлейде. Я намеревался отважно въехать в Вантедж и там позавтракать, но когда при дневном свете увидел, в сколь плачевном состоянии находится моя одежда, сколь жалок я сам, сразу же вспомнил, какие мне угрожают опасности, и изменил направление, даже несмотря на вопивший внутри меня голод. Я оставил дороги и, переправившись через Темзу, ехал полями и лесами до тех пор, пока часа за три до полудня эта меланхоличная лошадь не отказалась идти дальше. Бросив ее, я устало потащился в соседний лес, решив, что он вполне сгодится в качестве временного прибежища.

Ведомый журчанием воды, я тащился вперед, едва переставляя ноги, пока наконец не наткнулся на мелкий ручей, весело бежавший в солнечном свете, падавшем на него сквозь наполовину оголенные деревья. Я упал на живот и, словно какое-нибудь животное, наклонял голову до тех пор, пока не дотянулся до воды. Я пил — Боже, как я пил! — а потом, измученный и разбитый, даже не задумываясь о том, что может случиться, уснул.

Внезапно проснувшись, я обнаружил, что в воде уже не играют солнечные лучи, а длинные тени, отбрасываемые деревьями, предвещают вечер. Позади меня что-то зашуршало. Я резко обернулся и едва не закричал, вдруг заметив перед собой человеческую фигуру, но затем увидел, что это была всего лишь девушка, изящное золотоволосое создание максимум лет двадцати от роду, с обаятельным лицом и веселыми голубыми глазами, которые смотрели на меня сверху вниз полудерзко-полуробко.

— Черт побери, дитя, — воскликнул я наконец, — я думал, мое пробуждение будет более безмятежным. Который час?

— Начало седьмого, сэр, — спокойно ответила она. Затем прошлась взглядом по моей запыленной, местами рваной одежде, большим сапогам со шпорами, шляпе с плюмажем и длинной шпаге, возможно, заметила золотые позументы на лежавшем рядом со мной камзоле, увидела, сколь

изможденно мое обращенное к ней лицо, и, вероятно, в ней пробудилось любопытство. — Откуда вы, сэр? — спросила она, а затем шепотом добавила: — Вы же не из Ньюбери?

— Из Ньюбери, девочка? — эхом повторил я, цепляясь за это слово. — Почему ты говоришь о Ньюбери? Я что, недалеко от этого места?

— Это всего в миле или около того отсюда.

Я попытался подняться, нечаянно выставил вперед раненую руку — и ахнул от резкого приступа боли.

— Вы ранены, сэр, — воскликнула девчушка, подходя ближе.

Вместо ответа я оторвал окровавленный батистовый рукав и обнажил снова начавшую кровоточить рану. Как я уже говорил, она, эта рана, была совершенно пустячная, но кровь придавала ей уродливый вид, и при виде ее малышка побелела до самых губ, но, мужественно контролируя свои чувства, побежала к ручью и, смочив в воде носовой платок, вернулась и обмыла опухшую конечность, после чего наложила на рану повязку.

— Говорят, вчера неподалеку от Вустера было большое сражение, — сказала она.

— Вчера!.. — повторил я. — Это было всего лишь вчера?

При этих словах ее глаза округлились.

— Вы же не могли быть там... — пробормотала она полувопросительно.

— Скажем так... — начал я, затем, вспомнив, что не знаю, с кем говорю, резко прервался.

— Вы боитесь говорить, сэр. Но чего вы боитесь? — обидчиво воскликнула она. — Я всего лишь женщина.

— Ею, мадам, была и Далила.

— Ступайте своей дорогой, сэр, — ответила она, вставая с восхитительно-напускным негодованием. — Знай я, с каким мужланом имею дело, не стала бы тратить на вашу руку свое сострадание.

Несмотря на все мое внезапное недоверие, я сильно встревожился, — как бы она не оставила меня там, где я лежал.

— Милая госпожа, простите меня, — взмолился я. — Сжальтесь над бедным преследуемым роялистом, который, спустись ангел с небес, дабы удовлетворить его нужды, заподозрил бы этого ангела в сговоре с Кромвелем.

Она остановилась, снова повернулась, и на сей раз ее нежные глаза были полны жалости.

— Так вы — из тех, сэр? — спросила она.

— Из тех, дитя мое, — ответил я. — Меня зовут Лайонел Февершем, и я — дворянин из Кента, вчера сражавшийся на Вустерском поле бок о бок с моим королем; бедный, незадачливый роялист, чья голова принесет пригоршню гиней любому, кто пожелает доставить ее лорд-генералу, этому красноносому пивовару.

Так был заключен наш мир, и мое сердце радостно застучало при известии, что ее отец — тамошний фермер — тайно является роялистом и что в его доме

меня будут счастливы приютить до тех пор, пока я не наберусь сил для того, чтобы продолжить свой путь в Чичестер. Она села рядом со мной у ручья, и там, следуя совету этого мудрого ребенка, мы дождались наступления ночи. Наконец мы отважились отправиться в путь, и хотя пройти нужно было всего лишь полмили или что-то около того, для меня это было утомительное путешествие. Мы пересекли луг, через калитку вошли в сад и наконец остановились в тени большого и довольно внушительного дома.

Калитка звякнула позади нас, и, словно в доме все были настороже, дверь открылась, и в потоке падавшего из нее света на пороге обозначилась дородная фигура.

— Это ты, Кейт? — послышался низкий мужской голос, нежно упрекнувший ее, когда она побежала вперед, за долгое отсутствие. Сей факт и мое присутствие нуждались в объяснении, и Кейт решила дать его отцу, но как только йомен узнал, кто я такой и откуда явился, он оборвал ее на полуслове, затащил меня в дом и закрыл дверь. Я стоял перед огромным очагом в просторной кухне, моргая, словно сова, от бившего мне в глаза света, и с немалым волнением слушал сердечное приветствие тучного фермера.

Я надлежащим образом поблагодарил его, после чего он забросал меня вопросами о состоявшемся накануне сражении, на которые я терпеливо отвечал минут десять — пятнадцать, но затем все же сказал:

— Прошу меня извинить, милейший мистер Мелланд, но у меня уже часов сорок, а то и больше, росинки маковой во рту не было, так что, во имя того, кто постился сорок дней, я попросил бы вас подождать, пока я поем.

Меня усадили за стол, от которого милейший хозяин и его любезная супруга не отходили ни на шаг, предвосхищая все мои желания, в то время как Кейт сидела в углу вместе с сестричкой, которая с любопытством взирала на изможденного незнакомца, истреблявшего все, что перед ним ставили, с прожорливостью волка.

Когда с едой было покончено, Мелланд принес мне пива в высокой кружке из просмолённой кожи и предложил расположиться в угловом кресле у камина, где я и устроился, охваченный восхитительным чувством блаженства, какого, казалось, никогда прежде и не испытывал. Вскоре мой хозяин возобновил свои расспросы, и я поведал йомену, его жене и двум их дочерям — столь восторженная аудитория порадовала бы сердце любого рассказчика! — о том, как сражался при Вустере, где мы были разбиты, обо всех тех ужасах, свидетелем которых мне довелось стать, и о том, что мне пришлось претерпеть во время моих последующих скитаний.

Наутро я проснулся с такой лихорадкой, что я даже не смог подняться с постели. Врача к моей постели вызвать не осмелились, так что за мной пришлось ухаживать самой миссис Мелланд.

По прошествии трех недель, благодаря неослабной заботе госпожи Мелланд и Кейт, я настолько оправился, что уже был в состоянии вставать с постели и какое-то время проводить, сидя в кресле. Но я все еще был

чудовищно слаб и осмелился выйти на улицу лишь спустя еще неделю. Дальнейшее мое восстановление проходило уже достаточно быстро, и однажды, в начале октября, я отвел хозяина в сторону и, выразив ему некоторую толику благодарности, переполнявшей мое сердце, добавил, что, на мой взгляд, мне пора уже отправляться в Чичестер — к друзьям, на помощь которых я рассчитывал. Но дородный йомен отверг эту идею: по его мнению, я еще не был достаточно силен, а для человека в моем состоянии то была долгая поездка.

Позднее, в тот же день, Мелланд пришел ко мне с костюмом унылой расцветки и шляпой с остроконечным верхом, какие носят пуритане.

— Мистер Февершем, — промолвил он извиняющимся тоном, — я позволил себе большую вольность. В том вашем расшитом золотом наряде слишком много от роялиста, чтобы оставаться незамеченным в таком скромном доме, как мой.

— Но кто здесь его увидит, мой славный Мелланд? — рассмеялся я.

Выражение его лица стало крайне серьезным.

— Сегодня приезжает один человек, которому он мог бы не понравиться — некто полковник Джексон из армии «круглоголовых», и потому, уж простите мне мою вольность, я подумал, что будет разумно принести вам эту мрачную одежду, чтобы вы могли надеть ее, если сочтете нужным.

— Но что забыл этот полковник Джексон на Холме? — спросил я.

— Он — сын одного живущего неподалеку фермера, и в течение многих лет — с самого детства — имеет обыкновение являться сюда, когда ему заблагорассудится. Мне совсем не по душе его кислый вид, но в нынешние времена он — из тех, враждовать с кем совсем не хочется.

— Прекрасно! — рассмеялся я. — Он найдет меня самым отъявленным «круглоголовым», какой когда-либо пел литании святому Сатане. Давайте сюда эту благочестивую одежду, Мелланд.

Облачившись в этот дьявольский наряд, я сидел днем в саду и дышал свежим воздухом, когда Кейт вышла из дому и, склонив голову набок, принялась насмешливо меня разглядывать.

— Подойди-ка сюда, Кейт, — приказал я с ироничной суровостью. — Подойди сюда и не смейся над благочестием моей внешности. Видишь это письмо, дитя мое?— И я вытащил из кармана конверт.

Она кивнула и подошла ближе.

— Чтобы ты знала, сколь велика услуга, которую я прошу тебя оказать мне, позволь мне сказать тебе, Кейт, что это — для одной леди из Инвернесса, леди, которая однажды, возможно, хоть я этого и недостоин, окажет мне честь стать моей женой. Полагаю, ей не терпится узнать, что со мной случилось, и я хотел бы, чтобы это письмо дошло до нее как можно скорее. Ты не могла бы об этом позаботиться, Кейт? Сам я отправиться в Ньюбери не осмеливаюсь.

Она взяла письмо и рассеянно взглянула на надпись.

— Госпожа Маргарет, вероятно, очень красива? — внезапно спросила она.

Я повернулся к ней, удивившись такому вопросу.
— Красива, Кейт? — переспросил я. — Постой, я хочу,
чтобы ты составила на сей счет собственное мнение!

Я повернулся к ней, удивившись такому вопросу. Затем рассмеялся, вспомнив, какой интерес представляют подобные темы для женщин.

— Красива, Кейт? — переспросил я. — Постой, я хочу, чтобы ты составила на сей счет собственное мнение! — И, вытащив из-за пазухи небольшую, украшенную драгоценными камнями миниатюру, которую дала мне моя

госпожа, я протянул ее девушке. Она, наверное, добрую минуту пристально разглядывала милое личико моей Маргарет, а потом воскликнула:

— Как вы, должно быть, ее любите!

— Пусть и тебя, дитя мое, когда-нибудь полюбят так же искренне и преданно, как люблю ее я. Возможно, когда-нибудь вы с ней познакомитесь, и она отблагодарит тебя за все, что ты сделала для ее возлюбленного, гораздо более достойно, чем способен отблагодарить тебя мой неуклюжий язык.

Говоря это, я ласково похлопал ее по руке, потому что и в самом деле полюбил эту очаровательную малышку. Кейт улыбнулась немного грустной улыбкой, глаза ее увлажнились, и она уже собиралась что-то сказать, когда вдруг хлопнули ворота. Резко вскинув голову, я увидел приближающегося к нам высокого, худощавого мужчину в черных одеждах. Одного взгляда на эту «траурную» фигуру было достаточно, чтобы понять: это и есть ожидаемый полковник Джексон. То был мужчина лет двадцати пяти, чье бледное, худое лицо казалось еще более мрачным, чем это было задумано природой, из-за теней, падавших на него от широкополой, с остроконечным верхом шляпы. Его воспаленные глаза были глубоко посажены, нос напоминал клюв какой-нибудь хищной птицы, рот был широкий, тонкогубый и жестокий. В целом, это был гнусного вида мерзавец, и, полагаю, я возненавидел его с той же секунды, как увидел. Такие чувства зачастую бывают взаимными, и взгляд, которым наградил меня он, тоже не был преисполнен любви.

Угрюмым тоном он приветствовал в Господе мою спутницу и в не слишком вежливой манере осведомился, кто такой буду я.

— Это мистер Тернер, — ответила она, — друг моего отца.

— И твой тоже, девчонка?

— И мой, — спокойно ответила Кейт, в то время как он бросил на меня хмурый взгляд, во многом объяснивший мне причину его присутствия на Холме.

— Мистер Тернер, — промолвил он, слегка гнусавя, — такую прическу, как у вас, носят лишь тщеславные щеголи.

По натуре я человек отнюдь не сдержанный. Я уже собирался ответить нечто гораздо более обидное, возможно, дело закончилось бы даже дуэлью, но тут я перехватил взгляд Кейт, и в нем было столько мольбы, что я заставил себя обуздать эмоции. И все же я сдвинул шляпу набекрень, что придало мне удалой вид, и, подкрутив усы, дерзко посмотрел этому хмурому наглецу прямо в глаза.

— В той библии, мистер Джексон, что висит у вас на поясе, кажется, я читал одну притчу о фарисее и мытаре, которая, если вы как следует ее переварите, возможно, пойдет вам на пользу.

Не найдясь что ответить, он уставился на меня с безмолвным презрением, и, чувствуя, что атмосфера становится напряженной, я удалился. Я снова встретил его за ужином вечером, и часто видел затем в последующие дни.

Мотив его нежелательных визитов недолго оставался для меня загадкой. Он явился свататься, и малышка Кейт была его добычей. Его ухаживания не были похожи ни на одни другие, какие я когда-либо видел. Свое сватовство он подкреплял строками из Священного Писания, и там, где влюбленный юноша был бы поэтичен, цитировал тексты и пословицы.

Вскоре стало очевидным, что Кейт его не только ненавидит, но и не на шутку боится, и в глубине души я желал ее от него избавить. Однажды утром, на четвертый день после его приезда, из своего окна, выходившего в сад, я услышал их разговор на повышенных тонах, и из того, что смог уловить, понял, что причиной их разногласий являюсь именно я и что этот псалмопевец жутко ревнив.

Их ссора навела меня на одну мысль, которой позднее в тот же день я поделился с Кейт.

— Дружок, — сказал я. — Я многим тебе обязан и если хоть в какой-то мере могу тебе помочь, избавив от этого корноухого надоеды, только скажи, и это будет сделано.

— Вы и в самом деле можете меня от него избавить? — воскликнула она.

— Могу ли я? — эхом отозвался я. — Черт подери, дитя мое, поговаривают, что Лал Февершем — самый искусный фехтовальщик во всей Англии.

— О нет, нет! — вскричала она, содрогнувшись. — Я неправильно вас поняла. Вам не следует даже думать об этом. Обещайте, что не будете, мистер Февершем.

Я пожал плечами.

— Хорошо, не буду. Но если ты вдруг передумаешь и увидишь, что он становится невыносимым, просто прикажи мне как брату.

Похоже, однако, не только меня, но и мистера Джексона посетила мысль, что небольшая пикировка стала бы для нас хоть каким-то развлечением. В тот вечер, когда я сидел у камина, он подошел ко мне и, опершись локтем на каминную полку, хмуро посмотрел на меня сверху вниз.

— И долго вы намерены оставаться на Холме, мистер Тернер?

— Гораздо дольше, чем вам бы хотелось, — дерзко ответил я.

— Осторожнее, мистер Тернер! — прорычал он, в один миг побледнев.

— С чего бы мне быть осторожнее, милейший? — резко ответил я, вскочив на ноги. — Или вы мне угрожаете?

— Я не кичливый бахвал, чтобы угрожать людям, — промолвил он более сдержанно. — Я всего лишь предупреждаю вас: будьте осторожны, мистер Тернер, если вас действительно, — добавил он, глядя на меня искоса, — зовут Тернер.

— Oddfish[1]! — порывисто воскликнул я. — Да знай вы мое настоящее имя, ручаюсь, вы вели бы себя куда менее смело.

Не успели прозвучать эти слова, как я осознал всю их неосмотрительность и посмотрел на полковника Джексона, ожидая взрыва. Однако вместо

[1] Проклятье! (англ.)

этого на его лице пуританина отразилась озадаченность, затем — удивление, и он уставился на меня как человек, только что сделавший великое открытие.

Я не мог и подумать, что его подозрения, вызванные моим намеком на то, что моя личность должна вызывать уважение, и использованным мною излюбленным ругательством короля, — распространившись на мою высокую, стройную фигуру, черные локоны и смуглое лицо, приведут его к убеждению, что перед ним стоит не кто иной, как Карл Стюарт, поскольку эти детали смутно совпадали с описанием августейшего беглеца. Но, глядя на все это в свете последующих событий, я вполне могу понять удивление мистера Джексона, на какой-то миг лишившегося дара речи. Затем, придя в себя, он промолвил:

— Призна́юсь, я так и думал — вы из числа тех, кого полагают «зловредными». Я не шпик, мистер Тернер, но терпение имеет свои пределы: если через четыре дня вы всё еще будете на Холме или где-то поблизости, я арестую вас. Имейте это в виду и будьте благодарны за то, что я к вам более великодушен, чем вы того заслуживаете.

Это была хорошо продуманная речь, имевшая целью приглушить мою тревогу, и я — вот же глупец! — купился на эту коварную хитрость, поверив в то, что в течение ближайших четырех дней он и в самом деле не станет предпринимать никаких действий.

Был понедельник, и я решил, что уеду в ближайшую среду. Будь у меня хоть капля ума, я бы покинул Холм в ту же ночь. Вместо этого я принялся готовиться к отъезду со всей непринужденностью и неспешностью. Во вторник я поручил Мелланду купить мне коня, и в тот же день он привел мне крепкую гнедую лошадь, за которую я отдал ему двадцать каролусов.

В среду вечером, после заката, я в последний раз вышел к ужину за гостеприимный стол мистера Мелланда. Под крышей, которая так долго меня укрывала и о которой я унесу с собой в могилу воспоминание, полное благодарности и любви, мне предстояло провести еще около часа. Я сидел за столом в сапогах со шпорами, а в конюшне меня ждал мой конь, уже оседланный для ночного путешествия.

Полковник восседал напротив меня с торжествующе-насмешливой ухмылкой на лице, вызванной, как я решил, радостью по поводу моего отъезда. Мелланд что-то говорил, когда внезапно снаружи послышался топот ног, заставивший нас вздрогнуть. Это был обычный топот дисциплинированного отряда, и было в этом звуке нечто зловещее и угрожающее. Затем раздался стук в дверь, похожий на удар штурмового тарана.

Мелланд молча встал и пошел открывать, мимоходом бросив на меня взгляд, преисполненный страха. Госпожа Мелланд, Кейт и ее сестра Бетти смотрели на меня с побелевшими лицами, но не сказали ни слова. Один лишь Джексон оставался спокойным, на его безгубом рту играла зловещая улыбка. В один миг до меня дошло, что он меня предал, но прежде чем

я успел высказать свое открытие вслух, дверь распахнулась, и на пороге возник невысокий, толстый мужчина. При виде этой дородной фигуры и вульгарного лица с большим красным носом я тут же вскочил на ноги, и безумие, казалось, воспламенило мою кровь — это был сатана, Кромвель собственной персоной!

— Приветствую всех именем Господа! — воскликнул он глубоким, звучным голосом.

В ответ я уже хотел было схватить со стола нож и наброситься на этого гнусного убийцу в слепом порыве ярости.

Но не успел я сделать и двух шагов, как пара рук схватила меня в области талии, чья-то нога заплела мою ногу, я споткнулся и упал, а мистер Джексон навалился на меня сверху. Прежде чем я смог осознать, что произошло, я уже снова был на ногах, по обе стороны от меня стояли солдаты, а руки мои были связаны за спиной. С пару мгновений Кромвель взирал на меня с холодным презрением.

— Кто этот наглец, посмевший встать между львом и его добычей? — произнес он громовым голосом.

— Этот молодой человек, — ответил Джексон, — и есть Карл Стюарт.

— Это — Карл Стюарт?! — фыркнул Кромвель со смесью насмешки и ярости. — Это из-за него ты меня сюда вызвал, придурок?

— Если вы хотели найти здесь короля Карла, — вставил я, — то вы прокатились понапрасну, мистер Оливер. Его величество, да поможет ему Бог, сейчас во Франции.

— Ты лжешь! — вспыхнул Кромвель.

— Вы бы не посмели так говорить, будь у меня развязаны руки, красноносый вы пивовар, — презрительно ответил я.

— Как мне поступить с ним, чтобы перестал чесать своим скабрёзным языком? — воскликнул Джексон.

Мрачно-холодный взгляд лорда генерала на миг задержался на мне.

— Как тебя зовут, парень? — спросил он.

— Лайонел Февершем, — безрассудно ответил я, — камергер его величества короля Карла Второго, капитан армии его величества в недавней битве при Вустере.

— Армии, — заметил Кромвель, — которая по высшей милости Господа Саваофа был рассеяна, как некогда были рассеяны филистимляне. — Затем, уже более суровым голосом, он добавил: — Поступи с ним так, как поступили с Аманом, Джексон. Возьми пару человек и вздерни его на первом же попавшемся дереве... Хотя постой, — поправил себя он. — Я не стану губить ничью душу. Это вполне подождет до рассвета — дадим ему время примириться с Богом.

* * *

Ту ночь я провел в тюрьме Ньюбери, прислушиваясь к бою расположенных где-то неподалеку часов, по которым я отсчитывал приближение вечности. Боюсь, я не молился. Мой путь был пройден, и я решил, что пытаться загладить вину за столько понапрасну прожитых лет посредством нескольких часов мольбы — ибо, по правде сказать, каких-либо других занятий я для себя найти так и не смог — будет чуть ли не дерзостью. Разумеется, я много думал о моей милой Маргарет, находившейся в далеком Инвернессе, и если бы не эти мысли, то близкий конец оставил бы меня совершенно равнодушным. Смерти я не боялся, так как умереть, как я это понимаю, — та цель, ради которой человек и рождается.

Одна-две мои мысли были о Кейт. «Интересно, — подумал я, — прольет ли нежная девчушка слезу по бедному солдату удачи, с которым она подружилась?»

Наконец рассвело, и где-то в тюрьме или неподалеку — уж и не знаю, где именно — зазвонил колокол. Послышались лязг засова и звон ключей. Время пришло. Что ж, осталось лишь преподать этим корноухим урок того, как следует умирать.

Дверь открылась, и в мою камеру вошел человек с фонарем в руках, а за ним еще один, закутанный в плащ. Я встал и поклонился.

— Ваш покорный слуга, джентльмены, — сказал я.

Через несколько мгновений я уже шагал вслед за этой молчаливой парой по длинному коридору.

— Прохладное утро, друзья, — пробормотал я.

— Вы не могли бы придержать свой скабрёзный язык хотя бы сейчас? — послышался откуда-то из складок плаща голос Джексона.

— А, так это вы, корноухий сын Израиля! — ответил я.

— Помолчите, — прорычал он, в то время как человек с фонарем открыл дверь справа от нас и знаком предложил мне войти. Немало удивленный, я повиновался; дверь за мной закрыли и заперли, и я оказался в другой камере.

Я сел и стал ждать. Через какое-то время послышался топот ног и бряцанье оружия. «Наконец-то!» — сказал я себе. Но солдаты прошли мимо моей двери — в сторону той камеры, которую я покинул. Я услышал, как они остановились, затем до меня донесся пронзительный крик. Вскоре я услышал, как они возвращаются, — вместе с кем-то, от чьих воплей и богохульств в жилах у меня стыла кровь. Очевидно, в то утро в Ньюбери состоялась еще одна казнь.

Колокол все звонил и звонил, и наконец умолк. Я по-прежнему ждал. Взошло солнце, а ко мне так никто и не пришел. Вскоре тюремщик принес мне немного грубой пищи и стакан воды. Я засыпал его вопросами, но он

ничего не ответил. Так и протянулся весь день, наступил вечер. Утомленный, я растянулся на тюфяке и, несмотря на снедавшее меня беспокойство, заснул.

Проснулся я от слепившего глаза яркого света фонаря и обнаружил рядом с собой те же две фигуры, которые посетили меня на рассвете.

Угрюмым тоном Джексон велел мне встать и идти за ним, и я, полагая, что уже наступил новый день, и он наконец-то пришел, чтобы отвести меня на казнь, сел и натянул сапоги. Затем, встав, поскольку я спал полностью одетым, — я объявил, что готов. Мы покинули камеру, проследовали по коридору, спустились по лестнице и через дверь вышли во внутренний двор. Небо над головой было черным, — таким черным, что, повернувшись к Джексону, я спросил его, который час, и услышал в ответ, что еще только начало двенадцатого вечера.

Через несколько мгновений мы оказались за воротами — одни, и это, наряду с его словами, породило в моем мозгу подозрение и надежду.

— Что все это значит, мистер Джексон? — спросил я. — Куда мы идем?

— Скоро узнаете.

Мы свернули за угол улицы, и в полумраке я различил очертания лошади и человеческую фигуру, внезапно направившуюся к нам.

— Кейт! — вскричал я, бросаясь вперед. — Это снова ты, дружок? Неужели ради моей свободы ты растрогала каменное сердце этого пуританина?

— Возможно, мои молитвы и в самом деле имели для него какой-то небольшой вес. Однако, если вы кому-то и должны быть признательны за вашу свободу, то именно ему. Он спасает вашу жизнь, рискуя собственной.

— Черт возьми, мистер Джексон, — сказал я, протягивая руку. — Прошу вас простить меня за то, сколь несправедлив я был к вам в своих мыслях. Моя признательность...

— Мне она не нужна, — грубо прервал меня он. — Уже поздно, мистер Февершем, а вас ждет долгое путешествие. Вон там стоит ваш конь. Садитесь на него и убирайтесь, да смотрите не мешкайте.

Пораженный столь странной смесью грубости и великодушия, я решил последовать его совету. Попрощавшись с малышкой Кейт, я оставил ей в память о том, кому она помогла, и в знак искренней благодарности, коей было суждено вечно жить в моем сердце, маленькое колечко — единственную имевшуюся у меня при себе безделушку.

Следуя их указаниям, я ехал по улицам Ньюбери, пока внезапно меня не окликнул чей-то голос:

— Мистер Февершем, во имя Господа, остановитесь и выслушайте меня.

Это был голос Тони — слуги с фермы Холм и паписта, а, стало быть, того, кто был моим другом уже по причине одной своей ненависти к «круглоголовым». Его серьезный тон и тот странный факт, что он, должно быть, поджидал меня, вынудили меня придержать коня и позволить Тони высказаться.

Чуть ли не с мольбой в голосе он попросил меня проследовать вместе с ним на постоялый двор, хозяин которого был его другом, и, не имея ничего

против, ибо рюмка на посошок была бы весьма кстати, я принял его предложение. Разбудив хозяина гостиницы «Черная лошадь», Тони велел ему позаботиться о моей кляче.

В глубоком изумлении я последовал за парнем в одну из комнат гостиницы.

— Простите мою вольность, мистер Февершем, — начал он, — но знаете ли вы цену, которую платят за вашу свободу?

— Цену, парень? — эхом отозвался я.

— Да, сэр, — цену, — повторил он.

И тут же поведал мне то, о чем, не будь я таким безмозглым идиотом, я и сам бы мог догадаться. По его словам, дабы выкупить мою свободу, госпожа Кейт согласилась стать женой Джексона. Полковник предложил спасти мне жизнь, назвал свою цену — и девушка выразила готовность ее, эту цену, заплатить. Начальник тюрьмы Ньюбери по какой-то причине благоговел перед Джексоном и согласился на время закрыть глаза. На подкуп тюремщика у полковника ушло пятьдесят фунтов, и за полчаса до назначенного времени казни меня вывели из камеры, заменив другим смертником. Этого беднягу Джексон повесил в присутствии двух солдат, оставленных ему Кромвелем, и те, одураченные сонливостью, ленью и серым полумраком рассвета, ничего не заподозрили. Кромвелю же Джексон отправил с одним из них сообщение о том, что Лайонел Февершем был казнен.

Случайно подслушав эти детали заключенной Джексоном сделки, Тони решил, если представится такая возможность, расстроить планы полковника. Можете сами представить, с какими смешанными чувствами я его выслушал!

— Оставь меня, Тони, дружище! — воскликнул я. — Клянусь тебе моей честью, госпоже Кейт не придется ничем жертвовать. Теперь мистер Джексон — у меня в руках, не волнуйся.

В ту ночь я переночевал в «Черной лошади», а на следующее утро выехал из Ньюбери спозаранку и проследовал примерно с полмили вдоль реки Кеннет в направлении дома полковника Джексона. Правда, разыскивать «круглоголового» мне, к счастью, не пришлось, ибо я столкнулся с ним, ехавшим в противоположном направлении, лицом к лицу сразу же за поворотом дороги. Увидев меня, полковник изменился в лице.

— Вы что, с ума сошли, мистер Февершем? — изумленно проговорил он. — Почему вы здесь, когда должны быть уже далеко-далеко на пути к побережью?

— Сейчас я еду не на побережье, — холодно ответил я. — Куда я поверну голову своего коня, зависит от вас, потому что, если я не увижу вас благоразумным и послушным, каким и должен быть человек благочестивый, то конечной целью моего путешествия станет Лондон.

— Лондон?!

— Да, приятель, Лондон — Уайтхолл... И не смотрите на меня так. Я пойду и скажу вашему лорд-генералу с рубиновым носом, что благочестивый сын Израиля, полковник Джексон, — лжесвидетель, который, сообщив ему,

...Я обошел его защиту и вонзил клинок ему в грудь, в область сердца. Секунду он корчился от боли, затем упал замертво.

что за покушение на его августейшую жизнь «зловредный» Февершем был повешен, на самом деле отпустил этого безбожного последователя Карла Стюарта на свободу.

Лицо полковника Джексона было очень бледным, взгляд — весьма зловещим.

— Так вот как вы решили отплатить мне за то, что я даровал вам жизнь?

— Вы ведь искали плату иного рода — и в другом месте, не так ли? Что же касается моей жизни, то мне не нужен такой ваш подарок, и, знай я, какую вам платят цену, отказался бы покинуть тюрьму Ньюбери.

— Какова же подходящая для вас цена? Что для вас значит эта девица?

— Она стала мне другом в трудную минуту. Не более того — но менее того, кем она будет для вас, ибо, пока Бог с нами, мистер Джексон, либо вы поклянетесь мне на библии, что откажетесь от требуемой вами платы и прекратите это мерзкое ухаживание, либо я отправлюсь прямиком в Уайтхолл. Вы крупно просчитались, мистер Джексон. Выбор за вами.

— Выбор? — страстно воскликнул он. — Выбирать я не буду. Спешивайтесь, сэр, и давайте со всем этим покончим.

— Охотно, раз уж смерть доставит вам больше удовольствия! — вскричал я.

И так вышло, что мы сошлись лицом к лицу на лугу у дороги.

Его натиск был столь же яростным, сколь и атака кавалерии, — и столь же неуклюжим.

После третьего обмена выпадами я обошел его защиту и вонзил клинок ему в грудь, в область сердца. Секунду он корчился от боли, затем упал замертво.

Не став задерживаться, я сразу же вытер шпагу, снова вскочил на коня и унесся прочь. На перепутье, примерно в полумиле от того места, я наткнулся на Тони.

— Видели полковника? — спросил он.

— Да, Тони, видел.

— Что он говорит?

— Сейчас уже ничего, разве что цитирует Святое Писание дьяволу.

— Так вы...

— Он сам этого пожелал, — ответил я. — Мы дрались вон на том лугу, где ты и найдешь его труп, если захочешь.

Парень вздрогнул и на несколько мгновений умолк. Затем спросил:

— Вы заедете на Холм, сэр?

— Думаю, нет, Тони. Будет лучше, если я сейчас же уберусь отсюда как можно подальше. Скажи госпоже Кейт, что ей больше не нужно платить ту благородную цену, которую она предложила за мою жизнь, — слишком высокую цену за нечто настолько никчемное. Прощай, Тони.

Я заломил ему руку, оставив в ней десять каролусов, а затем, глубоко вонзив шпоры в бок лошади, поскакал дальше.

ДОЧЬ КАНЦЛЕРА

В Лондоне все еще царила праздничная атмосфера. Люди веселились и пили до упаду, произнося тосты: «За короля!» В большом пиршественном доме его величество излечивал своим прикосновением от «Королевского зла»[1] сотни людей; все вокруг изобиловало свидетельствами его славной Реставрации, а также любви, верности и веселья.

Девять долгих лет я держал свою душу в терпении, ожидая в изгнании именно такого времени, но теперь, когда это время пришло, как минимум для меня оно пришло слишком поздно.

Охваченный горем столь острым, что думал — умру, — я сидел в своей комнате с видом на Кинг-стрит. С, казалось бы, застывшим, навсегда остановившимся сердцем, я держал в руках письмо, кольцо и прядь волос.

В письме говорилось, что моя Маргарет мертва. То было последнее жалкое «прощай» от моей милой госпожи, девять лет ожидавшей моего возвращения и Реставрации, которая должна была поправить мое благосостояние. Кольцо было тем самым, которое я давным-давно посылал ей из Франции, прядь волос была срезана со столь дорогой моему сердцу головки в последний час ее жизни.

Я прошел через это долгое изгнание, сохранив верность и преданность ей. С безграничным ликованием я снова ступил вместе с Карлом на английскую землю, я думал, что неприятности позади, и Маргарет наконец-то станет моей. А затем, всего через неделю, или около того, когда я уже собирался отправиться в Шотландию, где, как я полагал, меня ждала награда за долгое ожидание, неумолимая судьба нанесла мне этот жестокий удар.

Несколько дней я хандрил и не покидал комнаты, и за эти дни в моих темных локонах появилась первая седина.

О следующих нескольких месяцах, когда я снова искал мужской компании, я вспоминаю с отвращением. Я с головой окунулся в самые постыдные невоздержанности этого безнравственного двора.

---

[1] *«Королевское зло»*, золотуха — болезнь, которую якобы мог вылечить король своим прикосновением. Говорят, что английский король Карл II прикоснулся к 100 000 человек; в одном только 1682 г. таких людей насчитывалось около 8500.

Словом, время и разврат утолили страдания, или, скорее, сердце мое онемело, а кровь в моих жилах превратилась в желчь, ибо знаю: перестав скорбеть, я перестал также и думать обо всем, что могла дать жизнь, — с горькой усмешкой я позволял своему существованию продолжаться и изображал веселье.

И все же, сколь бы черствым я ни был, когда как-то утром король предложил мне жениться, я ощутил укол боли.

— Твои сумасбродства, Лал, переходят все границы, — сказал Карл, — и мы должны обуздать их шелковыми узами брака.

— Сир, умоляю вас... — начал было я.

— Об этом не может быть и речи. Я уже подумал о твоих обстоятельствах и подыскал для тебя жену. Она не пользуется дурной славой и не имеет отбоя от ухажеров. Она фрейлина моей сестры, и то, чего ей недостает в красоте, она восполняет умственными способностями.

— Но, сир...

— Потерпи, Лал, — рассмеялся он, — и ты узнаешь ее имя. — Он нежно взял меня под руку и подвел к окну, выходившему на реку.— Итак, сэр, что вы скажете о дочери моего лорд-канцлера — леди Хайд?

Я медленно помотал головой.

— Сир, я не хочу жениться.

— Черт возьми, Лал, — раздраженно воскликнул он, — этого хочу я! Владения вашего отца были разделены на столько частей, что я замучился вырывать их то из одних рук, то из других, то из третьих... Что касается денег, ты и сам видишь, как мало их у нас, а тут еще приходится отбиваться от всех этих паразитов. Разумеется, я подыщу для тебя подходящую должность, но дело это не быстрое, да и как знать, вдруг это назначение тебя в какой-то мере стеснит? А вот жену — жену, которая принесет тебе состояние — я могу дать тебе прямо сейчас, а вместе с ней — и титул, который будет жить в веках.

— Сир, сир, — воскликнул я, — вы и так были слишком добры ко мне. Но я не ищу награды за свои скромные услуги. Мне не нужна жена, а что касается титула, то для солдата нет титула более подходящего, чем рыцарское звание, уже пожалованное мне вашим величеством.

Но Карла, ничего не знавшего о постигшем меня горе, мое нежелание принимать его предложение явно разозлило.

— Ей-богу, сэр Лайонел, — проворчал он, и его смуглое лицо помрачнело, — вы испытываете мое терпение. Что-то не так с этой леди, или, быть может, есть какая-то другая, которая нравится вам больше?

— Ни то, ни другое, сир. И все же, если ваше величество не возражает, я не женюсь.

— Но мне это не нравится, — последовал раздраженный ответ, и я даже удивился: и чего он так настаивает? — Для такого вашего упрямства нет ни малейших причин, сэр Лайонел. Ну же, хотя бы подумайте об этом!

— Подумаю, раз уж вы мне приказываете, сир.

— Слова, одни слова! — пробормотал он, нахмурившись. — Не хочу видеть вас до тех пор, пока ваш разум не сформируется в соответствии с моими желаниями, до того момента вы освобождаетесь от ваших обязанностей рядом с моей персоной.

Произнеся эти слова, со всей определенностью сказавшие мне, что я должен либо жениться на Энн Хайд, либо покинуть Уайтхолл, он удалился. Такая вот она — августейшая справедливость и королевская благодарность!

Пару дней я размышлял над этой темой, держа ее в секрете, которым не поделился даже с Роджером Марстоном из свиты герцога Йоркского, которого за время нахождения в изгнании во Франции полюбил как брата. Раздражительность и настойчивость короля меня немало удивили, пусть сейчас я и понимаю, чем они были вызваны.

В конце концов я решил: чем снова становиться скитальцем, уж лучше я исполню волю его величества. Я попросил аудиенции и сообщил Карлу о своем решении, после чего он с довольной улыбкой велел мне приступать к ухаживаниям.

В тот же самый день я случайно наткнулся на леди Хайд в Тайном саду. Это была высокая, царственной осанки женщина, возможно, и не красавица, но с выразительным взглядом и изысканными манерами. Я вежливо поздоровался с ней и был принят с холодностью, которая доказывала: она уже знает, что у нее появился в моем лице новый поклонник.

Некоторое время я шагал рядом с ней, довольно глупо, по правде сказать, болтая о том о сем, но затем она, остановившись, спросила:

— Сэр Лайонел, а вам неизвестно какое-нибудь другое более галантное искусство ухаживания?

— Вижу, мадам, вы осведомлены о чести, на которую я претендую, — неуклюже ответил я.

— Да, сэр, — но претендуете напрасно.

— Сэр Лайонел, а вам неизвестно какое-нибудь другое — более галантное — искусство ухаживания?
— Вижу, мадам, вы осведомлены о чести, на которую я претендую, — неуклюже ответил я.

— Если бы вы только знали, мадам, — воскликнул я, — какое ваши слова несут для меня облегчение!..

Она посмотрела на меня с таким изумлением, что я едва не рассмеялся.

— Я вас не понимаю, сэр Лайонел, — сказала она наконец, — но это не так уж и важно. Мне было сказано проявить к вам благосклонность, ибо, похоже, вы заручились согласием короля на ухаживания за мной. Я буду откровенна и избавлю вас от лишних хлопот, сэр, сказав вам, что я люблю другого, — человека столь же благородного и порядочного, — добавила она злобно, — сколь вы — распутный.

— Рад это слышать, леди Энн, — ответил я, отвесив несколько насмешливый поклон. — Вот только разрешите мне передать ваши слова его величеству, или же сами скажите ему то, что только что сказали мне, и поверьте: Лал Февершем навсегда станет вашим благодарным другом.

Она уставилась на меня вопрошающе.

— Не понимаю... — призналась она.

— Ну, мадам... сколь ни была бы велика эта честь, я не желаю жениться на вас кроме как потому, что хочу исполнить волю его величества, по чьему приказу я и пытаюсь за вами ухаживать. Но теперь я могу сказать ему: леди

Хайд я не нужен, она любит другого — и на этом дело закончится. Хорошего вам дня, мадам. Я сейчас же иду к королю.

Отвесив леди нижайший поклон, я развернулся на каблуках, но не успел пройти и трех шагов, как она окликнула меня:

— Сэр Лайонел, вы не должны покидать меня вот так.

— Раз уж я все равно вас покидаю, мадам, какая разница, как я ухожу?

— Было бы неблагоразумно рассказывать его величеству о том, что произошло между нами.

— И что мне тогда — сказать ему, что леди Хайд встретила меня с распростертыми объятиями, я сейчас выражаюсь метафорично, и готова выйти за меня хоть завтра?

— Перестаньте, сэр! Это уж слишком! — воскликнула она, недовольно поджав губы. — Вы могли бы сказать королю, что ваши ухаживания пока что не увенчались успехом, но надежду вы сохраняете.

— Вы дарите мне надежду, мадам? О, это повергает меня в отчаяние!

Она тоже рассмеялась, но совсем не веселым смехом, и взгляд ее не был приятным, в чем, впрочем, не было ничего странного, ибо когда женщина не любит тебя и открыто говорит об этом, бессмысленно искать в ее глазах даже намек на какую-то любовь к тебе.

Так мы и расстались, леди Хайд продолжила прогулку, я поспешил донести ее ложь до короля. Она, эта ложь, доставила Карлу Второму немалое удовольствие, и не прошло и трех дней, как при дворе распространился слух, что Лал Февершем ухаживает за дочерью лорд-канцлера и что король относится к этому весьма благосклонно. Кто только не говорил мне об этом, одни — открыто, другие — намеками, и вскоре само имя «Хайд» надоело мне до смерти. Все шло в нужном его величеству русле, и ничуть не ухудшила благоприятное развитие ситуации даже моя холодная, формальная встреча с лорд-канцлером, состоявшаяся в Вустерском доме, где каждый из нас дал понять, что нам следует продолжать потакать желаниям нашего августейшего господина: мне — в ухаживании, лорд-канцлеру — в поощрении этого ухаживания. При нашем не слишком приветливом расставании он посоветовал мне отныне носить шпагу не слишком глубоко вложенной в ножны, так как в результате моего сватовства врагов у меня должно было заметно прибавиться.

Подобный же совет я получил на следующий день и от герцога Йоркского, который сопроводил его столь мрачным взглядом и столь кислой улыбкой, исказившей его «священническую» физиономию, что, не будь он братом короля, мне бы следовало прогуляться с ним в парк, откуда один из нас, вероятно, не вернулся бы. Неудивительно, что я начал задаваться вопросом: а не лучше ли было остаться рубакой и фанфароном, чем становиться придворным, и не следует ли мне улизнуть во Францию или какую-нибудь другую страну, где бедный солдат удачи, чья жизнь загублена и в сердце которого нет больше места для любви, мог бы зарабатывать себе на пропитание собственной шпагой без того, чтобы кто-то заставлял его жениться.

Подобный же совет я получил на следующий день
и от герцога Йоркского... Неудивительно,
что я начал задаваться вопросом: а не лучше ли было
остаться рубакой и фанфароном, чем становиться придворным...

Как-то вечером, возможно, спустя неделю после того дня, как я впервые предстал перед леди Хайд, — я сидел один в своей квартире в Уайтхолле, когда мне нанес визит Роджер Марстон. Он только что вернулся из Девоншира, и я был чрезвычайно рад его видеть, ибо всем сердцем полюбил этого жизнерадостного плутишку.

Было начало июля, стояла жаркая ночь, и я сидел у окна, дыша свежим воздухом, когда он вошел. Я не просил зажечь свечи, так что не заметил выражения на его лице, но его тон сказал мне, что что-то не так, ибо, обычно веселый, он был резким и раздражительным. Едва приветствовав меня, Роджер спросил:

— Я тут слышал, Лал, вы помолвлены с леди Энн Хайд?

— Пусть дьявол сожжет каждого Хайда, который когда-либо носил эту фамилию! — взорвался я. — Я не могу и шагу сделать, не могу даже вздохнуть без того, чтобы не услышать ее. Отовсюду несется это «Хайд, Хайд, Хайд» — черт бы побрал их всех до единого! Вот и вы, Роджер, еще не пробыли в моей комнате и пяти минут — даже девонширская пыль еще не опала с ваших сапог! — а уже тоже пытаете меня насчет этого мерзкого дельца. Если вы любите меня, Роджер, давайте поговорим о чем-нибудь другом.

— Ну вы даете! Никогда не видел вас в таком гневе! — рассмеялся он, и мне показалось, что в его голосе прозвучали нотки облегчения. — Так, значит, это неправда?

— Правда, разрази меня гром, истинная правда, — в том-то и загвоздка! Король приказал мне жениться на леди Хайд или же убираться из Уайтхолла. Еще неделю назад я и знать не знал, кто такая эта леди Хайд; сейчас же я ненавижу ее не менее сильно, чем когда-то ненавидел комиссию Кирка.

— А что она? — нетерпеливо спросил он.

— О, она... она любит другого. Человека столь же благородного и порядочного, сколь я распутный — это ее собственные слова.

— Она любит другого!.. О, Лал, расскажите мне всё.

— Клянусь кровью и ранами, сэр, — воскликнул я, — не вы ли — этот другой? Черт подери, никогда бы не догадался по тому, как она вас описывала!

Я рассказал ему все, что произошло, и, хотя он испытал облегчение, обнаружив, что не имеет в моем лице соперника, к которому благоволит леди, позиция короля все же его сильно обеспокоила.

— Пусть это сломает мне жизнь, Лал, и выведет меня из фавора, — порывисто воскликнул он, — но я буду бороться за леди Хайд, даже если против меня выступит дюжина королей!

— А как у вас, Роджер, все обстоит с этой леди?

— Она всегда была со мной любезна, и если Господу будет угодно, чтобы все то, что она сказала вам касательно «другого мужчины», относилось ко мне, я постараюсь найти способ расстроить планы его величества.

Я попросил принести свечи, и мы просидели далеко за полночь, разговаривая об Энн Хайд.

Не прошло и нескольких дней, как он дал всему двору повод говорить о ней, связав ее имя со своим, а заодно и с моим, став, по общему мнению, моим соперником. Впрочем, до поры до времени все шло не так уж и плохо. Что касается самой леди, то сложно сказать, к кому из нас она благоволила в большей степени. Она с обоими была в равной мере любезна, в результате чего отношение Роджера ко мне с каждым днем становилось все более и более прохладным, ибо он подозревал, что я его обманул.

Затронув в разговоре со мной эту тему, король сказал, что я могу почивать на лаврах. Я со смехом ответил ему, что я и так совершенно спокоен, поскольку мы с миссис Хайд прекрасно понимаем друг друга — и, по совести говоря, так оно, в общем-то, и было.

В тот вечер меня ждал сюрприз. Покинув королевские покои, я направлялся через Тайный сад к своему жилищу, когда с противоположного конца Каменной галереи, в которую я только что вошел, до меня вдруг донесся женский вопль. За ним последовал быстрый топот ног и шорох платья, и мгновение спустя в моих объятиях оказалась некая чрезвычайно взволнованная дама. Это была леди Хайд.

— Сэр Лайонел, — воскликнула она, узнав меня и прильнув ко мне в поисках защиты. — Мистер Марстон лишился рассудка.

Следовавший за ней Роджер стоял шагах в пяти от нас: его юное лицо было багровым от ярости.

— Если я и сошел с ума, мадам, то это ваша вина, — страстно воскликнул он. — Но я не позволю вам обращаться со мной, как с какой-нибудь игрушкой... или шутом! Давайте, цепляйтесь за своего защитника — за своего возлюбленного. — Он был настолько ослеплен гневом, что, казалось, лишился всяческой способности мыслить здраво и напрочь утратил чувство приличия. — Прильните к своему возлюбленному, мадам, и вместе посмейтесь над несчастным глупцом, давно уже ставшим для вас предметом насмешек. Правда, есть такая пословица: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Видит Бог, мадам, я с вами поквитаюсь, и вы дорого заплатите, мисс Хайд, за все мои унижения.

— Кто здесь смеет угрожать леди Хайд? — раздался позади нас громкий голос.

— А кто позволяет себе спрашивать Роджера Марстона, что тот смеет или не смеет? — гордо ответил юноша и дерзко посмотрел на трех подошедших мужчин, хотя, не сомневаюсь, сразу же узнал голос герцога Йоркского.

— Уж не обвиняет ли меня в высокомерии джентльмен, принадлежащий к моему собственному двору?

На какой-то миг на лице Роджера возникло странное выражение, заставившее меня испугаться за него. Затем, вовремя овладев собой, он поклонился.

— Возможно, ваше королевское высочество видит, в каком я сейчас состоянии, — произнес он тихим, все еще дрожавшим от страсти голосом. — Если позволите, я объяснюсь позднее.

— Я жду от вас объяснения завтра, сэр, — последовал холодный ответ. — Мисс Хайд, позвольте мне сопроводить вас.

Герцог удалился вместе с леди. Джентльмены, составлявшие ему компанию, последовали за ними на почтительном расстоянии, а я так и остался стоять там, слегка недоумевая по поводу того, что честь сопровождать леди Хайд не выпала тому, кто вроде как был с ней помолвлен. Я уже было двинулся следом, но не успел пройти и двух шагов, как Роджер схватил меня за локоть.

— Можно вас на пару слов, сэр? — воскликнул он так громко, что джентльмены из свиты герцога услышали его и остановились, чтобы послушать.

— Не сейчас, Роджер, — спокойно ответил я. — Мы не одни. Увидимся через час в «Подкове» на Друри-лейн.

— Как вам будет угодно, — согласился он, и мы пошли каждый своей дорогой.

Ровно в девять я вошел в таверну «Подкова» и занял столик неподалеку от двери. Заказав бокал мадеры, я поинтересовался у хозяина, прибыл ли мистер Марстон. В ответ он сообщил мне, что Роджер явился в трактир полчаса назад, но вскоре после его прибытия какой-то мальчуган принес ему письмо, по прочтении которого он снова вышел. Я немного посидел в общем зале, затем, видя, что Роджер не появляется, отодвинул стул и пешком отправился обратно в Уайтхолл. Стоял чудесный вечер, я никуда не спешил и потому вернулся к себе уже после десяти.

На следующее утро Киллигрю попотчевал двор чудовищной историей касательно Энн Хайд и Роджера Марстона. По его словам, галантный Роджер, обезумев от любви, пытался вырвать в Тайном саду у леди Хайд поцелуй, после чего она бросилась в объятия Лала Февершема, и Февершем не только защитил свою невесту, но и, жаждая мести, провел ночь в охоте по всему Лондону на человека, ее оскорбившего. То была гнусная выдумка от начала до конца, но в устах Киллигрю, человека остроумного и беспринципного, она звучала весьма занятно, и я не стал призывать его к ответу, совсем не подумав о последствиях, которые эта небылица могла для меня иметь.

Герцог Йоркский спросил, не знаю ли я, где сейчас может быть Роджер, на что я, естественно, ответил, что нет, я не видел его с тех пор, как мы расстались накануне вечером в Каменной галерее.

Позднее в тот же день поползли странные слухи. Поговаривали, что Роджер Марстон исчез. И когда затем я узнал, что его шляпа, плащ и сломанная шпага были найдены на Тауэрской пристани, меня охватило смутное беспокойство.

Однако лишь на следующий день это мое беспокойство обрело определенную форму. Утром я был с его величеством в банкетном зале, когда вошел лорд-канцлер и приблизился к королю. Несколько мгновений они стояли в стороне, разговаривая, и я заметил, что Хайд передал Карлу некую вещицу, которую тот рассмотрел с предельным вниманием. Вскоре король вернулся ко мне и какое-то время постоял рядом, непринужденно болтая со мной, затем

жестом спровадил меня. Я был уже у дверей, когда он окликнул меня и указал на валявшийся на полу носовой платок.

— Ты что-то уронил, Лал.

Я повернулся и, вернувшись обратно, поднял платок, в уголке которого был вышит Февершемский орел. Поблагодарив короля, я сунул платок в карман, немного удивившись тому, что он как-то странно испачкан, и снова направился к выходу. Но его величество еще раз окликнул меня — на сей раз холодным, властным тоном.

— Сэр Лайонел...

— Сир?

— Вы уверены, что этот платок принадлежит вам?

Я вытащил платок из кармана и внимательно осмотрел — несомненно, он был мой. Так я и сказал королю, мысленно спрашивая себя: почему столько шума из-за обычного батистового платка?

— А знаете ли вы, где его выронили? — сурово спросил Карл.

— Ну как же, сир, — прямо здесь, минуту назад...

— Это не так, сэр Лайонел. Это я его здесь бросил. Некоторое время назад его принес мне мой лорд-канцлер. Он был найден там же, где и обломки шпаги Роджера Марстона — на пристани у Темзы. Лучше скажите мне, сэр, как он оказался там?

Я перевел вопрошающий взгляд с короля на тех джентльменов, что его окружали, и хмурое выражение, отражавшееся на каждом лице, заставило меня похолодеть от дурного предчувствия. Я догадался, о чем они думали.

— О, сир! — воскликнул я. — Вы же не обвиняете меня в том...

— В чем, сэр Лайонел? Я ни в чем вас не обвинял. Ваша собственная совесть и этот платок — вот что вас обвиняет. Сэр Джордж, — добавил король, повернувшись к Этериджу, — будьте добры, позовите охрану.

— Но, ваше величество...

Надменным взмахом руки Карл призвал меня к молчанию.

— Это дело будет рассмотрено в самом скором времени. Пока же, сэр Лайонел, вы останетесь пленником в ваших собственных покоях.

У тех, кто дружен с королем, хватает врагов, и падение Лала Февершема, не сомневаюсь, вызвало больше радости, чем горя.

Я ясно видел, — что независимо от того, жив Роджер или мертв, — стал жертвой какого-то грязного заговора, глубину и смысл которого постичь не мог. Ходили слухи, что после гнусной сцены, случившейся между мистером Марстоном и леди Хайд в Тайном саду, я назначил Роджеру рандеву. Было известно, что я искал его, и не было никаких доказательств того, что я его не нашел.

Я оставался один в своей комнате, днем и ночью один караульный стоял у моих дверей, а другой — под моими окнами на Кинг-стрит. Общение любого рода было запрещено, и я никого не видел до вечера третьего дня, когда меня посетил Дик Тэлбот. Он явился от короля, чтобы сказать мне: его величество сам займется этим делом на следующее утро. Дик Тэлбот был моим другом,

одним из тех, кто был со мной в изгнании. Я поклялся ему своей честью, что невиновен и ничего не знаю о судьбе Роджера Марстона, и он мне поверил. Он обрадовал меня новостью о том, что, в общем и целом, его величество относится ко мне благосклонно, и, сказав на прощание несколько ободряющих слов, уже намеревался покинуть меня, как вдруг мы оба вздрогнули: прямо за моей дверью вспыхнула шумная перебранка.

Кто-то настойчиво просил караульного пропустить его, и как только я услышал этот громкий, сердитый голос, мои нервы затрепетали от возбуждения.

— Дик, — вскричал я, — это же голос Роджера Марстона!

Метнувшись к двери, Тэлбот приказал караульному посторониться, и спустя мгновение на пороге возник человек, в убийстве которого меня обвиняли: без шляпы, с растрепанными волосами и бледным, изможденным лицом; над правым глазом — синяк, одежда — в грязи и местами разодрана, на плече камлотового пальто — большая дыра. И все же это был он, Роджер Марстон, и я бросился ему навстречу с криком радости и облегчения.

— Не приближайтесь ко мне, пёс... чертов лицемер! — пророкотал он, пронзив меня холодным, злым взглядом.

— Вы в своем уме, Роджер? — воскликнул я и действительно на какой-то миг приписал его расхристанный вид именно этой причине.

— В своем ли я уме? — переспросил он с презрительным смехом. — Да, дружище Лайонел, я вполне вменяем.

— Тогда почему вы приветствуете меня подобным образом, меня, обвиненного в вашем убийстве и находящегося за это под арестом?

— И вполне заслуженно, ибо, разрази меня гром, не ваша вина, что меня не убили, хотя, быть может, для вас было бы лучше, если бы ваши убийцы выполнили свою работу как следует.

— Мои убийцы? Клянусь честью, Роджер, я не знаю, на что вы намекаете.

— Черт подери, неужели вы будете отрицать, что отправили мне письмо в «Подкову» с просьбой прийти к вам в «Красный лев» на Темз-стрит? Неужели бы будете отрицать, что это ваши головорезы напали на меня на Тауэр-уорф, вырубили и перетащили в один из домов, стоящих на Ситинглейн, откуда я только что сбежал, рискуя сломать себе шею?

— Разумеется, я это отрицаю — все это, от начала до конца. Где письмо?

Роджер бросил на меня взгляд, полный невыразимого презрения, а затем протянул Тэлботу листок бумаги.

— Прочтите это, сэр, — сказал он. — А потом пусть на это взглянет автор сего послания.

— Вы не должны забывать, мистер Марстон, — спокойно сказал Тэлбот, пробежав письмо глазами и передав листок мне, — что такой документ легко можно подделать. Я много лет знаю Лала Февершема, мистер Марстон, как истинного джентльмена. Джентльмен, сэр, не делает ничего подобного, особенно когда владеет шпагой так же искусно, как ею владеет сэр Лайонел. Сами подумайте, сэр: пожелай избавиться от вас, он провернул бы все это иначе.

— Спасибо, Тэлбот, — сказал я, а затем, повернувшись к юноше, который побелел от гнева, столкнувшись с этим новым, весьма неожиданным для него противодействием, заметил: — Роджер, клянусь вам, это письмо — подделка. Прошу вас поверить мне и рассуждениям мистера Тэлбота.

— Плевать я хотел на вашу ложь или рассуждения мистера Тэлбота! — последовал страстный ответ.

— Роджер!

— Веселенький вы фарс разыграли, ничего не скажешь!.. — Он горько рассмеялся. — Как насчет ваших утверждений, что вы ухаживали за леди Хайд лишь потому, что так вам приказал король и что ни вам до нее, ни ей до вас не было никакого дела? Разве то, как она вела себя в Каменной галерее, не доказывает, что вы солгали?

— Мистер Марстон, — холодно произнес Тэлбот, — нам ясно, для чего вы здесь, но умоляю вас, позвольте этому делу пройти достойно. Сэр Лайонел уже не под арестом, по крайней мере, будет освобожден из-под ареста, когда я скажу королю, что видел вас. А сейчас я попросил бы вас удалиться и прислать сюда какого-нибудь вашего друга, которого здесь будет ждать один из друзей сэра Лайонела.

— Нет, нет, Тэлбот, — вскричал я. — Парень просто немного не в себе. Не сомневаюсь, мы сможем его образумить. Не забывайте, Роджер, сколько мы с вами уже дружим.

— Вы мне такой же друг, каким был Искариот, — проворчал он, и после этого нового оскорбления я потерял всяческое терпение.

— Дик, — сказал я, пожав плечами, — раз уж таково его желание, вы не окажете мне честь, обговорив условия дуэли?

Я удалился в соседнюю комнату, и час спустя Тэлбот сообщил мне, что наша встреча состоится в шесть часов утра следующего дня в Сент-Джеймсском парке, у пруда Розамунды. Караул, стоявший у моей двери, был снят, и мне вернули шпагу.

Хотя до шести в то чудесное июльское утро оставалось еще несколько минут, добравшись до пруда Розамунды, мы с Тэлботом обнаружили Роджера Марстона и его друга, лорда Фалмута, уже прогуливающимися под деревьями. Без лишних слов мы приготовились к поединку. Наши клинки были измерены, и мы повернулись лицом друг к другу. Затем, по моей просьбе, Тэлбот в последний раз обратился к Роджеру, но парень никак не желал внимать доводам разума, и мы скрестили шпаги: я — неохотно и печально, он — с рвением, которое доказывало, сколь глубоким было его негодование.

Несмотря на нанесенное мне оскорбление, я намеревался обойтись без кровопролития и принялся за дело, держа это в уме. Недостаток мастерства Роджер восполнял яростью, и на первых порах мне даже пришлось защищаться, но в конце концов мне все же представилась благоприятная возможность завершить бой на моих условиях, и, прежде чем он понял, что произошло, я подцепил его шпагу своей и отшвырнул в сторону.

— Быть может, Роджер, этого вам будет достаточно в качестве компенсации за вашу воображаемую обиду, и вы хоть теперь меня наконец-то выслушаете?

— Я ничего не желаю от вас выслушивать. Если хотите, можете убить меня безоружного, если же нет — пусть мне вернут шпагу.

Я кивнул, и через несколько мгновений мы уже снова сражались. Видя, что обезоружив Марстона, я почти ничего не добился, теперь я был намерен пронзить своим клинком его «рабочую» руку и таким образом за счет легкого ранения вывести его из строя. А затем вдруг, в то время как мои глаза были прикованы к противнику, послышался звонкий лязг, и наши шпаги были разведены и подняты вверх лордом Фалмутом.

— Господа, — обеспокоенно воскликнул он, — король!

И действительно, обернувшись, я увидел Карла, который приближался к нам широкими шагами своих длинных ног. Он был без свиты, и выражение его смуглого лица было жутко уродливым.

— И как это понимать, джентльмены? — сердито воскликнул он вместо приветствия. — Может, вы объясните, почему я нахожу вас с обнаженными шпагами прямо на территории моего парка? Вам что, сэр Лайонел, не терпится подтвердить правдивость не так давно выдвинутого против вас обвинения в том, что именно вы явились причиной смерти мистера Марстона?

— Что касается меня, сир, — дерзко ответил я, — то я этой ссоры совсем не искал. Вчера вечером мистер Марстон явился ко мне и обвинил в том, что именно я, дескать, организовал похищение, жертвой которого ему довелось стать. На мое отрицание обвинения он ответил, что я лгу.

Карл повернулся к Марстону.

— Если я дам вам свое королевское слово, что убежден: сэр Лайонел не причастен к этому делу и в действительности, как я впоследствии обнаружил, это был заговор скорее против него, чем против вас, — вас это удовлетворит, мистер Марстон?

— У нас с сэром Лайонелом имелась и другая, куда более весомая, причина для дуэли, сир.

— И что же это за причина?

— Леди Хайд, сир, — сказал я.

— Леди Хайд! — воскликнул король, поворачиваясь к Марстону. — Кто для тебя леди Хайд?

— Я люблю ее, сир.

— Ну да, я слышал об этом, — как слышал и о том, что она вас не любит, в связи с чем вопрос можно считать закрытым. Черт подери! Мне все это так уже надоело, что, если у меня есть хоть какая-то власть в Англии, сэр Лайонел женится на леди Хайд прямо сегодня. Наденьте ваши дублеты, господа. Под страхом моего непреходящего неудовольствия заклинаю вас обоих не допускать дальнейшего развития этого вашего конфликта.

Мы исполнили его просьбу и, шествуя через парк в направлении Уайтхолла, образовали печальную процессию. Роджер закусил губу и принял

Когда мы поднимались по лестнице, Роджер схватил меня за руку. — Простите меня, Лал, — судорожно пробормотал он. — Нас обоих одурачили.

вид только что выпоротого школьника, Тэлбот и Фалмут следовали за ним, удрученные потерей утренней забавы, в то время как я шел один, самый печальный из всей этой меланхоличной компании. В душе я глубоко проклинал Роджера и винил его слезливо-сентиментальную влюбленность в том, что она так ускорила события, и я теперь был вынужден жениться на женщине, которая — при одной только мысли обо всей этой ситуации — вызывала у меня отвращение. «Интересно, — рассеянно подумал я, — как

воспримет эту новость леди Хайд?» Боясь, что объединенные настойчивые увещевания короля и ее отца, заставят леди ответить согласием, вопреки собственной воле я исполнился жалости к этой девушке, которой предстояло стать жертвой королевской прихоти.

Но то утро было богато на сюрпризы. Мы почти уже вышли из парка, когда вдруг нашим взорам предстало поразительное зрелище: навстречу нам, рука об руку и не сводя друг с друга глаз, неспешно шли леди Хайд и герцог Йоркский. На мгновение мы остановились, затем, смачно выругавшись, Карл ускорил шаг, и мы последовали за ним по пятам. Заметив короля, герцог и его спутница замерли, и леди Хайд приглушенно вскрикнула.

В тот момент мне припомнились сотни слухов касательно Энн Хайд и Джеймса Йоркского, которые я слышал, но оставлял без внимания, считая все это обычным придворным скандалом, и я сразу же понял, почему Карл хотел женить меня на дочери канцлера, — он стремился сделать ее недосягаемой для своего брата.

Из уважения мы остановились, не желая вмешиваться в неизбежную, как мы видели, сцену, и поэтому я пропустил приветствие, состоявшееся между венценосными братьями, — как я понимаю, в нем было мало братского. Какое-то время они сдерживали тон своих голосов, но в конце концов король разразился громким, насмешливым возгласом и, повернувшись, велел нам приблизиться. Когда мы подошли ближе, я уловил такие слова Карла:

— Клянусь Богом, Джеймс, это произойдет сегодня.

— Сир, — ответил герцог, — для этого уже несколько поздновато. Никакой госпожи Хайд, которую можно было бы выдать замуж, уже нет, — затем, взяв леди за руку и устремив на нее взгляд, полный красноречивой любви, он добавил: — Позвольте мне представить вашему величеству и вам, джентльмены, ее королевское высочество герцогиню Йоркскую.

Едва веря своим ушам, мы обменялись изумленными взглядами и услышали, как король воскликнул:

— Джеймс, это ложь!

— Нет, сир, истинная правда. Мы женаты уже три месяца.

Последовала зловещая пауза, в течение которой леди Хайд робко стояла рядом с мужем, сложив руки и глядя себе под ноги; грудь ее взволнованно вздымалась, а щечки то краснели, то, наоборот, бледнели.

За эту короткую паузу никто из нас не произнес ни слова, затем, осознав, что теперь это стало семейным делом, Карл спровадил нас взмахом руки, и мы, немало обрадовавшись возможности избежать не самой приятной сцены, вернулись к тому месту, где дрались, и уже оттуда отправились ко мне домой.

Когда мы поднимались по лестнице, Роджер схватил меня за руку.

— Простите меня, Лал, — судорожно пробормотал он. — Нас обоих одурачили.

Нас и в самом деле обвели вокруг пальца, ибо теперь нам обоим стало очевидно: похищение Роджера было делом рук герцога, равно как и возбуждение подозрений против меня при попустительстве, как я убедился в этом позднее, отца леди Хайд, знавшего об этом браке. Таким образом герцог намеревался устранить двух ухажеров, чья свобода представляла угрозу для тайны, которую в конце концов ему все же пришлось раскрыть — благодаря тому, что король в тот день встал раньше обычного.

Да, беднягу Роджера и меня действительно обдурили, но если мне утреннее признание герцога принесло невыразимое облегчение, то для него оно стало тяжелым ударом.

Сытый по горло двором, при котором, по его словам, настоящих джентльменов уже не осталось, он спустя несколько дней покинул Уайтхолл и вернулся в Девоншир.

КАРЛУША И КАРОЛИНА

В первую августовскую субботу года благословенной Реставрации его величества двор и город были взбудоражены известием о том, что утром в Гайд-парке избили сэра Чарльза Сэдли.

Король отправился по реке в Тауэр, где его ждал на обед сэр Джон Робинсон, комендант крепости, и, поскольку в Уайтхолле меня ничто не удерживало, я пустился на поиски свежих новостей об этом невероятном происшествии, дабы узнать, от чьих рук и за какие грехи понес наказание доблестный Сэдли. С собой я взял Дика Тэлбота, и в рейнском винном доме мы наткнулись на компанию из четырех или, возможно, пяти джентльменов, энергично чесавших языками о том самом деле, подробности которого мы хотели услышать, но знавших о нем не больше, чем мы сами. Вскоре, впрочем, к нам присоединился этот шут Киллигрю, информированный куда лучше, как, впрочем, и обо всем остальном, ибо он имел гнусную привычку совать свой тощий старый нос в дела соседей.

— Не сомневаюсь, джентльмены, — сказал он, — вы уже слышали, что утром в Гайд-парке поколотили этого мерзкого распутника Сэдли.

— Еще бы не слышали! — воскликнул Фалмут. — Да об этом болтает весь город!

— Хм!.. — ухмыльнулся Киллигрю, подкрутив свои седые усы. — Город много болтает, и, как всякий, кто много болтает, мало что зная, сильно привирает. Если позволите, джентльмены, я развею окутывающий вас туман лжи. Сэр Чарльз не был побит этим утром в Гайд-парке, если уж на то пошло, такого с ним вообще никогда не случалось ни там, ни в каком-либо другом месте, насколько мне это известно.

— Ступайте своей дорогой, Том, — сказал Дэнем. — Только ваших шуточек нам еще не хватало!

— Шуточек? Черт подери, это никакая не шутка. Хотите, расскажу, как все было на самом деле? Что ж, слушайте. В театре «Кокпит» есть один красивый парень-актер, недавно прославившийся своей игрой в «Верном подданном» [1], — вам всем он прекрасно известен. Я говорю о Неде Кина-

[1] *«Верный подданный»* — спектакль якобинской эпохи по трагикомической пьесе Джона Флетчера, впервые опубликованной в первом фолио Бомона и Флетчера в 1647 году.

стоне. Вы, возможно, заметили, что в последнее время, великолепно одетый, он производит впечатление всюду, где бывает, ибо ходит в костюмах, которые полностью скопированы с тех, что носит сэр Чарльз, чей вкус в подобных вопросах не имеет себе равных. Сэдли это заметил и, будучи при всем своем остроумии самым самодовольным щёголем во всей Англии, вообразил, что Кинастон пытается сойти за него. Разгневанный этой, как он сам выразился, «неоправданной самонадеянностью», он решил преподать актеру урок. И так уж вышло, что, когда этим утром Кинастон прогуливался по парку, одетый в великолепный парчовый дублет, точную копию того, в котором сэра Чарльза видели всего два дня назад, к нему подошел один из дюжих наймитов мистера Сэдли и обратился как к сэру Чарльзу Сэдли. Бедняга Кинастон, как вы знаете, имеет прискорбную склонность к шуткам, так что, как только он сообразил, что этот тип принял его за Сэдли из-за его дублета, он обернулся, мгновенно «перевоплотился» в сэра Чарльза и спросил у бугая, что ему надо. И тогда, без дальнейших церемоний, этот громила схватил его за воротник славного дублета и принялся безжалостно избивать. Тщетно Кинастон вопил, что это ошибка, что он не сэр Чарльз. Его протесты лишь еще больше распалили агрессора, и чем больше он протестовал, тем сильнее его били, ибо тот малый решил, что Кинастон врет, чтобы избежать наказания. Когда Нед наконец сумел вытащить шпагу и вознамерился воздать этому детине должное, зеваки, которых там уже собралось примерно с полдюжины, поспешили встать между ними и растащили их по сторонам. Вот что, джентльмены, произошло там в действительности.

Киллигрю сделал паузу, и в компании воцарилось молчание, которое в конце концов нарушил лорд Фалмут, заметивший, что Кинастон может считать себя уже в какой-то степени отомщенным, ибо пострадала-то не его репутация, а реноме сэра Чарльза Сэдли.

— Пфф! — фыркнул Киллигрю. — Да к завтрашнему дню то, что я вам рассказал, будет знать уже весь Лондон! А вы что об этом скажете, Лал?

— Что тут сказать? Гнусное дельце, как ни взгляни, но такой хлыщ, как Чарльз Сэдли, ничего другого и не заслуживает. Так говорит Лал Февершем, можете ему передать, — добавил я, встал и откланялся, полный негодования относительно того, что только что узнал.

Но не успел я пройти по Стрэнду и двадцати шагов, как по какой-то странной случайности внезапно столкнулся лицом к лицу с Кинастоном.

Этот актер был необычайно красивым парнем лет восемнадцати, не больше. Он был худощав, грациозен, строен и обладал таким точеным и благородным лицом, какого я никогда не видел ни у мужчины, ни у женщины. На нем был черный камлотовый камзол, отделанный серебристой тесьмой; строгий и простой, этот наряд выглядел весьма элегантным и выгодно подчеркивал утонченную внешность юноши. Каким бы он ни был актером, я мог бы поклясться, что более изысканного джентльмена вы не нашли бы во всем Уайтхолле.

К нему подошел один из дюжих наймитов мистера Сэдли и обратился как к сэру Чарльзу Сэдли.

— И куда вы, Нед? — приветствовал я его.

— Добрый день, сэр Лайонел, — ответил он с изящным поклоном. — Слышали об утреннем происшествии?

— Только что — от мистера Киллигрю, и, разрази меня гром, это была трусливая выходка.

Он тихо рассмеялся и указал тяжелым хлыстом для верховой езды, который держал в руке, на дом через дорогу с вывеской «Дельфин».

— Сэр Чарльз Сэдли сейчас там, — сказал он, — и если вы задержитесь здесь ненадолго, то увидите, как свершится расплата и некоего джентльмена унесут домой. — И он потряс хлыстом, поясняя смысл сказанного.

— Нед, — воскликнул я в ужасе, — это безумие!

В ответ на мое восклицание он принялся перечислять свои обиды тем удивительно мелодичным голосом, который тронул меня в той же мере, в какой

ранее трогал тысячи людей на спектаклях. И все же, когда он закончил, я тоже пустил в ход все свое красноречие, ибо мои симпатии были на его стороне, и я не хотел, чтобы он сделал нечто такое, за что его могло постичь гораздо более суровое наказание, нежели утренняя порка. Дабы показать ему всю глупость задуманного им шага, я высказал все, что думал по этому поводу, а затем взял его под руку, увлек за собой и отвел в свою квартиру в Уайтхолле, где и продержал до следующего утра. В итоге парень отказался от своего безумного замысла выпороть сэра Чарльза, но, уходя от меня, поклялся, что рассчитается с ним другой монетой и не успокоится, пока не выставит Чарльза Сэдли на посмешище перед всем городом.

Проходили дни, дело было забыто, ибо молодой актер не предпринимал в отношении Сэдли никаких действий. Между тем в «Кокпите» он добился нового триумфа, восхитительно сыграв роль леди Макбет: тут следует заметить, что женщины начали исполнять женские роли на лондонской сцене лишь спустя несколько месяцев после описываемых здесь событий. Зрители были в полном восторге от игры Кинастона, и я уже начал полагать — и надеяться, — что, обдумав проблему должным образом на свежую голову и холодный рассудок, он пришел к здравой мысли, что все это следует предать забвению. Дальнейшие события, однако, показали, что я сильно на сей счет ошибался.

Примерно через две недели после случившегося в Гайд-парке происшествия я получил письмо от старого друга, лорда Честертона, в котором, среди прочего, сообщалось, что он недавно женился на самой красивой женщине во всей Англии — Кэролайн Брентвуд. Я знал Кэролайн в прежние времена, еще до битвы при Нейзби, и припомнил девчушку лет пяти, для которой я — самому мне тогда было семнадцать — плел гирлянды из маргариток.

Войны вынудили меня покинуть мой кентский дом, и с тех пор я ее не видел. Теперь, по прошествии двадцати лет, Кэролайн, конечно же, была уже не ребенком, а двадцатипятилетней женщиной, хотя и все равно слишком молодой для того, чтобы выйти за Честертона — вдовца, которому шел уже седьмой десяток. Их разделяло как минимум поколение!..

Но на руках у меня было письмо, и остальное меня не касалось. Честертон добавил, что надеется вскоре представить меня, сына своего старого друга, своей божественной Кэролайн, поскольку не позднее конца августа планирует прибыть в Лондон. И действительно, уже через несколько дней после этого я получил известие об их приезде и, с целью засвидетельствовать свое почтение поспешил явиться в роскошный дом, который они сняли на Пэлл-Мэлл.

Я нашел леди Честертон — как мне показалось, относительно ее красоты муж в этом письме ничуть не приврал — в состоянии крайнего отчаяния. Приветствовав меня, она тотчас же посетовала на то, что едва они прибыли, как их настиг курьер, принесший печальную новость. Милорда просили

немедленно вернуться в Аллингтон. Его брат упал с лошади и получил столь серьезные травмы, что, по словам доктора, жить ему осталось не больше недели.

Наконец после того как она рассказала мне об этом, и я выразил ей соболезнования, у нас выдалась свободная минутка для того, чтобы посмотреть друг на друга и глупо поразиться переменам, произошедшим за эти двадцать лет в нашей внешности.

— Я уверена, что мы где-то встречались, сэр Лайонел, — сказала она.

— Мадам, ваша память делает мне слишком много чести.

— Не слишком много, но, полагаю, больше, чем ваша — мне.

— Ну что тут поделаешь, дорогая леди Честертон! Между симпатичным пятилетним ребенком и взрослой женщиной ослепительной красоты пролегает пропасть, которую должно преодолевать воображение, а не память. И однако, клянусь, что-то от малышки Кэролайн вы всё же сохранили, ибо, глядя на вас, я нахожу в вашем лице нечто такое, что обуздывает мои воспоминания и что, не знай я вас, несомненно, напрягло бы мой разум не меньше, чем могло бы напрячь мое сердце.

Она рассмеялась громким, мелодичным смехом и коснулась моего рукава густо унизанной перстнями рукой — рукой, быть может, и не маленькой, но восхитительно белой и столь изящной, что я подумал: «Более красивой женской руки я никогда в жизни не видел».

— Ваше пребывание во Франции пошло вам на пользу, сэр Лайонел.

Прежде чем я успел ответить, нас прервало появление сэра Джона и леди Денэм, заботе которых Честертон, как оказалось, — через письмо, написанное тем же утром, незадолго до того, как он отправился обратно в Аллингтон, — поручил свою молодую жену.

Вскоре после этого я откланялся и почти всю дорогу думал о Кэролайн Честертон. Она и в самом деле была прелестная женщина: высокая, с прямой, стройной и гибкой фигурой, которой позавидовала бы любая королева. Возможно, конечно, ее очаровательное личико выражало куда бóльшую решительность и волю, чем желает найти в женском образе мужчина, но оно, это лицо, идеально подходило к ее манере держаться — величественной, гордой и несколько, как мне показалось, дерзкой для девушки, чье детство и юность прошли в деревне. Внешне она тоже теперь выглядела отнюдь не провинциалкой: ее платья были пошиты по самым свежим французским выкройкам, роскошные черные волосы уложены по последней моде, подбородок и левую щеку украшали изящные черные кружочки — идеальные средства сокрытия изъянов, только-только взятые англичанками на вооружение. В этой модно наряженной красавице не осталось почти ничего от девицы из деревенской глуши, и я подумал, что в характере она, должно быть, проявляет так же мало простоты, как и в одежде.

Я не ошибся, хотя и едва ли был прав, потому что вскоре случилось то, чего я не смел даже предполагать. Не прошло и недели, как весь Лондон только и говорил, что о леди Честертон.

Она и в самом деле была прелестная женщина: высокая, с прямой, стройной и гибкой фигурой, которой позавидовала бы любая королева.

Похоже, она и сама была вовсе не прочь дать горожанам повод для разговоров — повод не менее веский, хотя и выраженный иначе, нежели дала лондонцам Барбара Палмер[1]. Рочестер сочинял в ее честь стихи, Бекингем нанимал менестрелей, которые пели по вечерам под ее окнами. Король, тоже посетивший один из званых ужинов леди Честертон, потом божился, что совершенно ею очарован, в чем, впрочем, не было ничего удивительного, ибо Карл Стюарт легко увлекался любой женщиной, которой хватало дерзости кокетничать с ним. Между тем Честертон так и не вернулся, и, уже начав беспокоиться по поводу того, что происходило у меня на глазах, я проклял его брата за то, что он выбрал для ухода из жизни столь неподходящее время.

[1] *Барбара Палмер*, урожденная Вильерс, (1640–1709 г.) — самая влиятельная из фавориток английского короля Карла II, родившая пятерых признанных королем детей, получивших «говорящую» фамилию «Фицрой» (буквально: «дети короля»).

Каждый день перед ее домом на Пэлл-Мэлл выстраивалась вереница портшезов и карет, а в ее прихожей вы могли бы поклясться, что находитесь в Уайтхолле, — столько там толпилось придворных, расталкивавших друг друга локтями. Кто только туда не являлся, в течение сезона всех там принимали одинаково радушно, и пока так продолжалось, опасность, которую я ощущал, была скорее кажущейся, нежели реальной. Но в конце концов то, чего я так боялся, все же случилось. Из этой толпы придворных леди Честертон выбрала одного, который и стал ее кавалером. Более неблагоразумного выбора, на мой взгляд, она не смогла бы сделать при всем желании: он, этот выбор, пал на распутного красавца Сэдли. И не то чтобы это была заслуга сэр Чарльза, скорее, это леди Кэролайн бросала на него столь вожделенные взгляды, что в конечном счете он, пусть и весьма охотно, пал жертвой этих кокетливых заигрываний.

Клянусь кровью и ранами, подобного развития событий едва ли кто-то мог ожидать! Имя жены милорда Честертона, неразрывно связанное с именем Чарльза Сэдли, было на устах всех лондонских злопыхателей. Я попытался было мягкими уговорами убедить ее изменить свое поведение, но она лишь рассмеялась и в шутку заметила, что, наверное, я просто ревную ее к бедняге Чарльзу. Это положило конец моим стремлениям обуздать ее сумасбродство, в то время как она, напротив, начала творить столь отчаянные безрассудства, что у меня сердце обливалось кровью при одной лишь мысли о несчастном старом дворянине, взявшем ее в жены.

Как-то вечером, когда еще было тепло, хотя и стояли первые дни сентября, после ужина ее гости высыпали в сад. Я последовал за ними, но не ушел дальше крыльца, где и остался стоять, наблюдая за веселой сценой — потому что сад был восхитительным образом освещен — и гадая, как скоро вернется Честертон и положит всем этим безумным забавам конец. Прямо над моей головой располагался балкон, с которого до меня донесся приглушенный шум голосов. Сначала то ли этот гул был неразборчивым, то ли мои мысли были заняты другими вещами, но затем я отчетливо уловил слово «Кэролайн», и голос, его произнесший, был голосом Сэдли.

— Отпустите мою руку, сэр Чарльз, — последовал ответ. — Вы забываете, что у меня есть муж.

— Уж лучше бы его прибрал дьявол, милая Кэролайн. Зачем вы напоминаете мне об этом измученном подагрой слабоумном маразматике, к которому вас приковали. Какое нам с вами, милая Кэролайн, до него дело? Нам, которые...

— Сэр Чарльз, — сердито перебила его леди, — вы говорите о человеке, в доме которого сейчас находитесь, — о лорде Честертоне, моем муже.

— Да будь он проклят, мадам, этот ваш муж!

В пылу возбуждения они оба совершенно забыли о благоразумии и уже даже не пытались сдерживать свои голоса.

— Отпустите мою руку!

— Какое нам с вами, милая Кэролайн,
до него дело? Нам, которые...
— Сэр Чарльз, — сердито перебила его леди, —
вы говорите о человеке, в доме которого сейчас находитесь...

— Кэролайн, ваш смиренный раб повинуется вашему жестокому приказанию, но сначала отдаст дань уважения несравненной руке, освобождения которой вы требуете.

Послышался мягкий «чмок» поцелуя, за ним еще один, и еще один, а затем звук иного рода — звонкий, смачный хлопок пощечины.

— Возможно, хоть это научит вас хорошим манерам, сэр Чарльз.

— Проклятье!

Он зарычал, и я, решив, что, возможно, могут понадобиться мои услуги, прошел обратно в дом. На лестнице я встретил миледи Честертон, энергично обмахивавшую себя веером. Она приветствовала меня так беззаботно, как будто ничего и не случилось, и спросила, почему я хандрю, в то время как остальные веселятся в саду.

— Мадам, — сказал я вполголоса, — я случайно услышал ваш разговор с Сэдли. Вашего супруга здесь сейчас нет, но если позволите, я накажу этого нахала вместо него, и никто не узнает, что стало тому причиной.

Она взглянула на меня с любопытством и, сделавшись вдруг очень серьезной, нахмурилась, опустила глаза и принялась перебирать пальцами веер.

— Поговаривают, сэр Лайонел, — пробормотала она наконец, — что в искусстве владения шпагой вам нет равных во всей Англии.

— Как бы оно там ни было, мадам, все это к вашим услугам. Только скажите, что таково ваше желание, и я прямо сегодня, еще до полуночи, найду повод для ссоры с этим самодовольным фатом Сэдли, — да хоть бы даже из-за покроя его костюма!

Она на миг задумалась.

— Если вы полагаете... — начала было она, но тут же прервалась и рассмеялась. — Нет, нет, сэр Лайонел, я на это пойти не могу. Забудьте всё то, что вы слышали. Сэдли, — добавила она, прикрыв лицо веером и кокетливо взглянув на меня поверх него, — уже понес наказание.

Тут на лестнице раздались чьи-то шаги, и она убежала. Спустя мгновение появился Сэдли; одна его щека была белая, другая — красная.

В тот вечер я отправился домой, думая не только о том, что отныне сэра Чарльза, похоже, больше не увидят в ее доме, но и о том, что о произошедшем между ними никому неизвестно. Однако уже к полудню следующего дня все в городе только и говорили о том, что леди Честертон надрала сэру Чарльзу Сэдли уши. Раздосадованный и озадаченный, я никак не мог понять, как эта новость смогла распространиться столь быстро. Уже вечером, в одной из таверн, я услышал, как кто-то читает пасквиль под названием «Карлуша и Каролина».

Днем я пошел к леди Честертон, но она не пожелала меня принять, и поэтому я свернул в парк, где случайно наткнулся на Кинастона. Тот сразу же заговорил о Сэдли и вечернем происшествии.

— Черт подери, сэр Лайонел, — воскликнул он, — мне даже жаль, что Сэдли разочаровался так быстро! Я-то уже думал, что как раз таки через это и смогу с ним поквитаться.

— Что касается меня, Нед, то я только рад, что все вышло именно так. Лорд Честертон был другом моего отца, и мне не хотелось бы, чтобы на его седую голову пало бесчестье.

— Этого бы и не понадобилось. Я и сам не желал, чтобы дошло до такого. Однако, сэр Лайонел, женщины — существа непостоянные, и я все еще не отчаиваюсь.

Насколько он был прав в этом, я понял, когда на следующий вечер ужинал у леди Честертон и застал там Чарльза Сэдли. Она принимала его столь любезно, что я снова мысленно спросил себя: когда же брат ее мужа сочтет наконец нужным отправиться в мир иной? Один за другим проходили дни, уже приближалась середина сентября, а Честертон все никак не возвращался. А затем как-то утром, словно гром среди ясного неба, пришло известие, что леди Честертон сбежала с сэром Чарльзом Сэдли. Эта новость, вызвавшая в Уайтхолле — от королевских покоев до караульного помещения — тему для бесконечных шуток, повергла меня в глубокую печаль. Мне было искренне жаль бедного дворянина, на которого вдруг обрушился позор в столь почтенном возрасте.

Всюду только и говорили, что об этой мерзкой интрижке, то тут, то там непременно кто-нибудь весело напевал слова новорожденной песенки «Карлуша и Каролина», ибо какой-то придурок уже переложил стихи на музыку, и если бы каким-то чудом мне посчастливилось повстречаться с этим псом Сэдли лицом к лицу, обиды как Честертона, так и Кинастона в один миг оказались бы отомщенными.

Впрочем, что касалось последнего, то Дик Тэлбот в тот же день сообщил мне, что актер исчез, и ходят слухи, будто он отправился в погоню за беглецами. В тот момент я не придал этому значения, но вечером случайно, прогуливаясь по Пэлл-Мэлл, заметил карету, стоявшую перед дверью лорда Честертона. Один уже вид измученных, взмыленных лошадей говорил о том, что они проделали долгое и быстрое путешествие. Со мной были Дик Тэлбот, вместе с которым я покинул Уайтхолл, а также Киллигрю и молодой Джермин, присоединившиеся к нам позднее, и как только мы увидели этот экипаж, то хором вскричали: наконец-то вернулся лорд Честертон. Можете сами представить, сколь сильно мы удивились, подойдя к дому, когда дверь вдруг открылась, и, пока лакей придерживал ее для кого-то, на крыльцо вышел Нед Кинастон.

Увидев нас, он отпрянул в явной нерешительности, а также, как мне показалось, в некотором замешательстве, — но я быстро подошел к нему.

— Какими судьбами, Нед? — вскричал я. — Я слышал, вы отправились в погоню за беглецами. Это ваша карета?

Он кивнул и попытался обойти меня.

— Так что, милейший, — воскликнул я, — вы их настигли?

— Да, сэр Лайонел, настиг. Более того: я уговорил леди Честертон вернуться. Она сейчас там, внутри. — И он указал большим пальцем куда-то себе за спину.

— Вам удалось вернуть ее, Нед? Да благословит вас Господь! — воскликнул я, крепко пожав ему руку.

— Ну да, да благословит — а заодно и защитит — вас Господь, ибо, черт побери, когда возвратится Сэдли, помощь Всевышнего вам точно понадобится, — прохрипел Киллигрю. — Где вы оставили этого щёголя, сэра Чарльза?

— В Ньюарке, — ответил Нед. — Но я не стану заносить себе это в заслугу; я отнюдь не защитник влюбленных девиц. Всё, что я сделал, я сделал не из любви к Честертону, а из ненависти к Сэдли. Я поклялся насмеяться над ним, и он сам предоставил мне возможность. Об этом тайном побеге влюбленных, джентльмены, я узнал почти сразу же, как только голубки отправились в путь, как и о том, какой дорогой они поехали... Не буду утомлять вас подробностями того, как я это выяснил, — история слишком длинная. В общем, переодетый, я последовал за ними и настиг их около полудня в Ньюарке. Сэдли расхаживал по двору гостиницы, и мне посчастливилось найти какого-то местного хулигана, который за горстку звонких монет согласился зашвырнуть сэра Чарльза в небольшой пруд, куда водят на водопой и купание лошадей. Я дал ему деньги, и он в мгновение ока отправил этого Дон Жуана в болотистую воду. Прежде чем в гостинице поняли, что случилось, мой наймит испарился, а грязного как свинья и изрыгающего страшные проклятья сэра Чарльза выудили из воды лишь спустя минуту-другую. Затем, пока разгневанный Сэдли переодевался, я получил доступ к леди и... Я же вроде как актер, джентльмены, так что и тут проблем не возникло. Я быстренько усадил леди Честертон в экипаж — и вот мы здесь.

— Черт возьми, это самая сладкая месть, о какой я когда-либо слышал! — воскликнул Киллигрю.

— Да, но ее еще следует довершить. Завтра утром весь Лондон будет смеяться вместе со мной над картиной этого «Адониса» Сэдли, мокрого до нитки, дрожащего от холода, изрыгающего проклятья и выделяющего грязь из всех своих пор, — и вдобавок к этому брошенного возлюбленной на каком-то постоялом дворе в Ньюарке. Черт подери, джентльмены, я не я буду, если к этой песенке, что звучит повсюду, не добавится пара куплетов, и да разразит меня гром, если Сэдли осмелится показаться на лондонских улицах в течение ближайшего месяца.

Но в этом предположении он оказался не прав. История распространилась как лесной пожар, и имя Кинастона занимало в ней видное место. «Слишком уж видное, — подумалось мне, — что не может не отразиться на его безопасности». Следующий день подтвердил мою мысль.

Я был в «Дельфине» с Киллигрю, Тэлботом и несколькими другими джентльменами, среди которых был и Кинастон, когда в комнату, без объявления, ворвался Сэдли. Его взгляд остановился на Неде, и лицо так исказилось от ярости при виде самого Кинастона и той насмешливой улыбки, с которой актер встретил этот взгляд, что сэр Чарльз сделался уродливым, как сам дьявол.

— А, вот ты где, наглый пёс! — вскричал он прерывистым голосом.

Он сделал два быстрых шага в направлении кресла, в котором сидел Кинастон, и вскинул трость. Но актер, который наблюдал за его приближением с незыблемой широкой улыбкой, предотвратил нападение, схватив стоявший перед ним бокал мускателя и выплеснув содержимое прямо в лицо Сэдли.

— Вызов брошен! — крикнул кто-то, и сэр Чарльз, по всей видимости, именно так все и истолковал.

Он мог бы ударить Кинастона палкой, а затем отказаться с ним драться, но стерпеть подобное оскорбление оказался не в силах. Всё его поведение в один миг изменилось. Да, он снова вскинул трость, но то был спазматический жест, и рука его опустилась, так и не нанеся удар. Он был бледен, как смерть, губы его дрожали от ярости, но он все же сдержался.

— Стало быть, глупец, вы предпочитаете этой трости мою шпагу? Клянусь Богом, вы ее получите!

Кинастон огляделся в поисках какого-нибудь друга. В мгновение ока я вскочил на ноги, что, похоже, удивило Сэдли, который, должно быть, полагал, что среди присутствующих Кинастон едва ли найдет сторонника в таком деле.

Тэлбот выступил вместе со мной, тогда как Фалмут и Этеридж стали представителями Сэдли. Встреча была назначена на следующее утро и должна была состояться в семь часов на Лестер-филдс.

Я скорее опасался за Кинастона, потому что, хотя Сэдли никоим образом не был грозным противником, актер мог оказаться еще менее грозным. Он пожелал, чтобы мы приехали прямо на поле, где он должен был присоединиться к нам, и мы вняли его просьбе, пусть она и показалась нам несколько необычной.

Прибыв на место рандеву за несколько минут до семи, мы обнаружили, что Сэдли и его друзья уже находятся там, а вместе с ними и с десяток других джентльменов, явившихся посмотреть на забаву. Кинастона же нигде не было видно. Этеридж отпустил едкое замечание по поводу того, что мы прибыли без дуэлянта, а Сэдли заявил, что утренний воздух пробудил в нем аппетит, и проворчал, что лучше бы Кинастону не задерживаться, ибо ему уже не терпится поскорее с этим делом покончить и поехать домой завтракать. Проходили минуты, а Кинастон все не появлялся. Наши оппоненты уже начали открыто шутить и глумиться над его отсутствием, и, уже начав терять самообладание как из-за этого, так и из-за дурных предчувствий, крутившихся у меня в голове, я уже готов был предложить себя на место парня — и, скажу без бахвальства, это предложение уж точно бы на какое-то время лишило Сэдли присущего ему остроумия, — как вдруг мы заметили портшез, приближавшийся со стороны Сент-Мартинс-лейн.

Как только кресло опустили на землю, я направился к нему, но тут же остановился и, словно вкопанный, замер на месте, не веря своим глазам: из портшеза вышла леди Честертон, закутанная в длинный плащ. Остальные

джентльмены, вероятно, разделяли мои чувства, ибо во всей нашей компании внезапно воцарилась тишина. Ничуть не смутившись при виде такого количества зрителей, Кэролайн спокойно и величественно прошествовала к Сэдли и присела перед ним в реверансе.

— Сэр Чарльз, — промолвила она, — я пришла сказать вам, что дуэли не будет.

— И почему же, мадам? — холодно осведомился он.

— Вчера вечером я отправила королю письмо, в котором сообщила, что происходит, и, дабы предотвратить эту дуэль, он поместил Кинастона под арест.

— Черт подери, мадам, вас-то это все как касается?

— Полагаю, сэр, меня все это касается самым непосредственным образом. Но... — она запнулась, и на какой-то миг, казалось бы, утратила часть своей уверенности, но затем сказала: — Я объясню, сэр Чарльз, если вы отойдете со мной в сторону.

Настал его черед колебаться, тогда как в душе его боролись между собой гордость, тщеславие и любопытство. Впрочем, в конечном счете сэр Чарльз поклонился в знак согласия, и они вместе отошли на несколько метров.

Затем Кэролайн обернулась и подозвала меня.

— Вы также можете услышать мое объяснение, сэр Лайонел.

На лице Сэдли промелькнуло выражение неудовольствия, но, когда я присоединился к ним, он не сказал ни слова.

— Чарльз, — начала она, когда мы оказались вне пределов слышимости для всех остальных, — я не могла вынести мысли о том, что вы прольете кровь этого парня, — и она обратила на него нежный взгляд.

— Что он значит для вас — этот парень, мадам? — подбоченившись, сухо спросил Сэдли.

— Ничего. Я думала не о нем, а о вас. Вы, Чарльз, такой опытный фехтовальщик, такой искусный и смертоносный, намеревались противостоять мальчишке, который едва умеет держать оружие. Вам должно быть стыдно, Чарльз, ибо это было бы убийством!

Эта лестная ремарка оставила его равнодушным.

— Ссоры искал вовсе не я — это он меня оскорбил.

— Нет, Чарльз, именно вы. Вы замахнулись на него тростью и пусть так и не ударили, оскорбление было налицо.

— Мадам, — резко вскричал он, — у вас поразительно короткая память. Вы что, уже забыли вчерашний день и тот пруд в Ньюарке, на который водят на водопой лошадей? Весь город говорит, что это — дело рук Кинастона. И как насчет того, что вы бросили меня там, мадам? Раны Господни! Да надо мной кто только не смеется, причем все утверждают, что вернуться вас убедил именно Кинастон, уж и не знаю, за счет каких аргументов, да мне в общем-то и плевать. Мадам, вы понапрасну теряете время, нам с этим жалким актеришкой нужно свести целую кучу счетов.

— Неужели из-за той лжи, которая звучит сейчас в городе, вы готовы наказать невинного юношу?

— Невинного? — вскричал он в исступлении. — Невинного? Да вы с ума сошли, миледи? Разве не Кинастон притащил вас сюда из Ньюарка?

— Чарльз, — медленно проговорила она, — я торжественно клянусь вам, что вчера в Ньюарке ко мне никто не приходил, что я не слушала ничьих уговоров и вернулась в Лондон одна и по собственной воле.

Я стоял пораженный, гадая, кто лжет — она или Кинастон. После небольшой паузы сэр Чарльз с усмешкой заметил:

— В таком случае, мадам, ваши капризы сбивают меня с толку.

— Но, по крайней мере, они никоим образом не касаются этого мальчика, которого вы хотите убить, которого вы, Чарльз, мой дорогой Чарльз, — тут ее поразительно нежный голос понизился до шепота, — желаете убить преднамеренно.

— Тогда, быть может, вы объясните, почему бросили меня в Ньюарке? — спросил он тоже уже, что и неудивительно, гораздо более мягким тоном.

Она метнула на меня взгляд, который явно приказывал мне удалиться, и я повиновался, хотя и неохотно.

— Что за фарс там разыгрывается? — спросил Киллигрю, когда я подошел к нему.

— Уверен, вскоре мы это узнаем, — ответил я.

Мы принялись ждать, издалека наблюдая за этой парочкой, о чем-то серьезно беседовавшей в сторонке. Леди то перехватывала руку сэра Чарльза, то опускала ему на плечо свою, так они и стояли некоторое время, затем он взял эту руку в свою и, наклонившись, поднес к губам. Стало ясно: она победила.

Они вернулись вместе, и Сэдли тотчас же обратился ко всей нашей компании.

— Джентльмены, — сказал он, — как вы уже слышали от леди Честертон, Эдвард Кинастон сейчас находится под арестом, что помешало ему явиться на назначенную встречу. Леди Кэролайн, джентльмены, любезно прояснила мне кое-какие вещи, и теперь я хочу во всеуслышание заявить, что того, с кем я должен был здесь драться, незаслуженно опорочили распространившиеся по всему городу лживые слухи. По просьбе леди Честертон я отказываюсь от всякой ссоры с Эдвардом Кинастоном и торжественно даю слово не причинять ему ни малейшего вреда.

За этой его клятвой воспоследовала исполненная глубочайшего изумления тишина, которую в конце концов нарушила леди Кэролайн, разразившаяся громким и продолжительным насмешливым смехом. Этот смех будто бы задел какую-то струну памяти внутри меня, и в следующий миг перед моим мысленным взором встала сцена из первого акта «Макбета» и Кинастон — неподражаемый исполнитель женских ролей — в роли леди Макбет.

Я бросил взгляд на лицо Кэролайн, и то едва уловимое знакомое сходство, которое так поразило меня, когда я впервые увидел ее в доме на Пэлл-Мэлл,

Раздался громкий взрыв смеха, который так взбесил Сэдли, что он с ревом бросился на Кинастона.

и которое я отнес тогда на счет своих смутных воспоминаний о девчушке, которую я знал когда-то, теперь приняло определенную форму.

Осознание происходящего мощным потоком обрушилось на мой разум, и, хлопнув себя ладонью по лбу, я обозвал себя глупцом за то, что не понял всего этого раньше. Но как же одурачили Сэдли — Сэдли, который провел немало часов за милым флиртом и в итоге даже сбежал с ним.

У меня на глазах шляпа с перьями и великолепный парик блестящего черного цвета были сняты, открыв светлые волосы актера. Затем в сторону отлетел длинный женский плащ, и перед охнувшей компанией предстал Кинастон собственной персоной. Это действительно был Кинастон, но даже теперь лицо мало напоминало его настоящее; подведенные брови, подкрашенные щеки, мушки под губой и глазом и другие неведомые мне штрихи — все это способствовало виртуозному перевоплощению. Мы поняли, кто в действительности стоит перед нами, лишь когда услышали его естественный голос и увидели перед собой знакомую грациозную фигуру в мужских одеждах.

Черт подери! Мы словно стали свидетелями одной из сцен некоего спектакля!

Все были так ошеломлены, что на несколько мгновений, казалось, утратили дар речи. Затем раздался громкий взрыв смеха, который так взбесил Сэдли, что он с ревом бросился на Кинастона.

Но уже пять-шесть джентльменов встали между ними и оттащили сэра Сэдли назад.

— Помните, Чарльз, вы поклялись честью, что не причините ему никакого вреда, — вскричал Фалмут, и Сэдли застонал.

Кинастон, впрочем, заявил, что готов скрестить шпаги, если Сэдли того пожелает, но окружающие этого не допустили. Игра шла уже против сэра Чарльза, и он был бы обесчещен, если бы отказался от данного слова и торжественной клятвы.

Мы с Диком Тэлботом увезли Кинастона завтракать ко мне домой. По дороге, в моей карете, он пересказал нам разговор, состоявшийся у него с Сэдли касательно их с леди Честертон побега, и заявил, что сам был автором письма, полученного мною якобы от лорда Честертона, который, насколько ему было известно, не собирался жениться заново.

— Если это дело дойдет до его ушей, надеюсь, сэр Лайонел, вы поможете мне с ним помириться, — добавил он. — Что касается всего остального, то даже тот факт, что дом на Пэлл-Мэлл и ужины, которые я давал, обошлись мне в кругленькую сумму, не делает для меня мою месть Сэдли менее сладостной.

В ОДИННАДЦАТОМ ЧАСУ

Наконец-то пришла Удача! Есть люди, которые утверждают, что на врагов у Карла была куда более долгая память, чем на друзей, и что, выискивая и уничтожая всех, кто были причастны либо к смерти его августейшего отца, либо к его собственному изгнанию, он забывал о многих из тех, кто лишился всего из-за верности делу Стюартов и прозябал в нищете, до которой их довела Английская республика.

Возможно, у них действительно есть веская причина для недовольства. Но о себе я такого сказать уже не могу, ибо, пусть и с опозданием, Реставрация пришла и лично ко мне: в соответствии с актом королевского правосудия мне были возвращены мои обширные кентские владения.

Я, пятнадцать лет — пятнадцать лучших лет жизни, каковыми и являются годы, пролегающие между двадцатью двумя и тридцатью семью годами — скитавшийся по миру как самый отъявленный авантюрист, когда-либо в нем бесчинствовавший, не имея даже домика с соломенной крышей, который мог назвать моим собственным, наконец-то стал хозяином внушительных размеров земель, веками находившихся в собственности у тех, кто носил мою фамилию.

Словом, я написал здесь истинную правду: наконец-то пришла Удача! Но — с той губительной иронией, с которой она обычно портит устраиваемые ею пиршества — Удача пришла слишком поздно.

Какая мне теперь была польза от этих богатых угодий, когда та единственная, с кем я мог бы их разделить, вот уже три месяца покоилась в какой-то отдаленной шотландской могиле? В том же кармане, куда я сунул акт о реституции, рядом, как будто в насмешку над ним, лежало письмо, которое написала мне со своего смертного одра милая Маргарет, тогда как на пальце я носил кольцо, которое некогда было моим, потом стало ее, а теперь снова вернулось ко мне. Девять лет верности, девять лет ожидания, девять лет изгнания — и всё ради такого вот конца!

Как только на меня обрушился этот щедрый подарок Фортуны, рана, нанесенная четырьмя месяцами ранее, в радостный момент Реставрации и моего возвращения на родину, жестоким известием о ее смерти, снова открылась, и, когда я провел параллель между тем, что было и что могло бы быть, это срав-

нение переполнило меня столь жгучей горечью, что я почти проклял королевскую щедрость.

Я праздно расхаживал по Уайтхоллу скорее с видом человека, которого постигло некое страшное несчастье, чем того, кто внезапно обогатился. Затем, словно призывая мир составить мне компанию в одолевшей меня печали, пришла смерть герцога Глостерского, и двор погрузился в траур.

Зайдя всего через несколько дней после этого скорбного события в «Митру», что находится на Вуд-стрит, я вдруг столкнулся лицом к лицу с высоким, великолепно одетым мужчиной примерно моего же возраста, чье красивое, красноватое лицо показалось смутно знакомым. С пару мгновений он пристально смотрел на меня, а затем подошел к столу, за которым я расположился один, и спокойно сел напротив.

— Не имею ли я чести, — промолвил он тихим голосом, чуть наклонившись в мою сторону, — обращаться к сэру Лайонелу Февершему, камергеру его величества?

Годы придали его фигуре дородность, лицу — маскирующую грубость, но голос они оставили неизменным. Услышав его, я вздрогнул, ибо это был голос из прошлого, голос, принадлежавший тому времени, когда, девять лет назад, я познакомился и принялся ухаживать за милой Маргарет Фицморрис; голос, который я в последний раз слышал в замке Бейлиночи, за несколько месяцев до сражения при Вустере.

Уставившись на него, я смог разве что пробормотать:

— Карлстон!

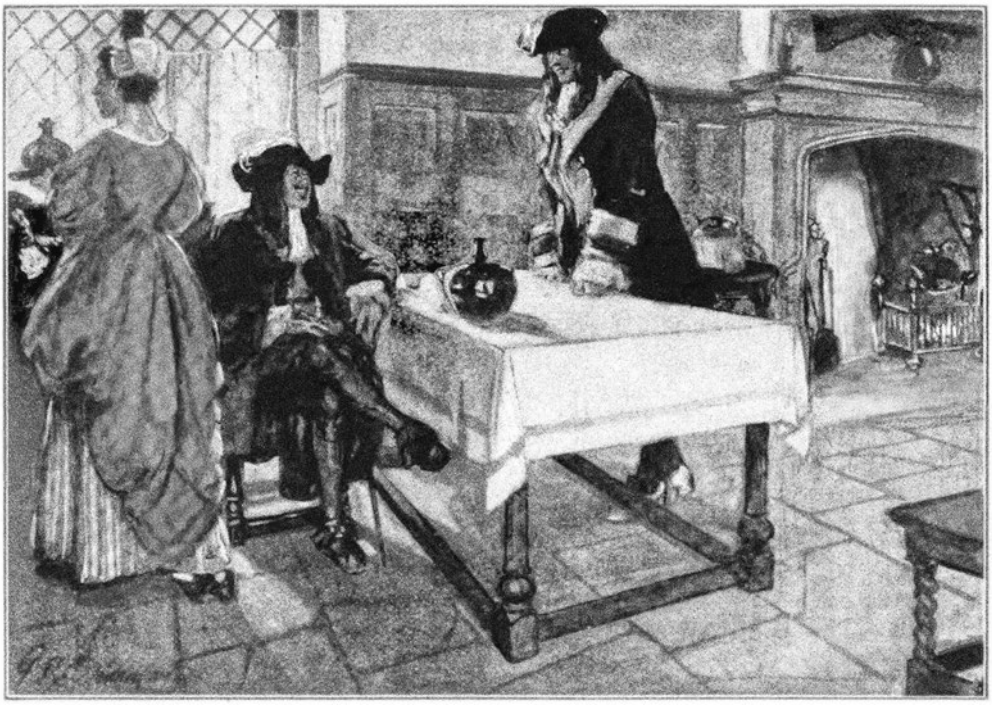
Он рассмеялся легким, жизнерадостным смехом, какой я не раз слышал от него в былые годы.

— Похоже, я прав, — сказал он. — Вы сейчас более бледный и худой, чем были раньше, с годами в ваших волосах появились одна или две седые пряди, но в остальном вы почти такой же, каким были в тот день, когда приставили пистолет к моей голове в Бейлиночи. То была наша последняя встреча, — он снова рассмеялся, как будто воспоминание его позабавило. — Мы расстались врагами, но до этого были добрыми друзьями, и потому, Лал, во имя былых времен и дабы заглушить ту вражду, которая, возможно, стояла между нами, давайте раздавим бутылочку.

— Прошу прощения, лорд Карлстон, — сухо ответил я и, отодвинув стул, встал. — В свое время я водил странную компанию, — с такой судьбой, как у меня, это и неудивительно. Но, насколько мне известно, я еще никогда не сидел за одним столом с изменником — не сделаю этого и сейчас.

— Раны Господни! — пробормотал он, резко оглянувшись, чтобы убедиться в том, что меня никто не слышал. — Если, когда ты убежден, что кто-то что-то делает не так, и пытаешься исправить его ошибки, означает «быть изменником» — что ж, я готов так называться.

— Я человек недалекий, милорд, более привычный к дракам, чем к спорам, — возможно, этому я обязан тем, что вижу ваши поступки в ином свете, нежели



— ...Дабы заглушить ту вражду, которая, возможно, стояла между нами, давайте раздавим бутылочку.
— Прошу прощения, лорд Карлстон, — сухо ответил я и, отодвинув стул, встал. — ...Я еще никогда не сидел за одним столом с изменником — не сделаю этого и сейчас.

тот, в котором вы пытаетесь их выставить. Но что я знаю наверняка, лорд Карлстон, — сурово добавил я, — так это то, что вы смельчак, если уж явились в Лондон в такое время. Король Карл не питает большой любви к таким, как вы, и имеет неприятную привычку показывать это. Вы разве не видели те жуткие конечности и ухмыляющиеся головы, что выставлены напоказ в Олдерсгейте, у северных ворот? Вы разве не слышали, что на Чаринг-кросс каждый день потрошат тех, кто приложил руку к убийству покойного короля?

— Довольно, милейший! — воскликнул он с некоторым проявлением гнева. — Какое отношение все это имеет ко мне? Я не был ни членом, ни сторонником «охвостья»[1], как не был и корноухим «круглоголовым». Прекрасно известно, что я сражался и проливал кровь за славного короля Карла...

[1] *«Охвостье»* (англ. Rump Parliament) — принятое в исторической литературе название английского парламента в период с 1648 по 1652 год.

— Прекрасно известно и то, — добавил я шепотом, — что, когда леди Маргарет, будучи убежденной монархисткой, отвергла ваши ухаживания, вы стали изменником и перешли на службу «Торжественной Лиге и Ковенанту» [1]. Не обманывайте себя: на «круглоголовых» королевская месть не закончится. Вскоре настанет час расплаты и для комиссии Кирка и ее приверженцев, и за те унижения, которым они подвергали монарха на протяжении десяти лет, им всем воздастся в полной мере, начиная с самого подлого предателя, Маккаллума Мора, и заканчивая остальными. Возвращайтесь в Шотландию, милорд, обратно в горы, и захоронитесь где-нибудь там до тех пор, пока его величеству не надоест мстить.

Он тоже встал, все такой же спокойный и благодушный, хотя, быть может, и чуть более бледный.

— В Лондоне, — сказал он, — есть только один человек, который может обвинить меня в этой, как вы говорите, «измене», и он этого не сделает.

— Откуда вам это известно?

— Откуда? Да оттуда, разрази меня гром, что, во-первых, Лал Февершем не шпион и не осведомитель, а во-вторых, что, когда я скажу ему, что приехал в Лондон — в пасть льва — ради его блага, полагаю, сердце подскажет ему отнестись ко мне с дружеской признательностью.

— Ради моего блага?

— Да, ради вашего блага, — и вот как я был встречен!.. Я приехал сюда для того, — продолжал он медленно, выговаривая каждое слово, как скряга раздавал бы золото, — чтобы сказать вам: Маргарет Фицморрис жива и смертельно тоскует сейчас в Перте, ибо ее возлюбленный, тот, кому девять лет назад она поклялась в верности, никак не возвращается.

Даже удар по голове, полагаю, оглушил бы меня не так сильно. Пошатываясь, я отступил на пару шагов, уткнулся спиной в стенную панель и так и остался стоять, вцепившись руками в деревянные планки и свирепо глядя на него, выпустившего в меня эту стрелу.

— Вы лжете, Карлстон! — сумел наконец вымолвить я.

Он пожал плечами и, повернувшись, потребовал вина.

— Вот, выпейте, милейший, — сказал он мне, когда вино принесли, — и я расскажу вам еще кое-что.

Я молча взял наполненный до краев бокал трясущимися руками и залпом выпил все его содержимое.

— Говорю вам, это ложь, Карлстон, — повторил я. — У меня в кармане лежит письмо, написанное ею в ее последний час. Здесь же у меня и возвращенное ею кольцо.

---

[1] *«Торжественная лига и Ковенант»* (англ. Solemn League and Covenant) — религиозно-политический договор, заключенный между Шотландией и английским парламентом в период Английской революции XVII века, оформивший союз двух британских государств и заложивший основу для объединения церквей Англии и Шотландии на базе пресвитерианства.

— Вы стали жертвой грязного заговора сэра Джона Гиллеспи, — объявил он. — Помните его?

— Помню ли я человека, который пытался продать короля Кромвелю? Да, я помню его, — мрачно ответил я, — как помнит меня и он.

— Он действительно помнит вас, и его ненависть к вам все так же сильна, как и прежде. Полученное вами письмо было подделано им; кольцо он у госпожи Маргарет украл. Это правда, Лал. Я узнал об этом от него самого как-то вечером, с месяц тому назад, когда он был сильно пьян, как узнал от него и то, что он отправил госпоже Маргарет некое письмо, которое якобы было от вас. Вслед за этим посланием пришло известие о вашей помолвке с миссис Хайд, — оно-то и подтвердило бедняжке Маргарет содержание «вашего» к ней письма.

— Клянусь кровью и ранами, милейший, если вы лжете, я...

— Это правда, — как правда и то, что Маргарет жива.

— Но почему Гиллеспи совершил столь подлый поступок? — подозрительно спросил я.

— Из ненависти к вам и любви к ней.

— Но зачем, — внезапно воскликнул я, — вы пришли ко мне, чтобы рассказать об этом, — вы, который были другом и соратником Гиллеспи? Вы же и сами когда-то любили ее, Карлстон. Именно это и ее к вам безразличие и сделало вас изменником.

— Я и сейчас все еще люблю ее, Февершем, — ответил он со вздохом. — Именно из-за этой моей любви к ней — и раз уж мне все равно не суждено завоевывать ее для себя, — я и не могу смотреть на ее страдания из-за вашей якобы неверности. Это-то и привело меня в Лондон, — я хотел разыскать вас и попросить поехать в Шотландию. Ну, а теперь, если хотите, можете передать меня в руки королевского правосудия; раз уж я выполнил свою задачу, могу и...

Я протянул ему руку.

— Карлстон, — произнес я жутко дрожащим голосом, — я причинил вам зло и прошу у вас прощения. Долг, в котором я теперь нахожусь перед вами, слишком глубок, для того чтобы я смог когда-либо выплатить его вам целиком. Но, во имя прежних дней, о которых вы, Карлстон, говорили, во имя былой дружбы, которая нас связывала, давайте разопьем бутылочку, от которой несколько минут назад я столь грубо отказался.

Принесли вино. Мы сели и наполнили бокалы.

— Это из-за нее мы стали врагами, — печально проговорил он, — пусть же из-за нее и во имя нее будет заключен наш мир. Я пью за ваш скорый союз.

И мы осушили бокалы до дна.

Затем, как только я выпил и поставил бокал на стол, на меня обрушилось, но вместе с тем и лишило спокойствия, полное осознание скорого счастья, на которое я уже не мог и надеяться. Безумный смех сорвался с моих губ, напугав тех, кто услышал его; затем, сложив руки на столе, я уткнулся в них лицом, и там, в общем зале постоялого двора «Митра» — пусть я и считаю

себя сильным мужчиной — разрыдался так, как не плакал уже лет тридцать. В тот же вечер я выехал в Перт, и никто, кроме Карлстона, не знал истинной цели, которая вела меня на север. Самому Карлстону, оставленному мною в Лондоне, предстояло найти судно, которое доставило бы его во Францию, где, как он полагал, он был бы в куда большей безопасности, нежели в Англии.

В пылу нетерпения я проводил в пути круглые сутки, проклиная пустяковые остановки, необходимые для смены лошадей, расточая угрозы и щедро раздавая золото, и в итоге, выехав из Лондона во вторник вечером, уже в пятницу днем достиг Бервика. Примерно в миле от города ось моего экипажа сломалась, и это расстояние пришлось преодолевать пешком. Я направился в гостиницу «Корона», и, хотя валился с ног от усталости, попытался было найти другую карету, но в этом начинании потерпел неудачу, несмотря на огромные суммы денег, которые я предлагал направо и налево, и из-за этой своей неудачи пришел в дикую ярость, даже не подозревая о том, что еще до рассвета следующего дня у меня появится повод на коленях благодарить Бога за эту случившуюся накануне аварию.

Наконец — за чудовищную цену — мне нашли лошадь, после чего, несмотря на скудное знание местности и мое истощенное состояние, я решил в тот же вечер отправиться в Эдинбург.

Я покинул Бервик на закате и проскакал, быть может, миль десять или двенадцать, когда меня постигло новое несчастье: кляча, на которой я ехал, потеряла подкову. Волей-неволей я был вынужден спешиться и, взяв уздечку в руку, потащиться сквозь быстро надвигающуюся на меня ночь. Часа два я брел почти наугад, ведя за собой это хромое животное и проклиная так посмеявшуюся надо мной судьбу. Вдобавок ко всему начал накрапывать мелкий дождь, но тут я наконец заметил впереди огни деревушки Ленмир.

Собравшись с силами, я поспешил в направлении того, что в тот вечер представлялось мне лишь светом домишек Ленмира, но сегодня, как вы сами вскоре убедитесь, видится мне сигнальными огнями Провидения.

Когда я был уже в полумиле от этого места, мимо меня, даже не взглянув в мою сторону, неистовым галопом проскакал некий всадник. Возможно, пешего человека, ведущего под уздцы лошадь, в темноте он принял за какого-нибудь крестьянина, направляющегося домой. Я окликнул его, потому что купил бы его славного скакуна за любую цену, какую он бы за него назначил, но всадник либо не услышал меня, либо оставил окрик без внимания, и в этом Провидение снова помогло мне, ибо, обернись он, вероятнее всего, я не прожил бы даже и часа.

К двери постоялого двора, столь убогого, что на нем едва ли имелся конюх, я подошел минут через десять после того, как он привязал у коновязи свою лошадь. Этот трактир был немногим лучше самой захудалой лачуги, но свет, лившийся из двери и окна, был манящим. Через это окно я бросил мимолетный взгляд внутрь и застыл, как вкопанный, округлившимися глазами глядя на то, во что не осмеливался поверить, — на высо-

кого, смуглого мужчину, сидевшего в центре группы, казавшейся совсем неуместной в этой убогой комнате.

Этим человеком — а я узнал его с первого взгляда — был сэр Джон Гиллеспи, сородич Аргайла, тот, кто десять лет назад пытался продать короля Кромвелю; ковенантский пёс и друг Карлстона, по словам последнего, обманувший меня и Маргарет, — самый злейший мой враг за все тридцать семь лет моей жизни.

Мне и в голову не могло прийти, когда я изумленно смотрел на эту величественную фигуру, казалось бы, совсем не изменившуюся со временем, что я сам — привлеченный туда всемогущим Божьим провидением — послужил причиной для этого собрания и предметом их разговора в тот самый момент. Я понял, что происходит, когда услышал голос Гиллеспи, резкий и громкий, как в прежние времена. Сэр Джон обращался к мужчине в плаще и сапогах, стоявшему перед ним со шляпой в руке в почтительной позе, и я догадался, что это тот самый человек, который проскакал мимо меня на дороге.

— Так ты говоришь, ему пришлось остановиться в Бервике?

— Да, сэр Джон. Когда я проезжал мимо, его экипаж лежал со сломанной осью примерно в миле от города. Я наткнулся на него, что-то орущего на трактирщика, во дворе «Короны»; но другой кареты до завтра ему никак не сыскать, так что волей-неволей он вынужден будет остаться там на ночь.

— Похоже, джентльмены, Кирку придется подождать его еще один день, — промолвил Гиллеспи. Затем он снова повернулся к посыльному и спросил: — Как там милорд Карлстон?

— Находится в полном здравии, о чем вы, несомненно, узнаете из его письма.

Письмо от Карлстона! Я крепко стиснул зубы и сжал в кулаки руки, ибо только теперь понял, с каким поручением меня послали в Шотландию. Предавший однажды предаст снова — мне следовало это знать. Тщетно я искал у себя в мозгу цель этого предательства, а затем спросил себя: только ли в этом он солгал, и меня охватил леденящий ужас. Уж не было ли ложью и то, что Маргарет жива?

— Раз уж сегодня его не будет, — послышался голос сэра Джона, — вы можете идти, джентльмены. Жду вас здесь завтра к восьми утра. Спокойной ночи!

У меня хватило ума ускользнуть и, спрятавшись под прикрытием живой изгороди, дождаться их ухода. Поскольку сэр Джон пожелал им спокойной ночи, он оставался. Я поблагодарил Бога за это.

Прошло несколько минут, затем откуда-то позади строения выехали четверо всадников и направились по той дороге, по которой прибыл и я. Вскоре вышел и вскочил в седло посыльный. Он заметил мою хромую клячу, стоявшую там, где я ее оставил, и на какой-то миг мое сердце замерло. Но,

очевидно, он не придал этому одинокому животному особого значения, ибо, бросив: «Спокойной ночи, сэр Джон», ускакал вслед за остальными.

Я выждал под этой изгородью еще пару минут, затем осторожно подкрался к окну и заглянул внутрь. Сэр Джон стоял у грязного, грубо сколоченного из сосновых досок стола, внимательно читая некий документ, который он держал у мерцающего огня сальной свечи. Несомненно, это было письмо Карлстона, и единственной целью, преобладавшей в моем сознании, было завладеть им. На миг я задержался у окна, наблюдая за Гиллеспи и размышляя над тем, как бы мне осуществить свой замысел; затем, так и не придумав никакого плана, но будучи твердо намеренным заполучить это послание любой ценой, тихо вытащил шпагу из ножен и подступил к двери.

На цыпочках я прокрался за порог и остановился, чтобы понаблюдать за ним. Какое-то время — как долго, я и сам затрудняюсь сказать — я стоял неподвижно всего шагах в шести от сэра Джона и просто смотрел на него, и, хотя он был ко мне спиной, мне казалось, что сердце мое стучит так громко, что может выдать мое присутствие. Но, поглощенный чтением этого драгоценного письма, он не шелохнулся, пока не дочитал его до конца; затем, усмехнувшись, сложил листок и сунул в карман, а когда повернулся, внезапно столкнулся со мной лицом к лицу.

Должно быть, стоящий там мрачный и молчаливый, с обнаженной шпагой в руке, я показался ему эдаким призраком. Пару секунд он смотрел на меня с нахмуренными бровями и отпавшей челюстью, затем вдруг охнул, и я понял: он меня узнал.

— Сэр Джон, — сказал я вежливо, — вынужден вас побеспокоить из-за этого письма.

В ответ он смачно выругался, и прежде чем я успел как-то предотвратить это, обнажил шпагу.

— Глупец! — вскричал он с сардоническим смехом. — Что ж, подойдите и заберите письмо. Я избавлю Кирка от всяческих хлопот по отправке вас на виселицу.

Другого приглашения, которое я принял бы с большей готовностью, он и сделать не мог, и какое-то время мы были сильно заняты в этой лачуге. Лязг и скольжение стали были тем языком, на котором мы с сэром Джоном обсуждали вражду, пролегшую между нами лет десять назад. Впрочем, наша битва длилась недолго. Парировав удар, он оказался в незащищенной стойке, чем я и не преминул воспользоваться. Он заметил свою ошибку, лишь когда мой холодный испанский клинок уже на две трети вошел в его грудь.

Скорчившись, он рухнул на пол, увлекая за собой шаткий стол и гася свечу. Пока, изрыгая проклятья, он бился в агонии, я подскочил к нему и вырвал из левой руки письмо, которое он попытался было удержать, но все же выпустил из быстро слабеющих пальцев.

Распрямившись, я увидел человека, стоящего в дверном проеме — в полумраке его фигура была едва различима. Как я понимаю, это был хозяин

Должно быть, стоящий там мрачный и молчаливый,
с обнаженным шпагой в руке,
я показался ему эдаким призраком.

гостиницы. Когда я повернулся, он ринулся вперед, размахивая чем-то, похожим на дубинку. Он вскинул и опустил руку, целясь в меня, но я отскочил в сторону, и его оружие с грохотом ударилось об пол. Открылась другая дверь, которая вела куда-то внутрь гостиницы, и появилась женщина с фонарем в руках.

Эта дверь была совсем рядом со мной, и, уж и не знаю почему, я бросился к ней и, протиснувшись мимо женщины, оказался в комнате поменьше, — окинув ее быстрым взглядом, я решил, что это кухня. В глубине помещения находилась еще одна дверь, ведущая на открытый воздух. Выскочив в эту дверь, я наткнулся на мальчишку, державшего под уздцы лошадь — должно быть, скакуна сэра Джона. Воистину, Провидение было добрым ко мне в тот вечер.

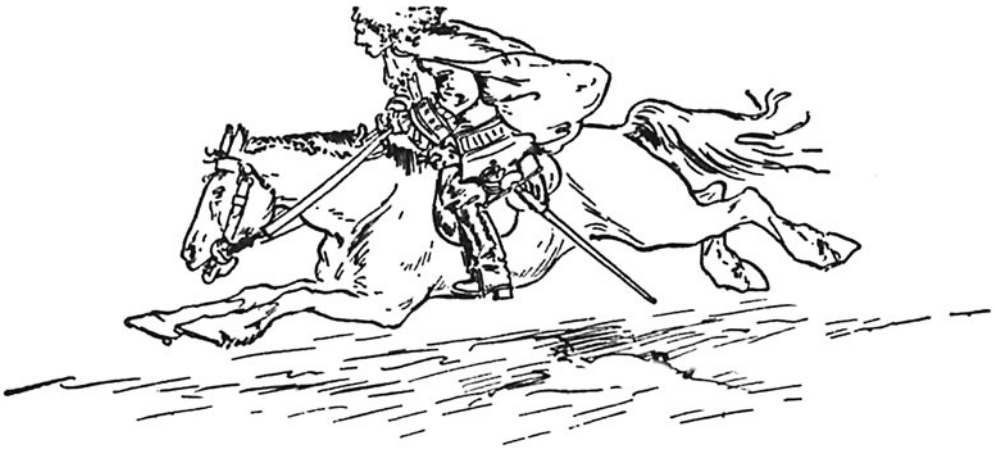
Я выхватил поводья из рук парня и, вскочив в седло, вонзил шпоры в бока животного.

Оставив за собой полный кавардак, я умчался подальше от этой лачуги, думая лишь о письме, спрятанном у меня на груди, под дублетом. На миг я приостановился для того, чтобы опустить в ножны шпагу, а затем, несмотря на дождь и тьму, понесся в направлении Бервика.

Было уже за полночь, когда я остановил коня перед гостиницей «Корона» и принялся колотить в дверь, которую через пару минут мне открыл хозяин в ночном колпаке. Приказав ему присмотреть за лошадью и не обращая ни малейшего внимания на ответное ворчание, я протиснулся мимо него в дом, схватил тонкую восковую свечу, вытащил письмо, уже стоившее той ночью кое-кому жизни, и прочитал:

Дорогой Джек,

надеюсь, первый гонец, которого я отправил к вам, дабы предупредить о прибытии Лайонела Февершема, добрался до вас без происшествий. Из того письма вы, должно быть, уже поняли, что придурок с жадностью заглотил предложенную мною приманку. Через двенадцать часов, и ни минутой раньше, он был на пути в Шотландию, ибо Маргарет, мой ангел, прибыла сюда всего через два часа после его отъезда. Отсутствие Февершема и весть о его внезапном бегстве, о чем ее отец услышал в Уайтхолле, развеяли ее последние сомнения в его неверности. Она была вынуждена признаться мне, что все вышло так, как я и предсказывал, и в порыве презрения к трусости вероломного негодяя, который не осмелился остаться, чтобы встретиться с ней лицом к лицу, и к себе самой за то, что когда-то думала о нем, уже через три часа после своего прибытия согласилась стать моей женой. Разве я не счастливейший из мужчин, Джек? И разве Февершем не самый безмозглый из дураков? Сейчас полночь — с момента отъезда Февершема в Перт прошло всего шесть часов, а сделано уже так много! Это письмо должно прибыть к вам в Бервик до того, как туда доберется Февершем, ибо, в то время как он едет в карете, посыльный поскачет верхом и в Йорке передаст послание другому курьеру, который и продолжит путешествие, — таких постов летучей почты на этой дороге вполне доста-



Оставив за собой полный кавардак, я умчался подальше от этой лачуги, думая лишь о письме, спрятанном у меня на груди, под дублетом.

точно. Маргарет согласилась выйти за меня в ближайший понедельник. Подобная спешка необходима, ибо сразу же после церемонии бракосочетания я покину Англию вместе с ней. Если до этого вы сможете как-то исхитриться передать Февершема в руки ковенантеров, а затем, рискнув своей красивой шеей, явиться в Лондон, вы добавите еще один лучик к тому счастью, которое улыбнется мне в понедельник.

Я отложил это гнусное послание, под которым стояла подпись Карлстона, и некоторое время стоял совершенно ошеломленный, — таким оно стало для меня откровением!.. Маргарет жива — хоть это было правдой. Но если я не вернусь в Лондон к понедельнику — а уже рассвет субботы, — дьявольский план Карлстона увенчается успехом. Но я торжественно поклялся: даже если я приеду в Лондон слишком поздно и не успею помешать Маргарет выйти за Карлстона, я, по крайней мере, исправлю положение, сделав ее вдовой.

Вне себя от ярости, я позвал хозяина и велел ему вернуть лошадь, которую только что отдал ему в качестве приманки. Ошалев от моего очевидного безумия, он пошел будить конюха, от которого спустя пару минут я получил ту самую украденную клячу, к счастью, оказавшуюся крепким и выносливым животным. Я так ее гнал, что уже к полудню субботы был в Дареме, хотя и маловероятно, что эта лошадь вообще когда-нибудь кого-нибудь еще повезет. К десяти вечера я достиг Йорка, где, чуть живой, был вынужден остановиться, дабы передохнуть несколько часов.

Все воскресенье — и днем, и ночью — я мчался верхом, использовав в пути еще трех лошадей и чуть не загнав до смерти последнюю, на которой

в начале десятого утра в понедельник я уже иноходью въехал на Кинг-стрит. Совершенно измученный, весь в грязи и пыли, я немедленно бросился на поиски Киллигрю, который, как я полагал, скорее, чем кто-либо другой, мог предоставить мне нужные сведения. Мне посчастливилось застать его все еще в постели, ибо после пирушки в обществе короля он завалился спать лишь на рассвете. По словам Киллигрю, Карлстона следовало искать в «Дельфине», а сэра Эверарда Фицморриса — на Пэлл-Мэлл. Не став терять ни минуты, я откланялся и, взяв наемный экипаж, тотчас же направился в гостиницу «Дельфин».

Когда я, никем не объявленный, вошел в комнату Карлстона, то нашел его одевающимся с помощью камердинера и весело мурлычущим какую-то песенку.

Заметив в зеркале мое отражение, он резко обернулся, и его щеки стали мертвенно-бледными.

— Черт подери! — воскликнул он, когда его взгляд остановился на моей запыленной персоне.

— Вам бы лучше отпустить слугу, — предложил я так хладнокровно, как только мог, и он вялым жестом велел парню удалиться.

— Вижу, мой добрый друг Карлстон, — начал я, — вы уже готовитесь к свадьбе, не так ли? Это ошибка, милейший, ошибка. В конце концов, это я должен быть женихом, а не вы. Да, я — Лал Февершем. Я мчался во весь опор, чтобы не опоздать, — даже резвее, чем ваши курьеры, доставлявшие сэру Джону Гиллеспи вот это вот послание, — и я помахал письмом перед его носом.

К нему уже частично вернулось самообладание, и он попытался бахвалиться.

— Пфф! — фыркнул он и заливисто рассмеялся. — Ну, узнали вы про это — и что теперь, милейший? Намерены затеять со мной ссору?

Тут уже, в свою очередь, рассмеялся и я.

— Да нет же, придурок! Думаете, я стал бы затевать ссору в день своей свадьбы? Да и потом, прошло всего три дня с тех пор, как я убил человека — вашего друга Гиллеспи.

При этих словах он содрогнулся и изменился в лице.

— Нет, нет, — продолжал я с улыбкой, словно он был моим лучшим товарищем. — Я пришел не для того, чтобы затевать ссору. Я здесь для того, Карлстон, чтобы дать вам дружеский совет. Позаботьтесь о том, чтобы еще до полудня вас не было в Лондоне, а завтра до рассвета — и во всей Англии.

— Проклятье! Так вы пришли угрожать мне?

— Тьфу на вас, Карлстон! Кто говорит об угрозах? Я всего лишь советую. Король в любой момент может услышать не только о вашем присутствии здесь, но и о ваших делишках в Шотландии после битвы при Данбаре. По правде говоря, мой дорогой Карлстон, — добавил я с новой улыбкой, — мне случайно стало известно, что ему сообщат обо всем этом еще до полудня.

Месть Карла Стюарта чревата серьезными последствиями, и я бы советовал вам не возвращаться в Англию, пока он на троне. Хорошего вам дня, милорд.

И, повернувшись, я оставил его стоять с отвисшей челюстью, — ни дать ни взять, олицетворение идиота. Впрочем, не будь это утро моей свадьбы, вероятно, я оставил бы его в куда более незавидном положении.

Уверенный в том, что он прислушается к моему предупреждению, я первым делом отправился в свою квартиру в Уайтхолле, где облачился в самый свой нарядный костюм, после чего поспешил в дом сэра Эверарда на Пэлл-Мэлл. Весь дрожа, я проследовал за открывшим мне дверь слугой; глаза мои горели в глазницах, губы были запекшиеся, во рту пересохло, и, бросив беглый взгляд на зеркало, я увидел изможденное, смертельно-бледное лицо.

Я нашел сэра Эверарда в библиотеке. Его волосы стали снежно-белыми, а высокая фигура потеряла большую часть той статности, что была ей присуща девятью годами ранее. Возможно, сам он увидел во мне лишь незначительную перемену, ибо узнал с первого же взгляда. Он встал, чтобы встретить меня гневным взглядом из-под сведенных вместе бровей.

— Февершем! — воскликнул он, а затем, прежде чем я успел ответить, добавил: — Что вы здесь делаете — да еще в такой день?

— Как по мне, сэр Эверард, так более подходящего дня для моего приезда и быть не могло.

— Полагаю, вы уже знаете, что в полдень моя дочь выходит замуж?

— Да, сэр Эверард, знаю, ибо я для того и явился, чтобы стать женихом.

Кровь волной прилила к его щекам.

— Это что, какая-то непристойная шутка? Вы совсем стыд потеряли? Неужели вам недостаточно того, что ваше вероломство едва не разбило сердце моего бедного ребенка, ибо такова участь женщины — любить тех, кто более всего этой любви недостоин. Да вы же, как трусливый пес, каким вы и являетесь, сбежали из Лондона — от упреков, которыми, как вы решили, она станет вас донимать!

— Это ложь! — пророкотал я, заставив его замолчать уже само́й моей пылкостью. — И тот, кто сказал это вам, — гнусный обманщик!

— Ложь? — недоверчиво переспросил он. — Стало быть, это ложь, что, вернувшись в Англию месяца четыре назад, вы написали Маргарет, что в вашем сердце произошли перемены? Это ложь, что вы намерены жениться на Энн Хайд? Несмотря на это мерзкое письмо, сэр, и полученное нами известие о вашей приближающейся свадьбе, моя бедная Маргарет все еще пыталась верить в вас. Она не вышла бы за мужчину, который доказал свою любовь в ней восемью годами неослабевающей преданности, пока не съездила бы в Лондон и не снизошла до разговора с вами. Я позволил ей эту прихоть, и к чему это привело? В Лондоне мы обнаружили, что, узнав о нашем приезде, вы сбежали, как последний трус. А теперь скажите мне, сэр, — добавил он с испепеляющим презрением, — это тоже ложь? Впрочем, можете не отве-

— Вы слышали меня, милая госпожа? — спросил я, снова обретя наконец голос.

чать. Лучше скажите, чему я обязан столь оскорбительным для нас вашим здесь присутствием — в тот самый день, когда она наконец-то выходит замуж за того, кто доказал свое право на нее?

— Клянусь Богом, сэр, сейчас вы это услышите, — воскликнул я.

И затем, в горячей, страстной, исступленной речи, я поведал ему о письме, тоже полученном мною тем вечером, четыре месяца тому назад, — о поддельном письме, которое, как я доверчиво решил, было написано слабой рукой находящейся при смерти Маргарет. Я показал ему это письмо, а вместе с ним — и кольцо. В жгучих словах я описал ему горе и скорбь, что обрушились на меня в проникнутые всеобщей радостью дни Реставрации. Затем я рассказал о послании Карлстона, доставленном мне неделю назад, и о вновь зародившейся в моем сердце надежде, которая заставила меня помчаться

на север. Я рассказал ему о том, как Небеса привели меня на тот постоялый двор в Ленмире, и вслух зачитал письмо, стоившее Гиллеспи жизни. Затем, когда я умолк, и сэр Эверард сам ознакомился с этой уликой, он упал в кресло, весь дрожа, и какое-то время молчал. Наконец, протянув ко мне руки, он воскликнул:

— Ох, Лал, Лал! Слава Богу, что вы успели!

— Да, сэр Эверард, слава Богу; я говорю это сейчас и не устану повторять до конца своей жизни, — ответил я, взяв его дрожащие руки в свои. — А теперь, сэр, отведите же меня к Маргарет, — воскликнул я спустя мгновение. — Я ждал девять лет, но не желаю ждать ни минутой дольше.

— Вам и не придется, Лал, — произнес позади нас чей-то голос, и, обернувшись, я увидел, как гардину, скрывавшую дверной проем, откинули в сторону, и передо мной наконец предстала моя возлюбленная. Глядя на нее, я забыл, что со дня нашей последней встречи прошло девять лет изгнания; мне казалось, что это все та же семнадцатилетняя девушка, которую я вынужден был оставить: все та же изящная фигура, все то же милое, нежное лицо, пусть теперь и очень бледное и печальное.

Она приблизилась ко мне нерешительным шагом, с протянутыми руками, и я заметил слезы в улыбавшихся мне нежных глазах.

Пару секунд я стоял неподвижно, как человек, напрочь утративший силу воли, затем с громким возгласом устремился вперед и упал перед ней на колени. Схватив ее руки в свои, я со всхлипом поднес их к губам.

— Вы слышали меня, милая госпожа? — спросил я, снова обретя наконец голос.

— Да, Лал, я слышала всё.

— И вы мне верите?

— Верю ли я вам? Ох, Лал! Конечно же, верю!

Она осторожно высвободила свои руки из моих и, заключив мое лицо между ними, чуть наклонила мою голову таким образом, чтобы я смотрел ей прямо в глаза, из которых бежали слезы.

А затем, как и ее отец чуть ранее, но голосом бесконечно нежным и невыразимо сладким, произнесла:

— Ох, Лал, мой Лал, слава Богу, что вы успели!

Таким было утро дня моей свадьбы, таким был рассвет счастья, которым меня удостоили Небеса, таким было истинное начало, а не конец удач Лайонела Февершема.

12 историй о Великой французской революции

ТРУС

Товарищам по несчастью — десяткам обреченных аристократов, которые находились в застенках Люксембургского дворца, в благородном убожестве ожидая услышать свои имена, оглашаемые из списка приговоренных — он был известен под самым гнусным прозвищем, какое только может дать один человек другому.

И, однако же, так было не всегда. Когда его только втолкнули к ним, он был встречен аплодисментами, — ибо молва о том, что отчаянно боролся за Бога и короля, достигла стен тюрьмы раньше его самого, — и из всех уст в его адрес неслись хвалебные слова за то доблестное выступление, которое он устроил в вандейском Рощдюре.

Но его слава была недолговечной. Следующий день принес новых заключенных, и из-за свежего интереса, который они вызвали, храбрость Армана де Бретёя была забыта.

О ней не вспомнили, даже когда болезненная бледность его мальчишеского лица снова привлекла к себе внимание.

Сначала некоторые еще спрашивали, не болен ли он, и разглядывали его стройную, хрупкую фигуру с глубокой озабоченностью, словно здоровье того, кто завтра мог ступить на доски эшафота, многое значило. Но некоторое время спустя, когда они заметили, что по вечерам, при зачитывании списка тех, кому утром предстояло отправиться на гильотину, он приобретал еще более болезненный вид, а по завершении чтения, видя, что его имя не прозвучало, казалось бы, дышал свободнее и страдал уже меньше, его болезни было быстро дано прозвище.

Его прозвали трусом, и насмешек, звучавших в его адрес, было не счесть.

Мужчины оскорбляли его на каждом шагу; женщины презирали молча, обжигая взглядом и кривя губы.

От этого он ощущал острую боль и — что еще хуже — полагал, что вполне заслуживает подобного обхождения. Снаружи, на открытом воздухе, под небом Господним, он не дрогнув принял бы смерть со шпагой в руке, ибо кровь его пылала жаждой сражения, но здесь, в мрачной тюрьме Люксембургского дворца, где день за днем приходилось ждать призыва всепожирающей гильо-

Сначала некоторые еще спрашивали, не болен ли он, и разглядывали его стройную, хрупкую фигуру с глубокой озабоченностью...

тины, его нервы не выдержали, а дух сломался. Каждый вечер он содрогался, когда его товарищи бросались к grille[1], чтобы выслушать роковой список, и, бледный и трясущийся, со вспотевшим от ужаса лбом, отходил в свой угол, будто и сам признавая себя трусом, презренным существом.

Он был молод — всего-то лет двадцати, — однако юность, он и сам это знал, не оправдывала его слабость. Разве каждый день он не видел мужчин моложе себя — да и женщин тоже, — которые, когда их вызывали, беспечно выступали вперед и прощались с теми, чья очередь еще не пришла, кто с шутками, кто со слезами, но все — отважно и смело, как и приличествует тем именам, которые они носили?

Стоическое безразличие, с которым они принимали свою участь, потрясло его, в то время как сама манера их приготовлений наполнила его изумлением и вместе с тем — отвращением.

[1] Решетка (фр.)

Смерть была для них предметом насмешек; они ею, казалось бы, упивались. Каждый день они вроде как открывали шуточный трибунал, кто-нибудь измазывал свое лицо и, исполняя роль Фукье-Тенвиля, выносил приговор товарищам по несчастью, представшим перед его судом. Затем проходил допрос, преисполненный изощренных острот и презрительных насмешек, предназначавшихся санкюлотам[1]. По завершении допроса приносили два стула, представляющих гильотину, и, с массой шуток и сердечным смехом, осужденные просовывали головы в импровизированный «люнет» и таким образом весело репетировали зловещую трагедию, которую им вскоре предстояло сыграть всерьез — и с лужами пролитой крови.

Как-то раз его схватили и отволокли к маркизу де Трезону, исполнявшему в тот день роль генерального прокурора. Лишившийся дара речи и мертвенно-бледный от страха, он стоял там, куда его привели, будучи не в состоянии присоединиться к их ужасающему веселью и не отвечая ни слова на сыпавшиеся на него язвительные издевки.

Его приговорили к смерти за трусость, и насмешник Трезон выразил надежду на то, что приговор достигнет ушей санкюлотского трибунала и даст революционерам новый, еще не приходивший им в голову предлог для отправки людей на смерть, когда всех прочих предлогов уже недостаточно.

Но когда Армана потащили на пародийную гильотину, вмешался шепелявый и придурковатый виконт де Лафосс.

— Отпустите его, господа, — вскричал он визгливым, женственным голосом, — или, клянусь душой, он потеряет сознание, и мы все изведемся, приводя его в чувство.

Легкий румянец тронул щеки Армана, и его стройная фигура внезапно распрямилась.

— И вы тоже, Лафосс, — запальчиво воскликнул он, — смеете надо мной насмехаться? Вы, который был обнаружен солдатами национальной гвардии в бельевой корзине, трясущимся от страха!.. Уж лучше бы вам не забывать об этом, когда вы говорите с тем, кто встретил чернь со шпагой в руке и был схвачен живым лишь потому, что им недостало милосердия убить его.

Лафосс вздрогнул от этого резкого и неожиданного упрека.

— Если когда-нибудь наступит тот день, когда мы с вами окажемся на свободе... — начал было он, но Арман перебил его:

— Этого не случится, месье, так что на смерть от моего клинка можете не надеяться.

— Смелый ответ! — воскликнул кто-то. — Право же, виконт, вас следует поздравить с тем, что вы пробудили в нем мужчину.

— Это больше, чем он смог бы когда-либо сделать для вас, — заметил Арман, удаляясь под оглушительный взрыв смеха.

---

[1] *Санкюлот* (фр. sans-culotte) — участник Великой французской революции, бунтарь. Название произошло от насмешливого прозвища городской бедноты, ходившей «без кюлотов», то есть без коротких штанов из дорогой ткани, какие носили дворяне.

В подобном расположении духа заключенные пребывали недолго. Уже тем же вечером Арман сидел в стороне с побелевшим лицом, тогда как толпа «краснокаблучников»[1] прихлынула к решетке.

И пока он сидел в одиночестве, стройная, изящная девушка, чью красоту не могло скрыть даже убожество ее положения, прошла рядом с ним, едва его не задев, но даже не соизволив взглянуть на него.

Он поднял глаза и проводил ее страстным, жаждущим взглядом, который никто, кто его, этот взгляд, видел, не смог бы истолковать неверно. Затем он встал и, заметив, что всеобщее внимание сосредоточено на явившемся к решетке оракуле, последовал за ней.

— Элен, — пробормотал он, настигнув ее.

Обернувшись, девушка взглянула на него с удивлением и прохладой.

— Вы хотите мне что-то сказать, месье?

— Месье! — эхом повторил он. — Когда-то вы называли меня Арманом. Но, hélas[2], теперь вы тоже, понятное дело, презираете меня за то, что я боюсь умереть.

— Разве вам есть дело, месье, до того, что я думаю? — спросила она.

— Вы же знаете, что есть, Элен, — поспешно ответил он, забыв обо всем остальном, даже о жуткой решетке и о том, что в любой момент могло прозвучать его собственное имя. — Вы же знаете, что ваше мнение — всё для меня.

— В нынешней ситуации, месье, — промолвила она с легким вздохом, — мнения — и без разницы, чьи — мало что значат.

Он уже собирался что-то возразить, когда вдруг перед ними возник Лафосс и протянул девушке руку.

— Ваше предсказание было верным, господин де Бретёй, — проговорил он с глубокой учтивостью, повернувшись к Арману, — нам уже не доведется иметь удовольствие скрестить клинки в этом мире.

Арман отступил на шаг и схватился рукой за сердце. Реальность, на миг забытая, снова безжалостно встала перед ним. Он побледнел, рука его задрожала.

— Mon Dieu[3], — вскричал он, — так меня вызвали?

Лафосс расхохотался.

— Нет, месье, — ответил он, — вызвали меня!

И, повернувшись к девушке, он прошепелявил:

— Adieu[4], мадемуазель д'Эно, меня ужасает не смерть, но расставание с вами.

Он нагнулся поцеловать ей руку в знак прощальной любезности, и, весело помахав многочисленным друзьям — он, которого арестовали, вытащив

---

[1] Обувь с красными каблуками являлась признаком принадлежности ее обладателя к знати и была введена в моду Людовиком XIV.

[2] Увы (фр.)

[3] Боже! (фр.)

[4] Прощайте (фр.)

Арман отступил на шаг и схватился рукой за сердце...
— Mon Dieu, — вскричал он, — так меня вызвали?
Лафосс расхохотался.
— Нет, месье, — ответил он, — вызвали меня!

дрожащим от страха из бельевой корзины! — беззаботно отправился в свое последнее путешествие, — столь заразительной для него оказалась сила примера!

Арман стоял ошеломленный и посрамленный — контраст между поведением Лафосса и его собственным был разительным. Он, даже не услышав своего имени, весь затрясся и едва не упал в обморок; Лафосс же, услышав свое, лишь рассмеялся.

Когда Арман наконец поднял голову, Элен рядом с ним уже не было. Он поискал ее глазами в толпе и вскоре увидел беседующей с его кузеном Станисласом де Бретёем. Их головы почти соприкасались, и взгляд Армана, подстрекаемый ревностью, обнаружил в глазах кузена выражение, относительно значения которого сомнений быть не могло.

Любовь! Ревность! Воистину странные мысли для людей, которые ждут своей очереди посмотреть через небольшое окошечко гильотины на мир иной.

И бедняга Арман, пусть он и жутко боялся смерти, в ту ночь, лежа на подстилке из несвежей соломы, все же нашел время на то, чтобы разрыдаться из-за безответной любви.

Они с Элен д'Эно знали друг друга с раннего детства. Она стала идолом его мальчишеского сердца с тех счастливых дней, когда они вместе играли в прятки в лесах Фонтенбло. Но кузен всегда был где-то рядом. На два года старше, крепче телом, симпатичнее и красноречивее, Станислас де Бретёй постоянно служил ему помехой и легкой рукой собирал все лавры, к которым тщетно стремился Арман.

Случай забросил Армана и Элен в тюрьму Люксембургского дворца, куда все тот же случай — или скорее даже рок — привел и Станисласа. Любит ли Элен Станисласа? Арман и сам не знал, что на это ответить. По крайней мере, подумал он с горечью, точно не презирает как труса. Во всей этой безрассудной, презирающей смерть толпе не было более спокойного и отважного стоика, чем Станислас де Бретёй. И, однако же, Арман все еще задавался вопросом, любит ли она Станисласа, или же они проводят так много времени вместе исключительно по причине крепкой старой дружбы?

Но на следующий день, когда он хандрил в темном углу, в то время как товарищи по несчастью предавались своей отчаянной забаве, его сомнения внезапно рассеялись.

Станислас и Элен медленно проследовали через величественный зал и встали у зарешеченного окна, рядом с Арманом, но не замечая его.

— Здесь лучше, Станислас, — тихо сказала девушка, опираясь рукой на подоконник. — Mon Dieu, как же душно!

Станислас беспечно рассмеялся.

— Мужайтесь, ma mie[1], нам уже недолго это терпеть! На том свете у нас будет воздух почище.

Она вздохнула и прислонилась светловолосой головой к решетке. Какое-то время они оба молчали.

[1] Милая, душенька, моя (фр.)

— Станислас, — прошептала наконец девушка, — вы уже окончательно расстались с надеждой?

— С надеждой? — печально переспросил он. — А на что тут можно надеяться?

— А вам никогда не приходило в голову, что во все это вмешаются Небеса? Что террор и кровопролитие будут прекращены, и что эта несчастная страна очнется от своего безумия и возжаждет справедливости и правосудии?

Станислас де Бретёй устало провел рукой по лбу.

— Когда-нибудь, несомненно, это случится, — ответил он. — Когда-нибудь, когда им надоест эта безжалостная резня... Но, боюсь, недостаточно скоро для нас.

— Кто знает? — воскликнула она, поднимая на него свои восхитительные, полные любви глаза. — Кто знает, когда это может произойти? Быть может, уже завтра или послезавтра.

Он грустно улыбнулся.

— Завтра или послезавтра я, возможно, уже буду мертв, любовь моя, — ответил он.

Но смерть была не так близка, как он полагал. Один за другим проходили дни, складываясь в недели. Прибывали новые заключенные, старых, под глумливые насмешки и гиканья пьяной от крови черни, увозили на казнь «позорные повозки». Однако Станислас де Бретёй и Элен д'Эно почему-то задержались в тюрьме Люксембургского дворца, как и бедняга Арман, который с каждым днем становился все более и более худым и бледным.

Конвент, казалось бы, забыл об этой троице.

Заканчивался июль, а узники по-прежнему коротали безрадостные часы за тем, что разыгрывали мрачные комедии и устраивали шуточные гильотинирования. Так длилось до тех пор, пока наконец не наступил день, когда даже самым отважным из них стало уже не до шуток.

До них дошли странные слухи о новых безумных происшествиях в безумном Париже. Слышался странный шум. Постоянная маршировка и бой барабанов наводили на самые разные мысли, и в души всех и каждого закралось ужасное воспоминание о сентябре[1]. Не будет ли нового истребления заключенных? Те, кто лишь вчера насмехались над смертью, сегодня трепетали от страха, не зная чего и ждать.

Позднее в тот же день распространился еще один слух, и у некоторых в сердце снова возродилась надежда. Поговаривали, что чернь обратилась против своего главаря и что Робеспьеру вынесен смертный приговор.

Среди этих оптимистов был и Арман де Бретёй. Он уже представлял, как распахнутся тюремные ворота, и ужасное ярмо неволи и страха спадет с его плеч.

---

[1] Сентябрьские расправы — трагический эпизод Великой французской революции, массовые убийства заключенных в Париже, Лионе, Версале и других городах, совершенные разъяренной толпой в начале сентября 1792 года. Боязнь заговора роялистов и угроза вторжения иностранных армий, которые могли задушить начавшуюся революцию, вызвали у населения безумное желание убивать, в результате чего только в парижских тюрьмах погибло 1300 человек.

В тот вечер он прижался к прутьям того самого окна, у которого месяц назад слышал, как Элен говорила со Станисласом о надежде, и, прислушавшись к уличному шуму, попытался определить, что же такое затевает Париж с его восемью сотнями тысяч душ? Он предавался грезам о том, чем займется, когда окажется на свободе, и — впервые за все проведенное в тюрьме время — не обратил ни малейшего внимания на хлынувшую к решетке толпу, вообразив, что это уже никак не связано с повозками смертников, когда вдруг кто-то произнес его фамилию:

— Господин де Бретёй.

С замершим от леденящего страха сердцем Арман медленно обернулся. Заключенные толпились у решетки. Позади них он увидел своего кузена и Элен, стоявших бок о бок. Бледная как смерть, девушка судорожно цеплялась за руку Станисласа.

Затем его кузен заговорил.

— Здесь таких двое, — промолвил он храбрым голосом, полужалостливо-полупрезрительно взглянув на трясущегося Армана. — Как имя того, который у вас в списке?

После небольшой паузы последовал ответ:

— Ci-devant[1] шевалье Станислас де Бретёй.

Элен издала слабый стон и бросила испуганный взгляд на лицо возлюбленного. Секунду-другую он стоял прямой, как палка и в вызывающей позе, затем, даже не вскрикнув, он, который до сих пор выказывал столь безрассудную отвагу и безразличие, пошатнулся и, как сноп, упал навзничь на землю, где и остался лежать без сознания.

В тот день он тоже позволил своим надеждам вознестись высоко, и столь внезапный поворот на какое-то время лишил его самообладания.

Без слез и с тем выражением холодной тоски на лице, которое зачастую является предвестником безумия, Элен д'Эно опустилась рядом с ним на колени.

Арман видел каждый их жест: от него не ускользнуло ни единой детали. Услышав, что это кузена, а не его самого, призывают под нож, он на миг снова задышал свободно. Но всего лишь на миг.

Выражение боли на очаровательном лице Элен, ее испуганный взгляд пробудили в груди труса внезапную решимость.

Станислас его ничуть не заботил. С того дня, как он оказался за решеткой в Люксембургском дворце, из уст кузена он слышал разве что насмешки. Но Элен... ah, Dieu[2]... он не хотел видеть ее страдания.

Быстро шагнув к девушке, он наклонился и поспешно прошептал ей на ухо:

— Элен, я люблю вас. Если то, что утверждает молва, — правда, вы всё еще можете надеяться. Еще денек — и, возможно, на гильотину уже никто не отправится. Adieu!

---

[1] Бывший (об аристократии периода Французской революции) (фр.)

[2] Ах, Господи (фр.)

Затем, даже не вскрикнув, он, который до сих пор выказывал столь безрассудную отвагу и безразличие, пошатнулся...

Спустя мгновение он уже стоял у решетки, а его голос, пусть и слегка дрожащий, прозвучал громко и чисто.

— Бретёй — это я.

Окружающие недоверчиво посмотрели на его бледное лицо и дрожащие губы и спросили себя, не тронулся ли трус от страха умом.

Но, не обращая на них ни малейшего внимания, он вышел, прежде чем его кузен пришел в сознание.

Для Фукье-Тенвиля имела значение лишь фамилия, имя не представляло для него ни малейшего интереса. Тратить время на столь тривиальные различия ему было некогда, и потому на следующий день Арман де Бретёй, бледный, с тоской на душе, но со сжатыми губами и твердым взглядом на мальчишеском лице, был казнен.

Так уж вышло, что это случилось десятого термидора второго года, и перед смертью он с удовлетворением узнал, что его жертва не была напрасной. Ибо в тот же самый день вместе с ним на эшафот взошел и Робеспьер со своими последними друзьями, составив ему компанию в жутковатом путешествии.

Господство Террора закончилось. Франция пришла в себя.

На последние слова Армана де Бретёя, обращенные к Элен, мало кто обратил внимания, едва слышные, они, конечно же, в тот момент не были поняты. Но позднее их вспомнили. Что до Элен и Станисласа, то, воскрешая в памяти это прощальное наставление того, кого называли трусом и чьей благородной жертве один из них был обязан жизнью и оба они — счастьем, они всякий раз исполнялись печальной нежности.

ПОД КРАСНОЙ ПЕЧАТЬЮ

I

Гражданин Брут, мэр Онфлёра, сидел, проклиная свою судьбу.

Его трехцветная мэрская лента, хвастливо выставленная напоказ трехцветная же кокарда, ультрареспубликанская неопрятность и вымышленное имя Брут — все свидетельствовало о патриотизме и революционных принципах. И действительно, у Конвента не было более прилежного слуги, чем этот мэр Онфлёра. Душой и телом он посвятил себя единой и неделимой Французской республике и апостольству культа Свободы, Равенства, Братства — или Смерти.

И, однако же, несмотря на все это, до сих пор он позволял своему сердцу нарушать те правила свободы, по которым жил, и поработить себя колдовству пары голубых глаз — собственности одной бойкой девчонки, откровенно его презиравшей.

Какое-то время он терпел ее пренебрежение молча, ибо был преисполнен упрямого тщеславия, нашептывавшего ему, что вскоре она придет в себя и поймет, какой он славный парень и сколь велика будет честь стать женой того, кто уже стои́т так высоко в глазах великих людей из Конвента.

Теша себя этой надеждой, он продолжал ухаживать за ней, будучи совершенно уверенным в благоприятном исходе дела, и убеждал себя, что ее холодность — всего лишь одна из тех уловок, с помощью которых женщины обычно скрывают истинные побуждения сердца.

Но внезапно с глаз его спала пелена, и он увидел, сколь глубоко заблуждался. Жанетта стала нареченной невестой некоего Андре, капитана армии. Узнав утром об этом от гражданина Жильбера, ее отца, Брут аж потемнел от гнева, потому-то и сидел теперь, чертыхаясь, в свежевыбеленном кабинете. Припомнив косой взгляд, коим Жильбер сопроводил эту новость, он со всем злобным коварством своего ума принялся размышлять над тем, как бы отплатить гражданину Жильберу за этот взгляд, а Жанетте — за ее безразличие.

Брут вдруг припомнил, что некоторое время назад ходили слухи — в ту пору им, вследствие того, что они представлялись опасными для человека, которого он выбрал на роль своего тестя, пресеченные и проигнорированные, — что гражданин Жильбер, мол, водит связь с некими английскими аристократами, объявленными на туманном Альбионе вне закона. А что, если в этих слухах таится хотя бы крупица правды? Право же, в таком случае вместо него благородно свершит возмездие госпожа Гильотина!

Как только эта мысль пришла ему в голову, гражданин Брут тут же ожил и вызвал Виллета, отчаянного негодяя, который был одновременно и его чиновником — этим эвфемизмом законы равенства заменили слово «слуга», — и его шпионом.

Закрыв, по приказанию Брута, за собой дверь, Виллет украдкой взглянул на патрона из-под кустистых бровей. Гражданин Виллет был крепко сбитый молодой человек в грубой — как и полагается заместителю такого патриота — одежде и на редкость раздражающего и неопрятного вида.

— Помните слухи, ходившие с месяц тому назад, — спросил Брут, — относительно гражданина Жильбера?

— Что он ведет переписку с некими английскими аристократами?

— Да, эти самые. Так вот, до меня снова дошла подобная информация — на сей раз из источника, который заставляет меня полагать, что эти слухи вполне могут иметь под собой основания.

— Основания! — фыркнул Виллет. — Да я же еще тогда уверял вас, что все это правда — от начала и до конца. Если нужны доказательства...

— Доказательства?! — взволнованно прервал его Брут. — А что, милейший, у вас есть доказательства?

— Да целая тележка! Чиновник гражданина Жильбера, мой кузен Роденар, сообщил мне, что в некоем алькове, который всегда заперт, Жильбер хранит массу изменнических документов, за которые можно было бы отправить на гильотину половину Онфлёра.

— Вы можете поручиться, что ваш кузен не ошибся?

— Ошибся? Да вы не знаете Роденара, гражданин мэр.

— Хмм... Если он столь же искусен в подслушивании и подглядывании через замочную скважину, как вы, Виллет, его информация должна быть надежной.

Мясистые губы чиновника сложились в улыбку — похоже, он нашел замечание мэра весьма лестным.

— Я хотел бы сам поговорить с этим Роденаром, — сказал Брут.

— Я приведу его к вам этим же вечером.

— Хорошо. Можете идти.

— Да, у нас там внизу два каких-то солдата, — объявил Виллетт, уже направившись шаркающей походкой к двери. — Они в Онфлёре проездом и намерены остаться здесь до завтрашнего дня. Документы в порядке. Они пришли к вам за ордером на постой.

— Прекрасно. Пусть Баррет сам их где-нибудь расквартирует, — рассеянно ответил мэр, которому в этот момент было не до каких-то солдат. Но в следующий миг его вдруг осенило. — Хотя вот что, Виллет... — сказал он. — Пусть Баррет устроит их обоих у гражданина Жильбера. Это может послужить интересам Республики.

Многозначительно подмигнув, Виллет закрыл за собой дверь и, насвистывая «Марсельезу», сбежал вниз.

В кабинете на первом этаже, где велись дела мэра, он обнаружил двух солдат, ожидающих расквартирования.

Оба были в синих мундирах республиканской армии, нанковых брюках и черных гетрах; но если один из них — здоровенный малый, телосложение и рост которого свидетельствовали о невероятной силе — носил за спиной тяжелый ранец и невозмутимо опирался на мушкет, другой — тот, что был моложе, с миловидным и приятным лицом — был при шпаге и шерстяных эполетах офицера. Золотые эполеты были отменены Конвентом во имя борьбы со старорежимным кастовым неравенством.

В дальнем конце унылой комнаты стоял заваленный бумагами стол, за которым сидел Баррет, секретарь. Это был бледнолицый молодой человек хрупкой внешности, одетый с «аристократической», на взгляд Виллета, аккуратностью и приличием.

— Гражданин мэр желает, чтобы вы отправили этих синемундирников на постой к гражданину Жильберу,— сказал Виллет бледнолицему секретарю в своей обычной грубовато-угрюмой манере.

Баррет кивнул и обмакнул перо в чернильницу.

— Будет сделано. Только что доставили несколько писем. Одно из них — из Комитета общественного спасения; в нем говорится, что вечером сюда прибывает депутат Конвента, гражданин Дантон. Нужно сейчас же сообщить об этом гражданину мэру. Отнесете ему письмо?

Виллет молча — и в этом молчании чувствовалась некоторая обида — взял конверт и вышел из комнаты.

Когда он удалился, секретарь на несколько секунд вернулся к своей работе, затем, поднявшись, протянул по ордеру каждому из ожидавших солдат.

— Итак, вы квартируете на Национальной улице, у гражданина Жильбера. Это будет третья улица слева, после того как пройдете...

— Дорогу я знаю,— прервал его офицер.

Секретарь, казалось бы, удивился, но ничего не сказал. Будучи человеком наблюдательным, он давно уже понял: меньше говоришь — спокойнее живешь.

Как только служивые вышли из здания и двинулись вдоль набережной, молодой офицер разразился приятным смехом.

— Пфф! Вы только подумайте, Симон: мой соперник отправил меня на постой к Жильберу!.. Хоть бы сначала поинтересовался, как меня зовут. По словам Жильбера, он из тех, кого следует опасаться. Вот еще!..

— Тише-тише! — воскликнул его исполинского сложения спутник, испуганно озираясь по сторонам. — И когда вы уже разучитесь разговаривать криками? В один прекрасный день это будет стоить вам головы, будьте уверены. Да и потом, я как-то не вижу, что здесь смешного? Этот скотина быстро обнаружит природу своего заблуждения, а мэры имеют привычку исправлять допущенные ошибки не самым приятным образом.

— Пфф! Завтра вечером нас здесь уже не будет.

— Но что, если он обнаружит, что расквартировал у гражданина Жильбера капитана Андре, еще сегодня?

— И что из этого? Вы разве не слышали, как тот парень сказал, что вечером в Онфлёр прибывает Дантон? Если понадобится, я обращусь к нему. Он не какой-то там провинциальный мэр, и человек военный всегда может рассчитывать у него на справедливость.

— Справедливость! — презрительно хмыкнул Симон. — И какой же будет справедливость, когда Брут укажет на вас обвиняющим пальцем от имени Республики? Справедливость, мой друг, — синоним гильотины.

— Черт бы вас побрал, Симон! И повезло же мне, истинному патриоту, иметь в товарищах такого мрачного типа! Вы только посмотрите, как ярко светит солнце! А завтра и вовсе — день моей свадьбы. К чему вообще вспоминать о гильотинах?

Что-то проворчав в ответ, Симон умолк и так, без единого слова, тащился рядом с Андре до самой Национальной улицы.

II

Малышка Жанетта приветствовала своего возлюбленного со слезами на глазах, а старику Жильберу тот факт, что Брут невольно направил Андре на постой именно к нему, показался превосходной шуткой.

Вместе с тем Жильбер сожалел, что в тот самый день был вынужден уволить своего чиновника, Роденара, которого застал подслушивавшим у двери. Сколь бы банальным ни был этот инцидент, он сразу же пробудил в Симоне подозрительные и пессимистичные инстинкты. Он полагал, что, возможно, тем самым Жильбер вложил в бессовестные руки Брута опасное оружие. Что могло помешать этому Роденару поклясться в какой угодно лжи против Жильбера? То были дни, когда обвинение в измене нации шло в кильватере подозрений или наговоров. Доказательств почти не требовалось — случалось, обходились и вовсе без них. В безудержном стремлении к свободе до подобных пустяков никому не было дела.

Впрочем, свои дурные предчувствия Симон придержал при себе, не желая омрачать их высказыванием беззаботное счастье милейшего Андре и малышки Жанетты. То, что эти опасения не были беспочвенными, доказала сцена, разы-

Малышка Жанетта приветствовала своего возлюбленного со слезами на глазах.

гравшаяся в том доме несколькими часами позднее. Посреди ночи жильцов разбудил громкий стук в парадную дверь. Старик Жильбер поднялся с постели в трепете и с сотней страхов в сердце, ибо, так как он и в самом деле состоял в заговоре, совесть его была не слишком чиста, и спустился вниз в ночном колпаке и халате, чтобы выяснить причину этого ночного визита.

Едва он открыл, как чья-то могучая рука распахнула дверь настежь, и в дом вошел здоровенный громила во фригийском колпаке — этом ужасном символе кровожадного патриотизма, — а вслед за ним и еще двое мужчин. Один из них

нес фонарь, который поднял так, чтобы свет падал на лицо Жильбера. Это был Роденар, уволенный Жильбером чиновник.

— Так вы, Жильбер, и есть тот самый гнусный предатель? — воскликнул тип в красном колпаке.

У старика ёкнуло сердце. Его предали. Тем не менее, скорее инстинктивно, нежели по велению разума, он спокойно ответил:

— Я не предатель, а гражданин Жильбер. Кто вы такой и что вам нужно в подобный час?

— Дела нации не знают часов, для них не существует времени, — последовал напыщенный ответ, и в грубом тоне, с кучей бранных выражений патриот поведал Жильберу, что Комитету общественного спасения известно: он предатель, состоящий в переписке с объявленными вне закона аристократами, и они пришли для того, чтобы поставить печать Республики на дверь некоего алькова, где, как им известно, хранятся документы, которые могут подтвердить это обвинение.

По всему телу старого заговорщика пробежала мелкая дрожь, но он возразил, что это какая-то ошибка.

— Вы знаете этого человека? — резко спросил патриот, указав на Роденара.

Жильбер поднял свечу так, чтобы свет упал на хищно ухмыляющуюся физиономию шпиона.

— Да. Он был моим чиновником. Я уволил его за недостойное поведение. Если ваша информация поступила от него...

— Так оно и есть, гражданин Жильбер, — с грубым смехом прервал его Роденар, а затем, повернувшись к своим спутникам, воскликнул: — Следуйте за мной, и я покажу вам, где этот приверженец аристократов хранит свои документы.

У Жильбера застучало в висках, во рту вдруг пересохло, и все же, сделав над собой усилие, он постарался сохранить самообладание.

— Постойте! — вскричал он, преграждая им путь. — Это какой-то заговор с целью ограбить меня. Где ваш ордер?

Патриот в красной колпаке сунул старику под нос засаленную бумажку с официальной печатью мэра, и тот отступил в сторону.

— Что ж, граждане, можете приступать к обыску, — произнес он прерывистым голосом и вслед за незваными гостями направился к лестнице.

Поднявшись на второй этаж, Роденар повернул к столовой и, проследовав через нее, остановился у двери в альков, где, как он знал, хранились доказательства измены Жильбера. Ключ находился в замке, но, по странной случайности, повернут не был.

Патриот отметил этот факт, но вместо того, чтобы открыть дверь, как ожидал Жильбер, просто запер ее и сунул ключ в карман. Затем, вытащив кусок воска, расплавил его и тремя широкими мазками наложил на дверную щель, соединив таким образом дверь и раму вместе, после чего оставил на всем этом оттиск огромной медной печати.

— Вот, — сказал он, отступив на шаг, словно художник, осматривающий свою работу. — Теперь содержимое этого алькова находится под печатью Республики. Хоть пальцем к ней прикоснетесь, и я вам не завидую. Завтра утром депутат Конвента гражданин Дантон и гражданин мэр явятся сюда для изъятия документов.

— Отец, что происходит? — раздался позади них робкий голос.

Мужчины повернулись. В дверном проеме стояла девушка во всем белом; ее белокурые волосы свободно падали на плечи, а лицо выглядело бледным и испуганным в свете свечи, которую она держала в руке.

Нечто столь чистое и ангельское было в этом видении, что громил словно обуял благоговейный трепет, и их грязные языки не посмели отпустить ни одной непристойной шуточки. Даже Жильбер ради дочери постарался принять абсолютно спокойный вид.

— Возвращайся в постель, Жанетта, — воскликнул он, — не то простудишься. Ничего тут не происходит. Эти граждане здесь по делам Республики, о которых истинные патриоты должны думать в любое время суток, только и всего. Ступай спать, дитя мое.

И девушка, хоть ей и совсем не понравились взгляды этих хмурых патриотов, повиновалась старику.

Жанетта была не единственной, чей сон оказался потревоженным. На верхней площадке стояли двое мужчин и, перегнувшись через перила, прислушивались к доносившимся до них звукам. Андре с юношеской порывистостью хотел было спуститься, но осторожный Симон чуть ли не силой удержал его, велев подождать. Лишь когда патриоты сошли вниз и за ними закрылась входная дверь, Симон позволил Андре откликнуться на зов его сердца. И то, что благоразумие подсказало Симону именно такой образ действий, пошло всем четверым только на пользу.

Как только патриоты удалились, Жильбер вышел из разыгрываемой перед ними роли, и выдержка и спокойствие, к которым он все это время призывал себя, тут же его покинули. Свеча выпала из его дрожащих пальцев, ноги подкосились, и, уже теряя сознание, он с нечленораздельным стоном осел на пол у стены. В таком состоянии его и нашел Андре, который с помощью Симона перенес старика наверх, в ту самую комнату, куда привел патриотов Роденар.

Бледная и испуганная, прибежала Жанетта и, опустившись перед отцом на колени, молча принялась растирать ему руки. Симон оглядел комнату в поисках какого-нибудь ключа к разгадке этих ночных волнений. Взгляд его упал на запечатанную дверь, он неопределенно хмыкнул и уже намеревался обратить на нее внимание Андре, когда старик вдруг пришел в себя.

С глубоким вдохом Жильбер открыл глаза, растерянно огляделся по сторонам, затем вдруг сознание вернулось к нему в полной мере, и он простонал:

— Боже! Меня отправят на гильотину!

— Отец, дорогой отец, — умоляющим тоном прошептала Жанетта, с состраданием вглядываясь в его бледное лицо. — Что случилось?

— Теперь содержимое этого алькова находится под печатью Республики. Хоть пальцем к ней прикоснетесь, и я вам не завидую.

С выражением глубокой жалости — жалости к дочери, и на какой-то миг та острая боль, которую ему вот-вот предстояло причинить ей, заняла место его собственной боли и страха, — старик посмотрел на нее сверху вниз, положив свою тонкую белую руку на ее юную белокурую голову.

— Мужайся, Жанетта, — пробормотал он. — Мужайся, дитя мое. Бог не оставит тебя! — Затем, внезапно повернувшись к Андре, стоявшему рядом с ним, он добавил: — Андре, поклянитесь, что будете любить и лелеять ее после... после того, что случится завтра утром.

Голосом, который от волнения стал поразительно непохож на его обычный, молодой человек принес клятву.

— Неплохо бы, — внезапно вмешался флегматичный Симон, который стоял на заднем плане и смотрел на них с хмурым, скорее даже сердитым видом, — неплохо бы, что прежде чем хоронить вас, гражданин Жильбер, все же убедиться, что вы мертвы.

Старик вымученно улыбнулся.

— Еще как мертв, — ответил он. — Эта печать — мой смертный приговор. Думать о побеге — безумие, ибо за домом наверняка следят.

— Хмм! А что там такого, в этой комнате? — спросил Симон.

— Куча писем от аристократов и другие документы, которых хватило бы для того, чтобы отправить на гильотину целый армейский полк.

— Ну, раз они столь опасны, очевидно же, что мы должны их уничтожить, — хладнокровно сказал солдат.

— Уничтожить?! — воскликнул Жильбер, вскакивая на ноги. — Да вы в своем уме? Туда нельзя проникнуть никак иначе, кроме как через эту дверь. А если печать будет сломана, меня гильотинируют.

— Вас гильотинируют, даже если она не будет сломана, так что...

Он резко остановился: Жанетта упала в обморок.

— Посмотрите, что вы натворили, Симон! — воскликнул Андре с гневной ноткой в голосе, бросившись поднимать потерявшую сознание девушку. — Зачем было говорить об этом с такой жестокостью?

Симон пожал широченными плечами и, не удостоив обвинение друга ответом, повернулся к Жильберу и попросил рассказать о визите патриотов во всех деталях. Получив их, он на какое-то время задумался.

— Какого размера данный альков? — спросил он наконец.

— Почти с половину этой комнаты.

— Такой большой? Хорошо. Так вы говорите, дверь была не заперта?

— Да — из-за моей собственной небрежности, вызванной увольнением Роденара.

— Они повернули ключ, даже не заглянув внутрь?

— Да.

— Тупицы! — проворчал Симон. — Интересно, на что рассчитывает Конвент, набирая таких слуг? Похоже, тут не обошлось без руки Провидения, гражданин Жильбер.

— Вы нашли выход? — воскликнул старик, задрожав от надежды, к которой, впрочем, примешивался и некоторый страх.

— Да так, пришла в голову одна мысль. Безнадежные ситуации, гражданин, требуют радикальных мер. Мой план может увенчаться успехом; если он сработает, вы спасены, если нет — хуже ваши дела уж точно не станут.

— Симон, Симон, зачем вы мучаете меня надеждой?

— Депутат Конвента гражданин Дантон, — спокойно продолжал Симон, — встает очень рано и может явиться ни свет ни заря. Если так оно и случится, все будет в порядке, если же нет, — он многозначительно провел пальцами по горлу, — мы с вами уедем отсюда на повозке для смертников. Но займемся документами.

И прежде, чем Жильбер понял, что задумал солдат, Симон наложил одну свою могучую руку на замок, а другую на засов примерно в двух футах над ним, после чего, упершись коленом в раму и применив всю свою чудовищную силу, рванул дверь на себя.

Не обращая внимания на недоуменные вопросы, коими его забросали Андре и Жильбер, Симон велел старику собрать и уничтожить компрометирующие его документы. То теша себя надеждой, то содрогаясь от страха, Жильбер, совершенно уже лишившийся всяческой собственной воли и слышавший теперь лишь решительный голос солдата, повиновался ему, словно во сне.

Жанетта заерзала на стуле, на который ее усадил Андре.

— Не падайте духом, юная леди, — воскликнул Симон, выступив вперед. — Мы намерены спасти вашего отца и пока будем работать, лучше помолитесь о том, чтобы Небеса помогли нам. Андре, мне понадобится ваша помощь.

— Но каков ваш план?

— Поймете, когда всё будет готово. Пойдемте, нельзя терять ни минуты. Молитесь о том, мадемуазель, чтобы гражданин Дантон счел нужным явиться сюда еще утром — и лучше бы как можно раньше.

III

Была ли услышана молитва Жанетты, неизвестно, но наутро, едва пробило семь, в дверь старика Жильбера действительно постучал депутат Конвента гражданин Дантон, с которым были мэр Брут и двое солдат.

Им открыл сам Жильбер и, дабы позволить им войти, отступил в сторону.

Дантон смерил подозреваемого проницательным взглядом.

— Вы что-то подозрительно бледны, гражданин, — промолвил он громовым голосом — голосом, который потряс всю Францию.

— Ну да, — ответил Жильбер со вздохом, который отнюдь не был притворным, — ночью я так и не смог уснуть, ибо мне, истинному и преданному патриоту, нанесли жестокое оскорбление.

— Посмотрим, посмотрим, — ответил Дантон. — Но если вы и в самом деле такой, каким себя называете, почему вы так боитесь... так дрожите, милейший?

Жильбер закрыл дверь.

— У меня есть веская причина дрожать. Совершенная ошибка столь чудовищна, что...

— Полноте, полноте, гражданин, — усмехнувшись, перебил его Брут, — позвольте гражданину депутату самому судить обо всем. Отведите нас к той комнате, которую запечатали мои посланники.

Жильбер ступил на лестницу, но не успел подняться и на пару ступенек, как раздался яростный стук.

— Это еще что такое? — резко воскликнул Дантон.

— Боже! — воскликнул Жильбер. — Они проснулись! Я боялся, что так оно и выйдет, — добавил он страдальческим тоном. — О, скорее же, граждане! Скорее, не то они там всё переломают!

И старик чуть ли не бегом устремился наверх — сами не зная почему, все четыре представителя власти кинулись следом.

Не успели они преодолеть и половины пути, как раздался треск ломающегося дерева, сопровождавшийся громкими криками: «Откройте!»

— Скорее, граждане, — с трудом переведя дыхание, воскликнул Жильбер со всеми внешними признаками ужаса. И, сбитые с толку этой неожиданной сценой, все ускорили шаг.

Едва они поднялись на площадку, как Жильбер, еще раз воскликнув: «Скорее!», метнулся к столовой, из которой доносились все эти звуки.

Достигнув порога, они увидели в глубине комнаты дверь, на которую были наложены печати. Одна из ее панелей уже была расколота, и прямо у них на глазах вся дверь сотряслась, словно от мощнейшего удара. Затем вдруг засовы и замок разлетелись на части, и дверь с треском вылетела из рамы и упала на пол вместе с огромным телом некоего мужчины.

В один миг он вскочил на ноги, рыча и изрыгая проклятья, затем, остановив взгляд на Жильбере, с ревом бросился на старика и железной хваткой вцепился ему в горло.

— Предатель! Собака! Пособник аристократов! — пророкотал он, яростно тряся свою жертву.

Несмотря на все свое недоумение, Дантон приказал солдатам помочь ему растащить этих двоих, прежде чем старик будет задушен. Так они и поступили, набросившись на Симона, который, оставив в покое Жильбера, стряхнул их с себя с не меньшей легкостью, чем пёс избавился бы от пары крыс.

— Отвалите от меня! — проревел он. — Я покажу этому предателю, что бывает с тем, кто держит под замком солдат, сражавшихся за Францию.

Он с ревом бросился на старика и железной хваткой вцепился ему в горло. «Предатель! Собака! Пособник аристократов!» — пророкотал он.

— Успокойтесь, приятель, — гаркнул Дантон, вроде как понявший, в чем дело. — Старик тут ни при чем. Тут есть кое-что, нуждающееся в объяснении, — и он бросил долгий, едкий взгляд на Брута, чье лицо сделалось поразительно бледным.

Симон, казалось бы, только теперь осознал их присутствие. Оглядев их с головы до ног, он перевел взгляд на двух сопровождавших их солдат и, охнув — его игре позавидовал бы любой актер! — позволил себе опустить руки по бокам.

— Быть может, кто-нибудь изволит мне всё объяснить? — попросил он уже очень спокойным голосом.

Тут Андре, который стоял у выбитой двери, внимательно осматривая засовы, обратил на себя внимание возгласом удивления.

— Симон, — воскликнул он, — эта дверь была опечатана!

— Опечатана? — недоверчиво переспросил Симон.

Дантон повернулся к своему спутнику со зловещим смехом, от которого сердце мэра ушло в пятки.

— Вам лучше бы всё объяснить, гражданин Брут, — холодно заметил он.

Мэр попытался объясниться, но был столь испуган, что его объяснения приняли тон и форму извинений.

Пока он говорил, Дантон подошел к двери алькова и заглянул внутрь. Он увидел просторную комнату с большой кроватью, на которой валялась одежда, на столе в углу стояли таз и кувшин, на стуле — открытый ранец, а пол был усеян предметами армейской экипировки.

Когда Брут закончил свое объяснение, Дантон повернулся к нему и тоном, от которого мэр содрогнулся, спросил:

— Так вы привели меня сюда по поручению этого тупицы? А вчера вечером отправили сюда своих мирмидонов для того, чтобы опечатать спальню этих солдат?

— Боюсь, здесь какая-то ошибка... — начал было мэр.

— Ошибка? — переспросил Дантон, вскидывая свою огромную голову. — Похоже, так и есть. Откуда у вас информация, касающаяся гражданина Жильбера?

— От Роденара.

— От Роденара? Кто такой Роденар?

— Он был моим чиновником, — робко вставил Жильбер. — Вчера я уволил его, и, полагаю, он мог выдвинуть против меня обвинение со злости. Вы и сами, гражданин Дантон, видите, сколь оно ложное и беспочвенное.

Пару мгновений Дантон смотрел на него сурово, и в эти секунды судьба старика висела на волоске.

— У вас лицо честного человека, — сказал наконец депутат Конвента, — и, видя, сколь недостоверной является поступившая против вас информация, я склонен вам верить.

— Вы ошибаетесь, гражданин Дантон, — в бешенстве воскликнул Брут. Хмурый взгляд депутата, казалось бы, должен был послужить ему предупреждением, но глупец промямлил: — Во всем этом есть некий заговор. Клянусь перед Небесами...

Дальше он не зашел.

— Что? — прорычал Дантон. — Конвент сделал вас мэром Онфлёра, надел на вас эту ленту, а вы так мало знаете о его доктринах? Не сомневаюсь, еще немного — и вы еще завопите: «Да здравствует король!»

— Я не намерен терпеть подобное издевательство! — выпалил Брут, который уже настолько потерял голову от страсти, что напрочь утратил все свое благоразумие. — Дни тирании прошли. Все люди равны, и нечего тут разыгрывать передо мной аристократа в эти времена свободы!

— Верно, — ответил Дантон чрезвычайно спокойным — что уже не сулило мэру ничего хорошего — голосом. — Дни тирании ушли навсегда, и мы живем в эпоху славной свободы — и во имя этой свободы, а также для того, чтобы такие глупцы, как вы, гражданин Брут, не подвергали опасности ее существование, мы изобрели одно хитроумное приспособленьице, с которым вы вскоре

сможете познакомиться. Граждане солдаты, — добавил он, повысив голос, — арестуйте этого человека. Я объявляю его врагом общественного спасения.

Тщетны были протесты Брута, тщетны его мольбы, еще более тщетны беспрестанные богохульства. Отчаянно сопротивлявшегося мэра уволокли прочь, в то время как Дантон от имени Французской республики извинился перед Жильбером за неудобства, причиненные ему некомпетентностью одного из ее слуг.

Наконец они ушли, и Жильбер, Андре и Симон остались одни в комнате, стоя вокруг débris[1] двери, выбитой могучим плечом солдата.

— Хвала Небесам, — сказал Андре.

— Друзья, меня переполняют эмоции, — пробормотал Жильбер, и в глазах его блеснули слезы.

— А я голоден как волк, — торжественно произнес Симон. — Позовите-ка Жанетту, и, во имя Свободы, давайте позавтракаем!

[1] Обломки (фр.)

ПРИЗРАК ГРАЖДАНИНА ДЮВАЛЛОНА

— Вы будете прекрасно устроены, гражданин капитан, — сказал Жаклен. — Во всей Тулузе, если не во всей Франции, нет более убежденного республиканца, чем гражданка Дюваллон. Не далее как две недели назад она сдала родного брата, после чего он, признанный предателем нации, отправился на гильотину.

— Вот как!.. — загадочно воскликнул Вериньяк. — Такую женщину, гражданин мэр, действительно следует уважать. Республика вполне могла бы разрешить ей принять имя одной римской дамы, которая была известна тем, что приносила в жертву людей.

Учитывая тот факт, что мэр Тулузы, в знак твердости своих патриотических принципов и следуя распространившейся в то время в недрах его социального класса моде, принял имя Квинта в честь одного знаменитого римлянина, отдавшего жизнь за свою страну; нотка иронии, прозвучавшая в голосе Вериньяка, выглядела весьма опрометчивой. Но капитан был заядлый шутник, и сатира всегда оставалась самой острой среди припасенных в его колчане словесных стрел.

— Гражданин изволит шутить? — спросил Жаклен, прищурив свои узкие глаза.

— Шутить? Клянусь Святой гильотиной, нет, я не шучу. Возможно ли вообще шутить на такую тему? И следует ли тому, кто знает, что это такое — проливать свою кровь за Францию, — шутить над тем, кто сделал не меньшее — ибо, полагаю, ее брат был с ней одной крови. — Вериньяк повернулся к молодому солдату, державшемуся у него за спиной. — Пойдемте, Арман, — сказал он, — поищем эту благородную и патриотичную женщину, у которой нам предстоит иметь честь остановиться на постой. Хорошего вам дня, гражданин мэр.

Жаклен проводил их кислой улыбкой.

— Аристократ, — проворчал он. — Несмотря на кокарду и шерстяные эполеты, в душе он так и остался аристократом.

И действительно, для солдата Французской республики, единой и неделимой, Оноре Вериньяк — от дворянского «де» капитан благоразумно отказался, осознав, что, пусть эта частица и весьма безобидна, для многих

— Гражданин-солдат изволит шутить? — ответила женщина с мрачным презрением.

она стала билетом на гильотину — имел вид опрятный и даже изысканный. Синий мундир сидел на нем идеально, нанковые брюки были безупречно белого цвета, белье отличалось аристократической чистотой, а черные волосы были собраны в «хвостик» с совершенно нереспубликанской аккуратностью. Лицо его несло на себе печать патрицианской надменности.

Если Жаклен про себя окрестил уходящего капитана аристократом, то Мадлен Дюваллон сочла его, когда он вместе с денщиком предстал перед ней

на крыльце ее дома с ордером на постой, на основании которого Республика вынуждала ее принять Вериньяка в качестве своего гостя, — эмигрантом, маскирующимся под офицера Конвента.

Он нашел ее худощавой, с неприятным лицом и грубой речью, с близко посаженными хитрыми, жадными глазами над клювастым носом, высокими скулами и безгубым ртом. Но сколь мало ни располагала к себе внешность хозяйки, прием, оказанный ею незваным гостям, пришелся капитану еще менее по вкусу.

— Неужели синие мундиры будут досаждать мне вечно? — таким было ее приветствие.

— Призна́юсь, гражданка, я думал, вы уже устали, оттого что вам досаждают одни лишь синие дьяволы[1], — ответил Оноре.

— Гражданин-солдат изволит шутить? — ответила женщина с мрачным презрением.

— Черт подери! — запротестовал Вериньяк. — Неужели вся Тулуза будет принимать меня за шута? Уверяю вас, маркиза, — добавил он с низким поклоном, — я безмерно огорчен этим вторжением в ваше жилище, к которому меня принуждает бестактное правительство санкюлотов. Если бы я только знал, герцогиня, что мы найдем вас в состоянии депрессии...

Его прервали хриплый хохот Армана и раздраженное восклицание женщины.

— Теперь вы изволите меня оскорблять? — вскричала она, гневно сверкнув глазами.

— Я, гражданка? — воскликнул Вериньяк. Хотя он и сам понимал, что его слова недостойны, все же позволил им сорваться с губ, ибо эта женщина внушала ему глубокое отвращение. — У меня и в мыслях не было оскорблять столь верную и преданную нации женщину. Просто я только что узнал от гражданина мэра о том, сколь великую жертву вы совершили: как-никак вы выдали трибуналу родного брата.

Едва эти слова сорвались с губ капитана, как ему захотелось забрать их обратно, — столь сокрушительный эффект они произвели на несчастную женщину. Ее щеки посерели, губы посинели, глаза остекленели. Дважды она пыталась заговорить, прежде чем ей это наконец удалось; затем хриплым понизившимся почти до шепота голосом предложила им войти. Проведя гостей в скудно обставленную комнату с побеленными стенами, она объявила, что пойдет приготовит ужин, и оставила их одних.

— Поверьте, Арман, — промолвил Вериньяк, когда дверь закрылась, с той непринужденной фамильярностью, которая преобладала в революционной армии в отношениях между офицерами и солдатами, — брат этой женщины — счастливый человек.

— И в чем же его счастье, капитан? — осведомился молодой нормандец-денщик, не слишком быстро шевеливший мозгами.

[1] Игра слов. Английское «the blue devils» означает «уныние, меланхолия, хандра».

— В том, что он мертв, — ответил Вериньяк, сделав ударение на последнем слове. — Вам когда-либо доводилось видеть подобную скотину, подобную Иезавель[1]? И не то чтобы у нее совсем не было совести — вы ведь заметили, как она изменилась в лице, когда я упомянул об убитом ею брате?..

Но Вериньяк немного ошибался в своих выводах. Как ему вскоре предстояло узнать, несчастную женщину мучила не совесть, а страх.

За ужином, относительно которого Вериньяк сказал себе, что это худшая еда, которую он когда-либо ел, она была молчаливой и угрюмой. По завершении трапезы встал вопрос о размещении на ночь.

— Боюсь, капитан, — извинилась хозяйка, — я смогу предложить вам не слишком много удобств.

— Гражданка, я — солдат. В случае чего на полу мне спится так же хорошо, как и в постели, да и Арман не более привередлив. Лишь бы нас не беспокоили — большего мы и не просим.

Мадлен Дюваллон облегченно вздохнула.

— Я могла бы предложить вам свою собственную комнату...

— Что вы, что вы, не смею вас обделять...

— Заняв ее, вы ничем меня не обделите. После прошлой ночи мне просто-напросто не хватает духу спать в этой комнате. Вам и в самом деле следовало бы занять ее, капитан, но, боюсь, там не будет спокойно никому.

Вериньяк бросил на нее вопрошающий взгляд.

— Там водятся привидения, — пояснила женщина.

— Привидения! — пренебрежительно фыркнул Вериньяк, будучи республиканцем, материалистом, слугой правительства, упразднившего загробную жизнь. — Да быть не может! Вы, верно, шу́тите!

— Можете улыбаться сколько вам вздумается, капитан Вериньяк, — торжественно ответила Мадлен Дюваллон, и он заметил, что ее щеки стали белее мела, — но все обстоит именно так, как я и сказала. Спросите Веронику, она подтвердит, — и она указала на пожилую женщину, исполнявшую обязанности ее «чиновницы» — под таким эвфемизмом во всё уравнивающем лексиконе Конвента были известны служанки. Вероника кивнула и поспешила удостоверить: хозяйка говорит истинную правду.

— Полноте! — воскликнул офицер. — Должно быть, это какая-нибудь безрассудно смелая крыса.

— Крысы не разговаривают, гражданин солдат, — упрекнула его хозяйка.

— Ха! Так оно, это ваше привидение, еще и разговаривает? Все лучше и лучше. Тогда, быть может, у него есть и некая реальная личность?

Мадлен посмотрела на него в ужасе, и голос ее дрогнул, когда она ответила:

— Капитан Вериньяк, это голос моего брата, гильотинированного две недели назад.

---

[1] В Библии *Иезавель* — жена израильского царя Ахава, дочь сидонского царя Ефваала. Ее имя стало синонимом бесчестия и разврата.

— Боже, — пробормотал офицер и, замолчав, подумал: «А ведь я был прав в том, что не отказал этой женщине уже хотя бы в само́й способности испытывать угрызения совести». Пусть в душе капитан и считал ее чудовищем, все же он вынужден был признаться себе, что испытывает к ней, подталкиваемой призраками к пути раскаяния, некоторую жалость. Но внезапно эти его размышления прервал голос Вероники.

— Так и есть, гражданин капитан, я тоже слышала и узнала этот голос.

Вериньяк запрокинул голову и пристально посмотрел на женщину. Не было видно никаких угрызений совести, чтобы вызывать для нее призраков. Он был озадачен. Может ли быть так, что просвещенные свободомыслящие люди, из которых революция породила передовую расу, были во всем виноваты; что была потусторонняя жизнь и что призраки не были сказкой старой жены?

Капитан налил себе стакан разбавленного, кислого вина, которым снабдила его хозяйка, и залпом выпил. Он принял решение еще до того, как поставил стакан на стол.

— Гражданка, — непринужденно сказал он, — я лягу спать в той комнате.

— Но вдруг, капитан, — воскликнула женщина встревоженным голосом, — с вами здесь, в моем доме, случится какое-нибудь несчастье?

— Да что мне может сделать этот ваш призрак? Гражданка, вашим рассуждениям недостает здравомыслия. Какой вред нематериальное может нанести материальному? Мое решение непоколебимо. Я, можно сказать, знаток призраков — питаю к ним страсть. Буду спать в той комнате и обязательно приду к взаимопониманию с этим вашим призраком.

Но гражданка продолжала протестовать до тех пор, пока Вериньяк со смехом не возразил: он, мол, уверен, что она — всего лишь жертва грубого фарса, который кто-то разыгрывает с целью напугать ее при помощи некоего приспособления, приводимого в действие в определенный момент.

— Призраков не существует, — воскликнул он и с той тонкой иронией, которая была ему присуща, добавил: — Разве Республика не упразднила рай и ад?

— Вы ведь сейчас не шутите? — пылко воскликнула мадам Дюваллон. — Вы и в самом деле полагаете, что во всем этом может крыться какой-то обман?

— Полагаю ли я так? Да я в этом уверен. И я его раскрою — специально для вас.

Так Вериньяк заполучил возможность провести ночь в комнате с привидениями. Вид ее удивил капитана. Она была обставлена благородно, что резко контрастировало с ультрареспубликанским аскетизмом остальной части этого убогого дома с побеленными стенами. Огромная, с пологом на четырех столбиках кровать из черного дуба, украшенная экстравагантной резьбой, сделала бы честь и королю.

Вооруженный фонарем, который он поставил на комод у кровати, томиком непристойных стихов Буаробера и парочкой пистолетов, спрятанных под подушкой, Вериньяк, сняв только китель и ботинки, бросился на свежие простыни.

Арман спал в комнате этажом ниже, в то время как женщины заперлись в другой комнате того же первого этажа и, терзаемые сомнениями, надеждами и страхами, принялись ждать развития событий.

Часы тянулись для Вериньяка чрезвычайно медленно, и никогда еще Буаробер не казался ему таким скучным. К полуночи он обнаружил, что зевает столь широко, что слезятся глаза. Он встряхнулся, подрезал фитиль фонаря и снова уселся читать и ждать. Но на сей раз, должно быть, задремал.

Внезапно он рывком сел, все его чувства мгновенно пробудились, пульс участился. Его разбудил громкий протяжный стон, так стонет человек, охваченный предсмертной агонией. Капитан огляделся по сторонам в поисках источника голоса и через пару секунд понял, что тот идет откуда-то сверху. Ему подумалось, что это неестественно, и от этого размышления в сочетании со странным, агонизирующим, неземным голосом по его спине пробежал холодок, хотя он, несомненно, был человек храбрый. Вскоре звуки, шедшие сверху, обрели форму слов.

— Покайся! — вскричал некто. — Искупи свой грех, мерзавка. Пренебрежешь моим предупреждением — и считай, ты сама уже на том свете, где, в наказание за совершенное тобой злодейство, тебя ждут вечные муки и огонь преисподней. Уж лучше верни моему сыну то, что досталось тебе ценой моей смерти. Покайся! — Голос, казалось бы, стал удаляться. — Искупи свой грех! — повторил он и стих.

Наконец Вериньяк стряхнул с себя заклятие и, вскочив с кровати, схватил фонарь и поднял высоко над головой, чтобы лучи осветили комнату до самого потолка. Осмотр помещения ничего не принес, но капитан снова похолодел, будто его обдало сквозняком, и тотчас же послышался саркастический дьявольский смех, исходивший невесть откуда, но явно насмехавшийся над его бдительностью, — смех, от которого тело его содрогнулось, а волосы встали дыбом.

— Боже, — пробормотал Вериньяк, — возможно ли такое?

Несмотря на всю свою стойкость, он кое-как дотащился до кровати на трясущихся ногах и снова лег. Проявит ли это нечто как-нибудь себя снова? Прошло какое-то время, и, поскольку ничего не происходило, Вериньяк мало-помалу успокоился и, снова обретя мужество и способность мыслить здраво, горько упрекнул себя за минутную слабость и медлительность, проявленную при попытке прояснить загадку этого голоса. Вспомнив слова, произнесенные незваным гостем, и их значение, капитан понял: фантом полагал, что кровать по-прежнему занимает гражданка Дюваллон. Вериньяк коротко хохотнул, смеясь над самим собой: это же надо было так сглупить! Разве призрак способен совершать столь вопиющие ошибки?

Капитану стало стыдно. Какую историю поведать гражданке? Его единственная надежда заключалась в том, что призрак снова как-то себя проявит, и это даст ему, Оноре Вериньяку, возможность вернуть себе достоинство и самоуважение. Чтобы приманить призрака, на случай, если тот вдруг

Часы тянулись для Вериньяка чрезвычайно медленно...
Он взял в руку пистолет, сел на край кровати
и принялся терпеливо ждать.

подвержен искушению, он накинул на фонарь плащ, тем самым погрузив комнату во мрак. Отбросив в сторону книгу, он взял в руку пистолет, сел на край кровати и принялся терпеливо ждать.

По собственным ощущениям он просидел так несколько часов, вопреки всяческой надежды надеясь на возвращение духа. Наконец его молитвы были услышаны. Справа от него раздался тихий скребущий звук, потом скрипнула доска. Вериньяк сжал пистолет крепче.

Внезапно между столбиками у изножья его кровати появилось нечто белое, фосфоресцирующее и неопределенной формы, и при виде этого нечто в жилах капитана, еще минуту назад столь твердого и решительного, застыла кровь.

Призрак простонал. Он, казалось, приблизился, и едва это сделал, как снова скрипнула доска. Этот скрип снял с сердца Вериньяка холодную руку страха, и капитан позволил себе мягко усмехнуться.

«Хо! — подумал он. — Похоже, у нашего духа есть некая сущность».

— Покайся, — как и прежде, пророкотал голос. — Искупи свой грех, мерзавка.

Вериньяк сел и навел на фигуру пистолет.

— Гражданин призрак, — промолвил он с трогательной вежливостью, — боюсь, вы заблуждаетесь. Я — вовсе не мерзавка, а в меру жизнерадостный молодой человек. Если вы желаете пожурить гражданку Дюваллон, то она сейчас в спальне этажом ниже. Я бы посоветовал вам исправиться, и, если не хотите сломать на лестнице вашу призрачную шею, лучше возьмите вот этот фонарь.

Сказав это, Вериньяк приподнял плащ, скрывавший фонарь.

— Прошу вас, не двигайтесь, гражданин призрак, — крикнул он, — иначе я пробью пулей ту духовную материю, из которой вы состоите.

В комнате первого этажа ни одна из женщин не спала. Услышав пистолетный выстрел, внезапно разорвавший тишину ночи, и гражданка Дюваллон, снедаемая нервным беспокойством, и дремавшая на стуле Вероника поняли, что наверху, где остался на посту наблюдения капитан, происходит нечто весьма знаменательное. Вскочив на ноги, они — белые, как полотно, с выпученными глазами — тревожно переглянулись.

— Вы слышали, Вероника?

— Слышала, гражданка, — прошептала испуганная горничная, прижимая руку к вздымающейся груди.

Едва она произнесла эти слова, как по дому прокатился звук второго выстрела, за которым последовал крик ужаса: услышав его, Вероника аж вся затряслась.

Но гражданка Дюваллон была женщиной более крепкого склада характера. Стряхнув с себя на миг охватившие ее страхи, она взяла свечу и, подойдя к двери, широко распахнула ее. В коридоре она обнаружила солдата Армана в рубашке и бриджах; в свете тонкой восковой свечи его лицо выглядело испуганным и каким-то гротескным.

— Вы слышали выстрелы, женщина? — воскликнул он.

— Думаете, я глухая? — ответила мадам Дюваллон, усмехнувшись. — Но что вы стоите, как истукан? Бегите наверх, на помощь своему капитану, — и она указала на лестницу.

Паренек — а Арман и в самом деле был совсем еще юнец — пару мгновений смотрел на нее пустым, ошеломленным взглядом. Затем молодой новобранец совершил нечто странное — для солдата Конвента. Он благоговейно осенил себя крестным знамением.

— Я как-то не осмеливаюсь.

— Не осмеливаетесь?! — воскликнула она и уже хотела добавить что-то еще, как вдруг их внимание привлекли звуки, донесшиеся сверху. Дверь резко распахнулась, и раздались шаги, торопливые, но тяжелые и неровные, словно шаги пьяницы. Женщина невольно вцепилась в руку Армана и с испугом уставилась на лестницу. Спустя мгновение по ступеням, пошатываясь, расставив в стороны руки и придерживаясь за стену, спустился полуодетый капитан Вериньяк. Он судорожно ловил ртом воздух, и от всего его вида несло тем мрачным страхом, который рождается от непостижимого. Когда он наконец сошел вниз, они увидели, что его лицо белее мела, а глаза широко раскрыты от ужаса, вызванного чем-то невыразимым, что они, эти глаза, казалось бы, и сейчас видели перед собой.

Словно пьяный, капитан протиснулся мимо них в комнату, где, сгорбившись, сидела Вероника и опустился на стул. При виде его та взвизгнула, должно быть, по ошибке приняв за самого призрака. Так он и сидел, уставившись перед собой, губы его странно шевелились, но не произносили ни слова до того момента, пока голос Армана не привел его в чувство.

— Вот, капитан, выпейте бренди, — сказал солдат, протягивая вытащенную из ранца фляжку. Вериньяк сделал большой глоток, затем, поставив фляжку на стол, закрыл лицо руками и какое-то время сидел молча.

Наконец гражданка, не в силах больше сдерживаться, забросала его вопросами. Капитан поднял глаза. Он уже немного успокоился, его щеки порозовели.

— На вашем месте, гражданка, — воскликнул он, — я бы не оставался в этом про́клятом доме ни часом дольше и сию же минуту перестал бы вынашивать те гнусные планы, что кроются у вас в голове, если вы не хотите, чтобы этот бедный дух обрушил на вас страшную месть, которой он грозит вашему телу и душе.

Гражданка Дюваллон внезапно рухнула в кресло. Она ничего не ответила, но ее жалобный взгляд был полон красноречивых вопросов.

— Что конкретно вы видели, капитан? — простонала она наконец.

Вериньяк отпил из фляжки еще немного бренди.

— Когда я лежал там, наверху, на кровати, — начал он, — раздался голос, призвавший меня покаяться. Он шел вроде как ниоткуда, но звучал с каждой стороны от меня. Решив, что все это — некая ловкая проделка, я вскочил и, подняв фонарь, осмотрел комнату, но ничего не увидел. Все еще снедаемый

По ступеням, пошатываясь, расставив в стороны руки и придерживаясь за стену, спустился полуодетый капитан Вериньяк. Он судорожно ловил ртом воздух...

подозрением, я вернулся в постель и, приглушив свет, принялся ждать. Через некоторое время голос вернулся, но вместе с ним было и нечто иное — что-то белое, светящееся и расплывчатое, на какой-то миг повергшее меня в ужас. Снова решив, что это некое надувательство, я взвел курок пистолета и открыл свет. Спустя пару мгновений мрак рассеялся, и можете сами представить, как я удивился, когда увидел пожилого мужчину, сидевшего в большом кожаном кресле посреди комнаты...

— Как он выглядел? — пробормотала гражданка.

— Худощавый, с изящными, аристократичного вида чертами лица, невыразительными голубыми глазами, тонкими ноздрями, седыми бровями и тонкими губами, и когда он улыбнулся, я заметил, что у него отсутствует глазной зуб. Он был в синем костюме с золотыми пуговицами и носил белый парик. Не забуду его до конца жизни!

— Боже! — прошептала Вероника. — Да это же гражданин Дюваллон, каким он был в тот день, когда отправился на гильотину!

Мадлен Дюваллон сидела совершенно неподвижно, ее лицо было застывшим и непроницаемым, глаза пожирали рассказчика.

— Мой пистолет был направлен на него, но эта спокойная улыбка зачаровала, будто бы околдовала меня. Затем я увидел нечто любопытное и пугающее. Хотя он казался все таким же реальным, каким я его описал, тем не менее стена за ним, стоявший перед ней стул и зеркало были видны, словно ничто не мешало мне их видеть, в то время как сам он в зеркале не отражался.

Гражданка вздрогнула, ее губы судорожно дернулись.

— Наконец он заговорил тихим и ровным голосом. «Вы хотели увидеть меня, Вериньяк, — сказал он, и я поразился, услышав свое имя, — вы хотели увидеть меня, и ваше желание исполнилось. Вот уже неделю я предупреждаю женщину, которая была моей сестрой, но она никак не внемлет моим словам. Этим вечером она послала вас разгадать то, что в своем плотском невежестве считает тайной. Скажите ей, Вериньяк, скажите ей от меня: больше предупреждений не будет, но если те, что я уже дал ей, и вот это мое последнее появление перед вами, останутся без внимания, через три дня она умрет в агонии, которая станет лишь предвестником той вечной муки, что уготована ей. Скажите ей, Вериньяк: если она и дальше продолжит вышивать план по уничтожению моего сына, что дало бы ей возможность унаследовать имение, ради которого ее жадность вынудила отправить меня на гибель, ее настигнет скорая и вечная месть». Когда он умолк, чары, казалось, спали с меня, и — каким бы я ни был глупцом, — несмотря на неопровержимые доказательства, в голове моей снова зародились сомнения в его духовной природе. Я спустил курок и выстрелил. Пуля прошла сквозь него, разбив висевшее позади него зеркало. Он презрительно рассмеялся, и, едва осознавая, что делаю, я выстрелил снова — с тем же результатом. При этом, однако, его фигура словно как-то расширилась, на лицо стало страшно смотреть, глаза запылали, будто живые угли. Он начал надвигаться на меня, и, уже дойдя до состояния презренной трусости,

я в страхе закричал, — он же рассмеялся и испарился. Скорее мертвый, чем живой, я добрался до двери и вышел из этой проклятой комнаты, в которую меня теперь не заманит ни одна сила на свете.

Едва он договорил, в комнате на какой-то миг воцарилась тишина, затем Мадлен Дюваллон, всхлипывая, рухнула на колени и, перекрестившись, начала молиться.

* * *

Когда на следующий день Вериньяк и Арман выехали из Тулузы, перед капитаном вдруг предстал некий благовоспитанного вида молодой человек, пылко воскликнувший:

— Благодарю вас, мой друг, мой хранитель, благодарю от всего сердца!

— Право же, — рассмеялся Вериньяк, — вам совершенно не за что меня благодарить.

— Моя признательность столь велика, что я не забуду о том, чем вам обязан, до конца своей жизни. Я только что видел тетушку. Упав передо мной на колени, несчастная женщина призналась, что хотела загнать меня — как до этого загнала моего отца — на гильотину, и буквально вымолила у меня прощение.

— Кто это был, капитан? — поинтересовался Арман, когда они двинулись дальше.

— Это, — сказал Вериньяк, — был призрак, явившийся мне прошлой ночью — не тот призрак, которого я описал, а молодой человек, игравший роль призрака, и к тому же столь неудачно, что я едва не застрелил его.

— Значит, никакого призрака не было?

— Не было даже более или менее приемлемой имитации призрака. Но когда этот юноша на коленях взмолился передо мной о пощаде и рассказал мне историю гнусного злодеяния, совершенного с целью лишить его жизни и состояния, — злодеяния, приведшего к смерти любимого отца; когда он сказал мне, что сыграл эту мерзкую роль, чтобы спастись от смерти, я решил: пусть уж призрак будет, и получил от него информацию, необходимую для того, чтобы он, этот призрак, вышел как можно более убедительным.

— Но как же ваш испуг, ваше мертвенно-бледное лицо? — воскликнул Арман.

Вериньяк рассмеялся.

— С гордостью заявляю: испуг был искусно мною разыгран. Что касается остального, то эти побеленные республиканские стены дают такую пудру для лица, какую не сможет изобрести ни один парфюмер.

МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ КАСТЕЛЬРОК

История двух ее любовников — гражданина и аристократа

— И вы еще говорите, — простонала мадемуазель де Кастельрок, — что любите меня!

Услышав эти возмутительные слова, гражданин-депутат Дюамель резко обернулся, и его волевое, строгое лицо осветилось чем-то вроде улыбки, но полной насмешки и удивления.

— Гражданка, ваше заступничество приводит вас к странным аргументам. Все ваши мольбы лишь приближают его к казни. Фу! — Он отвернулся к окну и угрюмо уставился на залитую солнцем улицу.

— Месье, — воскликнула она, — вы безжалостны!

— Да, — ответил он, — я безжалостен. Но даже не будь я безжалостен, все равно не в моей власти спасти вашего... любовника, — Дюамель буквально выплюнул это слово изо рта, как какую-то мерзость.

— Да нет же — это вполне, вполне в вашей власти! — сокрушенно воскликнула женщина. — И время еще позволяет. Завтра же будет слишком поздно. Завтра он предстанет перед Фукье-Тенвилем, а послезавтра его ждет гильотина. О! — Она содрогнулась, и в черных, как ночь, глазах полыхнул лихорадочный огонь. — О, месье, ради всего святого!

— Я хотел бы напомнить вам, — насмешливо произнес он, — что Республика исключила слово «месье» из своего лексикона. Если вас услышит мой помощник, за последствия я не ручаюсь. Но это, гражданка, лишь один из ваших неблагоразумных поступков. Куда более опрометчивым, несомненно, является ваше присутствие здесь с целью заступничества за этого, в недавнем прошлом, маркиза.

— Матерь Божья! — снова простонала она, протягивая к нему руки. — Что еще мне сказать такого убедительного, чтобы этого человека не трогали?

Он повернулся к ней: великолепная фигура, высокий, прямой, как рапира, такой же гибкий и сильный. Погрузив квадратный подбородок в широкий галстук, он стоял, не сводя с нее глаз.

— Есть четыре слова, которые вы могли бы произнести, чтобы вынудить меня пойти на это, — он подошел на шаг ближе. — Почему бы вам не сказать: «Je t'aime[1], Камиль»?

Она с содроганием отпрянула, и он презрительно рассмеялся.

— О, как вы суровы! Как вы жестоки! — пробормотала она.

— Не вы ли всему этому виной? — резко вопросил он. — Неужели вся моя преданность уйдет впустую — да что говорить: псу под хвост! И вы еще изволите называть жестоким меня?

— Вы болтаете о любви и не знаете значения этого слова. Любовь — это милосердие, самопожертвование. Когда мы любим, мы стремимся только лишь к благополучию любимого человека любой ценой для себя самих. Нет-нет, гражданин Дюамель, вы любите не меня — себя. Робеспьер — ваш друг; во Франции он всемогущ. Один лишь взмах его пера — и Анатоль будет освобожден. Вы можете добиться для меня этого, и вы это сделаете — правда же, сделаете?

Он посмотрел на ее белое лицо. Ее умоляющий взгляд встретился с его взглядом, и несколько секунд он стоял молча. Затем, словно не в силах больше выносить эту мольбу, стоявшую в ее глазах, снова повернулся к окну и жестким голосом произнес:

— От тюрьмы Люксембургского дворца до трибунала Фукье-Тенвиля всего один шаг; от трибунала до гильотины — еще один. Ваш любовник, гражданка, пройдет этот путь.

В его голосе звучали нотки непоколебимой решимости. Она поняла это и, со стоном опустившись на стул, закрыла лицо руками. Стыд, унижение, вызванные тем, что для женщины ее положения пришлось прийти сюда и вымаливать жизнь у этого самонадеянного революционера — и все это напрасно! — только усилили ее страдания.

— Гражданин-депутат, — простонала она в отчаянии, — сжальтесь надо мной! Что мне вам предложить в качестве платы за его жизнь?

Этот жалобный голос, душевная боль, выдаваемая каждой линией ее фигуры, каждой чертой ее лица, боль за судьбу любовника, лишь рассердили его.

— А что вы можете предложить? — спросил он почти презрительно.

В сердце ее застучалась надежда. Вскочив, она подошла к нему.

— Себя! — воскликнула она, и в ее голосе прозвучало нечто вызывающее. — Если Анатолю де Крейсаку сохранят жизнь и выдадут охранное свидетельство, я выйду за вас, когда вы сами того пожелаете.

— Вы готовы продать себя, — насмешливо произнес он, — продать для того, чтобы выкупить жизнь этого человека? Вы предлагаете слишком выгодную сделку, гражданка. Но зачем мне покупать то, что я могу взять просто так? Ответьте мне, глупышка! — Он грубо схватил ее за руки. — Ответьте! — вскричал он, вне себя от жгучей ревности, вызванной этим доказательством ее привязанности к другому мужчине. В какой-то мере, быть может, еще

[1] Я люблю тебя (фр.)

Дюамель грубо схватил ее за руки.
— Ответьте! — вскричал он, вне себя от страсти ревности.

и стыдом, который он чувствовал, сравнивая свое поведение с тем, как ведет себя она. Он довольно-таки громко хвастался тем, что любит ее, но это была любовь, не способная на самопожертвование.

— Ответьте! — снова потребовал он. — Почему мне просто не жениться на вас, желаете вы этого или нет? Почему я должен покупать право стать вашим

мужем? Какой еще депутат во Франции, обладающий той властью, которой располагаю я, стал бы умолять там, где он может приказывать? Ответьте мне, Анна!

Но она промолчала, и, отпустив ее руки, он грубо оттолкнул ее от себя.

— И вы еще говорите мне, что я не знаю, что такое любовь! — воскликнул он.

— Я не буду женщиной, на которой женились вопреки ее воле, — пробормотала она. — Если вы пойдете для меня на эту небольшую жертву, я буду почитать вас и служить вам всю свою жизнь.

Он прошел в другой конец комнаты, развернулся и прошествовал обратно. Искушение держало его железной хваткой. «Всю свою жизнь», — сказала она, и перспектива, содержащаяся в этих словах, быстро покоряла его вопреки его воле. Затем подкравшееся тщеславие шепнуло: пусть сейчас она только лишь продает себя, когда они поженятся, маркиз де Крейсак будет забыт, и она полюбит его, Дюамеля. Он будет ее направлять.

Он пару секунд смотрел ей прямо в глаза — в глаза, блестевшие от подступающих слез.

— Soit[1], — пробормотал он. — Я куплю вас по предложенной цене, но пусть этот ваш бывший маркиз уедет из Франции. Ох, Анна, Анна...

Он внезапно прервался. В кои-то веки, видя, как она страдает, этот мужчина, переполняемый яростными, безудержными страстями, сумел совладать с собой.

— Я схожу к Робеспьеру, — сказал он и покинул ее.

* * *

Он обнаружил Максимилиана по прозвищу Неподкупный вознамерившимся покинуть Париж. У двери его дома стояла карета, внутри кипела суета приготовлений.

— А, Камиль, — воскликнул Робеспьер с приветливой улыбкой на «кошачьих» губах, — еще немного, и вы бы меня не застали!

— Похоже, я действительно едва успел, — ответил Дюамель и вздрогнул при мысли, что могло бы случиться, явись он десятью минутами позже. — У меня к вам просьба.

— Все, что в границах моей узкой власти, даровано вам заранее. Входите, — Робеспьер распахнул дверь кабинета, и Дюамель вошел в это пристанище позора.

— В тюрьме Люксембургского дворца сейчас находится один бедный, ничтожный ci-devant, который завтра предстанет перед судом... — начал он.

— И вас интересует этот несчастный?

— Я хочу, чтобы его имя было вычеркнуто из списка, и вы подписали приказ о его освобождении и охранную грамоту на его имя.

[1] Так и быть! (фр.)

Брови Робеспьера взлетели на самый верх его покатого, звериного лба, но улыбка осталась благодушной.

— Раз уж вы говорите, что его вина ничтожна, и просите даровать ему жизнь, я сделаю это, Камиль, без малейших колебаний.

Робеспьер сел за заваленный бумагами стол и, поправив очки, взялся за ручку.

— Его имя? — спросил он, придвигая к себе охранную грамоту.

— Ci-devant маркиз Анатоль де Крейсак.

Рот Неподкупного резко захлопнулся. Бросив ручку на стол, он поднялся на ноги.

— Мне жаль, mon ami[1], но я не могу.

— Не можете? — изумленно переспросил Дюамель.

— Спокойнее, — сказал Неподкупный, кладя руку на плечо молодого депутата. — Не кипятитесь. Попроси вы у меня жизни полудюжины других дворян — да даже дюжины, если хотите, — и я бы отдал вам их все... Но только не жизнь Анатоля де Крейсака. Интересы Республики превыше любых интересов личных, сами понимаете. Ci-devant маркиз умрет. Я уже предупредил Тенвиля, чтобы не было никакой ошибки. У меня на то есть причины; у Франции есть причины.

— Но... — в ужасе пробормотал Дюамель.

— Даже не просите, дружище. Мне очень жаль — нет слов, как жаль, — но пойти на это я не могу.

Словно во сне, Дюамель вернулся домой. То, что он обещал Анне, было невозможным, действительно оказалось невозможным, пусть он и полагал, что это осуществимо. И как же теперь быть с этим обещанием? Она ни за что не поверит, что Робеспьер отказал в помиловании. Она сочтет это сфабрикованной ложью с целью нарушить его часть сделки.

Что делать? Он представил себе ее страдания, представил, с каким презрением она станет приходить к нему, полагая лжецом и обманщиком. И в своем гневе и огорчении он проклял Французскую республику, единую и неделимую, и все, что имело к ней отношение, от Робеспьера до самых низов. Что делать? Как сдержать данное слово?

Затем, когда Дюамель сел и успокоился, на него внезапно снизошло вдохновение. Он нашел выход. Он может подделать подпись Робеспьера на нужных документах. Но потом в минуты раздумья он подсчитал, во что это ему обойдется, и отказался от этой мысли. Страшно было даже думать о том, какого отчета потребует от него Республика по возвращении Робеспьера. Исчезнуть, бежать он не мог. Служебные обязанности столь прочно удерживали его в Париже, что даже часовое отсутствие без предварительного предупреждения вызвало бы подозрения. Он жил во времена, когда закон знал лишь одно наказание за измену или нечто подобное ей.

[1] Мой друг (фр.)

Затем он вспомнил ее слова: «Любовь — это милосердие, самопожертвование. Когда мы любим, то стремимся только лишь к благополучию любимого человека». Он повторял эти слова снова и снова, до тех пор, пока они не отпечатались в его сознании, пока не сгорели в глубине его души. И в конечном счете он принял решение, пусть оно и ужасало его, сильного и бесстрашного, каковым он себя полагал.

Допуск в кабинет Робеспьера он получил без труда. Его прекрасно знали, а заготовленная отговорка сослужила необходимую службу.

Оттуда он отправился в тюрьму Люксембургского дворца, где представил приказ об освобождении. Он лично проводил маркиза — стройного, изящного молодого человека, доселе ему незнакомого — до кареты, уклонившись от его удивленных вопросов.

— Не могу поверить в свою удачу, месье! — весело воскликнул ci-devant.

— Клянусь душой, и я тоже, — ответил депутат и, закрыв за аристократом дверцу кареты, назвал кучеру адрес гражданки Кастельрок в квартале Отёй.

Анатоль с трепетным восторгом предвкушал встречу с Анной и сильно расстроился, когда увидел ее сдержанной и отстраненной.

— Не знаю, что за чудо привело к моему освобождению, — воскликнул он, — но знай я, что обнаружу вас столь холодной, клянусь честью, я предпочел бы остаться в тюрьме!

Душой ее владела ужасная слабость, сердце переполняла невыносимая тоска; но, несмотря на их пытки, внешне она оставалась спокойной, помня о данном Дюамелю обещании.

Анатоль принес ей записку от депутата, в которой тот сообщал, что Робеспьер отказался выдать приказ об освобождении, и что для получения оного ему пришлось схитрить. Вследствие этого он просил ее укрыть где-нибудь Анатоля до тех пор, пока он, Дюамель, не сумеет как-то изловчиться и прислать ей пропуск, который позволит маркизу благополучно покинуть Францию. Он все же надеялся, что в силу их дружбы Робеспьер в итоге проявит к нему снисхождение, что даст ему право потребовать от Анны выполнения ее части сделки. Анна повиновалась ему и укрыла Анатоля у себя в доме. Пусть — из-за принесенной ради его спасения жертвы — она уже и не могла смотреть на него как на своего любовника, все же ей хотелось держать его рядом с собой.

Однако через два дня помощник Дюамеля — надежный парень, всецело преданный депутату — принес ей новое письмо от него. В нем был пропуск для гражданина Прюдона и его жены, сопровождаемый краткой запиской, которая гласила:

«Меня вот-вот арестуют. Хитрость, к которой я вынужден был прибегнуть, чтобы добиться освобождения Крейсака, заключалась в подделке подписи Робеспьера под приказом об освобождении из тюрьмы. У генерального прокурора возникли подозрения; он связался с Неподкупным,

и не пройдет и часа, как я окажусь в одной из камер тюрьмы Люксембургского дворца. Посылаю вам паспорт для вас и Крейсака. Вам бы лучше незамедлительно покинуть Францию вместе с ним, и, конечно, если со мной случится худшее, вы станете его женой. Но некоторая вера в дружбу Робеспьера у меня еще остается, так что я не теряю надежды. Впрочем, если за эту аферу меня все же отправят на гильотину, я найду утешение в мысли о том, что принесенная мною в жертву жизнь хотя бы поможет обрести счастье вам».

Пока Анна читала, перед ее глазами стоял туман. Какая сила во Франции могла спасти Дюамеля от последствий его поступка? Да никакая, и он, должно быть, понял это, когда — столь высокой ценой — сдержал данное ей слово добиться освобождения Крейсака. Героизм и благородство сего поступка доказали теперь ей, сколь глубоко она заблуждалась относительно этого человека.

Тогда она все рассказала Крейсаку, тем самым объяснив свое поведение, а затем продемонстрировала письмо Дюамеля. Анатоль выслушал ее молча, со сдвинутыми бровями, все так же молча взял протянутый ею лист бумаги, а когда прочитал его, лицо его прояснилось.

— Анна, — радостно воскликнул он, раскрывая объятия, — Господь был добр к нам!

— Вы... Похоже, вы не понимаете, — пробормотала она.

— Не понимаю? — рассмеялся Крейсак. — Право же, я очень даже отчетливо понимаю, что Республика вот-вот сожрет вместо меня одного из своих собственных сыновей. Дайте же, Анна, я вас обниму!

Ее охватило внезапное отвращение. Не веря своим ушам, она вглядывалась в его сияющее лицо и поражалась, что никогда раньше не замечала подлости, таившейся в линиях его безвольного рта.

— Вы забываете, Анатоль, — промолвила она с апатичной безучастностью, — что я обещала выйти за Дюамеля.

— Выйти за того, кто завтра умрет? — насмешливо ответил Крейсак. — Небеса соблаговолили избавить вас от этого низкородного негодяя. Нам обоим следует поблагодарить Господа!

Его поведение было типичным для его сословия в обращении с людьми вроде Дюамеля, иными словами — незнатного происхождения, и в другое время она — дочь той же расы существ, — возможно, тоже смотрела бы на вещи в подобном же свете... но не сейчас.

— Чтобы не думать о вас худшего, я предпочту поверить в то, что вы сейчас не в себе, — холодно проговорила Анна. — Вам не приходило в голову, что этот человек может умереть вместо вас?

— Может умереть? Вы, наверное, хотели сказать: непременно умрет, — непринужденно ответил Анатоль. Но лицо его стало менее сияющим, руки снова опустились по бокам.

Его легкий, небрежный тон свидетельствовал о глубочайшем бессердечии. Анна никогда бы не поверила, что ее привязанность может нанести ей столь жестокий удар.

— Он не может умереть, — твердо сказала она. — Однако, пока все не будет улажено, мы не покинем Отёй.

С этими словами она вышла из комнаты.

С отвращением в сердце Анатоль посмотрел на себя в зеркало.

«Похоже, нам придется подождать, пока этого пса не казнят», — сказал он своему отражению.

Весь следующий день он не видел Анну, ибо она была в Париже. Но спустя сутки она пришла к нему, когда он загорал в саду. Крейсак встал и отвесил ей глубокий поклон.

— Какой у нас серьезный вид!— промолвил он со свойственной ему насмешливостью.

— У меня серьезные новости.

— Его гильотинировали? — любезно осведомился он, взяв из табакерки щепотку табаку.

— Нет.

— А, еще нет?

— Этим утром его доставили к Тенвилю, но затем вернули под стражу.

— Редкий случай — в их кавардаке это называется трибуналом, — заметил Крейсак. — Им что, не хватает свидетельств?

— В свидетельствах нет необходимости: он признаёт свою вину. Но Робеспьер попросил его раскрыть ваше убежище, пообещав свободу, если он это сделает.

Как цветок увядает от прикосновения мороза, так и легкая беззаботность Крейсака увяла при этих словах. Ощутив дурное предчувствие, он с резким шипением втянул в себя воздух, а затем осведомился:

— А он?

— Заявил, что оно ему неизвестно.

Из груди аристократа вырвался вздох облегчения, и он небрежно стряхнул со своего кружевного галстука крупинку табаку.

— Без сомнения, этот достойный парень воображает, что, будучи людьми разумными, мы воспользовались охранным свидетельством, которое он нам прислал, и теперь уже далеко отсюда.

— Ничего подобного он не воображает, — холодно ответила Анна, и взгляд, которым она одарила Крейсака, был полон презрения, — ибо он видел меня в суде.

Крейсак вздрогнул, и лицо его слегка побледнело.

— Это было весьма неосмотрительно с вашей стороны, — почти резко воскликнул он. — Что, если бы он выдал вас?

Пару мгновений она смотрела на него в весьма красноречивом молчании, затем, презрительно пожав плечами, развернулась и удалилась. Но в тот же вечер она послала за ним. Она была очень бледна, под глазами у нее образовались глубокие круги.

— Я только что получила известие, — объявила она, — что Робеспьер дал Дюамелю два дня на то, чтобы тот предоставил сведения, которые позволили бы вернуть вас в тюрьму. Если этого не случится, Дюамель умрет вместо вас.

Окинув Анну внимательным взором, Крейсак заметил ее бледность и изможденный вид, но без колебаний отнес их на счет ее беспокойства о его собственной персоне.

— Дорогое дитя, — произнес он с улыбкой, преисполненной теплой нежности, — зачем вы терзаете себя этим? В конце концов, Дюамель может и промолчать.

— Дюамель будет молчать, не бойтесь, — ответила Анна. — Я волнуюсь не о том, что сделает он, а о том, что сделаете вы.

— Что сделаю я? — переспросил Крейсак. — Вы не оставляете мне выбора; вы хотели, чтобы я оставался здесь, пока все не закончится, и, будучи джентльменом, я должен уважать ваши желания.

— Но как же он? — воскликнула Анна, наконец-то разозлившись. — Неужели вы так и будете прятаться здесь, как последний трус, пока этот человек отдает за вас свою жизнь?

Маркиз распахнул глаза и удостоил ее долгим изумленным взглядом. Затем весело рассмеялся.

— Так вот как вы заговорили, дитя мое! И что вы хотите, чтобы я сделал? Разрушил и свою жизнь, и вашу, представ перед трибуналом? Пожертвовал собой ради спасения никчемной жизни жалкого безвестного депутата? Это было бы слишком глупо. Право же, пусть уж лучше ему выпадет честь умереть вместо меня.

Она встала и посмотрела на Крейсака с невыразимым отвращением.

— И я еще вас любила! — сказала она.

— Клянусь честью, — усмехнулся он, уязвленный чем-то в ее голосе, — не знай я, к какому вы принадлежите сословию, решил бы, что вы любите не меня, а этого плебея-депутатишку.

— Я уже отчаялась втолковать вам, что этот «плебей-депутатишка» готов пожертвовать собой ради вас.

— Вам никогда мне этого не втолковать, мадемуазель, ибо, если вы рассуждаете так, то глубоко заблуждаетесь. Несчастный глупец идет на эту жертву не ради меня, а ради призрачного счастья с вами. Договор, который этот самонадеянный революционер заключил с вами, подразумевал определенный риск, и он пошел на этот риск сам, без чьего-либо принуждения. Он бросил кости и проиграл, что ж, теперь пусть расплачивается. Представьте, как ужасно бы было, если бы он выиграл.

— Он еще не совсем проиграл, господин маркиз. У него еще есть два дня, а за два дня многое может случиться.

— Черт возьми! — воскликнул маркиз с улыбкой. — Вы мучите себя понапрасну. Даже революционеры порой бывают с представлениями о чести —

Она встала и посмотрела на Крейсака с невыразимым отвращением.
— И я еще вас любила!

да, быть может, грубые и примитивные, возможно, но все же из тех, на кого вполне можно положиться. Этот ваш депутат, полагаю, раз уж вы сами так говорите, — именно такой.

Остановившись у двери, она повернулась к нему лицом и сказала:

— Не думаю, что во Франции найдется более бессердечный эгоист или же более презренный трус, чем вы.

И прежде чем Крейсак успел оправиться от изумления, она испарилась. Ее

уход вызвал бы у него нечто большее, чем изумление, догадайся он о том, что в душе ее уже созрело решение — решение, которое ранним утром следующего дня привело ее в Париж, в дом Робеспьера Неподкупного.

Великий человек поднялся и, приветствовав ее поклоном — по отношению к хорошеньким женщинам он всегда демонстрировал безупречные манеры, — осведомился, чем может служить ей.

— Я пришла, — заявила Анна, сразу же переходя к сути дела, — выкупить жизнь и свободу гражданина-депутата Дюамеля.

Робеспьер сдвинул очки со лба на переносицу, хмыкнул и оглядел ее внимательным взглядом.

— Выкупить? — изумленно повторил он. — За то, что вы просите, моя дорогая, есть лишь одна цена — персона ci-devant маркиза де Крейсака, — и Робеспьер отвернулся.

— Именно эту цену я и готова вам предложить.

При этих словах Робеспьер снова резко обернулся.

— Вы можете выдать его мне?

— Если в обмен вы поклянетесь освободить гражданина Дюамеля.

— Ни в чем другом я не поклялся бы с большей охотой, — воскликнул он. — Я сделал все возможное для того, чтобы спасти его вопреки его собственному нежеланию спасаться, но до тех пор, пока ci-devant маркиз на свободе, я бессилен.

Час спустя Робеспьер лично провел ее в камеру Дюамеля в тюрьме Люксембургского дворца. Депутат, сидевший с книгой в руках спиной к двери, даже не потрудился оглянуться.

— Гражданин Дюамель, — сказал Робеспьер, положив руку на плечо молодого человека, — ci-devant маркиз де Крейсак был задержан. Вы свободны.

Несколько мгновений Дюамель сидел совершенно неподвижно. Затем из груди его вырвался вздох.

— Бедная Анна! — пробормотал он, а затем апатично спросил: — Как его задержали?

И тут на плечо его снова легла чья-то рука, но гораздо более легкая, чем рука Робеспьера, — Неподкупный и в самом деле уже выходил в коридор.

— Его выдала я, — едва слышно произнес голос мадемуазель де Кастельрок. — Выдала, чтобы спасти человека, которого люблю.

Безумно удивленный, Дюамель поднял голову. Их глаза встретились, и, хотя он многое еще не понимал, ее взгляд заставил депутата вскочить на ноги. Его — этот взгляд — Дюамель понял безошибочно, и, в сравнении с этим, понимание всего остального стало для него вторичным и незначительным.

ПЕКАРЬ ИЗ РУСИЛЬОНА

Это случилось в брюмере второго года Французской республики, единой и неделимой — то есть в ноябре 1793 года по календарю рабов, — когда, направляясь в свой полк, стоявший тогда близ Тулона, я задержался в Русильоне по приказу не кого-нибудь, а самого Робеспьера, и трое суток подряд квартировал у некоего Боншателя, пекаря и виноторговца.

Этот Боншатель оказался отличным хозяином. Он был малость с причудами и не слишком лояльно настроенный по отношению к Республике, и мне он высказал эти мысли с забавной и опасной откровенностью, объяснив свою неблагоразумную доверчивость в общении со мной тем, что он, мол, знает: офицер — не доносчик.

Не распорядись судьба так, что у Боншателя имелся враг, доставлявший ему кое-какие проблемы, вполне вероятно, я нашел бы его еще более приятным хозяином — хотя столь же вероятно, что он остался бы пекарем до конца своих дней. Как бы то ни было, он постоянно впадал в задумчивость; лицо омрачалось, а добродушный рот кривился от беспокойства. Даже последний глупец догадался бы, что его душу разрывает некая тайная печаль.

— Гражданин капитан, — сказал он на второй день моего пребывания в его доме, — вы кажетесь мне человеком отзывчивым, и потому я доверю вам нечто такое, что весьма меня беспокоит и порой вызывает дурные предчувствия.

И после этих слов он продолжил рассказывать, как грубиян-сапожник, изначально звавшийся Купри, но теперь, дабы подчеркнуть свой патриотизм, именующий себя Сцеволой[1] — в результате одного из нелепых сбоев в механизме революции он был избран председателем Комитета общественной безопасности Русильона, — положил глаз на Амели, единственную дочь Боншателя, и пожелал взять ее в жены. Новоявленный Сцевола был страшен как смертный грех, стар и уродлив, и девушка с возмущением отклонила его

[1] Гай Муций *Сце́вола* — легендарный римский герой, юноша-патриций, пытавшийся убить Ларса Порсену, царя этрусского города Клузия, который осадил Рим в 509 до н.э. По ошибке Сцевола сразил писца, одетого в пурпур, но его мужество и бесстрашие так поразили Порсену, что вскоре он прекратил войну.

ухаживания, в то время как старик Боншатель одобрил ее поведение и предложил бывшему сапожнику катиться свататься к дьяволу.

— Тогда мне удалось спасти мое дитя, — заключил хозяин, — но сильно боюсь, это было не более чем отсрочкой. Этот Сцевола поклялся, что я горько пожалею об этом, и с тех пор не жалеет сил для того, чтобы навлечь на меня неприятности. Меня бросает в дрожь при мысли о том, что может случиться с бедняжкой Амели, если он в этом преуспеет и Комитет постановит отправить меня в тюрьму, а то и вовсе вынесет мне смертный приговор по какому-нибудь сфабрикованному обвинению.

Я, как мог, подбодрил пекаря, добавив, что, возможно, его страхи беспочвенны, и он беспокоится попусту. Однако его опасения были отнюдь не беспочвенны. Я понял это сразу, ибо знал, сколь велика сейчас власть людей вроде Сцеволы, а спустя сутки осознал еще более отчетливо.

На следующей день, часа в два пополудни, ко мне явился посыльный с письмом от Неподкупного, в котором тот сообщал, что вечером, часов в десять, он прибудет в Русильон и велел мне ждать в мэрии, сохранив его приезд в тайне от всех без исключения.

За те восемь часов, что прошли от получения мною письма до прибытия в Русильон всемогущего Робеспьера, в доме Боншателя разыгралась — в антураже неотвратимой, казалось бы, трагедии — прелюбопытнейшая комедия.

Едва посыльный удалился, как в лавку вошел неопрятного вида парень в карманьоле[1] и потребовал двухфунтовую буханку хлеба. Не обратив внимания на его внешность, Боншатель попросил показать деньги, после чего, отпустив гневную тираду в адрес всех аристократов-пекарей, не способных узнать в том, с кем они говорят, патриота и настоящего человека, парень вытащил из кармана грязную, засаленную двадцатифранковую ассигнацию и протянул пекарю с явным намерением получить с нее сдачу.

Но Боншатель покачал головой.

— Если хочешь получить мой хлеб, друг, тебе придется заплатить за него деньгами.

— Черт подери, гражданин, — взревел незнакомец, — а я что вам даю?

— Грязный клочок никчемной бумаги, — ответил Боншатель, раздосадованный тем, что наглость посетителя вынуждает его пускаться в столь неподобающие объяснения.

Налитые кровью глаза патриота злобно сверкнули.

— Клянусь святой Гильотиной, услышь эти слова гражданин Сцевола, и вы бы пекли хлеб уже в другой печи, где сами бы выступали в роли буханки, —

---

[1] *Карманьола* (carmagnola итал.) — короткая куртка с узкими фалдами, с несколькими рядами металлических пуговиц, какую носили жители Карманьолы в Пьемонте (Италия). В сочетании с длинными черными штанами, трехцветным жилетом и фригийским колпаком — одежда, широко распространенная в народе в период Французской революции (1789–1794). Отсюда и название революционной народной песни и танца карманьолы.

прохрипел он. — Да как вы, жалкий федералист, вообще смеете обзывать ассигнации Французской республики такими словами?

— Возможно, мой друг, — промолвил Боншатель, дабы перестраховаться, — я и в самом деле погорячился. Но вот скажите: кому сам я смогу, в свою очередь, вручить эти бумаги? Кто примет их у меня в качестве денег?

— Ну как же — любому, кто не является предателем народа.

— Тогда, должно быть, во Франции сейчас остались одни лишь предатели. Видите ли, мой друг, наверху у меня целый сундук этих банкнот, недавно мне врученных, — сам-то я взял их, но кто возьмет их у меня?

— Если эти банкноты никто не возьмет, их обналичит Республика, — вскричал покупатель.

— Республика? — гневно воскликнул Боншатель, снова забывая о благоразумии. — Из опустевшей казны?

— Послушайте-ка, гражданин пекарь, — промолвил патриот с тем видом подчеркнутой терпимости, который является показателем самого скверного настроения. — Я здесь не для того, чтобы обсуждать политику, а чтобы купить хлеба. Вы мне его продадите или же нет?

— Охотно, но только за звонкую монету.

— То есть вы окончательно отказываетесь принять эту ассигнацию?

— Окончательно и бесповоротно.

Патриот взял отвергнутую банкноту, демонстративно сложил ее и направился к двери. На пороге он обернулся.

— Вы еще пожалеете об этом, гражданин пекарь, — пригрозил он и удалился.

Бедняга Боншатель перевел взгляд на меня; лицо его было белым, как мел.

— Видите, капитан, каким я подвергаюсь гонениям? — пожаловался он.

— Я вижу, что вы вели себя крайне неразумно и опрометчиво, — ответил я, хотя и незлобно. — Уж лучше бы вы отдали этому парню затребованный им хлеб; теперь же, боюсь, он пожалуется в Революционный комитет, и вам придется несладко.

— Отдал ему хлеб? — переспросил Боншатель. — Если бы только это! Мне пришлось бы выдать ему еще и сдачу серебром с его двадцати франков.

— Даже это перенести куда легче, чем... — я запнулся.

— ...чем гильотину, вы хотели сказать, капитан? Но, право же, если мне суждено умереть, то на то, чтобы лишиться головы от ножа гильотины или же умереть с голоду, у меня абсолютно равные шансы; и если нынешнее положение вещей будет продолжаться, я, несомненно, вскоре останусь в одной рубашке. Я ничуть не преувеличил, когда сказал ему, что наверху у меня полный сундук ассигнаций. Мне давно уже их навязывают все кому не лень, и если я не хочу оказаться полностью разоренным, я должен раз и навсегда положить всему этому конец и отказаться от бумаг, которые сам я не могу обратить в реальные деньги, не сделавшись осведомителем. Уж лучше пусть они меня гильотинируют и покончат с этим, — стоически заключил он, опустившись на стул.

— Но как же ваша дочь? — отважился спросить я.

— О Боже, и правда!.. Что же будет с нею? Бедный я, несчастный!..

Тирания новой власти и несправедливость происходящего глубоко меня возмутили. Неужели я ничего не могу сделать? И тут я вспомнил о приближающемся визите Робеспьера. Я мог бы обратиться к нему. Однако, когда он узнает о выдвинутом против Боншателя обвинении, то едва ли проникнется к пекарю сочувствием. Пока Боншатель сидел, проклиная судьбу и моля Бога обречь Сцеволу на вечные муки, я напряженно размышлял, но в тот момент так и не пришел к какому-либо решению проблемы.

В восемь часов вечера в дверь Боншателя громко постучали, и мгновение спустя пекарь, белый как мел и дрожащий, вошел в мою комнату.

— Он здесь, капитан! — вскричал он. — Сцевола собственной персоной, а вместе с ним — и весь Комитет.

— Черт подери! — выругался я. — Похоже, этот сапожник-председатель один никуда не ходит — таскает за собой всю толпу! Вам лучше впустить их, мой друг, — добавил я, уже прикидывая: что бы такое придумать?

— Мой парнишка уже пошел открывать. Но что же мне делать, капитан? Вы ничем не можете мне помочь? — В отчаянии он размахивал взад и вперед руками.

— Скажите, — спросил я, — этот ваш русильонский Комитет действительно склонен к крайним мерам?

— Русильонский Комитет — это Сцевола. Остальные делают всё, что он пожелает — они называют это свободой и равенством. Да поможет Бог бедной Франции!

— Что это за люди?

— Самый цвет сточной канавы — отбросы русильонского общества, иначе Сцеволу никогда бы не избрали председателем.

— То есть они из тех, кого легко соблазнить вкусной едой?

— Ну да, они голодны, как крысы, голодны так же, как и грязны.

— И не дураки выпить?

— Всегда мучимы жаждой, как путник в пустыне, и такие же пьяные, как сама Франция — бедная, бедная Франция!

— Что ж, тогда слушайте меня внимательно, Боншатель, — сказал я и, постаравшись уместить свою мысль в как можно меньшее количество слов, дал ему совет более здравый, чем кто-либо когда-либо получал в конторе адвоката. Он выслушал меня с сияющими глазами, усмехнулся, когда я закончил, и мягко потер ладони одна о другую, а когда повернулся, чтобы спуститься вниз, то выглядел уже совершенно спокойным и шел упругой походкой крепкого юноши.

Я последовал за ним вниз и в его лавке обнаружил «комитет десяти» — грязную компанию, которая вогнала бы в краску даже тех диковатых оборванцев-разбойников, что летом девяносто второго прошли маршем из Марселя в Париж.

Они встретили Боншателя угрюмыми, недружелюбными взглядами, не предвещавшими ничего хорошего. Затем, увидев меня, Сцевола выступил вперед и поприветствовал меня от имени Республики в качестве избранного свидетеля того, как русильонский Комитет общественного спасения расправляется с предателем. Полагаю, он был самым отвратительным созданием,

— То есть вы окончательно отказываетесь принять эту ассигнацию?
— Окончательно и бесповоротно.

к которому когда-либо применялось наименование «человек». Даже пост председателя Комитета, который любого бы переполнил особой гордостью, не вызывал в нем стремления к чистоте и опрятности. На нем была куртка, засаленные бриджи с заплатками, деревянные башмаки и извечная красная шапка патриота. Его талия была не слишком аккуратно опоясана трехцветным должностным кушаком, служившим ремнем для нескольких ржавых крючков и держателем для крепления пары седельных пистолетов. Под низко опущенными бровями хищно сверкали глаза, маленькие и хитрые, тогда как остальная часть лица была покрыта грубой, всклокоченной седой бородой.

Очевидно, в этой компании он был законодателем мод, ибо спутники отличались от него лишь незначительными деталями; общий же их вид был таким же.

— Гражданин Боншатель, — пророкотал он, — известна ли вам цель нашего визита?

— Я так понимаю, вы пришли не за тем, чтобы купить хлеба? — кротко осведомился Боншатель.

— Мы не покупаем хлеб — сыны Франции не покупают хлеб у предателей.

— Предателей? — переспросил мой хозяин. — Это вы обо мне? Граждане, уж не повеселиться ли вы явились сюда?

По лицу Сцеволы расползлась сардоническая усмешка.

— Мы явились сюда отправить правосудие, — злобно поправил он пекаря. — Ответьте мне, гражданин: не отказались ли вы этак с час-полтора тому назад принять ассигнацию, предложенную вам неким гражданином Французской республики в качестве платы за хлеб, который он хотел купить здесь?

— Это я-то отказался от ассигнации? — воскликнул Боншатель как прирожденный актер.

— Так да или нет?

— Что еще за вопрос? Если и есть форма денег, которая мне нравится, так это бумажные деньги Республики. Они такие... удобные, гражданин председатель, такие легкие, да и в кармане много места не занимают. Да я все свои скудные сбережения перевел в ассигнации. Я...

— Довольно лжи! — взорвался Сцевола, показав клыки.

— Лжи? Да это до вас, гражданин, донесли ложь, ибо теперь я вижу, что вы говорите серьезно. Несомненно, какой-то злонамеренный, недоброжелательный человек решил насолить бедняге Боншателю. Должен заметить, в Русильоне у меня хватает врагов, относительно которых я давно уже собирался обратиться в наш просвещенный Комитет, чтобы он, этот комитет, вынес свое мудрое и справедливое решение. Пользуясь вашим присутствием здесь, граждане, с целью расследования совершенно необоснованного обвинения, я хотел бы официально заявить чрезвычайно серьезную жалобу.

— О чем это вы? — с презрительным рычанием прервал пекаря председатель. — Какое такое обвинение вы называете необоснованным? Трепещите, глупец, ибо на вас падет месть народа. Человек, который приходил к вам за хлебом, был не рабочим, каковым он, быть может, казался, а шпионом, посланным этим самым Комитетом. Вчера мы услышали, что вы отказались принять ассигнацию, и, поставив слова информатора под сомнение, ибо как можно поверить в то, что тот, кого считали истинным патриотом, способен на столь гнусное поведение? — сегодня отправили к вам собственного эмиссара для произведения контрольной покупки.

Боншатель вежливо улыбнулся и учтиво взмахнул рукой, словно показывая, что дело — пустячное и ничуть его не тревожит.

— Полагаю, мне не составит труда прояснить, что то обвинение, которое, похоже, было против меня выдвинуто, является ложным.

— Что ж, давайте — я вас слушаю! — промычал Сцевола.

— Минутку, гражданин. Прежде всего я хотел бы, чтобы вы оценили масштабы несправедливости, жертвой которой я стал, и потому прошу вас выслушать мою жалобу. Здесь у нас, в Русильоне, у меня есть недоброжелатели, которые распространяют клеветнические слухи: мол, хлеб, который я продаю, грубого помола, а мои вина непригодны для питья, ибо они из незрелого винограда. Можете сами представить, граждане, сколь огорчительными я нахожу подобные претензии, — и сколь они вредны для моей торговли, ибо мои клиенты, услышав эту ложь, теперь тратят свои деньги в других местах, вследствие чего моя торговля быстро сокращается.

— Это имеет какое-то отношение к ассигнации? — нетерпеливо спросил Сцевола.

— Нет, ни малейшего, но это касается меня, сознательного гражданина Русильона, и ваша как доверенных лиц, отвечающих за общественную безопасность и благосостояние их святая обязанность этого гражданина защищать. Будь на моей стороне голоса столь беспристрастных и честных судей, как вы, да еще и обладающих достаточным влиянием, для того чтобы провозглашать подобные слухи ложными и клеветническими, — мне наверняка бы удалось поставить в тупик врагов и вернуть своих клиентов.

— Может, перейдем уже к ассигнации? — прорычал Сцевола.

— Потерпите немного, гражданин председатель, — спокойно ответил Боншатель; и председатель, в отчаянии пожав плечами, позволил пекарю продолжить свою неудержимую речь.

— Так вот, граждане, — проговорил Боншатель, — прежде чем вы вынесете справедливое решение по тому вопросу, который привел вас сюда, вы должны убедиться, что моя жалоба не лишена оснований и что мои недоброжелатели лгут. Раз уж вы все сейчас здесь, полагаю, случай для этого самый что ни на есть подходящий. И для того, чтобы вы смогли вынести честное и непредвзятое суждение, я предлагаю вам пройти за стол и отведать моего хлеба и вина.

Среди этой группы полуголодных оборванцев случилось возбужденное шевеление, подобное тому, какое вызывает пронесшийся по лесу ветер, и лица девяти из десяти членов Комитета расплылись в довольной улыбке. Но у Сцеволы месть столь глубоко укоренилась в мыслях, что позволить себе так легко поддаться соблазну он просто не мог, хотя и у него, без сомнения, пересохло в горле при одном только упоминании вина.

— Этот вопрос, гражданин Боншатель, — твердо заявил он, — мы обсудим после того, как уладим вопрос ассигнации.

— Что касается этого пустякового дела, — нагло возразил пекарь, — то я подумал, что мы могли бы обсудить его за столом. Не волнуйтесь, граждане, это клевета, которую я легко опровергну.

— Ну да — за столом! — воскликнул один из членов Комитета.

— Несомненно, такие вещи лучше всего обсуждать за едой, — поддержал его другой. Остальные энергично закивали в знак согласия, очевидно, вызванного плохим питанием и естественной жаждой.

Сцевола выступил вперед...
Полагаю, он был самым отвратительным созданием,
к которому когда-либо применялось наименование «человек».

Взрычав, Сцевола повернулся к соратникам и возмущенно воскликнул:

— Черт подери, граждане, разве мы не должны соблюдать правила процедуры? Какой-нибудь... — он неистово замахал руками в поисках подходящего слова, — естественной последовательности?

— Зачем это нужно? — спросил кто-то.

— Ну да — зачем? — добавил другой патриот. — Мы же свободные люди и никак не связаны правилами, которые привели покойных тиранов к поги-

бели. Гражданин желает, чтобы мы вынести свое суждение о его хлебе и вине; отказавшись, мы бы постыдно пренебрегли нашим священным долгом перед народом — это было бы преступно, друзья мои. Зачем откладывать это ради рассмотрения вопроса о каких-то двадцати франках?

Боншатель наблюдал за схваткой напряженным взглядом. И тут в голову ему пришла удачная мысль. Дабы усилить привлекательность своего стола, он выглянул за дверь и прокричал:

— Амели, принеси-ка из кухни ту восхитительную копченую ветчину и холодного жареного каплуна, которые у нас приготовлены к ужину. Так, граждане, — добавил он, обращаясь уже к членам Комитета, — вы сможете лучше оценить вкус моего хлеба, да и вино мое пьется куда приятнее, когда идет за компанию с надлежащими яствами.

Тут уж ситуация и вовсе стала для Сцеволы неуправляемой. Он еще попытался было призвать товарищей к соблюдению регламента, но в конце концов воздел руки к небу в жесте беспомощности и отчаяния, когда его комитет ввалился во внутреннюю комнату, где был накрыт стол, на котором стояли с десяток бутылок крепкого красного вина, корзина свежеиспеченного хлеба и множество тарелок с кусочками каплуна и ломтиками сочной ветчины. Словно стая голодных волков, русильонский Комитет общественного спасения набросился на предоставленную ему пищу, в один миг позабыв о делах Республики и отвергнутой ассигнации, послужившей причиной их прихода сюда.

Впрочем, Сцевола, замыкая колонну своих сторонников, нашел возможность пробормотать сквозь стиснутые зубы Боншателю: «Этим вечером вы провели меня, мой друг, и получили передышку. Но завтра мы вернемся к рассмотрению жалобы относительно не принятой вами ассигнации».

С усмешкой и мрачным кивком он прошел дальше и занял свое место за столом. Вот так, в час его триумфа, победа бедняги Боншателя омрачилась новыми страхами. Весь дрожа, он подошел ко мне и шепотом доложил о происшедшем.

Было уже полдевятого. Я был убежден: если нам удастся к десяти часам довести эту кучку «санкюлотов» — по моему убеждению, это название можно было применить к ним почти буквально — до состояния беспомощного опьянения, Боншатель будет спасен не только до завтра, но и вообще навсегда.

— Доверьтесь мне, Боншатель, — сказал я, ибо был уверен в успехе, — а сами проследите за тем, чтобы у них не было недостатка в вине — особенно у нашего друга председателя.

Он посмотрел на меня вопрошающе, но, заняв свое место за столом, я с головой ушел в разговор и проследил за тем, чтобы бокал председателя всегда был до краев полон. И все вышло так, как я и надеялся. Перенасыщение желудков, более привыкших к умеренному голоданию, вызвало оцепенение, которому в значительной степени способствовало вино. Когда в половине десятого я поднялся из-за стола, то — за исключением самого Боншателя — был единственным из присутствующих, кто еще оставался трезв. Двое членов комитета лежали ничком на столе, храпя отвратительным дуэтом. Из остальных

семеро сползли со своих стульев в поисках более удобного места на полу, тогда как восьмой все еще браво раскачивался и распевал старую роялистскую песню, за которую его могли бы гильотинировать, будь его спутники в состоянии хоть что-нибудь понимать. Что касается самого Сцеволы, то, откинув голову на спинку стула и засунув ноги под стол, он спал мирным сном младенца.

Приказав Боншателю ни в коем случае не беспокоить их до моего возвращения, я отправился в мэрию, где разбудил градоначальника и попросил его быть готовым принять гражданина-депутата Робеспьера, который может прибыть в любой момент.

Минут в десять одиннадцатого из прогрохотавшей по улице и остановившейся у здания мэрии берлины выпорхнула стройная и элегантная фигура великого деятеля революции — Максимилиана Робеспьера по прозвищу Неподкупный.

— Капитан Вериньяк? — спросил он, и когда я ответил утвердительно, велел мне проследовать за ним в дом.

В его письме мне говорилось, что одним из мотивов сохранения предстоящего визита в тайне является его желание застать Комитет общественного спасения врасплох. Он находится в надзорном турне и везде старается появляться вот так, без предупреждения, что позволяет ему лучше судить об эффективности инспектируемых комитетов. Приезд Робеспьера тем вечером в Русильон был ключевым моментом наспех выработанного мною плана; затем я предложил этот план Боншателю, и пекарь его с радостью принял.

— Гражданин, вы прибыли как нельзя более своевременно, — промолвил я нарочито многозначительным тоном. Робеспьер поднял голову, в его мягких глазах читался вопрос. — Если вы не устали, я попросил бы вас пройти со мной в соседний дом. Там вы сможете увидеть русильонский Комитет за эффективной работой.

— Конечно, пойдемте. Явиться к этим парням без предупреждения, так будет даже предпочтительнее. Они что там — сидят заседают?

— Я оставил большинство из них лежащими, гражданин, — сказал я. — Но вы и сами всё увидите.

Неподкупный взял уже снятый плащ и пошел со мной, на ходу задавая вопросы, на которые я отвечал уклончиво, чтобы не лишить Робеспьера ожидавшего его потрясения. Я негромко постучал в дверь Боншателя, и пекарь открыл нам сам.

— Они тут? — спросил я.

— Да, и, вероятно, пробудут здесь до утра, — ответил Боншатель, впуская нас и даже не задумываясь, кто это пришел вместе со мной.

У двери внутренней комнаты я остановился и, повернувшись к Робеспьеру, сказал:

— Здесь, гражданин, вы и найдете русильонский Комитет общественного спасения, занимающийся делами нации в том смысле, в каком эти люди сами понимают эти дела. Вот они, местные патриоты!

И, широко распахнув дверь, я отступил в сторону, чтобы он смог войти.

Среди хаоса пустых бутылок, свалившихся на пол деревянных тарелок, разбитых стаканов и грязных, как свиньи, храпящих «патриотов», Неподкупный несколько мгновений стоял молча, задрав длинный любознательный нос кверху и принюхиваясь к воздуху этой комнаты оргий, Затем, взмахом изящно зашнурованного запястья указав на этих санкюлотов, спросил:

— Это... и есть Комитет?

— Да, гражданин, — Комитет, и я имею честь представить вам его председателя.

— Не вижу повода для легкомыслия,— промолвил Неподкупный с холодным упреком.

— Я вовсе не легкомыслен, — воскликнул я. — Я вне себя от возмущения!

— Их встречи всегда проходят в такой обстановке? — осведомился Робеспьер.

— Это можно было бы счесть занятным совпадением, случись такое один-единственный раз в ту самую ночь, когда в Русильон прибыли вы, не правда ли?

Неподкупный кивнул, похоже, сочтя мой уклончивый ответ убедительным.

— Чей это дом? — спросил он.

— Гражданина Боншателя, пекаря, у которого я квартирую, так-то я и узнал обо всем этом.

Он удивленно вскинул глаза.

— Но как они здесь очутились?

— А вот это уже — самая возмутительная сторона всего данного дела. Они явились сюда провести расследование по факту жалобы о якобы не принятой пекарем от какого-то покупателя ассигнации. Вот как они понимают свой долг — выпили целое море вина бедняги Боншателя.

В глазах Робеспьера сверкнул огонь негодования.

— Да уж, веский повод грабить мирного гражданина!.. — пробормотал он, уловив мой намек. — Всё это есть не что иное, как обычная тирания.

— Что-то еще? — спросил я.

— Да нет, вскоре мы всё тут уладим. Не хотелось бы будить их прямо сейчас. Вызовем национальную гвардию — и пусть приходят в себя уже в тюрьме. А новому председателю обновленного Комитета придется предъявить им обвинение в пренебрежении священными интересами Республики и злоупотреблении занимаемым при ней положением. Что за человек этот Боншатель?

Я привел Робеспьеру список достоинств моего хозяина, которые Неподкупного более чем удовлетворили.

— Я позабочусь о том, чтобы именно он был назначен на вакантный пост председателя. Хорошо, что у нас еще есть люди, которым можно доверять. Да и вообще, это лишний раз подчеркнет новые законы равенства и покажет, что благодаря добродетели и высоким моральным качествам абсолютно любой может пробиться у нас на самый верх. Кроме того, завтра мы изберем новый комитет.

— Это... и есть Комитет? — спросил Робеспьер.

Когда я вернулся, проводив Робеспьера обратно в мэрию, где ему предстояло провести ночь, то обнаружил, что Национальная гвардия уже выполнила его приказ, и бывший Комитет общественного спасения — в тюрьме, где и пытается проспаться после попойки. Боншателя я нашел осматривающим комнату, в которой патриоты ужинали, — вид пекарь имел весьма печальный.

— Право же, капитан, — воскликнул он, — уж лучше бы я и в самом деле взял ту ассигнацию.

— Это еще почему? — спросил я, немало удивленный.

— Нагорел бы всего-то на двадцать франков, тогда как выпили они столько, что плакать хочется!

— Sacré nom![1] — вскричал я. — Вы забываете, что избежали ловушки, уготовленной вам Сцеволой, и стали председателем русильонского Комитета — фактически правителем Русильона — вместо него.

— Верно, — горестно произнес он, — а это значит, что теперь, независимо от моих чувств, я должен стать настоящим патриотом и истинным республиканцем. Soit![2] — вздохнул он. — Думаю, мне вполне можно бы начать с отправки Сцеволы к национальному цирюльнику[3].

[1] Господи! (фр.)

[2] Пусть будет так! (фр.)

[3] *...к национальному цирюльнику* — то есть на гильотину.

КАМИЗАДА[1]

Эпизод войны в Вандее

I

Славные жители Ньора наблюдали за тем, как в розовом свете летней зари из их города выходит роялистская армия. Орда численностью около шести или семи тысяч человек представляла собой пестрое, но вдохновляющее зрелище для увлажненных, восхищенных глаз лояльных горожан. Облаченные в большинстве своем в крестьянские одежды — одеяние, которое носили даже те, кто крестьянами не были, — солдаты прогромыхали мимо в своих деревянных башмаках. Их опознавательными знаками были сердце Иисуса, вышитое из красного полотна на куртках, и белая кокарда на круглых шляпах.

Покидая Ньор, они отступали перед республиканской армией под командованием Вестерманна, высланной Конвентом, для того чтобы покончить с этими разбойниками, этими мятежными мужланами, которые восстали против священной власти народа и взялись за оружие во имя Бога и короля — обеих отмененных Республикой институций.

И вот славные жители Ньора столпились у окон и дверей и, подбадривая и поторапливая их, кричали «Vive le Roi!»[2] до тех пор, пока не охрипли, как вороны.

Это было на рассвете. Теперь, на закате, они снова столпились у дверей и окон и снова охрипли от криков. Но на этот раз их крик был: «Vive la République!»[3], а войском, которое они приветствовали, — отряд

---

[1] *В военной тактике *камизада* (или камисадо) — внезапная атака, совершаемая ночью или на рассвете, когда противник, как предполагается, спит. Термин происходит от испанского camisa (рубашка): шедшие в атаку с минимальным снаряжением солдаты надевали поверх униформы белые рубахи, позволявшие им опознавать друг друга в ночной тьме.

[2] Да здравствует король! (фр.)

[3] Да здравствует Республика! (фр.)

синемундирников из армии генерала Канкло, ворвавшийся в город под мелодию «Марсельезы» — воинственный, хорошо организованный легион, сильно отличавшийся от той крестьянской орды. Это был авангард Вестерманна численностью около пяти тысяч бойцов, посланный удерживать Ньор в качестве аванпоста основного армейского корпуса, стоявшего в Нанте.

Прислушиваясь к отдаленным крикам толпы, мэтр Фальгу, адвокат, с унылым видом сидел в отделанной белыми панелями комнате просторного дома на улице Церкви. Он был невысок и худощав; от его четко очерченного аскетичного воскового лица, перехваченного сзади лентой седого парика, простого черного костюма и туфель со стальными пряжками исходила некая строгость. Рядом с адвокатом, за столом, который слабо поблескивал в угасающем свете, сидела девушка, чьи глаза, в этот час чуть расширившиеся от испуга, казались темными озерами на белом овале лица.

— Canaille[1]! — тихо, но с невыразимой злобой проговорил Фальгу сквозь плотно сжатые зубы. — Кто из тех, что слышал их еще утром, поверил бы своим ушам теперь? Ха! — Он коротко и горько рассмеялся. — «Да здравствует король!» — на рассвете. «Да здравствует Республика!» — на закате. В этом все французы! Готовы танцевать под любую мелодию, кормиться из любой руки, будь она чистая или грязная.

— Сейчас их вынуждает кричать страх, — сказала девушка, защищая сограждан, — а не преданность, как это было утром.

Но он никак не унимался.

— Это означает, что они тру́сы. А чего можно ждать от тру́сов?

Дверь открылась, и вошел какой-то мужчина. Он был среднего роста, широкоплечий, ладно скроенный, с бычьей шеей и властным смуглым лицом, не лишенным определенной мужественной красоты.

Мэтр Фальгу вскочил на ноги.

— Ну что? — нетерпеливо вопросил он. — Какие новости?

Новоприбывший прошел к столу, положил на него тяжелый хлыст для верховой езды и коническую шляпу и в нескольких словах обрисовал численность республиканского отряда, явившегося занять Ньор.

— Я узнал все, что мне оставалось узнать, — сказал он, — и задержался лишь для того, чтобы попрощаться с вами, прежде чем присоединиться к господину де Лескюру.

— Вы ведь расскажете ему, Кадуэн, о том, какой прием оказали республиканскому сброду эти собаки?

В голосе старика прозвучал гнев, но Кадуэн лишь пожал плечами.

— Ну и что это значит? Они кричат «Да здравствует Республика!», для того чтобы не разграбили их дома. В глубине души, мэтр, они верны нам, и когда мы вернемся — а мы вернемся, и очень скоро, и выметем эту республи-

[1] Сброд, сволочи, негодяи (фр.)

канскую грязь из Ньора, — они опять, и с удвоенной энергией, будут кричать «Да здравствует король!»

— Я же говорила! — воскликнула девушка, обрадовавшись тому, что ее вера нашла подтверждение.

Кадуэн повернулся к ней, и его темные глаза вспыхнули. Отвесив ей легкий, почтительный поклон, придавший его неуклюжей фигуре некую придворную грацию, он сказал:

— В таком случае, мадемуазель, вы доказали, что столь же мудры, сколь и прелестны.

Веки Мадлен дрогнули, и она отвела глаза перед его пожирающим взглядом. Охваченная смятением, несомненно, отнюдь для нее не радостным, девушка отступила на шаг в сторону. Комплимент был грубым и неуклюжим; более того, любой проницательный человек понял бы по ее поведению, что она совсем не рада комплиментам от этого гостя. Но проницательных людей в комнате не было. Отец Мадлен слегка отвернулся, словно не желая вмешиваться в то, что, по его мнению, было личным делом его дочери и Кадуэна, и занялся своей табакеркой.

— Молюсь, чтобы вы оказались правы, — сказал он. — Но их гнусное поведение отдает трусостью, а трусов я не люблю.

— О, это не трусость, а мудрая осмотрительность, — ответил Кадуэн с улыбкой. — Та самая осмотрительность, которая велит мне не задерживаться здесь, повинуясь моим пылким желаниям. — Он снова попытался встретиться с девушкой взглядом, но и эта попытка оказалась тщетной, и его темные брови слегка нахмурились. — Я и так уже, возможно, сглупил, — добавил он. — Явившись к вам, я поставил операцию под угрозу, потому что этим республиканцам знакомо понятие «организация», «формирование», и если они занимают город, то действительно становятся его хозяевами. Не сомневаюсь: у ворот уже выставлены часовые, так что тому, у кого документы не в порядке, то есть у кого нет гражданской карточки, — мимо них не пройти.

— Но тогда... — с некоторой тревогой пробормотал его собеседник.

— О, я знаю, что делаю, месье Фальгу. Я уйду не через одни из ворот, но через ваш сад и реку. Блез переправит меня на тот берег, а моя лошадь поплывет рядом. Там, на дальнем берегу, они еще не успели выставить часовых, если, конечно, это уже не пришло им в голову, — он протянул руку. — До свидания, мэтр. Вскоре мы снова увидимся.

Мэтр Фальгу тепло пожал протянутую ему руку.

— До свидания, сын мой, — ласково сказал он. — Да хранит вас Господь! — Он повернулся к дочери. — Позови Блеза, Мадлен, а затем проводи месье Кадуэна.

Девушка не высказала возражений, хотя охотно избежала бы подобного поручения. Дело было не только в том, что сам Кадуэн был ей крайне неприятен, но и в том, что она боялась, как бы он не воспользовался этой возможностью. Отец намеренно не стал их сопровождать, это тоже было ей ясно,

и потому, кликнув Блеза, она направилась через сад к реке со старым слугой и молодым роялистом. Впрочем, не сказать, чтобы молодой человек был очень доволен такой компанией. Кадуэн полагал, что они вполне могли бы обойтись и без Блеза, и, будучи натурой, свободной от тщетных сомнений, велел слуге идти вперед и готовить лодку.

После этого он немного задержался, и они вдвоем медленно двинулись через темный сад. Лошадь Кадуэн вел за собой под уздцы.

— Надеюсь, мадемуазель, — мягко сказал он, — вы понимаете: я не мог уехать, не зайдя попрощаться с вами.

— Возможно, так было бы разумнее, месье, — ответила девушка, чувствуя, что должна что-то сказать, и подыскивая нечто такое, что не было бы ни обязывающим, ни в то же время невежливым.

— Возможно, и разумнее. Но неужели вы полагаете меня рассудительным в таком вопросе, как этот?

— Я бы не хотела, месье, чтобы вы подвергали свою жизнь ненужной опасности.

— Значит, вам не все равно, Мадлен? Вас бы огорчило, если бы моя жизнь оборвалась?

— Разумеется, месье, — ответила она столь сдержанным тоном, что Кадуэн предпочел не развивать эту тему.

Но сдержать его или же дать ему отпор было не так-то и легко.

— И все же уехать, не увидев вас снова, просто из соображений собственной безопасности — право же, полагаю, это была бы слишком высокая цена за безопасность.

Его постоянные намеки на риски, коим он подвергался, вызывали у нее некоторое раздражение — особенно после того, как она заметила хвастливую лживость его обещаний. И все же она решила быть с ним любезной.

— Вам не следует забывать, месье, что у вас есть долг перед роялистской армией, и что, подвергая свою жизнь опасности, вы отнюдь не способствуете выполнению этого долга.

— О долге я не думал, — сказал он.

— Тогда я попросила бы вас, месье, о нем все же подумать, — ответила она ему, и на сей раз в ее голосе уж точно прозвучала холодная резкость.

Отнюдь не будучи человеком, который уклоняется от препятствий, Кадуэн был и не из тех, кто бьется головой о стену. Он не являлся настолько глупым, чтобы не заметить: время не самое подходящее для его ухаживаний. Наверное, сказал он себе, в этом нет ничего удивительного, ибо, вероятно, у любой женщины, живущей среди постоянных маршей и контрмаршей, нервы будут напряжены до предела, поэтому погрузился в молчание, и так, в полном молчании, они и подошли к берегу сверкающей реки, где ждал с лодкой Блез. И все же в момент отплытия Кадуэн счел необходимым вернуться к своему сорвавшемуся ухаживанию. Взяв руку Мадлен, он на мгновение задержал ее в своей, не обращая внимания на то, сколь безвольно эта рука была ему отдана.

— Вы и сами знаете, мадемуазель, — промолвил он с той ноткой пафоса, которая, по его представлению, в конечном счете должна была растопить ее сдержанность, — какие сейчас времена. Расставшись здесь сегодня вечером, мы, возможно, никогда больше уже и не увидимся. Кругом здесь все кишит агентами этой мерзкой Республики. Опасности подстерегают меня со всех сторон.

— Я буду молить Небеса о том, чтобы они присмотрели за вами, месье, — сказала Мадлен, но столь холодно и официально, что он отпустил ее руку и с коротким «adieu», которое прозвучало скорее как бранное слово, чем как прощание, наконец ступил в ожидавшую его лодку.

Вернувшись в дом, Мадлен обнаружила, что отец ждет ее в отделанной панелями комнате, где к тому времени уже были зажжены свечи и закрыты ставни.

— Как все прошло? Без проблем? — осведомился он.

— Наверно, — коротко ответила девушка. Затем придвинула стул к столу и села.

Отец вскинул брови и некоторое время разглядывал ее молча.

— Наверно? — переспросил он. — Но разве ты не подождала, чтобы лично в этом удостовериться?

— Не думала, что есть такая необходимость. Я проводила его до лодки, как вы мне и велели.

Мэтр Фальгу со злобным щелчком захлопнул табакерку.

— И тебе не хватило тактичности постоять там и убедиться, что он благополучно переправился на другой берег? — пылко воскликнул он.

— А что, существовала какая-то опасность? Мне и в голову не пришла подобная мысль.

— Ты когда-нибудь выведешь меня из себя. Этот славный Кадуэн, который так тебе предан, рискуя жизнью, остается в городе, наводненном республиканской чернью, только лишь для того, чтобы прийти проститься с тобой, ибо можешь быть уверена, он думал не обо мне. Только лишь для того, чтобы снова увидеть тебя, он рискует своей шеей, а вся твоя благодарность...

Но Мадлен жестом прервала отца.

— Месье слишком много болтает о грозящей ему опасности. Храбрецы не говорят об опасности, когда она есть, и говорят о ней еще меньше, когда ее нет.

— Когда ее нет? Что ты хочешь этим сказать?

По ее бледному лицу пробежала слабая улыбка.

— Ворота Ньора сейчас действительно в руках республиканцев. Без предъявления гражданской карточки мимо них не пройти никому. Но на дальнем берегу Севра пока еще нет республиканских часовых. Вот я и хочу вас спросить, отец, какому такому риску подвергал себя месье Кадуэн, решив пойти этим путем? — Адвокат не нашелся что ответить, и Мадлен продолжала: — И все же месье Кадуэн, чей единственный безопасный путь из Ньора лежал

через наш сад и реку, является сюда и хвастается тем, что он, мол, сильно рискует, приходя проститься с нами.

— Почему ты так настроена против него? — спросил вдруг мэтр Фальгу, резко меняя свою позицию в этом споре.

— Я отнюдь не настроена против него. Я к нему равнодушна.

— Но почему? — не отступал отец. Губы его были плотно сжаты, словно капкан.

— Потому что ему не удается пробудить во мне уважение. Возможно, все дело в том, что он действует в этом направлении как-то неуклюже и тем самым лишь утомляет меня.

Мэтр Фальгу нетерпеливо фыркнул.

— Да это обычное женское упрямство! — сказал он. — Все вы, женщины, одинаковы. Вы всегда чувствуете расположение к самым никчемным ничтожествам. За тобой ухаживает честный, справедливый, богобоязненный человек, кавалер довольно-таки знатного происхождения и весьма состоятельный, способный обеспечить тебе приличное положение в свете. Он любит тебя, хочет взять тебя в жены. Но именно потому что он обладает всеми достоинствами, которые женщина могла бы только желать видеть в муже, ты и не чувствуешь к нему расположения! — добавил адвокат с бесконечным презрением, шумно дыша через тонкие ноздри. — Но кто тогда достоин твоего расположения?.. Этот негодяй и тунеядец Бабилас, когда-то состоявший у меня в учениках — этого типа, если ты не забыла, я был вынужден выгнать из-за его праздных привычек — почему-то пробудил его в тебе без особых усилий.

Мадлен едва не дала выход переполнявшему ее возмущению. Мэтр Фальгу заметил это, и оттого гнев его лишь усилился.

— Это неправда, отец, — возразила девушка. — Бабиласа вы выгнали не из-за его праздных привычек, а потому что он был беден и мы с ним...

— Да как ты... — взорвался было адвокат, но тут же осекся. — И что с того? — Он смерил дочь долгим взглядом. — Даже после трех лет, в течение которых его имя здесь ни разу не упоминалось, ты, похоже, по-прежнему меняешься в лице, услышав его. Завидное постоянство, что тут можно сказать? — насмешливо произнес он. Затем его бледное лицо на миг вспыхнуло. — Потому-то Кадуэн и не может пробудить в тебе расположения. Но теперь, когда правда выплыла наружу, мне все стало понятно. Все эти три года ты обманывала меня, водила за нос. Мыслями ты все время была с этим бездельником. Ты с ним переписывалась?

Он увидел, как по всему ее лицу, ото лба до шеи, расползлось алое пятно.

— Не в последние пару лет, — ответила она тихим голосом.

Не отведи она взгляд, непременно заметила бы, как внезапно сжались его губы и лукаво сузились глаза.

— И что — даже не знаешь, что с ним стало?

— А как бы я узнала?

— Что ж, тогда я скажу тебе. Последнее, что я о нем слышал — уже больше года назад; — он стал якобинцем, санкюлотом, одним из этих голодных valletaille[1], которые следовали в Париже по пятам за этим разглагольствующим мерзавцем Демуленом, одним из тех негодяев, которые отняли у Франции ее короля и пытаются отнять у нее ее Бога.

Белая как полотно, Мадлен вдруг вскочила на ноги. И так большие, глаза ее, казалось, сделались еще больше и еще более потемнели.

— Не верю! — воскликнула она в ужасе. — Бабилас никогда бы не поступил так!

В этот миг раздался громкий и резкий стук в дверь. Привыкшие жить среди тревог, отец и дочь сразу же прекратили спор и внимательно прислушались. Они услышали скрип открывшейся двери, гул голосов, нараставший с каждой секундой, затем в коридоре раздался звон шпор и бряцанье сабли.

Мадлен в тревоге поднесла руку к груди. Ее отец прислонился к каминной полке, расправил плечи и, повернувшись лицом к двери, горделиво вскинул голову и плотно сжал губы.

Дверь распахнулась, и под притолокой, чуть сутулясь из-за своего роста, возник офицер республиканской армии, облаченный в синий мундир с белыми кантами и малиновыми эполетами. В руке он держал большую треуголку, украшенную трехцветной кокардой; его черные волосы были собраны в жесткую военную косу, а красивое лицо мило улыбалось мэтру Фальгу и его дочери.

Они оба смотрели на него, не веря своим глазам, ибо человеком в этой униформе был тот, о ком они только что говорили.

Это был Бабилас!

II

Он простоял там секунд десять, переводя взгляд с одного на другую со слабой и довольно неопределенной улыбкой на губах, ожидая, но тщетно, слов приветствия или же узнавания.

Наконец он медленно прошел в комнату.

— Возможно ли, что вы меня не узнаёте? — спросил он. — Конечно, за последние два года я немного подрос, и эта униформа внесла определенные изменения как в мою внешность, так и в мою точку зрению, но в глубине души — как минимум для вас — я все тот же Бабилас.

— Я в этом не сомневаюсь, — отрезал адвокат пропитанным едким сарказмом голосом. Он говорил с большим достоинством, в несколько высокопарной «судебной» манере. — Если мы и промолчали, месье, то всего лишь от изумления. Не поймите меня неправильно. Наше изумление вызвано

[1] Презрительно: слуги, челядь; прислужники (фр.)

не вашим видом в этой мерзкой ливрее, но тем, что вы имели наглость предстать перед нами.

Бабилас никак не отреагировал на это оскорбление. Он вышел в большой мир, водил компанию с творцами Истории и сам принимал участие в ее создании не для того, чтобы обижаться на уколы этого чопорного провинциального адвокатишки, который когда-то был его хозяином.

— Вы ничуть не изменились, мэтр, — промолвил он снисходительно. — Вы всё тот же — по-прежнему неспособный рассматривать тот или иной вопрос с любой другой точки зрения, кроме вашей собственной. Любой, кто обладает столь серьезным недостатком, едва ли добьется в жизни значительного успеха. Вы высказываетесь от себя, со своей стороны еще до того, как услышите доказательства, приведенные другой стороной. Вот вы полагаете, что я здесь исключительно из-за своей наглости и бесстыдства, тогда как в действительности меня привели в этот дом моя привязанность к вам — давняя привязанность ученика к учителю — и желание послужить вам и уберечь от неприятностей.

— Совершенно не понимаю, — последовал язвительный ответ, — как мне с этим может помочь ваше присутствие. Напротив...

Бабилас рассмеялся — почти добродушно — и, перебивая его, воскликнул:

— Ах, подождите! Позвольте мне объяснить. Республика во всем работает системно и мудро. Неуклюжие, грязные методы старого режима ушли в прошлое. Когда пару часов назад наш генерал Канкло спешился в мэрии, с ним был квартирмейстер. Генерал вызвал мэра, затребовал список жителей и поручил мне помочь квартирмейстеру с распределением ордеров на квартирование для нашего отряда. Мог ли я, оказавшись в Ньоре, не подумать о вас? Зная ваши былые убеждения, зная, что ваше упрямство, возможно, помешает вам идти в ногу со временем, я испугался за вас и вас, гражданка, когда подумал, что может случиться, если у вас разместят одного из офицеров Конвента. К тому же, должен сказать, что, безотносительно проблем, которые могли бы возникнуть у вас из-за ваших принципов, офицеры Конвента, вынужден признать это с сожалением, но мне невыносима даже мысль об этом, не совсем те люди, во власти которых я готов видеть вас. Вот почему, мэтр, дабы избавить вас от неприятностей, а может, и от чего похуже, я решил сам поселиться тут на то время, пока наш отряд задержится здесь, в Ньоре.

Было что-то столь искреннее и дружелюбное в его поведении, что-то столь убедительное в его словах, что мэтр Фальгу на мгновение растерялся, лишившись своего главного оружия — сарказма. К тому же, Бабилас сказал достаточно, для того чтобы пробудить в нем благоразумие. Адвокат тотчас же сообразил: дальнейшее столь же враждебное отношение может вызвать гнев Бабиласа, а если Бабилас разозлится, то может и уйти, обменявшись квартирой с каким-нибудь другим офицером, который, вероятно, не преминет проявить жестокость, свойственную солдатам Конвента по отношению к дворянам и буржуа с роялистскими настроениями. К каким только проблемам не приведет подобный обмен!.. Да и потом, эта рокировка была чревата опас-

ностью, непреодолимой опасностью для него самого и его дочери, тогда как, с другой стороны, он мало того что не сомневался: Бабилас отнесется к ним с уважением, но и в этот краткий миг подумал: возможно, ему даже удастся получить от Бабиласа какие-либо сведения о республиканской армии, которые окажутся полезными Кадуэну и его друзьям.

Адвокат смягчился, но лишь отчасти, — больше не позволили бы его чувства.

— Ваша мысль мне понятна, — сказал он, хотя и с некоторой жесткостью, которая лишила эти слова большей части вложенной в них любезности. — Простите, если я судил опрометчиво. В основе этого суждения лежат мои чувства и убеждения.

— Пока что мне придется запереть эти убеждения в шкаф, гражданин, — ответил Бабилас с улыбкой. — «Вентилировать» их сейчас ни к чему, ибо многих славных парней это уже привело на гильотину. Таково мое вам дружеское предостережение, надеюсь, вы им не пренебрежете.

— Благодарю вас. Постараюсь им руководствоваться. Надолго вы намерены здесь задержаться?

— Ровно столько, сколько здесь пробудет мой полк.

— У вас будет какой-то багаж?

— Багаж солдата — сущий пустяк. Мой чемодан внизу. На вечер я совершенно свободен, и потому, быть может, в ожидании ужина, а я, признаться, умираю с голоду, гражданка позволит мне присесть?

То был первый раз, когда Бабилас обратился к Мадлен напрямую. Девушка вздрогнула и залилась краской — как от самого вопроса, так и от пристального взгляда, коим он сопровождался.

— Я весь день провел в седле, гражданка, — добавил Бабилас, словно бы извиняясь, но, на самом деле, для того чтобы позволить себе роскошь небольшой беседы с ней, — и, естественно, немного устал.

— О, прошу прощения, месье, — пробормотала Мадлен, запинаясь. — Прошу вас, садитесь. Я позабочусь о том, чтобы ужин принесли немедленно.

С этими словами она оставила их, стремясь убежать из комнаты и от присутствия полковника, чтобы побыть хотя бы несколько минут наедине с самой собой, собраться с мыслями и справиться с охватившими ее эмоциями и смятением.

Бабилас подскочил к двери и придержал ее для Мадлен с учтивостью, которую мало кто из друзей-роялистов ее отца когда-либо демонстрировал. Общение с сильными мира сего придало Бабиласу лоск и непринужденность, которых у него не было во времена его ученичества в Ньоре, в те дни, когда он покорил ее нежное сердце.

Когда Мадлен удалилась, он отстегнул саблю и положил ее поперек стула, на который бросил и треуголку. Затем, забыв об усталости и высказанном минуту назад желании посидеть, подошел к открытому окну и, поставив одно колено на подоконник, высунулся наружу, вдыхая прохладный аромат сада. То был дорогой его сердцу сад, сад, который постоянно снился ему на протя-

жении последних трех лет, во всей мрачной суматохе и хаосе, через которые его провела карьера революционера. То был сад, порождавший в нем сладкую, неизбывную ностальгию, поскольку для него он был неразрывно связан с мыслями о Мадлен. И вот теперь, этой летней ночью, он наконец снова увидел его, вдохнул аромат и почувствовал то, что чувствуют только те, кто после утомительного ожидания приходит к осуществлению давно лелеемой мечты. Он с глубокой благодарностью вздохнул, впервые за все двадцать пять лет своей жизни подумав: «Как же хорошо жить на свете!»

Затем Бабилас обернулся и увидел, что адвокат смотрит на него задумчиво тусклыми запавшими глазами. Опустившись в стоявшее у окна кресло, полковник с наслаждением вытянул перед собой ноги и закинул руку на подлокотник.

— Гражданин, — сказал он, и мэтр Фальгу поморщился от столь неприятного ему обращения, — изгнав меня из этого дома, вы превратили меня в революционера.

— Если вы говорите с сожалением, — промолвил адвокат, — то я приветствую снизошедшую на вас благодать, хотя и не признаю́ это ваше утверждение.

Бабилас улыбнулся.

— А вы ничуть не изменились! — сказал он.

— Благодарю вас за невольный комплимент. Честные люди не меняют свои взгляды и убеждения.

— Что означает лишь то, что честные люди никогда не рассуждают логически, никогда ничего не подвергают сомнению, никогда не спрашивают себя: «А нельзя ли что-либо улучшить?», довольствуются тем, что проводят жизнь в железных клетках условностей, которые создали для них родные отцы. Возможно, ваше представление о честном человеке именно таково, гражданин, но это означает, что честный человек — неизбежно дурак.

— Раз уж мы не можем прийти к согласию, я бы предложил — полагаю, это в наших общих интересах — не обсуждать подобного рода вопросы в течение всего короткого периода вашего здесь пребывания.

Но Бабиласа было не унять.

— Вы заблуждаетесь, мэтр. Говорите, что мы не можем прийти к согласию, тогда как в действительности вам следовало бы сказать, что это вы не хотите слышать никаких аргументов, которые вынудили бы вас отказаться от тех взглядов, которых придерживаетесь, потому что до вас их придерживался ваш отец. Поверьте, гражданин, именно такие люди, как вы, и сделали Революцию необходимой, более того — неизбежной.

— Такие люди, как я?!

Это был вопль негодования.

— Именно. Люди непреклонной твердости убеждений. Те, кто был невосприимчив к доводам разума, кто отказывался обдумывать и обсуждать вопросы, поставленные перед ними для улучшения Франции, для устранения всей той несправедливости и жестокости, которые сделали невозможным прогресс на этой измученной земле. Именно такие люди довели тех, кто умел

мыслить логически, до отчаяния, и когда аргументы не помогли, последним пришлось применить силу. Люди, подобные вам, не стали бы спорить, даже не стали бы слушать, потому-то и стало необходимым смести их, очистить страну от подобных вам и вашим лидерам из числа дворян, чтобы через кровь, горе и страдания возникла лучшая, более чистая Франция.

— И что — вы ее создали? — презрительно усмехнулся Фальгу.

— Пока еще нет. Но процесс идет. Она будет создана, даже не сомневайтесь. Здание, построенное вашим сословием, отбрасывало на землю слишком большую тень, закрывая свет Божий от бедных. Мы пытались показать это вам, пытались убедить в несправедливости этого, уговорить вас внести в структуру изменения, которые устранили бы зло. И дело не в том, что вы отказались, — вы даже не пожелали нас выслушать, и потому мы снесли здание в качестве подготовительного мероприятия к его реконструкции на более справедливых началах.

— Не сомневаюсь, месье, — произнес адвокат едким тоном, — что вы выглядели чрезвычайно геройски, когда говорили так в садах Пале-Рояля со всяким парижским сбродом. Но я хотел бы напомнить: и место, и аудитория у вас сейчас совсем другие, так что, месье, вы тратите свое красноречие попусту.

— Увы! — произнес Бабилас со вздохом, словно и не заметив сарказма собеседника. — И все же, мэтр, прошу вас иметь всё это в виду.

— Но зачем?

— Затем, чтобы вы наконец поняли: необязательно все, кто думает иначе, — негодяи. Видите ли, мэтр, я не хочу, чтобы вы считали меня негодяем.

— Я сужу о ваших поступках, а не о ваших речах.

— Ничего другого я и не желаю. Но только судите о моих поступках верно. Подумайте о том, что, пожелай я того, даже мог бы относительно спокойно жить в Париже этаким чопорным адвокатом. Однако же, гражданин, ибо у меня были мечты, ибо мне хотелось, чтобы эти мечты осуществились для бедной французской земли, — я голодал, целый год прожил в нищете. Я с радостью отказался от средств к существованию, возможно, и от карьеры, чтобы следовать туда, куда меня вел голос совести, чтобы иметь возможность приложить руку к возрождению Франции, к разрушению оков, которыми были обременены бедняки. Вот вы говорите о честности. Таково, гражданин, мое о ней представление. И, даже если вы не согласны с теми принципами, которыми я руководствовался, согласитесь: цель моя чиста и искренна. Повторюсь: я хочу, чтобы вы не думали обо мне дурно, — потому-то и сказал так много.

С этими словами он встал, явив взору хозяина дома высокую, внушительную фигуру красавца-мужчины.

— Я не очень-то понимаю, месье, — ответил адвокат, — чем вызвано ваше желание заслужить доброе мнение столь незначительной персоны, как я.

Но прежде чем Бабилас успел что-либо ответить, дверь открылась, и в комнату снова вошла Мадлен, а вслед за ней — жена Блеза, в руках у которой был поднос, заставленный приготовленными к ужину блюдами.

Конечно же, мэтр Фальгу слукавил: мотивы Бабиласа были ему вполне понятны. В адвокате давно уже пробудились подозрения, и теперь, пока он поглядывал украдкой на республиканца и наблюдал за тем, как тот не сводит взгляда с Мадлен, помогавшей старушке накрывать на стол, его подозрения переросли в уверенность. Похоже, этот Бабилас обладает даром постоянства, сказал себе мэтр Фальгу и решил не оставлять дочь без присмотра.

С данной мыслью адвокат уснул той ночью, с ней же и пробудился наутро, причем намного раньше обычного, после чего интуитивно выглянул из окна в сад. Он увидел именно то, что ему и подсказывала интуиция. Республиканец, прогуливавшийся в компании его дочери, что-то пылко говорил, а Мадлен слушала, опустив голову и беспомощно сложив перед собой руки.

В глазах мэтра Фальгу, наблюдавшего за ними, полыхнул огонь. Он тихо выругался, что случалось крайне редко, — наспех умылся, не слишком аккуратно оделся и вышел, чтобы положить конец их общению.

Случилось так, что Бабилас, проснувшись часом ранее в той комнате, которая числилась за ним в те счастливые дни, когда он был учеником Фальгу, и увидев, что на побеленном потолке уже играет солнечный свет, мгновенно встал и, как и адвокат часом позже, тоже прошел к окну, чтобы взглянуть на этот сад, столь прочно отпечатавшийся в его памяти, при свете дня.

Среди зелени яблонь он заметил развевающийся белый муслин и, осознав, что ему представилась прекрасная возможность, решил ее не упускать. Бабилас быстро, но без спешки оделся. В отличие от адвоката, он выходил для разговора не с дочерью и потому подошел к приведению в порядок одежды и укладке волос с особой тщательностью. Впрочем, все это он выполнил с солдатской быстротой.

Он направился к девушке по блестевшей от росы траве, перешедшей затем в посыпанную гравием дорожку у сверкающей реки, и при его приближении Мадлен замерла с трепещущим сердцем и дрожащими ногами, желая одновременно и принять его, и избежать встречи с ним.

Бабилас молча взял ее руку, и Мадлен позволила ему это сделать, вроде бы и желая, и вместе с тем не желая такого с ней обхождения. Пару мгновений он держал эту руку в своей, глядя на девушку темно-синими глазами с необычайно смиренной жаждой, которая, вероятно, тронула бы ее, осмельсь она поднять взгляд от гравийной дорожки; затем поднес, так и не отдернутую, к губам и прошептал:

— Мадлен!

При звуке его голоса девушка вышла из оцепенения и резко отдернула руку, так что губы Бабиласа успели лишь слегка коснуться этой руки. Затем Мадлен наконец-то посмотрела на него, и в глазах ее был вызов, в груди бушевало смятение.

— Два бесконечных года, — сказал он, — я жаждал этой встречи, мечтал о ней в своих снах, терзаемый сомнениями с тех самых пор, как вы оставили мое последнее письмо без ответа.

— Я? — воскликнула Мадлен в таком изумлении, что вся сдержанность, которую она заставляла себя хранить, в один миг улетучилась. Правда, девушка быстро взяла себя в руки. — Полагаю, месье, память вас обманывает, что и неудивительно, учитывая, сколь бурную жизнь вы вели.

Он нахмурился.

— Что вы хотите этим сказать?

Этот вопрос вызвал у нее раздражение. Будучи женщиной, она уже сделала для себя самые горькие выводы о том, что его непонимание было не более чем притворством, обманом. Все эти два года в его жизни не было места для мыслей о ней. Но теперь, когда в нем ожили воспоминания, он попытался перекрыть эту зияющую дыру презренными отговорками. Она была «удобной» — именно этим отвратительным словом Мадлен описывала себе его нынешнее отношение.

— Так ли это уж важно, месье? Не имеет большого значения, кто написал последнее письмо — вы или я.

— Вы хотите сказать, не имеет большого значения для вас?

— Да, именно это я и хотела сказать.

— Вот как!.. — У Бабиласа перехватило дыхание, как бывает с человеком, которого внезапно ударили ножом. — В таком случае мне остается лишь попросить вас извинить меня за вторжение сюда. Прекрасно зная вашего отца, я предположил, что он, возможно, конфисковал последнее написанное мною вам письмо. Впрочем, некоторые сомнения у меня оставались, и я явился для того, чтобы развеять их.

Мадлен перевела взгляд за реку, чувствуя, как нарастает волнение. Подобная мысль приходила и ей в голову.

— Вы могли бы написать снова, — вдруг вырвалось у нее.

— Чтобы ваш отец конфисковал и его? Чтобы его глаза осквернили то, что предназначено лишь для ваших глаз, чтобы его губы насмеялись над сердцем, которое я открыл вам? Ясно же: я мог сделать только то, что и сделал, — ждать, веря в свою надежду на ваше милое постоянство. И вот теперь, Мадлен, вы говорите, что все это для вас неважно?

Она поверила сказанному им насчет писем и уже поняла, что была не права, когда сомневалась в нем эти последние два года. Она была этому рада, возможно, потому что это устраняло нанесенное ее тщеславию оскорбление. Уверенность в том, что она не является отвергнутой женщиной, мимолетной прихотью, с легкостью отброшенной и забытой, вернула ей самоуважение, но не сделала ее более благосклонной.

— Как это может быть важно, — ответила она, — если вы стали тем, кто вы сейчас — санкюлотом, одним из canaille, убийцей...

— Пощадите меня хоть немного! — взмолился Бабилас, прервав ее. — Возможно, мне и самому есть что сказать. Бог дал мне разум для того, чтобы я мог рассуждать здраво, и я им воспользовался, сумел раскрыть свои таланты; полагаю — такова исключительно моя собственная надежда, — это прои-

зошло бы в любом случае, но я знаю наверняка: раз уж это произошло так, как (и когда!) произошло, то лишь благодаря вам.

— Благодаря мне? Вы издеваетесь надо мной? Или, может, пытаетесь меня оскорбить?

— Послушайте, Мадлен. Поскольку я был беден, в то время как ваш отец сколотил небольшое состояние, он начал опасаться, как бы я не попытался стать его зятем, и, дабы предотвратить столь чудовищное зло, поступил по отношению ко мне подло и несправедливо...

— Вы не должны говорить так о моем отце, месье.

— Что сказано, то сказано, но повторять я это не буду. Ваш отец искал подходящий предлог для того, чтобы избавиться от меня, и отстранил от ученичества. То была вопиющая несправедливость, заставившая меня задуматься о тысячах других несправедливостей, ежедневно совершаемых знатью и богачами. Ему было наплевать на то, что тем самым он поверг меня — а, возможно, и вас, — в печаль и отчаяние. Ему было наплевать на то, что я обладал умом и целеустремленностью — качествами, которые должны были далеко продвинуть меня по пути честных устремлений. Я был беден и, стало быть, нежелателен; меня следовало изгнать, сломать, если потребуется. Затем я увидел, что таких, чьи дела обстояли не лучше моих, кто были стерты в порошок, только потому что не могли похвастать ни происхождением, ни богатством, — тысячи, и это стало той искрой, от которой я зажег свой революционный факел. Бог наделил меня даром красноречия, и я пользовался им все то время, пока были необходимы речь и аргументы. Бог наделил меня даром физической силы, и я пользуюсь им сейчас, когда он нужен для подкрепления другого ниспосланного мне Господом дара.

— Это обычное лицемерие, — ответила Мадлен, ибо у нее, воспитанной в атмосфере глубочайшей преданности давным-давно установленному порядку вещей, подобная ересь вызывала лишь негодование и отвращение.

Пока Бабилас не выказывал своих эмоций, она, покоренная своими собственными чувствами к нему, была почти готова простить ему носимую им форму, но теперь он заглушал эти чувства своим революционным красноречием.

— Лицемерие? — переспросил он. — И в чем же оно заключается? Спросите себя: правда все это — или же ложь?

— Даже будь это правдой, разве это может служить оправданием всей той бойни, которую вы, революционеры, учинили? Может ли все это оправдать убийства женщин? Убийство священной персоны самого Короля?

— Короля? — Бабилас усмехнулся, к лицу его прилила кровь. — Надежно же от вас скрывают правду! Да этот король вступил в заговор с Австрией и Пруссией, чтобы позволить захватить Францию немецким ордам и тем самым поддержать свой пошатнувшийся трон ценой страны, которую он поклялся защищать! Разве с таким королем нужно обращаться нежно?

— Вы богохульствуете! — воскликнула она. — Я не стану вас слушать. Вы... вы отвратительны!

Но его бы уже ничто не вынудило умолкнуть. Он продолжал рассуждать, он говорил почти так же, как прошлой ночью с ее отцом, и пламенное красноречие, воспламенившее парижскую чернь, наконец-то начало производить некоторый эффект и на женщину, которую он любил. Мадлен была озадачена, сбита с толку его ясными рассуждениями, разрушавшими все те убеждения, которых она придерживалась, и в конце концов она чуть ли не жалостным голосом попросила его прекратить.

— Зачем? О, зачем вы всё это мне рассказываете? Зачем пытаетесь отравить этим мой разум?

— Я не пытаюсь его отравить. Вас так воспитали, что вы считаете ядом сам эликсир жизни. Я говорю вам все это не только для того, чтобы вы узнали правду, но и для того чтобы вы смогли лучше узнать меня, узнать, какие силы сделали меня тем, кто я есть. Говорю все это вам потому, что не могу допустить, чтобы вы считали меня отвратительным... Потому что я люблю вас, Мадлен.

— Ох!

Это был всего лишь вздох, не более.

А потом Мадлен увидела, как из дома выходит ее отец, и вознесла хвалу Господу за ту передышку, которую принесло ей его появление.

III

Позднее тем же утром встревоженный мэтр Фальгу тщательно и пытливо расспросил дочь. Результат его почти удовлетворил. Мадлен откровенно призналась, что с тех пор, как Бабилас покинул их три года назад, она питала к нему нежные чувства, но эти чувства он убил сам, когда предстал перед ней в одеждах республиканца и своей речью оскорбил все те принципы, которые она считала священными.

Фальгу ни на миг не усомнился в искренности дочери. Он слишком хорошо знал ее характер, отвращение к обману и уловкам, природную смелость и ум, способный распознать любую ложь. Прекрасно, сказал себе адвокат. Прибытие Бабиласа, показавшееся ему столь несвоевременным, похоже, оказалось тем самым лекарством, которое и требовалось для излечения Мадлен от ее упрямой привязанности к воспоминаниям об этом юноше. Мудрый человек удовлетворился бы тем, что оставил бы все как есть. Но мэтр Фальгу — по крайней мере, в том, что касалось женщин — мудростью не отличался. В своей неразумности он счел сие время как нельзя более подходящим для отстаивания амурных интересов Кадуэна.

Настойчивый родитель потер свои худые руки.

— Я рад, дорогая, — сказал он, — рад и за тебя, и за славного Кадуэна, желаниям которого ты больше не станешь противиться.

При этих словах Мадлен уставилась на него в смятении.

— Какое отношение ко всему этому имеет господин Кадуэн? — спросила она. — Прошу вас, отец, перестаньте давить на меня.

И во избежание повторного перечисления всех аргументов, обычно приводимых мэтром Фальгу в пользу Кадуэна, девушка удалилась.

Это встревожило адвоката, поколебало его уверенность в искренности дочери и в конечном счете вынудило отправить Блеза за Кадуэном.

Вооружившись гражданской карточкой, которую ему не составило труда раздобыть, Блез тотчас же отправился выполнять поручение, и в результате тем же вечером Кадуэн собственнолично появился в доме на улице Церкви.

Он вошел никем не объявленный, когда отец и дочь сидели во всё той же отделанной белыми панелями комнате, и, увидев его, оба вскочили с возгласом беспокойства.

— Так скоро? — воскликнул адвокат. — Как вам это удалось?

— Я прошел с карточкой Блеза, оставив самого его в Фонтене́ ждать моего возвращения, — ответил Кадуэн.

— Но опасность...

— Не так уж и велика, как вы полагаете. Часовые не могут запомнить всех проходящих мимо. Более того, полагаю, с тех пор, как Блез покинул Ньор, стража уже сменилась, и, несомненно, сменится еще раз, прежде чем он вернется. Да и потом, — добавил он, ища взглядом Мадлен, — я не из тех, кого может остановить опасность, когда он движим чувствами. Но вы хотели видеть меня, мэтр...

Фальгу в нерешительности посмотрел на дочь.

— Принеси нам вина, Мадлен, — попросил он.

Пока девушка выполняла это поручение, адвокат вкратце рассказал о происшедшем: о прибытии Бабиласа, о явном влиянии его республиканства на чувства к нему Мадлен, о своих собственных давнишних сомнениях.

Кадуэн жадно выслушал его с чуть ссутуленными плечами, заложенными за спину руками и хмурым выражением на широком лице. В нем кипела ревность, и ее пламя не могли потушить даже новые заверения в том, что, если Мадлен некогда и питала какие-то чувства к Бабиласу, этим чувствам пришел конец. Ревность Кадуэна была того свирепого свойства, которое, когда речь заходит о предмете сильной эмоции, охватывает как настоящее, так и прошлое. Что бы Мадлен ни чувствовала к Бабиласу сейчас, она практически призналась в том, что когда-то любила его, и это было то, чему было суждено занозой сидеть в душе Кадуэна до тех пор, пока Бабилас жив.

— Вы правильно сделали, что послали за мной, — процедил он наконец сквозь плотно сжатые зубы. Затем, глубоко о чем-то задумавшись, отошел к окну.

— Что посоветуете? — спросил Фальгу.

В этот миг, с подносом, на котором стояли графин и три высоких изящных бокала, в комнату вошла Мадлен. Пока она наливала вино, Кадуэн не сводил с нее глаз. Потом с поклоном и улыбкой принял из рук девушки поднесенный ею бокал, поднял его и произнес тост:

— Да здравствует король! Смерть всем республиканцам!

Мэтр Фальгу повторил за ним эти слова. Мадлен выпила молча, опустошив примерно половину бокала.

— Надеюсь, вы одобряете этот тост, мадемуазель, — сказал Кадуэн.

— Всем сердцем, — ответила девушка.

— Прекрасно, просто прекрасно. — Он решил, что сейчас самое время разрешить давние сомнения мэтра Фальгу относительно девушки. — Сюда, в ваш дом, мадемуазель, заполз один из этих мерзких санкюлотов. — Тщетно адвокат, не понимавший всей глубины намерений Кадуэна, бросал на него предостерегающие взгляды: роялист продолжил развивать тему. — Он включен во вторую половину этого тоста, мадемуазель. — Кадуэн говорил с мрачной многозначительностью.

Он увидел, как Мадлен поставила пустой бокал на стол, и заметил, что ее рука немного дрожит. Не упустил он и того факта, что глаза ее внезапно расширились, мимика лица сделалась маловыразительной, а движения скованными.

— Но поскольку провозглашать тосты за здоровье врагов нам не к лицу, — продолжал он, — мы должны придумать другой способ избавить вас от этого инкуба.

— Например? — спросила Мадлен тихим голосом.

Кадуэн подошел к столу и тоже опустил на него свой наполовину опорожненный бокал.

— Есть один способ, — сказал он, — который оказался весьма действенным против пары десятков подобных выскочек. Мы, сражающиеся за короля, должны бить их так, как только можно, и одним из широко нами применяемых методов является сражение один на один. Эти бандиты, набранные из черни, ничего не знают об оружии современного рыцаря, — Кадуэн похлопал рукой по тонкой рапире, висевшей у него на боку, — но в своем самодостаточном высокомерии они никогда не уклоняются от участия в подобном поединке.

— Но это же убийство, — сказала Мадлен, усевшись за стол и глядя на него снизу вверх.

— Убийство? — Кадуэн бросил на нее хмурый взгляд. — Разве он погибнет не в честном бою?

— Вы называете честным бой, в котором только один из сражающихся умеет пользоваться применяемым оружием? — возразила девушка.

Кадуэн рассмеялся, ничуть не смутившись, — его даже позабавила наивность такой точки зрения.

— Это уж их вина, мадемуазель. Если они полагают себя равными джентльменам, то им надлежит показывать, что это не просто бахвальство, во всем. Они должны нести ответственность за последствия. В принципе, многие из них уже ее и несут. Во Франции есть небольшая группа благородных spadassins[1], которые проделывают прекрасную работу. К этой группе имею честь принадлежать и я.

[1] Забияки, драчуны, бретёры (фр.)

— Я бы не стала хвастаться этим, месье Кадуэн, — сказала Мадлен, и в ее голосе прозвучало холодное презрение.

Кадуэна слова девушки явно задели.

— Ха! — воскликнул он, сглотнув комок. — Откуда в вас вдруг взялась эта тревога о каком-то canaille?

— Вы заблуждаетесь, месье, — это тревога о noblesse[1] и его чести, которую мне не хотелось бы видеть запятнанной деяниями, более достойными этих мужланов-революционеров.

— Вы уверены, мадемуазель, что эти чувства не продиктованы заботой об одном из упомянутых вами мужланов-революционеров?

Это было сказано со столь злобной усмешкой, что мэтр Фальгу поспешил вмешаться. Хотя адвокат и сам бывал щедр на сарказм, насмехаться над дочерью он не позволял никому.

— Мадлен права, Кадуэн, — произнес он резким тоном, — подобные методы совершенно недостойны. Они действительно отдают умышленным убийством; такими «деяниями» нашему делу уж точно не поможешь.

Густо покраснев, Кадуэн перевел взгляд на адвоката. Он был очень зол, но прежде чем смог как-то выразить свой гнев, дверь внезапно открылась, в комнату вошла жена Блеза и сообщила, что по улице едет верхом на коне полковник Бабилас. Она увидела его из окна и, зная, что в доме месье Кадуэн, позволила себе зайти, чтобы предупредить их.

Это сообщение рассеяло весь гнев господина Кадуэна, а вместе с ним и все помыслы о личной ссоре с Бабиласом.

— В таком случае мне лучше уйти, — объявил он, явно немного испуганный услышанным.

Никогда еще он не казался Мадлен столь презренным, как в эти мгновения резкого перехода от еще недавнего буйства. «Он бежит от опасностей не менее ретиво, чем хвастается тем, что подвергается им», — подумала девушка.

— Если вы так спешите, месье, — сказала она, — то окно тут расположено не так уж и высоко от земли.

Кадуэн смерил ее взглядом, в котором сквозь укор промелькнул гнев. Остановившись, он положил руку на сердце, как человек, который говорит от имени своей сокровенной совести.

— Мадемуазель, — серьезно ответил он, — если я и ухожу сейчас, то только лишь из-за беспокойства о вас и вашем отце. Не хочется навлекать беду на этот дом, но я вернусь, и очень скоро.

На этом, бросив пару прощальных слов, он выбежал за дверь и двинулся через сад, чтобы уж точно не встретиться с человеком, которого собирался выпотрошить.

— Не думаю, отец, — промолвила Мадлен с несколько грустной улыбкой, — что господин Кадуэн вызывает у меня восхищение.

[1] Дворянство (фр.)

— Ты же слышала, что он сказал, — упрекнул дочь мэтр Фальгу. — Его уход вызван беспокойством о нас и, возможно, уважением к твоему мнению. Ты же не хотела бы, чтобы он остался и, схлестнувшись с этим парнем, ненароком убил его? А теперь вот намекаешь, что ему не следовало поступать так, как он поступил. Ты неразумна. Все женщины неразумны, — ворчливо добавил он.

Полковник вошел, степенно поклонился и был столь же степенно встречен. Отложив саблю и головной убор, Бабилас бросился в стоявшее у окна кресло и заявил, что жутко устал, — мол, за день он переделал столько дел, что только сейчас и смог перевести дыхание.

— Но почему ваш гость ушел в такой спешке, гражданин? — спросил он вскоре. — Надеюсь, это не мой приход выгнал его отсюда?

Отец и дочь уставились на него с внезапной тревогой. Мэтр Фальгу напряженно распрямился, но Мадлен опередила его с ответом.

— Вы шпионите за нами, господин полковник? — дерзко бросила она Бабиласу.

— Шпионю за вами? Черт подери! Это ж надо такое придумать! — рассмеялся Бабилас. — Совсем не нужно шпионить, чтобы увидеть то, что у тебя прямо перед глазами. Я наблюдаю, только и всего. Делай вы то же самое, — он обвел взглядом обоих, — возможно, не столь бы крепко цеплялись за свои старые убеждения, — он указал на стол: — Здесь три бокала, следовательно, тут недавно пили три человека; один из этих бокалов стоит в стороне и от вас, гражданин, и от вас, гражданка, следовательно, напрашивается однозначный вывод, что он принадлежал вашему гостю, а поскольку емкость все еще наполовину полна вина, столь же однозначно можно сказать, что этот гость ушел в спешке, даже не соизволив его допить.

Мэтр Фальгу несколько принужденно рассмеялся.

— Мои комплименты, месье, — промолвил он. — Вы весьма проницательны.

— Едва ли вы действительно считаете меня проницательным, гражданин, — серьезно ответил полковник. — В таком простом вопросе, как этот, я волей-неволей еще могу убедить вас в том, что рассуждаю ясно, но в более серьезных и далеко идущих вопросах вы не просто не доверяете моим выводам, но и сомневаетесь во мне самом за то, что я их, эти выводы, делаю, и ненавидите меня за то, что их придерживаюсь. И все же, уверяю вас, для человека наблюдательного предзнаменования не менее очевидны, чем эти три бокала, а стало быть, и выводы не менее неизбежны.

— Если мы намерены соблюдать приличия, которые желательны среди людей, оказавшихся под одной крышей по воле случая, — высокопарно произнес мэтр Фальгу, — ваша наблюдательность и здравый рассудок должны были бы подсказать вам, что целесообразно игнорировать политические разногласия.

Но Бабилас его словно и не услышал. Не проходило и дня, чтобы в общении с мэтром Фальгу или с его дочерью, или же с ними обоими, он не подводил разговор к этой опасной теме; порой он даже принимался разглагольствовать

перед ними, как в старые времена разглагольствовал перед чернью в Пале-Рояле, и заканчивал свое выступление, лишь когда сила его красноречия трогала сердце одного или другого из его слушателей. Но подобные моменты были редки и мимолетны — слишком уж глубоко укоренилось в них обоих предубеждение. И отец, и дочь были фанатиками в своем роялизме, а фанатизм — штука, невосприимчивая к доводам разума и аргументам. Лишите фанатиков всяческих доводов для подкрепления их убеждений, и они все равно будут цепляться за эти верования, будучи уверенными в том, что, пусть у них и нет сейчас под рукой аргументов, которыми можно было бы ответить оппоненту, такие неопровержимые доказательства все же должны существовать — и существуют.

В поведении Бабиласа было нечто почти трогательное, но они этого совершенно не замечали. Они так и не поняли, что его разглагольствования имели целью не обратить их в иную веру, но всего-навсего восстановить самого его в их глазах; что на самом деле он стремился заставить их понять, как именно он смотрит на вещи и что неизбежно будет видеть их такими всегда, — и все это лишь для того, чтобы они смогли простить ему эти столь противоречащие их собственным убеждения. Он желал лишь их доброй воли, а не обращения в доктрины революции, пусть и являлся ее ярым защитником.

В следующий тайный визит Кадуэн открыл адвокату глаза на возможную опасность, и мэтр Фальгу, несмотря на всю свою стойкость, похолодел от шока, вызванного внезапным предчувствием.

— Вы поступаете неосмотрительно, открывая ему свои взгляды, — упрекнул его Кадуэн. — Не забывайте, что он влюблен в Мадлен. Этот Бабилас — республиканский пёс. Я знаю эту породу. Они ни перед чем не останавливаются. Какое-то время он будет ласкаться к вам, резвиться перед вами, поскольку думает, что это может послужить его целям, но когда он отчается, что помешает ему отправить вас на гильотину? Кто тогда спасет от него Мадлен? Кто помешает ему утащить ее?

Внезапно осознав свое положение, Фальгу горестно простонал, но причин для отчаяния у него не было. Кадуэн уже принял меры. Возможно, именно размышления о сложившейся ситуации, именно желание поскорее решить личные проблемы побудили его разработать определенный план и предложить этот план господину де Шаретту, лидеру роялистов. Осознавая, что одному ему с полковником Бабиласом не совладать, Кадуэн решил использовать для этой цели часть роялистской армии и вместе с тем нанести удар по расквартированному в Ньоре республиканскому отряду.

Со своим предложением, как уже было сказано, Кадуэн обратился к Шаретту, — тот представлялся ему человеком, с которым можно было найти общий язык. Дело предстояло жестокое и кровавое, а Шаретт, в пылу его ненависти к Республике, стал именно такой личностью — безжалостной и кровожадной. Ни один другой предводитель вандейцев не прислушался бы к плану Кадуэна, но Шаретт впитал его с жадностью, буквально пожирая

каждое слово глазами, пылавшими ненавистью и свирепостью. Похвалив Кадуэна за проницательность, он тут же объявил: если тот сможет завершить необходимые приготовления, он лично проследит, чтобы этот план был выполнен от начала до конца.

Это и было то дело, которое снова тайно привело Кадуэна в Ньор. На сей раз на руках у него не было гражданской карты, и он пришел со стороны реки, — проскользнул мимо единственного, к тому же не слишком внимательного часового и переплыл ее в сумерках. Его одежда сушилась внизу, в кухне, и Блез вскоре должен был переправить его обратно. Пока же Кадуэн облачился в какую-то странную одежду и ночную рубашку, позаимствованные у мэтра Фальгу.

Полковник Бабилас, в чем роялист удостоверился перед тем, как явиться к адвокату, нес дежурство и должен был вернуться не раньше десяти часов вечера, так что в запасе имелся добрый час.

— Где Мадлен? — спросил вдруг Кадуэн.

— В своей комнате, — ответил мэтр Фальгу. — Уже одного вашего вида, — добавил он, — достаточно для того, чтобы гарантировать ее отсутствие. Мы можем говорить спокойно.

И все же Кадуэн встал, подошел к двери, открыл ее и выглянул наружу, чтобы убедиться, что они совершенно одни. Затем неспешно прошел обратно к креслу.

— Месье, — заявил он, — готовится одна славная операция, способная избавить Ньор от этой чумы и нанести удар, который будет иметь далеко идущие последствия, столь далеко идущие, что, возможно, вернет на трон короля, а Франции — ее Бога.

— Говорите же! Я весь внимание! — воскликнул адвокат, наклонившись вперед в пылу возбуждения.

— Для завершения приготовлений нам не хватает лишь одного. Нам нужен надежный друг в Ньоре, который станет недостающим звеном в нашей цепи. Мэтр, пришло время, когда вы можете послужить делу, которое любите. Вы и есть нужный нам друг — вы, и никто другой.

— Выкладывайте, — сказал адвокат без колебаний, — и даже если от меня потребуют жизнь, я с радостью отдам ее ради продвижения дела короля и Бога.

Если бы кто-то из них в тот момент обратил внимание на фарфоровую дверную ручку, то увидел, что она повернулась, но сама дверь не открылась. Казалось, некто уже собирался войти в комнату, но в последний миг остановился.

— Прекрасно, — сказал Кадуэн. — Что ж, слушайте.

Дверная ручка медленно и бесшумно вернулась в исходное положение.

— Будучи плохо знакомыми с полководческим искусством, — продолжал роялист, — эти республиканцы пренебрегли обустройством укреплений здесь, на берегу реки. Они полагают, что река сама по себе является достаточной преградой; более того, они уверены, что так или иначе будут заранее предупреждены о любом планируемом нападении с этой стороны. Берег

охраняется надлежащим, по их мнению, образом, — в действительности же выставленных там караулов абсолютно недостаточно, о чем свидетельствует мое присутствие здесь. Таким вот положением вещей, месье, мы и намерены воспользоваться. В наших планах — сюрприз: камизада, ночная атака. Все, чего нам не хватает, так это сотрудничества надежного роялиста в Ньоре. Что скажете, мэтр? Станете ли вы этим сотрудником?

— Но что тут можно сказать? — запинаясь, пробормотал мэтр Фальгу, в волнении вскочив на ноги. — Что именно вы хотите услышать от меня, Кадуэн? Все, что у меня есть, все, кем являюсь я сам, всегда готово служить королю и его святому делу.

— Так я и думал, мэтр. Именно на такой ваш ответ я рассчитывал, когда предлагал свой план господину де Шаретту. Все уже подготовлено. Мы тайно соберем в Фонтене́ тысячи две человек, Ньор поставит нам еще полтысячи, у нас будет всё, что требуется, поскольку наша цель — захватить этих негодяев врасплох и уничтожить по частям. Ночь с субботы на воскресенье обещает быть безлунной. Ровно в полночь мы подойдем к противоположному берегу, заранее позаботившись о том, чтобы часовой был снят. Затем один из нас переплывет через реку со связкой веревок, привяжет тут с полдюжины их к деревьям, тогда как другие концы этих веревок мы закрепим на той стороне. Придерживаясь этих веревок, наши люди перейдут реку вброд и вплавь, с порохом в узелках на голове. Все это будет происходить напротив вашего собственного луга в Сен-Пре. Высокие стены, окружающие луг, скроют наши передвижения от любого запоздалого санкюлота. Уже там, на лугу, мы бесшумно соберемся и через луговые ворота — ключ от которых вы дадите мне — выйдем к Ньору. Каждый роялист в городе должен быть предупрежден и готов присоединиться к нам. Нам нужны только те люди, которым можно доверять абсолютно. Я принес вам их список. Но позаботьтесь о том, месье, чтобы никто из них не знал о пути нашего следования.

— Да-да, конечно, — торопливо кивнул Фальгу.

— Мы перейдем реку ровно в полночь, но, для полной уверенности, пусть они подождут, пока колокола церкви Сент-Антуан пробьют час ночи, — с первыми же ударами могут спокойно выходить из домов. Да, и пусть все они, как и мы сами, наденут поверх одежд белые рубахи — так мы сможем отличать в ночи друзей от врагов. Скажите, чтобы собирались на рыночной площади — там мы к ним и присоединимся. И я клянусь, — добавил Кадуэн, — уже через полчаса город будет в наших руках, а республиканцы уничтожены. Пока достаточно будет и этого — с остальным разберемся позднее. Тот факт, что республиканцы из предосторожности разместили почти всех своих людей у доверенных патриотов, сыграет нам лишь на руку: будучи свободными от этих нежелательных жильцов, местные роялисты смогут как следует подготовиться, не опасаясь быть застигнутыми врасплох.

— Понимаю, — сказал мэтр Фальгу.

— И вы подготовите роялистов Ньора?

— Можете в этом на меня положиться.

— Прекрасно! Мы же, в свою очередь, гарантируем: из блаженной дремоты эти республиканцы перейдут в сон куда более глубокий, — и Кадуэн рассмеялся над собственной шуткой. — Ибо наша задача — застать их в постелях. В воскресенье вечером не жалейте вина. Проследите за тем, чтобы этот ваш полковник Бабилас как следует принял на грудь. Остальное — наша забота.

При этих словах Фальгу поморщился. Мысль о том, что убийство совершится в его собственном доме, явно пришлась мэтру не по вкусу.

Дверная ручка снова повернулась, и на сей раз дверь открылась совершенно внезапно, хотя и не было слышно каких-либо приближавшихся к ней шагов. Оба мужчины вздрогнули. На пороге стояла Мадлен, лицо ее было цвета гранита. Возможно, заговорщики и заметили это, но доставленное девушкой сообщение рассеяло все их подозрения.

— Только что вернулся полковник Бабилас. Он уже здесь.

Кадуэн заметался по гостиной в поисках укромного уголка, где можно было бы спрятаться, но такового в этой отделанной белыми панелями комнате не имелось.

Адвокат выругался.

— Черт подери, что принесло его сюда на добрых полчаса раньше оговоренного времени? — вскричал он.

— Это не так уж и важно, — отрезал Кадуэн; лицо его сделалось пепельно-серым. — Важно другое: я в западне, и моя жизнь в опасности.

Похоже, наконец-то опасность, столь им, как он любил прихвастнуть, обожаемая, настигла его.

— И что еще более важно... — начал было адвокат, но Кадуэн резким взмахом руки прервал его: где-то поблизости, в коридоре, брякнула сабля полковника.

— Да разве есть для человека что-то важнее, чем жизнь? — пробормотал роялист в яростном, тщетном, полном отчаяния утверждении.

И тут на пороге возник Бабилас.

IV

Полковник не выказал ни малейших признаков удивления — разве что чуть поднял брови. Его широко расставленные, наблюдательные глаза разглядели детали гротескного одеяния Кадуэна, а острый ум мгновенно подсказал, чем оно вызвано.

Он сделал шаг вперед, затем остановился, словно колеблясь.

— Я вам не помешал? — спросил он, переводя взгляд с одного на другого и всем своим видом выражая глубочайшее почтение.

Кадуэн совершил роковую ошибку, предположив, что эта нерешительность и почтение основаны на страхе. Его собственное слабеющее мужество

мгновенно возродилось. К тому же, он понимал, что ему необходимо проявить доблесть и достоинство в глазах Мадлен, что ему следует получить преимущество перед человеком, в котором он уже увидел соперника.

— Ну, а сами как думаете? — ответил он с презрительной ухмылкой.

— Тогда позвольте мне сию же секунду загладить вину, — промолвил Бабилас с безмятежным спокойствием, уже начав разворачиваться к двери с явным намерением удалиться. — Не ожидал, что буду иметь удовольствие повидаться с вами, гражданин Кадуэн, — добавил он, ибо знал Кадуэна еще во времена своего ученичества. — Жаль, что наша встреча была столь короткой и мимолетной.

— Что до меня, то я этого сожаления не разделяю, — сказал Кадуэн и, с удовлетворением отметив, что Мадлен слегка удивилась, вообразил, что сумел произвести впечатление.

— Вполне вас понимаю, — заметил Бабилас, улыбаясь с невозмутимым дружелюбием. — Как солдату Конвента, — добавил он после секундной паузы, — позвольте мне принести извинения за то, что в нынешних условиях вам приходится плавать, чтобы наносить визиты. Сожалею, что вы вынуждены переносить столь существенные неудобства, гражданин.

На этом он бы вышел из комнаты, но Кадуэн, все больше и больше заблуждавшийся в своём убеждении, что республиканец боится его, не унимался.

— Вы чертовски вежливы, — проворчал он.

— Вежливость, гражданин, — последовал спокойный ответ, — это то, в чем я никогда не смог бы вас упрекнуть.

Это стало чистейшей глупостью со стороны Кадуэна, но подталкиваемой тщеславием вкупе с ревностью, он, не сдержавшись, воскликнул:

— Месье, вы негодяй — негодяй, понимаете?

— Прекрасно понимаю, гражданин.

— И что же вы понимаете?

— То, что, помимо всего прочего, вы еще и дурак, гражданин Кадуэн. Я всегда подозревал это. Только лишь дураку может прийти в голову провоцировать того, кто является хозяином положения.

— Вы льстите себя надеждой, что являетесь хозяином положения? — огрызнулся Кадуэн, несмотря на то, что мэтр Фальгу предостерегающе дернул его за рукав.

— Мне не нужно ничем себя льстить, ибо я уверен в этом на все сто процентов.

— Может, вы и к оскорблениям невосприимчивы? — взревел Кадуэн, приходя в еще большее бешенство от холодного спокойствия собеседника.

— Ну почему же? Увы! Я всего лишь человек, гражданин Кадуэн, и потому предупреждаю: не испытывайте мое терпение. Полагаю, ни у кого из присутствующих здесь нет сомнений, что вы ищете ссоры со мною. Преуспеть в этом вполне вам по силам. Были уже люди вроде вас — парочка известных забияк-роялистов, — кому это удалось, но у меня был припасен для них сюрприз. Будучи

оскорбленной стороной, именно я имел право на выбор оружия и выбирал сабли. Их неумение обращаться с этим оружием было столь же полным, как и мое неумение фехтовать короткой шпагой, на которую они рассчитывали. Но они были связаны обязательством и потому были вынуждены подчиниться, позволив мне спокойно порубить их на части. Если я и избавлю вас от этого сюрприза, то лишь из уважения к нашему хозяину, мэтру Фальгу; мне бы не хотелось, чтобы он потом утруждал себя объяснением вашего присутствия здесь, ибо общеизвестно, гражданин, что вы служите в армии разбойников Шаретта, и укрывать вас — тяжкое преступление. По этой же причине я воздержусь и от вашего ареста. Однако есть пределы того, до какой степени я могу пренебречь своим долгом, и я бы посоветовал вам, гражданин, без промедления надеть свою одежду — мокрая ли она, сухая ли — и исчезнуть.

Он спокойно направился к двери, но на пороге остановился и взглянул на часы.

— Даю вам пятнадцать минут, гражданин, в течение которых вам следует покинуть Ньор. Большего я сделать для вас не могу.

И Бабилас вышел, закрыв за собой дверь.

Кадуэн стоял, бледный от ярости, порожденной его сокрушительным поражением. Он понял, сколь жалко выглядел в этом коротком поединке, понял, что все без исключения почести остались за республиканцем — фактически, лишь по его милости Кадуэн сохранил свободу и мог теперь спокойно сбежать. От этого разговора о саблях ему едва не стало плохо, — вероятно, подобные же ощущения некогда испытывали и те два-три бретёра-роялиста, которые, вознамерившись совершить убийство под видом дуэли, вдруг обнаружили, что все обернулось против них самих.

— Что мне оставалось делать? — вопросил он, обращаясь к отцу и дочери. — Как еще я должен был вести себя с парнем, который говорил о саблях? Он бы еще предложил сразиться на мясницких ножах!.. Фу! Впрочем, — добавил он, поддавшись внезапному вдохновению, которое должно было восстановить его в их глазах, — будь под угрозой только лишь моя жизнь, меня не остановило бы даже это. Но я должен был думать о деле, которому служу, и о том, что мне еще предстоит сделать. Королевская служба не может обойтись без меня.

— Черт возьми, — воскликнул Фальгу, — подумайте об этом и сейчас тоже и уходите, пока есть время. Пойдемте, милейший, я принесу вашу одежду. И ключ вы тоже получите. Если вам есть что еще сказать, можете сказать это, пока будете одеваться. Пойдемте!

Несмотря на всю грозившую ему опасность и срочность дела, Кадуэн ушел весьма неохотно. Он еще хотел поговорить с Мадлен, но адвокат не дал ему такой возможности, поспешно уведя из комнаты.

Оставшись одна, Мадлен, чрезвычайно бледная и задумчивая, упала в стоявшее у окна кресло. По контрасту с величавой невозмутимостью и великодушием Бабиласа Кадуэн вызывал у нее презрение. Разумеется, она не могла знать, что поведение полковника было продиктовано главным

образом соображениями о ней самой, что лишь желание выглядеть героически в ее глазах побудило его держать себя в руках и проявить по отношению к Кадуэну двойное великодушие, которое при иных обстоятельствах роялист не выказал бы и близко. В конце концов, сами понимаете, Бабилас был всего лишь мужчина и немного эгоист, по крайней мере, в том, что касалось Мадлен Фальгу.

Мадлен вдруг обнаружила, что в ее мысли закрадывается некая нелояльность. Почти невозможно восхищаться членом одной партии и презирать члена другой, не испытывая в то же время симпатии и антипатии к самим этим партиям. Из-за своего глубоко укоренившегося отвращения к революции и всему тому, что она породила, девушка теперь упрекала себя за эти начавшие в ней пробуждаться мятежные чувства.

Девушка услышала, как отец и Кадуэн двинулись в темноте через сад в сопровождении Блеза, которому предстояло переправить Кадуэна через реку на лодке.

Затем дверь открылась, и вошел Бабилас. Мадлен тотчас же встала, вознамерившись уйти в соответствии с курсом, который она установила для себя после беседы, состоявшейся у них на следующее утро после его прибытия, — никогда не позволять себе оставаться с ним наедине.

Но Бабилас задержал ее.

— Минутку, гражданка, — взмолился он. — Я должен кое-что вам сказать. Это касается вашего отца, гражданка, и все же я подумал: если мое предупреждение передадите вы, оно возымеет куда больший эффект. Было бы жаль, если бы, исходя от меня, оно прозвучало как угроза или же было бы именно так им истолковано.

— В чем дело, месье? — Мадлен даже на миг затаила дыхание.

— Скажите ему, гражданка, что он поступает крайне неблагоразумно, и посоветуйте отказаться от задуманного.

— А что он такого задумал, месье?

— Он поймет, что я имею в виду. Я не слепой. Для меня совершенно очевидно, что визиты вашего друга Кадуэна более или менее регулярны. На днях, если помните, я случайно обнаружил тут бокал с вином. Теперь же я узнал, что гражданин Кадуэн поддерживает связь с Шареттом и Кателино. Из этого я заключаю, что он посредник — агент — и что его визиты сюда с риском для жизни связаны с неким заговором, в который он вовлекает вашего отца. Попросите отца не ввязываться ни в какие заговоры и вообще оставить политику в покое, если мэтру дорога его шея и если он любит вас. У Республики не меньше глаз, чем у Аргуса[1]. Скажите это отцу, мадемуазель. Если любите его, постарайтесь убедить.

Мадлен была смертельно бледна, грудь ее высоко вздымалась, но она смотрела ему прямо в глаза.

---

[1] *Аргус* — многоглазый великан из древнегреческих мифов. Множество глаз, из которых одна часть спала, а другая бодрствовала, делало его идеальным стражем.

— Месье, — ответила она, — вы глубоко заблуждаетесь. Месье Кадуэн — будущий муж, выбранный для меня отцом. Надеюсь, это объяснит вам его частые тайные визиты с риском для собственной шеи.

Она увидела, как лицо Бабиласа исказилось от боли, светлые глаза потемнели. Затем он сухо поклонился.

— Объяснение более чем адекватное, — ответил он. — Спасибо, что сказали.

И на этом разговор закончился, оставив у нее глубокое чувство неудовлетворенности.

Но в ту ночь, оставшись с отцом наедине после того, как полковник удалился в свою комнату, она передала адвокату его предостережение, присовокупив к нему самые настоятельные мольбы от себя лично. Мэтр Фальгу выслушал дочь с мрачным выражением лица.

— Бесполезно советовать мне идти против долга, — промолвил он наконец, но в словах его не было сердечности. — Сколь бы ни был серьезен риск, сколь бы ни была велика цена, я должен пойти навстречу опасности, заплатить эту цену ради моей веры и моих принципов.

— Стало быть, вы и вправду что-то замышляете? — воскликнула Мадлен, словно только что узнала об этом факте.

— Я этого не говорил.

— Но вы это и не отрицаете. Впрочем, в этом и нет необходимости. Но, я правильно поняла вас, отец, — вы не намерены отступать?

Мэтр Фальгу посмотрел на дочь, и его тонкогубый рот тронула легкая улыбка.

— Дитя мое, — проговорил он с мягким упреком в голосе, — будь я действительно вовлечен в какой-либо заговор во имя еще большей чести и славы нашего Бога и нашего короля, неужели ты думаешь, что убедила бы меня отказаться от задуманного?

— Даже и после того, что произошло здесь сегодня, и после того, как полковник Бабилас позволил месье Кадуэну спокойно уйти? Разве тем самым полковник Бабилас не сделал нас его должниками? Честно ли будет — воспользоваться его великодушием, чтобы принять участие в заговоре, имеющем целью его погибель?

Отец снова посмотрел на дочь, и на сей раз взгляд был жестким и подозрительным.

— Неужели ты просишь за санкюлота?

— Я прошу вас не забывать о чести и безопасности, — ответила Мадлен.

— Последнее не имеет значения; относительно же первого ты должна позволить мне самому быть себе судьей, моя девочка, — сказал адвокат. — Мы должны пользоваться любыми, даже самыми незначительными оплошностями революционного сброда. Возможно, Бабилас поступил глупо, позволив Кадуэну уйти. Но было бы нелогично утверждать, что безрассудный поступок полковника связал нам руки.

— Наверное, отец, все же не безрассудный, а великодушный?

— Именно таким, — последовал проницательный ответ, — как ты говоришь: «великодушным», он и хотел, чтобы этот поступок выглядел. Вижу, на тебя Бабилас определенный эффект произвел; будь я столь же глуп, несомненно, тоже купился бы! Но не будем ругаться, девочка. Займись лучше какими-нибудь своими делами, — безапелляционно закончил мэтр Фальгу, тем самым положив спору конец.

V

Тот визит мэтру Фальгу Кадуэн нанес в последний понедельник июня. Камизада, как мы уже знаем, была запланирована на следующее воскресенье, так что для подготовки роялистов Ньора к участию в этом предприятии у адвоката была почти целая неделя.

Несмотря на принятые меры предосторожности, его действия неизбежно были таковы, что наверняка вызвали бы подозрения Комитета общественного спасения, если бы не иммунитет от «наблюдения», которым он обзавелся благодаря поддержке этого стойкого республиканца — полковника Бабиласа.

Несколько раз возвращаясь в ходе текущей недели в особнячок на улице Церкви в непривычное время, Бабилас неизменно не заставал адвоката дома. Судя по всему, на мэтра Фальгу вдруг свалилась целая куча неотложных дел, и Бабилас подозревал, что какого бы рода ни были эти дела, вероятнее всего, они как-то связаны с тайными визитами Кадуэна. Полковник боялся, что назревает некая беда — иными словами, боялся за отца Мадлен. Чтобы показать адвокату: ничто не ускользает от его внимания, в среду за ужином он решил предупредить:

— Не знаю, мэтр, есть ли у вас какие-то средства связи с гражданином Кадуэном, но если есть — и дабы он не принял мое предупреждение слишком близко к сердцу, — вам лучше бы сообщить ему, что караулы на том берегу реки значительно усилены и любая новая попытка переплыть реку наверняка принесет ему пулю в голову.

Это известие об усилении дозоров на дальнем берегу реки вызвало у Фальгу внезапный приступ беспокойства. Нужно узнать, сказал он себе, сколь далеко простираются эти усиленные караулы, выставлены ли они только лишь для наблюдения за тем местом, где Кадуэн переправлялся в последний раз, или же стоят по всему противоположному берегу вплоть до Сен-Пре, которому предстоит стать целью первого этапа воскресной ночной операции.

— Стало быть, вы сочли необходимым наблюдать за берегом напротив моего сада? — спросил он испытующе, с тревогой ожидая ответа скорее на свои внутренние сомнения, чем на произнесенные слова.

— Вы же не станете меня в этом винить? — возразил Бабилас. — У вас уже неоднократно бывали гости оттуда, так что я вынужден положить этому конец, руководствуясь самыми добрыми в отношении вас намерениями.

Получив ответ, адвокат задышал свободнее; напрягшиеся мышцы его аскетичного лица заметно расслабились.

Бабилас продолжил развивать сказанное:

— Поскольку я не думаю, мэтр, что Республике грозит сколь-либо серьезная опасность со стороны ваших друзей, могу закрыть глаза на вещи, за которые новая власть призвала бы к ответу не только вас, воспоследуй за ними что-нибудь нехорошее, но и меня, — за то, что не заметил их.

— Я перед вами в неоплатном долгу, — промолвил Фальгу со столь едкой иронией, что Мадлен вспыхнула и быстро подняла глаза, чтобы посмотреть, как воспримет выпад полковник.

— Ваша благосклонность, мэтр, — то единственное, чего я желаю, — ответил Бабилас тихим, ровным голосом, без малейшего намека на неискренность. — Бог свидетель, я сделал все возможное для того, чтобы заслужить ее. Но вы и дальше будете продолжать относиться ко мне как к врагу, несмотря на все предоставленные мною доказательства того, что я друг вам. Почему политические разногласия порождают в ваших сердцах такую злобу ко мне? — его призыв был обращен как к отцу, так и к дочери.

— Месье, однажды я уже просил вас воздержаться от политических вопросов, — последовал бескомпромиссный ответ.

— И я воздерживался от них, возможно, даже дольше, чем вы себе представляете, — ответил молодой человек, впервые проявив некоторые признаки горячности. — На этой неделе, к примеру, я несколько раз собирался поговорить с вами о деле, которое так сильно привлекает вас в эти дни.

У старика отвисла челюсть, посерело лицо. В тот момент ему показалось, что у Республики и в самом деле глаза Аргуса, или же этот отдельный солдат обладает подобным всепроникающим зрением.

— Что... что вы хотите этим сказать? — пробормотал он, запинаясь.

— Я не касался этой темы, потому что это непременно вовлекло бы нас в споры, которыми вы гнушаетесь. И все же, несмотря на все ваше презрение ко мне, мэтр, именно я встал между вами и Комитетом общественного спасения. Его представители могли бы задать вам несколько неудобных вопросов обо всех этих расхаживаниях по домам в Ньоре ваших приятелей-мятежников, мэтр, ибо Республика прекрасно осведомлена о том, кому следует доверять, а за кем нужно наблюдать.

— Я... я не делал ничего такого, месье, за что любой справедливый суд мог бы возбудить против меня дело.

— Возможно, и нет. Но — черт подери! — Республика не ждет, когда эти люди начнут действовать. Она судит о них по их намерениям, а их намерения могут быть раскрыты с помощью расследований, проводимых Комитетом общественного спасения.

— То есть иммунитет... — пролепетал ошеломленный старик.

— ...вы получили только лишь потому, что я, находящийся вне подозрений, гарантировал вашу добросовестность. Если из-за халатности, вызванной данным

мной поручительством, возникнут какие-то неприятности, — полковник провел ребром ладони по горлу, — мне придется заплатить. Я упоминаю об этом исключительно для того, чтобы вы перестали считать меня глупцом и в дальнейшем избавили от ваших саркастических замечаний относительно моих убеждений и насмешек над уважением и доброжелательностью, которые я к вам испытываю, — он сделал паузу, глядя прямо на бледного и потрясенного хозяина.

Затем Бабилас сам попытался сменить тему разговора, но беседа не клеилась, и вскоре он удалился к себе. Оставшись наедине, отец и дочь вернулись к затронутой теме, и путь к ней проложила Мадлен.

— На днях я говорила о нашем долге перед полковником Бабиласом. Тогда я мало что знала, как и вы, отец, о полном объеме этого долга. Теперь он нам известен.

— Да, — мрачно подтвердил Фальгу, — теперь он нам известен.

— Из того, что сказал полковник, очевидно: если вы преуспеете в своем заговоре, это произойдет исключительно благодаря иммунитету, которым он обеспечил вам от ареста, благодаря тому, что он снял с вас подозрения, уже указывавшие как на сторонника роялистов.

— Ну и?.. — голос адвоката был столь же резким и раздраженным, сколь спокойным и рассудительным голос Мадлен.

— Не менее очевидно и другое: карьера полковника и, без сомнения, его жизнь станут той ценой, которую ему придется заплатить за свое великодушие. Неужели вы допу́стите это, отец?

Мэтр Фальгу в волнении вскочил на ноги. На его бледных щеках пылали два лихорадочных пятна.

— Какой у меня есть выбор? — вопросил он с раздражением и горечью, ибо и сам сознавал несправедливость своей единственной мыслимой защиты. — Или из-за того, что полковник — глупец, я должен пожертвовать своим королем и своей верой?

— Его единственная глупость — глупость великодушия, — не отступала Мадлен.

— И ничего более? — с вызовом в голосе воскликнул адвокат, глядя на дочь почти свирепо. — Скажи уж лучше: глупость безумной любви, — мэтр Фальгу сделался безрассудным в неистовом стремлении оправдаться. — Неужели ты думаешь, что Бабилас сделал то, что он сделал, из уважения ко мне? Видит Бог, у него нет ни малейших причин для столь самоотверженной привязанности. Не сомневаюсь, он выдал бы меня Комитету общественного спасения еще неделю назад, если бы не то обстоятельство, что у меня есть дочь — дочь, которая настолько слаба, что пытается убедить изменить всему, что для меня свято, и только лишь из-за того...

— Прекратите! — взмолилась Мадлен, тоже, в свою очередь, вставая. Адвокат тут же умолк, несколько запоздало поняв, что взял неверный тон, что в попытке избежать одной опасной тропы, едва не пошел по еще более опасной дорожке.

— Вы не можете, — сказала ему дочь, — не осознавать, сколь несправедливы ваши слова. Но если не осознаёте, то я сейчас помогу вам с этим. Чтобы Бабилас не заподозрил, что визиты господина Кадуэна имеют какую-то политическую подоплеку, я заявила ему, что месье Кадуэн — мой будущий муж, выбранный для меня вами, и теперь полковник полагает, что если господин Кадуэн и рисковал жизнью, обходя выставленные республиканцами кордоны, то всего-навсего из-за порывистости возлюбленного, короче говоря, что он приходил сюда для того, чтобы повидаться со мной.

Отец уставился на нее в замешательстве.

— Ты позволила ему поверить в это, и, однако же, он...

— И, однако же, он велел мне предупредить господина Кадуэна, что долг заставил его увеличить численность караулов, дабы сюда тем же путем, что и господин Кадуэн, не проникли иные люди с другими намерениями. Вот и думайте, было ли его великодушное поведение по отношению к вам продиктовано исключительно расположением ко мне или надеждой завоевать меня?

Но хотя Мадлен и использовала данный аргумент для того, чтобы уверить отца, и отчасти ей это удалось, — саму себя она убедить не смогла. Истинным объяснением поведения полковника, которое, возможно, никогда бы не пришло ей в голову, не обрати адвокат опрометчиво на это ее внимания — она как раз таки и сочла слова отца. Это лишь усилило ее отвращение к тому, что задумали заговорщики.

Но действительно ли любовь Бабиласа столь глубока, искренна и самоотверженна, что ради нее он защищает не только ее отца, который всегда враждебно относился к его ухаживаниям за ней, но и того самого мужчину, которого она дала ему повод полагать ее возлюбленным? И должен ли за свою преданность ей полковник поплатиться жизнью?

Этот вопрос, казалось, свелся к личному — исключительно между ней и ним. Именно его любовь к ней — ни больше, ни меньше — послужила основой, на которой стало возможным построить заговор, что должен был привести к его погибели. Осознание данного факта повергло Мадлен в ужас. Все ее инстинкты теперь были направлены на то, чтобы предупредить Бабиласа. И все же она понимала: для этого придется предать дело, в которое она свято верит, и выдать отца безжалостному трибуналу Конвента. Как же ей хотелось не знать всего того, что готовится!.. Как же ей хотелось повернуть время вспять и не оказаться за дверью комнаты с белыми панелями в ту роковую минуту, когда Кадуэн излагал план заговора ее отцу и заручался его поддержкой!.. Увы, это было пустое желание, но оно неотступно преследовало Мадлен, доводя до безумия.

Вечером в субботу она пошла посидеть у реки и там, наблюдая за плавным течением, спросила себя: не предлагает ли сама эта река ей способ убежать от душевных мучений, которыми она терзается? Размышления Мадлен были нарушены звоном шпор и бряцаньем сабли, приближавшимися со стороны дома. Впрочем, она не обернулась, и вскоре полковник встал рядом.

— Прошу меня извинить, гражданка, — мягко произнес он, — за это вторжение, коего требует обычная вежливость. Больше вам ничего от меня терпеть не придется. Я искал вас для того, чтобы проститься.

Пару мгновений, в течение которых Мадлен взвешивала и осознавала значение его слов, она сидела совершенно неподвижно, наклонив вперед голову, и выглядела несколько ошарашенной, затем резко подняла глаза, и сердце ее подпрыгнуло от этого внезапного и неожиданного избавления от невыносимого бремени.

— Вы уезжаете? — воскликнула девушка, и в ее голосе прозвучала неприкрытая радость. Именно этого — отъезда Бабиласа — она страстно жаждала и все же едва могла поверить в услышанное, хотя эта новость самым чудесным образом положила конец всем ее мучительным сомнениям. Она увидела, как еще больше помрачнело угрюмое лицо полковника, как внезапно дрогнули его веки и сжались губы, и поняла, что столь откровенно выраженная ею радость задела его. В глубине ее души шевельнулась жалость. Бедняга! Догадайся он об истинных причинах этого ликования, возможно, его чувства были бы совсем другими!

— Ввиду вашего удовлетворения, гражданка, — промолвил он с горьковатой улыбкой, — было бы почти невежливо выражать мои собственные сожаления. Полагаю, более учтиво мне будет порадоваться тому, что я избавляю вас от неприятного общества. И все же позвольте поблагодарить вас за оказанное гостеприимство. Мы идем на Фонтене́.

— Когда... когда именно вы убываете? — спросила Мадлен. — Сегодня вечером или завтра?

— В понедельник утром, гражданка. Завтра я буду очень занят, ибо нужно много чего сделать, и, возможно, мне уже не выпадет другого случая увидеться с вами.

Ее сердце снова замерло. Она тупо смотрела через реку, и ей казалось, что солнечный свет заволакивает пеленой. Только лишь в понедельник утром! Значит, все ее удовлетворение было напрасным, пустым. В понедельник утром будет уже слишком поздно!.. Она высказала свои мысли вслух.

— В понедельник утром? Но почему не раньше? — спросила она, и в ее голосе послышались нотки раздражения.

— Необходимо принять кое-какие меры. Решение о выдвижении в Фонтене́ было принято не далее как час тому назад. Надеюсь, ваше удовлетворение не уменьшилось. — После небольшой паузы Бабилас сказал: — Гражданка, простите мне эту вольность, но она вызвана исключительно благими намерениями... Постарайтесь убедить отца не проявлять столь открыто его враждебности по отношению к Республике. Попросите его быть осторожным. Знаю, в его сердце превалируют аристократические убеждения, но пусть он не выражает их вслух и держится подальше от каких-либо заговоров против Конвента. Все это даже хуже, чем бездействие, и чревато серьезной опасностью. И вот еще что, гражданка... Если вам когда-нибудь понадобится друг,

обращайтесь ко мне без стеснения. Я имею некоторое влияние на членов Национального собрания, и, поверьте, буду безмерно рад использовать его на благо вам, хотя и молюсь, чтобы в этом не возникло необходимости.

— Вы... вы очень добры, месье, — пробормотала она механически и умолкла.

Он терпеливо прождал пару минут. Затем, видя, что ждет напрасно, серьезным тоном промолвил:

— Прощайте, гражданка.

— Прощайте, месье, — ответила Мадлен, не поднимая глаз.

Она услышала его вздох, потом хруст гравия и цоканье шпор — он зашагал прочь. Наконец воцарилась тишина. Девушка была совершенно одна. Съежившись у реки, она уронила голову на руки и разрыдалась.

VI

На протяжении всего рокового воскресенья Мадлен была в доме одна, конечно, за исключением, Блеза и его жены. Полковник спозаранку отправился заниматься организацией эвакуации из Ньора. Отец ушел вскоре после него и отсутствовал почти весь тот безотрадный летний день, несомненно, посвятив себя финальным приготовлениям к камизаде.

Вернулся он уже ближе к закату, измученный и усталый, хотя и с румянцем на выступающих вперед скулах и фанатичным блеском маленьких глаз.

Дочь смерила его пристальным взглядом.

— Где вы были весь день, отец? — спросила она, ибо молчание мэтр мог бы счесть подозрительным: вдруг ей все известно?

— Служил королю, — проворчал адвокат в ответ. При этом он слегка бахвалился, чтобы скрыть смущение, которое ощущал в ее присутствии.

Изобразив усталость, Мадлен удалилась в свою комнату.

Там прямо в одежде бросилась на кровать и долго лежала, уставившись в потолок и размышляя над жуткой альтернативой: ей предстояло сделать выбор из двух исключающих одна другую возможностей, и каждая из них представлялась катастрофичной. И все же, сказала себе Мадлен, мне суждено будет всю жизнь ненавидеть себя и презирать себя как предательницу. Ей казалось неизбежным, что придется выбрать тот вариант, который означает пассивность, ибо она чувствовала, что не сможет найти в себе сил для позитивных действий.

Вперив взгляд в белый потолок, она наблюдала за тем, как с него постепенно уходит дневной свет; наконец свет этот превратился в сероватое пятно, и она услышала, как городские часы пробили десять. Еще три часа, а потом...

Вскоре Мадлен услышала под своим окном, выходившим на улицу, чьи-то тяжелые шаги, сопровождавшиеся щелканьем шпор и звоном сабли

по булыжной мостовой. В парадную дверь постучали: вернулся полковник Бабилас. Девушка услышала, как он вошел, и, содрогнувшись, подумала, что ему уже не выйти из этого дома живым. Ночью явятся роялисты и прирежут его прямо в постели. Вот что он получит за то, что защищал ее отца. Он будет безжалостно принесен в жертву, потеряет жизнь вследствие великодушия, проявленного из-за любви к ней. А в это время она, дабы не предать столь высоко чтимое ею дело, не предать своего бога и короля, не предать отца, друзей и всех роялистов, которые стремятся искоренить революционное безумие, охватившее впавшую в ступор Францию, вынуждена будет лежать здесь, спокойно позволяя этому убийству свершиться, и вследствие своей пассивности станет не менее мерзкой предательницей.

Урывками, когда внизу, в гостиной, на какие-то мгновения открывалась дверь, Мадлен слышала, как полковник разговаривает с ее отцом. Несомненно, подумала девушка, отец, дабы усыпить бдительность Бабиласа, в этот вечер с ним предельно любезен и угощает вином.

Чуть позже она услышала, как полковник поднимается в свою комнату, находившуюся с другой стороны лестничной площадки напротив ее собственной. Дверь тихо закрылась, и в доме воцарилась полнейшая тишина. Однако же ее отец так и остался сидеть внизу, очевидно, решив совсем не ложиться.

Пробило одиннадцать часов, затем двенадцать. Мадлен сосчитала удары. Роялисты, должно быть, уже переправляются через реку напротив лугов Сен-Пре. Она села и прикоснулась к пульсирующим вискам, затем, через какое-то время, соскользнула с кровати, подошла к окну, распахнула его настежь и вся обратилась в слух. Ни малейший звук не нарушал тишины летней ночи. Республиканцы спали крепким, безмятежным сном, ни о чем не подозревая.

Сколько же осталось до назначенного часа? В темноте Мадлен ощупью добралась до стола, нашла трутницу, высекла огонь и зажгла свечу. Взглянув на небольшие часы, стоявшие на каминной полке, констатировала: ровно половина первого. В этот миг на нее снизошло озарение, указавшее средний путь, по которому можно было проследовать между двумя ненавистными ей возможностями.

Мадлен поставила свечу на стол и на какое-то время задумалась. Да, это вполне можно сделать. Она могла бы предупредить полковника, но только тогда, когда у него уже не будет времени поднять тревогу. В этом случае, хоть он и сможет спастись сам, спасти остальных республиканцев уже не успеет. В этом случае, заверила себя девушка, она не станет предательницей ни для него, ни для свято чтимого ею дела. В этом случае, если роялисты и одержат верх, он, по крайней мере, не пострадает.

В страстном порыве признательности она прижала это озарение к своей душе. Затем опустилась на колени у кресла и излила свою благодарность в молитве; когда же снова поднялась на ноги, то сделала это, для того чтобы более точно определить момент, в который будет благоразумно разбудить Бабиласа.

Сначала Мадлен решила, что будет достаточно десяти минут, потом, чтобы десяти минут не оказалось с избытком, сократила их до восьми, затем наконец до семи. Так он только сам едва успеет спастись. Девушка знала, что роялисты не сдвинутся с места ни на секунду раньше назначенного времени, поскольку условлено: сигналом для них должен стать удар колокола, пробившего час ночи.

Мадлен села и принялась ждать. Следующие двадцать минут тянулись так медленно, что ей показалось, прошел год, прежде чем большая стрелка каминных часов показала без десяти час. Она встала; сердце колотилось так, словно готово было выпрыгнуть из груди. Без девяти минут час она вдруг испугалась, не будет ли слишком поздно, и решила разбудить его тотчас же, немедленно.

Задув свечу, Мадлен ощупью пробралась к двери. Осторожно открыла ее и замерла, прислушиваясь, но не услышала ничего, кроме биения своего пульса. На цыпочках, в одних чулках, она пересекла лестничную площадку и подошла к двери комнаты полковника. Скрипнула, словно кто-то выстрелил из пистолета, половица, и Мадлен замерла, прерывисто дыша и напрягая слух.

Но в доме царила все та же мертвая тишина, и она двинулась дальше. Уже у двери вдруг в замешательстве остановилась. Она намеревалась разбудить полковника простым стуком в дверь, и только теперь ей пришло в голову, что подобные удары разбудят не только его.

Придется войти. При этой мысли ее бросило сначала в жар, потом в холод. Да что же это я, сказала себе Мадлен, на кону ведь жизнь человека! Она тихо подняла щеколду. Дверь поддалась. Придерживаясь рукой стены, девушка проскользнула в комнату, но не успела сделать и пары шагов, как из темноты послышалось:

— Кто здесь?

Полковник, приучивший себя спать на спине так, чтобы оба уха не касались подушки, мгновенно проснулся.

— Тс-с-с, — прошептала девушка в страхе — за него и за то, как бы ее отец внизу не услышал его голос. — Это я, месье, — Мадлен. Молчите, не издавайте ни звука.

Тем не менее она услышала, как он пошевелился, а затем быстро спросил:

— В чем дело?

Она сделала еще один шаг вперед.

— Сегодня в час ночи гарнизон Ньора рассчитывают застать врасплох. Планируется камизада, республиканцев будут убивать в их постелях. Сейчас без семи минут час, месье. Я не решалась предупредить вас раньше. Бегите! — добавила она. — Выпрыгивайте из окна в сад и уходите, пока еще есть время. Через семь минут будет уже слишком поздно. Уходите!

Развернувшись, Мадлен на цыпочках прокралась обратно к открытой двери. Она услышала, как он прошептал что-то, но разобрать слов не смогла.

— Я сказала вам все, что имеет значение, — настойчиво пробормотала она. — Спасайтесь. Времени уже почти нет.

Переступив порог, девушка остановилась и прислушивалась. Внизу все было тихо: похоже, отца ничто не встревожило. Позади себя она услышала мягкие, шуршащие движения, возвестившие о том, что полковник уже на ногах.

Мадлен убежала обратно в свою комнату и упала на колени у кровати.

Бабилас, мгновенно проснувшийся, оделся с молниеносной быстротой участника кампании, но в его спешке не было ни малейшей паники. Если на какой-то миг от шока, вызванного тем, что сообщила Мадлен, полковника и пронзил холодок страха, страх этот тотчас же улетучился, как только он осознал, что она беспокоится за его жизнь. Возможно, сказал он себе, она ненавидит в нем республиканца, но все же как к мужчине, судя по всему, отнюдь не равнодушна. Бабилас сразу же понял: она специально предупредила его в самый последний момент, чтобы он не успел поднять тревогу, и при мысли о том, что может действительно не успеть, полковник содрогнулся всем телом.

Мадлен показалось, что она едва успела опуститься на колени, как раздался слабый, но очень настойчивый стук в дверь. Она бросилась открывать и скорее догадалась, чем увидела, что там стоит полковник, хотя в кромешной тьме и не могла ничего разглядеть. Он слегка задел девушку, входя и закрывая за собой дверь. Его движения были бесшумными, потому что в одной руке он держал сапоги, а в другой — саблю.

— Скажите, гражданка: о чем именно они условились? — настойчиво спросил он.

Мадлен ахнула и схватилась за грудь.

— Уходите же, уходите! — прошептала она, тяжело дыша. — Какая теперь разница, о чем они условились? Спасайте себя. Спасти остальных вам едва ли удастся.

— Это я уже понял, — ответил Бабилас, бойко создавая ложное впечатление, будто он беспокоится только лишь о себе. — И все же, если я не буду знать более точно, что происходит, у меня будут все шансы угодить в опасность при попытке убежать от нее.

Вкратце она сообщила ему, что люди Шаретта, должно быть, уже в городе; что они войдут в город через реку и луга Сен-Пре и должны соединиться с горожанами-роялистами на рыночной площади, как только колокол пробьет час.

— Как только колокол пробьет час? — переспросил он. — Вы хотите сказать, его удар должен стать для горожан сигналом к выходу на рыночную площадь?

— Да-да, именно так, — ответила она.

Стало быть, подумал Бабилас, несколько минут у меня в запасе все-таки будет.

— Прекрасно, гражданка, — сказал он. — От всего сердца благодарю вас за предупреждение и за то, что подумали обо мне. Теперь, с вашего позволения, я выпрыгну из вашего же окна. Тут не так уж и высоко.

— Но это же путь на улицу, — запротестовала она.

— Конечно. Потому-то я и выбрал его.

— Ваш путь лежит через сад и реку. Лодка...

— Я не смогу попасть в сад, не будучи замеченным вашим отцом, который сейчас внизу: из его окна на лужайку все еще падает свет.

Она порывисто вздохнула.

— Но так вы...

— Ничего другого мне не остается, гражданка. Да и время уходит, — напомнил он девушке, и она в панике сорвала с кровати простыню, намереваясь использовать ее в качестве веревки для него. Но полковник не стал дожидаться «веревки»: он уже сидел верхом на подоконнике. Улица внизу была совершенно пустынна.

Бабилас соскользнул чуть вниз и, вытянувшись во весь рост, повис на подоконнике. От окна до земли было около двенадцати футов.

Прежде чем разжать руки, он взглянул на Мадлен. Ее лицо выглядело всего лишь серым пятном во мраке. Прошептав: «Спасибо!», он проворно спрыгнул на землю.

Мадлен высунулась из окна, чтобы посмотреть ему вслед, и увидела, как он несется по улице, словно заяц, в направлении рыночной площади и мэрии, не издавая на бегу ни звука, ибо на ногах у него так и остались одни чулки.

В таком вот виде, с растрепанными волосами, прядями свисавшими по обе стороны от лица, и в абы как застегнутом мундире, — Бабилас и влетел в осквернённую церковь, где была расквартирована половина его полка, ровно в тот миг, когда часы на колокольне пробили час ночи.

В напряженном воображении Мадлен, все еще выглядывавшей из окна, этот единственный удар прозвучал ноткой рока, и ее сердце сжалось от ужаса. Ей показалось, что Бабилас только-только исчез за углом и теперь неизбежно угодит в руки роялистов. Она покачнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за подоконник. Она задыхалась, вдруг закружилась голова. Всё, ему уже не спастись, все ее старания были напрасны. Повалившись на кровать, Мадлен принялась проклинать себя за преданность делу и родному отцу, вынудившему ее соблюдать предельную осторожность. Ей следовало предупредить полковника вовремя, несмотря ни на что. Да и действительно, какое ей дело до короля или дворянства? Будет ли ей вообще до чего-то дело, если Бабиласа убьют?

Так Мадлен встретилась лицом к лицу со своим настоящим «я», лишенным всякого притворства, и поняла, что ее любовь к Бабиласу — прежняя любовь, ею же самой объявленная мертвой, — пережила его революционное отступничество и никогда еще не была более живой, чем в этот час, когда она думала, что полковник обречен.

Из-за душевных страданий Мадлен совсем не замечала бега времени. Теперь же, оправившись от шока, вдруг осознала, что в городе по-прежнему все спокойно и нет ни малейших признаков вторжения. В лихорадочном

возбуждении она вернулась к окну и выглянула наружу. Судя по всему, Ньор весь был охвачен дремотой.

Но что же случилось? Мадлен вспомнила, что отец все еще сидит внизу. Почему он не вышел?

Девушка зажгла свет, взглянула на часы и, к своему изумлению, обнаружила, что уже половина второго.

Она придвинула стул к окну, села, решив не ложиться до тех пор, пока не рассветет, и зашептала слова молитвы.

Невидимый, замерший в ожидании и уже начавший сомневаться, полковник Бабилас стоял в темноте дверного проема на одном из углов рыночной площади. На перекрестках трех улиц, что вели к площади, он шеренгами расставил людей; каждым отрядом командовал офицер, получивший от него короткие, но безошибочные приказания о том, что нужно делать. И вот теперь, безмолвные и неподвижные, солдаты ждали.

Бабилас действовал со всей быстротой, но смог привести гарнизон в состояние боевой готовности только лишь минут в десять второго. Тогда он был благодарен роялистам за незначительную, но, по его собственному мнению, вполне для них типичную — непунктуальность; чуть позже начал проявлять нетерпение; а теперь уже засомневался: может, дело вовсе и не в непунктуальности? Вдруг Мадлен ошиблась? Вдруг он стал жертвой какой-то уловки?

Было без нескольких минут два, когда он наконец услышал звук, вознаградивший его за терпение. Мадлен тоже услышала этот звук. Впрочем, она даже чуть раньше услышала, как задвигался этажом ниже отец. Мэтр Фальгу подошел к входной двери, открыл ее и, застыв на пороге, принялся вглядываться во тьму. Почти тотчас же на улице открылись еще две-три двери, и, выглянув из окна, Мадлен увидела, как из них выскользнули и бесшумно удалились темные фигуры. Затем она уловила звук, похожий на непрерывный плеск воды, подкатывающей к берегу, — то было, как она тут же поняла, приглушенное передвижение многочисленного отряда.

Девушку охватил дикий ужас. Неужели она ошиблась со временем? Невозможно. Выходит, они опаздывают на час? Но и это тоже было невозможно, поскольку граждане Ньора, действовавшие заодно с мятежниками, уже тогда выходили из своих домов, чтобы принять участие в организованной резне.

И тогда Мадлен поняла. Первоначальная договоренность была изменена. Кадуэн нашел способ сообщить, что удар будет нанесен не в час, а в два часа ночи.

Она услышала, как колонна горожан необычайно тихим маршем прошла по главной улице к рыночной площади. Затем, внезапно и резко, в ночи прозвучали два удара колокола, и она принялась мучительно гадать: что же сейчас будет? Внял ли Бабилас ее совету и благополучно покинул город, или же, рискуя жизнью, кинулся будить своих людей?

Мадлен знала его, верила в него, и это лишь усиливало ее беспокойство. Он был не из тех, кто сбежал бы, оставив товарищей погибать.

И тут, словно в подтверждение этих запоздалых, мучительных размышлений, она услышала раздавшиеся где-то вдалеке крики, за которыми почти сразу же последовал трескучий, раскатистый залп мушкетов. Чувствуя, что еще немного — и она потеряет рассудок, Мадлен позволила себе едва ли не в беспамятстве упасть на кровать.

Бабилас видел, как эта призрачная орда людей, все еще мокрых после погружения в воду и, дабы производить меньше шума, марширующих босиком, ворвалась на рыночную площадь; их оружие ярко мерцало в ночи. Он слышал команды, отдаваемые шепотом, видел, как они выстроились в ожидании горожан, которые, как предполагалось, должны были к ним присоединиться, но уже были тихо перехвачены республиканцами, удерживавшими все подходы, кроме главной улицы, являвшейся дорогой к Сен-Пре — дорогой в западню.

Затем Бабилас, повысив голос и вложив в него, дабы напугать заговорщиков, дерзкие нотки, прокричал:

— Vive la République!

То был сигнал. При этих словах, повергших толпу мятежников в шок и смятение, с каждой из трех улиц вырвались длинные, неровные всполохи огня, и град мушкетных выстрелов пробил кровавые бреши в этой слишком плотной человеческой массе. С криками и проклятиями роялисты рассыпались, бросившись кто влево, кто вправо в поисках нападавших. Затем поспешно, автоматически разделились на три группы, каждая из которых устремилась к одной из улиц, где притаились стрелки.

Но у солдат Республики была своя тактика. Сразу после залпа стоявшие в первой шеренге опустились на колени, и над их головами разрядила мушкеты в наступающие группы вторая шеренга, которая затем тоже, в свою очередь, опустилась на колени и начала перезаряжать оружие, в то время как продолжила стрельбу уже третья шеренга. Они работали с точностью машины, и едва третья шеренга выстрелила, как первая снова поднялась с перезаряженными мушкетами, готовая начать все сначала.

Однако в этом уже не было необходимости. Третий залп посеял в разорванных рядах повстанцев панику и смерть.

— Бросайте оружие! — скомандовал Бабилас, и мятежники повиновались, — все, за исключением нескольких непокорных, которые предпочли умереть с клинком в руке, нежели отдать себя на милость Конвента.

Тотчас же были зажжены факелы, и солдаты двинулись вперед, чтобы взять пленников в кольцо окружения.

Те немногие, что ринулись на них, нашли на штыках республиканцев искомую смерть. Но одному отчаянному малому все же удалось пробиться сквозь шеренгу солдат и накинуться на Бабиласа.

Это был Кадуэн — разъяренный, обезумевший Кадуэн, увидевший того, кого он считал своим личным врагом, и теперь стремившийся покончить с ним, прежде чем придется пасть самому. Взмахнув тяжелой саблей, он

попытался нанести рубящий удар по голове полковника. Бабилас, почти застигнутый врасплох, едва успел блокировать опускающийся клинок, после чего инстинктивно нанес ответный удар, но в последний миг узнал Кадуэна и отдернул руку назад, лишив удар половины его силы, но и только. Острое лезвие рассекло фетровую шляпу Кадуэна, и тот рухнул на булыжную мостовую.

Бабилас на секунду остановился, посмотрел на него сверху вниз, вздохнул с сожалением и отправился заниматься другими ожидавшими его делами.

Кадуэн же остался лежать среди убитых и раненых. Но он не был мертв и только лишь очень легко ранен. Удар частично оглушил его, из жуткой раны на голове сочилась кровь, но больше он никак не пострадал.

Уже через несколько мгновений он пришел в себя и смог осмотреться. Факелы отбрасывали зловещий свет на весь этот хаос, и теперь к их отблескам добавился свет, зажегшийся в выходивших на площадь окнах близлежащих домов, однако там, где упал Кадуэн, царил мрак. Воспользовавшись этим, он змеей проскользнул к выходу на одну из улиц. Расстояние было небольшим, и он преодолел его незамеченным. Уже на улице, внимательно оглядевшись и убедившись, что кругом ни души, он распрямился во весь рост в тени стены и припустил рысью.

Запыхавшийся, почти обессиленный, Кадуэн явился в дом мэтра Фальгу, нашел дверь открытой, пошатываясь, переступил через порог и прошел внутрь. Он обошел комнату за комнатой, но все они были пусты; наконец рывком распахнул дверь спальни Мадлен и замер, страшный как смертный грех.

Мэтр Фальгу сидел у кровати с застывшим, мертвенно-бледным лицом. Перед ним, на коленях, стояла дочь, только что полностью признавшаяся в содеянном. Тот, кто дал Мадлен жизнь, собственноручно лишил бы ее этой жизни, не поклянись она, что предательства у нее и в мыслях не было. И теперь девушка взывала к отцу не затем, чтобы спасти себя от его слепого гнева, но затем, чтобы избежать презрения мэтра, чтобы он не считал ее более гнусной, чем она есть.

Адвокат внимательно выслушал дочь, все понял и теперь сидел там, ошеломленный и подавленный, взвешивая возможные варианты действий, но все еще будучи не в силах принять решение.

Помочь ему в этом и пришел Кадуэн.

— Боже! — воскликнул он. — Нас предали. Они истребили нас, а выживших взяли в плен. Нас предали.

— Да, — произнес мэтр Фальгу твердым голосом. — Да, нас предали.

— Но кто, месье? Кто?

Кадуэн двинулся вперед, неистово размахивая руками, и Мадлен инстинктивно отступила перед ним.

— Как могло случиться, что они узнали об этом? Как так вышло, что полковник Бабилас...

Внезапно он осекся. Его глаза, пристально смотревшие на что-то у окна, вдруг расширились. Подозрение, вспыхнувшее в нем и неуклонно усиливавшееся, переросло в уверенность.

Кадуэн пересек комнату и поднял пару сапог со шпорами и саблю, лежавшие там, где их оставил полковник, когда выпрыгнул из окна.

— Каким образом здесь — здесь, в комнате Мадлен — оказалось все это? — спросил он, бледный, свирепый, с горящими глазами.

Тогда-то мэтр Фальгу наконец и принял решение. Отец в нем возобладал над политиком, роялистом. На лице и в пылающих гневом глазах Кадуэна он увидел опасность, угрожавшую теперь его дочери, и встал, чтобы защитить Мадлен.

— Как вы сами здесь оказались? — спросил он с внезапным и неожиданным жаром. — Неужели вы настолько свободно чувствуете себя в моем доме, что ни одна комната не является для вас священной? И по какому праву вы требуете от моей дочери ответа на...

— Хо, довольно, глупец! — вскричал Кадуэн. — Разве вы не видите, как свершилось предательство? Разве не видите, что эта бессовестная женщина...

— Покиньте мой дом, — приказал ему адвокат.

Застыв на месте, Кадуэн уставился на него с изумлением. Затем провел отяжелевшей рукой по лицу, вытирая стекавшую по нему кровь.

— Покинуть ваш дом? — глухо повторил он. — Bon Dieu! Так вы тоже участвуете в этой гнусности? Клянусь небесами, я покину ваш дом, но когда мы снова придем сюда крупными силами, позабочусь о том, чтобы это гнездо измены было стерто с лица земли, — теперь он был в холодной ярости, гораздо более смертоносной, чем его прежняя слепая страсть.

— Я покину ваш дом, — продолжал он, кивая с насмешливой угрозой, — конечно, покину. Переберусь через реку на лодке, но возьму с собой эту подлую предательницу, чтобы научить ее тому, что надлежит делать во имя короля. Отныне я сам буду приглядывать за ней, чтобы быть уверенным в том, что она нас больше никогда не предаст.

Мэтр Фальгу коротко выругался и встал между дочерью и человеком, которого желал ей в мужья.

— Вы не в своем уме, месье. Полагаю, вам лучше сию же минуту уйти, — его запавшие глаза сверкали, на желтоватых щеках выступил румянец: — Сию же минуту! — повторил он и указал на дверь.

— А что, вы мне помешаете? — Кадуэн рассмеялся. — Посторонитесь, глупец. Не хочу причинять боль старику. Черт подери, говорю же: посторонитесь!

Он бросился было вперед, но тут же остановился, услышав прозвучавшее из дверей:

— Похоже, гражданин Кадуэн, вам нравится испытывать мое терпение.

Резко обернувшись, Кадуэн увидел полковника Бабиласа, весьма неопрятного, из чулок, превратившихся в лохмотья от ночной беготни, выглядывали пальцы ног, — но абсолютно невозмутимого.

Кадуэн стоял словно вкопанный; лицо его мало-помалу заливал страх, и вскоре оно сделалось серым под пятнами крови.

— Однажды я уже предупреждал вас, что, приходя в гости к мэтру Фальгу, вы поступаете неразумно. Однако, — закончил полковник, пожав плечами, — раз уж вы его друг...

— Клянусь Богом, он мне не друг! — воскликнул адвокат.

— Уже нет, да? Ха! И все же, чтобы мэтру Фальгу не задавали неудобных вопросов, после того как нашли бы вас здесь — живым или мертвым, — думаю, вам лучше сейчас же уйти, гражданин. Я бы посоветовал вам пройти через сад, сесть в лодку и молиться о том, чтобы вам посчастливилось не напороться на часовых. Всё как обычно.

Бабилас отошел в сторону и взмахом руки указал роялисту на выход. Кадуэн еще пару мгновений пребывал в нерешительности, с трудом веря в то, что ему позволяют уйти целым и невредимым, затем уныло побрел к двери.

— И я бы больше не планировал никаких камизад, гражданин Кадуэн, — предостерег его полковник. — Этот вид атаки больше похож на убийство, чем на войну, и, как вы теперь видите, порой может обернуться для камизадеров неудачей. Bon voyage[1], гражданин.

Кадуэн удалился, а полковник обвел комнату взглядом.

— Прошу прощения за вторжение, мэтр, — сказал он, — но я ищу свои сапоги.

— Вы... вы пришли как нельзя кстати, месье, — пробормотал адвокат, все еще не пришедший в себя после стычки с Кадуэном.

Полковник бросил на него быстрый взгляд, в котором промелькнула улыбка.

— На моей памяти, мне впервые рады в этом доме, хотя я всегда этого страстно желал.

— Возможно, у меня чуть замедленное понимание сути вещей, — промолвил мэтр Фальгу. — Я не сразу осознал, что на службе Республике может состоять человек благородный, а служить королю — негодяй.

— Вы очень добры, гражданин, — сказал полковник.

Затем он посмотрел на Мадлен.

— А вам, гражданка, есть что сказать мне? — позволил он себе осведомиться.

— Нет, — ответила Мадлен, всхлипывая. — Мне нечего вам сказать.

И, словно в доказательство этого, она вскочила и, зарыдав, бросилась ему на грудь. Странное дело, но мэтр Фальгу отвернулся, чтобы не вмешиваться в то, что, несомненно, касалось только их двоих.

[1] Счастливого пути (фр.)

ПИСТОЛЕТ

Генерал Гош[1] писал из Ванна Конвенту: «Англо-эмигрантско-шуанские силы заперты в Кибероне, словно крысы в мышеловке». И никто не осознавал истинность этих слов с большей горечью, чем маркиз де Пюизé, на котором лежала ответственность за вылазку, ставшую возможной благодаря британской помощи. Ибо, с одной стороны, переведя форт Пентьевр[2], стоявший в передней части дамбы, соединяющей полуостров Киберон с материком, — в состояние обороны и возведя перед ним мощные укрепления, укомплектованные подчинявшимися ему шуанами, месье де Пюизе сдерживал генерала Гоша, с другой стороны — его самого сдерживали укрепления, возведенные Гошем на высотах расположенного напротив Сент-Барба.

Отважная попытка прорваться привела роялистов лишь к пустячному захвату в плен ста двадцати человек, которых мятежные сторонники старого порядка, будучи отброшенными назад, увели с собой. Положение становилось отчаянным. Если бы маркизу де Пюизе не удалось безотлагательно осуществить новый прорыв, неизбежно рухнула бы и эта, последняя надежда монархистов поднять в Вандее королевский штандарт. Осознавая сей факт, он склонил свой мятежный, но неустрашимый разум к разработке многообещающего плана и для обсуждения деталей этого плана пригласил в свои выбеленные аскетичные покои в форте Пентьевр полковника Антуана де Ламе и виконта де Бомеля, двух офицеров, чей боевой опыт оценивал выше, чем соответствующие познания любого другого эмигранта из своего окружения. Пюизе, красивый мужчина патрицианского типа, моложавый и подвижный, но с усталыми глазами, сидел за столом в обычной одежде для работы в помещении, иными словами — без сюртука. Бремя тревог маркиза этим утром усугубила одна крайне неприятная новость, заставившая его засомневаться: а не окажутся ли предпринятые им меры тщетными, но двум своим помощникам он об этом ничего не сказал. Разложив перед собой карту, он спокойно

---

[1] По-французски произносится «Ош» (Hoche), но мы даем эту фамилию в устоявшемся русском варианте.

[2] Опять же: по-французски произносится «Пантьевр» (Penthièvre), но мы даем это географическое название в устоявшемся русском варианте.

изложил им предлагаемые действия. Внимательные и сосредоточенные, офицеры облокотились на стол, один — слева, другой — справа от него. Ламе, высокий, худощавый мужчина лет сорока, чье узкое, смуглое лицо с отвислыми губами, насмешливым ртом и близко посаженными глазами по бокам хищного носа, придавало правдоподобность его довольно зловещей репутации. Невероятная способность просчитывать шансы делала его грозным противником при игре в кости, а всегдашняя готовность к ссоре и четыре смерти, а может и больше, числившиеся за ним, — признанным мастером фехтования. Бомель, пухлый и румяный, напротив, казался воплощением доброжелательности. Общим у них была только серьезность, с которой оба слушали план, представленный на рассмотрение их вожаком.

Если говорить коротко, предложение маркиза состояло в отправке в рейд шести-семи тысяч шуанов, хорошо вооруженных и экипированных, под командованием назначенных им самим офицеров.

Они бы покинули Киберон на лодках и высадились чуть дальше по побережью, в Морбиане или Карнаке.

Затем небольшими партиями, собирая по пути рекрутов и передвигаясь лишь ночью, чтобы не привлекать внимания, прошли бы кружным путем и расположись в тылу Сент-Барба, готовые оттуда нанести удар в момент, определенный Пюизе для вылазки уже большими силами.

— Единственная проблема, — закончил он, все еще думая о доставленных утром разведданных, — заключается в том, что такой план требует времени — и, возможно, больше, чем нам будет отмерено. Впрочем, вы это и сами уже поняли. Теперь позвольте услышать ваше мнение.

Воцарилась тишина, нарушаемая лишь легкими шелестом волн под окнами, настежь открытыми ровно для такого бриза, который единственно и был способен смягчить изнуряющую жару того июльского дня.

* * *

Оба офицера все еще старательно склонялись над картой, продолжая обдумывать полученную информацию, когда в комнату вошел дежурный офицер.

— Прибыл капитан Фавьо́, — объявил он, — и просит разрешения немедленно видеть ваше превосходительство.

Бомель, погруженный в глубокие раздумья, возможно, даже не услышал этого объявления, тогда как Ламе медленно выпрямился, искоса взглянул на маркиза и удивился странному испуганному выражению, возникшему на его надменном лице.

— Капитан Фавьо? — произнес Ламе лишь через пару мгновений. — Вот как?! Да неужели? — Внезапно он добавил: — Проводите его сюда сию же минуту.

После задумчивой паузы маркиз обратил устало улыбающиеся глаза на своих спутников.

— Это может быть весьма интересно, — сказал он. — Возможно, мне следовало сообщить вам... впрочем, неважно. Сейчас вы и сами всё услышите.

И он с хмурым видом опустил подбородок, позволив тому утонуть в кружевах гофрированного воротничка, и снова погрузился в раздумья.

Фавьо вошел, стуча sabots[1], являвшимися частью его крестьянского маскарада. Сметливый и жизнерадостный, он отличался изысканной элегантностью, которую не могли умалить даже мешковатые бретонские бриджи и грубая домотканая коричневая куртка.

— Очень интересно, — медленно произнес маркиз. — И прозвучало бы даже весьма обнадеживающе... если бы я мог в это поверить.

Пюизе приветствовал его протяжно-томным голосом:

— А, Фавьо! Хорошо, что вернулись! Для всех нас это приятный сюрприз. Из-за вашего долгого отсутствия я уже начал опасаться, что мы вас больше не увидим. Не уходите, лейтенант, — резко добавил он, обращаясь к дежурному офицеру. Затем, снова обратив взгляд на Фавьо, кивком предоставил тому слово.

Новоприбывший встретил этот взгляд с кривой ухмылкой.

— Были определенные затруднения, господин маркиз. Вплоть до вчерашнего дня мне никак не представлялось предлога, под которым можно было бы покинуть воинскую штаб-квартиру республиканцев, не возбудив подозрений.

— К счастью, в конце концов вам это удалось. Превосходно! Как вы понимаете, я с нетерпением жду от вас новостей.

Фавьо оказался бойким на язык. Он заявил, что убежден на сто процентов: по меньшей мере, в ближайшие две недели противник на Киберон не пойдет.

[1] Сабо́ (фр.) — башмаки на деревянной подошве или выдолбленные из дерева; украшались различным образом (даже инкрустацией). В основном сабо носили крестьяне; иногда они уничтожали урожаи хозяев — это называлось саботажем (sabotage).

У Гоша недостаточно солдат для любого рода подобной операции, да и те силы, которыми он располагает, парализованы нехваткой припасов. Его люди ходят чуть ли не в лохмотьях, без сапог и плохо вооружены. Он настоятельно просит не только дополнительного снаряжения, но и подкреплений; и, как Фавьо узнал от чрезвычайного комиссара Конвента Тальена, законодательная ассамблея не может дать ему ни того, ни другого, не истощив шербурскую армию, на что едва ли пойдет. Таким образом, войско роялистов, размещенное в Кибероне, может быть уверено как минимум в передышке.

Пюизе выслушал Фавьо, не прерывая, ни на миг не сводя с него сосредоточенного взгляда усталых темных глаз. Когда капитан умолк, маркиз все с тем же серьезным выражением лица одного за другим оглядел своих помощников.

— Прекрасно, не так ли?

Виконт де Бомель широко ухмыльнулся.

— Лучше и быть не могло.

Ламе обошелся без комментариев, но его насмешливый рот сложился в легкую улыбку, выражая тем самым удовлетворение.

— Очень интересно, — медленно произнес маркиз. — И прозвучало бы даже весьма обнадеживающе... если бы я мог в это поверить.

Фавьо рассмеялся в попытке развеять его сомнения.

— Могу заверить вас, месье, я ничуть не ошибаюсь.

— Даже не знаю. Ибо так уж вышло, капитан Фавьо, что вы не единственный мой агент, находившийся на прошлой неделе в Ванне.

* * *

Тут маркиз сделал паузу, словно желая увидеть, какой эффект произвело его заявление.

Но если на лицах Ламе и Бомеля, возможно, уловивших в сухом тоне Пюизе зловещую нотку, оно вызвало удивление, единственным ответом Фавьо была полуулыбка человека, который с вежливым вниманием ожидает объяснений.

— Поскольку я уже не надеялся на ваше возвращение, — продолжал маркиз, — будучи убежденным, что вас, должно быть, постигло одно из тех несчастий, какие иногда случаются с людьми вашего рода занятий, и поскольку мне было крайне важно получить информацию, я нашел другого храбреца, который несколько дней назад отважился отправиться для меня в Ванн. Он вернулся сегодня утром; и самое странное, что его рапорт абсолютно ни в чем не совпадает с вашим. Его оценка сил генерала Гоша отличается от вашей более чем в два раза. По его словам, республиканские войска полностью, и даже превосходно, экипированы ; он уверяет, что нападения можно ожидать в любой момент.

Фавьо по-прежнему сохранял спокойствие, разве что лицо его выражало легкое презрение.

— Раз он столь серьезно ошибается, вероятно, у него не было моих возможностей составить верное обо всем этом представление.

— Но это еще не конец его рапорта. Он выяснил, что республиканцы уверенно рассчитывают на предательство, которое вскоре позволит им овладеть Пентьевром, а значит, и Кибероном. Он предупредил меня, что вскоре здесь объявится человек, ведущий двойную игру, и попытается внушить мне ложное чувство безопасности именно таким отчетом, какой представили вы. Теперь вы и сами понимаете, капитан Фавьо, что его возможности в плане получения информации были совершенно исключительными.

И тут вдруг Фавьо встрепенулся. Весь его вид выдавал волнение.

— Но это же невероятно, господин маркиз! Этот человек не просто заблуждается — тут кроется нечто большее.

Пюизе ответил ему все тем же устало-вялым голосом:

— Вы упускаете из виду то обстоятельство, что ваше прибытие подтверждает его рапорт. Кстати, обратите внимание еще и на тот факт, что информация, доставляемая им, не может принести врагу ни малейшей пользы, тогда как то, что рассказали мне вы, могло бы, если бы не это предостережение, значительно помочь генералу Гошу.

Он перевел взгляд на лейтенанта, стоявшего позади Фавьо с широко раскрытыми от удивления глазами.

— Будьте добры, — попросил Пюизе, не меняя тона, — вызвать охрану.

Фавьо смерил маркиза пристальным взглядом. Затем, вскинув голову и пожав плечами, с внезапной горечью в голосе произнес:

— Хм! Так вот какова награда за то, что на службе вам я рисковал жизнью.

— Может, уже перестанете ломать комедию, месье? Если вы и рисковали жизнью, которой вскоре лишитесь, то уж точно на службе не мне.

— Выходит, меня расстреляют, лишь потому что мое донесение не совпадает с чьим-то еще рапортом. Расстреляют на основании предположения! —

Дав волю гневу, Фавьо побледнел. — Почему бы вам тогда, в довершение дела, не расстрелять и этого вашего другого агента? Так вы уж точно будете уверены в том, что избавились от предателя.

— Вы забываете о представленных мной доказательствах.

— И это вы называете доказательствами?

— Возможно, нам удастся найти и другие.

Вошли капрал и два солдата, и маркиз приказал им обыскать капитана.

Криво ухмыльнувшись и еще раз пожав плечами, Фавьо отдал себя в руки капрала. Содержимое его карманов было вывернуто на стол: пачка ассигнаций, серебряные часы и табакерка, носовой платок, небольшая пороховница, несколько патронов и красивый длинный пистолет с инкрустированным стволом и оправленной в серебро рукоятью. Но, помимо ассигнаций, которые маркиз осмотрел одну за другой, не было обнаружено ни клочка бумаги. Впрочем, капрал знал свое дело, и на этом поиски не закончились. К концу обыска Фавьо стоял совершенно голый; от его куртки и жилета оторвали подкладку, и даже деревянные подошвы сабо были тщательно осмотрены на предмет возможных тайничков, — все это ничего не дало. Наконец шпиону разрешили надеть разорванное во многих местах облачение.

— Уведите его, лейтенант, — приказал маркиз, — и поместите под тщательную охрану.

Офицер похлопал Фавьо по плечу.

— Пойдемте, месье.

* * *

Фавьо не шелохнулся. Он спокойно стоял напротив Пюизе, застегивая куртку. Капли пота блестели у него на лбу под челкой черных волос, он был чрезвычайно бледен, но поведение его оставалось спокойным и сдержанным. Он посмотрел на лежавшие на столе предметы.

— Я могу получить обратно свои вещи?

Маркиз вскинул бровь. Затем наклонился вперед и отложил в сторону пистолет и нож.

— Остальное можете забрать, — сказал он.

Фавьо улыбнулся.

— Добавьте пистолет, месье, несколько песчинок пороха для зарядки, и я избавлю вас от дальнейших хлопот.

— То есть вы... — начал было Пюизе, затем вдруг осекся. — Уведите его.

Прошло какое-то время после ухода Фавьо, прежде чем маркиз очнулся от невеселых размышлений.

— И все-таки жаль, что так вышло! — заметил Пюизе. — Так или иначе, он человек храбрый.

— Шпион, — с презрением процедил Бомель.

— Конечно, шпион. И держать шпионов в заточении — наше незыблемое правило. Но вы когда-нибудь задумывались, какое мужество требуется, чтобы быть шпионом? Приберегите свое презрение, мой друг, для нашего внутреннего предателя, готового продать всех врагу. Будьте уверены: к нему у меня не будет ни капли жалости.

* * *

Смуглое лицо Ламе выглядело задумчиво-мрачным.

— Вижу, — проворчал он, — вы полностью доверяете своему информатору, который утверждает, что в наши ряды затесался изменник.

— Да, я совершенно уверен в его донесении, и потому этот человек должен быть найден. Видит Бог, наше положение достаточно тяжелое и без предательства, которое может еще больше осложнить нам жизнь.

— С этим никто и не спорит. Но как его вычислить, если Фавьо не желает говорить? А Фавьо... — Пожав плечами, полковник Ламе принялся расхаживать по комнате. — Вы и сами видели, из какого он теста.

— Да, видел. Но мои шуаны развязывали языки и не таким.

Ламе остановился и устремил на маркиза взгляд, полный ужаса.

— Боже! Вы сейчас говорите о пытках?

Столь яростный упрек и гнев, отразившийся на этом узком лице, вызвали у Пюизе прилив раздражения.

— А что в этом такого? Как-никак, у меня есть ответственность перед людьми, которые участвуют в этой вылазке, перед делом, за которое я сражаюсь. Какая уж тут может быть щепетильность, когда на карту поставлено чуть ли не все? — и уже более мягким тоном он добавил: — Вы и сами должны это понимать, мой дорогой Ламе.

— Щепетильность! — проворчал Ламе. — Черт подери! Уж кому-кому, а мне она точно не свойственна. Я человек суровый, всю жизнь проведший в армейских лагерях, привыкший к жестким манерам и даже к кровопролитию. Но это, месье, уже что-то из средневековья: как подумаю — кровь стынет в жилах, — и он безапелляционно закончил: — Повесим его — и делу конец!

— И что — пусть его секрет умрет вместе с ним? — мягко спросил Бомель. — Так мы лишь оставим наше дело и самих себя в смертельной опасности. Об этом не может быть и речи!

— О чем не может быть речи, так это о том, чтобы покрыть себя вечным позором.

— Оставьте мою честь за рамками этого спора, Ламе! — резко произнес Пюизе.

На лице Ламе тут же отразилось раскаяние.

— Простите, ваше сиятельство. Отнесите мой пыл на счет глубочайшего отвращения, которое у меня все это вызывает.

— Вы полагаете, мне это менее отвратительно? Да как вы не поймете: долг не оставляет мне выбора! В любом случае, даже пытки могут ничего нам не дать.

— И не дадут, насколько я знаю Фавьо. Тогда как... — полковник замолчал и, задумчиво наморщив лоб, принялся теребить пальцем губу. — Я вот что подумал: может, и не придется заходить столь далеко? — он внезапно загорелся желанием. — Вы позволите мне попробовать, ваше сиятельство?

— Охотно, мой дорогой Ламе. Я с радостью предложу вам попробовать все, что обещает успех.

Полковник быстро подошел к столу.

— Тогда дайте мне его пистолет, ваша светлость.

— Его пистолет? Что у вас на уме?

— Да все никак не выходит из головы его просьба. Мы с Фавьо были в неплохих отношениях, я могу явиться к нему как друг и попытаться образумить. Напомню ему, что шпионов не расстреливают, что его ждет виселица, и что даже это не самое худшее из того, чего следует опасаться — короче говоря, что, если он откажется говорить, его будут пытать. Уже одна только эта перспектива должна ослабить дух Фавьо, и тогда я предложу ему его пистолет, с помощью которого он мог бы избежать страданий и позора веревки: пистолет в обмен на имя предателя. Это может подействовать.

— С чего бы? Едва ли это заманчивое предложение.

— Но уже хоть что-то. Подкрепленное угрозой пыток, это может сработать.

— Пустая трата времени, — категорично заявил розовощекий, словно какой-нибудь херувим, Бомель.

— Но попробовать все же стоит, — не отступал Ламе. — Даже если я потерплю неудачу, мы ничего не теряем.

— Верно, — согласился маркиз, но без особого пыла. Затем, после непродолжительного размышления, пожал плечами: — Ладно, Ламе, действуйте.

Ничего другого полковнику и не требовалось.

— Доверьтесь мне, — сказал он и, сунув пистолет в карман, вышел за дверь.

* * *

Лейтенант провел его в комнату, расположенную чуть дальше по коридору, ту, в которую поместили арестованного Фавьо. Ламе вошел в нее один и закрыл за собой дверь.

Шпион, который сидел со скрещенными ногами за квадратным столом, на который опирался локтем, поднял глаза, но даже не пошевелился.

— А, полковник, — сухо произнес он. — Так и думал, что вы придете.

Ламе с мрачным лицом прошел к противоположной стороне стола и оттуда сказал:

— Вы в незавидном положении, мой друг.

— Кто бы сомневался!..

— Поскольку вы вернулись с пустыми руками, не понимаю, зачем вам вообще понадобилось возвращаться.

В ответе Фавьо прозвучали нотки насмешливой дерзости:

— Что означает, полагаю, вы всё же надеетесь на то, что я, быть может, вернулся и не совсем уж с пустыми руками, не так ли?

— Не стану притворяться, — сказал Ламе, — будто наши отношения носят сентиментальный характер.

* * *

Последовала безмолвная пауза; каждый ждал, пока заговорит другой.

— Выкладывайте! — рявкнул наконец полковник. — Ваша ваннская миссия окончилась неудачей, я правильно понимаю?

— Понятно же, что, будь оно так, я бы и не вернулся. Однако я здесь.

В темных глазах Ламе загорелся огонек возбуждения. Но тут...

— Дело обстоит следующим образом: комиссары согласны с суммой, но не с вашими условиями. Тальен не настолько доверяет вам, чтобы платить вперед.

— И это притом, что я поклялся своей честью?

— Вашей честью?! — от спокойной улыбки Фавьо к желтоватым щекам полковника прихлынула кровь. — Мой друг, я вернулся, чтобы предложить компромисс. В Швейцарию были отправлены и размещены там для вас в базельском «Катценштайн-банке» полмиллиона ливров золотом. Вексель на эту сумму и пропуск вы получите, как только выполните свою работу, что должно произойти примерно через три дня: в ночь на двадцатое, если, конечно, эта дата вас устраивает.

Полковник прошелся до двери и обратно. Его лицо было мрачнее тучи, дыхание участилось. Когда он наконец остановился, то понизив голос до приглушенного бормотания, процедил сквозь зубы:

— Я же говорил вам, что выполню работу, только получив на руки всю сумму наличными. Вы же не думаете, что я рискну шеей, положась на слово какого-то грязного санкюлота? Вам следовало довериться мне и держаться подальше, вместо того чтобы совать шею в петлю. Потому что теперь вас, Фавьо, даже не расстреляют — просто повесят. И я ничего не могу для вас сделать, ничего, кроме этого.

Вытащив из кармана принадлежавший Фавьо пистолет с оправленной в серебро рукоятью, Ламе бросил его на стол. Затем из маленькой колбочки

с порохом насыпал рядом с ним небольшую горсть черного порошка для затравки.

— Хм!.. — Фавьо распрямил ноги. Молча, с застывшим лицом, он наблюдал за тем, как полковник снова взял пистолет, поднял крышку магазина и насыпал внутрь пару щепоток пороха.

Когда он вернул оружие на место — на стол, в нескольких сантиметрах от локтя капитана, Фавьо произнес:

— Премного благодарен. С вашей стороны было умно и гуманно убедить маркиза предоставить мне этот способ сравнительно легкого ухода из жизни. Очень умно. И рассудительно. Но отказываться от небольшого риска там, где можно заработать полмиллиона — и заработать с такой легкостью, — и умно, и рассудительно.

* * *

Фавьо ничуть не преувеличивал. План, для которого было абсолютно необходимо сотрудничество человека, занимавшего — как, например, Ламе — в Пентьевре высокое положение, отличался предельной простотой.

Поскольку лобовая атака на Пентьевр, вероятно, оказалась бы слишком дорогостоящей даже в случае успеха, Гош решил атаковать с моря. Он должен был подойти ночью не со стороны большой бухты, которую удерживал британский флот, а с открытой западной стороны, высадив войска у скал, на которых стояла крепость. Роль же Ламе, которую полковнику предстояло сыграть в назначенный час глубокой ночью, состояла в том, чтобы освободить находившихся в форте под охраной шесть десятков плененных республиканцев, незаметно вооружить их из арсенала, помочь как можно более тихо разделаться с часовыми, а затем, завладев крепостными стенами, ждать там войска, которые взберутся на эти стены.

Оставшаяся часть плана была еще более простой. Эти захватчики должны были одолеть спящий гарнизон, разрушить мост и, продвинувшись вперед, с тылу напасть на передовые укрепления, в то время как другая республиканская дивизия в то же время атаковала бы их спереди. Операция почти неизбежно увенчалась бы успехом; и еще до рассвета Пентьевр, а следовательно, и весь Киберон, должны были оказаться в руках Гоша, и тогда авантюре роялистов пришел бы конец.

Если во всем этом деле, как полагал полковник Ламе, и имелся скольлибо реальный риск, то не в том, чтобы сыграть предписанную ему роль, а в том, чтобы не оказаться обманутым республиканцами, когда эта роль будет отыграна. Он и высказал это со всей прямотой.

Фавьо вздохнул.

— Вы крайне несправедливы к Конвенту. Можете даже не сомневаться: вексель на предъявителя в «Катценштайн-банке» и пропуск вы получите

сразу же, как только Пентьевр будет захвачен. Даю вам слово, все уже готово. Конвент соглашений не нарушает. Только подумайте: полмиллиона! Почти столько же, сколько заплатили герцогу Брауншвейгскому за поражение в битве при Вальми.

Его твердые заверения произвели определенный эффект. Заложив руки за спину, полковник снова принялся расхаживать взад и вперед по комнате; сомнения явно боролись в нем с жадностью.

— Конечно, раз уж все прошло не совсем гладко, — тихо добавил Фавьо, и тем самым, возможно, выдал, на чем основывалось его спокойствие, — вам придется как-то исхитриться и вытащить меня из этого затруднительного положения, чтобы я смог сообщить о согласованной дате. Для человека столь высокого положения это не должно представлять такой уж большой трудности.

Резко развернувшись, Ламе посмотрел ему прямо в лицо.

— Ха! Так вот на что вы рассчитывали? Вот в чем весь фокус? Понятно. Но эти документы, вексель и пропуск? Где они?

— Я же уже сказал: они готовы и непременно будут переданы вам после того, как вы выполните свою часть работы.

— Вы лжете, Фавьо. Вы жаждете лишь одного — обманом заставить меня спасти вашу грязную шкуру. Что ж, мой друг, вы просчитались.— Ламе указал на пистолет. — Это все, что я могу для вас сделать.

Беспечная уверенность Фавьо наконец-то рассеялась. Он смертельно побледнел, глаза сузились. Было заметно, что он сильно расстроен. Наихудшее, когда имеешь дело с предателем, — это то, что он в каждом видит такого же предателя.

— Подождите! — он внезапно вскочил на ноги; Ламе был уже у двери.— Подождите, или пожалеете о том, что ушли, еще до того, как станете на час старше.

* * *

Полковник, уже опустивший руку на дверную ручку, обернулся.

— Что у вас?

— Вернитесь и выслушайте меня. — Фавьо снова сел и оперся локтем о стол. Его голос обрел прежнюю мягкость. — Должен сказать, это крайне любезно с вашей стороны — желать избавить меня от неприятного во всех отношениях повешения.

— Я пытаюсь избавить вас не только от повешения, мой друг, но и от тех пыток, которым вас могут подвергнуть шуаны, — ответил Ламе, но слишком поспешно, как он понял по горькому смеху Фавьо.

— Так вот оно что! Теперь мне понятна ваша обо мне забота. Вы боитесь, что под пытками я могу наговорить лишнего. Право же, это заставляет задуматься. Может, я смогу заключить с господином де Пюизе сделку?

— Сделку? — Ламе похолодел с головы до ног.

— Вероятно, узнать имя предателя для него куда важнее, чем просто повесить жалкого шпиона. Предложи я ему эту информацию в обмен на свою жизнь — и кто знает?..

— Проклятье! — полковник грузно навалился на стол, глаза его пылали на свинцово-бледном лице. — Гнусный пёс! И вы готовы выкупить жизнь ценой предательства той стороны, которая вам платит?

— Вы жаждете лишь одного — обманом заставить меня спасти вашу грязную шкуру, — он указал на пистолет. — Это все, что я могу для вас сделать.

— Не преувеличивайте, полковник: лишь ценой предательства вас, от чего моя сторона совершенно ничего не потеряет, раз уж вы отказываетесь служить нам. Послушайте, еще не поздно передумать. Проявите благоразумие — это в ваших же собственных интересах. Республику не обманешь, как и меня. Вы спасете свою шкуру, лишь определив для ожидаемой от вас работенки конкретную дату и вытащив меня из данной передряги, для того чтобы я смог сообщить об этом Гошу. Сейчас на кону для вас нечто большее, чем полмиллиона — еще и собственная жизнь. Можете рискнуть и принять мое предложение. Но не приняв его, вы проиграете всенепременно.

* * *

Ламе так затрясло от ярости и страха, что стол, на который он опирался, жалобно заскрипел.

— Вы идиот, каких мало, Фавьо! — прохрипел полковник. — Неужели вы думаете, что вашему пустому, ничем не подкрепленному слову, слову гнусного шпиона, поверят больше, чем моему?

— Возможно, и нет. Но я предъявлю доказательства.

— Доказательства? И какие же, скажите на милость?

— Узнаете, если станете упрямиться и дальше. Пока же поверьте мне на слово. В том, что касается этого и всего остального. В этом — ваша единственная надежда на спасение, не говоря уж о сохранении денег.

Полковник отступил от стола. Стоящий посреди комнаты с левой рукой, заведенной за спину, а правой засунутой за отворот расшитого золотом сюртука, он казался воплощением злобы.

Фавьо, сидевший перед ним в непринужденной позе, встретил этот полный озадаченности и ярости взгляд с торжествующе-лукавой улыбкой.

— Ну что, полковник? — спросил он наконец. — Каким будет ваш ответ?

Ответ последовал моментально.

— А вот таким!

В правой руке Ламе вдруг возник пистолет. Сверкнула вспышка, прогрохотал выстрел — и Фавьо с простреленной головой опрокинулся навзничь вместе со стулом. На миг обезумев от ярости, убийца склонился над столом.

— Теперь можешь говорить что угодно, сучий ты потрох! — прорычал он.

Донесшийся из коридора топот в один миг вернул Ламе полное осознание ситуации: «рассказ» созрел в его голове за доли секунды. Двум вбежавшим охранникам, а также капралу и лейтенанту, примчавшимся вслед за ними, полковник коротко пояснил, откашлявшись от попавшего в легкие дыма:

— Я был вынужден застрелить его в целях самообороны, что весьма прискорбно — этого пса следовало вздернуть.

* * *

Они посмотрели на него в немом изумлении, затем, столпившись вокруг распластавшегося на полу Фавьо, принялись разглядывать его размозженный пулей череп, в то время как к Ламе, теперь, когда он знал, что ему ничто не грозит, с каждым ударом сердца возвращалось самообладание. Он вытирал лоб носовым платком, когда на пороге возникла фигура маркиза де Пюизе.

— Что случилось? Я услышал выстрел и... — маркиз быстро огляделся. — Фавьо! — вскричал он и тут же спросил: — Мертв?

— К сожалению, — сказал Ламе и повторил: — Я был вынужден застрелить его в целях самообороны.

— Хм!.. — пытливый взгляд Пюизе скользнул по лежавшим на столе пистолету и многозначительным песчинкам пороха, и из нахождения там всего этого маркиз тут же сделал вполне логичный, казалось бы, вывод: — Выходит, он заговорил?

Увидев, чем руководствовался в своем заключении Пюизе, Ламе на миг растерялся. Все это оставляло ему лишь один возможный ответ.

— Да, заговорил. — После небольшой паузы он добавил первое пришедшее в голову имя. — Обвинил во всем Сомбрёя.

Маркиз окинул его озадаченным взглядом. Во всех эмигрантских кругах не было человека более благородного и почитаемого. Возможно, именно поэтому Ламе и выбрал его имя, ибо спустя несколько мгновений маркиз заключил:

— Значит, он солгал, — в голосе Пюизе звучали сердитые нотки. — С таким же успехом он мог назвать меня или вас. И вы ему поверили?! Должно быть, поверили, раз отдали пистолет. Где был ваш рассудок, милейший? Право же, где был ваш рассудок? Негодяй унес свой секрет с собой, быть может, оставив нас на милость этого неизвестного предателя! Что вы наделали, Ламе? Что вы наделали?

Ламе изобразил огорчение.

— Он казался таким искренним, — пробормотал он сокрушенным тоном. — Торжественно поклялся, что это Сомбрёй. Все мы здесь люди чести, так что поверить ему мне было не труднее, чем кому-либо другому...

На этом он прервался, и в комнате наступила гнетущая тишина. Пюизе подошел к столу. Взял в руки пистолет, отвел крышку магазина, возвратил обратно, пробормотав всего одно слово: «Заряжен», и хмуро уставился на Ламе.

— Но вы сказали же, что застрелили его в целях самообороны.

— Так все и было — едва успел. Он кинулся на меня, будто разъяренный безумец, когда, повернувшись, я направился к двери.

— Он что, напал на вас с голыми руками?

— Ну да, с голыми руками.

— И вы не видите в этом ничего странного?

— Странного? Да нет — это был инстинктивный поступок человека, ослепленного гневом и отчаянием.

— Пистолет лежал у него под рукой. Вы были вооружены, и все же ему вздумалось напасть на вас с голыми руками. Каким таким инстинктам он повиновался? Почему не воспользовался пистолетом? Заряженным пистолетом. Почему он им не воспользовался? Что могло подвигнуть его... — маркиз вдруг замолчал, глаза его расширились от изумления. — Боже правый! — Он отошел чуть в сторону, придвинул стул, сел и снова взял оружие в руки. Вытащил шомпол и,

— Он что — напал на вас с голыми руками?.. Почему не воспользовался пистолетом?

проверив ствол, удостоверился в том, что пистолет действительно заряжен. На пару мгновений, казалось, это привело его в замешательство. Затем, поймав на себе удивленные взгляды, маркиз снял зарядную камеру. Вскоре пуля, пыж и порох лежали на столе. Пюизе проверил все еще раз, и снова на его лице отразилось недоумение. Почти случайно он взял скомканный пыж, развернул — и в следующий миг с внезапно обострившимся интересом разгладил два тонких листа сложенной и скатанной в трубочку бумаги, из которых, как он обнаружил, и состоял этот пыж. Маркиз внимательно осмотрел эти листы, и на его красивом лице попеременно отразились гнев, презрение и, наконец, ужас.

Прошло немало времени, прежде чем он медленно поднял глаза и встретился с настороженным и встревоженным взглядом полковника Ламе. Теперь лицо Пюизе выражало смертельную усталость, проявившуюся и в голосе, которым он заявил, обращаясь к полковнику:

— Тут у меня вексель базельского «Катценштайн-банка» на полмиллиона ливров золотом, подлежащих выплате вам, полковник Ламе, и пропуск, также на ваше имя. Оба подписаны комиссарами Конвента Тальеном и Бледом. Не стану утруждать вас объяснениями — они тут излишни. Теперь мне понятно, почему вы сочли необходимым застрелить Фавьо. Но Богу не было угодно, чтобы даже так вы помешали ему сообщить мне имя предателя в наших рядах и представить доказательства его измены.

ЖЕРТВА

— Поль, вы должны уехать, должны покинуть Марсель, — простонала она.

Он отвернулся от окна, у которого стоял, — прекрасная фигура, прямая и гибкая, как рапира; красивое лицо, ставшее бледным и изможденным от разгульного образа жизни; черные волосы собраны в небрежную косичку, выбивающиеся пряди спутались на лбу. Его одежда, хотя и неряшливая, все же демонстрировала признаки модности, выказывать которую патриоту было небезопасно, ибо вечно готовое дуновение подозрения могло в любой момент вынести роковой приговор — аристократ. Он рассмеялся, но чуть ли не презрительным смехом.

— Вы забываете, гражданка, что я нахожусь в Марселе не забавы ради, а по делам Французской республики, единой и неделимой. Вы забываете, что я стал проповедником евангелия Свободы, Равенства и Братства — или Смерти.

— Вы насмехаетесь надо мной, Поль?

— Насмехаюсь над вами? О нет, гражданка, — над самим собой. Сегодня мне напомнили, что именно ради вас я стал таким; в то время как вы... — сделав паузу, он презрительно скривил губы, — вышли замуж. О, нет, гражданка, я над вами не насмехаюсь. Напротив, восхищаюсь вашим уравновешенным умом, побудившим сделать столь мудрый выбор и связать свою судьбу с таким могущественным человеком, как префект, ваш супруг, — последнее слово он буквально выплюнул изо рта, как какую-то гадость.

— Как же, Поль, вы жестоки! И сами не знаете, что говорите. О Боже! Я смалодушничала, но и только. После того как вы уехали из Буавьё, меня заподозрили в переписке с эмигрантами. Для подозрений не было никаких оснований, но так ли важны в наше время доказательства? Меня бросили в тюрьму. Гильотина всегда была голодна, и жертв для нее искали повсюду. Я была обречена, и я боялась умереть. А потом, когда я уж было отчаялась, в тюрьме меня увидел Дюрок. Он возвращался снова и снова, говорил со мной и в конце концов предложил спасти меня, если я выйду за него. Честное слово, Небеса не дадут мне соврать, Поль, его предложение было мне противно, и я думала о вас. Но вместе с тем думала и о смерти. Ах, не усмехайтесь, Поль!

Будь вы там, получи я хотя бы весточку от вас, которая придала бы мне сил, думаю, смогла бы ему отказать. Но прошло уже полгода с тех пор, как мы последний раз общались, и... я боялась умереть.

Она умолкла и застыла, зажав хрупкие руки между колен; ее серые глаза смотрели на него с бледного нежного лица снизу вверх с мучительной мольбой.

Встретившись с ней взглядом, он улыбнулся. Затем его лицо приняло мрачное выражение.

— Это правда, Берта?

— Правда, Поль.

Он подошел к ней и провел своей сильной, мускулистой рукой по ее каштановым волосам; она вздрогнула от этого прикосновения и отстранилась.

— Берта, — тихо сказал он, — немногие знают о той власти, которой я обладаю. Вскоре мое имя будет греметь по всей Франции как имя одного из величайших людей республики. Немногие знают, что за дело привело меня на юг. Ваш супруг уж точно не знает. В Париже идет битва гигантов, и Робеспьер — а он мой друг, по его-то поручению я здесь и нахожусь, — победит. Моя миссия в Марсель, Берта, носит такой характер и наделяет меня такими полномочиями, что по одному моему слову ваш муж исчезнет, как исчезает снег под лучами солнца. Мне даже не нужно лишать его жизни — достаточно лишь заявить, что я узнал, будто он использует доверенную ему власть для продвижения собственных интересов, для достижения собственных гнусных целей. А именно так он и поступал, как я слышал от вас. Не пройдет и недели, как гражданин префект, Кассий Дюрок, взойдет за все это по ступеням патриотической гильотины. И тогда, Берта... — воскликнул он, широко раскрывая объятия и улыбаясь ей сверху вниз, но она отпрянула от него с криком ужаса:

— Нет, нет!

Он замер на месте. Руки плетьми упали по бокам, лицо ожесточилось.

— Понимаю. Вы солгали мне. Эта история о страхе смерти была вами выдумана ради...

— Она была правдивой, Поль. Клянусь вам в этом, и Бог мне свидетель.

— Бог! — усмехнулся он. — Бога не существует. Республика отменила его точно так же, как отменила правду и честность.

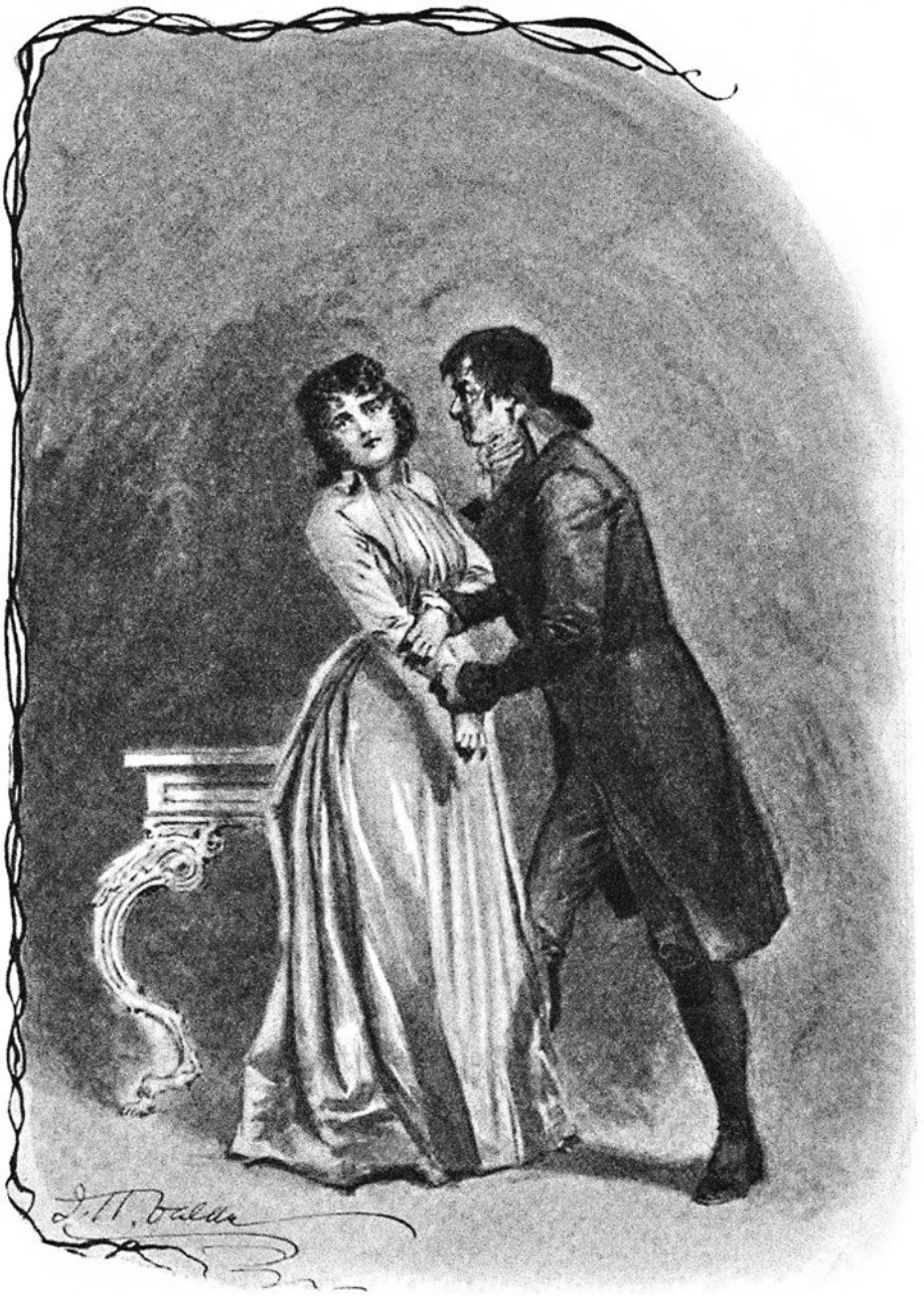
— Поль, — взмолилась она, протягивая к нему руки, — сжальтесь!

— Сжальтесь! — яростно повторил он и, говоря это, схватил ее за запястья с такой силой, что она поморщилась от боли. — Сжалиться над кем? Над вами или над ним? Скажите, глупышка, ответьте мне. Хоть намекните на то, что у вас на сердце. Над кем мне сжалиться?

— Надо мной и над ним. Уезжайте из Марселя. Забудьте меня, Поль. Я всего лишь жалкое, трусливое создание.

Он оттолкнул от себя ее руки и, повернувшись, снова подошел к окну.

— Зачем тогда было водить меня за нос? Почему вы не могли честно сказать, что переменили свое непостоянное мнение? Что этот провинциальный



— Сжалиться над кем? Над вами или над ним?
Скажите, глупышка, ответьте мне. Хоть намекните
на то, что у вас на сердце. Над кем мне сжалиться?
— Надо мной и над ним. Уезжайте из Марселя.
Забудьте меня...

префект, этот выбравшийся из сточной канавы canaille[1], нравится вам больше, чем несчастный Поль де Лавуази? Неужели вы, женщины, умеете играть только одну роль — жить во лжи?

— Вы ошибаетесь как в одном, так и в другом. Я говорила вам правду, — продолжала стоять на своем Берта.

Поль снова обернулся; в черных глазах полыхал огонь.

— Но вы любите этого мужчину?

— У меня есть ребенок, — пробормотала она, — и мой долг перед маленьким сыном — сохранить для него отца.

Он сделал резкий жест, выражающий гнев, а может, отвращение. Затем, взяв себя в руки, подошел к столу и взял треуголку, на которой был демонстративно, будто бы напоказ, вышит триколор Конвента.

— Гражданка, — проговорил он с нарочитой холодностью, — я покину Марсель в течение недели. Пока я здесь, больше навязываться не буду. Не потрудитесь ли вы передать гражданину префекту Дюроку, что я сожалею, что не застал его здесь, но буду ждать его у себя дома — на улице Ларив, тридцать два? Скажите ему, что депутату Лавуази необходимо срочно переговорить с ним о насущных делах республики. Прощайте, гражданка.

Он отвесил ей поклон в стиле прежних светских салонов, где они когда-то познакомились, и, водрузив треуголку на свою нечесаную черную шевелюру, вышел за дверь и спустился по лестнице на залитую солнцем улицу.

Берта наблюдала за его уходом в странном молчании. На какой-то миг на лице ее отобразилось волнение, она привстала, чтобы позвать его обратно, но прежде чем успела подчиниться импульсу, свет снова погас в ее серых глазах, и, опустившись в кресло, она погрузилась в раздумья, затем заплакала.

Спустя несколько минут Берта вытерла слезы, и на нее накатило чувство обиды. Какое право, спросила она себя, имел этот человек явиться к ней из прошлого? Она считала его мертвым, и, действительно, в последние два года уже перестала думать о нем, а теперь вот он, внезапно вернувшись, посеял в ее душе тревогу и страх. Бывший любовник возвратился, наделенный ужасной властью, и, зная его смелый, непреклонный характер, Берта опасалась, что он преодолеет все стоящие между ними препятствия, не считаясь ни с какими затратами. Ее муж, отец ее ребенка, будет обречен, если этот человек добьется своего. Разве он не показал ей, как одно его слово может уничтожить Дюрока? Да, она действительно не любила супруга, но зачастую привычка столь прочно занимает то место, которое должно было бы принадлежать любви, что одно можно спутать с другим. Так было и сейчас с ней. Берта помнила только одно: Дюрок — отец ее сына. В душе она и сама признавала, что, возможно, не любит его, но и Лавуази теперь уже не любила. Приди он к ней, преследуемый властями и объявленный вне закона, жалость, быть может, вновь разожгла бы прежнее пламя. Но он явился — могущественный; повелевающий

[1] Здесь: плебей, простолюдин, невежа (фр.)

там, где следовало бы умолять; суровый там, где следовало бы быть нежным; презрительный там, где следовало бы проявить сострадание.

После того как Поль покинул ее, Берте казалось, что она его возненавидела, ибо грань между любовью и ненавистью столь же тонка, как и та, что отделяет возвышенное от гротескного; перешагнуть обе — проще простого. И вот из ее печали вырос гнев, из гнева — ненависть, принесшая с собой желание уничтожить ненавистного человека. Пока она так сидела и размышляла, ее решимость окрепла, приняв вполне определенную форму. Прежде чем Лавуази успеет нанести удар по ее мужу, он сам должен быть повержен. В Париже он, может, и могуществен, любим санкюлотам, дружен с самим Робеспьером, главным вершителем судеб республики. Но разве здесь, в Марселе, ее супруг не столь же могуществен, учитывая то, что, будучи предупрежденным, он, несомненно, получит неоспоримое преимущество — возможность ударить первым? Разве одно-единственное его слово не взбудоражит чернь, эту величайшую силу в охваченной террором Франции, — Ее Величество Королеву Толпу.

В прежние времена она знала Поля как аристократа; тогда он был шевалье де Лавуази. Если она скажет об этом мужу, неужели этого окажется недостаточно? Ее пылкое желание услужить республике определенно ему понравится. Его же собственное рвение и вульгарное низкопоклонство перед величием народа сделают все остальное. Он отправится к Лавуази, а весь этот сброд последует за ним по пятам. Не будет ни суда, ни шанса для молодого депутата представить свои документы, тон которых мог бы смутить государственного обвинителя, вынудив его поставить дело на паузу, для того чтобы сначала пообщаться с великими людьми в Париже. Нет; толпе укажут на него как на аристократа; его имя и титул — шевалье Поль де Лавуази — послужат простому люду гарантией; его прирежут прямо там, на месте, и всем ее страхам придет конец.

Проявись у нее даже на один краткий миг дар Асмодея[1], будь она способна видеть сквозь стены и крыши и хотя бы мельком узреть своего несчастного возлюбленного, возможно, была бы менее безжалостна в своей свирепой решимости.

Подперев подбородок ладонями и устремив взгляд на пачку писем, разложенных перед ним на столе, депутат Лавуази сидел в убогой квартирке, снятой им на улице Ларив, в то время как душа его стонала от болезненной старой раны, рубец которой был столь грубо вскрыт. То были письма, которые Берта написала ему когда-то давным-давно и которые он всегда носил с собой, бережно храня, как верующие хранят мощи своих святых покровителей. С пылом инстинктивной поэзии, присущей юности в пору любви, он снова и снова перечитывал то одни, то другие страницы. В основном, послания начинались с «Mon bien ami»[2] и, как правило, заканчивались: «Пока мое

[1] *Асмодей* (ивр. Ашмедай — «искуситель») — злой, сластолюбивый демон, упоминаемый в позднейшей еврейской литературе.

[2] Возлюбленный мой; любовь моя (фр.)

сердце бьется, я буду твоя. Берта». Почти все они были без даты, ибо разве любовь считается со временем или днями?

— Пока мое сердце бьется, я буду твоя, — прочитал он вслух. Затем с резким, внезапным смехом встал, собрал письма в стопку, перевязал лентой и презрительно бросил в стоявший на полу раскрытый саквояж.

После этого Поль принялся расхаживать по комнате в ожидании визита префекта. Не отклонись он ни на йоту от высказанного им желания уехать сразу же по завершении порученных Конвентом дел, которые и привели его в Марсель, и обещания никогда и нигде больше не пересекаться ни с Бертой, ни с ее мужем, возможно, это избавило бы мадам Дюрок от той роли предательницы, которую она решила сыграть.

Смеркалось. Поль машинально зажег стоявшие на столе свечи и сел писать отчет для Максимилиана Робеспьера по прозвищу «Неподкупный».

Наконец на лестнице послышались шаги, и в дверь постучали. Открыв, Поль впустил в комнату невысокого, грузного мужчину с грубым красным лицом, всклокоченной сальной бородой и черными волосами, при шпаге и грязном трехцветном кушаке. Его сопровождали два солдата национальной гвардии. Удивленный этим военным эскортом, Поль посмотрел на мужчину с вполне простительным любопытством и оправданным отвращением.

— Вы, наверное, гражданин префект Дюрок? — поинтересовался он.

— Да, я и есть этот смиренный слуга народа, — мрачно ответил новоприбывший.

— Я дожидаюсь вас вот уже два часа. Не присядете?

Поль закрыл дверь, отметив, что солдаты встали по обе стороны от нее, словно караульные.

Поджав губы и чуть наклонив вперед лохматую голову, префект неспешно подошел к столу. Он повел себя не так, как предлагала супруга. Берта не осмелилась открыть ему ничего из того, что ей было известно о нынешней связи Лаувази с Робеспьером. Ей и в голову не могло прийти, что Дюрок сочтет более выгодным для себя арестовать бывшего аристократа и привлечь его к суду, и тем самым, за свою проницательность и усердие в обнаружении и задержании ci-devant, покрыть себя славой в глазах не только жителей Марселя, но и исполнительной власти Парижа. С такими мыслями префект и явился к Лаувази, оставив Берту в мучительных предчувствиях.

И вот теперь, повернувшись, он устремил на молодого депутата жесткий взгляд налитых кровью глаз.

— Стало быть, вы меня ждали? — проговорил он с ухмылкой. — По правде сказать, у вас и в самом деле имелась на то причина. Рад, что не разочаровал вас.

— Что за странный тон, гражданин префект? Вы знаете, кто я такой?

— Как нельзя лучше, — с мрачной шутливостью ответил его собеседник. — Вы — ci-devant шевалье Поль де Лаувази, и я арестовываю вас как аристократа, врага Конвента и угрозу общественной безопасности, — он

подал знак, и солдаты, выдвинувшись вперед, встали по обе стороны от Поля, прежде чем тот успел оправиться от изумления. — У нас в Марселе есть глаза, аристократишка, — добавил Дюрок с неприятным смешком.

— Похоже, глупцов у вас тоже хватает, — процедил депутат, рассмеявшись в ответ смехом не менее неприятным. — Республика, мой друг, умеет лечить тупость, лишая дураков ее причины — их голов.

Уверенность, прозвучавшая в голосе Поля, привела префекта в некоторое замешательство.

— Это все, что вы можете сказать в свою защиту?

Лавуази испытывал непреодолимое искушение предстать перед марсельским трибуналом, позволив этому человеку совершить вопиющую ошибку. В кармане у депутата лежал мандат за подписью Робеспьера, и уже один только вид этого документа заставил бы любого государственного обвинителя отступить, после чего Дюроку пришлось бы дорого заплатить за свое неуместное рвение.

— Сейчас не время, да и вы не тот человек, перед которым я должен бы защищаться. Да и в другую пору не стал бы этого делать — достаточно было бы имеющихся фактов.

— Все вы, кто из бывшей знати, держитесь нагло, — усмехнулся Дюрок. Затем, пожав широкими плечами, взял одну из свечей. — Но мы всё же осмотрим ваши вещи, дружочек.

Есть ли что-то быстрее мысли? За какую-то долю секунды Поль вспомнил о письмах Берты; вспомнил, что они не датированы; в тот же миг подумал о брутальной внешности этого человека, о возможной — даже несомненной — жестокости его натуры; в тот же миг перед его мысленным взором пробежала будущая жизнь Берты с этим отвратительным существом, осведомленным о содержании писем, не знающим, когда именно они были написаны, и потому дурно с ней обращающимся, возможно, способным дойти в своей жгучей ревности даже до убийства. Любой ценой, сказал себе Поль, даже пожертвовав удовольствием заставить этого негодяя краснеть перед судом, я должен показать, кто я такой, и тем самым воспрепятствовать проведению обыска.

— Подождите! — выкрикнул он, и этот императив прогрохотал в комнате пистолетным выстрелом.

Дюрок, повернувшийся к нему со свечой в руке, приподнял бровь. Нотка внезапной тревоги, прозвучавшая в до сих пор столь спокойном голосе Лавуази, не осталась им незамеченной.

— Похоже, я угадал ваше больное место, не так ли?

— Идиот! — пророкотал депутат. — Некогда я действительно был шевалье Полем де Лавуази, но шел в ногу со временем. Сегодня я — гражданин депутат Поль Лавуази, член исполнительной власти, и нахожусь здесь по делам Конвента, о чем свидетельствует этот мандат, выписанный Максимилианом Робеспьером.

Шагнув вперед, он сунул мандат под нос префекту. Солдаты, преисполнившись сомнения, отступили назад. Едва Дюрок увидел сей грозный документ,

как лицо его вытянулось. Но затем он вдруг вспомнил о несомненной тревоге, прозвучавшей в голосе Лавуази, когда тот своим возгласом прервал уже начавшийся было обыск; вспомнил его заявление, что сейчас, мол, не время и Дюрок не тот человек, перед кем он должен бы защищаться, и у префекта снова пробудились подозрения.

— Кажется, все в порядке, — осторожно произнес он, — и, если бы вы предъявили мне этот мандат, когда я только вошел, все было бы хорошо. Но, похоже, вы что-то скрываете, гражданин, и я не склонюсь перед этим документом до тех пор, пока все тут не обыщу.

— Как вы не понимаете, что у человека моего положения имеются документы не для всеобщего обозрения!.. Вынужден предупредить вас: пытаясь влезть в государственные тайны, вы рискуете своей головой.

Префект лишь ухмыльнулся в ответ.

— Вы говорите так, словно принадлежите к рядам последователей Капетингов. У республики, мой друг, нет секретов от ее чиновников и обычных людей. Вы забываете, что республика — это и есть народ. Я продолжу обыск.

— На свой страх и риск.

— Пфф!

Повернувшись, префект наткнулся на саквояж. Он наклонился, а когда распрямился, Лавуази был уже рядом.

— Что это?

— Мои частные документы, — ответил Поль с побелевшим лицом.

— Если вы не против, мы их просмотрим.

Дюрок снова повернулся к столу, поставил на него подсвечник. На какой-то миг он положил пакет, чтобы было удобно его развязать. В ту же секунду Поль опустил на сверток руку и, внезапно выхватив из-за пазухи пистолет, приставил его к голове Дюрока.

— Если вы или кто-либо из ваших людей сдвинетесь хоть на дюйм, я застрелю вас, — сказал он со спокойной улыбкой на бледном лице.

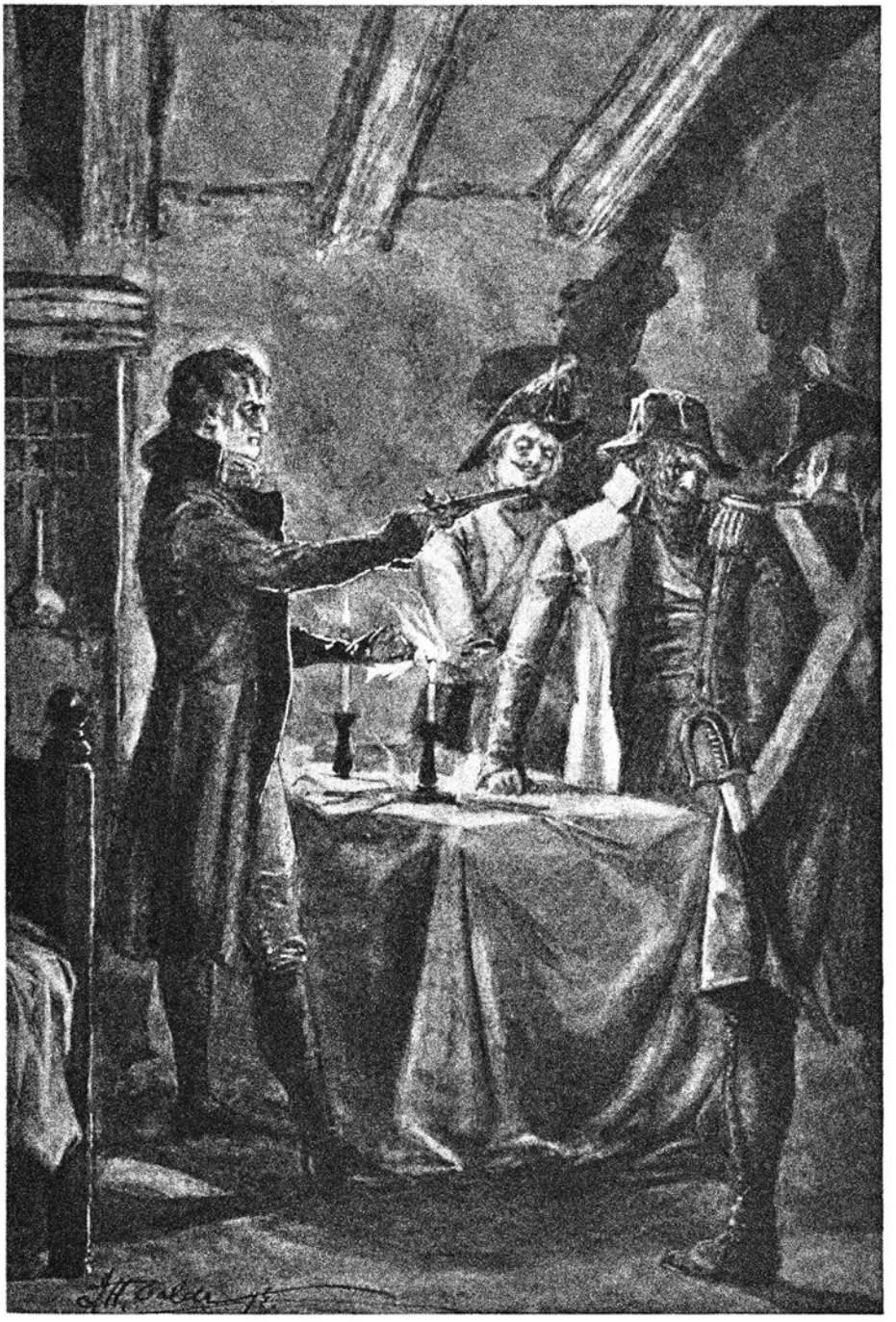
Дюрок побледнел.

— Не глупите, это будет стоить вам жизни, — пробормотал он.

Но Поль ничего не ответил. Правой рукой приставив пистолет к виску Дюрока, он взвешивал на левой связку писем, — точно так же, как мысленно взвешивал то, что намеревался предпринять. Если он отдаст эти письма Дюроку, бояться ему нечего; если нет, ему может грозить что угодно. Но с другой стороны, была еще и Берта. Мысленно все для себя решив, он поднес письма к пламени свечи.

— Подумайте о том, — воскликнул Дюрок, — что, сжигая эти бумаги, вы признаёте их изменнический характер в присутствии трех свидетелей и тем самым губите себя!

— Знаю, — холодно ответил Поль. Письма скручивались и начинали потрескивать от жара.



Он не разжал хватки до тех пор, пока пламя не погасло
и в его обожженной и покрытой волдырями руке
не осталось ничего, кроме маленькой кучки черного пепла.

— Не обманывайте себя тем, что выданный вам Робеспьером мандат избавит вас от последствий такого поступка. Даже сам Робеспьер, явись он сюда лично, не смог бы спасти вас от гильотины.

— Знаю, — снова ответил Поль. — Обо всем этом я уже подумал.

Связка бумаг вдруг вспыхнула пламенем, язычки которого принялись лизать его руку, но, словно современный Муций Сцевола, он не отпрянул и не разжал хватки до тех пор, пока пламя не погасло, и в его обожженной и покрытой волдырями руке не осталось ничего, кроме маленькой кучки черного пепла. Лишь тогда он отступил назад со страдальческой улыбкой и бросил на стол пистолет.

— Делайте что должно, гражданин. Я ваш пленник.

Таким вот образом Поль Лавуази, вошедший в этот дом одним из самых могущественных деятелей революции, вышел обреченным человеком. Утешением ему служил разве что тот факт, что он жертвовал жизнью ради любимой женщины; он делал это без сожаления, фактически с чувством волнительного ликования в душе. Но и этого ему предстояло лишиться.

— Гражданин префект, — произнес он, пораженный внезапной мыслью, — вам было известно, что я — ci-devant шевалье де Лавуази, но откуда?

— Жена сказала, — ответил Дюрок, не видевший причин скрывать этот факт. — Она из Буавьё, гражданин, и узнала вас, когда вы явились сегодня к нам домой.

И тут на Лавуази пролился тот ярчайший свет откровения, который временами бывает дарован всем нам, и который зачастую лучше бы мы и вовсе не видели.

Он вдруг пошатнулся, наклонился вперед, поднес руку к лицу...

— Mon Dieu![1] — прошептал он.

— Что с вами? — осведомился Дюрок.

— Да так, ничего. Внезапная слабость от острой боли в плече, — пробормотал Лавуази. — Позвольте опереться на вашу руку, гражданин солдат.

[1] Боже! (фр.)

ПРОПУСК

Из запряженной взмыленными лошадьми желтой кареты, остановившейся на мощеном дворе гостиницы «Три голубя» (прежде называвшейся «Три короля») в Понтарлье, выскочил высокий, энергичный мужчина, вопя:

— Лошадей!

Форейтор едва ли не сполз с седла и повернулся к нему с широкой ухмылкой:

— Чудо, что бедные животные вообще держатся на ногах. Еще фарлонг[1] — и им, вероятно, разорвало бы кишки.

Не обращая на него внимания, путешественник продолжал кричать властным тоном:

— Почтмейстер! Лошадей!

Оттолкнув в сторону мальчика-конюха, появился трактирщик в фартуке, исполнявший в Понтарлье еще и функции почтмейстера. Он выскочил во двор со свирепостью, которая спала с него, словно накидка с плеч, при виде трехцветного служебного пояса, видневшегося на талии путешественника под распахнувшимся ворсистым шерстяным пальто.

— Увы, гражданин депутат, мои конюшни пусты, как и все остальные в Понтарлье. Не далее как сегодня утром реквизировали весь наш скот.

— Как?! Вообще ни одной лошади? — Смятение на лице депутата предвещало катастрофу. Его энергичность улетучилась; казалось, сам его рост уменьшился. — Ни одной лошади!.. Но... Боже правый! Я спешу. Жутко спешу. Дело национальной важности.

Хозяин гостиницы сочувственно кивнул.

— Что поделаешь? На сей раз делам национальной важности придется подождать, пока отдохнут ваши собственные животные.

— Да вы только взгляните на них! — воскликнул депутат, в отчаянии всплеснув руками. С таким же успехом он мог бы спросить: а смогут ли они

---

[1] **Фарлонг* (фурлонг, ферлонг) (от др.-англ. furh «борозда, колея» и long «длинный») — британская единица измерения длины, равная 220 ярдам (201 м). В одной миле 8 фарлонгов. Фарлонг был стандартной длиной борозды на квадратном поле в 10 акров в Средние века.

вообще продолжить путь? Лошади стояли с вздымающимися боками и взмокшими, потемневшими шкурами, от которых в холодный воздух этого хмурого ноябрьского дня поднимался пар.

— Прекрасно вижу, что их не щадили. Но мы их хорошенько отчистим, накормим овсом, дадим отдохнуть этак с полсуток — и вы сможете двинуться дальше. А пока мы с удобством устроим вас на ночь в «Трех голубях», гражданин.

Трактирщик принялся на все лады расхваливать свое заведение, постель, вино, кухню. Гражданин депутат, заявил он, не найдет здесь ни одного из тех постных блюд, что были навязаны трудными временами столь многим французским гостиницам.

Заметно обескураженный, путешественник едва обращал внимание на эту елейную болтовню; его выразительное умное лицо выглядело потемневшим от тревожных раздумий.

— С полсуток! Двенадцать часов! — бормотал он в смятении. — Знать бы еще, на сколько часов это может быть слишком поздно?

— Слишком поздно?

Путешественник не стал утруждать себя объяснениями.

— Enfin![1] Чего торчать здесь на холоде? — Пожав плечами, он выпрямился, как человек, собирающийся с силами для встречи лицом к лицу с неизбежным. — Мальчик, позаботься о том, чтобы лошадей поместили в конюшню. Хозяин, показывайте, куда идти.

Его провели в общий зал гостиницы, где в камине весело пылал огонь из сложенных в кучу поленьев; то было симпатичное место, обставленное по-провинциальному, но уютно, и в нем господствовал огромный буфет, уставленный посудой из латуни, на полированных поверхностях которой отражались пляшущие языки пламени.

Желая пробудить у высокого гостя аппетит, трактирщик по пунктам перечислил ему содержимое прекрасно укомплектованной кладовой, но либо гость обладал отнюдь не эпикурейским вкусом, либо лишился аппетита от досады на то, что вынужден был прервать свое путешествие. Он стоял в мрачной задумчивости у камина, облокотившись на гранитную полку и подперев подбородок ладонью.

— Да, да, — рассеянно пробормотал он, прослушивая каталог фазанов, оленины, каплунов и всего прочего. — Все равно что. Оставляю выбор за вами.

Трактирщик как мог старался не выказывать своего недовольства.

— Тогда я предложил бы вам оленину. Готовить придется дольше, но поскольку вы уже не торопитесь... Потом, как съедите, скажете, пришлась ли она вам по вкусу. И к ней, возможно, кувшинчик красного анжуйского. Чудесное вино. Просто превосходное, — он выждал паузу в ожидании ответа, но того не последовало. — Bien[2]. Все понятно.

---

[1] Здесь: Ну да ладно! (фр.)

[2] Хорошо (фр.)

Он зашаркал прочь в подавленном раздражении. Скряга — этот депутат, скотина. Проклятые республиканцы, подобные ему, были более надменными и несговорчивыми, чем аристократы прежних времен, и ни в чем не терпели возражений или отказа. Вот и перед ним был избалованный любимец толпы, сделавшийся кислым и неприветливым из-за пусть и непредвиденной, но едва ли серьезной задержки. Трактирщик с презрительным выражением лица отправился в кухню, чтобы позаботиться о приготовлении ужина, интерес к которому в нем, впрочем, уже заметно угас вследствие того, что гость вообще не проявил к предложенным блюдам ни малейшего внимания.

Депутат между тем снял пальто, бросил его на высокую спинку деревянной скамьи, стоявшей возле камина, сел и погрузился в мрачную задумчивость. В конце концов его вывел из оцепенения приближающийся грохот колес и стук копыт. Он вскочил, прислушиваясь, с округлившимися от испуга глазами; затем быстро подошел к окну.

Оттуда он увидел мужчину и женщину, выходивших из почтовой кареты, запряженной парой лошадей, явно еще достаточно свежих. При виде этой картины на смену его опасениям пришло нечто большее, чем облегчение. Ему пришло в голову, что эти путешественники — и он благословил случай, приведший их в «Три голубя», — пробудут в гостинице дольше, чем предполагали; ибо если они не уступят ему этих лошадей в ответ на вежливую просьбу, ему придется воспользоваться своими полномочиями члена правительства и просто-напросто реквизировать животных.

Он услышал их приближающиеся голоса и голос трактирщика, потом глухой стук шагов по каменным плитам коридора. Затем дверь общего зала распахнулась, и новоприбывшие уже переступили порог, прежде чем увидели мрачно ожидающую фигуру его обитателя. При виде сей величественной персоны, а о занимаемой этим человеком должности свидетельствовал трехцветный служебный пояс, — они резко, чуть ли не в ужасе, остановились.

Женщина — высокая, молодая, прекрасно сложенная — пришла в себя первой. Почти классическое совершенство ее лица и его нежный оттенок свидетельствовали о высокородном происхождении, которое не могло скрыть даже простое мещанское платье, которое она носила с муслиновым фишю[1], треугольником лежавшим на пышной груди. Впрочем, хотя дама и играла скромную роль, удавалось ей это не в полной мере. Гордая посадка головы, казалось, высмеивала бедность и скромность, тогда как презрительный взгляд, которым она окинула депутата, выдавал высокомерие высшей касты, которое она не сумела бы подавить в себе даже в обстоятельствах, угрожающих ее жизни.

Мужчина, такой же высокий и худощавый, как и сам депутат, в своем невзрачном коричневом сюртуке выказывал ту же республиканскую простоту

[1] *Фишю́* (фр. fichu) — тонкий треугольный или сложенный по диагонали квадратный платок из легкой ткани (муслина, батиста) или кружев, прикрывавший шею и декольте. Появился в одежде французских женщин нижних и средних слоев общества в XVII веке.

одежды; его прямые черные волосы были распущены en oreilles de chien[1]. Такую же простоту он проявлял и в своем поведении, и вы бы не нашли в ней ничего напускного, ибо Арман де Боваль, виконт де Френе, был натурой доброй, кроткой и искренней. Он выразил это в радостном изумлении, так как уже в следующее мгновение изначальный испуг разом сошел с его лица — он узнал депутата:

— Да это же Вайи! Глазам своим не верю! — И он бросился вперед, протягивая руку.

Народный избранник выглядел не менее удивленным.

— Кто бы мог подумать — Боваль!.. — воскликнул он и сделал шаг навстречу новоприбывшему.

Пока они, улыбаясь, пожимали друг другу руки, трактирщик довольно потер свои.

— Вот так уже лучше! Более приятного места, чем гостиница, для счастливых встреч и не сыщешь. Вы замечательно отужинаете вместе.

Этого, однако, не сулила суровая холодность мадам. Выражение ее лица было столь недовольным, вздорно-капризный рот искривляла столь презрительная усмешка, что внешность дамы утратила бóльшую часть своей привлекательности. Когда муж представил республиканца, ее брови, казалось, сделались еще более темными.

— Клотильда, дорогая, это мой старый друг — гражданин депутат Вайи. Он из Труа, как и мы сами. Земляк. — В улыбке Боваля читалась робость, в глазах — мольба. — Мы с Вайи вместе учились в лицее Людовика Великого[2].

Учтивая грациозность в поклоне представителя была встречена виконтессой[3] холодным взглядом, который лишь усилил беспокойство ее супруга. В отчаянной попытке смягчить жену, он нервно добавил:

— Ты, конечно же, слышала о Вайи — я часто о нем рассказывал. В Генеральных штатах[4] он представлял третье сословие Труа и с тех пор стал в Конвенте весьма влиятельным человеком.

Если тем самым Боваль пытался призвать свою благоверную к осторожности, предупредить о том, что задевать этого человека опасно, то в этом не преуспел совершенно.

---

[1] Буквально: собачьи уши (фр.) — прямые волосы, спускающиеся на уши (прическа в стиле времен Директории).

[2] *Лицей Людовика Великого* — государственное учебное заведение в Париже. Дает обучающимся среднее и высшее образование, находится в самом центре Латинского квартала. Был основан в 1563 году орденом иезуитов и первоначально назывался Клермонский коллеж.

[3] Точнее сказать, бывшая *виконтесса*, ибо революция еще в июне 1790 года отменила институт наследственного дворянства и все связанные с ним титулы. Но мы не возьмем на себя смелость поправлять автора прямо в тексте. *(Прим. переводчика.)*

[4] *Генеральные штаты* — высший совещательный орган сословного представительства во Франции XIV–XVIII вв., один из важнейших институтов сословной монархии.

Вайи, родившийся джентльменом и сохранивший манеры оного даже теперь, после того, как он потерял расположение виконтессы, сделал вид, что не замечает враждебности, природу которой депутат прекрасно понял. Пододвинув стул, он сказал:

— Присаживайтесь, мадам. Здесь, у камина. В такую сырую погоду вы, должно быть, продрогли.

Не удостоив его ответом, она проплыла мимо и, сев на другой стул, протянула к огню тонкие аристократические руки. Сжатые губы и постукивание ногой по полу выдавали ее с трудом сдерживаемое негодование.

Трактирщик удалился, и Боваль, дабы умилостивить человека, одно слово которого могло их с женой погубить, извинился за супругу.

— Моя жена устала, Вайи. Ужас как холодно, да и в пути были целый день. Устала и встревожена. Тебе и самому известно, как тревога изматывает дух. Я знаю, дорогой друг, что с твоей стороны, несмотря на наши политические разногласия, нам ничто не грозит. С тобой я могу быть откровенным без малейшего страха.

Сразу поняв, что Боваль сказал это для того, чтобы успокоить жену, депутат великодушно пришел ему на помощь.

— Да откровенничать, друг мой, и не нужно. Ты все равно не сможешь сказать мне ничего такого, чего бы я не знал. Вы, конечно же, в списке объявленных вне закона, и раз уж я вижу вас в пяти милях от границы Швейцарии, значит, вы эмигрируете. Ну и что с того? — пожав плечами и улыбнувшись, он добавил: — Я рад, что, проделав столь долгий путь, вы целы и невредимы, и надеюсь, что и завершите свое путешествие столь же благополучно. Разумеется, я не стану чинить вашему переходу через границу ни малейших препятствий.

— Так я и думал. Ты слышала, что сказал славный старина Вайи, Клотильда?

Мадам огляделась.

— Мне сразу же заметно полегчало, — холодно призналась она. — Месье Вайи — ах, простите! — гражданин Вайи поймет, что я не ожидала такой снисходительности от человека его политических убеждений.

— Давняя дружба, мадам, — заверил ее Вайи, — всегда должна значить больше, чем политика.

— Неужели для санкюлотов вообще что-либо имеет значение?

Вайи не позволил себе поддаться раздражению. Ее сварливое поведение лишь усилило его симпатию к виконту. Поразительно, подумал он, что при такой воинственно настроенной и неосмотрительной жене Боваль каким-то образом все еще умудряется сохранять самообладание.

— Политические убеждения могут ослабевать и меняться, мадам. С дружбой, которую мы завязываем в ранние годы, до принятия доктрин, разделяющих людей на разные лагеря, все обстоит иначе.

— Доктрины! — процедила виконтесса с нескрываемой насмешкой. — Доктрины, которые вы исповедуете, месье, привели к тому, что земля оказалась залита кровью.

На лице Боваля отразились смятение и испуг. Быстро подойдя к жене, он предостерегающе положил руку ей на плечо. Клотильда лишь раздраженно отмахнулась.

— И что теперь? Мне нельзя высказать своего мнения? Я что, должна сжаться в комок, как какая-нибудь трусиха, и молчать? Я говорю то, что думаю.

Из сострадания к Бовалю ответил ей уже Вайи.

— Когда до безопасности остается подать рукой, мадам, было бы благоразумно проявлять осторожность, — мягко упрекнул он виконтессу. — Пройдя такой долгий путь, было бы чистой глупостью подвергать побег опасности необязательной — и столь неумеренной — откровенностью.

— В самом деле, в самом деле, Клотильда, — принялся увещевать супругу Боваль. — Ты слышишь?

Но виконтесса отнеслась к упрекам с предельной нетерпимостью эгоистки.

— Я слышу лишь то, что мне говорят дерзости.

Вайи предпочел счесть это забавным и открыто рассмеялся.

— Не дерзости, мадам. Все, сказанное мною, в данном случае как нельзя более уместно. Возможно, вам повезло, что, столь опрометчиво говоря об измене стране, вы выражаете мнение, к которому в конечном счете пришел и я сам. Но должен вам сказать, что несостоятельными были вовсе не доктрины, которые я принимал и за которые боролся, — доктрины, которые я и сейчас полагаю возвышенными и благородными. Они были задуманы людьми мозговитыми и великодушными, единственной целью которых было улучшить жизнь стонущих от невзгод бедняков, а вместе с этим — и участь всего человечества. К несчастью, совершенная нами революция в конечном счете попала под контроль политических авантюристов, своекорыстных сангвинократов, осквернивших всеобщие завоевания. Вместо упраздненной нами гнусной тирании дворца они установили гораздо более гнусную тиранию черни. Я тебя удивляю, Арман? Тогда позволь признаться: наши с республикой пути разошлись; я тоже покидаю Францию.

Быть может, этим откровенным признанием Вайи хотел несколько ослабить возникшее напряжение, но тотчас же понял, что оно лишь усилило не только враждебность виконтессы, но и ее смелость в выражении этой враждебности.

— Вы покидаете Францию? Говорите, ваши с республикой пути разошлись? То есть, превратив страну в руины той анархией, поборником которой вы прежде являлись, разрушив ее до основания, распространив по всему миру страдания и опустошение, вы теперь вознамерились удалиться. А нам же, принадлежащим к классу, против которого самолично разжигали все эти ужасы, полагаете нужным сказать лишь одно, — что, мол, осознаёте свою ошибку.

— Такого я точно не говорил, — его тон был мягким, взгляд темных глаз снисходительным. — В концепции не было никакой ошибки. Просто так вышло, что ее принялись претворять в жизнь преступники, ворвавшиеся через дверь, которую мы открыли, для того чтобы изгнать других преступников.

— Иными словами, вы хотите сказать, что мы бы и стали теми преступниками, которых вы намеревались изгнать.

Виконтесса говорила с нарастающим негодованием и продолжила бы, не вмешайся супруг.

— Мир! Мир! — воскликнул он с пылкостью отчаяния. — К чему сейчас все эти взаимные обвинения?

— Особенно с учетом того, — добавил депутат, — что сегодня мы с вами в одинаковом положении: я тоже беглец, как и вы.

— Вот только мы бежим от опустошений и смуты, которые посеяли такие, как вы, — никак не успокаивалась Клотильда.

— Как скажете, мадам, — тяжело вздохнув, Вайи повернулся к виконту. — Мне бы не хотелось, Боваль, омрачать нашу встречу спорами.

— Как и мне, — согласился виконт, а затем, словно осуждая желчный язык жены, добавил: — Нам повезло, что мы встретили тебя, мой друг, а не кого-то другого.

Виконтесса презрительно фыркнула, явно узрев в этих словах мужа отсутствие гордости. Опершись локтем в колено и подперев подбородок рукой, она угрюмо уставилась на пылавший в камине огонь и снова начала нетерпеливо постукивать ногой по полу. Наблюдая за этим постукиванием, Вайи мысленно сравнил его с ударами хвоста разъяренной дикой кошки. Печально посмотрев на Боваля своими усталыми глазами, он вздохнул и сказал:

— Если бы я мог чем-то способствовать вашему побегу, поверьте, я с радостью вам бы помог. Но... вы же, несомненно, и так обеспечены всем необходимым. У вас же есть документы?

Виконт покачал головой.

— Увы, нет.

— Нет документов? — депутат нахмурился. — Тогда как вы собираетесь пересечь границу?

— Тайными тропами, на своих двоих. Избегая дорог и придерживаясь полей, лугов и гор. К счастью, я знаю этот район как свои пять пальцев. Многие благополучно пересекали горный массив Юра — при небольшом везении сможем и мы.

— В подобном переходе есть свои опасности.

— Они минимальны для того, кто хорошо знаком с местностью. Без пропусков у нас в любом случае нет выбора. Но волноваться не о чем, уверяю вас.

— Так или иначе, трудности могут возникнуть. Для мужчины, может, и не слишком серьезные, но вот для мадам... — Вайи взглянул на Клотильду.

— Я не прошу вас беспокоиться обо мне, месье, — отрезала та.

— И все же определенное беспокойство я ощущаю, мадам, — в своей терпимости он не мог не учитывать то незавидное положение, в котором она оказалась. Возможно также, что и утонченная красота виконтессы стимулировала его — как мужчины — желание смягчить ее враждебность. —

Если бы только вместо бесполезного сочувствия я мог предложить какую-то помощь. Если бы только... И все же кое-что сделать для вас я могу. Мой паспорт действителен только лишь для меня — депутата Конвента, направленного в командировку в Швейцарию. К сожалению, даже моя должность и то уважение, с которым до́лжно к ней относиться, не позволили бы мне переправить вас обоих через границу вместе со мной. Но будь со мной только дама, пограничникам едва ли это покажется настолько странным, чтобы они не удовольствовались лишь лукавым подмигиванием мне как представителю народа.

Это было предложение — тон Вайи не оставлял в этом сомнений. Подскочив к депутату, Боваль принялся энергично жать ему руку.

— И ты бы это сделал, Вайи? Да вознаградит тебя Бог, мой друг. Это сняло бы с моего сердца тяжкое бремя. В одиночку я пройду данное приключение с большим спокойствием на душе. Если ты соизволишь взять с собой мою дражайшую...

Тут виконтесса прервала мужа:

— Да ты с ума сошел?— ее голос был резким, взгляд — зловещим. — Должно быть, так оно и есть, если мог подумать, что я паду столь низко. В конце концов, есть и нечто такое, чем я обязана своему собственному «я», своему достоинству и происхождению.

— Дорогая, дорогая, — забормотал Боваль, затрепетав под ее гневным взглядом. — Ни о чем другом, кроме твоей безопасности, я и не думаю, ибо...

— Безопасность порой может обойтись в слишком высокую цену. Неужели ты, проживший на этом свете столько лет, сам не осознаёшь это? Я ждала от своего супруга, что, вместо того чтобы поддерживать подобное предложение, он возмутится таким оскорблением.

— Без намерения оскорбить, мадам, — бесстрастно возразил Вайи, — оскорбления не бывает.

— Как знать? Возможно, вы и намеревались, господин санкюлот.

В то время как виконт побледнел от гневного ужаса, депутат спокойно поклонился.

— Прошу меня извинить, мадам. По своей глупости я счел вашу нужду столь настоятельной, что понадеялся: вы даже не заметите недостойности средств, с помощью которых она будет удовлетворена. Простите меня. — Он более оживленно повернулся к Бовалю, который стоял, раздавленный стыдом и страданием. — Позвольте мне перейти к тому, что касается исключительно меня лично. Я был вынужден задержаться здесь из-за отсутствия сменных лошадей, и, по правде сказать, эта задержка не лишена для меня опасности. Поскольку вы намерены продолжить свое путешествие пешком, я возьму на себя смелость забрать ваших жеребцов. Если позволите, распоряжусь немедленно запрячь их в мою карету. Поскольку я уже не останусь ужинать, мадам будет освобождена от моего... от моего присутствия.

— Мой дорогой Вайи, я... я...

— Больше — ни слова, — депутат был сама любезность. — С вашего позволения.

Когда дверь за ним закрылась, Боваль посмотрел на жену с болью и упреком.

— Ах, дорогая Клотильда! Как ты могла? О, как ты могла?

— Ха! И теперь, полагаю, меня следует отчитать? Отчитать за то, что я не так малодушна, как ты?

— Отчитать? Да нет же. Но, дорогая, отвергнуть столь щедрое предложение в столь оскорбительных выражениях...

— Ты и в самом деле думал, что я смогу принять одолжение от твоих революционных плебеев?

— Но Вайи — старый друг.

— То, что у тебя есть друзья среди черни, не делает тебе чести. Ты постоянно разочаровываешь меня, Арман, и, полагаю, так будет всегда. Как ты мог даже просто предположить, что я соглашусь путешествовать с этим человеком... в качестве кого? Женщины, на которую будет косо смотреть кордегардия на границе? Так ты представляешь себе роль, которую должна была бы сыграть твоя супруга? Так ты представляешь себе мужественность?

Боваль подавил вскипающее негодование и ничего не ответил из опасения, как бы не последовали еще более ядовитые упреки. Эта своевольная, злобная, хотя и очаровательная мегера осыпала виконта бранью и насмешками на протяжении всех пяти лет их брака, злоупотребляя его терпением. Ее безжалостный язык всегда вынуждал его подчиняться извращенной воле супруги. Уступая во имя спокойствия, ибо раздоры были отвратительны его чувствительной душе, Боваль еще больше подпадал под это раздражительное ярмо. Если сейчас он и осмелился возражать жене, то скорее из-за шанса на спасение, столь бессмысленно и упрямо отвергнутого, нежели из-за грубости выражений, в которых он был ею отклонен. Но это было не в правилах виконтессы — слушать из его уст то, что противоречит ее собственному мнению. Она была из тех женщин, которым нужно, чтобы им льстили и во всем с ними соглашались.

— А как же тогда достоинство, надлежащая гордость? — яростно перебила Боваля супруга. — Лишний раз убеждаюсь, что у тебя они отсутствуют напрочь. Потому-то тебе и доводится сносить бесчисленные унижения. В отличие от тебя, я себя унижать не позволю.

— Когда рождаешься аристократкой, думать об этом с таким постоянством необязательно, — устало возразил Арман. — Все, о чем я беспокоился, — так это о твоей безопасности.

— Моей безопасности? Почему бы тебе не быть до конца откровенным? Почему бы не признаться, что ты беспокоишься о своей собственной безопасности? В этом переходе через горы женщина бы тебе только мешала. Думаешь, я не понимаю? В одиночку ты шел бы куда быстрее и безопаснее. В этом-то все и дело. Такие вот эгоистичные мысли и крутились в твоей голове. И к чему этот хмурый взгляд? Только не говори, что я ошибаюсь! Я всегда была жертвой

твоего эгоизма! Эгоизма и глупости; и сейчас, нужен человек умный, даже в большей мере, чем когда-либо!

Он рассеянно взмахнул рукой, ибо знал, что рассуждения будут напрасны, что никакие доводы не убедят ее в обратном тому, что она решила думать.

— Тогда скажи, что бы сделал человек умный?

— Ты что, совсем идиот, Арман? — виконтесса резко встала. Глаза ее заблестели от внезапного пришедшей в голову мысли. — У этого человека, этого негодяя, этого «гражданина депутата», есть при себе документы, дающие ему право проезжать куда угодно. По его собственным словам, он направляется в командировку в Швейцарию. Кроме того, как он изволил заметить, пограничники едва ли сочтут странным, что депутат Конвента путешествует с женщиной легкого поведения. Это и была та «благородная» роль, которую, по твоему мысленному представлению, должна была сыграть твоя жена. Прекрасно. Я сыграю ее, если ты сыграешь роль гражданина депутата.

Он озадаченно нахмурился.

— То есть как это? Что ты имеешь в виду?

— Да как же ты не понимаешь, ей-богу!.. Ты должен завладеть его документами, тупица. С ними мы сможем путешествовать совершенно спокойно. Вот что я имею в виду.

Боваль выглядел ошеломленным.

— Да это просто безумие! — он с мрачным видом помотал головой, выражая свое глубокое презрение к этому предложению. — И как, по-твоему, это можно было бы провернуть?

— У тебя с собой пистолеты. Они что, чисто для украшения?

— Боже правый! И что ты предлагаешь? Я что, должен убить человека, чтобы затем ограбить его? Так вот к чему меня приведут эти гордость и достоинство, которыми ты кичишься?

Но Клотильда уже не обращала на мужа внимания. Ее взгляд упал на пальто Вайи, перекинутое через спинку деревянной скамьи. Внезапно она подошла к нему, вывернула наизнанку, сунула руку в оттопыренный внутренний карман и извлекла оттуда пухлый кожаный бумажник. Затем, несмотря на вялые протесты Боваля, дрожащими от нетерпения пальцами быстро перебрала содержимое этого бумажника и наконец вытащила листок, в верхней части которого стоял герб Французской республики, единой и неделимой.

— Вот он. Его пропуск. «Никоим образом не препятствовать...» — начала читать виконтесса, но Боваль нетерпеливо прервал ее:

— Переходи лучше сразу к описанию внешности!

Он выбрал эту линию возражения как наиболее вероятную для сохранения аргументации.

Клотильда лихорадочно зачитала:

— «Прямые, черные волосы, темные глаза, оливковый цвет лица, крючковатый нос». Все, как у тебя. «Рост: метр семьдесят». Примерно как твой. Все сходится.

Потерпев поражение на этом направлении, Боваль вернулся к тому возражению, которое крутилось у него на устах, но так и не было сперва высказано.

— Неужели ты действительно готова стать воровкой? — спросил он хриплым от ужаса голосом. Клотильда гневно зыркнула на него, но он продолжал: — Это и есть обещанный тобой ум? Нечего сказать — трогательная благодарность за ту терпимость, которую он проявил к нам, за его предложение помощи. Не говоря уж о том, что это было бы крайне глупо — глупо и бесполезно. Когда Вайи обнаружит пропажу...

— Твои пистолеты могут предотвратить это. Или твое мужество пошатнулось?

— Мужество? Мужество совершить убийство?

Ее лицо исказилось, превратившись в гримасу безграничного презрения.

— Это война, придурок! Этот человек представляет собой врага. Вопрос стоит так — его жизнь или наша?

— Это и близко неправда. Наши планы разумны — давай их и придерживаться.

— Когда у нас на руках это? — она помахала пропуском. — Как ты не понимаешь, что с этим документом нам вообще не о чем будет беспокоиться — перейдем границу легко и просто.

Его взгляд выражал отвращение.

— Ценой убийства. Я должен купить нам безопасность, убив старого друга, который, несмотря на все имеющиеся у нас с ним разногласия, готов нам помочь. Его намерения благородны. Или ты не согласна?

— Скажи еще, что пожертвовать женой — еще более благородно! Тебе придется сделать выбор между мною и этим твоим драгоценным другом. Выбирай: либо меня потащат обратно в Париж, на гильотину, либо ты все же поднимешь руку на эту мразь, вылезшую из сточной канавы!

— К чему так искажать факты? — воскликнул виконт в отчаянии.

— Искажать факты? Неужели ты не видишь, что это шанс, посланный нам Небесами? Или, будучи слабаком, и этим пренебрежешь, как прежде пренебрегал многим другим? Хоть раз в жизни поведи себя как мужчина.

— Ты хочешь сказать — как убийца.

— Послушай, Арман. Воздержишься от этого — и я не сделаю вместе с тобой больше ни шагу. — Она уже чуть ли не кричала: — Как ты не понимаешь? Я отказываюсь — решительно и категорически отказываюсь — тянуться через горный массив. Уж лучше вернусь в Париж, даже зная, что там меня могут гильотинировать. По крайней мере, это положит конец той жизни, которой я уже устала жить из-за твоего жестокого пренебрежения мною. Клянусь тебе, именно так и сделаю. А теперь — выбирай.

Порой, и весьма часто, Боваль ненавидел жену за то, что она склоняла его к отвратительным поступкам своей упрямой, эгоистичной порочностью, с которой можно было бороться лишь средствами, противными его мягкой натуре. Но никогда еще он не ненавидел ее так, как сейчас, за то жестокое

принуждение, которое она при этом применяла. Зная несгибаемое упрямство супруги, виконт ничуть не сомневался в том, что она исполнит свою угрозу. Знал Боваль и то, что, откажи он Клотильде — и лишь бы досадить ему, наказать его, она способна даже положить голову под нож; и ей вполне хватит мужества — отсутствием которого она попрекала его, сделать это.

Белый как полотно, терзаемый жуткими мыслями, Боваль стоял перед женой и бил себя по лбу сжатой в кулак рукой. Затем ему пришло в голову привести аргумент, который, как казалось ему, Клотильда должна была бы понять:

— Неужели не ясно, что, застрели я его, это имело бы для нас самые негативные последствия? Полагаю, нас бы уже ничто не спасло.

Ее капризные губы изогнулись в новой презрительной ухмылке.

— Какой же ты слабак! Только и можешь, что находить один предлог за другим для того, чтобы ничего не делать! Есть же и другие пути. Тихие. Разве у тебя нет рук? Сам же хвастался, какой ты сильный! Я что, всегда должна думать за нас обоих?

Он из последних сил противостоял ее доминированию.

— Я не могу, Клотильда, не могу, дорогая.

Боваль подошел к жене с намерением испытать убедительность ласки. Почувствовав это по его тону, виконтесса отстранилась. То была крайне практичная женщина.

— Тебе лучше принять решение до того, как станет слишком поздно.

— То, о чем ты просишь, немыслимо, — все еще протестовал виконт.

— В том, чтобы оставить меня в опасности, ты почему-то ничего немыслимого не видел!

— Ты преувеличиваешь опасность, да и я тебя нигде не оставляю, разделяя с тобой все трудности этого путешествия.

— И что, я теперь должна утешать себя этим? — Затем вдруг ее тактика резко изменилась. — Всегда одно и то же, — пожаловалась она со слезами на глазах. — Всегда. С того самого часа, как я вышла за тебя. Твоя глупость и слабость испортили мне всю жизнь. Ты всегда был против меня. Думай ты обо мне хоть немного, мы бы эмигрировали еще несколько месяцев тому назад, когда я впервые упомянула об этом, когда это сделали все здравомыслящие люди.

— Выходит, Клотильда, все, что остались, продолжая страдать, были глупцами и слабаками?

— До них мне нет дела. Я вышла замуж не за них, а за тебя.

— Увы! — пробормотал виконт.

Это остановило слезы виконтессы и возродило ее ярость.

— Ну вот! Теперь ты и вовсе оскорбляешь меня. И это — сейчас, в такую минуту!.. О, как это храбро, как это галантно — насмехаться над бедной, слабой женщиной. До чего же ты мне ненавистен! Я даже рада, что ты не желаешь меня защищать, уж лучше мне умереть!

— Тише, Клотильда! Тише! — взмолился снедаемый беспокойством Боваль.

Однако виконтессу вынудили умолкнуть не его мольбы, а звук шагов возвращающегося депутата. В панике она трясущимися руками сунула пропуск за пазуху, а бумажник вернула в карман пальто. Едва она это сделала, как вошел Вайи и объявил, что его карета готова, а трактирщик ждет во дворе, готовый выпустить ее за ворота.

Депутат сбросил с себя ту мрачность, которая владела им ранее, и выглядел преобразившимся человеком. Его взгляд, перебегавший с мужа на жену, отметил их странное напряжение, отметил, что виконтесса дрожит. Пару мгновений он колебался, едва заметно улыбаясь, потом почти извиняющимся тоном проговорил:

— Может, по здравому размышлению, мадам все же воспользуется столь безрассудно сделанным мною предложением? Если так, я полностью к ее услугам и готов доставить в Невшатель, где ты, Боваль, сможешь затем присоединиться к ней.

На этот раз ее отказ был выражен в более вежливых выражениях.

— Вы очень любезны, месье, — произнесла Клотильда сдавленным голосом, — но мы с виконтом решили отправиться туда вместе.

Вайи едва заметно пожал плечами — жаль, мол, но уважаю ваше решение.

— Да будет так. Тогда мне остается лишь пожелать вам счастливого пути.

Он прошел мимо них, чтобы взять пальто. Сделав еще пару шагов, вдруг остановился и уставился на скамью в изумлении. Проследив за взглядом Вайи, супруги Боваль и сами с испугом заметили предательские признаки того, что одежду кто-то трогал: виконтесса так спешила вернуть пальто на место, что оставила его лежать вывернутым наизнанку; из расстегнутого внутреннего кармана выглядывала треть бумажника.

Мрачно сжав губы, депутат вытащил бумажник и принялся изучать его содержимое.

Еще до следующего удара сердца Боваль осознал всю мерзость того, что они натворили, опрометчиво забрав пропуск, который теперь покоился на груди его жены. Увидев, к чему все идет, и не имея времени на то, чтобы взвесить все «за» и «против», виконт понял, что теперь у него нет выбора. Сколь бы отвратительной ни была цена, он должен предотвратить разоблачение, которое может привести разве что к краху и смерти как для Клотильды, так и для него самого. За те же доли секунды, между двумя ударами сердца, пока он стоял у туалетного столика позади депутата, рука его сомкнулась на тяжелом латунном подсвечнике и со всей силы обрушила этот подсвечник, словно дубинку, на голову Вайи.

Колени члена Конвента подогнулись, и он без единого вскрика упал, как сноп, к их ногам, где и остался лежать без чувств.

Несколько мгновений они стояли, затаив дыхание и глядя на упавшего с каким-то благоговением. Затем виконтесса сказала:

— Хвала Небесам, хоть раз в жизни ты поступил разумно.

Но ее дрожащий голос и пепельно-бледное лицо заметно противоречили неприкрытому цинизму этих слов.

Потрясенный своим инстинктивным поступком, Боваль опустился на колено рядом с лежащим без сознания депутатом.

— Слава Богу, он хотя бы жив, — с облегчением объявил он.

— Тогда нам и вовсе не следует тратить время впустую. Давай, пошевеливайся. Нужно идти.

— Идти? Ах, да, — виконт распрямился, тупо посмотрел на подсвечник, который все еще держал в руке, затем с внезапным ужасом отшвырнул его от себя. — До конца жизни буду себя ненавидеть! — воскликнул он. — Зачем ты возложила это на меня?

— Довольно уже разглагольствовать! Дорога каждая секунда. Пойдем!

Она схватила пальто Вайи и бросила мужу. Несколько ошеломленный таким доминированием, которому виконт безропотно уступил, испытывая отвращение и к самой этой деспотичности, и к той женщине, которая ее проявляла, Боваль с трудом влез в пальто. Подняв широкий воротник так, чтобы он закрыл лицо до ушей, Клотильда надвинула ему на брови круглую, затеняющую глаза шляпу республиканца.

— Пойдем, — скомандовала она. — Да пойдем же! Неужели ты так и не понял? Карета Вайи ждет у дверей. Теперь ты — депутат, и ты уговорил меня поехать с тобой.

Все еще сбитый с толку, терзаемый угрызениями совести, виконт позволил супруге утащить его за собой, предоставив всю инициативу этому активному, властному, безжалостному, ничего не забывавшему уму.

На несколько секунд наступила пауза: виконтесса заперла дверь гостиной и вынула ключ.

— Это задержит любого, кто явится, и помешает Вайи броситься за нами вдогонку, если он придет в себя слишком быстро. К тому времени, как его обнаружат, мы будем уже в пути, а других лошадей, которые могли бы последовать за нами, тут нет.

Они прошли к двери, что вела во двор, где их ждал хозяин. Клотильда властно подтолкнула закутанного до бровей мужа к желтой карете. Форейтор уже сидел в седле.

— Я поеду с гражданином депутатом, — объявила она, — а мой брат остается с вами до завтра. Он-то и заплатит вам за ваши хлопоты.

Боваль, переодетый в пальто и шляпу Вайи, забрался в карету. Уже встав ногой на ступеньку, виконтесса отдала форейтору необходимые распоряжения:

— Поезжайте по дороге на Сен-Сюльпис и помните, что гражданин депутат спешит, так что лошадей не жалейте.

Она запрыгнула внутрь, трактирщик захлопнул дверцу, форейтор щелкнул кнутом, желтая карета выехала со двора и на бешеной скорости понеслась через весь город.

Сердце Клотильды молотом стучало в груди, пульс участился. Откинувшись на спинку сиденья, она испустила глубокий вздох облегчения.

— Ну вот, дело сделано. Слава Богу, что я могу соображать за нас обоих. Видишь, как все оказалось просто?

— Действительно, все прошло как по маслу, — горько произнес Боваль. — Прости меня, Господи. И тебя тоже.

— Кто бы сомневался, что ты и дальше продолжишь ворчать?! Какой же ты слабак! Где бы ты был без моего ума и храбрости? Вероятно, уже бы на пути к гильотине. Нет, чтобы поблагодарить меня, так ты только и делаешь, что брюзжишь! — пошарив у себя на груди, она вытащила паспорт Вайи. — Вот, возьми.

Виконт машинально взял документ.

— Вижу, тебя не заботит, что станет с Вайи, — пробормотал он. — А ведь он, как и мы, был в бегах. Эта кража обречет его на погибель.

— С чего бы это? Пусть идет через горный массив Юра, как и мы собирались сделать. Хотя, осмелюсь сказать, ты и сейчас бы, наверное, предпочел бы, чтобы твоя супруга испытала все трудности этого перехода.

— Ты забываешь, что он совершенно не знает гор. А может, тебе просто наплевать.

Клотильда не сочла это заслуживающим ответа, и между ними воцарилось молчание. Привязанность Боваля к жене, давным-давно ослабленная ее неистовым духом, теперь была напрочь убита ужасным поступком, к которому виконта внезапно подвело все ее поведение. Так, не проронив больше ни слова, они проехали пару-тройку миль. Они были уже больше чем на полпути к пограничному посту, когда к нарастающему стуку копыт, шедшему откуда-то сзади, добавился чей-то крик, от которого карета замедлила ход и остановилась.

Мадам высунула голову из окна.

— В чем дело, болван? Почему остановился?

Повернувшись в седле, форейтор кнутом указал назад: их настигал отряд драгун. Подъехав к карете, возглавлявший отряд офицер остановился. Его хитрый взгляд, полный республиканской мудрости, заставил виконтессу откинуться на спинку стула.

— Кто такие? — осведомился офицер, приблизив голову к окну, и на том же дыхании добавил: — Попрошу предъявить документы.

Встрепенувшись, Боваль протянул пропуск.

— Вайи, депутат Конвента. Еду в командировку в Швейцарскую республику, — коротко объявил он.

— Депутат спешит, — сочла необходимым добавить к этому виконтесса.

— Ну да, так мне и сказал хозяин «Трех голубей».

— И задерживать нас я бы не советовала, — предупредила мадам Боваль.

— Да неужели, гражданка?

В тоне офицера слышалась насмешливая дерзость. Рядом с ним хихикал сержант. Просмотрев пропуск, командир отряда сложил его и сунул в карман.

— Заставили же вы нас за собой погоняться, гражданин Вайи. Я уж начал было опасаться, что мы и вовсе не успеем вас настичь. У меня приказ о задержании вас по обвинению в государственной измене республике. Вам придется вернуться со мною в Париж. Правда, — шутливо добавил он, — мы можем захватить и леди, чтобы она не чувствовала себя одинокой, — он махнул форейтору: — Разворачивай, дружок.

Пока они делали разворот, Клотильда вышла из оцепенения.

— Подождите! Боже, да подождите же! Это какая-то ошибка.

Но офицер уже удалился; драгуны сомкнулись вокруг кареты. Клотильда вцепилась в руку виконта, который сидел на удивление неподвижно, и яростно встряхнула его.

— Очнись же, ненормальный, очнись! Скажи им, что это ошибка.

К еще более глубокому ее ужасу, виконт рассмеялся.

— Неужели ты думаешь, это нам как-то поможет? Да и, в конце-то концов, к чему беспокоиться? Они и сами поймут, что ошиблись, когда мы доберемся до Парижа. Но не волнуйся, дорогая. Твое остроумие и отвага не пропадут даром: они послужат хотя бы спасению жизни Вайи, — и легкая насмешка, казалось, звучавшая в голосе этого многострадального человека, наконец нашла выход: — Вот же Вайи обхохочется, когда узнает, что именно случилось!

ДЮРОК

Дюрок спускался в конец улицы Арфы так тихо, что звука его шагов почти не было слышно. Он двигался как тень и, когда наконец остановился перед домом гражданина депутата Клерво, то словно полностью растворился, стал частью царившего кругом мрака.

Там он остановился и, подперев подбородок рукой, призадумался. Затем, возможно, потому что окна нижнего этажа были забраны решетками, последовал дальше еще более скрытно, чем пробирался вдоль садовой стены. На полпути между двумя фонарями, перекинутыми через узкую улицу и отбрасывавшими слабый желтый свет, снова остановился.

Теперь Дюрок стоял в том месте, где тень была самой густой. Несколько мгновений он внимательно прислушивался, вглядываясь в ночь то туда, то сюда, потом с быстрой и бесшумной ловкостью обезьяны перелез через стену. Вершина стены была снабжена рядом железных шипов, и на одном из них, несмотря на всю осторожность, Дюрок оставил небольшую полоску своих штанов.

Этот прискорбный факт вызвал у него раздражение. Он проклял все chevaux de frise[1], мысленно провозгласив их сугубо аристократической уловкой, к которой не стал бы прибегать ни один подлинный патриот. И действительно, по тому, как гражданин депутат Клерво охранял свой дом, Дюроку стало понятно, что этот тип — лицемер, мнимый республиканец. С решетками на окнах и шипами на стенах это место скорее походило на тюрьму, чем на жилище представителя освобожденного Революцией народа. Конечно, как прекрасно знал Дюрок, гражданину депутату было что охранять. Ни для кого не являлось секретом, что его скромное обиталище на улице Арфы представляет собой нечто вроде сокровищницы, где хранится награбленное имущество, вывезенное из особняков многих ci-devants, и люди шептались, что ни один благонамеренный патриот — и в придачу народный избранник — никогда бы не позволил себе накопить такое богатство в час острой нужды нации.

---

[1] Торчащие гвозди, шипы или куски битого стекла наверху стены, перил, забора (мн. от франц. cheval de frise — «рогатка»).

Дюрок крадучись пересек сад, внимательно оглядывая безмолвный спящий дом. Ободренный тем фактом, что нигде не было видно ни проблесков света, ни малейших признаков бодрствования, он действовал столь ловко, что уже через пять минут открыл окно и проник в комнату, используемую депутатом в качестве кабинета.

Какое-то время он стоял там совершенно неподвижно и чутко прислушивался. За исключением приглушенного тиканья часов, ни один звук не нарушал тишину. Дюрок повернулся и осторожно задернул тяжелые оконные шторы. Затем сел на пол, достал из-за пазухи небольшой фонарь, а из жилетного кармана — трутницу. Послышался резкий удар стали по кремню, и через пару мгновений фонарь начал отбрасывать на паркетный пол желтый диск света.

Он тихо поднялся, поставил лампу на консоль[1] и прошел в дальний конец комнаты, к приоткрытой двери. Там снова прислушался, закрыл дверь и, бесшумно ступая по дорогим толстым коврам, разбросанным тут и там, двинулся обратно.

Посреди комнаты приостановился, чтобы осмотреться и оценить роскошную обстановку. Глядя на расписные панели, маркетри, позолоченные стулья и инкрустированные золоченой бронзой шкафы — все это было украдено, вывезено из особняков ci-devants, либо гильотинированных, либо сбежавших за рубеж, — он спросил себя, не вошло ли у истинных республиканцев в привычку обставлять свои дома так вот по-сибаритски?

Он был невысокий, стройный мужчина, этот Дюрок; из-за прорехи на штанах его поношенная коричневая одежда выглядела еще более жалкой. Голова была покрыта меховой шапочкой, прямые черные волосы прядями свисали на скулы и шею, бледное лицо напоминало волчью морду, челюсть выдавалась вперед и заканчивалась квадратным узким подбородком; бдительные, быстро бегающие глаза были близко посажены и похожи на крысиные глазки-бусинки, а тонкие губы сейчас, пока он рассматривал окружавшую его роскошь, искривлены презрительной усмешкой.

Но в такой — созерцательной — позе Дюрок простоял всего несколько мгновений. Он явился сюда не для философствования, а для достижения определенной цели, и потому сразу же занялся делом. Подхватив свой фонарь, он подошел к высокому секретеру, во времена Людовика XIV являвшемуся настоящей жемчужиной, выданной на-гора одним из искусных придворных мастеров-отделочников. Поставив фонарь на этот изящный предмет мебели, Дюрок вытащил из кармана связку отмычек, крепко сжимая их в руке, чтобы не гремели. Затем наклонился, чтобы осмотреть замок, но почти в тот же миг распрямился и замер, напрягшись от ощущения внезапной тревоги.

Кто-то постучал в парадную дверь, и эхо этого стука разнеслось по всему безмолвному дому.

Скривив губы, Дюрок беззвучно выругался.

---

[1] *Консоль* — здесь: предмет мебели — неширокий несимметричный столик, прилегающий одной стороной к стене.

Стук повторился, уже более настойчивый. До прислушивающегося Дюрока донесся звук открываемого окна. Он услышал голоса, один, шедший сверху, другой, отвечавший с улицы, и догадался, что проснувшийся Клерво, прежде чем спуститься и открыть, спрашивает у полуночного посетителя, зачем тот явился.

Может, хозяин и не спустится, подумал Дюрок, может, отделается от незваного гостя. Но эта надежда вскоре угасла. Окно снова со скрежетом опустилось, и мгновение спустя послышалось шарканье ног в шлепанцах, спускающихся по лестнице и направляющихся по коридору к двери. Заскрежетал ключ, звякнула цепочка — этот Клерво превратил свое жилище в настоящую Бастилию, затем в коридоре зазвучали голоса. Парадная дверь с мягким стуком захлопнулась. Шаги и голоса приближались к той комнате, в которой все так же неподвижно, весь обратившись в слух, стоял Дюрок.

Наконец он зашевелился, понимая, что, дабы не попасться, нельзя терять ни секунды. Повернувшись к двери спиной, схватил фонарь и прижал к груди, чтобы, по-прежнему подсвечивая ему спереди, лучи не падали назад, что могло бы выдать его. Затем в три широких шага достиг окна, укрылся за тяжелыми бархатными шторами и лишь тогда наконец погасил свет.

Спустя мгновение дверь открылась, и, в общем-то, если бы Клерво, вошедший со свечой в руке, в ночном колпаке и стеганом халате, бросил внимательный взгляд на занавески, он бы заметил, что те всё еще колышутся. За хозяином дома шел высокий молодой человек в длинном черном рединготе и конической шляпе с круглой трехцветной кокардой, подчеркивавшей патриотические чувства ее владельца. Под мышкой он держал хлыст для верховой езды, который вполне мог бы сойти и за весьма грозное оружие нападения, о чем свидетельствовал его круглый, украшенный насечками из серебра набалдашник из плетеной кожи. Он положил хлыст на стол рядом со своей шляпой, и глухой стук, с которым тот опустился на деревянную поверхность, только подтвердил его тяжесть.

Гражданин депутат, невысокий, плотного сложения мужчина, чье орлиное лицо было не лишено некоторого сходства с лицом полуночного гостя, опустился в обитое голубым шелком позолоченное кресло, рядом с секретером, который всего минуту назад был объектом внимания Дюрока. Закинув одну ногу на другую, он прикрыл бедра полами стеганого халата.

— Ну, Гюстав? — произнес он резким, требовательным голосом. — Что еще за важное сообщение привело тебя сюда в столь поздний час?

Человек в рединготе неторопливо подошел к камину, повернулся спиной к надкаминному резному украшению и часам из золоченой бронзы, как водится, с купидонами, работы Дебюро и посмотрел на народного избранника с улыбкой, больше походившей на презрительную усмешку.

— Признайся, кузен, — сказал он, — будь твоя совесть спокойна, ты бы не решился впустить меня. Но ты ведь живешь в страхе перед собственными злодеяниями, когда над головой, словно дамоклов меч, висит лезвие гильо-

тины, и, сколь бы ни был гость неприятен тебе сам по себе, ты не смеешь отказать никому, ибо от любого может прийти предупреждение об опасности. — Гюстав раздраженно рассмеялся.

— Черт подери, — проворчал депутат, — может, уже скажешь, что привело тебя ко мне, и без вот этих длинных преамбул?

— Что, не нравятся преамбулы? А еще народный избранник!.. Даже как-то странно! Но если вкратце, Этьен, я подумываю о том, чтобы эмигрировать.

Тут уже и депутат, в свою очередь, усмехнулся.

— Прекрасная новость! Ради такой даже стоило проснуться в полночь. Конечно же, эмигрируй, мой дорогой Гюстав, уезжай во что бы то ни стало. Франция будет счастлива избавиться от тебя.

— А ты? — спросил Гюстав.

— И я в не меньшей степени, — Клерво сардонически ухмыльнулся.

— Вот как!.. — пробормотал его кузен. — Превосходно. В таком случае ты, без сомнения, будешь готов заплатить за эту привилегию, ибо для осуществления моего плана потребуется твоя помощь, Этьен. Я сейчас гол, как сокóл.

— Жаль это слышать, искренне жаль, — в голосе депутата прозвучало сочувствие, к которому, впрочем, примешивалась легкая нотка сарказма. — Но и я в этом отношении мало чем от тебя отличаюсь. Да и чего еще ожидать от члена Национального собрания? Ты же не думал, что представитель благословенного народа — проповедник Свободы, Равенства и Братства — может иметь в своем распоряжении кучу денег? Ах, мой славный кузен, уверяю тебя: все, чем я обладал, было принесено в жертву на священный алтарь нации.

Взглянув на него, Гюстав поджал губы.

— Тебе лучше приберечь пафос для Национального собрания, — сказал он. — С трибуны это, может, прозвучит и убедительно. Здесь же, — он обвел рукой окружающую его роскошь, — оказывается весьма похожим на неприкрытую ложь.

Депутат вскочил с чувством оскорбленного достоинства, его брови нахмурились.

— Это ты — мне? — спросил он.

— Почему бы и нет? Успокойся, Этьен, успокойся. Я не дитя малое и не дурак. Ты человек состоятельный, это известно каждому, и в одно прекрасное утро и сам сможешь в этом убедиться. Мы живем в дни братства, и я твой двоюродный брат...

— Вон из моего дома! — гневно прервал его депутат. — Выметайся отсюда сию же минуту!

Гюстав окинул его спокойным взглядом.

— Мне что, пойти и рассказать Национальному собранию все то, что я о тебе знаю? Донести на тебя в Комитет общественного спасения как на человека, представляющего опасность для нации? Сказать им, что мой дорогой родственничек тайно действует как агент эмигрантов, которые замышляют свержение священной республики?

Лицо Клерво стало мертвенно-бледным, зрачки вылезли из орбит. Лишь усилием воли ему удалось взять себя в руки.

— Да можешь доносить куда тебе вздумается, — ответил он прерывающимся голосом. — Клянусь само́ю благословенной Гильотиной, если чья-то голова и полетит в корзину, то, несомненно, не моя, а твоя. Глупец, неужели ты действительно полагаешь, что донос какого-то ничтожества, коим ты и являешься, сможет разрушить репутацию такого человека, как я? Думал напугать меня своими угрозами? Это так-то ты надеялся добиться от меня помощи?

— Если бы не вышло по добру по здоро́ву! — вспыхнул Гюстав.

— Вон из моего дома! Ступай, обличай меня! Проваливай к дьяволу! Но чтобы ноги твоей здесь больше не было!

— Осторожно, Этьен! — Гюстав тяжело дышал, глаза его пылали гневом — гневом озадаченного человека. — Я в отчаянии, стою на грани разорения. Мне нужна всего лишь тысяча франков...

— Ты не получишь от меня даже тысячи су — вообще ни единого су! Выметайся отсюда! — и Клерво начал надвигаться на кузена с угрожающим видом. — Вон, я сказал! — с этими словами он схватил его за лацканы редингота.

— Не смей ко мне прикасаться! — вскричал Гюстав, внезапно повышая голос.

Но разъяренный народный избранник его уже не слышал: усилив хватку, он начал подталкивать двоюродного братца к двери. Гюстав протянул руку к столу, на котором лежали его шляпа и хлыст, и пальцы сомкнулись на этом мерзком инструменте для управления лошадьми. Остальное произошло почти до того, как он осознал, что творит: негодяй действовал слепо, в порыве внезапно охватившей его ярости. Вывернувшись из рук Клерво, Гюстав отступил назад, держа хлыст за тонкий конец, взмахнул и со свистом опустил другую, утяжеленную часть на покрытую ночным колпаком голову депутата.

Раздался ужасный звук, похожий на хруст яичной скорлупы, — и в следующий миг сраженный ударом Клерво уже лежал на полу дрожащей, подергивающейся массой, в то время как цвет этого ночного чепца медленно менялся с белого на малиновый под пристальным взглядом убийцы.

Склонившись над упавшим, Гюстав застыл в неподвижной позе секунд, наверное, на десять — двенадцать. Лицо его словно налилось свинцом, рот глупо приоткрылся от удивления и растерянности: он только теперь осознал, что именно натворил.

Ни один звук не нарушил покой дома: упавший не застонал, теперь уже даже не шевелился. Не было слышно ничего, кроме приглушенного тиканья часов из золоченой бронзы и жужжания потревоженной мухи. Гюстав по-прежнему стоял в той же полусогнутой позе, с каждым биением пульса его охватывал все более и более жуткий ужас. И тут вдруг тишину проре́зал чей-то голос, спросивший:

— Ну, и что ты намерен делать теперь?

Гюстав распрямился, едва сдержав вопль испуга, и увидел перед собой бледное лицо и глубокие, крысиные глаза-бусинки Дюрока, который изучающе смотрел на него из-за раздвинутых занавесок.

В комнате воцарилась продолжительная тишина. Мозг тупо уставившегося на незнакомца Гюстава напряженно работал.

— Кто ты? — спросил он наконец хриплым шепотом. — Как сюда попал? И с какой целью? А, понимаю, ты — вор... взломщик!

— По крайней мере, — сухо ответил Дюрок, — я не убийца.

— Боже! — воскликнул Гюстав и снова обратил обезумевший взгляд на трагически гротескную массу, лежавшую у его ног. — Он... он мертв?

— Если только его череп сделан не из железа, — сказал Дюрок. Он прошел вперед в своей обычной быстрой, бесшумной манере и, опустившись рядом с депутатом на одно колено, произвел беглый осмотр тела. — Гражданин народный избранник представляет собой труп, — заявил он. — Он не менее мертв, чем король Капет. И что же ты теперь намерен делать? — снова спросил он, распрямившись.

— Делать? — переспросил Гюстав. — Mon Dieu! А что теперь можно сделать? Если он мертв... — Невольный убийца осекся. Его явно плутовской ум заработал вовсю. Он посмотрел в круглые черные глаза незнакомца. — Что до тебя, то ты меня не сдашь, — воскликнул он. — Не осмелишься, ибо находишься не в лучшем положении, чем я сам. А больше в доме никого нет. Кузен жил совсем один. Он был скупым псом, и старуха, которая ему прислуживает, явится только утром.

Дюрок пристально наблюдал за ним, хотя и казалось, что смотрит в другую сторону. Он увидел, как пальцы убийцы вдруг сомкнулись на налитом свинцом хлысте, с помощью которого он уже переправил в эту ночь через Стикс одного человека.

— Брось-ка эту штуковину, — резко приказал он. — Брось сию же секунду, или отправишься вслед за кузеном, — и Гюстав увидел направленный на него пистолет.

Он тут же разжал хватку, и смертоносное орудие с грохотом упало на пол рядом с телом убитого им человека.

— Да у меня и в мыслях не было ничего дурного, — пробормотал Гюстав, тяжело дыша. — Знаешь, сколько денег и украшений он хранит в этих столиках, в этом секретере? Конечно же, знаешь, потому что именно за этим ты и пришел. Что ж, забирай это все, но только отпусти меня, позволь мне уйти. Я... я... — Казалось, он вот-вот задохнется от ужаса.

Безгубый рот Дюрока растянулся в улыбке.

— А что, я тебя держу? — спросил он. — Право, ты же не думал, что я потащу тебя в ближайшую кордегардию? Хочешь уйти — уходи. На твоем месте я бы давно уже унес отсюда ноги.

Гюстав уставился на него чуть ли не с недоверием, словно сомневаясь в своей удаче. Затем, вдруг поняв, какие мотивы движут его собеседником

и не желая для себя ничего лучшего, чем уйти, повернулся и без единого слова выбежал из комнаты и из дома, терзаемый лишь одной мыслью: умчаться от места своего преступления как можно дальше.

Дюрок наблюдал за этим внезапным паническим бегством со все той же улыбкой на устах. Затем хладнокровно пересек комнату, взял свечу покойника и поставил на секретер. Придвинул стул — теперь уже не было необходимости соблюдать осторожность, — сел и, достав ключи и некий инструмент, похожий на долото, усердно принялся за работу, желая как можно скорее добраться до содержимого этого секретера.

Тем временем Гюстав, движимый страхом перед последствиями своего поступка, молниеносно преодолел почти всю улицу Арфы. Он был уже метрах в двадцати от пересечения с улицей Кордельеров[1], когда его вдруг остановила размеренная поступь приближающихся шагов. Гюстав сразу же понял: это патруль, и, прекрасно осознавая свое преступление, естественно, испугался встречи с этими служителями закона, которые вполне могли остановить его и поинтересоваться, откуда он идет и куда направляется в этот час ночи, — ибо новая власть всеобщей свободы наложила суровые ограничения на свободу индивидуальную.

Он нырнул во мрак дверного проема и присел там на корточки, решив дождаться, пока эти шаги не затихнут вдали. Тогда-то, в те самые мгновенья, пока он сидел там в полуприсяде, тяжело дыша, ему и пришла в голову дьявольски порочная мысль. Он прокрутил ее в голове, и в полумраке случайный наблюдатель, возможно, заметил бы, как сверкнули его зубы, когда он злобно улыбнулся сам себе.

Он был наследником своего кузена. Если бы только было возможно возложить вину за это убийство на воришку, которого он так бессердечно оставил за работой в той самой комнате, где лежал труп, — и всем его бедам пришел бы конец. Да и вор, будучи преступником, заслуживал не меньшего. Гюстав ничуть не сомневался в том, что этот тип без колебаний совершил бы убийство, вынуди его к этому обстоятельства. Поразмыслив еще немного, он понял, сколь удачно подготовлена сцена для задуманной им комедии, — ведь этот придурок сам заставил его бросить на пол хлыст, размозживший череп депутата!

В цепочке неопровержимых улик против вора не было пропущено ни одного звена. Гюстав понял: это шанс, посланный ему благосклонной фортуной. Завтра будет слишком поздно. Разыскивая убийцу кузена, власти неизбежно придут к выводу, что он — единственный, кому была выгодна смерть депутата, и, выяснив это, попросят его дать отчет о своих передвижениях в эту ночь. Ему устроят перекрестный допрос, будут пытаться запутать, когда увидят, что он не в состоянии представить твердое алиби.

---

[1] *Кордельерами* (фр. les Cordeliers) называли монахов-францисканцев, которые, будучи одетыми очень просто, носили в качестве пояса простой шнур (фр. corde).

Нужно действовать, и немедленно, твердо сказал себе Гюстав. С того момента, как он покинул этот дом, не прошло еще и трех минут, и вряд ли за это время вор успел сделать свое гнусное дело и скрыться.

Мгновенно приняв решение, он выскочил из своего укрытия и побежал к углу улицы Кордельеров, навстречу приближающемуся патрулю, крича на ходу:

— Au voleur! Au voleur![1]

Он услышал, как в ответ на его крик патруль ускорил шаги, и вскоре очутился лицом к лицу с четырьмя солдатами национальной гвардии, которых сопровождал агент секции[2] в гражданской одежде и трехцветной перевязи.

— Вон там, внизу, — воскликнул Гюстав, указывая в дальний конец улицы, — в дом моего кузена, гражданина депутата Клерво, пробрался вор.

Он знал, что заявление о родстве с одним из лидеров Конвента придаст делу особую значимость.

Но агент секции начал с того, что спросил:

— Почему вы не последовали за ним, гражданин, раз видели его?

— У меня нет оружия, а он, как я полагал, наверняка вооружен. Да и потом, до меня донеслись издалека звуки ваших шагов, вот я и решил, что лучше будет сбегать и позвать вас, — так будет больше шансов схватить его.

Агент окинул взглядом самого Гюстава, его бледное лицо, хорошо просматриваемое в свете фонаря, который нес один из патрульных, не упустил из виду его трясущиеся руки и прерывистую речь, и, заключив, что имеет дело с отъявленным трусом, даже не потрудился скрыть своего презрения.

— Черт подери! — проворчал он. — А тем временем гражданин депутат, возможно, был убит в своей постели.

— О! Только не это, только не это! — заверещал Гюстав. — Скорее, граждане, скорее! Пока мы стоим здесь, могут случиться ужасные вещи.

Они бегом направились вниз по улице к дому Клерво, дверь которого нашли открытой, какой Гюстав и оставил ее, уходя.

— Как он проник внутрь? — спросил один из патрульных.

— Через дверь, — сказал Гюстав. — Думаю, у него были ключи. О, скорее же, скорее!

Еще из передней он заметил слабые отблески света, убедившие его в том, что воришка все еще за работой. Резко повернувшись, он поднял руку. — Тихо! — прошептал он. — Тихо! Иначе мы его вспугнем!

Патруль устремился вперед и вошел в дом вслед за ним. Гюстав подвел солдат прямо к полуоткрытой двери кабинета, из которого, словно специально

[1] Вор! Там вор! (фр.)

[2] Для более быстрого и эффективного выявления «врагов народа» и осуществления правосудия революционный трибунал был разделен на несколько *секций*.

указывая им дорогу, лился свет, широко распахнул эту дверь и вошел, в то время как пятеро мужчин, толпившиеся за ним, резко остановились на пороге в полнейшем изумлении от увиденного.

У их ног лежало тело гражданина депутата Клерво в одежде, которая сама по себе, казалось, свидетельствовала о том, сколь поспешно он поднялся из постели, чтобы выйти и разобраться с этим незваным полуночным гостем; а рядом с уже открытым секретером — ящики его были выдвинуты, содержимое разбросано по полу, — сидел белолицый Дюрок и спокойно взирал на них своими крысиными глазами-бусинками.

При виде тела кузена Гюстав разразился жалобными причитаниями.

— Опоздали! Боже! Мы опоздали! Он мертв... мертв. И смотрите-ка! Вот и убившее его оружие. А там сидит убийца — пойманный на месте преступления, — пойманный с поличным. Хватайте, вяжите его! Негодяй, мерзавец! — бушевал он, потрясая кулаком перед побелевшим, испуганным лицом вора. — Ты за это заплатишь!

— Комедиант! — коротко бросил Дюрок.

— Хватайте! Вяжите его! — снова вскричал Гюстав в бешенстве.

Патрульные кинулись на Дюрока и заломали ему руки, дабы не позволить прибегнуть к какому-либо оружию.

Дюрок посмотрел на них прищуренными глазами, затем перевел взгляд на Гюстава и вдруг рассмеялся.

— Что можно сказать о том, кто не изволил воспользоваться предоставленной ему возможностью? — проворчал он. — Только одно: он непроходимый глупец. После того, как этот негодяй забил своего кузена до смерти, я велел ему убираться. Он мог бы благополучно сбежать, и я бы не выдал его, не сказал бы ни слова. Вместо этого ему вздумалось сделать меня козлом отпущения.

Поведя плечами, он чуть высвободился из-под хватки патрульных. Затем распахнул пальто и продемонстрировал круглый, размером с пятифранковую монету, свинцовый диск с гербом республики.

Державшие его руки мгновенно разжались.

Агент секции, нахмурившись, шагнул вперед.

— Что это значит? — спросил он, но почти уважительным тоном, ибо понял, что перед ним — офицер секретной службы республики, которого можно задержать разве что на свой страх и риск.

— Я — Дюрок из Комитета общественного спасения, — последовал спокойный ответ. — У исполнительной власти имелись основания полагать, что гражданин депутат Клерво состоит в переписке с врагами Франции. Я тайно проник сюда, для того чтобы ознакомиться с бумагами и выяснить имена его корреспондентов. Вот то, что я искал, — он поднял небольшую стопку документов, которую уже успел отделить от других. — Спокойной вам ночи, граждане. Я должен сейчас же доложить обо всем гражданину депутату Марату. Раз уж этот типчик вернулся, отведите его

в Люксембургский дворец[1]. Пусть завтра с ним разбирается комитет секции. Я направлю туда подробный рапорт.

Стряхнув с себя на какой-то миг сковавшее его оцепенение, Гюстав бросился было к двери, но патрульные уже встали на его пути и в мгновение ока скрутили мерзавца, в то время как Дюрок из Комитета общественного спасения с достоинством, несмотря на порванные штаны, вышел из комнаты.

[1] В годы Великой французской революции в отобранном у королевской семьи *Люксембургском дворце* располагалась тюрьма.

ЖЕНИТЬБА КОРБИНЬИ

За широкой решеткой, образовывавшей верхнюю часть тяжелых деревянных дверей в конце галереи, задвигались неясные тени. У тех несчастных, которые находились ближе других к выходу, — а все они видели и знали, что за этим последует, — перехватило дыхание. По группам, собравшимся на этой длинной узкой аллее рока, пробежала волна дурного предчувствия, заставившая всех замолчать.

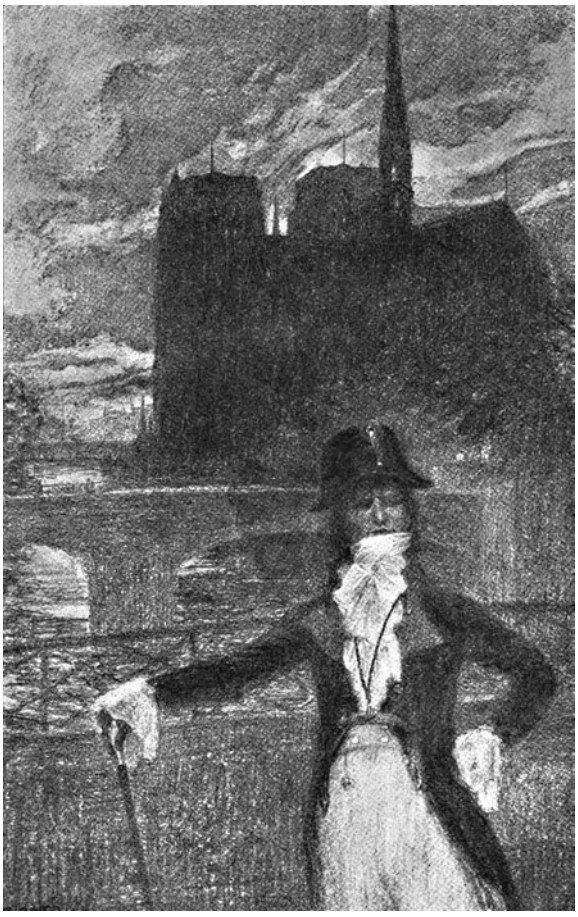
В наступившей тишине скрежет ключа в замке прозвучал пистолетным выстрелом. Одна из створок большой тяжелой двери распахнулась внутрь, и, сопровождаемый огромным псом песчано-желтого окраса, вошел мускулистый, смуглолицый надсмотрщик: голубая рубаха распахнута на широкой волосатой груди, на коротко стриженной голове — меховая шапочка. На каменной площадке, откуда начинались ступени вниз, он чуть посторонился, пропуская стройного юношу в облегающем черном сюртуке и круглой черной шляпе, украшенной спереди пряжкой, а сбоку кокардой. Бумага, которую тот держал в руке, сразу же привлекла взгляды — испуганные, апатичные, надменно-безразличные, вызывающе-презрительные — сотни мужчин и женщин, каждое утро собиравшихся там с одной-единственной целью: ознакомиться с содержанием сего листка, ибо этот стройный юноша, Робер Вольф, секретарь революционного трибунала, был помощником общественного обвинителя, а в документе содержался список имен, над составлением которого Фукье-Тенвиль трудился бóльшую часть ночи.

Гражданин Вольф быстро подошел к краю площадки, чтобы зачитать имена тех, кого Фукье-Тенвиль вызывал в то утро на заседание трибунала, или, как это называлось на циничном жаргоне того времени, в fournaise[1].

Заняв свою позицию, секретарь дождался, пока остановятся трое неспешно следовавших за ним мужчин. Двое из них, мужчины средних лет, оба во всем черном, один — высокий и дородный, другой — низенький и худой, шли на почтительно-приличествующем расстоянии за третьим, который, складывалось впечатление, и привел их сюда.

Это был Шовиньер, депутат Конвента от департамента Ньевр, высокий и стройный мужчина лет тридцати, нелишенный мужественной элегантности.

[1] Печь, горнило; пекло (фр.)



Это был Шовиньер, депутат Конвента от департамента Ньевр, высокий и стройный мужчина, нелишенный мужественной элегантности... Во всем облике депутата ощущалась какая-то развязность, выдававшая в нем наполовину джентльмена, наполовину лакея...

На нем был редингот с широкими лацканами и серебряными пуговицами, фалды которого доходили почти до голенищ гессенских сапог. Безукоризненно чистые штаны из оленьей кожи обтягивали длинные стройные ноги так плотно, что был заметен каждый мускул, а безупречно белый галстук закрывал шею до подбородка. Он был подпоясан трехцветным кушаком, а серая шляпа, которую сей франт носил на манер Генриха IV, заломив набекрень, была украшена трехцветной кокардой и увенчана щегольским черным panache[1]. Таким образом Шовиньер подчеркивал свою должность и свое

[1] Плюмаж — перьевая опушка на головном уборе (фр.)

санкюлотство — столь высокую и столь полной мере доказанное, что депутата ничуть не трогали какие-либо насмешки над нарядом; присущие ему высокомерие, дерзость и самоуверенность сами по себе служили наилучшей защитой от вульгарной критики. Эти качества можно было прочесть на его худощавом желтоватом лице с высокой переносицей, вздернутой верхней губой и проницательными светлыми глазами под ровными черными бровями. Во всем облике депутата ощущалась какая-то развязность, выдававшая в нем наполовину джентльмена, наполовину лакея; наполовину волка, наполовину лисицу.

Не считаясь ни с уже приготовившимся зачитывать список секретарем, ни с замершей в мучительном ожидании сотней заключенных, Шовиньер неспешно пересек площадку и, выбирая наиболее выгодное для обзора место неподалеку от Робера Вольфа, спустился на одну ступеньку ниже, в результате чего люди в черном, последовавшие за ним, получили возможность наблюдать за происходящим с вершины платформы, откуда открывался прекрасный вид поверх его головы.

Проницательный взгляд депутата прошелся по галерее, осматривая мужчин и женщин в этой толпе, большинство из которых были одеты так тщательно, что, если бы не отсутствие пудры на головах, можно было предположить, что они собрались на утреннюю церемонию выхода короля к придворным, — просто чудо, что заключенным в Консьержери удавалось выглядеть столь опрятно и аккуратно при заведомо скудных ресурсах!

Наконец испытующий взгляд депутата остановился на стройной фигуре мадемуазель де Монсорбье, стоявшей рядом со стулом, на который безвольно рухнула ее мать. Невероятно бесстрашная и решительная, она стояла совершенно неподвижно, почти не утратив румянца на своем хорошеньком личике, но, встретившись со взглядом депутата, ее сине-зеленые глаза слегка расширились и сверкнули, а изящная грудь чуть приподнялась под треугольником лежавшего на ней муслинового фишю, выдав внезапное волнение, которое ранее не смогло пробудить даже появление секретаря со списком.

Шовиньер вполоборота повернулся к людям в черном, стоявшим у него за спиной, что-то тихо сказал в подобострастно опущенное ухо одного из них и демонстративно указал на кого-то своей тростью с серебряным набалдашником. Три пары глаз проследили за направлением жеста, и мадемуазель де Монсорбье застыла под этим тройным взглядом, о значении которого девушка и близко не догадывалась, но инстинктивно чувствовала, что он не предвещает ей ничего хорошего.

Затем указующая трость опустилась, и трое мужчин чинно выстроились в ряд, в то время как Робер Вольф начал зачитывать имена обреченных. Голос его звучал совершенно бесстрастно. Как и сам Фукье-Тенвиль, он был всего-навсего винтиком в огромной революционной машине. За происходящее Вольф не нес ни малейшей личной ответственности, и не ему было потакать чувствам

Мадам де Монсорбье полупривстала со стула,
и из груди ее вырвался нечленораздельный крик...
Затем ноги ее подогнулись, она снова опустилась на стул
и прислонилась плечом к дочери.

и эмоциям, вызванным отнюдь не его собственными действиями. В ответ на каждое произнесенное имя раздавался то вздох, то всхлип ужаса, иногда вопль истерической паники, быстро переходящий в судорожные рыдания избранной жертвы.

Голос продолжал неумолимо гудеть, но так сладко, как если бы это было жужжание производящих мед пчел:

— Ci-devant маркиз де ла Туретт.

Маркиз, средних лет щеголь в голубом сюртуке с серебристыми галунами, вскинул красивую голову, которой вскоре предстояло слететь с его плеч, и у него резко перехватило дыхание. Впрочем, уже в следующий миг он снова овладел собой, вспомнив все то, чем был обязан своему происхождению и достоинству. Пожав плечами, Ла Туретт выдавил из себя осуждающую улыбку, однако лицо его было белее мела.

— А вот это, пожалуй, нарушит однообразие сей процедуры, — тихо сказал он соседу, когда было названо следующее имя.

— Ci-devant графиня де Монсорбье.

Мадам де Монсорбье, маленькая стройная женщина лет пятидесяти, полупривстала со стула, и из груди ее вырвался нечленораздельный крик, от которого графиня едва не поперхнулась. Затем ноги ее подогнулись, она снова опустилась на стул и прислонилась плечом к дочери. Мадемуазель де Монсорбье, теперь вся напрягшаяся и жутко бледная, обняла свою находящуюся в полуобмороке матушку и продолжила прислушиваться к монотонно произносимым секретарем именам, в порыве самоотречения почти надеясь услышать собственное имя. В этот миг она осознавала только одно: агонизирующая хрупкая женщина, произведшая ее на свет, сейчас нуждается в ней так, как никогда еще не нуждалась. Забота о матери вытеснила все мысли о собственной судьбе. Такова была натура мадемуазель де Монсорбье, и глубочайшее смятение проявилось, лишь когда список подошел к концу, а ее имя так и не прозвучало.

Перед ней, словно выросшие из-под земли, внезапно возникли два жандарма.

— Ci-devant Монсорбье, — сказал один из них, опустив руку на поникшее плечо мадам.

Мадемуазель де Монсорбье резко повернулась к нему, не в силах более справляться с чувствами и связно выражать терзавшие ее мысли.

— Но это же моя мать! Должно быть, здесь какая-то ошибка. Я не могу отпустить ее одну: вы же и сами видите, как она слаба. Мое имя не было названо. Это досадное упущение, сами же видите! О, скажите же им!.. Позвольте мне пойти с ней!

Фразы одна за другой слетали с ее губ таким вот сбивчивым потоком.

Выпятив нижнюю губу, один из жандармов посмотрел на нее угрюмо, с сомнением, затем покачал головой.

— Нас это не касается, — он встряхнул графиню, пребывавшую в полубессознательном состоянии, за плечо. — Идемте, citoyenne[1].

— Но я могу пойти с ней? Я могу пойти с ней?

— Ах, полноте! И чего вам так не терпится чихнуть в корзину[2]? Ваш черед не за горами, гражданка. Помоги-ка, Гастон.

Вдвоем мужчины подняли графиню на ноги и скорее даже не повели, а потащили к выходу. Девушка бросилась за ними.

— Но я же тоже могу пойти с вами, правда? Я же могу...

От удара локтем в живот у нее перехватило дыхание; согнувшись вдвое, она отлетела назад.

— Право, ты мне уже надоела, девчонка!

Мадемуазель пошатываясь добрела до деревянного стула, который еще пару минут назад занимала графиня.

— Мама! — пробормотала она. — Мама!

---

[1] Гражданка (фр.)

[2] То есть попасть на гильотину; оказаться казненным, обезглавленным: после казни отрубленную голову бросали в корзину.

— Вы слышите ее, граждане доктора? Разве у человека, находящегося в здравом уме и рассудке, может возникнуть подобная просьба?

Белая как мел, бедняжка рухнула на стул и так и застыла на нем, зажав длинные изящные руки между коленями. Не в силах даже заплакать, в своем горе она была похожа на каменное изваяние.

Точно так же месяц тому назад утащили на суд ее отца, и с тех пор она оставалась для матери единственной опорой и утешением. Теперь настал черед матушки! Но почему саму ее оставили здесь?

Рядом чей-то голос, твердый, ровный и не сказать чтобы неприятный, хотя и слегка ироничный, произнес:

— Вот та молодая женщина, граждане, на которую следует обратить внимание. Видите, как она апатична, неестественно бледна, смотрит отсутствующим, пустым взглядом? Делайте, что должны. Не мне указывать вам, или даже строить предположения, — предоставляю обо всем судить вам самим.

Резко обернувшись, девушка вскинула голову. Вызов, непокорность, тревога — все смешалось в ее взгляде, походившем на взгляд какого-нибудь

угодившего в ловушку дикого животного. Светлые глаза Шовиньера смотрели на нее насмешливо-изучающе, и она, за всю свою гордую молодую жизнь никогда ничего не боявшаяся, вдруг снова ощутила необъяснимую ненависть, возможно, даже страх. За последние три недели ей с полдюжины раз доводилось ловить на себе этот испытующий, бездушно оценивающий взгляд, обжигавший ее с головы до ног. Уже дважды он находил случай заговорить с ней во время своих визитов в галерею, единственная цель которых, казалось бы, и состояла в том, чтобы обратиться к ней, но всякий раз ей удавалось совладать с охватывавшим ее негодованием из-за того оскорбления, которое выражали его взгляд и слова. Вот и теперь она заставила себя сдержать чувства. Мучитель никогда не должен догадаться о ее страхе перед ним, этом постыдном страхе, за который она себя ненавидела.

Двое мужчин в черном окинули девушку серьезным, пристальным взглядом. Потом тот, что был повыше, протянул пухлую руку и взял ее за запястье.

— Ваш пульс, citoyenne.

— Мой пульс? — услышала она свой собственный голос, но шедший словно издалека, и по бешеному стуку в висках поняла, что пульс ее в этот момент ускорился. Но тут над мыслями о себе самой на какой-то миг возобладало нахлынувшее воспоминание о понесенной тяжелой утрате. — О, месье... гражданин, гражданин депутат! Мою мать только что увели, а меня, по какому-то упущению, оставили. Умоляю вас, месье, распорядитесь включить мое имя в список тех, кто подлежит сегодня суду.

— Ха! — произнес Шовиньер с такой выразительностью, что девушка внезапно умолкла. Затем, многозначительно приподняв темные брови, депутат посмотрел на людей в черном. — Вы слышите ее, граждане доктора? Разве у человека, находящегося в здравом уме и рассудке, может возникнуть подобная просьба? Мыслимо ли желать смерти, молить о ней в столь юном возрасте, когда жизнь, подобно благоухающей розе, только-только раскрывается, когда по твоим венам течет теплая и прозрачная кровь? Разве это не подтверждает мои подозрения? Впрочем, — в его светлых глазах снова мелькнула насмешка, — я не намерен навязывать вам свое мнение. Вы должны сами поставить диагноз. Приступайте!

Он взмахнул аристократически длинной и узкой рукой, и этот жест, в котором тонко сочетались приглашение и приказ, вышел у него поразительно грациозным.

Вздыхая и кряхтя, доктора засуетились вокруг мадемуазель.

— От себя хочу заявить, — сказал тот, что был пониже ростом, — что мне совсем не нравятся ее глаза. Этот дикий, затравленный взгляд, это выражение рассеянности... Хм! Хм!

— А эта ее совершенно неестественная бледность! — вставил другой. — Ну, и про пульс забывать не будем.

— Конечно, конечно, — произнес депутат холодным, как лед, (или, скорее, как нож гильотины, подумал коротышка-доктор) голосом. — Но диагноз все же поставьте сами. Однако не забывайте: я привел вас сюда, потому что мне уже приходилось замечать точно такие же признаки в поведении этой гражданки в условиях, когда внешние раздражающие факторы практически отсутствовали.

Коротышка-доктор с радостью ухватился за брошенную ему спасительную соломинку.

— Но это же в корне меняет дело! — воскликнул он с полнейшей убежденностью в голосе. — Если подобные симптомы — учащенный пульс, неестественная бледность, подрагивания рук, остекленевший взгляд и... и все прочее... проявляются постоянно и без веской причины, это может говорить лишь об одном. По крайней мере, — добавил он, бросив взгляд на коллегу, — таково мое мнение.

— Согласен с вами на все сто процентов! — категорично заявил тот.

Губы Шовиньера чуть заметно дрогнули.

— Отрадно слышать, граждане доктора, что мои — неспециалиста — подозрения нашли подтверждение у людей науки. Думаю, теперь вы сможете

дать заключение о психическом состоянии этой гражданки. Это нужно для того, чтобы общественный обвинитель разрешил перевести ее, скажем, в дом умалишенных, расположенный на Паромной улице.

Надменный, словно какой-нибудь принц времен прежнего режима, Шовиньер склонил голову в знак прощания и властным жестом спровадил врачей. Затем взгляд депутата обратился на девушку, стоявшую перед ним с абсолютно бесстрашным видом.

— То есть, по-вашему, я — сумасшедшая? — спросила она с неприкрытым вызовом в голосе.

Губы Шовиньера тронула легкая улыбка.

— Стоит ли оспаривать то, что спасет вам жизнь, вырвет вас из-под ножа гильотины? Впрочем, если вы — да еще в таком возрасте — продолжаете упорствовать в своем желании отправиться на эшафот, то являетесь не менее безумной, чем эти доктора, готовые признать вас сумасшедшей.

— Но чем вызвано, — тихо спросила она, — такое ваше желание послужить мне?

Шовиньер снова улыбнулся, и мрачное выражение его лица на мгновение смягчилось.

— Мне слабо верится, что со дня сотворения мира на этом свете жил хоть один мужчина, который в определенный момент не пожелал бы послужить какой-нибудь одной женщине, — многозначительно сказал он.

Мадемуазель де Монсорбье была воспитана в таких традициях, что сочла эти слова чуть ли не оскорблением. Она дала Шовиньеру понять это по своей ставшей вдруг напряженной позе, вздернутому подбородку, нахмуренным бровям над сине-зелеными глазами и гневному румянцу, выступившему на слегка подкрашенных щечках.

— Вы забываетесь, месье, — произнесла она таким тоном, словно отчитывала наглого конюха. — Ваша дерзость невыносима.

Если ее замечание и задело его, он ничем не выдал своей обиды, — разве что улыбка стала еще более нежной и грустной. Обладая обширными познаниями в психологии, он придерживался мнения, что тот, кто хочет получить власть над женщиной, сначала должен сам стать ее рабом.

— Вы находите меня дерзким только лишь потому, что я говорю общеизвестную правду? Разве я о чем-то прошу? Разве требую платы за свои услуги? Я в вашем полном распоряжении, citoyenne, хочу спасти вашу жизнь, потому что желание служить вам, без награды или надежды на оную, сильнее меня. Разве это называется дерзостью?

— Нет, месье. Но это просто невероятно.

— Да, это может показаться невероятным, — признал он после небольшой паузы. — Мне часто доводилось слышать нечто подобное. Но мы впустую тратим время, citoyenne. Выслушайте меня, а потом сами решайте. Вы можете и дальше не доверять мне, и вскоре тогда уж точно отправитесь на гильотину; или все же доверьтесь мне и позвольте вернуть вас к жизни. Будет так, как вы

сами того пожелаете. Я только лишь предлагаю, выбор в любом случае остается за вами. А теперь слушайте.

Депутат поспешил вкратце обрисовать ей ход дальнейших событий. Завтра ее переведут в дом умалишенных. Как только это произойдет, сам он по поручению Конвента отправится в Ньевр с инспекционной поездкой. Пропуска уже готовы, один из них выписан на имя несуществующего секретаря. Облачившись в мужскую одежду, она-то и займет это место, если, конечно, сама согласится. О своем решении мадемуазель сможет сообщить ему завтра, когда он собственной персоной явится на Паромную улицу, но он все же надеется, что она сделает мудрый выбор. В Ньевре она будет свободна, сможет держать путь куда угодно и, без сомнения, найдет убежище, ибо это ее родная провинция, возможно, даже заручится поддержкой, которая позволит ей покинуть Францию, если вдруг возникнет такое желание.

— Мы ведь оба из Ньевра, — напомнил ей Шовиньер в завершение своей небольшой речи. — Возможно, именно тот факт, что мы — земляки, и усиливает мой интерес к вам, — он бросил быстрый взгляд на дверь, затем наконец снял шляпу и низко поклонился. — Мое почтение, citoyenne.

* * *

Ближе к вечеру следующего дня Шовиньер нанес визит гражданину Дюме, средних лет врачу, заведовавшему домом умалишенных, расположенному на Паромной улице. Депутат приехал туда в дорожной карете, из которой вышел с чемоданом в руках.

Пройдя прямиком в кабинет доктора, он сразу же перешел к делу, в безапелляционной, властной манере заявив:

— Среди психически нездоровых заключенных, вверенных вашему попечению этим утром, есть некая гражданка Монсорбье, из числа ci-devants.

— Ах да! — Пухлое лицо доктора оживилось. — Ее случай... Ее случай — один из тех...

— Забудьте о ее случае. Она умерла.

— Умерла?! — Дюме выглядел ошарашенным.

— Разве не поэтому вы послали за мной?

— Послал за вами? Но я за вами не посылал.

— У вас начинает слабеть память, Дюме. К счастью для нас обоих, у меня с ней все в порядке. Вы послали за мной, чтобы я лично удостоверил кончину и свидетельство о смерти, которое вы собираетесь подписать, своей подписью. Мою собственную подпись засвидетельствует мой секретарь, он вскоре подъедет. А теперь, прошу вас, проводите меня взглянуть на тело.

Дюме смерил посетителя долгим, пристальным взглядом. Шовиньер знал о нем кое-что такое, что одно только слово отправило бы голову доктора

в корзину Сансона[1], — потому-то из всех сумасшедших домов Парижа депутат и выбрал для перевода из тюрьмы Люксембургского дворца интересовавших его якобы невменяемых заключенных в это заведение на Паромной улице. Этой опасности, впрочем, Дюме вполне мог противопоставить ту протекцию, которую ему оказывал Шовиньер, и, разумеется, непрекращающееся наполнение психбольницы, а стало быть, и его карманов. В обоих случаях, что бы ни приказал Шовиньер, Дюме вынужден был бы повиноваться.

Понимающе улыбнувшись, Дюме кивнул в знак согласия.

— Но вся ответственность... — робко начал он.

— ...ляжет на меня, поскольку именно я и заверю свидетельство. Держите язык за зубами, и к вам не возникнет ни малейших вопросов. Когда же о ваших новых подопечных вспомнят, а это произойдет не ранее чем через месяц, — вы предъявите сей документ. За давностью события обнаружить какие-либо следы подтасовки будет крайне затруднительно.

Дюме поклонился и повел его наверх. Там, отперев дверь одной из палат, он хотел было войти первым, но депутат остановил его.

— Ступайте и подождите внизу, у себя в кабинете. Так вам будет легче поклясться, что вы больше не видели пациентку живой.

— Но я должен увидеть ее. Я...

— Ошибаетесь: это совершенно необязательно. Ступайте. Не тратьте мое время впустую.

Дюме удалился. Шовиньер с чемоданом в руке вошел в палату.

Мадемуазель де Монсорбье, уже услышавшая через дверь его голос, встала, чтобы встретить посетителя. Депутат почтительно поклонился и на сей раз, поведя себя совсем не по-республикански, даже снял шляпу. Затем он поставил чемодан на стол.

— Вы приняли решение, citoyenne?

Будучи тонким психологом, Шовиньер не сомневался, что, как следует поразмыслив, любой человек ее возраста должен был прийти к одному-единственному выводу: очень тяжело добровольно умереть в двадцать лет.

— Да, месье, приняла, — ответила она со спокойным достоинством.

Словно прочитав ее мысли, депутат улыбнулся.

— И вы выбрали жизнь, — сказал он. — Что ж, это весьма мудро.

— Я этого не говорила, — его проницательность в какой-то мере ее даже встревожила.

— Нет? Я предположил это, исходя из вашего спокойствия, из того, сколь доброжелательно вы меня встретили. Было бы жаль узнать, что я ошибся.

— Мес... гражданин, если я ненароком вынудила заблуждаться, надеюсь, у вас хватит великодушия простить меня. Я... я не знаю, какими словами выразить свою признательность за вашу... за вашу доброту и заботу.

---

[1] Имеется в виду Шарль-Анри *Сансон* (1739–1806) — самый известный палач из династии Сансонов, получивший прозвище Великий Сансон. Во времена Великой французской революции он казнил сотни людей, в том числе и короля с королевой.

— Это вы всегда успеете, сейчас же у нас нет времени. — Шовиньер раскрыл саквояж. — Здесь, citoyenne, наряд, в котором вы будете путешествовать. — Он вытащил кое-что из одежды.

Она отшатнулась, лицо ее пылало.

— В этом? Вот в этом? О, это невозможно!

— Согласен, может, и несколько неудобно, но я уверен, что вы справитесь с затруднениями, когда все хорошенько рассмотрите и разберетесь, как это надевают и носят.

— Трудность вовсе не в этом. Думаю, вы прекрасно понимаете, что именно я имею в виду. Вы намеренно неверно истолковали мои слова.

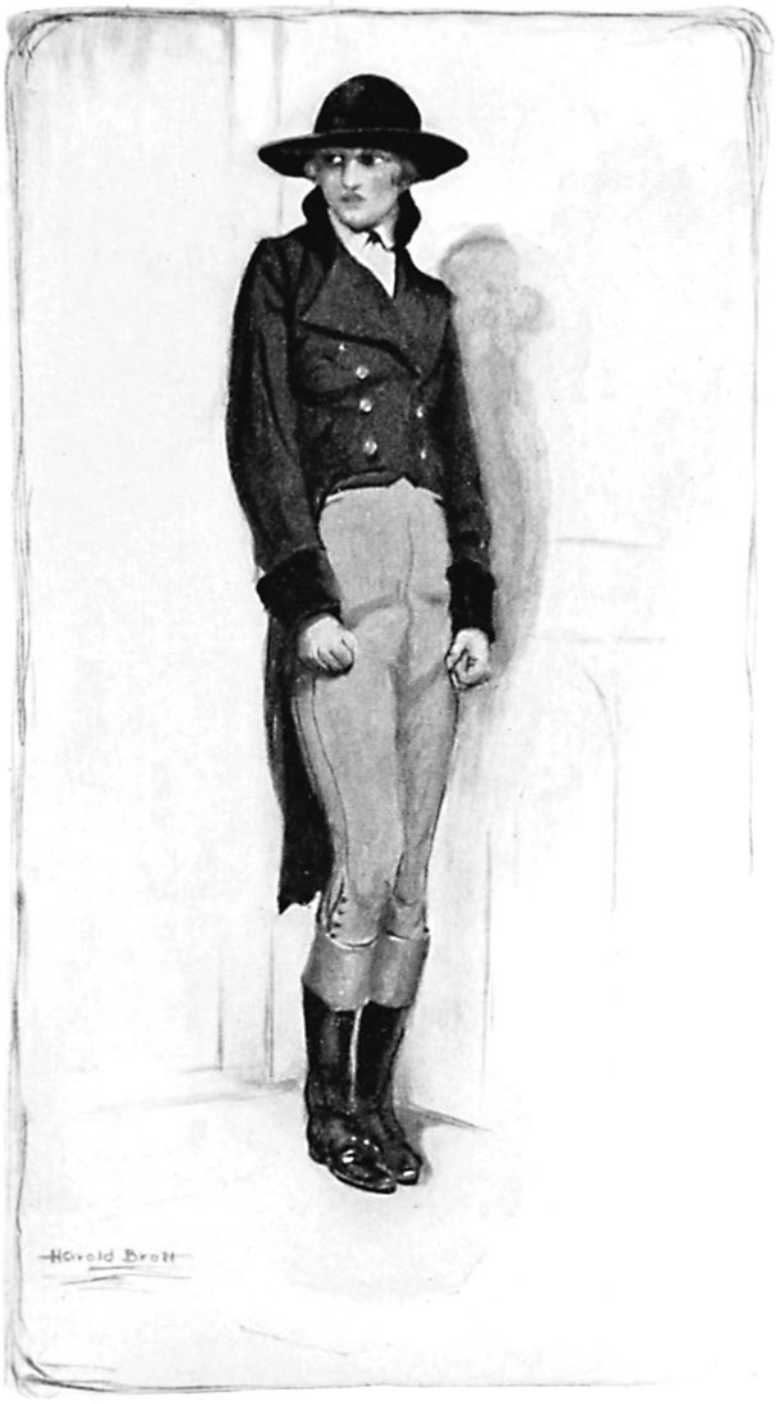
— В надежде вынудить вас осознать абсурдность ваших сомнений. Мой секретарь не может путешествовать в юбке в полоску; да и потом, эти бриджи... Впрочем, довольно! Нельзя терять ни минуты. Я удаляюсь, но попрошу вас поторопиться. Когда будете готовы, найдете меня в коридоре.

Примерно через полчаса, когда депутат уже сгорал от нетерпения, из дамской комнаты появилась изящная фигурка в круглой шляпе, черном рединготе, сапогах и бриджах. На мгновение Шовиньер задержал ее, чтобы внимательно рассмотреть взглядом, не упускавшим ни одной детали. Одетая таким образом, девушка казалась на несколько дюймов ниже ростом, но лицом она вполне могла сойти за юношу, прическа была искусно уложена, и депутат поспешил отвести ее вниз. Дюме уже ждал их с выписанным свидетельством о смерти. Покончив со всеми формальностями, член Конвента Шовиньер в сопровождении следовавшего за ним по пятам секретаря сел в ожидавшую их карету.

* * *

В течение следующих двух суток они с бешеной скоростью мчались прочь от столицы, делая лишь короткие остановки для приема пищи, отдыха и смены лошадей, и вечером второго дня въехали в Шатийон-сюр-Лэн, деревушку близ Орлеана, где Шовиньер и намеревался провести ночь. Каждый вечер депутат проявлял чрезмерную учтивость. Он позаботился о том, чтобы мадемуазель де Монсорбье получила отдельную уютную комнату, где бы она могла уединиться; говорил бойко и увлекательно, пытаясь ослепить и очаровать ее всеми, если можно так выразиться, перлами своего остроумия, и девушка немного оттаяла; действительно, сохранять холодную отчужденность в лучах такого добросердечия было просто невозможно. И все же пару раз, внезапно подняв глаза, она ловила на себе его взгляд. Взгляд этот мгновенно уходил в сторону, а волчье выражение, которое она невзначай успевала заметить на его лице, столь же мгновенно исчезало, словно прячась под маской, но воспоминание о нем сохранилось, вызывая невыразимый ужас.

Возможно, в тот вечер Шовиньер выпил слишком много и, как следствие, несколько утратил контроль над собой, ибо, когда он придержал дверь перед



На мгновение Шовиньер задержал ее,
чтобы внимательно рассмотреть взглядом, не упускавшим ни одной детали.

ее уходом и пожелал спокойной ночи, губы его растянулись в плотоядной ухмылке, а в глазах зажегся злобный огонь. Это пробудило в девушке такой страх, что, заперев дверь на засов, она бросилась на кровать даже не раздеваясь, чтобы в конце концов уснуть чутким, беспокойным сном человека, чей разум продолжает сохранять бдительность. Однако ничего такого, что могло бы оправдать ее душевную дрожь, не случилось, и, выйдя к завтраку, мадемуазель обнаружила депутата столь корректным и обходительным, что спросила себя, не стала ли она прошлым вечером жертвой собственного воображения.

Этот вопрос не давал ей покоя весь день, в то время как карета, раскачиваясь, стремительно мчалась вперед, а Шовиньер подремывал в своем углу, выказывая невежливое пренебрежение к ней. Девушка ощущала необъяснимое беспокойство и в пять часов вечера, когда их путешествие внезапно оборвалось из-за потери чеки в полумиле от Ла-Шарите, небольшой деревушки на берегу Луары, — не обладай форейтор быстрой реакцией, последствия могли оказаться и более серьезными.

Выбравшийся из экипажа Шовиньер разразился яростными ругательствами. Он рассчитывал еще к вечеру добраться до Невера[1], где хотел принять участие в заседании местного комитета общественного спасения с той целью, чтобы уже на следующий день приступить к исполнению служебных обязанностей. Теперь же он вынужден был отказаться от этого плана и, позабыв о своем недавно приобретенном сибаритстве, ночевать в какой-нибудь конуре.

Однако же, протопав с полмили по грязной дороге до Ла-Шарите, они нашли там превосходную гостиницу, где им отвели прекрасную гостиную наверху (прямо в которой, как оказалось, можно было и поужинать), причем по обе стороны от этой комнаты располагалось по спальне. Не прошло и часа, как сам трактирщик и его миловидная жена подали на стол изысканнейшие блюда, желая всячески услужить великому человеку из Парижа, оказавшему честь их бедному дому.

Уничтожая обильно нашпигованного каплуна, Шовиньер заметил своему секретарю:

— Похоже, здесь, в Ньевре, сохранилось немало аристократии.

— Вам следовало бы только радоваться этому обстоятельству, ибо сей факт позволяет вам ужинать по-королевски.

— В этом мире, как вы, возможно, уже успели понять, чем больше мы радуемся, тем больше причин находится для огорчения. Именно так Фортуна одаривает своими милостями: всегда и за все берет плату.

— Уплата долга не должна являться поводом для огорчений, — возразила мадемуазель.

Шовиньер посмотрел на нее столь пристально, столь загадочно, что все ее вчерашние страхи внезапно вернулись, и по телу пробежала мелкая дрожь.

[1] *Невер* — административный центр департамента Ньевр.

— Вы продрогли, — сказал он, и ей показалось, что по его худощавому лицу пробежала едва заметная улыбка. — Позвольте, я закрою окно.

Он встал, пересек комнату, и, пока стоял к ней спиной, возясь с задвижкой решетки, она вдруг решила положить конец этой мучившей ее неопределенности, сейчас же прояснить ситуацию.

Дождавшись, когда он вернется на свое место, она сказала:

— Вы были очень добры ко мне, гражданин, невероятно добры, — ее взгляд был устремлен на груботканую скатерть; большим и указательным пальцами она разминала небольшой шарик из мякиша. — Я должна сказать об этом, потому что пришло время поблагодарить вас — поблагодарить и распрощаться.

Мадемуазель резко подняла глаза, чтобы увидеть выражение его лица, и обнаружила, что в нем смешались подозрительность, гнев и смятение.

— Распрощаться? — переспросил депутат и нахмурился. Затем с еще бóльшим недоверием повторил: — Распрощаться?

Она поспешила объясниться:

— Мы уже в Ньевре. Это мой родной край. У меня друзья по всей провинции...

— Друзья? Какие еще друзья? — поинтересовался он таким тоном, словно готов был немедленно вынести им смертный приговор.

— Было бы нечестно по отношению к ним называть их имена, да и по отношению к вам тоже. Это может стать слишком суровым испытанием для исполнения служебного долга. Да и появись я завтра с вами в Невере средь бела дня, это тоже было бы несправедливо по отношению к моему спасителю. В конце концов, еще несколько месяцев тому назад мадемуазель де Монсорбье там прекрасно знали. Должно быть, в городе осталось немало людей, которые могут меня вспомнить. Что бы они подумали, увидев нас вместе? Вы были бы скомпрометированы, и...

— Скомпрометирован! — от его презрительного смеха задрожали оконные стекла. — И кто же в Невере осмелится скомпрометировать меня?

— Ваша беспечность ничуть меня не обманывает. — Она смерила его твердым взглядом сине-зеленых глаз. — Потому-то мы сегодня же вечером и расстанемся.

Он наклонился к ней через стол. Слегка побледневшее лицо его было крайне серьезным.

— Ну и новость, citoyenne! Говорите, сегодня же вечером? И куда вы направитесь, позвольте полюбопытствовать?

— Я не могу сказать этого, не скомпрометировав других.

Он рассмеялся.

— Да вы скомпрометируете весь Ньевр, прежде чем я вас отпущу, — прорычал он свирепым тоном, словно собака, у которой пытаются отнять кость, правда, почти тут же убрал эти слишком откровенные нотки из своего голоса и уже более спокойно добавил: — Простите мою настойчивость, citoyenne, но я не для того рисковал своей шеей, спасая вашу от гильотины, чтобы вы выбросили мой подарок из чистого своенравия. О нет! Я расстанусь с вами не раньше, чем удостоверюсь, что вы теперь в безопасности.

— Но в Париже вы сказали...

— Забудьте о том, что я сказал в Париже, — гневно проворчал он. — Думайте только о том, что я говорю здесь: я не расстанусь с вами до тех пор, пока не буду уверен, что вам больше ничто не угрожает.

Мадемуазель де Монсорбье получила желаемый ответ. Ее неопределенности, сомнениям пришел конец. Перед ней был все тот же волк, за которого она его сразу же и приняла; она же — добыча, обещанная им себе самому. Впрочем, внешне девушка никоим образом не выказала своего испуга. Ее удивление прошло, сменившись улыбкой, наиприятнейшей и нежнейшей улыбкой, какой она никогда раньше его еще не удостаивала.

— Ваше великодушие... ваше благородство лишило меня дара речи. Мне хочется плакать, гражданин, — плакать от благодарности.

— Ни слова более! — взмолился он хриплым голосом. — Вам еще предстоит узнать глубину моей преданности, узнать, на что я готов ради вас, Клеони.

Его длинная, изящная рука протянулась через стол и легла на ее руку. Пару секунд мадемуазель вроде как не обращала внимания на это прикосновение, подавляя дрожь, которая могла бы выдать ее отвращение и, ненавидя себя за двуличность, до которой ее вынудили опуститься обстоятельства; затем, вся уже пылая от стыда, что до Шотиньера, то тот истолковал этот румянец превратно, — выдавила из себя жалостливо-мечтательную улыбку, осторожно высвободила руку и встала.

— Позвольте мне удалиться, — взмолилась она. — Я... я сейчас в некотором замешательстве.

— Нет! Подождите! — депутат тоже вскочил, сгорая от нетерпения и досадуя на то, что между ними так некстати оказался стол.

— Завтра! — едва слышно простонала девушка. — Мы вернемся к этому завтра, гражданин. А сейчас позвольте мне уйти! Ах, позвольте же мне уйти!

Она едва не перегнула палку, едва не переусердствовала, изображая духовную борьбу с якобы возникшим магнетическим влиянием его персоны. С кем-то другим это и в самом деле могло бы оказаться совершенно фатальным. Но Шовиньер, искусный психолог, умел сдерживать свои порывы, знал, что великодушие — лучшее средство для достижения полной победы над женщиной. Молча, если не считать легкого вздоха, он склонился в низком поклоне, а когда распрямился, обнаружил, что остался в одиночестве. Словно призрак, девушка выскользнула в соседнюю комнату. Депутат увидел, как закрылась белая дверь, услышал, как щелкнули задвижки. Несколько мгновений он просто стоял и улыбался. Затем снова вздохнул, все еще улыбаясь, вернулся за стол и налил себе вина.

Тем временем находившаяся на грани обморока мадемуазель де Монсорбье стояла за запертой дверью, прислонившись спиной к стене и прислушиваясь к тому, что происходит в гостиной. Мало-помалу к ней вернулось самообладание, она прошла к туалетному столику и при тусклом свете единственной горящей свечи села перед зеркалом, даже не помышляя о том, чтобы лечь в постель.

Так продолжалось около получаса. Наконец она услышала звук отодвигаемого стула, шаги; судя по всему, Шовиньер расхаживал взад-вперед, словно зверь в клетке. В одно из мгновений шаги приблизились прямо к ее двери и замерли. Девушка напряглась, у нее перехватило дыхание, сердце учащенно забилось. Несколько секунд, показавшихся ей бесконечными, она ждала стука, и наконец он раздался, резкий и настойчивый, вынудив ее подняться на ноги.

Каким-то чудом ей все же удалось сохранить спокойствие в голосе.

— Кто там? — спросила она.

— Это я, citoyenne. Шовиньер.

— Что вам угодно, гражданин?

Он ответил не сразу, лишь после продолжительной паузы:

— Просто хотел предупредить вас, что мы выедем очень рано. Карета будет готова к пяти часам.

— Я буду пунктуальна, гражданин. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, citoyenne.

Его шаги удалились. Она услышала, как он прошел в свою комнату, и за ним закрылась дверь. Наконец-то она смогла перевести дух, но в голове по-прежнему сохранялся сумбур. Намеренно ли он пытался напугать ее, исключительно для того, чтобы показать: все ее страхи напрасны, и тем самым внушить ей чувство ложной безопасности, или же его действия были искренними?

Она пересекла комнату и, как была, полностью одетая, даже в дорожных сапогах, бросилась на кровать, но оставила свечу горящей и не предприняла ни малейшей попытки заснуть. С просто поразительным — учитывая, что было у нее на уме — терпением и самообладанием она пролежала так, прислушиваясь и выжидая, и лишь убедившись, что все в доме погрузилось в сон, встала, сняла сапоги, взяла чадящую свечу, очень тихо отодвинула задвижки, осторожно открыла дверь и бесшумно прокралась в теперь уже погруженную во тьму соседнюю комнату. На мгновение остановилась, в который уже раз прислушалась. Из-за дальней двери доносился негромкий храп: гражданин депутат спал.

Держа сапоги в одной руке и высоко поднятую свечу в другой, она на цыпочках направилась через гостиную к двери, что вела на лестницу, но на полпути остановилась: ее взгляд привлекло нечто, блеснувшее в неярком свете свечи на приставном столике. То был замок портфеля депутата. Мадемуазель де Монсорбье замерла в нерешительности, испуганная охватившим ее искушением, затем, уступив соблазну, с бледной улыбкой подхватила портфель и сунула его под мышку.

В следующий миг она выскользнула за дверь и в одних носках спустилась по скрипучим ступеням лестницы. Внизу в коридоре приостановилась, чтобы надеть сапоги, затем очень осторожно отодвинула засовы боковой двери и вышла во двор. На закрытую калитку конюшни опирался какой-то человек,

внимательно за ней наблюдавший и уже намеревавшийся ее окликнуть. Мгновенно приняв решение, она опередила его:

— О! Какое счастье, что вы не спите — в противном случае мне пришлось бы поднять вас с постели. Мне сейчас же нужна лошадь, гражданин.

— Лошадь? В такой час?

— Дело государственной важности. — Голос молодого секретаря звучал жестко и безапелляционно. Помахав портфелем, она добавила: — Гражданин депутат поручил мне отправиться в Невер без него, сам он последует туда чуть позднее. И вам бы лучше поторопиться, если не хотите отвечать перед ним лично.

Быстро оседлали коня, и юный секретарь, своей посадкой больше напоминавший охотника, чем клерка, галопом унесся в ночь.

* * *

Проснувшись утром, гражданин депутат тщательно побрился, аккуратно уложил волосы на аристократический манер и, прошествовав в располагавшуюся между спальнями гостиную, громко затребовал шоколада.

Дожидаясь, пока его приказ будет выполнен, он неторопливо подошел к окну и немного постоял там, глядя на моросящий снаружи, во тьме, дождик. Однако вскоре мертвая тишина, царившая вокруг, привлекла его внимание в той же мере, как в другое время мог бы привлечь какой-нибудь резкий и внезапный звук. Встревоженный, он быстро подошел к двери спальни мадемуазель де Монсорбье и побарабанил по ней костяшками пальцев. Ответа не последовало. Шовиньер подергал ручку, дверь распахнулась: в комнате было пусто. Взгляд его упал на даже не разобранную постель. Покрывало выглядело лишь слегка примятым, и можно было предположить, что с тех пор, как на нем кто-то лежал — да и лежали недолго — прошло уже несколько часов.

Смачно выругавшись, депутат стремглав сбежал по лестнице и буквально набросился на хозяина постоялого двора с вопросами о том, где его секретарь, не забыв подкрепить их угрозами отправить трактирщика на гильотину, если тот попытается что-либо утаить.

Насмерть перепуганный владелец гостиницы дрожащим голосом поклялся, что ему и близко ничего неизвестно об отсутствии юноши — он, мол, и вовсе впервые об этом слышит.

Гражданин депутат окинул продолжающего что-то невнятно бормотать болвана столь свирепым взглядом пылающих огнем глаз, что тот в ужасе отшатнулся. Но конюх, слонявшийся поблизости и ставший невольным свидетелем этого грубого допроса, подошел к этим двоим и дал ответ, убивший последнюю надежду Шовиньера.

— И ты позволил ему уйти? — выслушав его, процедил Шовиньер сквозь зубы и зловеще улыбнулся. — Вот так просто взял — и отпустил его? Ладно,

Депутат стремглав сбежал по лестнице и буквально набросился на хозяина постоялого двора с вопросами о том, где его секретарь.

в какую сторону он направился? Шевели мозгами, скотина, если не хочешь потерять свою тупую башку.

Конюх ответил, что юноша ускакал в направлении Невера.

— Седлайте мне лошадь, — распорядился Шовиньер и через десять минут уже и сам мчался во тьме в Невер, приказав форейтору следовать за ним с каретой.

Добравшись до города к полудню, он отправился прямиком к председателю местного революционного комитета, грузному, неуклюжему кожевнику по фамилии Дежарден, и заявил, что имеет к нему срочное дело — мол, его, депутата Конвента, документы были украдены прошлой ночью в Ла-Шарите юношей, с которым он подружился в дороге и который, в чем он теперь уверен, на самом деле является девушкой, несомненно, проклятой аристократкой. Известно, что она направилась в сторону Невера. Поимка воровки имеет первостепенное значение. Если ее немедленно не разыщут, у многих голова слетит с плеч.

В том, что агенты комитета приступили к самым активным розыскам, сомневаться не приходится. Их рвение привело к тому, что на следующий день близ Шатийона была поймана лошадь, на которой девушка ускакала из Ла-Шарите, а еще чуть позднее в канаве близ Сувиньи обнаружили черный редингот, сапоги и другие предметы одежды, в которых Шовиньер узнал те, в которых ходила беглянка, а также пустой черный кожаный портфель с металлической застежкой, в котором депутат признал уже свою собственность. Сама же беглянка бесследно исчезла.

К концу апреля исколесивший в ее поисках уже почти весь край Шовиньер прикатил в небольшой горный городок Пуссиньо.

Местный революционный комитет срочно собрался в маленькой ратуше, выходившей окнами на рыночную площадь, где плотники уже были заняты возведением эшафота. Все с благоговейным трепетом ожидали приезда грозного представителя Конвента, которому предстояло пробудить этот сонный и доселе вполне умиротворенный и довольный жизнью городок от его революционной вялости.

Наконец он прибыл: высокомерный, властный, и, по всей видимости, в полной мере проинформированный о том, чем живет Пуссиньо, ибо на руках у него уже был список лиц, подозреваемых в новом преступлении — инсивизме[1], в той или иной из его многочисленных форм.

Когда он зачитал имя третьего из них — некоего Рауля Амеде де Корбиньи, — его вдруг впервые прервали.

— А этот-то в чем обвиняется?

Вопрос — совершенно неожиданно — задал коновал Дусье, видный член местного якобинского общества, человек честный и бесстрашный, опасный оппонент в дебатах, который, при желании, и сам бы мог оказаться избранным в Национальное собрание от Ньевра. Как и следовало ожидать, он оказался первым, кто сумел сбросить с себя чары искусно нагнетаемого Шовиньером на комитет страха.

Удивленный столь внезапным и дерзким вмешательством депутат нетерпеливо ответил:

— Он обвиняется в том, что склонен к контрреволюционным суждениям.

— Комитету Пуссиньо требуется точная информация, а не расплывчатые обвинения, которые, как нам представляется, вполне могут оказаться необоснованными.

Одобрительный гул собравшихся дал Шовиньеру понять, что, зараженные примером председателя, члены комитета настолько оправились от чар его красноречия, что готовы поднять бунт.

— Вы утверждаете, что я лгу? — спросил он ледяным тоном.

— О нет, гражданин депутат! Только лишь то, что вас, возможно, неверно проинформировали. Если вы позволите нам направлять вас в вопросах

[1] *Инсивизм*, или энсивизм (фр. incivisme) — отсутствие патриотических, гражданских чувств.

местных знаний, гражданин, вскоре вы согласитесь с тем, что вас ввели в заблуждение. Уверяю вас, гражданин: необоснованные нападки на Корбиньи могут иметь самые серьезные последствия. В Пуссиньо все знают непоколебимый республиканизм его принципов; все знают, что он живет скромно и непритязательно; все его любят. Обвинить его не так-то и просто. Ради вашего, гражданин депутат, и нашего блага, вам придется привести конкретные примеры инсивизма Корбиньи, прежде чем требовать от нас его ареста.

Если этот аргумент и не смог отвратить Шовиньера от его цели, то его оказалось достаточно, чтобы заставить депутата хотя бы на время унять свое рвение. Он заявил, что нанесет визит Корбиньи и самолично составит мнение об истинных настроениях ci-devant виконта.

* * *

Замок Корбиньи, четырехугольное, несколько обветшавшее серое строение с круглыми башенками под красными крышами по краям, приютился среди виноградников на полпути к вершине холма, за чертой города. Внутри гражданин депутат обнаружил такую же скромность и неприхотливость. Корбиньи он нашел в просторной кухне с каменным полом, стенами и потолком, сидевшим за столом с домочадцами: пожилым управляющим Фужеро, его женой, двумя их рослыми сыновьями и пухленькой, миловидной молодой женщиной с благозвучным именем Филомена, отвечавшей за домашний уют обедневшего дворянина. Сам Корбиньи, мужчина лет тридцати, вписывался в свое окружение так, словно был для него создан. Одевался он по-крестьянски, но держался с достоинством и учтивостью, свидетельствовавшими о благородном происхождении, тогда как его речь, выражение лица, высокий лоб и задумчивые мрачные глаза заставляли предположить в нем эрудита и поэта. Он поднялся из-за стола навстречу гостю.

— Я представляю правительство, гражданин, которое обходится без церемоний, — сказал Шовиньер, но с гораздо меньшей, чем обычно, надменной напыщенностью.

Корбиньи улыбнулся.

— Может, присоединитесь к нам? — Он поставил стул. — У нас тут все по-республикански просто.

— Как и должно быть, — сказал Шовиньер, ненавидевший республиканскую простоту и ежедневно благодаривший Бога за революцию, которая позволила ему пользоваться всеми благами жизни. Он сел. Филомена положила ему хлеб и ветчину — и то и другое он нашел восхитительными на вкус, — в то время как сам Корбиньи налил ему прекрасного домашнего вина. В конечном счете, сказал себе депутат, этот простой обед оказался не столь уж и безнадежно республиканским. Корбиньи и его странный гость равнодушно беседовали о том о сем, в то время как остальные просто сидели и слушали в неловком

молчании. Наконец, когда трапеза закончилась, Шовиньер откинулся на спинку стула, перекинул обтянутую оленьей кожей ногу через подлокотник, а длинную руку засунул под трехцветный служебный кушак.

— А у вас тут, в Корбиньи, очень уютно, гражданин. Даже удивительно, что вы до сих пор не привели сюда хозяйку.

— Чему тут удивляться? — сказал Корбиньи, беззаботно рассмеявшись. — Наверное, я ждал слишком долго. Теперь же... — он пожал плечами. — Теперь не так просто найти... — он резко умолк, словно опасаясь ляпнуть что-то не то.

Но неосмотрительность уже была допущена, ибо Шовиньеру не составило труда закончить фразу ci-devant виконта. Тот явно хотел сказать, что в очищенной от аристократов Франции не так-то и просто найти женщину его — дворянского — происхождения.

— Найти что, гражданин? — вкрадчиво спросил депутат.

— Да так, ничего особенного, гражданин, — несколько смущенно пробормотал Корбиньи. — Это не имеет значения, и, полагаю, мы без труда подыщем более интересную тему для разговора, чем моя скромная персона.

— Вы ошибаетесь как в одном, так и в другом. Это как раз таки имеет значение, и очень большое. — Шовиньер определенно подумал о чем-то другом. — Безбрачие является оскорблением природы; а тот, кто оскорбляет природу, не может считаться достойным республиканцем, поскольку республиканство основано на законах природы. Потому-то я и сказал: это имеет большое — огромное — значение.

Когда всем за столом стало понятно, что депутат вовсе не шутит, и Корбиньи поспешил сменить тему.

Шовиньер вскоре уехал, но уже на следующий день приступил к выполнению своей новой миссии. Он провозгласил свое евангелие с трибуны якобинского общества Пуссиньо с неистовой риторикой и напускным пафосом, посредством которых давно научился обуздывать страсти эмоциональных неразумных толп.

Депутат начал с того, что заявил: в результате недавних событий Франция обезлюдела. Омерзительная порода аристократов должна быть заменена расой свободных людей, рожденных в просвещенном веке. Пренебречь этим означало пренебречь самым священным долгом, исполнения которого нация имеет право требовать от своих граждан, и, через сокращение численности населения, привести республику к окончательному уничтожению. Затем прозвучала его главная сентенция: «Безбрачие является оскорблением природы!» Шовиньер, создававший из всего этого интеллектуальные игрушки для самого себя, знал, как никто другой: народное сознание пребывает в таком состоянии, что чем экстравагантнее доктрина, тем выше шансы на то, что она будет принята.

За следующие десять дней движение достигло такого размаха, что в якобинском обществе было выдвинуто и единогласно поддержано предложение считать (как и внушал гражданин депутат) в нынешних тяжелых для страны

— Гражданин ci-devant виконт де Корбиньи по рождению принадлежит к классу, упраздненному республикой. Самого его не тронули вследствие республиканского духа, которым, как полагали люди, он вдохновлялся. Но он должен понять, что сейчас ему предоставляется возможность раз и навсегда подтвердить свою преданность революционному курсу.

обстоятельствах желание любого мужчины, достигшего двадцатипятилетнего возраста, оставаться неженатым свидетельством его инсивизма; уличенного в этом новом преступлении гражданина лишать правовой охраны со стороны государства и отправлять на гильотину. В коммуне Пуссиньо это удивительное решение якобинцев было возведено в ранг закона.

Наконец-то почва для атаки на неуязвимого доселе ci-devant виконта де Корбиньи была подготовлена: обвинить его в инсивизме — и отнюдь не бездоказательно — теперь не составляло труда.

Обвинение было выдвинуто, и месье де Корбиньи вызвали на заседание коллегии трибунала, где он должен был получить самое обычное замечание. Дабы показать свое уважение к суду и соблюсти приличествующие ситуации формальности, Корбиньи с непривычной для него аккуратностью облачился в одежду, припасенную специально для торжественных случаев: черный сюртук с серебряными пуговицами, шелковые бриджи, чулки и туфли с пряжками.

— Гражданин ci-devant виконт де Корбиньи по рождению принадлежит к классу, упраздненному республикой. Самого его не тронули вследствие республиканского духа, которым, как полагали люди, он вдохновлялся. Но он

должен понять, что сейчас ему предоставляется возможность раз и навсегда подтвердить свою преданность революционному курсу. Поскольку я побывал в его замке и имел честь познакомиться с его домочадцами, к счастью, я в состоянии дать ему добрый совет. Простая девушка из народа, прислуживающая Корбиньи, станет ему самой подходящей супругой в быту. Следовательно, этот суд рекомендует ему не только жениться, но и жениться именно на Филомене Полар, тем самым предоставив неопровержимое доказательство приверженности религии равенства — религии, в которой Франция не потерпит еретиков.

Чернь, в основном и составлявшая аудиторию, бурно приветствовала это предложение, достойное самого царя Соломона. Когда шум утих, наконец заговорил месье де Корбиньи. Его вытянутое и довольно меланхоличное лицо залил алый румянец, но голос звучал спокойно и непоколебимо.

— Вам известен... — он полуобернулся, чтобы охватить взглядом все собрание. — Всем вам известен мой образ жизни и мыслей, как и то простое кредо, которым я руководствуюсь в своем существовании. Я верю в коммунизм и неоднократно подтверждал это. Интересы нации для меня всегда выше личных, и я призна́ю право нации требовать от меня мое имущество, а при необходимости — и жизнь. Но я не призна́ю права нации требовать от меня мою душу...

— Мы упразднили все это! — нетерпеливо прервал его Шовиньер.

Но Корбиньи продолжал, словно его и не прерывали:

— ...как не призна́ю и голоса нации в этом требовании. Граждане судьи, вы были поставлены сюда для того, чтобы исполнять существующие законы, а не изобретать новые. Принятие законов является исключительной прерогативой Национального собрания, и любой человек или группа людей, нарушающие эту прерогативу и присваивающие себе любые подобные права, сами должны считаться виновными в инсивизме, за что им могут быть предъявлены обвинения.

Шовиньер не мог не восхититься проницательностью и тонкостью этой контратаки и мысленно поблагодарил судьбу за то, что она была предпринята в присутствии людей слишком низкого уровня интеллекта, не сумевших оценить ее по достоинству. Гневный рык да насмешки — вот и все, что она вызвала у собравшихся; когда же шум утих, председатель суда холодно произнес:

— На размышление, гражданин Корбиньи, вам дается три дня.

Корбиньи решительно шагнул вперед, отбросив всю свою невозмутимость. Глаза его гневно сверкнули, лицо из красного сделалось белым.

— Для размышления, гражданин председатель, мне хватило бы и трех секунд, но даже триста лет не смогли бы изменить мое решение отвергнуть это гнусное предложение.

Толпа снова разбушевалась; председатель же суда, бесстрастный, как сам Фатум, повторил:

— Так или иначе, у вас три дня.

* * *

Корбиньи возвращался домой по холмам в сумерках апрельского вечера неторопливым шагом человека, погруженного в глубокие раздумья. Мысль о том, что вскоре предстоит умереть, была невыносима, но еще меньше нравилась ему перспектива спасти свою жизнь ценой ужасного мезальянса. Тщетность бегства была слишком очевидна. На него объявят охоту, и сейчас, когда открыто передвигаться по стране без документов весьма затруднительно, неизбежно настигнут и с позором вернут обратно. Не лучше ли сохранить перед смертью хотя бы самоуважение? Да, умирать совсем не хочется, но, в конечном счете, и жизнь теперь не сказать чтобы слишком уж восхитительна.

Поднявшись по приступкам изгороди, окружавшей один из его лугов, Корбиньи легко спрыгнул на дерн, как вдруг заметил едва различимую во мраке фигуру, притаившуюся за забором. Пару секунд он пристально вглядывался, затем крикнул: «Эй!», но фигура тут же распрямилась и стремительно унеслась через узкую полоску луга в направлении леса.

Подобное поведение показалось Корбиньи весьма эксцентричным и требовавшим объяснения. Он был быстр на ногу и настиг беглеца прежде, чем тот преодолел половину расстояния, отделявшего его от заветной цели. Схватив его за плечо, Корбиньи увидел, что задержал паренька в блузе, широких штанах и деревянных сабо крестьянина.

— Постой-ка, дружок! Для человека честного ты слишком проворен, не говоря уж о том, что прячешься за стеной.

— Отпустите меня! — прорычал мальчишеский голос. — Я же ничего вам не сделал. — Юнец извивался как уж, пытаясь вырваться. — Не смейте меня задерживать!

— Уже посмел! — рассмеялся Корбиньи.

Внезапно в руке паренька блеснуло что-то яркое. В тот же миг Корбиньи сковал его худощавое тело борцовским захватом, вынудив беспомощно прижать руки к бокам; затем притянул кровожадного негодяя к себе и приподнял, явно намереваясь бросить наземь, но вместо этого, словно обжегшись, резко оттолкнул и отступил назад. Юнец стоял перед ним, тяжело дыша и чуть склонив голову, но бежать уже не пытался.

— Кто вы? Откуда тут взялись? И почему в мужской одежде? Отвечайте. Я не сделаю вам ничего дурного.

Голос Корбиньи внезапно смягчился, в нем зазвучали интонации, свидетельствующие о высоком происхождении, и в поведении его собеседника произошла перемена. Он вскинул голову, явив лицо, в полумраке казавшееся белым и каким-то призрачным.

— А вы-то кто будете? Как ваше-то имя? — в свою очередь спросил незнакомец голосом, рассеявшим последние сомнения Корбиньи: перед ним была женщина.

— До недавнего времени я был известен в этих краях как виконт де Корбиньи. Затем, сколько-то месяцев, наслаждался относительным покоем как ci-devant. Теперь же я даже не знаю, как и представиться. Но эти земли все еще остаются моими, как и вон тот дом, который я предоставлю в ваше распоряжение, если будете со мной откровенны.

— Так вы дворянин!..

Он едва заметно кивнул.

— Вы, конечно же, удивлены тем, что встречаете одного из них во Франции на свободе. Но не больше, чем я удивлен встречей с дамой благородного происхождения.

У нее вдруг перехватило дыхание.

— Но как вы об этом догадались?

— Как? Интуиция, мадам, или, быть может, мадемуазель?

Она ответила не сразу — лишь после продолжительных колебаний.

— О, если вы обманщик, — воскликнула она пылко, — играйте свою гнусную шутку! Мне уже все равно. Я валюсь с ног от усталости и с радостью приветствовала бы даже тот покой, который приносит гильотина. Меня зовут Клеони де Монсорбье. Не верите? Вы наверняка слышали, что наша семья в тюрьме, в Париже. Мы ведь из Ньевра, так что сюда, вероятно, доходили слухи о нашей судьбе. Возможно, вы даже слышали, что меня поместили в дом умалишенных, но вряд ли знаете, что затем оттуда забрали. Впрочем, это долгая история, господин виконт.

— Расскажете мне ее по дороге, — сказал Корбиньи и, взяв девушку за руку, развернул лицом к дому, окна которого красновато светились в сгущающихся сумерках.

По пути Клеони вкратце рассказала ему о своей псевдосекретарской работе и о побеге из Ла-Шарите, не назвав, впрочем, имени своего покровителя-республиканца. Она надеялась найти пристанище в замке Блессон, принадлежавшем ее кузенам, но добравшись туда на рассвете, пришла в полное смятение, когда обнаружила, что окна закрыты ставнями, а домочадцы исчезли. Оттуда, уже на изрядно уставшей лошади, девушка проделала десять миль до Веррю, где проживали другие ее родственники, но нашла там лишь почерневшие руины, после чего, обессилевшая и отчаявшаяся, опустилась на землю перед этими развалинами и дала волю слезам.

В таком состоянии бедняжка и сидела, когда на нее случайно наткнулась кучка испуганных местных крестьян. Поскольку не в их простодушных сердцах было позволять благородной женщине страдать, эти добрые люди приютили ее у себя, но через несколько дней, не желая навлечь на них беду, а также потому, что укрываться у них вечно она не могла в силу своей нетерпеливой и горячей натуры, — мадемуазель де Монсорбье переоделась деревенским пареньком и ушла, намереваясь пешим ходом пересечь Ньевр и Бургундию, а оттуда проскользнуть через границу в Швейцарию. Но путешествие оказалось гораздо более тяжелым, чем она предполагала.

— Кто вы? Откуда тут взялись?
И почему в мужской одежде? Отвечайте.

Месье де Корбиньи вдруг улыбнулся.

— Право же, мадемуазель, кажется, вы только что подали мне пример.

— Пример?

— Да вот, пришло в голову... Впрочем, нет, — оборвал он сам себя. — Я уже думал об этом. Едва ли оно того сто́ит.

Он широко распахнул дверь, и яркий свет, горевший внутри, почти ослепил их.

— Добро пожаловать в замок Корбиньи, мадемуазель.

Она прошла вперед, в просторный, но весьма запущенный вестибюль с каменными стенами. Корбиньи на миг задержался, чтобы закрыть и накрепко запереть дверь, затем повернулся к ней, и, когда его глаза привыкли к свету, впервые разглядел девушку отчетливо. Ее серая блузка была испачкана и местами порвана. Она уже сняла поношенную шляпу, выглядевшую так, словно ее стащили с пугала; по-крестьянски неровно подстриженные волосы свободно ниспадали на плечи, но свет отбрасывал золотистые отблески, создавая ореол вокруг ее маленькой, столь восхитительно посаженной головки, а тонкие черты лица свидетельствовали о ее истинном происхождении.

Месье де Корбиньи смотрел на нее с изумлением и восторженностью, какой никогда еще не испытывал. Взгляд его угрюмых темных глаз был столь пристальным, что девушка в конечном счете смущенно потупилась.

Но он продолжал на нее смотреть, и природная задумчивость с каждым мгновением проступала на его лице все глубже и глубже. Когда же он наконец заговорил, то почему-то приветствовал ее словами древнеримских гладиаторов, идущих на смерть.

— Moriturus te salutat[1]! — Корбиньи слегка поклонился. — И все же я рад, что сперва мне довелось повстречать вас.

На какой-то миг проявились его мужские инстинкты, но он тут же взял себя в руки, вспомнив о своих обязанностях хозяина.

— Вам потребуется одежда, мадемуазель. Я сейчас вызову экономку. Возможно, она сможет...

— О нет! — остановила его Клеони. — Мне нужны разве что чистые простыни. Принесите их сами или пришлите с кем-нибудь — это уж как вам будет угодно, — но в остальном оставьте меня такой, какая я есть сейчас, и не выдавайте ни за кого другого. Гражданин Шовиньер слишком близко, не будем пренебрегать предосторожностями.

— Вы знакомы с гражданином Шовиньером?

Она улыбнулась.

---

[1] Ave, Caesar, *morituri te salutant* (лат. — «Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя») — латинское крылатое выражение, которым, согласно произведению римского историка Гая Светония Транквилла («Жизнь двенадцати цезарей», «Божественный Клавдий»), приветствовали императора Клавдия гладиаторы, выходящие на арену.

«Очаровательная улыбка! — подумал Корбиньи. — Вот бы она почаще так улыбалась!»

— Я слышала о нем и знаю, чем он занимается.

Хозяин замка кивнул.

— Возможно, вы правы: осторожность действительно не помешает. Пойдемте, вы сию же минуту получите все, в чем нуждаетесь.

Он сам проводил девушку наверх, в одну из свободных комнат, снабдил ее необходимым постельным бельем, после чего, оставив одну, спустился вниз и сообщил домочадцам о том, что у него сейчас гостит один юноша, с которым он только что свел знакомство.

В маленькой компании, собравшейся за ужином в просторной кухне, царило глубокое уныние. Филомена, прислуживавшая за столом, была бледна, как смерть, и весь вечер ходила с красными заплаканными глазами. Все уже знали о приговоре, вынесенном трибуналом, и о роке, нависшем над их хозяином. Даже сама Филомена была до глубины души возмущена той оскорбительной альтернативой смерти, которую предложили виконту. Один лишь Корбиньи словно бы и не замечал занесенного над его головой меча.

* * *

— Мадемуазель, останьтесь с нами еще на денек. Чем лучше вы отдохнете, тем бóльшую скорость разовьете в дальнейшем своем путешествии, так что время отнюдь не будет потеряно.

Мадемуазель де Монсорбье отклонила данное предложение, заявив, что не хочет подвергать месье де Корбиньи опасности — как знать, что случится, если ее вдруг обнаружат под его крышей?

В ответ ci-devant виконт рассмеялся столь откровенно, что это даже немного задело девушку, ибо, на ее взгляд, ничего смешного в ее словах не было. Но Корбиньи объяснил свой смех так:

— Мадемуазель, я нахожусь в завидном положении человека, для которого такие понятия, как риск и страх, уже больше не существуют. Сегодня вторник, а в ближайший четверг мне предстоит умереть. Потому-то я и рассмеялся, когда вы сказали, что, укрывая вас, я подвергаюсь опасности.

— О чем это вы, месье? Да вы просто потешаетесь надо мной! Возможно ли, чтобы вы, остающийся на свободе...

— Сейчас я вам все объясню, — прервал ее Корбиньи и рассказал о вынесенном революционным трибуналом приговоре.

Она выслушала его рассказ с нарастающим огорчением, вместе с тем все больше и больше восхищаясь бесстрашием, спокойствием и чувством юмора, которые ему удалось сохранить в столь отчаянном положении.

— Зверь! — воскликнула она, когда Корбиньи закончил. — Жестокий, злоречивый зверь, вот он кто, этот Шовиньер! Но почему вы не ищете спасения в бегстве?

— Разумеется, я думал об этом. Но что бы это дало? Да и цена неудачи, как по мне, слишком уж велика. Я не намерен становиться объектом охоты для этих революционных псов. Если мне предстоит умереть, я умру, как подобает человеку моего происхождения.

Она посмотрела на него с бесконечной нежностью и состраданием.

— Может быть, есть какой-то еще выход, месье? Какой-нибудь третий путь? — спросила она после небольшой паузы. — Хорошо ли вы всё обдумали?

От Корбиньи не ускользнула нотка трогательной заботы, прозвучавшая в голосе девушки. Он остановился перед ней, лицо его слегка побледнело, словно от некоего непонятного страха, а в устремленных на нее серьезных темных глазах появилось выражение глубокой задумчивости.

Наконец он медленно произнес:

— Да, я обдумал все досконально. Третий путь действительно существует. Но я не решаюсь им воспользоваться из опасения оказаться неверно понятым.

По ее губам пробежала улыбка.

— Так ли уж важно для человека в вашем положении то, что его неверно поймут? Говорите, месье, — говорите совершенно свободно.

Он заговорил, но не слишком свободно, а запинаясь и как-то неуклюже спотыкаясь на высказываниях, тогда как обычно выражался точно и изысканно.

— Умоляю вас, мадемуазель, не сочтите то, что я сейчас скажу, за... за недостаток почтения... В иных обстоятельствах... Но сейчас время поджимает. Отнеситесь ко мне с терпением, даже если я кажусь вам невыносимым. Сомневайтесь в чем угодно, но только не в моей правдивости и искренности. Когда вчера вечером я впервые увидел вас там, при свете, мне показалось, что душа моя покинула меня, устремившись навстречу вашей душе. Возможно, я выражаюсь грубо, но, увы, не могу подобрать других слов... Все произошло настолько спонтанно... и вместе с тем представлялось столь неизбежным, что я было подумал... Это не самонадеянность, мадемуазель. Полагаю, это инстинкт. Мне казалось, что происходит нечто взаимное, нечто важное для нас обоих. Казалось невозможным, что дух человека может... пережить так много... без каких-либо на то оснований. Мне стыдно за свои жалкие слова, мадемуазель. Они недо...

Клеони не дала ему закончить. Она вскочила на ноги, и — о это показалось ему невероятным чудом! — грудь ее прижалась к его груди, побелевшее и полное сострадания лицо обратилось к его лицу.

— Стыдно?! — воскликнула она. — Стыдно?! — В ее голосе звучала музыка нежности, от которой у него все поплыло перед глазами. — Вы сказали именно то, что я хотела от вас услышать. По крайней мере, ничего такого, что было бы неправдой. Ваши инстинкты не обманули вас, мой дорогой.

Он обнял ее и горьким голосом произнес:

— Любовь — это венец всего живого, и, не явись вы ко мне в последнюю минуту, я мог умереть, так и не познав счастья.

Она содрогнулась.

— Боже, совсем забыла! О, дорогой мой! — она в изнеможении прильнула к нему всем телом.

— Нет, нет! — воскликнул он, пытаясь подбодрить ее. — Вы снова вдохнули в меня жизнь. Будь я не прав, грядущее уже не имело бы никакого значения. Я все равно бы умер с мыслями о вас, благодаря вас за те чувства, которые вы во мне пробудили. Но раз уж вам не все равно... Слушайте же, моя дорогая. Декретом трибунала мне предписано только то, что я должен жениться. Так что, если я женюсь за эти три дня, я выполню требования этого гротескного издевательства, которое они называют законом. Филомена была предложена мне в жены, потому что сам я не смог привести никакой другой подходящей кандидатуры. Но будет это Филомена или какая-то другая женщина — им все равно. Словом, если вы предстанете вместе со мной перед судом в крестьянской одежде — так будет безопаснее — как девушка, которую я выбрал себе в супруги... Мы придумаем вам новую родословную, это будет нетрудно... И тогда, если...

Вырвавшись из его объятий, она отступила на пару шагов.

— О, вы не знаете, о чем говорите! — вскричала она в глубочайшем отчаянии.

Он как-то вмиг поник: все его радужные надежды рушились.

— Но если... если... мы любим друг друга? — пробормотал он, запинаясь. — В чем же проблема? Или вам отвратительна сама мысль о столь поспешном браке?

— Дело не в этом! Совсем не в этом!

— В чем же тогда?

— В Шовиньере! — многозначительно произнесла она.

— В Шовиньере? — переспросил он, сначала ничего не поняв. Затем на него вдруг снизошло озарение. — Так это был он? Это он...

Она кивнула, и ее деликатные черты исказила горькая усмешка.

В дверь постучали, и на пороге возникла испуганная Филомена.

— Здесь гражданин депутат, — объявила она. — Желает вас видеть.

Мадемуазель де Монсорбье в испуге отпрянула. Корбиньи поднялся на ноги — чопорный, прямой, внезапно обретший невероятное, сверхъестественное спокойствие.

— Он прибыл как нельзя кстати, — произнес Корбиньи своим обычным приятным тоном. — Я и сам уже хотел было отправиться на его поиски. Задержите его на минутку-другую в вестибюле, хорошо, Филомена? А потом ведите прямо сюда.

Прежде чем Филомена вышла из комнаты, Корбиньи подскочил к высокому стенному шкафу из полированного тутового дерева. Мадемуазель де Монсорбье, последовавшая за ci-devant виконтом, поинтересовалась:

— Хотите спрятать меня там?

Обернувшись, Корбиньи посмотрел на нее пристально, затем улыбнулся и покачал головой.

— У меня и в мыслях не было прятать вас где-то.

Он снял с полки футляр из красного дерева.

— Но что, если он застанет меня здесь?

— Именно этого я и желаю, — он взял сделанную из рога пороховницу и небольшой полотняный мешочек и закрыл дверцу шкафа. — Высокомерный, заносчивый идиот! — пробормотал он себе под нос.

Затем подошел к письменному столу и открыл футляр.

* * *

Сопровождаемый Филоменой, вскоре в библиотеку с важным видом вошел Шовиньер, гибкий и энергичный в своем длинном сером сюртуке, подпоясанном трехцветным кушаком, на котором теперь болталась сабля. На пороге он остановился; в каждой черточке его внешности сквозила ирония.

— Я здесь, мой дорогой ci-devant, для того чтобы по-братски наставить вас...

Он осекся. Легкое движение в углу справа вынудило его отвести взгляд в сторону.

— Это еще что? Кто этот... — начал было он, но потом чуть наклонился вперед, вгляделся попристальнее и снова осекся. Затем сделал быстрый шаг, но, сдержавшись, остановился, и с губ его сорвалось ругательство, за которым последовал смех, громкий и восторженный. — Вот так встреча! Похоже, нужно обнажить голову! — Он снял шляпу и, взмахнув ею, отвесил поклон. — И долго вы уже здесь находитесь, мой дорогой секретарь?

— Со вчерашнего вечера, гражданин, — ответила девушка, но с такой простотой и спокойствием, что на лице депутата отразилось изумление.

— Со вчерашнего вечера, гражданин! — передразнил ее Шовиньер. — Стало быть, со вчерашнего вечера, да? Черт подери! Да я нашел здесь даже больше, чем предполагал!

Депутат двинулся было к ней.

— Стойте, где стоите! — остановил его холодный, отрывистый тон.

Замерев на месте, Шовиньер повернулся к находившемуся от него в нескольких шагах, на другой половине комнаты, Корбиньи. В позе ci-devant дворянина, в само́м его спокойствии было что-то зловещее и угрожающее. Депутат мгновенно почуял опасность и так же мгновенно предотвратил бы ее, если бы не его любовь к театральности. Из-за нелепого жеста притворного почтения в его правой руке была теперь зажата шляпа, и, для того чтобы выхватить из-за пазухи пистолет, который он держал там наготове как раз на такой случай, ему надо было ее, эту шляпу, куда-то деть. Он быстро сунул ее под левую руку, но на этом вынужден был прерваться.

Для Корбиньи сие резкое движение стало сигналом, предупреждающим об опасности, и он в тот же миг навел на Шовиньера тяжелый дуэльный пистолет, который держал в кобуре у левого предплечья.

— Пошевелите хоть пальцем, гражданин депутат, и я убью вас.

Шовиньер все же пошевелил, хотя и не пальцем. Широко расставив ноги, он заложил руки за спину, а затем рассмеялся.

— Да неужели? Но с чего это вам вздумалось попугать меня, мой дорогой ci-devant?

— Вы меня неверно поняли. Я отнюдь не собираюсь пугать вас.

— Тогда чего же вы хотите?

— Убить вас.

Шовиньер снова рассмеялся, но его загорелое лицо слегка побледнело.

— Давайте будем практичны, гражданин. Что вам даст моя смерть?

Корбиньи остался невозмутимым.

— Вы забываете, что я и так уже обречен, так что, убив вас, ничего не потеряю.

— Вы хотите сказать, что намерены хладнокровно застрелить меня? С трудом могу себе это представить. В конце концов, вы человек благородный, а не какой-нибудь головорез. — Теперь уже в голосе Шовиньера не было ни малейшей насмешки; он говорил пылко и искренне. — Тогда давайте хотя бы обменяемся выстрелами прямо здесь, в этой комнате, на десяти шагах или на любом другом устраивающем вас расстоянии. Уж в этом-то вы мне отказать не должны.

— Сожалею, но вынужден отказать вам даже в этом, — ответил Корбиньи с подчеркнутой учтивостью. — Если бы это касалось только меня, я бы с радостью согласился. Но есть ведь еще и мадемуазель де Монсорбье. Я не могу допустить, чтобы ее судьба зависела от удачи или меткости выстрела.

— Подождите! — вдруг резко бросила мадемуазель де Монсорбье и сделала шаг вперед. — Давайте будем практичны, как и предлагает гражданин депутат. Давайте...

Два пистолетных выстрела, прозвучавших почти одновременно, оборвали ее на полуфразе.

Внезапное вмешательство девушки, скорее даже совершенный ею легкий выпад вперед на мгновение привлекли к ней внимание Корбиньи, и не терявший бдительности Шовиньер узрел в этом благоприятную возможность. Правая рука депутата проворно скользнула за широкий отворот сюртука и появилась уже с пистолетом, который он, почти не целясь, разрядил в виконта. Но сколь бы молниеносным ни было это движение, все же оно оказалось недостаточно быстрым, потому что, заметив его, виконт и сам выстрелил почти в ту же долю секунды.

В следующий миг Корбиньи попятился, бледный и потрясенный, но почти невредимый. Пуля депутата задела его плечо. Шовиньер покачнулся и оперся плечом о стену, прижимая к левой стороне груди руку, которая почти сразу же окрасилась кровью, струившейся между пальцами.

— Пошевелите хоть пальцем, гражданин депутат, и я убью вас.
Шовиньер все же пошевелил... Он заложил руки за спину, а затем рассмеялся.
— Да неужели? Но с чего это вам вздумалось попугать меня?

— По крайней мере, шанс у меня был, — пробормотал он, и губы его скривились в усмешке. — Надеюсь, я отдал больше, чем получил. У вас будет...

Депутат закашлялся. Черты его лица исказила гримаса боли, ноги и руки судорожно затряслись, и он медленно сполз по стене в маленькую кучку, из которой выступали острые колени.

Виконт быстро встал перед ним, заслонив собой тело.

— Выйдите, умоляю, — бросил он через плечо. — Выйдите сию же секунду.

Было видно, что мадемуазель де Монсорбье колеблется. Несколько мгновений казалось, что она ослушается приказа, но в итоге все же повиновалась.

Минут через десять Корбиньи, мрачный, но совершенно спокойный, спустился в вестибюль, где нашел мадемуазель де Монсорбье в обществе Филомены. Виконт знал, что Фужеро работают в поле.

Подскочив к нему, Клеони воскликнула:

— Нам нельзя терять ни минуты.

— Я не мог оставить его в живых, — в голосе Корбиньи проскользнули нотки ревности.

— Он мог бы обеспечить нам куда лучшее существование!

— Я не желал от него никакой услуги, — даже такой, которая могла бы спасти мне жизнь.

— О, да послушайте же вы меня! Моя жизнь тоже сейчас под вопросом. Мы могли бы вынудить его написать хотя бы несколько строк, в которых он сообщил бы членам трибунала, что был внезапно вызван в Невер или Париж, а потом бы заперли в подвале, — это дало бы нам время сбежать. Ваша поспешность все испортила.

Корбиньи сокрушенно кивнул, всем своим видом выражая раскаяние.

— Теперь нужно как-то выкручиваться. Как только успокоюсь, как только перестану дрожать, если мне это вообще удастся, — возможно, по мне и не скажешь, но я жуткая трусиха, — подумаю, что можно сделать.

Чтобы успокоить Клеони и унять ее дрожь, виконт обнял ее и прижал к груди, но уже через несколько мгновений она отстранилась, велев ему начинать собираться в дорогу.

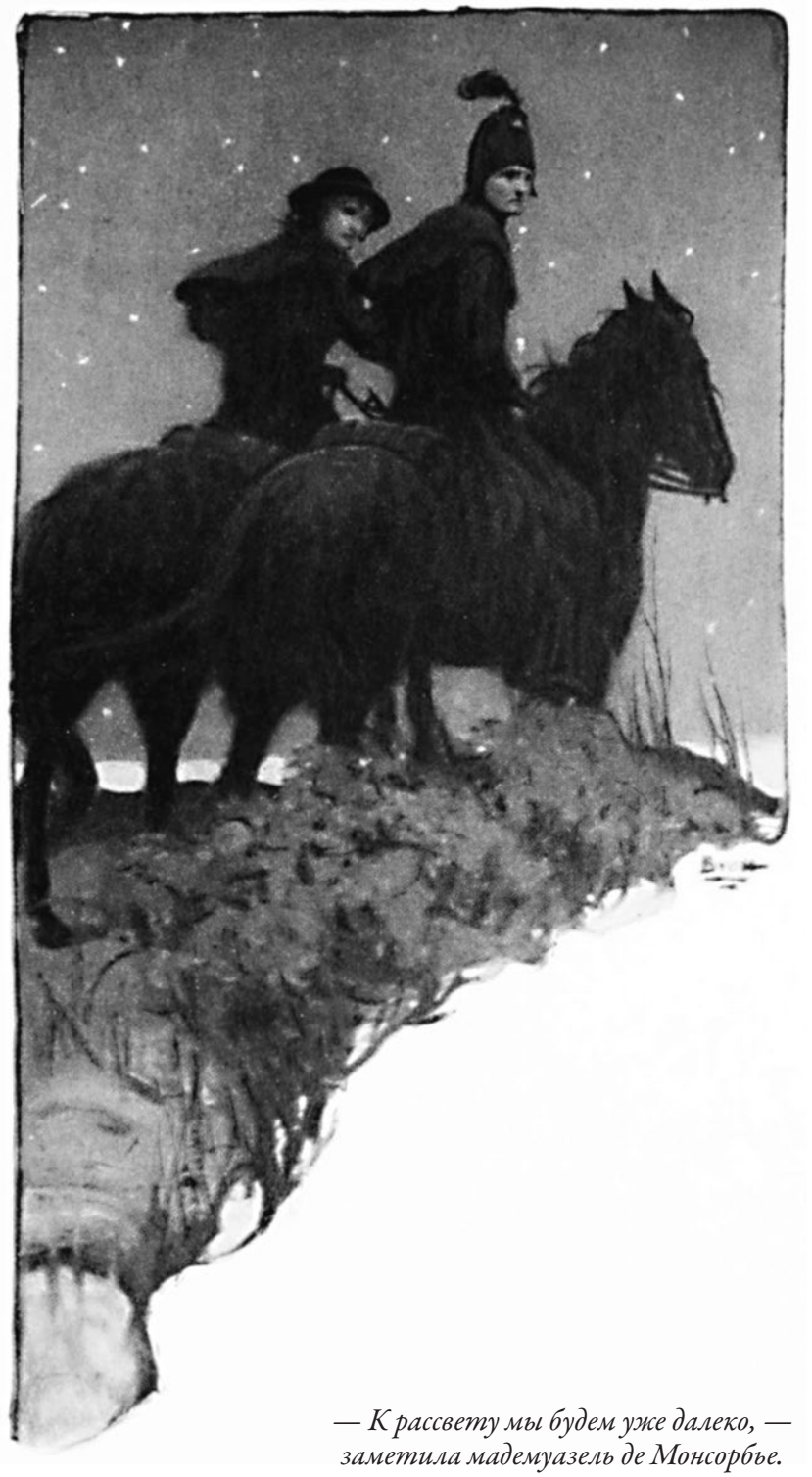
— Вы полагаете, моя дорогая, мне лучше попытаться сбежать? — спросил он.

— Думаю, да, в этом есть смысл: только на сей раз вам придется во всем слушаться меня.

Клеони принялась отдавать распоряжения, смысл которых от Корбиньи ускользал, но которые, уже глубоко раскаиваясь в содеянном и видя уверенность девушки, он все же беспрекословно исполнял. Она пожелала получить доступ к его гардеробу, затем попросила, чтобы немедленно разыскали и прислали к ней Фужеро.

Уже через час виконт ждал ее в плаще и в сапогах со шпорами; рядом с ним стоял саквояж.

Из его гардероба Клеони исхитрилась подобрать себе одежду, которая придала почти тот же вид, в котором она ехала из Парижа в качестве секре-



— К рассвету мы будем уже далеко, — заметила мадемуазель де Монсорбье.

таря Шовиньера. Она действовала с такой живостью и решительностью, что Корбиньи удивлялся все больше и больше: теперь в этой девушке, в каждом ее движении ощущалось присутствие духа.

Ее первый вопрос был адресован Фужеро, ожидавшему в вестибюле вместе с хозяином.

— Ты уже все приготовил?

— Да, мадемуазель: всё, как вы и велели.

— А твоя семья, где она?

— Ждет у крыльца, как и Филомена.

— Кушак и шляпа?

— Вот, мадемуазель, — он указал на трехцветный кушак и шляпу с пером, лежавшие на стуле.

Клеони взяла их и протянула виконту.

— Надевайте, мой друг.

Корбиньи в ужасе отпрянул.

— Так нужно, — добавила девушка не терпящим возражений тоном. — Отныне вы гражданин депутат Шовиньер.

Она помогла Корбиньи опоясаться кушаком, затем вывела на крыльцо; Фужеро шел следом. Прощание сеньора с домочадцами вышло коротким, но трогательным.

— Присматривайте за землей, — сказала им мадемуазель де Монсорбье. — Считайте ее своей до тех пор, пока господин виконт не вернется, чтобы снова вступить во владение.

Все еще несколько ошеломленный, Корбиньи вскочил на ожидавшую его лошадь, Клеони — на другую, и вскоре они уже скакали рысью в сумерках по тропинке, огибавшей городок Пуссиньо и уходившей в сторону Бургундии.

— К рассвету мы будем уже далеко, — заметила мадемуазель де Монсорбье. — Отныне вы — депутат Конвента Шовиньер, откомандированный в Швейцарию, а я — ваш секретарь Антуан. Вот возьмите. Тут пропуска, выписанные для этих двоих Комитетом общественного спасения, а также другие важные документы, именем единой и неделимой Французской республики предписывающие всем гражданским властям оказывать им всяческое содействие и ни в чем не препятствовать.

От изумления Корбиньи на какой-то миг утратил дар речи.

— Мне следовало бы догадаться, что вы не собираетесь переходить границу исключительно наудачу. С этими бумагами препятствий у нас не возникнет! О, все это совершенно невероятно, — как невероятны и вы, Клеони!

Ответом ему был ее смех, но на сей раз очень мягкий и нежный. Неделю спустя, оказавшись среди друзей, они поженились.

В ТЕНИ ГИЛЬОТИНЫ

I
Париж, 1793 год

Анжела быстро пробиралась по закоулкам секции — секции, названной в честь Муция Сцеволы гнусными патриотами, мечтавшими привнести в кровавую навозную кучу, в которую они превратили Париж, ушедшую славу древнего Рима.

Выйдя на более просторную улицу Вожирар, она начала осторожно продвигаться через неубранную грязь мимо бывшей семинарии Людовика Святого и Люксембургского дворца. Старинное и величественное строение теперь звенело и грохотало так, будто в нем работала кузница самого́ старика Вулкана[1].

Уже привыкшая к этому шуму, Анжела почти не обращала на него внимания, ибо круглые сутки жила в радиусе беспрестанной оглушительной деятельности дворца.

Однако так вышло, что с юга подул ветер, и едкий, удушливый дым пятидесяти четырех печей, в которых плавился металл для пушек республиканской армии, перенесло через улицу. У Анжелы запершило в горле, она закашлялась и была вынуждена ускорить шаг, чем рассмешила кучку литейщиков, бездельничавших у ворот.

Это были мускулистые, лохматые парни, невыразимо злобные и свирепые на вид; их обнаженные волосатые руки и грудь были черны от копоти кузниц, одежда грязна, спутанные шевелюры увенчаны красными колпаками свободы. Один из них, с трубкой в зубах, заметив куда-то суетливо спешащую молодую женщину, намеренно, чтобы усилить ее дискомфорт, выпустил ей в лицо облако табачного дыма.

Его обезьяноподобные товарищи злорадно загоготали. Анжелу вдруг охватил ужас, но усилием воли она справилась с этим ощущением и, не сбавляя темпа, продолжила свой путь.

---

[1] *Вулкан* — бог разрушительного и очистительного огня в древнеримской мифологии.

Впрочем, одной этой, в принципе безобидной проказой, приставания патриотов и ограничились. Пусть они и выглядели дикарями, все же они были честными тружениками. Ту энергию патриотизма, которую многие им подобные предпочитали тратить на травлю несчастных мужчин и женщин, эти люди расходовали у печей, производивших оружие для французских солдат.

Дыша уже свободнее, Анжела все так же торопливо шла теперь мимо старых конюшен Люксембургского дворца в направлении улицы Железного горшка.

Она была молода, высока, грациозна фигурой и осанкой, на ее лице лежала печать благородства, что само по себе было опасным достоинством в Париже во фрюктидоре[1] 1-го года по якобинскому календарю — или в августе 1793 года по старому, «рабскому» стилю. Ее платье было очень простым, но в то же время безупречно опрятным, темно-серого цвета; муслиновое фишю, охватывавшее шею, опускалось до выреза корсажа, а из-под муслинового же капора выбивался тяжелый локон бронзового цвета, ниспадавший на молочно-белую шею.

Словно для того чтобы сгладить впечатление аристократизма, которое мог произвести ее облик, Анжела приколола на грудь огромную трехцветную кокарду. Она несла дневной паек: хлеб и мясо, выдаваемые секциями этого измученного голодом города, завернутым в салфетку, как того и требовал в данном случае закон; такое постановление вышло по причине того, что на первых порах наиболее сварливые и боевитые гражданки, дабы получить преимущество в очереди, имели склонность в зверских схватках за продукты использовать в качестве орудия нападения куда более тяжелые и вместительные емкости.

Анжела ничего в жизни не боялась так, как этих ежедневных визитов к пекарю и мяснику секции; она могла подвергнуться оскорблениям по дороге туда, грабежам и насилию по пути обратно, и страх ее был столь велик, что чаще всего она оставалась дома и пользовалась услугами какого-нибудь правонарушителя-спекулянта, который тайно торговал продуктами, пренебрегая указами Конвента, а то и вовсе голодала, не рискуя выйти за пайком, на который имела право по закону как гражданка Парижа.

В этой секции ее прекрасно знали, эту молодую жену дюжего солдата Видаля, как знали и то, что ее муж в свои тридцать — уже полковник (что не было удивительно в армии республики, где любой благодаря доблести и отваге мог продвинуться на самый верх воинской лестницы), и служит французскому народу в Голландии под командованием генерала Дюмурье.

Впрочем, несмотря на довольно высокое положение мужа, Анжела не строила ни малейших иллюзий. Она знала: патриоты не выносят вообще никакого начальства. Словно кошмарный сон, их постоянно преследовал страх перед силой оружия, которая могла бы, пожелай кто того, ввергнуть их обратно в рабство, от которого, как они, заблуждаясь, наивно полагали, они уже безвозвратно сбежали.

[1] *Фрюктидор* — последний, 12-й месяц французского республиканского календаря, действовавшего с октября 1793 года по 1 января 1806 года.

Следовательно, любой успешный солдат мог угодить под подозрение так же легко, как и всякий аристократ.

Прекрасно это понимая, Анжела проявляла величайшую осмотрительность, занимая скромный домик на улице Железного горшка, где до недавнего времени с ней жила компаньонка — преданная старая крестьянка по имени Леонтина. Но не так давно Леонтина заболела и в конечном счете была вынуждена покинуть Париж, вернувшись в провинцию.

С тех пор Анжела жила одна.

Республика упразднила институт прислуги, по крайней мере, на словах, ибо в действительности правительственные декреты подобного рода трактовались очень широко. Слуг по-прежнему можно было нанимать, только теперь они назывались «служащими», но на переименовании все преимущества их нового положения и заканчивались.

В основной своей массе они были ленивыми и наглыми, а порой и вовсе представляли для хозяев опасность. Отругать их или уволить, независимо от того, насколько они этого заслуживали, значило подвергнуть себя риску оказаться обвиненным ими в инсивизме, а стать обвиненным, сколь бы беспочвенным ни был донос, сколь бы смешными ни были слова обличителя, означало оказаться на полпути к гильотине.

Республика была готова всех обвиняемых считать виновными до тех пор, пока они не подтвердят свою невиновность к удовлетворению революционного трибунала; а революционный трибунал было так же трудно уверить в своей невиновности, как и легко убедить в вине.

Осознавая все это, Анжела решила никого не нанимать на место, оставшееся вакантным после отъезда Леонтины в деревню.

Она предпочла остаться одна в этом небольшом четырехкомнатном жилище, некогда, в дореволюционные времена, доме какого-то респектабельного ремесленника. Уже сама по себе скромность этого обиталища обеспечивала ей определенную безопасность и хотя бы минимальный иммунитет от возможных подозрений со стороны республиканских властей.

Но одиночество в этом доме было для нее почти невыносимо, и к этому одиночеству добавлялись постоянные тревоги и страхи. Писем Видаль присылал мало; когда же они приходили, то, как правило, были короткими. Писать длинно было небезопасно, к тому же почтовое ведомство работало столь же неорганизованно, как и все остальное.

Впрочем, Анжела переносила свалившиеся на нее тяготы со всей стойкостью, на какую только была способна, и, терпеливо ожидая, пока Видаль найдет возможность приехать к ней, решила, что, как только он явится, скажет ему, что не согласна больше оставаться одна в этом кошмарном городе. Уж лучше она поедет с ним, будет следовать за армией, если ей разрешат.

Наконец Анжела вышла на улицу Железного горшка. Та была пустынной, как были пустынны в эти дни все парижские улицы, ибо задержаться на одной из городских артерий означало привлечь к себе внимание тайных агентов секции.

Уже почти подойдя к двери собственного дома, Анжела вдруг остановилась и, опешив, даже отступила на пару шагов назад. Ее сердце пустилось в дикий галоп. На крыльце, на объемистом ранце, сидел высокий мужчина в синем военном мундире с белыми кантами и алыми шерстяными эполетами офицера (золотые, наряду с многим другим, были упразднены Французской республикой как аристократическая показуха).

Его ноги облегали белые нанковые панталоны и гессенские сапоги. Лицо было затенено огромной треуголкой, украшенной трехцветной кокардой.

Но когда Анжела остановилась перед ним, он внезапно поднял голову, подтверждая ее догадку. Затем с нечленораздельным радостным криком вскочил на ноги и притянул ее к себе, прямо там, на улице, совершенно не думая о том, видит ли их кто-то из соседей или прохожих.

— Анжела, малышка Анжела! — прошептал он. — Я сижу тут уже добрых полчаса и начал было беспокоиться, куда ты запропастилась, но твой славный сосед заверил меня, что с тобой все в порядке; сказал, ты, мол, куда-то ушла прямо перед моим приходом.

Она прижалась к его груди, захлебываясь от нахлынувшей радости, и испытала столь глубокое облегчение, такая огромная тяжесть, казалось, свалилась у нее с сердца, что она даже заплакала.

— О, дорогой мой, я так рада, что ты приехал! Ты даже представить себе не можешь, как мне было одиноко. Никогда больше не оставляй меня! Ах, никогда больше не оставляй меня, Жером!

Она прильнула к нему, еще не до конца веря, что он действительно здесь, рядом, настолько неожиданным и чудесным был его приезд словно в ответ на ее постоянную безмолвную мольбу.

— Ладно-ладно, мы еще поговорим об этом. А пока, если только ты не предлагаешь разбить здесь бивак, может, все же войдем? Дай-ка мне ключ.

Анжела охотно подчинилась. Ее руки так дрожали, что она сомневалась, сможет ли сама отпереть дверь в уже опускавшихся сумерках. Они вошли вместе; его рука обнимала ее за талию, ранец висел у него на плече, позади, позвякивая, волочилась огромная сабля. Но поскольку крутая лестница была до того узкой, что пройти по ней мог только один человек, ей пришлось выскользнуть из объятий мужа и взбежать по ступеням первой.

Наверху, в единственной гостиной, обставленной просто, но со скрупулезной опрятностью, красноречиво свидетельствовавшей о домовитости хозяйки жилища, Анжела тут же бросилась раздувать угасавший в камине огонь, так как первым делом собиралась заняться приготовлением ужина.

Но когда Видаль увидел жалкую порцию хлеба и мяса, которую получила жена — паек на одного человека, выданный ей комитетом секции, — его суровое лицо омрачилось.

— Черт подери! У тебя что, в доме есть только это? Да ладно!.. И как двое могут этим поужинать?

— Не двое, Жером. Это все для тебя одного.

— Не съем ни единого кусочка. Эти пайки — твои собственные, и, по правде сказать, они весьма скудные. Да ими и голодный воробей не утолит аппетит. Право, неужели в Париже такие проблемы с продуктами?

— Можно достать и больше — нелегальным путем. Есть тут одна спекулянтка, которая по вечерам проходит под окнами с яйцами, маслом и прочим подобным провиантом. Надо будет не пропустить.

Анжела открыла окно пошире, чтобы они могли услышать торговку, когда та будет проходить мимо, затем какое-то время возилась с глиняным горшком, и только когда тот наконец был поставлен тушиться на оживший огонь, только когда ужин был приготовлен, обернулась и начала расспрашивать мужа о его внезапном приезде.

— Я тут en mission[1], как говорят граждане депутаты, когда приезжают в армию. Генерал Дюмурье возложил на меня две обязанности. Во-первых, собрать и доставить в Голландию настоятельно необходимое для размещенных там войск подкрепление. Это займет у меня тут, возможно, неделю. Во-вторых, я должен представить в Национальное собрание обвинительный акт против одного нечистого на руку подрядчика, который набивал собственные карманы государственными деньгами в ущерб французским солдатам. Это я сделаю уже завтра.

— А когда придет время возвращаться в Голландию, Жером, ты же не оставишь меня здесь, правда?

— А ты бы поехала со мной, малышка?

Он взял ее за плечи и, держа на расстоянии вытянутой руки перед собой, окинул в полумраке внимательным взглядом.

— Я просто должна, Жером. Не могу больше оставаться здесь одна, изо дня в день трепеща от страха.

— Бедное дитя! — он снова привлек ее к себе и погладил по щеке. — Все будет так, как ты сама пожелаешь. С этим нет ни малейших проблем, разве что тебе придется постоянно переезжать с места на место, жить скитальческой жизнью.

— Но так я хотя бы буду знать, что ты где-то рядом, иногда смогу тебя видеть.

— Прекрасно. Раз уж твое желание таково, я согласен. Да и выигрываю я от этого больше, чем ты!

Он поцеловал ее, и она со смехом вырвалась из его объятий. В этот миг Анжеле казалось, что ее страдания не были напрасными: столь безграничное счастье обещало это их предстоящее воссоединение!

Склонившись над огнем, она принялась помешивать содержимое горшка, в то время как Жером подошел к открытому окну и выглянул наружу.

— Pardieu! — выругался он. — Как же тут воняет! Да и от кузниц Люксембургского дворца шум стоит такой, что закладывает уши.

— Это меньшее из того, что мне довелось вынести, — отозвалась Анжела. Затем вдруг распрямилась, прислушалась и воскликнула: — Вот!

[1] С временным поручением; на задании (фр.)

Перекрывая грохот и лязг цехов, в которых отливали пушки, чей-то пронзительный голос прокричал:

— Linges et dentelles! Linges et dentelles![1]

Открыв ящик стола, Анжела вынула из него небольшую стопку ассигнатов — бумажных денег республики.

— Вот и нужная нам спекулянтка, — сообщила она Жерому и бросилась к двери.

— Но она же выкрикивает: «Белье и кружева!» — изумился тот.

— Приходится! Кричала бы: «Яйца и масло!» — вмиг оказалась бы в Консьержери, — рассмеялась Анжела и выскочила на лестницу.

Сбежав вниз, она распахнула дверь и с крыльца молча поманила к себе женщину, шедшую по улице с продолговатой panier[2] на голове. Торговка опустила корзину на булыжную мостовую прямо у двери.

Казалось, в корзине действительно нет ничего, кроме грубого льняного и еще более грубого кружевного белья. Но Анжела давно уже ходила в клиентках у этой женщины, и потому они сразу же — без долгих предварительных переговоров, необходимых между людьми незнакомыми — перешли к делу. Под тонким слоем постельного белья была припрятана драгоценная контрабанда: яйца, сливочное масло, даже сегодня, к великому счастью, два жареных цыпленка и несколько батонов свежеиспеченного хлеба.

Анжела купила всего понемногу, решив, что в этот вечер не будет никакого республиканского поста: по случаю возвращения Жерома они закатят самый настоящий пир. Цыпленок, полдюжины яиц, кусок масла и пара батонов перекочевали в большую салфетку, которую она захватила с собой.

Все это было проделано тайно — прямо на крыльце, где они были защищены от посторонних глаз, особенно с учетом сгущавшейся темноты, благоприятствовавшей этой незаконной торговле.

Анжела протянула спекулянтке ассигнат в десять франков. Женщина сперва чуть замешкалась, поправляя лежавшие в корзине товары, затем, взяв купюру одной рукой, другой начала шарить в кармане в поисках мелочи, но вдруг замерла и вся обратилась в слух.

Обе уловили зловещий звук — внезапное свирепое бурчание, раздавшееся совсем рядом, не дальше Сен-Сюльпис, и в один миг поднявшееся до ноты, перекрывшей непрекращающийся шум кузниц, из-за которого до сих пор этого гула и не было слышно.

Спекулянтка добавила к незаконной торговле еще одно, более тяжкое, преступление, выказав приверженность религии, входившей в число институтов, упраздненных Французской республикой. Рукой, нашаривавшей сдачу, она торопливо перекрестилась, и ее губы пробормотали молитву Пресвятой Богородице.

Анжела стояла, напряженно прислушиваясь к зловещему гвалту и благодаря Небеса за то, что с нею Видаль.

[1] Белье и кружева! Белье и кружева! (фр.)

[2] Корзина (фр.)

Она слишком хорошо знала этот рев толпы. Из всех мерзких звуков охваченного ужасом Парижа только этот вызывал у нее панический страх: у нее начиналось удушье, к горлу подкатывала тошнота, перед мысленным взором, терзая душу, вставал образ юноши, чьи крики, сливавшиеся с этим отвратительным шумом, она слышала однажды ночью на улице Железного горшка, когда эти волки в человеческом обличье тащили его к фонарному столбу, на котором потом и повесили.

Торговка поспешно вернула ей ассигнат.

— Оставьте у себя, citoyenne, — пробормотала она. — Запла́тите мне завтра или в следующий раз, когда я буду проходить здесь. Боюсь, как бы чего не случилось, пока буду отсчитывать сдачу.

Но Анжела вложила банкноту обратно ей в руку.

— Возьмите, возьмите, — сказала она. — Сдачу будете мне должны. И поспешите, не тратьте попусту время.

Сунув ассигнат за пазуху, женщина подхватила корзину. Сейчас важнее всего было уйти.

— Боже! — пролепетала она. — Если бы меня нашли и увидели, с чем я хожу, меня разорвали бы на куски! — Она снова поставила корзину на свою голову. — Это опасный промысел, citoyenne, но мы, бедняки, выкручиваемся кто как может. Да хранит вас Господь! — И, не дожидаясь ответа, женщина быстро засеменила в сторону Люксембургского сада.

Тем временем хриплый хор голосов, доносящийся со стороны Сен-Сюльпис, быстро приближался к другому углу улицы, распевая:

Ah, ça ira, ça ira, ça ira!
Les aristocrat' à la lanterne,
Ah, ça ira, ça ira, ça ira!
Les aristocrat' on les pendra![1]

Уже открыв дверь и одной ногой переступив порог — ей не терпелось поскорее укрыться в четырех стенах, — Анжела остановилась.

Но не рев этой песни, такой легкомысленной и веселой по тону, но ужасной и беспощадной по смыслу, задержал ее. Ее уши уловили звук шаркающих шагов, раздавшийся совсем близко, и, прежде чем ей пришло в голову, кто бы это мог быть, запыхавшийся молодой человек влетел на крыльцо, едва не сбив ее с ног, — она непременно упала бы, если бы не ухватилась за косяк открытой двери.

---

[1] Дело пойдет, дело пойдет!
Аристократов веревка найдет.
Дело пойдет, дело пойдет,
Аристократов повесит народ.
Строки из «Ах, дело пойдет!» (фр. «Ah, ça ira!»), одной из самых знаменитых песен Великой французской революции, до появления «Марсельезы» являвшейся неофициальным гимном революционной Франции.

От этого жесткого столкновения перепугались оба — и Анжела, и незваный гость. Вскрикнув, незнакомец отскочил в сторону, затем, увидев, что перед ним женщина, принялся взывать к ее состраданию.

— Citoyenne, из жалости, из милосердия, — пробормотал он, протягивая к ней руки в жесте мольбы, — позвольте войти, позвольте укрыться, или хотя бы присесть здесь, пока они не пройдут мимо! Сжальтесь надо мной, во имя нашей сострадающей Богородицы!

Так он умолял, сжавшись и дрожа от обуявшего его страха, в то время как Анжела, охваченная едва ли меньшим ужасом, просто стояла и смотрела на него, не в состоянии произнести ни слова и прислушиваясь к звукам приближающейся погони.

Она различила высокую и стройную фигуру, скорее всего, молодого мужчины — понять наверняка было сложно, потому что разглядеть лицо, находившееся слишком глубоко в тени, не представлялось возможным. На нем были облегающие белые нанковые панталоны, гессенские сапоги и длинный желтовато-коричневый редингот. Шляпа отсутствовала, взлохмаченные волосы длинными прядями падали на лицо, покрытое испариной страха.

— Они уже близко, — прошептал он так испуганно, что его шепот прозвучал для напрягшегося рассудка Анжелы почти как крик, и перед глазами у нее снова встал образ того юноши, которого повесили на фонаре прямо под ее окном.

Действительно, преследователи приближались. Они видели, как он завернул за угол улицы Железного горшка, и, разгоряченные близостью добычи, шумно двинулись следом. Хриплые, мерзкие голоса и громыхание сабо по булыжной мостовой катились к дверному проему, в котором укрылись беглец и гражданка Видаль.

— Dieu de miséricorde![1] — воскликнул он. — Увидите, меня убьют прямо здесь, у ваших ног! Сжальтесь, мадам, умоляю!

Обернувшись вполоборота, Анжела указала рукой на распахнутую настежь дверь.

— Allez![2] — прошептала она. — Скорее! Подождите меня внутри! — Затем, оставаясь практичной даже в столь жуткой ситуации, добавила: — Сюда! И возьмите вот это! — И она протянула ему обернутую салфеткой провизию, покупка которой объясняла ее присутствие на крыльце.

Не мешкая ни секунды, мужчина выхватил из ее рук сверток, мелькнул в черной щели дверного проема и исчез. Анжела тихо закрыла за ним дверь, а затем со спокойствием, удивившим ее саму, обернулась, чуть наклонилась вперед и окинула улицу взглядом.

Бóльшая часть своры преследователей уже приближалась к ее двери. Словно сбившиеся со следа гончие, они чуть замедлили темп. Их было десятка два, почти треть — женщины, грязные, бесполые мегеры. Заметила Анжела в этой толпе

[1] Боже милосердный! (фр.)

[2] Здесь: Давайте, входите! (фр.)

и пару сорванцов — худосочных, полуголодных, полуголых детей трущоб, — цеплявшихся за юбки мамаш и определенно жаждавших кровавого зрелища.

Увидев гражданку Видаль, группа преследователей остановилась. Вожак, хмурый бородатый громила в меховой шапке (люди благородного происхождения носили такие во время путешествий), сливавшейся с его спутанными, нечесаными каштановыми волосами, окинул Анжелу злобным взглядом.

— Куда он направился? — свирепо спросил он, пристально вглядываясь в ее побелевшее лицо налитыми кровью глазами.

— О ком это вы, гражданин? — ответила она вопросом на вопрос. — Вы кого-то ищете?

— О ком это я? — переспросил он, пародируя ее речь. — Клянусь святой гильотиной, а ты — та еще жеманница!

Но тут другой революционер, куда более нетерпеливый, плечом отодвинул его в сторону:

— Мы ищем одного бывшего аристократа, ускользнувшего от нас возле foire[1].

— Вот-вот! — взвизгнула какая-то женщина, вскинув худую голую руку с зажатым в ней мясницким ножом. — Пса-аристократа с напудренными волосами — подумать только: с напудренными волосами! — вскричала она. — Никчемный человечишка посыпает свою грязную голову пшеничной мукой, в то время как настоящие патриоты живут впроголодь, питаясь простым гороховым хлебом!

— Клянусь покойной матерью, уж этот-то получит от нас пшеничную муку! — пообещал первый патриот. — Как поймаем этого пса, испечем из его парика хлебушек для бедных!

— Сначала нужно его изловить, — проворчал второй, более прагматичный. — И в какую только дыру он забился? — он снова повернулся к Анжеле, стоявшей неподвижно, словно статуя, в дверном проеме. — Так ты видела его или нет? — спросил он. — Он должен был пройти тут, так как повернул за угол прямо у нас на глазах и просто не мог добежать до другого конца улицы, потому что мы почти тотчас же припустили следом. Ты должна была его видеть.

— Да я буквально только что вышла — посмотреть, что происходит, — ответила Анжела. — Если он и прошел тут, то, вероятно, до моего появления.

Раздался общий рык ярости и разочарования. Менада с ножом придвинулась ближе к двери. Ее свирепые, голодные глаза оценивающе разглядывали стройную фигуру и белое лицо гражданки Видаль с ненавистью, питаемой подобными особами ко всем, кто сохранил хоть какие-то следы изящества и мягкости, присущих женскому полу.

— Ух не покрываешь ли ты его? — вскричала фурия с невыразимой злобой. — Может, ты и сама, с этим твоим белым лицом, белыми руками и жеманной речью, — аристократка? — повернувшись к остальным, она выбросила вперед руку с ножом в обвинительном жесте. — Она лжет, говорю я вам! Да вы только взгляните на нее! Разве она похожа на патриотку,

[1] Базар, ярмарка (фр.)

на истинную дочь Франции — славной новой Франции, восставшей из пепла тирании и порока?

Толпа молчала, и ее молчание было зловещим. Обманутые одной жертвой, эти санкюлоты увидели здесь возможность утешиться, утолить свою пробудившуюся жажду крови другой. Эта женщина выглядела мягкой и милой, обладала непростительными, антиреспубликанскими качествами: привлекательностью и чистотой; и теперь все они думали так: раз уж изначально намеченная жертва от нас ускользнула, можно возложить на алтарь нации и вот эту.

Анжела стояла, чувствуя, как ледяной, парализующий страх охватывает ее в этой зловещей, многозначительной тишине, под обращенными на нее взглядами, полными гневной злости.

Она могла бы повернуться и уйти в дом, но это значило бы уступить. Конечно, подумала она, Видаль все слышит и сейчас придет на помощь. Вдруг в толпе раздался хриплый смех, и какой-то патриот, все еще молодой и умевший ценить женскую привлекательность, а потому отнесшийся к красоте Анжелы иначе, чем его товарищи, протолкнувшись вперед, отодвинул менаду плечом в сторону.

— Да ладно тебе! — презрительно рассмеялся он ей в лицо. — Tu n'est qu'une femme[1], и, как и все женщины, непоследовательна. Или, быть может, ты и сама хочешь спасти этого пса-аристократа, посыпающего голову мукой, украденной из хлеба бедняков?

— Это я-то? — вскричала гарпия. — Это я-то хочу спасти аристократа? Ты это — мне? Мне, которая в сентябре в Ла Форсе[2] перерéзала глотки дюжине ему подобных? Говорю вам, она — предательница, приютившая у себя пса, которого мы преследовали, она...

— Что тут происходит?

Голос, задавший этот вопрос, резкий, металлический и властный, оборвал тираду мегеры, заглушив весь шум, поднявшийся у крыльца. Патриот, стоявший слишком близко к Анжеле, был отброшен ударом в сторону, другой отлетел в объятья тех, кто стояли за ним, и вперед, с лязгом волочившейся за ним сабли, вышел Видаль. Он встал рядом с Анжелой, и та облегченно вздохнула.

— Что тут происходит? — переспросил полковник еще более резким и грубым тоном, окинув толпу пылающим взглядом.

Первой пришла в себя мегера. Обнажив свои желтые клыки в приступе злобы, она вскричала:

— Тебе-то какое дело? Или, быть может, гражданин солдат, ты тут выступаешь в роли оруженосца при благородной даме? — и она пронзительно рассмеялась. — Да будет благословенна гильотина!

— Естественно, мне есть дело до того, что вы оскорбляете мою жену — жену французского солдата. Уматывайте отсюда, или с вами разберется комитет секции.

---

[1] Ты всего лишь женщина! (фр.)

[2] Тюрьма *Ла Форс*, где в начале сентября 1793 года, по решению «народного трибунала», шестьдесят «патриотов» устроили расправу над заключенными из числа дворян, убив за два дня сто шестьдесят человек.

Его непоколебимая уверенность в себе, мундир, трехцветный шарф на талии, рост и очевидная сила произвели на толпу впечатление.

Менаду, однако, было не так легко запугать, как ее сотоварищей. Размахивая ножом перед самым носом полковника, она обратилась к нему с революционной прямотой, характерной как для мусорщика, так и для депутата, и напомнила, что все люди равны и что ему не следует думать, будто офицерский чин дает ему какое-либо превосходство, кроме чисто номинального, — мол, если это звание что-то и значит, то только в его полку.

Рассказав историю об аристократе с напудренной головой, которого они преследовали и потеряли, она обвинила Анжелу в том, что та предоставила беглецу убежище.

— Вот еще! — проворчал Видаль. — Ложь чистой воды!

— Спроси у нее сам! — вскричала мегера. — Спроси у нее сам!

Но Видаль и сам умел разговаривать на революционном жаргоне, причем не хуже, чем на любом другом. На этом-то «языке» он ей и ответил:

— Какая в этом нужда? Разве я не был внутри? Я и сам прекрасно знаю, что сюда не входил ни один аристократ! Да и потом, с чего мне оскорблять жену подобным вопросом?

В его голосе бурлила ярость.

— Или, может, кто-то из вас думает, что, пока я на границе проливаю кровь за свободу в битве против тиранов, моя жена здесь, в Париже, могла подружиться с врагами свободы? Если так, то вы не знаете ни самого Видаля, ни его супруги — женщины, у которой больше причин ненавидеть аристократов, чем у любой из стоящих сейчас передо мной. Будь она способна на такое предательство, я бы сам, собственными руками, придушил ее прямо здесь, клянусь богиней рассудительности[1]!

Это был именно тот тон, каким и следовало говорить с ними: избитые фразы, звучащие с псевдоклассическим благородством, в которых им преподносились революционные доктрины. Чернь сразу же подчинилась воле Видаля, уже почти благоговея перед этим республиканским рвением, превосходившим их собственное.

Повернувшись к Анжеле, Жером добавил:

— Пройди в дом. Я сейчас буду.

Послушно развернувшись, она оставила его ждать, пока вся эта революционная шушера разбредется. Никто из патриотов не посмел воспротивиться ее уходу.

У подножия лестницы Анжела на миг прислонилась к стене, чтобы прийти в себя, и, потрясенная, трепещущая, разговор с этой кровожадно настроенной толпой дался ей ох как непросто! — прижала руку к груди, пытаясь унять волнение. Она вглядывалась в полумрак, пытаясь разглядеть беглеца, и наконец заметила его, сжавшегося в комок, под лестницей; было различимо

[1] Имеется в виду Афина, которую древние греки почитали как богиню мудрости, рассудительности и добрых советов, справедливой войны и мира.

только призрачно белевшее лицо. Вот почему, поняла она, Видаль, спускавшийся в спешке, его не заметил.

— Ступайте наверх! — прошептала Анжела, и незнакомец мгновенно подался вперед, повинуясь.

Из-за прикрытой двери она слышала голос Видаля, но не произносимые им слова. Затем раздался смех толпы, от которого Анжела содрогнулась и, держась за перила, последовала по крутой лестнице за беглецом, осторожно нащупывая ступени, потому что уже почти стемнело.

II
Шевалье де Сейрак

Приостановившись на лестничной площадке, мужчина дождался Анжелу, и та провела его в гостиную, где ярко горевший в камине огонь разгонял сгущавшиеся сумерки.

Хозяйка жестом указала на стул, и беглец в изнеможении опустился на него, вытирая выступивший на лбу пот. Подойдя к окну, Анжела на всякий случай закрыла ставни и лишь затем зажгла свет.

Когда она ударила кремнем по огниву, незнакомец, уже в достаточной мере оправившийся, наконец заговорил:

— Как мне отблагодарить вас, мадемуазель?

Хотя человек этот все еще никак не мог отдышаться, его голос был приятно модулирован и напомнил ей чей-то, вот только она не могла вспомнить, чей именно.

— В этом нет необходимости, гражданин. Я сделала только то, что должна была бы сделать любая женщина, оставшаяся среди всего этого хаоса женщиной. И я не мадемуазель, гражданин.

— Прошу прощения, мадам, — он поднялся, чтобы выказать ей почтение, вероятно, сочтя неуважительным сидеть, в то время как сама она стоит перед ним.

— И не мадам, — снова поправила его Анжела.

— Еще раз прошу прощения, citoyenne, — похоже, он наконец-то понял. — Следовало и самому догадаться, раз уж вы приютили меня у себя.

— Если вы полагаете, что я — республиканка, то ошибаетесь. Я жена французского солдата.

Он галантно поклонился ей в полутьме. Анжеле это не понравилось, и еще больше не понравилась учтиво-официальная речь, покоробившая ее своей неискренностью.

— Вашему мужу, citoyenne, можно только позавидовать и поздравить его.

Ничего не ответив, она зажгла свечи, а затем подошла к очагу и обратила все свое внимание на горшок с тушеным мясом.

— Они еще не ушли, citoyenne? — спросил незнакомец, но таким тоном, что вопрос вполне можно было счесть риторическим.

— Уйдут, — ответила она. — Бояться вам уже нечего, — затем, меняя тему, добавила: — Я дала вам салфетку, в ней кое-что было...

— Она здесь, на столе, citoyenne.

Обернувшись, Анжела посмотрела на стол и увидела сверток, затем перевела взгляд с него на лицо беглеца. Какое-то время она и ее гость стояли лицом к лицу в желтом свете свечей, молча глядя друг на друга широко раскрытыми глазами. Наконец оба — одновременно — заговорили.

— Вы! — воскликнула она.

— Анжела! — вскричал он.

И они снова замерли в изумлении, молча глядя друг на друга. Анжела уже поняла, что именно показалось ей столь поразительно знакомым в томном голосе гостя. Колесо времени повернулось вспять.

Он почти не изменился за десять лет, прошедших с тех пор, как двадцатилетним юношей не давал ей, семнадцатилетней девушке — совсем почти еще дитя! — прохода. Глядя на него, она мысленно вернулась в Нормандию, в родной Бовалуар, где этот шевалье де Сейрак был почти властелином жизни и смерти, волком, который безжалостно сожрал бы ее, если бы Видаль не вмешался и не увез ее туда, где ее не могла достать месть сеньора, никому не прощавшего сопротивления его воле.

Прошло десять лет, и хотя то событие произвело на Анжелу глубокое впечатление, хотя оно было самым значительным в ее жизни, тем не менее, бури и стрессы последнего пятилетия, вызванные ими огромные перемены — перемены, в которых Видаль и его жена тоже сыграли свою роль, — все это привело к тому, что та история десятилетней давности, изменившая все течение жизни как самой Анжелы, так и ее супруга, расплылась в смутную тень, была почти забыта до этого драматичного момента.

— Вы! — повторила она после продолжительной паузы и рассмеялась, оценив иронию судьбы, сведшей их вместе после стольких лет и при обстоятельствах, столь гротескно отличающихся от тех, которыми была ознаменована их последняя встреча.

В те давно ушедшие дни он был преследователем, гонителем, она же — беглянкой, искавшей защиты у честного буржуа, которого любила. Теперь сам Сейрак стал беглецом, преследуемым, и именно к ней из всех женщин Земли он явился за убежищем и защитой.

От этого ее смеха, визгливого, резкого и немного насмешливого, Сейраку, чьи чувства и так были обострены до предела, стало еще более не по себе. Он беспокойно заерзал, и изумление в его взгляде сменилось едва заметной настороженностью.

— Вы... вы же меня не выдадите? — пробормотал он, запинаясь. — Не станете мне мстить за мой ужасный грех, заключавшийся в любви к вам, Анжела; за то, что именно эта любовь вынудила меня...

— Еще хоть одно только слово об этом, — перебила его она, повысив голос в приступе гнева, — и я откину ставни и позову ваших толпящихся внизу друзей, — она смерила его взглядом, преисполненным ледяного презрения. — Вы сейчас в моей власти, господин шевалье, как когда-то, когда вы пытались меня удержать, была в вашей и я. Если хотите, чтобы я проявила больше великодушия и милосердия, чем тогда вы, не провоцируйте меня лишний раз, вызывая горькие воспоминания.

На какой-то миг Сейрак даже съежился — столь величественным, воистину королевским был ее гнев, — затем пожал плечами и безвольно опустил руки.

В этот момент дверь внизу с резким стуком захлопнулась. С улицы донесся грохот сабо по булыжным камням мостовой, затем снова зазвучал нестройный хор голосов: охота возобновилась.

— Дело пойдет, дело пойдет!

Аристократов повесит народ!

Вскоре голоса стихли, скорее, даже слились в один и затерялись в нескончаемом реве кузниц Люксембургского дворца.

— Уф! — выдохнул Сейрак с нескрываемым облегчением. — Наконец-то ушли, — он снова взглянул на хозяйку, немного помолчал и сказал: — Поскольку я здесь гость явно нежеланный, мне остается лишь поблагодарить вас за то, что вы сделали для... чужака, и тоже, в свою очередь, удалиться.

Он сделал новую паузу, но Анжела снова ничего не ответила. Тогда он едва заметно опустил голову, как человек, склоняющийся перед неизбежным.

— Citoyenne, — сказал он. — Вы и сами знаете, что может ждать меня на улицах. Я вовсе не трус. Сейчас меня подтолкнул к бегству исключительно инстинкт самосохранения. Но если бы убежать не удалось, я умер бы, не посрамив своего имени. In articulo mortis[1] я, наверное, такой же, как все. Надеюсь, вы поймете мое желание помириться с теми, кого я, возможно, обидел поступками или намерениями, и я уйду с куда более легким сердцем, если буду уверен в том, что прощен за все между нами случившееся.

Эти слова, конечно же, тронули молодую женщину, растопив всю ее враждебность. Но прежде чем она успела что-либо ответить, дверь распахнулась, и возникший на пороге Видаль смерил ее пристальным взглядом.

Сейрак отшатнулся, тут же — чисто ассоциативно — узнав этого человека, но быстро пришел в себя и стоял, полупрезрительно улыбаясь; в его красивых глазах сквозила смертельная усталость.

— От Харибды прямиком к Сцилле, — проговорил он чуть ли не цинично. — Впрочем, какая разница? Я устал от всего этого, устал от постоянных попыток сохранить свою обезумевшую голову на плечах.

Видаль выступил вперед и посмотрел на Анжелу с легким удивлением.

— Выходит, все это было правдой? — спросил он и коротко рассмеялся, вспомнив о том, как убалтывал чернь.

— Как видишь, — тихо ответила Анжела. — Но тогда я не знала, кого укрываю.

[1] Перед лицом смерти; в момент смерти (лат.)

— И кого же такого ты укрываешь? — переспросил Жером, явно заинтригованный.

Полковник бросил на беглеца новый озадаченный взгляд; затем присмотрелся более внимательно, и его суровое лицо потемнело. Взяв со стола свечу, он поднял ее так, чтобы еще лучше разглядеть гостя, а когда узнал, то из его горла вырвалось нечто вроде рычания.

— Ха! Бог не спит!.. Шевалье де Сейрак, — мрачно произнес он, возвращая свечу на место.

Шевалье пожал плечами. Поскольку все пути к бегству, как он и предполагал, теперь были для него отрезаны, он готов был встретить погибель с гордым аристократическим безразличием.

— Я полагал, республика опровергла подобные толки, — произнес он с усмешкой.

— Но вы, похоже, являетесь живым свидетельством того, что они отнюдь не беспочвенны, — возразил Видаль. — Вам известна хоть одна причина, по которой мне не следовало бы погасить долг, что лежит между нами?

— Да нет, — безразличным, почти презрительным тоном ответил Сейрак.

— Но тогда, Анжела, нам остается лишь бросить этого красавчика-христианина на растерзание львам.

— Жером! — она схватила мужа за руку, лицо ее побелело.

— Что еще? Черт подери! Ты же не намерена предложить мне проявить к нему милосердие?

— Пусть прошлое останется в прошлом. В конце концов, Жером, он не причинил мне никакого реального вреда. Возможно, и хотел, но ему в этом помешали. Давай же проявим толику сострадания и позволим ему уйти с миром куда ему будет угодно.

Видаль впился в нее взглядом.

— Ты хочешь, чтобы я отпустил его? — спросил он насмешливо. — Ну да, пусть убегает, но что, если потом ему снова вздумается поиграть в волка? Уж точно не этого хотела судьба, когда из всех парижских домов привела его именно в твой. — Жером почти грубо оттолкнул жену от себя. — Он был направлен сюда, чтобы получить возможность рассчитаться по долгам. Воля судьбы совершенно ясна.

Видаль посмотрел на Сейрака.

— Знаете, какие воспоминания вы во мне пробуждаете? — спросил он с невеселой улыбкой. — Я вспоминаю тот ненастный день марта — или жерминаля, по календарю Свободы — десятилетней давности, когда, преследуемые вашими громилами, мы с Анжелой бежали из Бовалуара. Чем бы все закончилось, настигни они меня? Чем бы все закончилось для нее? Разве вы бы нас пощадили? И, однако же, она просит меня пощадить вас!

Он коротко и горько рассмеялся.

— Да, это был жерминаль — месяц всходов. А сейчас у нас фрюктидор — месяц плодоношения и сбора урожая. В якобинском календаре присутствует

юмор, как нельзя лучше подходящий для вашей ситуации. Что вы посеяли, то теперь и пожнете.

— Да все что угодно, только избавьте меня от ваших речей, — сухим тоном ответил Сейрак и иронически поклонился.

Видаль отвернулся к окну, но Анжела снова преградила ему путь.

— Да нет же, Жером! Сам подумай! — ее голос дрожал от необъяснимого страха. — Мне что-то подсказывает, что подобное жестокосердие принесет нам несчастье, — отпусти его, во имя всего святого! Это будет самая благородная месть! Кто он для нас? Никто и ничто — даже меньше, чем ноль. Пощади его, Жером! Если любишь меня, исполни в этом мою волю.

Видаль посмотрел на нее с изумлением.

— Если?.. Неужели ты сомневаешься?.. — проговорил он тихо и нежно. — Что ж, раз ты просишь об этом, пусть так оно и будет. В конце концов, как ты говоришь, он даже меньше, чем ноль, — он повернулся к Сейраку: — Гражданин, вы свободны. Можете идти.

— Благодарю вас за снисходительность, — ответил Сейрак, глядя при этом на одну лишь Анжелу.

Поклонившись, он сделал шаг в направлении двери, на этом шаге внезапно запнулся, пошатнулся и рухнул на пол.

Совершенно не ожидавший такого поворота событий, Видаль уставился на жену.

— И что будем делать теперь? — потрясенно спросил он.

Анжела опустилась на колени рядом с лежащим без сознания мужчиной и просунула руку ему под плечи, чтобы приподнять голову, но, почувствовав на руке нечто влажное, в тот же миг резко ее отдернула.

— Он ранен! — вскричала она.

Приступ слабости, ввергший шевалье в обморок, длился всего несколько мгновений. Как только Анжела договорила, он снова открыл глаза, похожие на черные лужицы на жутко бледном лице.

Какое-то время они выглядели тусклыми и бессмысленными, затем, мало-помалу, оживились, и вскоре уже смотрели с недоумением и вопросом, свидетельствовавшими об отсутствии ориентации в окружающей обстановке, что неизбежно является непосредственным следствием бессознательного состояния. Но когда смутный взгляд Сейрака упал на Анжелу, все еще поддерживавшую его голову, он полностью пришел в себя.

— Прошу меня извинить, — пробормотал шевалье. — Неудобно доставлять вам столько хлопот, но... — он слабо улыбнулся.

Видаль опустился рядом с ним на колено.

— Позвольте взглянуть на вашу рану, гражданин шевалье.

— Да ну! Это сущий пустяк. Один из тех псов швырнул в меня нож, когда я сворачивал за угол. Всего лишь царапина, я даже не обратил на нее внимания. А в обморок, вероятно, упал от слабости — ничего не ел со вчерашнего утра.

Видаль по сути был человеком добрым и великодушным, и обморок Сейрака пробудил в нем жалость, которая затмила многое в воспоминаниях о том, что произошло между ними в прошлом. Не понадобилось и вмешательства уже готовой умолять мужа Анжелы, чтобы полковник превратился по отношению к своему давнему врагу в доброго самаритянина.

Вдвоем Видаль и его супруга помогли шевалье подняться на ноги и усадили на стул. Полковник обнажил поврежденное плечо беглеца, и Анжела промыла и перевязала рану, которая действительно была пустячной, как и сказал Сейрак.

Потом она быстренько приготовила ужин, и вскоре перед беглецом уже стоял дымящийся, аппетитно пахнущий омлет. Сейрак сразу же набросился на него, и, несмотря на свое изысканное воспитание, принялся уминать за обе щеки. Впрочем, пил он с не меньшей жадностью, чем ел.

Видаль угостил его крепким, обжигавшим желудок красным вином, которое в более счастливые дни шевалье счел бы чистым ядом, но несчастья и лишения усмирили, по крайней мере, его физическое высокомерие. Он пил, пока бутылка не опустела, смакуя эту едкую жидкость с должной благодарностью.

Даже при том, что Сейрак приступил к ужину первым, закончил он его последним. Согретый пищей и слегка взбодренный вином, он с легким вздохом глубочайшего удовлетворения откинулся на спинку стула.

В силу своей жалости к беглецу, хозяйка и хозяин уже стали относиться к шевалье с таким дружелюбием, что он совершенно успокоился.

— Человек, — заметил Сейрак, — есть порождение его собственного желудка. В этом вся философия жизни. Еще полчаса назад, усталый, как собака, я пытался хоть где-то укрыться, чтобы сохранить жизнь, ставшую для меня пустой уже просто потому, что пустота была моим физическим состоянием. Я был готов пойти и отдать себя во власть парижского сброда, лишь бы со всем этим покончить. Но теперь, покушав и вдоволь напившись, я словно родился заново. Теперь, вновь обретя энергию и силы, я больше всего на свете — почти любой ценой — хочу продлить свою жизнь, так что, граждане, вы понимаете, сколь глубока моя благодарность.

Им стало интересно, что он делал в Париже.

— Да так, приехал по собственной глупости, — сообщил он. — В моих планах было отправиться в Англию. В Нанте у меня есть друг, который поможет мне с этим, сто́ит мне только к нему обратиться. В общем, чтобы не чувствовать себя в чужой стране обездоленным, я и вернулся в надежде, что получится заскочить в свой особняк и взять кое-какие остававшиеся там вещи и драгоценности. Мне и самому следовало бы понимать всю тщетность этой поездки. Естественно, еще до меня там пошуровало всякое отребье, а то, что уцелело после этих плебеев, ваши друзья из Конвента сгребли в сокровищницу нации. Словом, я прикатил сюда зря, равно как и ваша доброта ко мне, возможно, будет потрачена впустую, вкупе со всеми вашими хлопотами, направленными на то, чтобы привести меня в чувство, ибо едва ли мне теперь удастся покинуть Париж с головой на плечах.

Он снова погрузился в мрачную задумчивость.

— Теперь, когда все сказано, — заключил он вскоре, — я понимаю, что сглупил, когда сбежал нынешним вечером от всего этого сброда: простой животный инстинкт самосохранения на какое-то время возобладал над моим рассудком. Теперь я вижу, что куда лучше было бы спокойно позволить им схватить меня и прикончить прямо там, на месте.

В доброте, как и во всем остальном, трудны только первые шаги.

Как только они сделаны, повернуть назад уже непросто. Анжела прониклась к беглецу еще большей жалостью. Его безропотность и уныние — и, кто знает, может, также приятная наружность, поскольку Сейрак был красивым мужчиной, носившим на себе печать знатности, обусловленную хорошим воспитанием, — полностью стерли все, что было в прошлом, и в такой мере пробудили в ней сострадание, что теперь она жаждала спасти его во что бы то ни стало. Повернувшись к Видалю, она спросила:

— А ты, Жером, не можешь ему помочь? Может, есть способ как-нибудь тайно вывезти его из Парижа?

— Я?.. У меня?.. — переспросил Видаль, вытаращив глаза.

— Нет-нет! — воскликнул Сейрак. — Вы требуете от него слишком многого, citoyenne. Каким бы, возможно, я ни был сегодня, в молодые годы я совершил кучу глупостей — и даже кое-чего похуже, — и причинил немало зла вам обоим. Отвечать на зло добром как-то слишком снисходительно.

— Но по-христиански, — заметила Анжела.

Шевалье устало улыбнулся.

— По-христиански! Ха! Но республиканские власти, видите ли, объявили христианство вне закона. Нет-нет; вы просите полковника Видаля сделать больше, чем заложено в его натуре — возможно, даже больше, чем моя натура позволит принять.

Теперь уже и на суровом и честном лице Видаля можно было прочесть сострадание.

— Думаю, я могу, гражданин, предложить вам выход, если вы, конечно, готовы его принять, — сказал он. — Одна из моих задач здесь, в Париже, состоит в том, чтобы организовать сбор и доставку подкрепления для армии генерала Дюмурье. Там срочно требуются новобранцы, и, когда через неделю я покину Париж, со мной отправится отряд таких рекрутов. Видите, какую это открывает перед вами дверь? Рекрутируйтесь, гражданин шевалье. Приходите ко мне, и я зачислю вас в ряды новобранцев; никто и спрашивать вас ни о чем не станет. Оказавшись у нас в синем мундире, вы сможете забыть про грозящие вам опасности. Вы покинете Париж вместе со мной, и, как только мы проедем заставу, я тотчас же поручу вам какое-нибудь особое задание, которое даст вам возможность дезертировать и добраться до ваших друзей в Нанте.

Анжела горячо одобрила этот план, Сейрак же уставился на полковника с глубоким удивлением в угрюмых глазах.

— И вы действительно это для меня сделаете? — спросил он наконец, поднявшись и перегнувшись через стол.

— Если ваша натура позволяет принять мое предложение, — промолвил Видаль с легкой иронией.

— Более благородной мести и представить себе невозможно! Гражданин полковник, у меня нет слов, чтобы...

— Никаких слов и не нужно. Ближайшую ночь вам лучше провести здесь. Кровати, увы, мы предложить вам не можем, поскольку тут, как вы видите, тесновато, но, если вас устроят пол и коврик, тут вы точно будете в безопасности и сможете спокойно поспать. А уже завтра мы сделаем из вас солдата Французской республики, единой и неделимой!

Сейрак снова опустился на стул и, то ли от переполнявших его эмоций, то ли вследствие физического истощения, закрыл лицо руками и зарыдал.

III
Незадолго до Национального собрания

На следующий день, вскоре после полудня, Видаль явился в Тюильри во исполнение поручения генерала, и там совершил досадную оплошность, не только отвечая на праздные вопросы, касающиеся дела, приведшего его в Париж, но и отвечая на них правдиво.

Прояви он благоразумие, никто и не прознал бы про его миссию, пока он сам бы не выступил от барьера в зале Национального собрания перед народными представителями.

Если бы Сен-Жюст высказал свое возмущение там, как оно, вероятно, и было бы, — по крайней мере, у него бы не возникло претензий к самому Видалю. Скорее всего, он направил бы все свое негодование на генерала Дюмурье, минуя Видаля, который остался бы лишь слепым орудием в руках вышестоящего офицера.

Однако излишней разговорчивостью полковник втянул себя в прямой конфликт с Сен-Жюстом и тем самым подверг свою жизнь серьезной опасности.

Повздорили эти двое в тот ветреный день фрюктидора в холле дворца. Видаль взбежал по ступенькам, звеня шпорами и лязгая длинной саблей, схватил жирного привратника за плечо с такой силой, что шельмец аж скорчился, и громогласно скомандовал:

— Ступайте скажите народным представителям, что прибыл полковник Видаль из голландской армии, желающий донести до сего августейшего собрания жалобу от имени генерала Дюмурье.

Холл был заполнен обычной толпой зевак и деловых людей; патриоты в красных колпаках, неопрятные в силу своего «истинного» патриотизма, бездельничали, дымя грязными трубками; служители закона в черных мантиях

сновали туда-сюда в поисках дел или занимаясь оными; то тут, то там какой-нибудь депутат становился центром небольшой толпы кричащих республиканцев обоих полов; члены национальной гвардии в синих мундирах, несколько солдат и бесчисленное множество шпионов и агентов секций приходили и уходили или просто бродили по залу, перемещаясь от одной группы к другой.

Но едва прозвучал нагловатый голос Видаля, наступила тишина, столь же внезапная, сколь и всеобщая, и полковник обнаружил, что на него устремлены все взоры.

Это ничуть его не смутило. Он видел войну и смерть, и его не могли вывести из себя взгляды толпы оборванцев. К тому же он в полной мере отдавал себе отчет в том, что у него прекрасная для мужчины фигура, что он на несколько дюймов выше, чем самый высокий из присутствующих, и что в свои тридцать он еще достаточно молод для того, чтобы сохранять тщеславие по отношению к своей внешности и наслаждаться вниманием к ней.

Он снял руку с плеча привратника, который бросился докладывать о нем, и стоял, с некоторым высокомерием позволяя окружающим любоваться своим простым, но не лишенным приятности лицом и лихо сдвинутой на ухо огромной треуголкой с кокардой.

Из группы людей выступил капитан национальной гвардии.

— Кого я вижу — полковник Видаль!.. — воскликнул он, подходя ближе. — С неба вы, что ли, свалились?

Видаль взглянул на него сверху вниз.

— Вполне возможно, — отозвался он. — Я тут в качестве ангела мщения.

Начало вышло многообещающим, и многие незаметно приблизились в надежде, что последует продолжение, дополняющее уже сказанное.

Дюшатель, капитан национальной гвардии, принялся расспрашивать нашего полковника, и Видаль не нашел причин держать в секрете то, что вскоре должно было стать в Париже основной темой для разговоров.

— Этот грязный пес подрядчик жиреет на крови французских солдат, — сказал он. — Я прибыл для того, чтобы выдать ему щепотку табаку, от которого он чихнет так, что его голова отправится в национальную корзину.

Образ был нов и выдержан в истинно патриотическом ключе. Пара-тройка гоготунов зааплодировали.

Какой-то патриот в красном колпаке с кокардой и в неописуемо грязной одежде вынул из зубов трубку с длинным мундштуком и намеренно сплюнул на мантию какого-то адвоката, несомненно, показавшуюся ему слишком элегантной для истинного республиканца.

— Свинья! — свирепо прошипел адвокат.

— Брат, — невозмутимо ответил патриот, — если ты будешь путаться у меня под ногами, такое произойдет еще не раз и не два.

И, обратив налитые кровью глаза на Видаля, он хриплым голосом потребовал назвать имя и точное преступление того отъявленного подлеца, в адрес которого полковник намеревался выдвинуть обвинение.

Видаль выложил все без колебаний. Как солдат, он, естественно, был глубоко возмущен преступлением, о котором явился сообщить, и его не волновало, как скоро весь мир узнает гнусные подробности сей махинации.

— Предатель, о котором я говорю, — государственный подрядчик, получивший от нации деньги за снабжение армии сапогами. В своей безумной алчности этот гнусный пёс прислал нам сапоги, сделанные скорее из бумаги, чем из кожи, в результате чего французские солдаты ходят чуть ли не босиком, что привело к потере многих сотен жизней — жизней, ценных для Франции в ее час стресса, жизней, принесенных в жертву ради того, чтобы этот вор мог обогащаться изо дня в день.

Поднялся ропот возмущения.

— Имя! Назовите нам его имя! — вскричали несколько человек.

Несколько запоздало Видаль осознал, что следовало бы быть более благоразумным.

— Его имя я оставлю гражданам депутатам, — сказал он и, так как его уже обступали, вынужден был упереться локтями в бока и напрячь все силы, дабы расчистить пространство вокруг себя. — Отойдите! — взревел он. — Заклинаю вас святой гильотиной!

Вернулся привратник и объявил, что Национальное собрание в данный момент проводит дебаты. Гражданин председатель желает, чтобы полковник Видаль подождал, но был наготове: его известят, когда Конвент разрешит ему выступить.

А затем, прежде чем Видаль успел что-либо ответить, кто-то похлопал его по плечу. Обернувшись, он увидел стройного юношу: белое, веснушчатое лицо, насмешливый рот, непокрытая голова, рыжие, как лисья шерсть, волосы. Одет он был с такой скрупулезной тщательностью, что мог бы сойти за аристократа.

— Можно вас на пару слов, полковник Видаль? — тихо сказал он, и насмешливый изгиб его рта сделался еще более заметным.

— Да на сколько угодно, — сказал Видаль, — хотя, черт возьми, я и не знаю, кто вы такой!

— Мое имя Сен-Жюст, — ответил незнакомец. — Я — самый незаметный и ничтожный из представителей августейшего народа.

Эту характеристику он мог и не добавлять: одного уже имени было бы достаточно для любого, и уж точно более чем достаточно для Видаля, ибо Дюмурье не забыл предупредить его, что этот Сен-Жюст — друг того самого мошенника-подрядчика, которого Видалю предстояло разоблачить.

Полковник понял, что проявил неосмотрительность, но, даже осознав сей факт, остался совершенно невозмутимым.

— Слушаю вас, — проворчал он.

— Пройдемте сюда, — сказал депутат, жестом предлагая ему отойти в сторону.

Видаль почти с презрением пожал плечами, ему не нравился этот симпатичный парень в шикарном синем сюртуке, лакированных башмаках и безу-

пречных лосинах, сидевших на нем без единой складки. Тем не менее он подчинился повелительному взгляду этих жестких, блеклых глаз и томному взмаху белой руки.

Толпа с готовностью расступилась. Сен-Жюсту приписывали самый кровожадный характер, самый острый язык и самое яростное красноречие во всем Национальном собрании.

В его лисьей внешности было что-то от волка, и его боялись, пожалуй, больше, чем любого другого человека тех дней. Кроме того, было известно, что его высоко ценит сам Робеспьер по прозвищу Неподкупный и что в политических вопросах голоса этих двоих звучат, как один.

Сен-Жюст увлек Видаля в сторону и зашагал вместе с ним к двери по вымощенному плитами полу в ромбовидной полосе солнечного света, а солнце в тот августовский день то сияло ярко и радостно, то скрывалось за тучами, которые нагонял на его лучезарный лик порывистый ветер.

— По-моему, вы говорили о Лемуане, — тихо произнес Сен-Жюст.

— Та готовность, с которой вы делаете подобную догадку, уже сама по себе подтверждает мое обвинение, — последовал бескомпромиссный ответ.

На какой-то миг депутат пришел в замешательство, затем вскинул брови.

— Вы рассуждаете как солдат, что означает лишь одно: рассуждения не ваш конек. Лемуан — единственный за последние три месяца подрядчик, которому правительство поручило поставку обуви для армии, из чего неизбежно следует, что ваше обвинение, вероятно, выдвинуто именно против него, — Сен-Жюст на секунду умолк, пристально вглядываясь в лицо рослого солдата бесчувственно-холодными глазами. — Но вот скажите, полковник Видаль: это обвинение — единственное, что привело вас сюда из армии?

— Основное.

— Есть и что-то еще?

— Мой генерал страстно желает получить обещанное ему подкрепление. Мне поручено набрать и доставить в Голландию новую партию рекрутов.

— Могу я дать вам небольшой совет, полковник?

— Все зависит от того, что именно за совет.

— Сосредоточьте свое внимание на том, что вы считаете — и совершенно несправедливо — второстепенной частью вашей задачи: добейтесь от собрания разрешения на набор в армию новых бойцов. Что касается дела Лемуана и сапог — оставьте это в покое. Вы ничего хорошего не добьетесь, если...

Видаль позволил себе нетерпеливо прервать его.

— Вы сейчас говорите с солдатом, гражданин, — проворчал он чуть ли не сердито. — Я получил приказы от моего генерала, и никто, кроме моего генерала, не может меня от них освободить. Вы же понимаете, что поступи я по-вашему, Дюмурье будет вправе расстрелять меня за неповиновение?

— С этим я разберусь , — заверил его Сен-Жюст. — Сейчас я говорю не только своими устами, но и устами самого́ гражданина Робеспьера. У вас

будет полный иммунитет от любых последствий вашего бездействия или, скорее, исполнения моей... просьбы.

Все такой же невозмутимый, Видаль посмотрел депутату прямо в глаза.

— А не скажете ли, какое вам до всего этого дело? — спросил он столь жестким тоном, что на бледных щеках его собеседника появился слабый румянец.

— Я озабочен интересами народа, — ответил Сен-Жюст, уже с трудом, как было видно, сохраняя терпение: подобного противодействия он определенно не ожидал. — Убежден, ваш донос никак не служит наилучшим интересам нации.

— А вот это меня уже не касается, — ответил Видаль, чувствуя, что депутат вызывает у него все большее и большее отвращение. — Мое дело — подчиняться приказам; я всего лишь орудие, и только.

— Вы получаете приказы прямо сейчас, — процедил Сен-Жюст, стиснув зубы. — Французская армия да и сам ваш генерал подчиняются представителям народа — августейшего французского народа.

— Позвольте заметить, гражданин, что вы — лишь один из представителей августейшего народа. Остальные сейчас там, в зале, и я буду иметь дело со всеми ними на общем собрании, а не с кем-то тем из них, кто, судя по всему, преследует какие-то свои собственные цели за их спинами. Да вы можете сколько угодно смотреть на меня с такой злостью, ci-devant шевалье де Сен-Жюст, — вы, который начал жизнь с того, что опустошил денежные фонды родного отца. Вы — вор, приятель, и друг воров, о чем свидетельствует ваша забота о Лемуане.

— А вот это уже оскорбление, гражданин солдат! — прошипел Сен-Жюст, вне себя от ярости; глаза его пылали гневом.

— Если тут кто кого и оскорбляет, то, скорее, вы — меня, полагая, что я тоже принадлежу к вашей бесчестной своре!

— Crédieu! — выругался депутат. — Мерзкий пёс! Да одно мое слово может тебя уничтожить!

— Можете сказать его прямо здесь и сейчас — громко и отчетливо! — попросил Видаль, повышая голос. — Пусть люди услышат ваши угрозы, пусть спросят себя: а не вернулись ли мы к временам Капета, когда любой придворный подхалим мог угрожать честному человеку. Чтобы одно ваше слово и уничтожило меня? Да полноте! — Видаль рассмеялся. — И я должен сказать на это вот еще что. Я солдат, парниша! Получил пять ранений, все — на фронте, все — от чистой стали. Неужели вы думаете, что укол в спину, нанесенный грязным языком какого-то политикана, может хоть как-то мне досадить?

Он говорил столь пылко и яростно, что Сен-Жюст отшатнулся.

Он реально испугался, не столько самого Видаля, сколько того зажигательного эффекта, который могли произвести его слова на толпу. Сен-Жюст прекрасно, как никто другой, знал: вся эта чернь — всего навсего анархический сброд, готовый вспыхнуть от первых же пламенных речей, проповедующих мятеж против любой, какой бы то ни было власти.

— Замолчите, глупец! — прорычал он.

В этот момент двери в дальнем конце зала настежь распахнулись, и по огромному пространству прокатился громкий голос привратника:

— Представители августейшего народа ждут полковника Видаля у барьера Национального собрания.

— Иду! — прокричал в ответ Видаль, отвернувшись от Сен-Жюста, затем приостановился и через плечо смерил этого человека с лисьей мордой хмурым взглядом. — А рассказав депутатам, мой друг, я расскажу и народу, расскажу все это. Люди услышат от меня, что Сен-Жюст — вор и друг воров, и сделают из моей истории собственные выводы. Вот что вы получили из своей попытки развратить честность солдата. Сами увидите, пойдет ли это вам на пользу.

И, звеня шпорами, полковник двинулся вверх по коридору. Его шаги эхом отдавались в тишине, в один миг обрушившейся на толпу, и все присутствующие — как мужчины, так и женщины — провожали его испуганными взглядами.

Перед двойным порталом Видаля на минуту задержал привратник, и когда обитая сукном маленькая дверь, ведущая в зал, наконец отворилась и полковник прошел к барьеру, то оказался лицом к лицу с Сен-Жюстом: пока Видаль поднимался к одному входу, депутат неторопливо грациозной походкой проследовал к другому, чтобы занять место у подножия трибуны.

В бесцветных глазах Сен-Жюста, обращенных на солдата, читался пренебрежительный вызов, который, возможно, заставил бы человека менее отважного отказаться от задуманного. Однако Видаль хладнокровно окинул взглядом молчаливое сборище народных представителей и приступил к изложению обстоятельств дела, с которым приехал.

Он начал с того, что рассказал о славных достижениях их соотечественников и славе, которой покрыло себя в Голландии французское оружие, затем заявил, что, для того чтобы кампания против наймитов иностранных тиранов была быстро доведена до победного конца, войска нуждаются в усилении.

Его военная выправка и звенящий голос, звучавший так, будто Видаль командовал ротой, произвели на депутатов исключительно благоприятное впечатление. Казалось, полковник, помимо своей воли, символизировал воинскую доблесть Франции. Уже только лишь глядя на него, можно было обрести чувство твердой уверенности в неизбежной и полной победе французского оружия.

Эту часть своего обращения Видаль завершил следующим сообщением: он направлен генералом в столицу, для того чтобы привести на поле славы тех новобранцев, которых смогли рекрутировать в Париже за последний месяц. Собравшиеся разразились аплодисментами, эхом отозвавшимися на верхней галерее, где было полно патриотов обоих полов, многих из которых привлекло туда известие о стычке между Сен-Жюстом и солдатом и которые теперь ожидали, что данный конфликт возобновится с новой силой.

Видаль сделал небольшую паузу, затем, переведя взгляд на Сен-Жюста, перешел ко второй части своего поручения.

— До сих пор, граждане депутаты, я говорил о французской доблести и французском же героизме, которыми наш народ может по праву гордиться. Увы, я вынужден отойти от столь воодушевляющей и вдохновляющей темы! Необходимость требует, чтобы сейчас я поговорил с вами о французской нечестности, французском сутяжничестве и французском же предательстве. Пусть нам будет стыдно за это, но, по крайней мере, мы сможем избавиться от этого стыда, наказав вызвавшие его деяния.

Он сделал паузу, и последовавшую за этим выжидательную тишину проре́зал короткий смешок и едкий голос Сен-Жюста, попытавшегося дискредитировать оратора, вызвав к нему презрение:

— А гражданин полковник-то умеет выстраивать фразы!

Но никто не обратил внимания на его сарказм, даже Видаль, уже перешедший к выдвижению обвинения против подрядчика Лемуана.

Полковника до конца выслушали в мертвой тишине. Когда он наконец умолк, два или три депутата одновременно поднялись со своих мест, вознамерившись пройти к трибуне. Однако Сен-Жюст не зря занял место у самого ее подножия. Опередив остальных, он взбежал по ступенькам, объявил о своем желании выступить и получил на то разрешение председателя.

Но Видаль, вцепившись в барьер своей огромной рукой, запрокинул голову в знак протеста против того, что его прервали.

— Гражданин председатель, я еще не закончил, — прорычал он. — Прежде чем вы выслушаете гражданина депутата Сен-Жюста, я еще должен сообщить о продолжении дела Лемуана, из которого вы поймете, что ко всему тому, что имеет сказать гражданин Сен-Жюст, вам, возможно, нужно будет отнестись с совершенно иным пониманием.

— Если это дело подлежит обсуждению, — заявил Сен-Жюст с высоты трибуны, поражая собрание сардоническим спокойствием, — было бы неплохо разбирать по одному вопросу за раз, а у нас уже есть одно важное заявление, требующее внимания. Что бы ни собирался добавить гражданин полковник касательно вопроса, который, по его собственным словам, является лишь продолжением того, по которому мы его уже выслушали, ему придется подождать, пока мы не сочтем целесообразным и подходящим выслушать его снова. Надеюсь, гражданин председатель, вы поддержите мое предложение, суть которого состоит в том, что в обсуждении мы должны соблюдать определенный порядок и рассматривать отдельные вопросы по мере их возникновения.

— Но... — начал было Видаль.

— Помолчите, гражданин полковник! — приказал ему председатель.

Видаль пожал плечами и, облокотившись на барьер, принялся дожидаться своей очереди.

Сен-Жюст аккуратно промокнул губы тонким носовым платком, прочистил горло и неспешно начал:

— Мы только что услышали серьезное обвинение. Подобного рода обвинение, против кого бы оно ни было выдвинуто, неизбежно отправит

этого человека на гильотину. В мрачные дни тирании, теперь уже оставшиеся в прошлом, жизнь честных людей безжалостно приносилась в жертву при наличии самых сомнительных доказательств, но в новую эпоху разума, подобно заре, занявшуюся над Францией, в эти славные дни свободы и братства, когда все люди равны в глазах закона, было бы неправильно с нашей стороны принимать поспешные решения или же...

— Слова, слова! — вскричал Видаль, прерывая разглагольствования оратора, и ответил Сен-Жюсту в той же откровенно язвительной манере: — Гражданин депутат у нас, оказывается, тоже мастер выстраивать фразы. Но фразы здесь не нужны. Все, что нам нужно, так это добротные сапоги для французских солдат и голова человека, который...

Председатель в гневе вскочил.

— Может, вы все-таки помолчите, гражданин полковник?

— Как я могу молчать, когда этот тип...

Оставшаяся часть ответа Видаля потонула в оглушительном шуме. Председатель позвонил в колокольчик и отчаянно замахал руками, пытаясь навести порядок.

Худощавый человек в черном, в безупречном парике и с лицом ласки, поднялся со своего места, сняв при этом очки в роговой оправе, через которые он до сего момента читал какие-то заметки. Порядок мгновенно восстановился, собрание умолкло.

Это был гражданин Робеспьер, и Видаль, знавший, что великий депутат обладает репутацией человека неподкупного, но совершенно невежественный в политике, конечно же, был не в курсе того, что Робеспьер находится на товарищеской ноге с Сен-Жюстом, и потому решил, что теперь ему наконец-таки дадут возможность изложить до конца дело о попытке склонить его к даче ложных показаний. Но был жестоко разочарован.

— Теперь, когда собрание имело возможность выслушать гражданина полковника, нельзя ли будет обойтись без его присутствия, гражданин председатель, тем более что оно имеет тенденцию вызывать беспорядки? — сказал Робеспьер и снова сел на место.

Председатель — его марионетка — тотчас же превратил предложение в приказ. Несколько солдат национальной гвардии, слонявшихся у обитых грубым сукном дверей, подошли к Видалю.

Один из них тронул полковника за плечо — в знак протеста тот повысил голос. Его должны были выслушать. Ему необходимо было сказать нечто жизненно важное для всех истинных патриотов.

Воцарился уже всеобщий беспорядок.

Часть собрания — дантонисты, бесстрашные монтаньяры — требовала, чтобы полковника выслушали; но большинство, послушное воле, выраженной Робеспьером, заявило, что должна быть уважена власть председателя. Народ с галереи присоединился к спору, разделившись на приверженцев как одной, так и другой стороны, — в один миг в зале разразился ад кромешный.

Но тут общий шум перекрыл трубный глас Видаля, которому грозило насильственное выдворение.

— Прекрасно! — прокричал он. — Я уйду! То, что я должен сказать, может и подождать, но если вы заставите меня ждать слишком долго, я пойду и расскажу это всему Парижу. Если меня не выслушают представители народа, пусть уж тогда меня услышит сам народ.

Бросив в зал эту звенящую угрозу, Видаль удалился. Сен-Жюст, ожидавший на трибуне, пока восстановится тишина и галерея очистится, выглядел бледнее обычного. Он произнес целую речь, и последовавшие за ней дебаты оказались весьма продолжительными.

Видаль больше часа расхаживал по холлу с другой стороны двери, игнорируя любопытствующих, объектом внимания которых он неизбежно становился из минуты в минуту. Полковник пылал от негодования и нетерпения и мысленно уже готовил разящие фразы, которые намеревался обрушить на Сен-Жюста в тот момент, когда его наконец призовут обратно к барьеру.

В конечном счете от свирепых мыслей его пробудило легкое похлопывание по плечу. Статный мужчина с львиной гривой, одетый столь просто, что он даже счел возможным отказаться от модного галстука, аккуратно взял Видаля под руку и потянул по коридору к двери, что вела к выходу во двор.

— Друг мой, — сказал он, — вы слишком честны для нашего подлого парижского мира. Хотите услышать совет?

Видаль хмуро уставился на него.

— Что? Вы тоже желаете дать мне совет, Дантон? — спросил он.

Великий человек снисходительно улыбнулся — он ждал этого негодования.

— Вы знаете, что можете мне доверять, и, надеюсь, знаете также и то, что я не из тех, кто стал бы призывать кого-либо к трусости. Но смелость в какой-то момент равносильна безумию; не принося никакой выгоды, она уничтожает того, кто ее проявляет. Вы близки к подобному положению и должны остановиться, Видаль.

— Остановиться? — возмущенно воскликнул полковник. — И позволить этому псу Сен-Жюсту запустить руки в карманы людей, как он запускал их в кошелек своего отца? Вам известно, что он подходил ко мне здесь с советом держать язык за зубами относительно растрат Лемуана?

— Нет, этого я не знал, но ни в коей мере не удивлен. Сен-Жюст именно таков, как вы говорили о нем, и правда вскроется прежде, чем все закончится. Но не вам этим заниматься. Вы не только потерпите неудачу в своих попытках, но и уничтожите себя — уничтожите безвозвратно, если пойдете на это. Сен-Жюст опаснее пантеры в джунглях — в нем есть что-то от ее мягких и хитрых повадок.

— Возможно. Но что он может мне сделать? — промолвил Видаль скорее с презрением, чем вопрошающе. — Какое обвинение посмеет выдвинуть против меня, как вообще сможет призвать меня к ответу за то, что я, быть может, сказал ему? Он же и сам может навлечь на себя...

Но тут Дантон прервал его, серьезно глядя на разгоряченное лицо полковника своими большими глазами:

— Не ждите возможности убедиться, на что способен Сен-Жюст. Поверьте мне на слово: пожелай он того — и сможет уничтожить вас с той же легкостью, как и раздавить блоху. — Дантон коротко рассмеялся. — Друг мой, если он решит, что ваша речь может так или иначе ему навредить, он найдет, как заставить вас замолчать. Вы ему угрожали; показали ему, что можете быть для него опасным, а те, кто представляют для Сен-Жюста опасность, обычно отправляются в повозке по улице Сент-Оноре, чтобы удостоиться внимания народного цирюльника.

— Но сначала меня должны будут судить, — запротестовал наивный Видаль, — а лучшей возможности оказаться услышанным для меня и быть не может.

— Такой возможности вам не дадут. Тенвиль умеет принуждать к молчанию тех, кому не следует предоставлять слова.

Видаль изумленно уставился на Дантона, не веря, что подобная мерзость могла проникнуть в систему, которая должна была стать самой чистой, какую когда-либо видел мир. Скажи ему это не Дантон, а кто-либо другой, он бы ни за что не поверил этому человеку. Но честность Дантона, как он знал, была выше подозрений.

— Оставьте это мне, — продолжал убеждать его депутат. — Оставьте это мне, и я добьюсь того, чтобы в отношении Лемуана свершилось правосудие. Мне вы можете доверять. Я не служу никаким другим интересам, кроме интересов Франции, которым не смогу служить в полной мере до тех пор, пока не уничтожу этого негодяя Сен-Жюста, а я его уничтожу. Сегодня вы вложили в мое руку оружие, Видаль, так позвольте же мне им воспользоваться.

— Но как же мой долг? — продолжал протестовать полковник.

— Вы выполнили его с честью, остальное можете предоставить мне. Вам придется поступить так независимо от того, хотите вы этого или нет, ибо в том настроении, в которое вверг собрание адский язык Сен-Жюста, вам не предоставят новой возможности обратиться к ассамблее, и поскольку вы пригрозили, что в таком случае обратитесь непосредственно к народу, предупреждаю вас со всей откровенностью: задержавшись сейчас в Париже, можете ожидать худшего. К этому предупреждению позвольте добавить только один совет — совет искреннего друга, который желает вам добра. Уезжайте немедленно, прямо сегодня. Возвращайтесь в Голландию под защиту ваших штыков и оставайтесь там до тех пор, пока с Сен-Жюстом не будет покончено, иначе он покончит с вами.

Но Видалю, человеку отважному по натуре, было неведомо чувство страха. Воспротивившись, он заявил, что останется. Этот рыжеволосый лис Сен-Жюст не вынудит его убежать с поджатым хвостом. Жером Видаль — не из тех, кого можно взять на испуг. Сен-Жюсту придется с ним считаться.

Дантон, однако, продолжал настаивать, и постепенно мудрость его слов подействовала на полковника, знавшего депутата и всецело ему доверявшего. Но только упоминание о жене окончательно побороло нежелание Видаля отступать перед столь презренным врагом, каким он считал Сен-Жюста.

— А как же Анжела? — мрачно поинтересовался Дантон. — Вы готовы оставить ее вдовой?

Видаль охнул от изумления. Представить милую Анжелу вдовой, оставшейся беззащитной в этом революционном хаосе, было невыносимо.

— Она хочет отправиться со мной в Голландию, — медленно произнес он. — Устала от Парижа и своего одиночества среди всего того насилия, которое постоянно здесь совершается.

— Уезжайте сегодня же вместе с ней, — с серьезным видом заявил Дантон. — Сделайте так если и не ради собственного, то ради ее блага. И поверьте: Сен-Жюста и его вороватого дружка Лемуана непременно настигнет возмездие.

Так, мало-помалу, депутату удалось убедить Видаля.

— Но как же мои документы? — выложил тот свое последнее возражение. — Их нужно привести в порядок еще до отъезда, но, если отношение Сен-Жюста ко мне таково, каким вы его представляете, он позаботится о том, чтобы я...

— Пфф! Я обеспечу вас пропуском еще до того, как Сен-Жюст прознает о ваших намерениях уехать, и смогу получить необходимые подписи, помимо моей собственной, Демулена, Бийо и других депутатов. Пойдемте, я устрою все это сейчас же, при условии, что вы дадите мне обещание уехать сегодня же вечером.

На это Видаль, пусть и крайне неохотно, в конце концов все же согласился.

IV
Записка от гражданина Дантона

Шевалье де Сейрак приятно провел день в обществе Анжелы.

Пессимист Шопенгауэр уверяет нас, что только боль позитивна; что удовольствие — всецело отрицательное ощущение, вытекающее из отсутствия физических или психических расстройств; что хорошее самочувствие — всего лишь отсутствие телесных недугов, а счастье, есть не что иное, как свобода от душевных страданий. Если и бывают исключения, о которых сей пессимист умалчивает в своем философском учении, то случай Сейрака вполне укладывался в рамки данного правила, поскольку его счастье было как нельзя более полным и негативным.

Почти все утро Сейрак просидел у окна в праздном безделье — как физическом, так и ментальном. Такая безмятежная леность — в более благостные времена, вероятно, жутко бы его раздражавшая, — сама по себе являлась

источником наилучшего самочувствия для этого человека, который многие сутки напролет вынужден был уходить от погони и боялся спать или отдыхать.

Нынешнее счастье — счастье, повторимся, полнейшее — было всего-навсего реакцией на навалившиеся на него ужасы.

Сейрак удовольствовался тем, что просто сидел у окна, наблюдая за ловко управлявшейся с иголкой Анжелой. Говорил он мало, а в перерывах между разговорами напевал куплеты давно забытых песен. Холодная тень смерти, так долго преследовавшая его украдкой, отступила.

Вывернув на стол содержимое ранца Видаля, Анжела обнаружила среди прочих вещей запасную шинель, порванную на рукаве и спине, и сразу же взялась за ее починку.

Сейрак смотрел на нее и восхищался проворством ее пальцев, направлявших иглу то туда, то сюда.

Заметив деликатную белизну ее рук, он восхитился и ею, поразившись тому, сколь нежны они, эти руки женщины, рожденной в бедности. От восхищения руками Анжелы он медленно перешел к восхищению всей ее персоной. Он отметил строгую красоту ее бледного лица с темными блестящими глазами, затененными длинными изогнутыми ресницами, и вздохнул по упущенной много лет назад возможности.

Самодовольная глупость, являвшаяся для Сейрака уже неискоренимым пороком, вынудила его задаться вопросом: а было ли ее милосердие к нему, проявленное прошлой ночью, продиктовано одним лишь женским состраданием? Он спросил себя: окажись на его месте мужчина менее приятной наружности, стала бы Анжела умолять Видаля, намеревавшегося вышвырнуть его, Сейрака, за дверь, изменить решение и тем самым склонить полковника к тому, чтобы тот приложил все возможные усилия для его спасения? Тщеславие Сейрака ответило на этот вопрос отрицательно.

Затем шевалье задумался: а действительно ли она счастлива с Видалем? Он считал невероятным, чтобы этот неотесанный мужлан, а так он думал обо всех солдатах-республиканцах, мог завоевать расположение столь изящного создания.

Мысленно противопоставляя себя Видалю, он находил, что это все равно, что сравнивать ретивого арабского скакуна с одной из тех неуклюжих фламандских лошадок, которые изо дня в день таскают двухколесные повозки по парижским улицам.

Прошлой ночью, под стрессом эмоций, Сейрак плакал, ощущая благодарность за настоящее и раскаяние за прошлое.

Утром шевалье снова задумался об упущенных возможностях в этом самом прошлом и тоже почти довел себя до слез. Проведя день в праздных размышлениях и пустых разговорах, ближе к вечеру он наконец-то решил измерить всю глубину чувств Анжелы к Видалю.

— Не сомневаюсь, citoyenne, — сказал он, — что вы будете рады покинуть этот кошмарный город и преобладающий здесь республиканский пост.

— Вы совершенно правы, — согласилась она, не поднимая глаз.

— Ха! И все же, в конечном счете, подобная перемена, видит Бог, не столь уж и приятна! Последовать за армией, да еще в Голландию — в сырую, дикую, как я слышал, страну — бр-р-р! — он поежился, словно, по крайней мере, в своем воображении, действительно почувствовал ее холод.

— Я буду там со своим мужем, гражданин, — ответила Анжела.

— Ах, ну да, конечно! Если вы считаете это адекватной компенсацией, то и говорить больше не о чем.

Она оторвалась от работы и медленно посмотрела на него.

— Прошу вас, гражданин, не шутить на эту тему.

— Я и не смог бы над этим шутить, — серьезно заверил ее Сейрак. — В конце концов, непосредственно в армии будет находиться только ваш муж; вы же останетесь где-нибудь в тылу, встречаясь с ним изредка, постоянно переезжая с места на место и находя свои жилища, по большей части, не слишком удобными для того, кто непривычен к лишениям.

— Не могу сказать, что непривычна к ним, — спокойно ответила Анжела. — И даже если я останусь в тылу, в любом случае буду ближе к мужу, чем находясь здесь, в Париже. К тому же я не верю, что тревоги военной кампании могут сравниться по своему ужасу с той постоянной тревогой, в которой я живу тут.

Шевалье почувствовал, что лот еще не достиг дна, и вознамерился снова бросить его, на сей раз уже более решительно, но тут на лестнице послышались шаги, сопровождавшиеся звоном ударявшейся о перила сабли.

— Это Жером, — сказала Анжела и, поднявшись, перебросила залатанную шинель через спинку стула. Сейрак беззвучно выругался, проклиная это несвоевременное возвращение и собственную медлительность, из-за которой была упущена еще одна возможность.

Вошел Видаль, и Анжела с первого же взгляда, брошенного на его лицо, поняла, что дела обстоят не слишком хорошо.

— Что случилось? — вскричала она, бросаясь ему навстречу.

Полковник в который уже раз поразился тому, сколь быстро жена улавливает его настроение. Затем, рассмеявшись, зашвырнул свою большую треуголку в угол и закрыл дверь.

— Случилось худшее, — признался он. — Я свалял дурака. Ляпнул лишнего перед всем этим сбродом, который называет себя Конвентом.

Анжелу обуял ужас. Уже одно то, что муж отозвался о Конвенте в столь неуважительных выражениях, дало ей понять: у него серьезные проблемы.

— И все же, в чем дело? — пробормотала она, с трудом переводя дыхание.

— А вот в чем, — ответил Видаль и вытащил из нагрудного кармана разрешение на выезд, которым его снабдил Дантон. Развернув пропуск, он подвинул его по столу поближе к жене.

Та посмотрела на документ рассеянным, ничего не понимающим взглядом.

— Нам нужно собираться, моя девочка, — это если в двух словах. Нужно собираться и позаботиться о том, чтобы выехать из Парижа до того, как

заставы закроют на ночь, иначе мы можем вообще никогда не покинуть город. Как видишь, пропуск подписан и в полном порядке, так что нашему отъезду ничто не мешает, и нет необходимости дергаться и выезжать прямо сейчас. Я уже распорядился о том, чтобы берлина[1] была здесь к восьми вечера. Постарайся быть готова к этому времени.

— Но все-таки — что случилось? — не отставала Анжела, подходя к мужу и кладя руки ему на плечи.

Позади, у окна, стоял Сейрак, который тоже вскочил, преисполнившись от услышанного смутной тревогой.

Видаль рассказал о том, какую проявил неосмотрительность.

— Ты скажешь, что я вел себя как последний дурак, — закончил он уже чуть ли не раздраженным тоном. — Я и сам это знаю. Я сглупил, поверив в честность народных представителей, позволив им обмануть меня высокопарными разговорами о свободе и справедливости. И так уж вышло, что я публично назвал Сен-Жюста вором и пригрозил, что доведу дело до расследования как его собственных махинаций, так и жульничества его сообщника и пособника Лемуана. Я оказал народу услугу, от которой уклонился бы любой менее честный человек. Депутаты поняли это. Но как они выразят свою благодарность? Да просто будут спокойно сидеть и ждать, пока Сен-Жюст, чтобы заткнуть мне рот, не арестует меня и не отправит на гильотину по какому-то надуманному обвинению в государственной измене, от которого мне даже не дадут возможности защититься, — он сердито фыркнул. — Такая вот она, единая и неделимая Французская республика, которой я служил, которую помог основать, защищая которую, проливал кровь. Сен-Жюст тоже пролил кровь — да, реки крови! — но то была кровь других. Ах, черт бы его побрал!

Видаль тяжело опустился на стул.

— Жером!

Анжела подошла к мужу, обняла за плечи, прижалась щекой к его щеке. Испытывая жуткий страх за него, она выглядела в этот миг очень бледной и вся дрожала от холода.

— Allons![2] — несколько грубовато произнес Видаль. — Бояться нечего, моя девочка. Можешь сколько угодно потакать своему отвращению, но для тревоги нет ни малейшего повода. Как говорится: кто предупрежден, тот вооружен. Дантон открыл мне глаза на грозящую опасность и добился утверждения документов, которые позволят мне выехать немедленно, еще до того, как Сен-Жюст сможет нанести удар. Так что все в порядке, — он погладил жену по голове. — В любом случае, я имел удовольствие назвать Сен-Жюста вором. Прозвище приживется, и даже вся кровь Франции не сможет смыть этот ярлык.

---

[1] *Берлина* (или берлин) — крытая четырехколесная карета с двумя широкими внутренними сиденьями, расположенными одно напротив другого. Была изобретена в Берлине, отсюда и название.

[2] Здесь: да ладно тебе, хватит! (фр.)

Позади послышалось какое-то движение, и Видаль резко оглянулся через плечо. Он почти забыл о присутствии в доме шевалье.

— А, это вы, гражданин, — проворчал полковник. — Для вас все это тоже будет означать перемены.

— Этого-то я и боялся, — заметил Сейрак.

— Как вы понимаете, теперь я уже не смогу набрать рекрутов и взять их с собой, — об этом придется позаботиться кому-то другому. Сожалею, гражданин. Я бы помог вам, будь у меня такая возможность, но вы же видите, в каком я положении. Мне нужно подумать о своей супруге. Я не могу рисковать ее счастьем, а возможно, даже и жизнью ради кого-то другого, и менее всего ради вас. Я говорю это не из враждебности, гражданин шевалье: все это в прошлом и уже забыто. Пока я полагал, что могу помочь вам, я был готов это сделать, но, как видите, теперь это невозможно. Вам придется как-то выкручиваться самому.

Сейрак вдруг ощутил тошноту. Тень, которая, было, исчезла, вернулась, и, казалось, стала еще темнее, чем прежде, а все потому, что на какой-то миг солнце изволило пролить на него пучок света. Он взглянул на Анжелу, почти ожидая снова услышать ее протест и мольбу за него.

Но страх за Видаля вынудил Анжелу молчать: страх столь сильный и всепоглощающий, что он уже не оставлял места ни для каких других мыслей.

— Что ж, — наконец проговорил Сейрак сдавленным голосом, — мне остается лишь поблагодарить вас за то, что вы сделали, и...

— В любом случае, спешить не нужно, — с грубоватой добротой отозвался Видаль. — Берлина будет здесь не раньше восьми вечера, так что до наступления темноты вам выходить незачем. Можете задержаться даже подольше, если хотите. При желании можете и переночевать здесь, но в таком случае я бы посоветовал вам уйти отсюда завтра пораньше, до того, как Сен-Жюст выпишет ордер на арест, иначе вас обнаружат при обыске дома и арестуют в качестве утешения за неудачу, — он встал. — Пойдем, Анжела, надо собирать вещи.

— Упаковывать не так уж и много, Жером, — ответила ему супруга. — Управимся быстро.

Они ушли вместе, оставив Сейрака наедине с его отчаянием. Он стоял у окна, глядя на дома по другую сторону узкой улицы, и сердце его наполнялось глухой обидой на собственную судьбу и на Видаля. Шевалье чувствовал себя обманутым. Его обнадежили, воодушевили, а затем снова сбили с ног, усугубив страдания. Его душа бурлила, кипела против такого обращения, и из глубины ее он проклинал Видаля как виновника его нынешнего несчастья.

День, начавшийся для Сейрака столь радостно, заканчивался хуже некуда.

В начале восьмого какой-то мужчина прошел вниз по улице и постучал в дверь дома Видаля. Этот стук заставил Анжелу встревожиться: вдруг они опоздали? Что, если это представитель закона?

Но Жером успокоил ее:

— До завтра, когда он обвинит меня официально, как и намеревается поступить, Сен-Жюст ничего сделать не может. Да и потом, когда меня придут

арестовывать, это будет не один человек, а целая колонна солдат национальной гвардии с примкнутыми штыками.

Спустившись, он открыл дверь какому-то парню в обносившейся одежде, и тот, убедившись, что обращается к полковнику Видалю, вручил ему запечатанный конверт, который был у него с собой. Жером тут же разорвал конверт, пробежал содержимое глазами и отпустил посыльного.

— Скажите, что я буду прямо за вами, — заявил он. — Может, даже обгоню вас по пути.

Он поднялся наверх, чтобы взять шляпу и показать Анжеле записку, в которой, над размашистой подписью Дантона, содержалось всего три коротеньких предложения: «Немедленно приходите ко мне. У меня для вас крайне важные новости. Если вам дорога жизнь, не медлите».

— Что это значит? — спросила Анжела.

— Это-то я и намерен выяснить, — ответил Жером. — Но что бы это ни было, тебе нет нужды беспокоиться. Да и с чего бы? Я быстро сгоняю туда и обратно, и вернусь к тому времени, как прибудет берлина.

Однако, несмотря на всю выказанную мужем уверенность, Анжела ощущала смутное беспокойство и после его ухода. Какое-то время она стояла у окна, провожая его, идущего по улице, взглядом, и продолжала стоять там еще минуту-другую даже после того, как он скрылся из виду, про себя моля Бога о его благополучном возвращении.

Наконец она обернулась и, на миг задержав дыхание, сказала Сейраку:

— Как же я буду рада, когда застава останется позади и мы уберемся из этого ужасного города.

Затем, ощутив тревогу и за шевалье, возможно, в силу того, что тот сам так тревожился о Видале, Анжела спросила:

— А каковы, гражданин, теперь ваши планы?

— Мои? — переспросил Сейрак, криво ухмыльнувшись. — А какие у меня могут быть планы? Придется покориться судьбе.

— Увы, гражданин! Мне бы и хотелось помочь вам, но, сами видите...

Такая забота о нем Анжелы несколько оживила поникшее было самодовольство Сейрака.

— Если произойдет худшее, — сказал он, — у меня, по крайней мере, сохранятся воспоминания о нашей встрече, которые придадут мне сил. Пока я не встретил вас снова, citoyenne, я полагал, что в Париж меня привела моя злая звезда.

Анжела посмотрела на него, нахмурив брови, с несколько надменным вопросом во взгляде, и Сейрак почувствовал, что ступает на опасную почву. Его вспышка учтивости пробудила воспоминания, тут же захлопнувшие дверь перед ее участливостью. Отвернувшись от него, хозяйка молча пошла по комнате, то тут, то там собирая вещи.

— До возвращения мужа, гражданин, мне еще нужно собрать чемоданы, — сказала она и вышла из комнаты с полными руками.

V
Черная неблагодарность Сейрака

Сейрак своими темными, пылкими глазами следил за каждым ее движением и вздохнул, когда дверь за ней закрылась. Опустившись в стоявшее у стола кресло, он какое-то время сидел там, погруженный в раздумья. Когда же шевалье наконец вышел из этого состояния отрешенности, то первым делом взял со стола бумагу, которую там оставил Видаль.

Это был laissez-passer, дававший полковнику возможность покинуть Париж. Сейрак пробежал пропуск глазами, кинул обратно и поднялся, потягиваясь, словно хотел сбросить с себя гнетущую летаргию, уже начавшую им овладевать.

Опустив руки, он остановил взгляд на синей шинели, той самой запасной шинели Видаля, которую только что заштопала Анжела и которая теперь висела на спинке стула. Несколько мгновений лицо его не выражало абсолютно никаких эмоций.

Эта невыразительность была следствием шока удивления, вызванного шальной мыслью, внезапно пришедшей Сейраку в голову. В следующий момент шевалье задумчиво сдвинул брови, его темные глаза заблестели, а по губам неспешно проскользила хитрая, с легким налетом злобы улыбка. Он заложил руки за спину и, втянув голову в плечи, подошел к камину. Он стоял там, уставившись на тлеющие угли ничего не видящими глазами, полностью сосредоточившись на осенившей его мысли, на этой двери к спасению, столь внезапно и неожиданно распахнувшейся перед ним.

Повернувшись, он проследовал обратно к столу, обошел его с другой стороны и остановился у стула с шинелью. Затем, выйдя из состояния задумчивости, еще раз огляделся и чутко прислушался. В соседней комнате, завершая подготовку к отъезду, быстро сновала туда-сюда Анжела.

Удовлетворенный тем, что она поглощена своим занятием, шевалье резво принялся за выполнение задуманного. Нетерпеливо сорвав с себя длинный желтовато-коричневый редингот, он остался в белой сорочке, белых же нанковых панталонах и гессенских сапогах.

В конце концов, эта нижняя часть его костюма была такой же, как и у любого уполномоченного Конвента, да и сам Видаль одевался похоже. Сейрак взял шинель и, просунув руки в рукава, натянул ее на себя.

Видаль был крупнее его, шире в груди, с более длинными руками. Тем не менее села шинель не так уж и плохо, и бóльшая часть ее бросавшихся в глаза изъянов скрылась, когда шевалье туго затянул прилагавшийся к ней трехцветный пояс.

Теперь он ничем не отличался от любого из офицеров единой и неделимой Французской республики. Взяв пропуск, Сейрак сунул его в нагрудный

карман и осмотрелся вокруг в поисках шляпы. Увы, треуголки нигде не было видно, но блуждающий взгляд шевалье упал на пару пистолетов, оставленных Видалем на комоде.

Сейрак подхватил их и едва успел распределить по карманам, как вошла Анжела. Увидев его, она резко остановилась, с трудом сдержав возглас изумления, потому что узнала не сразу. Затем, поняв, кто перед ней и где раздобыл шинель, вызывающе спросила:

— Что вы делаете?

Сейрак полностью владел собой. Он был настолько уверен в своем плане, что ответил беспечным, чуть ли не веселым тоном:

— Да вот, чтобы одурачить негодяев, надел их ливрею. Почему бы Видалю не одолжить мне эту шинель? Ведь если подумать, совсем не в республиканском духе иметь две шинели. Простым патриотам, последователям Руссо — этого пророка их нового апокалипсиса, — такой излишек одежды наверняка покажется признаком хвастовства, даже аристократизма.

Было что-то озадачивающее в его дерзости, и это вызвало у Анжелы подозрения. Будь тон шевалье более серьезным, вполне вероятно, что она одобрила бы цель его переодевания и сразу бы позволила ему уйти в таком виде, чтобы предоставить возможность попытаться выбраться из Парижа. Но сардоническая нотка в его голосе заставляла предположить, что здесь кроется нечто большее.

— Вас остановят на любой из застав, — сказала она. — У вас нет документов, подтверждающих эту вашу новую «личность».

Сейрак улыбнулся.

— На этот счет не волнуйтесь, — ответил он. — Я... я готов рискнуть, ибо уверен в том, что меня пропустят.

Его самоуверенный вид, слегка приправленная насмешкой улыбка отнюдь не рассеяли — напротив, мгновенно усилили ее подозрения. Словно вспомнив о чем-то, Анжела перевела взгляд на стол, но не нашла там искомое. Вытянув руку в сторону Сейрака в обвиняющем жесте, она воскликнула:

— Гражданин, где пропуск Видаля? Что вы с ним сделали?

— По правде сказать, как вы и предположили, я забрал его — как раз таки на случай непредвиденных обстоятельств.

— Забрали? — Анжела сделала шаг вперед, сверля его взглядом, в котором изумление мало-помалу сменялось негодованием. — Вы шутите, гражданин?

— Разумеется, это шутка, — согласился Сейрак. — Но я обожду смеяться, пока не доберусь до Англии. Всему свое время: смеяться заранее — к неудаче.

— Да вы сошли с ума! Неужели вы полагаете, что сможете пройти заставы с документами Видаля?

— Почему бы и нет? Что во мне указывает на то, что я не Видаль? Или шинель на мне плохо сидит? Право же, я не думаю, что меньше кого-либо другого сейчас похож на истинного республиканца.

Она подошла к нему почти вплотную.

— Но если вы заберете эти бумаги, как тогда сам Видаль покинет Париж?

— Даже не сомневаюсь, что ему не составит труда обзавестись другими.

— Но что, если у него не выйдет?

Сейрак пренебрежительно развел руками.

— Конечно, это был бы неприятный исход, но он представляется мне крайне маловероятным.

— Гражданин, вы слишком беспечны, — укоризненно проговорила Анжела, — а ведь дело весьма серьезное. Возьмите шинель, если хотите, но документы оставьте.

— Сами подумайте, — чуть ли не умоляюще произнес он, — шинель без пропуска, как вы уже изволили заметить, мало что стоит. Из этих двух вещей я вернул бы вам скорее именно ее, и сделал бы это без колебаний, если бы не был уверен, что Видаль спокойно может с ней расстаться.

Анжела уже с трудом сохраняла терпение.

— Гражданин Сейрак, вы ведь слышали, как всего полчаса назад Видаль заявил, что он в опасности и его спасение заключается в быстром отъезде из Парижа; что он неминуемо погибнет, если останется здесь до завтра.

— Потому-то я и должен уйти прямо сейчас.

— Но неужели вам не понятно, что без этого пропуска Видаль вообще не сможет уехать; что, забрав его, вы отправите Жерома на верную смерть?

Несколько мгновений Сейрак смотрел на нее пристально, затем губы его медленно растянулись в улыбке.

— Из вас вышла бы очаровательная вдовушка, — заявил он.

Стоя в шаге от шевалье, Анжела вполне могла бы ударить его, но все же сохранила самообладание, хотя лицо ее и было белее мела, а глаза пылали гневом. Только сейчас ей в полной мере открылась истинная сущность Сейрака.

— Каналья, — процедила она, и более тяжкого оскорбления нанести ему и не смогла бы. — Так вот какова ваша благодарность за то, что Видаль предоставил вам убежище?

При ругательном слове «каналья» — слове, которое представители его класса употребляли исключительно в отношении тех, кого считали отбросами Франции, — Сейрак посерьезнел, его бледное лицо слегка покраснело.

— Убежище мне предоставил отнюдь не Видаль, — ответил он, как-то вдруг помрачнев. — Ваш муж с радостью отдал бы меня черни на растерзание; мы оба с вами видели, каких трудов ему стоило от этого удержаться. Так чем же я тогда обязан Видалю?

Анжела могла бы кое-что возразить по этому поводу, но нетерпеливо понеслась дальше, решив встать на почву, в твердости которой не сомневалась.

— А как насчет меня? Мне вы тоже ничем не обязаны?

Сейрак удостоил ее наигалантнейшим поклоном.

— Признаю́ всю полноту своей задолженности и не прошу у судьбы ничего другого, кроме как возможности снять с себя этот долг.

— В таком случае, разве вы не видите, что, лишив Видаля шанса на спасение, вы обрекаете на смерть и меня? Вы можете не признавать своего долга по отношению к моему супругу, но не вправе отречься от того, чем обязаны мне. Я спасла вам жизнь. Неужели в благодарность за это вы уничтожите мою?

— Как вы могли предположить, что я способен на такое?

— Ах! — с облегчением вздохнула Анжела, неверно истолковав его слова. — То есть вы вернете мне пропуск?

— Какая же вы все-таки бестолковая! Зачем нам снова возвращаться к одному и тому же?

Уже не находя слов, Анжела была в состоянии лишь просто смотреть на Сейрака. Не до конца понимая его, она все же чувствовала, что под всем этим кроется нечто мерзкое.

— Неужели вам непонятно, каким тогда будет исход? Забрав пропуск, вы обречете меня на погибель.

— Почему? — спросил шевалье, подняв брови и окинув ее внезапно вспыхнувшим взглядом. — Почему я должен обрекать вас на погибель? Почему вообще должен оставлять вас? В пропуске указаны двое — полковник Видаль и его супруга Анжела Видаль.

Она отшатнулась, не сводя с него взгляда; ее пальцы начали машинально теребить прикрывавшее шею муслиновое фишю. Это было невероятно, немыслимо!

Здесь, в революционном Париже, улицы которого были скользкими от крови аристократов, почти у самого подножия гильотины, эти двое вдруг вернулись к своим отношениям десятилетней давности.

Он преследовал ее тогда, в Бовалуаре, где его, владыки жизни и смерти воля являлась высшим законом, он решил приобрести власть над нею и тут, в столице, хотя сам был гонимым, преследуемым беглецом.

Ободренный ее молчанием, Сейрак шагнул к ней и вытянул руки, намереваясь схватить, но она отпрянула в полном отвращении и страхе.

— Нет, нет, — прошептала Анжела, и от изумления рассудок ее на миг помутился, голова пошла кругом.

Но Сейрак — самонадеянный глупец, находившийся в полной власти мысли, столь внезапно пришедшей ему в голову, — неверно истолковал этот отказ, восприняв его лишь как жалобный призыв к убывающим силам, последний слабый крик совести и чувства долга, побуждавший Анжелу противиться сделанному им предложению.

Он уже ничуть не сомневался в ее благосклонности. Если она была равнодушна к нему, зачем умоляла Видаля спасти его? На этот вопрос у его тщеславия был лишь один ответ.

— Я люблю вас, Анжела! — хрипло воскликнул шевалье, распаляясь от таких мыслей все больше и больше. — Бросайте все это и давайте уедем вместе — из Парижа, из Франции, подальше от этих республиканских сучьих отродий. Я открою для вас все врата жизни, Анжела!

Она попятилась и отступала до тех пор, пока не уткнулась спиной в стену. Лицо ее побелело от ужаса.

И все же, пусть ее тело и было парализовано страхом, ум работал быстро и проницательно, чему способствовали обстоятельства. Анжела поняла, что, хотя она и может выразить свое безграничное к нему отвращение, излив на остатки его мужского достоинства целую реку переполняющего ее жгучего презрения, ей все равно никак его не остановить.

Если она встанет на его пути, Сейрак без колебаний применит против нее силу. А если он уйдет, прихватив с собой паспорт Видаля, то тем самым лишит ее мужа единственного шанса выбраться из Парижа, и тогда Жерома уже ничто не спасет.

Анжела вся дрожала, чувствуя на себе пылкий взгляд шевалье, но все же быстро приняла решение. Раз уж она не может воспрепятствовать его уходу, то должна, по крайней мере, задержать его, использовав в качестве последнего средства им же самим и предоставленный ей шанс сопровождать его. Она должна любой ценой держаться за него до тех пор, пока не найдет возможность как-то поменяться с ним ролями и вернуть этот спасительный для ее мужа лист бумаги.

Между тем Сейрак заколебался, уловив ее умонастроение, что было нетрудно, ибо Анжеле так и не удалось полностью скрыть всю свою ненависть и презрение к нему. Вероятно, помимо ее воли, какая-то доля эмоций проявилась на ее лице. И хотя шевалье не сводил с нее пристального взгляда, самодовольство снова ввело его в заблуждение, ослепив и приведя к неверному выводу о причинах затянувшейся паузы.

— Бедное дитя, — пробормотал он, и в его голосе прозвучала нежность. — Простите, если вдруг напугал вас. Но, с учетом того, что я ждал десять лет, спросите себя, столь ли уж неестественно мое нетерпение?

Не переставая дрожать, Анжела мысленно взмолилась о том, чтобы Видаль вернулся как можно скорее. Где он? Что его задержало? Неужели он интуитивно не чувствует, как сильно нужен ей сейчас? Наконец, думая лишь о том, как бы оттянуть уход Сейрака, она заставила себя произнести:

— За все эти годы я так мало знала любви, что меня немного пугает любое ее проявление, особенно в такой момент, в таком месте и от человека в вашем положении. Здесь, в Париже, гражданин шевалье, нас со всех сторон окружает смерть.

Ее признание так обрадовало и изумило Сейрака, что он на какое-то время потерял голову.

Выходит, его надежды были отнюдь не беспочвенными. Анжела просто ждала, когда же он выскажется. Выходит, Видаль и в самом деле такой мужлан, каким он его себе представлял, и ее мольба за мужа была продиктована не любовью, как он уже было предположил, а женской привязанностью к спутнику жизни, которую порой навязывают обстоятельства.

Такие вот глупые мысли какое-то время вертелись в его голове.

Затем шевалье все же решил их проверить. Возможно, все действительно обстоит так, как он предполагает, однако, глядя на лицо молодой женщины, вспоминая, как она сопротивлялась его натиску, он снова испытал сомнения.

— Ваши слова вселяют в меня безумную надежду, Анжела, но принуждать вас я ни к чему не стану. Если по собственной доброй воле вы не пожелаете сопровождать меня, я уйду один, но, если все же решите последовать за мной в изгнание, оставив этого мужлана, на которого столь постыдно был потрачен весь цвет вашей юности, клянусь, вы не пожалеете об этом ни на один миг.

— Вы... вы будете добры ко мне? — дрожащим голосом пробормотала она, ненавидя себя за это отвратительное притворство, но заставляя себя продолжать игру ради Видаля. — Можете в этом поклясться?

— Добр к вам, Анжела?

Лицо Сейрака пылало. Он снова подступил к ней и на сей раз не встретил сопротивления. Анжела содрогнулась от его прикосновения, но не отдернула руку, когда он взял ее в свои.

Прислушавшись к голосу своего верного сердца, она твердо сказала себе: какие бы ни потребовались жертвы, она пойдет на все, лишь бы Сейрак не ушел один с этим украденным пропуском — единственной надеждой Видаля на спасение.

Но когда Сейрак наклонил голову, намереваясь поцеловать Анжелу, то та непроизвольно оттолкнула его. Этого она уже не могла вынести.

— Нет, нет, — простонала она, а затем взмолилась, повинуясь мгновенному наитию: — Только не здесь; не в его доме, не под его крышей.

Сейрак уже готов был попытаться подавить ее сопротивление, но в этот момент с улицы донеслись стук копыт и громыхание колес.

— Слышите? — воскликнул шевалье, вскинув руку. — Вот и экипаж подкатил. Другой возможности уехать не будет.

Транспортное средство остановилось, в дверь постучали, и этот стук разнесся по всему дому.

Сейрак отстранился от молодой женщины, все еще пребывая в некотором замешательстве. Менее самонадеянным мужчиной уже овладели бы подозрения, вызванные ее внезапным согласием уехать вместе с ним; более щепетильный остановился бы, чтобы подумать, не совершает ли он ошибку, позволяя себе мимолетную фантазию — фантазию, конечно, возродившуюся, но вполне, шевалье и сам был готов это признать, эфемерную, и воодушевлявшую его, лишь потому что десятью годами ранее его планы были жестоко расстроены.

Угрызений совести он не испытывал ни малейших.

В той судьбе, которая неизбежно ждала Анжелу, если она была с ним искренна, Сейрак усматривал лишь поэтическую месть за все то разочарование, которое она принесла ему в юности. Что касается подозрений, то, если его разум вполне естественным образом их и высказывал, они тут же отвергались его чрезмерным тщеславием.

Сейрак подошел к окну, распахнул его и выглянул. Внизу, в угасающем свете, он увидел большой дорожный экипаж, стоявший прямо напротив двери. Чей-то хриплый голос сообщил, что прибыла берлина для полковника Видаля.

Закрыв окно, шевалье обернулся к Анжеле.

— Пойдемте, — сказал он. — Нельзя терять ни минуты. Нужно ехать.

«Вот он — роковой, неотвратимый миг!» — мелькнуло в голове у молодой женщины.

— Но... но мой багаж... — пролепетала она. — И мне еще нужно упаковать одну из коробок. Я...

— Как можно в такой момент думать о багаже? — нетерпеливо перебил ее Сейрак. — Mon Dieu, мы же не поставим наше будущее под угрозу из-за кучки старого тряпья? Мы живы, Анжела; у вас есть я, у меня — вы, так что, ради всего святого, давайте сейчас же уедем. Пойдемте.

Он грубо схватил ее за руку и почти силком потащил из комнаты.

На лестничной площадке Анжела снова попыталась остановить его.

— Подождите! Ах, подождите! — воскликнула она.

— Чего еще ждать? — резко бросил Сейрак. — Так и будем тянуть, пока не вернется Видаль и не застанет нас здесь?

Его слова напомнили Анжеле о том, что ее мужу грозит смертельная опасность. Но ей показалось, что в голосе Сейрака прозвучала нотка подозрения, и она поняла, что должна попытаться любой ценой развеять это подозрение, ибо в противном случае шевалье оставит ее и уедет один, прихватив с собой драгоценный пропуск.

— Да, да. Вы правы, абсолютно правы. Поедем, — задыхаясь, пробормотала она.

Но теперь уже пришел черед Сейрака поразмыслить над тем, почему она все же решила отправиться с ним. Не ищет ли она тем самым возможности погубить его? Не бросается ли он, пытаясь забрать ее с собой, сломя голову навстречу опасности?

— Простите, Анжела, — сказал он, — но мне все еще не верится в мое счастье, поэтому я вынужден буду принять определенные меры предосторожности против предательства.

И в его вынутой из кармана руке сверкнул пистолет.

— Вы всё еще не доверяете мне! — воскликнула молодая женщина, и в ее дрожащем голосе прозвучали возмущение и боль.

— Мне до конца жизни, — ответил Сейрак, — придется заглаживать вину перед вами. И все же в дороге лучше молчите: не хочу, чтобы вы выдали меня каким-нибудь неосторожным — или преднамеренным — словом, — и, слегка поведя пистолетом, он дал понять, что в его напоминании скрывается отнюдь не пустая угроза. — Но пойдемте уже наконец. Нужно поторапливаться.

Они вместе спустились по лестнице, и Анжеле уже казалось, что ее ноги налились свинцом, а все притворство было напрасным. Она никак не рассчи-

тывала на то, что, продолжив испытывать к ней недоверие, Сейрак примет меры предосторожности против предательства.

Она почему-то думала, что, как только они выйдут на улицу, ее миссия будет окончена, — ведь она сможет разоблачить шевалье перед извозчиком берлины.

Теперь она осознала, что при первом же произнесенном ею слове он может заставить ее замолчать навсегда. Когда они подъедут к заставе, она окажется в таком же положении, поскольку Сейрак, как и в Париже, будет настороже.

И все же Анжела не отставала от шевалье, надеясь и молясь о возможности вернуть драгоценный документ. Непоколебимая в этой решимости, хотя и близкая к отчаянию, она первой сошла вниз по узкой лестнице.

Сейрак был без шляпы и без накидки, но успокаивал себя тем, что в экипаже это не будет бросаться в глаза. Анжела отперла парадную дверь. Громоздкая берлина стояла у самого крыльца, почти полностью перегораживая узкую мостовую. Извозчик нетерпеливо расхаживал рядом. Когда они вышли, он обернулся и в поистине республиканской манере, не особо стесняясь в выражениях, проворчал:

— Наконец-то явились!

— Как видишь, — резко бросил в ответ Сейрак.

Он подошел к дверце экипажа, которую апатично открыл для него извозчик, затем повернулся и протянул левую руку Анжеле, чтобы помочь ей забраться внутрь. Она заметила, что правую руку шевалье держит за пазухой, и поняла, что в ней у него — на случай каких-либо неожиданностей не самого приятного свойства — зажат пистолет.

Несколько мгновений она еще колебалась, затем, осознав, что помощи ждать неоткуда да и взывать к извозчику нет смысла, села в салон, и Сейрак последовал за ней. Как только он расположился поудобнее, возница захлопнул дверцу.

— Знаешь, как ехать? — спросил Сейрак.

— Если только маршрут вдруг не изменился, — последовал угрюмый ответ, — первая остановка будет в Бове. Верно?

— Верно, — ответил шевалье.

Извозчик взобрался на свое место, щелкнул хлыстом, и они покатили вверх по улице в направлении Сен-Сюльпис и реки.

Еще усаживаясь рядом с Анжелой, шевалье обнял ее рукой за талию, а теперь и вовсе притянул к себе. Она до крови прикусила губу, но промолчала, стараясь пересилить свое отвращение.

— Мы всего лишь дети в руках судьбы, — заметил Сейрак. — Дети? Да что я говорю! Марионетки, безвольные марионетки. Так уж было предопределено, что мы должны принадлежать друг другу, вы и я, и во исполнение этого пожелания судьбы вчера вечером я бежал, преследуемый, по улице Железного горшка, из всех парижских дверей остановился в поисках убежища у вашей, и таким образом, после десяти лет ожидания, мы наконец-то снова сведены вместе.

Она полулежала, склонив голову ему на грудь, чуть живая от ужаса, тщетно пытаясь собраться с мыслями, придумать какой-нибудь план действий, как

вдруг, совершенно неожиданно, экипаж резко остановился, отчего их обоих бросило вперед.

Распрямившись, отряхнувшись и снова заняв свое место на заднем сиденье, шевалье смачно выругался.

Снаружи послышались голоса, извозчика и кого-то еще, и оба, Сейрак и Анжела, подумали, что, вероятно, берлина едва не задавила на углу какого-то неосторожного пешехода, и что теперь эти двое обмениваются взаимными обвинениями. Сейрак уже намеревался выглянуть в окошко, как вдруг был избавлен от этой необходимости появлением головы, увенчанной конической черной шляпой с трехцветной кокардой.

Пара пытливых глаз, вглядывавшихся в полусумрак салона, остановилась на бледном лице Сейрака, и чей-то резкий голос вызывающе спросил:

— Кто едет?

Чувствуя себя вполне уверенно и непринужденно и понимая, что мягкость не в характере Видаля, Сейрак позволил себе ответить столь же грубо:

— Тебе-то какое дело?

Тонкие губы мужчины искривились в усмешке.

— Я — агент Комитета общественного спасения, — пояснил он.

— Почему же сразу не сказали? — пробухтел шевалье. — Вы меня немного задерживаете. Я — полковник Видаль из голландской армии.

— Ваши документы, гражданин полковник! — потребовал агент.

— Документы, — проворчал шевалье, — я покажу на заставе.

— Если позволите, вам придется показать их мне, и прямо сейчас, — уже более настойчивым тоном произнес агент. — Таков, как вам известно, закон.

Всем своим видом выказывая нетерпение, шевалье все же вытащил из кармана пропуск и сунул его мужчине под нос. Правой рукой, лежавшей на сиденье между ним и Анжелой, Сейрак сжимал пистолет, вынуждавший молодую женщину хранить молчание.

Агент взял пропуск, развернул. Рядом тотчас же возник еще один тип, тоже в конической шляпе и подпоясанный трехцветным кушаком; чуть наклонившись вперед, он принялся изучать документ через плечо товарища.

— Так-так, — пробормотал он, читая имена людей, скрепивших пропуск своей подписью, — Дантон, Варенн и Демулен, — он издал восклицание, несколько походившее на короткий смешок.

— Полный порядок, — спокойно, даже с каким-то равнодушием произнес агент.

Сейрак, уже успевший встревожиться, а вдруг пропуск заполнен как-то не так? — вздохнул с облегчением.

— Полный порядок, — повторил агент, сложив документ, но вернуть его даже и не подумал. Вместо этого одной рукой он сунул бумагу себе в карман, а другой распахнул дверцу кареты.

— Полковник Видаль, — заявил он официальным тоном, — я вынужден попросить вас выйти.

— Выйти? — удивился Сейрак, и на лице его вдруг отразился испуг.

Открытая дверца увеличила поле обзора, и теперь они с Анжелой увидели то, что до сих пор было от них скрыто. На углу улицы стояли в ряд с примкнутыми штыками шесть солдат и капрал национальной гвардии.

— Выйти? — снова переспросил Сейрак. — Но с какой целью?

— Выходите, гражданин полковник, — резко произнес агент. — Приказываю властью, данной мне нацией.

Ничего не понимая, кроме того, что противиться такому приказу не только бесполезно, но и небезопасно, и все еще надеясь, что это простая формальность, предписанная чрезвычайно бюрократизированным правительством мошенников и пройдох, шевалье выбрался из берлины. Но он все еще сжимал пистолет, и взгляд, брошенный им на Анжелу, был полон многозначительности.

Как только Сейрак оказался между двумя агентами, его крепко, словно клещами, схватили за руки слева и справа, после чего, выкрутив ему запястье, пистолет отняли.

— Это еще как понимать? — задиристым тоном произнес шевалье.

— Полковник Видаль, вы арестованы именем Французской республики, единой и неделимой.

Ошеломленный, шевалье переводил взгляд с одного агента на другого.

— Постойте, постойте! — вскричал он. — Это ошибка... Я... я не полковник Видаль.

Один из агентов коротко и презрительно рассмеялся в ответ на эту жалкую попытку опровергнуть очевидное, затем подал знак солдатам, и те мгновенно выдвинулись вперед.

— Да подождите же! — повторил Сейрак, впадая в неистовство. — Боже правый, говорю же вам: я не Видаль!

Шевалье обернулся, намереваясь попросить Анжелу подтвердить его слова, но вид молодой женщины поверг его в оцепенение.

Чуть наклонившись вперед, она смотрела на него сверкающими глазами, с призрачной улыбкой на бледных губах. Сейрак в ужасе уставился на свою спутницу, и мольба, которую он намеревался произнести, осталась невысказанной. Да и потом, к чему слова, если они никак уже ему не помогут? Он был совершенно беспомощной жертвой какого-то немыслимого стечения обстоятельств.

Сейрака уже окружила стража.

— Отведите его, — распорядился агент, — в тюрьму Аббатства.

Затем, сняв шляпу, он повернулся к Анжеле, все еще сидевшей со сверкающими глазами и легкой улыбкой на устах:

— Прошу меня извинить, citoyenne, за то, что был вынужден таким вот образом прервать ваше путешествие. Вам лучше бы вернуться домой. Надеюсь, ваш супруг вскоре снова окажется с вами.

Он закрыл дверцу и, подхватив коллегу под руку, двинулся прочь вслед за солдатами и их пленником.

Пройдя с десяток шагов, агент остановился, хлопнул спутника по плечу, встал подбоченившись, оглянулся и громко расхохотался.

— Клянусь святой гильотиной, впервые вижу женщину, воспринявшую арест мужа столь философски.

— Стойкая республиканка, — заметил его гораздо более молодой товарищ.

— Скорее, просто уставшая жена, — ответил агент, хорошо знавший жизнь.

VI
Через заставу

Первоначальное чувство изумления и благодарности за то, что Сейрак именно по причине своего предательства был арестован вместо Видаля, быстро перешло в состояние крайнего уныния, когда Анжела смогла должным образом оценить сложившуюся ситуацию.

Она отчетливо осознала, что, в конечном счете, это и не побег вовсе, а всего лишь отсрочка. Сейрак стремглав бросился навстречу погибели. Собственная низость опутала его воистину поэтической справедливостью, но едва ли можно было надеяться на то, что ошибка обнаружится еще не скоро.

Уже завтра, вне сомнения, Сейрак предстанет перед революционным трибуналом, и станет ясно, что никакой это не Видаль. Его истинную личность быстро установят и сразу же отправят к национальному цирюльнику, в то время как агенты Комитета общественного спасения приступят к розыскам настоящего Видаля, чтобы дать тому ощутить всю тяжесть мести Сен-Жюста и заставить его замолчать.

В ответ на вопрос извозчика, что ему теперь делать, Анжела попросила отвезти ее обратно в только что покинутый дом. На крыльце она остановилась, дрожащими руками отперла дверь, велела вознице подождать, прошла внутрь, поднялась по лестнице, села в темноте и, вся дрожа, принялась ждать возвращения Видаля.

Долго ждать не пришлось: муж прибыл уже минут через десять. Стремительный и резкий в движениях, как человек, у которого мало времени, он тотчас же заявил:

— Пойдем. Раз уж берлина здесь, нужно ехать.

— Минутку... Минутку, Жером. Я должна тебе кое-что сказать. Мы... мы не можем уехать.

— Не можем? Черт подери! — раздраженно проворчал он. — Времени в обрез — дорога каждая минута.

Видаль подхватил свой ранец, который так и стоял нераспакованный там, где он его оставил.

— Где остальной багаж? — осведомился он.

— Там, — машинально ответила Анжела. — Но...

— А Сейрак? Что стало с ним? — на лице полковника можно было прочесть почти лихорадочное нетерпение.

— В том-то и дело, — пробормотала Анжела. — Сейрака забрали... в твоей шинели и с нашим пропуском.

Видаль вдруг весь напрягся, и, несмотря на то, что уже стемнело, она увидела, как в его глазах полыхнул огонь, и поняла: муж на нее жутко зол.

— Я как могла пыталась ему помешать, — поспешно пустилась она в объяснения. — Делала все, чтобы вернуть документ — даже притворилась, что готова уехать с ним... О, Жером, Жером! Нам конец! Это тебя погубит!

— Расскажи, что случилось, — попросил полковник, понижая голос. — Но только быстро — в нескольких словах, если сможешь.

Анжела поведала мужу о том, как Сейрака арестовали вместо него. Услышав об этом, Видаль пару мгновений молчал, а затем рассмеялся, но каким-то невеселым, мрачным смехом: во всем этом ему отчетливо увиделась ирония судьбы.

— Я же говорил: Бог не спит, — проворчал он. — Я же напоминал господину шевалье, что сейчас фрюктидор — месяц плодоношения. Содеянное им принесло вполне ожидаемые плоды, — надеюсь, они придутся ему по вкусу.

Анжела прильнула к нему, вся дрожа от страха и горя.

— Но что теперь делать, Жером? — едва слышно прошептала она. — Как быть? Твои документы остались в руках агента.

— Ну и пожалуйста, раз уж, как видишь, они являются пропуском разве что на гильотину. К этой минуте уже на каждой парижской заставе стоит человек, выискивающий полковника Видаля, который — в том случае, если те, что посланы сюда, прибудут слишком поздно — и должен будет его арестовать, если этот Видаль вдруг попытается выехать из города. Дантон и вызывал меня только затем, чтобы сообщить мне об этом.

— Но... — Анжела запнулась, не понимая, к чему он ведет.

— Он сообщил мне, что Сен-Жюст уехал раньше, чем ожидалось. Поддержанный Робеспьером и прочими их соратниками, он прямо этим вечером, чтобы уж наверняка заткнуть мне рот, выписал ордер на мой арест. Его агенты как раз таки и направлялись сюда, когда наткнулись на Сейрака. Не приди ему в голову мысль выдать себя за меня, они, вероятно, здесь бы и дожидались моего возвращения, чтобы задержать сразу же, как только я появлюсь. Сейрак, сам того не желая, послужил той цели, для которой судьба сюда его и направила. Мы в безопасности как минимум до тех пор, пока они не обнаружат свою ошибку, так что времени на то, чтобы выбраться из Парижа, нам должно хватить.

— Но как же мы выедем из города, если у нас нет пропуска? — воскликнула Анжела.

— Не беспокойся. Дантон выдал мне еще один, выписанный уже на другое имя.

Загрузив весь их багаж в берлину, Видаль помог Анжеле забраться внутрь и велел извозчику ехать к Адской заставе.

Всю иронию вечерних событий Анжела осознала в полной мере, лишь когда они достигли заставы. Едва экипаж остановился у шлагбаума и на него упал яркий свет фонарей, к дверце берлины подошел офицер-гвардеец в шапке с трехцветной кокардой.

— Кто тут у нас едет? — вызывающе спросил он.

— Гражданин Дюнуайе. Нахожусь в срочной командировке, — ответил Видаль.

— Ваши документы, гражданин путешественник! — коротко потребовал офицер.

Видаль протянул ему пропуск. Офицер пробежал его глазами, вслух прочитал: «Пропустить гражданина Дюнуайе, направленного Национальным собранием в срочную командировку. Сопровождающие лица: жена и секретарь»; ознакомился с нижеследующим подробным описанием внешности путешественника, окинул Видаля беглым взглядом, сопоставляя его черты с указанными в документе деталями, а затем заглянул в кузов.

— А где ваш секретарь, гражданин? — осведомился он.

— Прямо перед отъездом выяснилось, что он нужен республике в Париже, — ответил Видаль, — а так как дела мои срочные, как вы уже успели отметить, я не мог ждать, пока он освободится.

— Понятно, — сказал офицер, возвращая полковнику пропуск. — Проезжай, — крикнул он извозчику, затем, отдав честь «представителю народа», добавил: — Bon voyage, citoyen![1] — и отступил на шаг в сторону.

Тронувшись с места, берлина выкатила за пределы города.

— Твой секретарь? — недоуменно спросила Анжела. — А это еще кто?

— Ну как же — Сейрак, разумеется! Раз уж все вышло так, как вышло, я без труда добился включения в этот документ и его тоже. Подружившись с ним, я подумал, что наш долг — обеспечить его спасение, тем более, что в моих силах было сделать это, не оставляя тебя в Париже. Сейчас он спокойно ехал бы с нами в Голландию, но раз уж сам пожелал отправиться в крытой повозке на Гревскую площадь[2], жалеть его у нас нет ни малейшего повода.

Извозчик, давно уже глубоко заинтригованный событиями этого вечера, наконец-то решил, что вроде бы понял, что к чему. В очередной раз взмахнув хлыстом, он взглянул на звезды. Одна из них, казалось бы, подмигнула ему, он с серьезным видом подмигнул ей в ответ и пробурчал:

— А эта вдовушка-республиканка, похоже, быстро нашла утешение!

---

[1] Счастливого пути, гражданин! (фр.)

[2] Еще с начала XIV века *Гревская площадь* являлась главным местом казни осужденных.

Береговое братство

Предисловие

Капитан Блад впервые появился в цикле из девяти рассказов под общим названием «Береговое братство» (The Brethern of Main), который печатался в журнале «Premier» начиная с декабря 1920 года. В 1921 году эти рассказы были перепечатаны журналом «Adventure». Все девять историй воспроизведены в этом томе.

Большинство рассказов, в уже значительно переработанном виде, Сабатини объединил в 1922 году в роман «Одиссея капитана Блада», получивший высокую оценку, в частности, Джорджа Макдональда Фрейзера. Питер Блад был любимцем читателей и самого автора. Сабатини написал о нем еще полтора десятка рассказов, вошедших в сборники «Хроника капитана Блада» и «Удачи капитана Блада».

В «Хронику капитана Блада» были включены и два рассказа из цикла «Береговое братство» — «Кровавые деньги» и «Санта-Мария».

ОСУЖДЕННЫЕ МЯТЕЖНИКИ

Полковник Бишоп, по пятам за которым, словно пара гончих, следовали вооруженные негры, внезапно бесшумно свернул за угол одной из широких дорог, пересекавших огромные блоки золотисто-желтых зарослей дозревающего сахарного тростника. Тем самым он прервал тихий, задушевный разговор, шедший между Джерри Питтом, каторжанином, и другим мужчиной, тотчас же устремившимся в лес, подходивший в этом месте почти вплотную к плантации.

Бишоп позволил ему скрыться в чаще, даже не отправив чернокожих за ним вдогонку, и обратил внимание на Джерри Питта — несчастного, который был доставлен на судне на Барбадос и там продан в десятилетнее рабство за то, что был с Монмутом в дни восстания юго-западных графств. Перехватив зловещий взгляд плантатора, ссыльный повстанец похолодел и задрожал, несмотря на жару.

Полковник, крупный мужчина в костюме из светло-коричневой тафты, расшитом золотистыми кружевами, выступил вперед, помахивая легкой бамбуковой тростью.

— И что такого тебе сказал наш застенчивый Нэтталл? — спросил он хриплым насмешливым голосом.

Каторжник повесил голову, неловко переминаясь с одной босой ноги на другую. Он был в рваных бриджах, свободно свисавших от талии до колен. Выше и ниже одежд на нем не было, если не считать широкой шляпы из плетеной соломы, которая защищала нечесаную светлую шевелюру от тропического солнца.

Бамбуковая трость плантатора со свистом опустилась на эти обнаженные плечи.

— Говори, мразь! Какие у тебя с ним дела?

Юноша поднял на него глаза, мрачно глядевшие с лица, за год рабства и деградации почти лишившегося былой привлекательности, но так ничего и не ответил.

— Так ты у нас еще и упрямый, да? — полковник был полон сарказма. Он знал дюжину способов — в том числе несколько весьма занятных —

подавления упрямства этих свиней-каторжников. — Раны Господни! Или ты решил, наглый пёс, что надо мной позволительно насмехаться? Думаешь, я не догадываюсь, как он сюда пробрался?

— Тогда к чему изнурять себя этим допросом? — сказал Джерри.

В его голосе прозвучало горькое безрассудство, порожденное отчаянием. Если плантатор и в самом деле догадался о деле, тайно приведшем к невольнику ссыльного корабельного плотника Нэтталла, то смерть — это еще не самое худшее.

В полковнике Бишопе пробудилась дикая ярость. Удары один за другим посыпались на беззащитные плечи юноши, но затем угольки человеческого достоинства, тлевшие в душе Питта, уже едва сносившего эту боль, на какой-то миг разгорелись в пламя, и он бросился на своего мучителя.

Бросился, но был перехвачен бдительными неграми. Мускулистые эбеновые руки клещами впились в хрупкое белое тело, и уже в следующую секунду несчастный раб стоял перед полковником обездвиженный, с перехваченными за спиной ремнем запястьями.

— Заберите его с собой, — приказал плантатор и отвернулся.

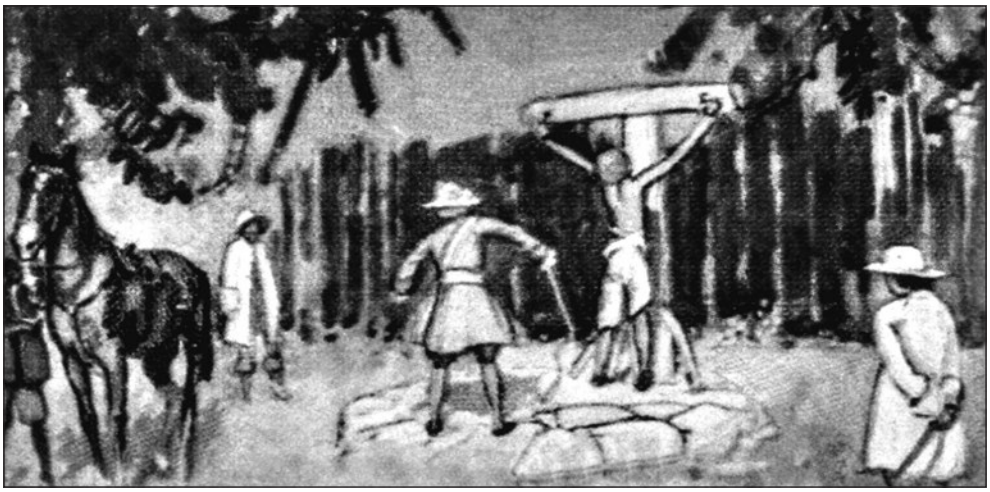
Несчастного Питта протащили по широкой дороге меж золотистых стен тростника и бросили на ровном зеленом плато перед просторным белым домом надзирателя. Оттуда были хорошо видны Карлайлская бухта, форт, длинные эллинги пристани и пришвартованные у нее несколько небольших лодок. Подгоняемый легким бризом, едва рябившим сапфировую поверхность Карибского моря, к берегу приближался внушительных размеров фрегат, летевший под английским флагом, — до входа в гавань ему оставалось всего ничего.

Полковник Бишоп остановился и, прикрыв глаза рукой, уставился на корабль. Несмотря почти на полное отсутствие ветра, судно шло под одним лишь шпринтовым парусом. Все остальные паруса были свернуты, открывая взгляду величественные очертания корпуса корабля — от возвышавшейся в виде башни высокой надстройки на корме до позолоченного бикхеда[1] на форштевне, сверкавшего в ослепительных лучах солнца. Столь осторожное продвижение свидетельствовало о том, что шкипер знает эти воды весьма посредственно и пробирается вперед, то и дело сверяясь с показаниями лота.

Наконец, вдоволь налюбововавшись фрегатом, плантатор повернулся и вновь обратил свое внимание на Питта. За палисадом, у дома надсмотрщика за рабами, наготове всегда стояла пара колодок для тех из них, кто заслуживал наказания. По знаку полковника негры заковали пленника в эти колодки.

---

[1] *Бикхед* (англ. beak-head) — здесь: выступающая часть передней секции парусного судна XVI-XVIII веков в виде головы с клювом, обычно богато украшенная. Использовалась в качестве рабочей платформы матросами, управлявшими парусами бушприта.



За палисадом, у дома надсмотрщика за рабами,
наготове всегда стояла пара колодок для тех из них,
кто заслуживал наказания.

— Непокорные дворняги, показывающие клыки хозяину, расплачиваются за обучение хорошим манерам исполосованной шкурой, — прорычал полковник Бишоп, приступая к исполнению обязанностей палача.

Уже один тот факт, что он собственноручно намеревался выполнить работу, которую большинство людей его положения, хотя бы из уважения к себе, поручили бы негру, дает представление о том, сколь низко пал этот человек. Чуть ли не с наслаждением он наносил один удар за другим, словно удовлетворяя какой-то дикий инстинкт жестокости.

К тому времени, как полковник, обессилев, отбросил уже расщепившуюся на части бамбуковую трость в сторону, вся спина несчастного раба, от шеи до пояса, представляла собой кровавое месиво. Его тело опало и поникло; сам он, уже почти ничего не воспринимавший, едва слышно постанывал, находясь, может и к счастью, в состоянии тупого оцепенения, вызванного адской болью.

Полковник Бишоп поставил ногу на перекладину и склонился над ним.

— Это научит тебя подобающей покорности, — сказал он. — Ты останешься здесь без пищи и воды — слышишь меня: без пищи и воды! — до тех пор, пока не соблаговолишь сообщить мне, по какому делу к тебе приходил наш застенчивый друг, — он снял ногу с перекладины и распрямился. — Когда надоест упрямиться, дай знать — и тебе нанесут клеймо.

Он засмеялся, повернулся на каблуках и удалился в сопровождении негров. Питт остался один.

* * *

Вскоре от частичного ступора, милосердно вызванного болью, его пробудили новые муки. Колодки стояли на открытом месте, ничем не защищенные от палящих лучей тропического солнца, которые лизали изуродованную, кровоточащую спину юноши, подобно языкам пламени. Затем к этому добавились страдания еще более невыносимые: привлеченные запахом крови, на Джерри тучей опустились мухи, безжалостные мухи Антильских островов.

Изобретательный полковник Бишоп, столь тонко владевший искусством развязывать языки упрямцев, знал, что даже при всей своей изощренной жестокости ему никогда не придумать пытки более невыносимой, чем та, которую может устроить человеку, находящемуся в состоянии Питта, сама Природа.

Раб, который еще год назад, в далеком Сомерсете, был человеком, имевшим кое-что за душой и какое-никакое, но все же положение в обществе, корчился и извивался в колодках, при каждом новом движении вопя от боли.

В таком состоянии его и нашел Питер Блад, внезапно материализовавшийся перед затуманенным взором страдающего юноши словно ниоткуда. Найдя в себе силы на миг поднять голову, Питт перехватил взгляд голубых глаз, смотревших на него из-под очень черных и очень ровных бровей.

Состояние рубашки и брюк Блада было таким, что они едва держались вместе. Чулок обращенный в рабство врач не носил, а ноги были обуты в деревянные ботинки, которые, приложив к тому немало усилий, он сделал для себя сам. Его шляпа из плетеной соломы, какие носили негры и рабы, была лихо задрана кверху. Все это вкупе с локонами густых черных волос, подкрученными усиками и остроконечной бородкой наводило на мысль о том, что сей джентльмен угодил в полосу неудач, но стремится сохранять подобающий вид даже в столь жалких обстоятельствах.

Большим пальмовым листом Блад отогнал мух, копошащихся в растерзанной плоти Джерри, после чего древесными волокнами привязал лист на шее юноши, укрыв его спину от дальнейших нападений. Затем, усевшись подле страдальца, положил его голову к себе на плечо и обмыл лицо холодной водой из панникина, который он носил с собой.

Джерри вздрогнул и, тяжело вздохнув, простонал:

— Пить! Дай пить, Бога ради!

Жадно припав к панникину, поднесенному к его губам, бедняга остановился, лишь когда выпил все до последней капли, после чего, почувствовав облегчение, попытался сесть.

— Спина... — простонал он.

— Да успокойся ты уже! — сказал Блад. — Спину я прикрыл, хуже ей пока не будет. Я хочу знать, что с тобой случилось. Слава Богу, всё обошлось! Ты, наверное, полагал, что мы сможем обойтись без штурмана, если дал этому скоту Бишопу повод почти убить тебя?

Джерри сел и снова застонал, но на сей раз его мучила не столько физическая, сколько душевная боль.

— Не думаю, что на этот раз штурман вообще понадобится, доктор, — сказал он и пустился в объяснения: — Час назад ко мне на плантацию пришел Нэтталл. У него возникли проблемы из-за этой шлюпки, которую он искал для нас. Вчера его вызывали в суд, хотели, чтобы он объяснил, откуда у него, должника, взялись деньги на покупку шлюпки и что он намерен с ней сделать. Нэтталл в отчаянии.

— И всё?

Блад встал и пожал плечами. Это был джентльмен чуть выше среднего роста, худощавый, с исхудалым и костлявым добродушным лицом, загоревшим на солнце почти до золотисто-коричневого, как у индейца-полукровки, оттенка.

— Ради его же собственного блага Нэтталлу придется держать язык за зубами. За помощь рабам в побеге предусмотрены весьма неприятные наказания, похуже, чем клеймо на лбу. Но... — он осекся и, в один миг сделавшись серьезным, спросил: — Полковник знает?

— Как минимум подозревает. Он и сделал все это для того, чтобы вытянуть из меня информацию. Если не заговорю, то я так и сгнию здесь.

— Будь проклят этот грязный работорговец! — прорычал Блад и погрузился в раздумья. — Нужно что-то придумать!.. — пробормотал он. — Мы не можем убежать без тебя, и ты не лишишь надежды два десятка своих товарищей, которые полностью зависят от твоего мастерства морехода.

— Нам не убежать, Питер, — пробормотал заключенный.

— Ты сейчас не в себе, — сказал Блад. — Не убежать!.. Да у нас же все подготовлено: и оружие, надежно спрятанное на причале, и навигационные принадлежности, и провизия, и все прочие необходимые и полезные вещи!

— Да как ты не поймешь, что у нас нет теперь шлюпки? Судьи распорядились конфисковать ее, если только Нэтталл не сможет удовлетворительно объяснить, за какие деньги и с какой целью он ее приобрел.

Блад просто стоял и молчал, на какой-то миг утратив дар речи от жестокого осознания факта, что он в течение долгих месяцев с терпением паука разрабатывал и пытался претворить в жизнь дерзкие планы, лишь для того чтобы все пошло прахом прямо накануне дня «икс», когда все уже готово и успех, казалось бы, гарантирован. Труднее всего было раздобыть деньги на лодку. Он ухитрился связаться с друзьями в Англии, которые оказали бесценную помощь, отправляя с родины товары на адрес одного надежного товарища, которым Блад обзавелся в Бриджтауне, и уже он, этот новый

приятель, продавал доставляемые морем на Барбадос товары и передавал выручку Бладу.

Отвернувшись, ирландец с болью и отчаянием во взгляде посмотрел на голубые морские воды, по которым надеялся вскоре выбраться из этого адского рабства на свободу.

* * *

Большой красный корабль уже медленно и величественно входил в бухту. Парочка полубаркасов отчалила от пристани, направляясь к нему. Со своего места Блад мог видеть блеск медных пушек, установленных над бикхедом на носу. Затем в поле его зрения возник другой объект, и разъяренный голос спросил:

— Какого дьявола ты здесь делаешь?

Вернувшийся полковник Бишоп прошел через дыру в палисаде, а следом за ним — и негры.

— Исполняю свои обязанности, — ответил Блад, вежливый, как китаец.

До того как стать солдатом удачи, а затем снова, после шести или семи лет такой бродячей жизни, — мистер Питер Блад был хирургом. Это-то его и погубило. Проживавший в Бриджуотере, когда армия Монмута двинулась туда маршем, он был привлечен для ухода за неким раненым джентльменом из ближайшего окружения герцога.

Чисто из гуманных побуждений он явился и чисто из гуманных побуждений, не имея ни интереса, ни сочувствия к делу, остался, чтобы помогать другим раненым. Вместе с ними после Седжмура попал в плен. Блад представил объяснения, но никто его не услышал.

— И что я, католик, мог забыть в армии протестантов? — спросил он у верховного судьи Джеффрейса, когда предстал перед судом за государственную измену.

Но его застращали, принудили к молчанию, хотя и не без труда, и в конечном счете приговорили к смертной казни. Со временем этот приговор был заменен на каторгу в колонии для преступников. На плантациях срочно требовались рабы, а ссыльные мятежники обходились дешевле негров.

Блад поклялся, что сослужил свою последнюю службу в деле человеколюбия; и ничто бы не заставило его заниматься медицинской практикой на Барбадосе, не обнаружь он, что тем самым может облегчить многое из того, что в противном случае оказалось бы невыносимым. Хозяин Блада, полковник Бишоп, время от времени предоставлял его услуги другим колонистам, — так Питер и обзавелся в Бриджтауне другом, помогавшим ему с продажей товаров, которые приходили из Англии.

Разъяренный полковник, внезапно подошедший широким шагом к этим двоим, сразу же отметил для себя парочку деталей — пустой панникин,

стоявший на табурете, оставленном им рядом с пленником, и пальмовый лист, прикрывавший его спину. На лбу плантатора, словно жгуты, вздулись вены.

— Это ты сделал?

— Да, я. А что? — ответил Блад, изобразив удивление.

— Я же сказал: у него не должно быть ни пищи, ни воды до тех пор, пока... пока я сам не распоряжусь дать их ему.

— Понятно, — правда, я ничего этого не слышал! — сказал Блад.

— Не слышал!— Полковник выглядел так, словно собирался ударить этого человека. — Разумеется, не слышал! Как ты мог это услышать, если тебя тут не было?

— Но тогда можно ли требовать от меня, чтобы я знал об отданных вами распоряжениях? Мне было известно лишь то, что один из ваших рабов умирает от палящего солнца и мух. Вот я и сказал себе: «Это один из невольников полковника, а я врач полковника, и, конечно же, обязан заботиться о его собственности. Потому-то я и дал парню глоток воды и прикрыл спину пальмовым листом. Разве я был не прав?

— Прав?! — от возмущения полковник на какой-то миг утратил дар речи.

— Да не волнуйтесь вы так, не волнуйтесь! — умоляюще произнес Блад. — У вас случится апоплексический удар, если будете так горячиться. Знаете, дорогой полковник, вам, вероятно, стало бы лучше, если бы вы начали практиковать кровопускание. Может, действительно сто́ит?..

Разразившись проклятьями, плантатор оттолкнул Блада, подошел к пленнику и сорвал с его спины пальмовый лист.

— Во имя человеколюбия, теперь, когда... — начал было Блад.

— Прочь отсюда! — проревел полковник. — И не смей даже приближаться к нему, пока я не пошлю за тобой, если не хочешь сам отведать бамбуковой палки!

Грузный и дородный, он был ужасен в своем гневе, но Блад и глазом не моргнул. Как-то прежде полковник счел его человеком, которого нелегко запугать. Бишоп вспомнил об этом теперь, обнаружив, что на него пристально смотрят эти голубые глаза, столь странно выглядевшие на смуглом лице, словно бледные сапфиры в медной оправе. Плантатор мысленно поклялся непременно наказать этого типа за дерзость. Тем временем Блад снова заговорил — тоном тихим, но настойчивым.

— Во имя человеколюбия, — повторил он, — позвольте мне облегчить его страдания, или, клянусь вам, я сейчас же откажусь выполнять свои обязанности врача и... вообще больше не прикоснусь ни к одному пациенту на этом кишащем заболеваниями острове. И осмелюсь напомнить вам, что и ваша супруга в данный момент смертельно больна лихорадкой.

— Да как ты, пёс, смеешь говорить со мной таким тоном? Как смеешь выставлять мне условия?

— А что мне мешает?

Блад рассмеялся.
— Вам прекрасно известно,
что никакого другого врача,
кроме меня, губернатор
и близко не потерпит,
ибо он человек умный и знает,
что для него хорошо.

Непоколебимый взгляд Блада бесстрашно встретился с налитыми кровью, желтоватыми в белках глазами плантатора.

Полковник Бишоп несколько долгих мгновений смотрел на него молча, а затем промолвил:

— Я был слишком мягок с тобой, но это можно исправить, — он сжал губы. — Я прикажу пороть до тех пор, пока на твоей мерзкой спине не останется ни дюйма кожи!

— Вы это сделаете? И что же тогда будет с вашей леди?

— Ты не единственный врач на острове.

Блад рассмеялся.

— Может, вы скажете это и губернатору Криду, который так мучается от подагры, что не может даже стоять? Вам прекрасно известно, что никакого другого врача, кроме меня, губернатор и близко не потерпит, ибо он человек умный и знает, что для него хорошо.

Но охваченного неистовым гневом полковника было не так-то легко успокоить.

— Если останешься в живых после того, как над тобой поработают мои черномазые, возможно, ты образумишься, — он повернулся к своим неграм. — Привяжите его и дайте сотню ударов плетью, да таких...

Оставшаяся часть приказания так и не была произнесена, ибо в этот миг, заглушая голос Бишопа и сотрясая сам воздух, раздался мощный, раскатистый грохот. Полковник подскочил от неожиданности, вместе с ним подскочили и негры, и даже Блад. Затем все четверо уставились в сторону моря.

Внизу, в бухте, там, где теперь уже примерно на расстоянии кабельтова от форта стоял огромный корабль, заклубились облака белого дыма. Они

целиком скрыли судно, оставив видимыми лишь верхушки мачт. Стая испуганных морских птиц, поднявшаяся со скалистых берегов, закружила в голубом небе, пронзительными криками выражая свою тревогу, причем громче всех слышался жалобный писк кроншнепа.

* * *

Глядя вниз с возвышенности и все еще не осознавая, что происходит, все четверо увидели, как британский флаг соскользнул с флагштока на грот-мачте и исчез в поднимавшемся внизу облаке. В следующий миг на смену английского знамени из этой облачной мглы взмыл золотисто-пурпурный стяг Кастилии. Тогда-то все и стало понятно.

— Пираты! — прокричал полковник. — Пираты!

Страх и недоверие смешались в его скрипучем голосе. Загорелое лицо Бишопа побледнело, приняв землистый оттенок, во взгляде вспыхнула необузданная дикость. Выкатив белки глаз и скаля зубы, негры смотрели на хозяина с недоуменно-глупыми ухмылками на губах.

Величественный корабль, которому было дозволено столь спокойно войти в бухту под чужим флагом, оказался испанским капером, явившимся свести счеты, каковых с Морганом и его преемниками из «Берегового братства» у испанцев накопилось немало. Фрегат не вызывал ни малейших подозрений до тех самых пор, пока с близкого расстояния не отсалютовал дремлющему форту залпом из двадцати орудий.

На глазах у зрителей, наблюдавших за бухтой, судно выползло из-под поднимавшегося облака дыма и начало продвигаться вперед. Развернув грот для увеличения хода и идя в крутом бейдевинде, фрегат наводил на не подготовленный к отпору форт пушки левого борта.

Грохот второго бортового залпа, сотрясшего воздух, вывел полковника Бишопа оиз оцепенения, заставив вспомнить, в чем заключается его долг. Внизу, в городе, неистово били в барабаны, и блеяла труба, словно требовались дополнительные оповещения об опасности.

Как командира барбадосского ополчения, место Бишопа было во главе немногочисленного гарнизона форта, уже превращенного испанскими пушками в руины. Помня об этом, он, несмотря на жару, припустил бегом. Негры потрусили следом.

— А вот и то, — сказал Блад, — что я называю своевременным вмешательством судьбы. Хотя что из всего этого выйдет, — добавил он по некотором размышлении, — знает один лишь дьявол!

Он поднял пальмовый лист и осторожно прикрыл им спину своего пациента и товарища по рабству. После третьего залпа на территории, огражденной частоколом, тяжело дыша и обливаясь по́том, появился надсмотрщик Кент, сопровождаемый бо́льшей частью из двух десятков работников плантации,

Величественный корабль, которому было дозволено столь спокойно войти в бухту под чужим флагом, оказался испанским каперoм.

некоторые из них были чернокожими, — все эти люди пребывали в состоянии паники. Вбежав вслед за Кентом в низенький белый дом, почти тотчас же они вышли обратно, уже вооруженные мушкетами и кортиками и обвешанные патронташами.

Небольшая кучка обращенных в рабство мятежников, стянувшаяся к белому дому, робко слонялась по двору, спрашивая, не видел ли кто Блада.

Когда наспех вооружившийся отряд покинул здание, Кент на мгновение остановился, чтобы дать совет белым рабам.

— В лес! — проревел он. — Бегите в лес и сидите там тихо, пока мы не выпотрошим этих испанских свиней.

И он бросился вслед за своими людьми, которые должны были присоединиться к собиравшимся в городе отрядам ополчения для оказания сопротивления испанскому десанту.

Рабы тотчас же последовали бы совету Кента, не задержи их Блад.

— К чему спешить — да еще в такую жару? — вопросил он. — Возможно, теперь и вовсе не нужно будет уходить в лес, да и потом, если город захватят испанцы, мы это сделать всегда успеем.

Вскоре к ним присоединились другие подотставшие рабы-повстанцы, в большинстве своем сообщники Блада и Питта в их теперь уже потерпевшем крах плане побега с острова. Вся эта группа общим числом около тридцати человек осталась на возвышенности, откуда была прекрасно видна кипевшая внизу яростная битва.

Ополчение и все островитяне, способные держать оружие, с ожесточенной решимостью людей, осознававших, что в случае поражения пощады ждать не придется, пытались помешать высадке. Но они были захвачены врасплох, а их форт сразу же обезврежен корабельными орудиями, эффективно прикрывавшими десантные группы, которые добрались до берега на собственных лодках и даже на парочке из тех, что опрометчиво направились к испанцу, прежде чем поняли, с кем имеют дело.

К заходу солнца двести пятьдесят испанцев уже овладели городом. Островитяне были разоружены, и дон Диего Вальдес, явившийся в губернаторский дом, вежливо проинформировал губернатора Крида, находившегося там в компании полковника Бишопа и нескольких офицеров младшего ранга, о сумме назначенного победителями выкупа. Дон Диего был готов воздержаться от превращения города в груду пепла за сто тысяч песо и пятьдесят голов крупного рогатого скота.

И пока их обходительный командир улаживал эти детали со страдавшим от апоплексии британским губернатором, испанцы громили и грабили город, не брезгуя никакими видами насилия, после чего принялись веселиться и пировать в самой отвратительной — что для них дело обычное — манере.

Когда опустилась тропическая ночь, на борту «Синко Льягас»[1] — так назывался их корабль — оставалось не больше десяти человек для охраны: настолько испанцы были уверены в полном разгроме островитян. И пока их товарищи пьянствовали на берегу, канонир и его команда, столь отменно выполнившие свой долг и обеспечившие в тот день легкую победу, пировали на пушечной палубе, уничтожая свежее мясо и вино, доставленные с берега сыном дона Диего и лейтенантом, которые тоже остались с ними.

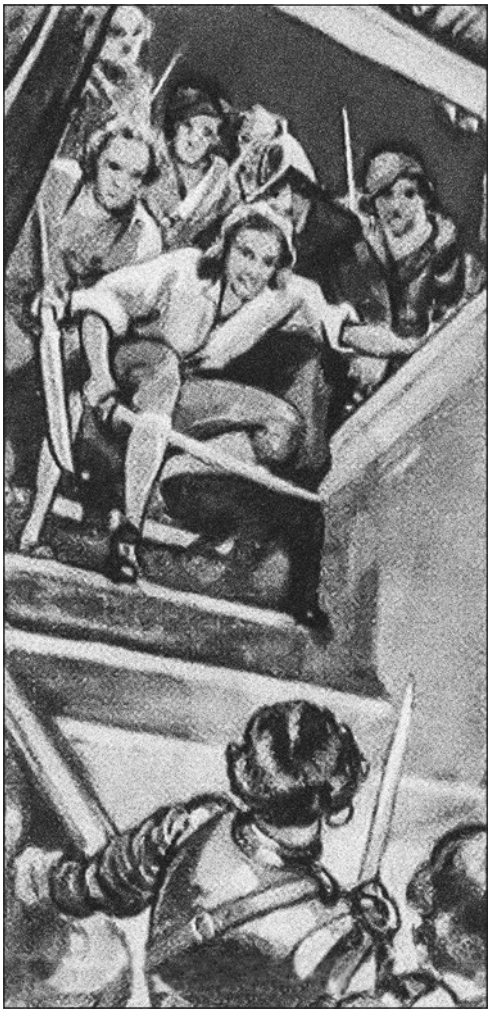
Часовые — один на носу, другой на корме — несли вахту, но, должно быть, не слишком бдительно, так как даже не заметили два полубаркаса, отошедшие под покровом ночной тьмы от берега с хорошо смазанными уключинами и вскоре бесшумно пришвартовавшиеся под кормой фрегата.

С кормовой галереи все еще свисала веревочная лестница, по которой днем спустился в шлюпку отправившийся на берег дон Диего. Часовой, расхаживавший по галерее, вдруг увидел темную фигуру человека, стоявшего перед ним на верхней ступеньке лестницы.

— Кто здесь? — спросил он, но без беспокойства.

— Это я, — тихо ответил Питер Блад по-испански.

[1] «Пять ран Христовых» (исп.)



Пять минут спустя ссыльные повстанцы были уже на борту, все тридцать человек: перебравшись через перила узкой галереи, тянувшейся по бокам кормовой рубки...

Проведший несколько лет в испанских Нидерландах, он свободно владел этим языком.

Испанец подошел на шаг ближе.

— Ты, Педро?

— Меня и в самом деле зовут Педро[1], но сомневаюсь, что я тот Педро, которого ты ждешь.

— Как это? — непонимающе пробормотал часовой.

— А вот так, — сказал Блад.

Деревянный фальшборт был низким, да и испанец не заподозрил подвоха. За исключением легкого всплеска, который он произвел, упав в воду и едва не задев при этом одну из нагруженных добычей лодок, о его злоключении не возвестил ни один звук. Облаченный в тяжелые латы, набедренники и шлем, он сразу же пошел ко дну, не доставив Бладу и его людям больше никаких хлопот.

— Ш-ш-ш! — шикнул Блад на ожидавших его спутников. — Давайте сюда, но только тихо.

Пять минут спустя ссыльные повстанцы были уже на борту, все тридцать человек: перебравшись через перила узкой галереи, тянувшейся по бокам кормовой рубки, они ничком растянулись на шканцах. Впереди показались огни. Под фонарем на носу они увидели черную фигуру другого часового, расхаживавшего по баку.

Низко пригибаясь, бесшумные, словно тени, повстанцы пробрались к товарищу и без единого звука соскользнули вниз, на шкафут. Десятка два из них были вооружены мушкетами, взятыми из дома надсмотрщика и тайника, где хранилось оружие,

[1] Английское имя *Питер* и испанское *Педро* — варианты древнегреческого *Петр*, что означает «скала».

с большим трудом собранное Бладом ко дню побега. Остальные вооружились сами — кто абордажными саблями, кто топорами.

На какое-то время им пришлось подзадержаться на шкафуте — ровно до тех пор, пока Блад не убедился, что на палубе нет ни души, кроме одного-единственного вахтенного, торчавшего на носу. Им следовало заняться в первую очередь, и сам Блад вместе с двумя товарищами пополз к часовому, оставив остальных под командованием решительного парня по имени Огл. Когда они вернулись, вахта на палубе испанского фрегата уже отсутствовала.

* * *

Между тем гуляки внизу продолжали непринужденно веселиться, считая себя в полной безопасности. Пираты не поверили своим глазам, когда их вдруг окружили ворвавшиеся к ним десятка три растрепанных, заросших, полуобнаженных мужчин, которые, если не считать того, что когда-то они, вероятно, были европейцами, выглядели как настоящие дикари. Да и кто бы мог подумать, что горстка всеми позабытых рабов с плантаций отважится на столь дерзкую авантюру?

Смех тотчас же оборвался, песня замерла на губах, и подвыпившие испанцы в изумлении и замешательстве уставились на направленные на них дула мушкетов. Из толпы неотесанных дикарей вышел стройный, высокий смуглолицый мужчина с голубыми глазами, в которых сверкал огонек зловещей иронии, и, обратившись к ним на превосходном испанском, сказал:

— Вы избавите себя от боли и неприятностей, если признаете себя моими пленниками и позволите без сопротивления сопроводить вас в трюм, подальше от греха.

— Por Dios la Virgen![1] — воскликнул юный Эстебан Вальдес, хотя этот возглас лишь в малой степени отражал то удивление, которое он в этот момент испытывал.

Затем мятежники подкрепились теми вкусностями, за потреблением которых они прервали испанцев. После соленой рыбы и маисовых лепешек, которыми невольники Бишопа питались в течение долгих месяцев, вкусная христианская пища уже сама по себе была для них сродни грандиозному пиршеству. Во избежание эксцессов Блад был вынужден применить всю твердость, на какую только был способен: в полной мере наслаждаться плодами победы было еще рано; следовало приготовиться к дальнейшим событиям, и эти приготовления заняли значительную часть ночи.

Вскоре после того как над склоном горы Хиллбей взошло солнце, один из часовых Блада, расхаживавший по шканцам в испанских кирасе и шлеме, с испанским же мушкетом на плече, объявил о приближении лодки: на борт,

[1] Матерь Божья! (исп.)

На борт, с четырьмя огромными сундуками, содержавшими выкуп, доставленный на рассвете губернатором Кридом, возвращался дон Диего Вальдес.

с четырьмя огромными сундуками, содержавшими выкуп, доставленный на рассвете губернатором Кридом, возвращался дон Диего Вальдес. Его сопровождали шесть гребцов.

На борту фрегата царили тишина и обычный порядок. Корабль, левым бортом обращенный к берегу, спокойно покачивался на якоре. Лодка с доном Диего и его богатством подошла к правому борту, где висела веревочная лестница. Блад уже успел произвести необходимые приготовления: с борта свисали стропы, несколько человек стояли у кабестана.

Дон Диего, поднявшийся на палубу без сопровождения и ничего не подозревающий, был тотчас же бесшумно погружен в сон ударом свайкой по голове, умело нанесенным одноглазым гигантом по фамилии Волверстон. Испанца перенесли в его каюту, в то время как сундуки с выкупом, которые один за другим привязывали к тросам люди, оставленные им в лодке, были быстро подняты на борт. Затем уже и гребцы по одному поднялись по веревочной лестнице на палубе, где с ними разделались столь же хладнокровно и эффективно. У Блада был талант к операциям подобного рода и, возможно, даже склонность к драматизму, ибо картина, представшая взорам выживших после набега на Барбадос островитян была воистину драматической.

С полковником Бишопом во главе и страдающим от подагры губернатором Кридом, сидевшим рядом с ним на развалинах крепостной стены, они мрачно наблюдали за отплытием восьми лодок с испанскими головорезами, пресытившимися грабежами, убийствами и неописуемой жестокостью.

В этот миг барбадосцы испытывали двойственные чувства: облегчение от ухода безжалостных врагов и отчаяние от жутких опустошений, по крайней мере, на какое-то время разрушивших процветание и счастье этой маленькой колонии.

* * *

Лодки отчалили от берега, полные гогочущих испанцев, откровенно глумившихся над своими жертвами, и были уже на полпути между пристанью и фрегатом, когда воздух внезапно сотрясся от гула выстрела. Пушечное ядро упало в воду в сажени от передней лодки, обдав брызгами находившихся в ней гребцов.

Перестав налегать на весла, они в гневном смятении обернулись, многословно проклиная опасную небрежность своего канонира, но в один миг умолкли, когда второе ядро, направленное более метко, разнесло лодку в щепки, сбросив их всех — и живых, и мертвых — в воду.

Но если холодная ванна заставила замолчать этих пиратов, то с остальных семи лодок понеслись еще более яростные и смачные ругательства. Подняв весла над водой и в порыве возбуждения вскочив на ноги, испанцы проклинали фрегат на чем свет стоит, задаваясь вопросом, что за безумец добрался до корабельных орудий.

Следующее ядро плюхнулось прямо в середину сей небольшой процессии, с устрашающей эффективностью размолотив вдребезги еще одну лодку. На какой-то миг воцарилась гнетущая тишина, затем, оживленно затараторив все разом, пираты снова налегли на весла, начав грести кто куда. Одни были за то, чтобы вернуться на берег, другие желали направиться прямо к фрегату и выяснить, в чем же все-таки дело. В том, что на корабле происходит нечто серьезное, сомнений быть уже не могло, ибо пока испанцы спорили, кипятились и изрыгали проклятья, прилетели еще два ядра, потопившие третью лодку.

Больше разногласий у пиратов не возникало. Они сделали поворот оверштаг — точнее, попытались его сделать, потому что, прежде чем им это удалось, на дно отправились еще две лодки.

Три остававшиеся на плаву, не утруждая себя помощью барахтающимся в воде товарищам, поспешно направились обратно к причалу.

Если испанцы ничего не понимали, то несчастные островитяне на берегу понимали еще меньше, но затем, словно специально для того, чтобы пробу-

дить в них сообразительность, испанский флаг соскользнул с мачты фрегата и вместо него взвился английский. Но и после этого барбадосцы всё еще пребывали в недоумении, испуганно наблюдая за возвращением на берег врагов, несомненно, готовых излить на них всю свирепость, вызванную этими экстраординарными событиями.

Решительный Огл, однако, продолжил доказывать, что кое-что смыслит в пушкарском деле. Его ядра полетели вослед спасавшимся бегством испанцам, и последняя из их лодок разлетелась в щепки, едва коснувшись причала. Таков был конец пиратской команды, члены которой еще десятью минутами ранее со смехом подсчитывали, сколько песо принесет каждому из них столь легко добытая победа.

У тех же немногих, что всё же добрались до берега вплавь, впоследствии нашлись серьезные основания пожалеть об этом.

Кто же были эти таинственные помощники, пришедшие островитянам на выручку в последнюю минуту, что, в свою очередь, круто меняло ситуацию и позволяло острову не платить грабительски отжатый от него выкуп? Сия загадка все еще требовала разрешения. В том, что фрегат теперь находится в дружественных британских руках, сомневаться не приходилось. Единственно возможное предположение было не так уж и далеко от истины: должно быть, ночью кучка островитян проникла на корабль и завладела судном. Оставалось лишь выяснить личности этих таинственных спасителей и воздать им должные почести. С таким-то поручением и отправился на корабль в качестве полномочного представителя губернатора полковник Бишоп (сам губернатор Крид не смог этого сделать по состоянию здоровья) в сопровождении двух офицеров.

Едва полковник поднялся по веревочной лестнице на борт фрегата, как глаза его заблестели, остановившись на четырех сундуках с золотом, содержимое одного из которых было полностью внесено им самим. По обе стороны от сундуков двумя боевыми шеренгами стояли с дюжину человек в стальных латах, с начищенным испанским морионом на голове, скрывающим лицо, и мушкетом у ноги.

Сложно было представить, что плантатор с первого же взгляда признает в этих подтянутых, покрытых начищенными доспехами, обладавших военной выправкой фигурах тех косматых оборванцев, больше походивших на пугал, которые еще вчера были его рабами. Еще меньше можно было ожидать, что он сразу же опознает учтивого джентльмена, вышедшего его встречать, — худощавого, грациозного мужчину, одетого по испанской моде во все черное с серебряными кружевами. На расшитой золотом перевязи висела шпага с позолоченной рукояткой, из-под широкой касторовой шляпы с большим плюмажем выбивались тщательно завитые локоны иссиня-черного парика.

— Добро пожаловать на борт «Синко Льягас», дорогой полковник! — приветствовал плантатора смутно знакомый голос. — В честь вашего визита

мы вырядились в лучшее из гардероба испанцев. Хотя, призна́юсь, всё же рассчитывали увидеть самого губернатора.

— Питер Блад! — удивленно воскликнул полковник Бишоп, а затем, осознав ситуацию, с неподдельным ликованием проревел: — Черт меня побери! Мои рабы! Да это же с ними ты захватил сей корабль и тем самым поменялся с испанцами ролями! Клянусь кровью и ранами, вы сотворили нечто героическое!

— Героическое, говорите? Как по мне, так даже эпическое, — сказал Блад и пылко добавил: — Да будет благословенен мой гений!

Полковник сел на один из сундуков, снял широкополую шляпу и вытер выступивший на лбу пот.

— Ты меня удивляешь, — сказал он. — Честное слово, удивляешь! Поверить не могу!.. Это же просто поразительно! Готов поклясться, сам я так бы не смог. Вернуть сокровища да еще захватить для нас этот прекрасный корабль со всем, что тут на нем находится! Этим мы уже хотя бы частично возместим понесенные нами потери. Черт подери, Блад, ты заслуживаешь за это хорошей награды; все вы заслуживаете хорошей награды, и, будь я проклят, моя признательность вам гарантирована. Его превосходительство напишет домой отчет о вашем подвиге, и, возможно, какую-то часть заключения на этом острове вам скостят.

— Я тоже так думаю, — сказал Блад, но таким тоном, что полковник поднял глаза. Кто-то из мятежных каторжников осмелился рассмеяться. — А между тем, есть и другой вопрос — о причитающейся мне порке. Вы в таких делах — человек слова, полковник; насколько помню, вы заявили, что не оставите на моей спине и дюйма кожи.

Плантатор резко вскочил, чтобы прервать Блада, да с таким видом, будто счел этот намек чуть ли не оскорбительным.

— Вот еще! Неужели ты полагаешь, что после столь восхитительного поступка я стану вспоминать о подобных пустяках? Можешь об этом забыть навсегда, мой друг.

— И все же я полагаю, что мне несказанно повезло, ибо явись испанцы не вчера, а сегодня, в эту самую минуту я находился бы в таком же печальном состоянии, как и бедняга Джерри Питт. А стань я таким, откуда бы взялся тот гений, благодаря которому мы поменялись ролями с этими вороватыми испанцами?

— К чему сейчас вообще говорить об этом?

— К тому, что в свое время вы причинили людям немало зла и жестокости, и я хочу, чтобы это стало для вас уроком, — уроком, который надолго останется в вашей памяти. Джерри Питт лежит сейчас наверху, в каюте, с лихорадкой и спиной, разукрашенной вами во все цвета радуги. Не явись испанцы, возможно, он был бы уже мертв. Уже это не есть хорошо. Но сто́ит мне подумать о том, что вы хотели то же самое проделать со мной, у меня возникает вопрос: а следует ли вообще позволить вам сойти на берег?

— Что, черт возьми, ты имеешь в виду?

В душе полковника наконец-то пробудилась тревога, и, хотя тон его был яростным, лицо его побелело.

— Так или иначе, думаю, я просто подержу вас на борту в качестве заложника, который обеспечит хорошее поведение губернатора Крида и тех, кто остался в форте, пока мы не снимемся с якоря и не выйдем в море.

— Пока вы...

Ужас, обуявший полковника Бишопа, помешал ему повторить всю эту невероятную речь.

— Именно так, — сказал Блад и повернулся к офицерам, сопровождавшим полковника. — Лодка ждет, господа. Полагаю, вы слышали, *что* я сказал. Передайте это — вместе с моими наилучшими пожеланиями — его превосходительству.

— Но, сэр...

— С вашего позволения, джентльмены, меня зовут Блад, и я избран капитаном корабля «Синко Льягас», захваченного в качестве военного трофея у дона Диего Вальдеса, который находится здесь же, на борту, в роли пленника. Мы поменялись ролями не только с испанцами. Полагаю, вы это уже и сами поняли. Вот трап. Думаю, вы скорее предпочтете воспользоваться им, чем оказаться выброшенными за борт, что и случится, если будете мешкать.

Офицеры ретировались — хотя и после того лишь, как их слегка подтолкнули к трапу, — несмотря на рёв полковника Бишопа, к бессильной ярости которого добавился жуткий страх при мысли о том, что он очутился во власти людей, над которыми еще недавно жестоко измывался.

* * *

Человек шесть или семь среди них, будучи уроженцами Девоншира, обладали кое-какими познаниями в морском деле. Вместе с другими, вызвавшимися помогать им в соответствии с указаниями, они занялись управлением кораблем. Подняв якорь и развернув парус на гром-мачте, без каких-либо помех со стороны форта, вчерашние рабы при легком попутном бризе направились к выходу в открытое море.

Когда судно проходило мимо мыса, расположенного к востоку от бухты, Блад подошел к уже заметно охваченному паникой плантатору, уныло сидевшему под охраной на одном из сундуков с золотом, которые он еще недавно столь сладостно мечтал забрать с собой на берег.

— Умеете плавать, полковник?

Бишоп наградил его свирепым и вместе с тем угрюмым взглядом, но ничего не ответил.

— Как ваш лечащий врач, я прописываю вам купание, которое охладит чрезмерный пыл вашей натуры, — любезно пояснил Блад, и поскольку

Коротко выругавшись, полковник Бишоп ступил на доску, сделал три шага, затем потерял равновесие и полетел вниз, в зеленую бездну.

полковник по-прежнему молчал, продолжил: — К счастью для вас, я по природе своей не кровожаден. Мне было дьявольски трудно убедить этих парней не вешать вас на рее. Сомневаюсь, что вы стоите потраченных мною усилий, но поплавать за них немного придется. До мыса тут не больше четверти мили, и, если повезет, вы до него доберетесь. Давайте же! Не медлите! Только лишь дьявол знает, что с вами может случиться, если вы вдруг задержитесь у нас на борту.

Полковник Бишоп встал и пожал плечами. Безжалостный деспот, никогда и ни в чем за все эти годы себя не обуздывавший, по иронии судьбы он был вынужден проявлять сдержанность теперь — в тот самый момент, когда его чувства достигли наивысшего накала.

Блад отдал приказ, и поперек планшира привязали длинную доску.

— Прошу вас, — сказал Блад, сопроводив свои слова изящным приглашающим жестом.

Плантатор посмотрел на него с горящей яростью во взгляде. Затем сбросил башмаки, сорвал с себя камзол, влез на доску и на какой-то миг замер, в ужасе глядя на плескавшиеся внизу, футах в двадцати пяти от него, зеленые волны.

— Просто немного прогуляйтесь, дорогой полковник, — произнес позади него мягкий, насмешливый голос.

Вцепившись в линь, полковник Бишоп в нерешительности огляделся и увидел загорелые лица выстроившихся вдоль фальшборта людей — тех,

кто еще вчера побледнел бы, лишь взгляни он на них; теперь же они злорадно скалили зубы.

Коротко выругавшись, он ступил на доску, сделал три шага, затем потерял равновесие и полетел вниз, в зеленую бездну.

Когда Бишоп, жадно хватая ртом воздух, вынырнул, фрегат был уже в нескольких фарлонгах от него с подветренной стороны. Но полковнику все еще был слышен громкий рёв из насмешливых криков, которыми напутствовали его ссыльные мятежники, и им вновь овладела бессильная злоба.

ДОН ДИЕГО ВАЛЬДЕС

Дон Диего Вальдес проснулся с тупой болью в затылке и мутным взглядом оглядел залитую солнечным светом каюту. Затем снова закрыл глаза и попытался привести мысли в порядок, но головная боль и хаос в воспоминаниях мешали мыслить ясно.

Ощущение необъяснимой тревоги вынудило его оглядеться еще раз. Сомнений быть не могло: он находился в большой каюте своего корабля «Синко Льягас», так что испытываемое беспокойство не имело под собой оснований.

И, однако же, обрывки смутных воспоминаний упорно подсказывали: тут что-то не так.

Судя по положению солнца, заливавшего каюту золотистым светом через квадратные кормовые окна, вероятно, было раннее утро, — если, конечно, корабль идет на запад. Если же на восток, то тогда уже близится вечер.

То, что корабль сейчас на ходу, дон Диего чувствовал по легкой килевой качке. Но как так вышло, что он, капитан, не имеет понятия, на запад идет судно или же на восток, и вообще не может вспомнить, куда именно они направляются?

Его мысли вернулись к вчерашним событиям — если все это действительно случилось вчера. Он ясно помнил легкий и успешный рейд на Барбадос; в памяти были свежи мельчайшие детали этой удачной экспедиции вплоть до самого возвращения на борт корабля.

Он забрал выкуп в сто тысяч песо, выплаченный побежденными островитянами; его люди следовали за ним в восьми лодках, также нагруженных добычей и провиантом. Сей факт помнился отчетливо. Однако на этом месте воспоминания резко обрывались, словно он заснул в тот самый миг, как только переступил с трапа на палубу.

Дон Диего уже начал терзать себя различными догадками, когда дверь открылась, и он удивился еще сильнее: в каюту вошел его лучший костюм. Это был чрезвычайно элегантный, характерного испанского покроя камзол из черной тафты, отделанный серебристыми позументами, сшитый около года

назад в Кадисе. Дон Диего столь хорошо знал каждую его деталь, что никак не мог ошибиться.

Камзол приостановился, чтобы закрыть за собой дверь, и направился к дивану, на котором лежал дон Диего. В камзоле был мистер Питер Блад, высокий, стройный джентльмен примерно одного с доном Диего роста и телосложения. Увидев, что испанец смотрит на него округлившимися от изумления глазами, Блад ускорил шаг и по-испански спросил:

— Вижу, уже проснулись?

Ошеломленный дон Диего перехватил взгляд голубых глаз, смотревших на него со смуглого, сардонического лица, обрамленного черными локонами.

Пальцы Блада коснулись затылка испанца — тот вздрогнул, поморщился и застонал.

— Больно? — спросил Блад.

Он зажал запястье дона Диего между своими большим и указательным пальцами, и тогда испанец наконец-то заговорил:

— Вы доктор?

— Да, помимо всего прочего, — последовал загадочный ответ.

Блад продолжал проверять пульс пациента.

— Немного прерывистый, — объявил он и отпустил руку.

Дону Диего с горем пополам удалось занять сидячее положение на обитом красным плюшем диване.

— Кто вы такой, черт возьми? — спросил он. — И какого дьявола делаете в моей одежде на моем корабле?

Прямые черные брови Блада чуть приподнялись.

— Боюсь, вы всё еще бредите. Это не ваш корабль, а мой. И одежда эта — тоже моя.

— Ваш корабль? — ошеломленно переспросил испанец и еще более ошеломленно добавил: — Ваша одежда? Но... тогда...

Он растерянно огляделся и еще раз внимательно осмотрел каюту, задерживаясь на каждом знакомом предмете.

— Уж не сошел ли я с ума? — пробормотал он наконец. — Но ведь этот корабль, вне всякого сомнения, «Синко Льягас»?

— Да, это «Синко Льягас».

— Тогда...

Испанец умолк. Взгляд его стал еще более озадаченным.

— Válgame Dios![1] — вскричал он как человек, испытывающий сильнейшую душевную муку. — Может, вы еще скажете, что вас зовут дон Диего Вальдес?

— О нет! Меня зовут Блад — капитан Питер Блад. Этот корабль, так же, как и этот красивый костюм, принадлежат мне как военные трофеи. Вы же, дон Диего, мой пленник.

[1] Храни меня Бог! (исп.)

* * *

Сколь ни поразительным показалось испанцу это объяснение, оно все же несколько его успокоило, так как выглядело менее тревожащим, нежели то, что он уже начал воображать.

— Но... тогда, выходит, вы не испанец?

— Вы льстите моему кастильскому произношению. Я имею честь быть ирландцем. Вы, очевидно, полагаете, что произошло некое чудо. Так и есть — чудо, случившееся благодаря моей прозорливой гениальности.

И капитан Блад вкратце приоткрыл ему завесу тайны. Прошедшей ночью, пока две с половиной сотни испанцев под предводительством дона Диего веселились в захваченном Бриджтауне, Блад и около тридцати позабытых всеми рабов с плантаций, все до единого — ссыльные бунтовщики, участвовавшие в мятеже Монмута в Западной Англии и впоследствии сосланные в южные колонии, тихо проскользнули на борт «Синко Льягас», обезоружили немногочисленный контингент, охранявший судно со свойственной испанцам беспечностью, и прибрали корабль к своим рукам.

— Когда вы утром прибыли на борт с выкупом в сто тысяч песо, вас утихомирили ударом по голове. Затем мы погрузили сундуки с золотом на борт и пушечными залпами потопили лодки с вашими еще недавно предававшимися мародерству сторонниками. Успешно покончив с этим и не горя желанием возвращаться в рабство, мы вышли в море.

Слушая его рассказ, испанец попеременно то краснел, то бледнел. Ощупав рукой затылок, он обнаружил там — в подтверждение данной истории — шишку величиной с голубиное яйцо.

— А мой сын? Что с моим сыном? — вскричал он. — Он был с канониром, оставшимся охранять корабль!

— Ваш сын в безопасности; они с канониром, а также корабельная команда — в общей сложности десять человек — закованы в кандалы и сидят в трюме.

Дон Диего снова улегся на диван; его темные блестящие глаза продолжали пристально изучать смуглое лицо капитана Блада. Обладая твердым характером, присущим человеку отчаянной профессии, он взял себя в руки и спокойно осведомился:

— И что же дальше, Señor Capitán?

— А дальше, — ответил капитан Блад, — как человек гуманный я должен выразить огорчение, что вы не умерли от нанесенного вам удара, ибо это означает, что вам придется испытать все неприятности, связанные с необходимостью умирать снова.

— А это необходимо? — спросил дон Диего без видимого волнения.

В голубых глазах капитана Блада промелькнуло одобрение.

— Задайте этот вопрос себе, — сказал он. — Как опытный и кровожадный пират ответьте: как бы вы поступили на моем месте?

— Ха, но между нами ведь есть разница, и весьма, на мой взгляд, ощутимая. — Дон Диего устроился на диване поудобнее, дабы продолжить обсуждение этого серьезного вопроса. — Она, эта разница, заключается в том, что вы похваляетесь своей гуманностью.

Капитан Блад уселся на край длинного дубового стола.

— Но я ведь не дурак, — сказал он, — и не позволю своей врожденной ирландской сентиментальности помешать сделать то, что необходимо и правильно. Оставлять на корабле вас и десяток оставшихся в живых мерзавцев — опасно. К тому же, в трюме не так уж много воды и провизии. Правда, нам повезло: команда довольно малочисленная, но вы и ваши соотечественники, к большому нашему неудобству, увеличиваете количество едоков. Как видите, с какой стороны ни взгляни, благоразумие подсказывает, что мы должны отказаться от удовольствия побыть в вашем обществе, и, подготовив наши нежные сердца к встрече с неизбежным, любезно предложить вам перешагнуть через борт.

— Понимаю, — задумчиво произнес испанец.

Затем спустил ноги на пол и, опершись локтями в колени, придвинулся к краю дивана. Он уже раскусил этого человека и теперь говорил с ним тем же насмешливо-любезным и учтиво-бесстрастным тоном.

— Должен признать, — сказал он, — ваши слова весьма убедительны.

— Вы снимаете с меня большую тяжесть, — сказал капитан Блад. — Мне бы не хотелось быть суровым без особой к тому необходимости, тем более что я и мои друзья столь многим вам обязаны. Не знаю, как там насчет других, но для нас ваше нападение на Барбадос оказалось весьма благоприятным. Словом, я рад, что вы согласны с тем, что у нас нет иного выбора.

— Позвольте, мой друг, я с этим вовсе не соглашался!

— Если вы можете предложить какую-то альтернативу, я буду счастлив ее рассмотреть.

Дон Диего в задумчивости провел рукой по своей черной клинообразной бородке.

— Могу я подумать до утра? Так жутко болит голова, что я сейчас плохо соображаю. Согласитесь: такой вопрос все же нужно как следует обмозговать.

Капитан Блад поднялся, снял с полки песочные часы, рассчитанные на полчаса, перевернул их таким образом, чтобы колбочка с красным песком оказалась сверху, и поставил на стол.

— Сожалею, что я вынужден торопить вас в столь серьезном деле, дон Диего, но это всё, на что вы можете рассчитывать. Если к тому моменту, как этот песок окажется внизу, вы не предложите приемлемой альтернативы, я — пусть и с большой неохотой — буду вынужден просить вас и ваших друзей отправиться за борт.

Капитан Блад вышел и запер дверь на ключ.

Подперев подбородок ладонью, дон Диего сидел и смотрел, как красный песок пересыпается из верхней колбочки в нижнюю, и по мере того, как шло время, морщины на его худом широком лице становились все более и более глубокими.

Едва последние песчинки упали на дно, дверь снова открылась.

Испанец вздохнул и распрямился, чтобы сообщить вернувшемуся капитану Бладу ответ, за которым тот пришел.

— Я придумал альтернативный план, господин капитан, но все зависит от вашего милосердия. Вы не могли бы высадить нас на одном из островов этого тлетворного архипелага, предоставив нашей судьбе?

Капитан Блад провел языком по сухим губам.

— С этим могут возникнуть определенные сложности, — медленно произнес он.

— Я опасался, что вы именно так и ответите, — дон Диего снова вздохнул, затем встал. — Давайте об этом больше не будем...

Голубые глаза капитана Блада впились в него, словно стальные иглы.

— Вы не боитесь умереть, дон Диего?

Испанец откинул голову чуть назад и хмуро свел брови.

— Ваш вопрос оскорбителен, сеньор!

— Я не имел намерения вас оскорбить. Позвольте мне задать его по-иному и, пожалуй, в более приемлемой форме: вы хотите остаться в живых?

— О, на это я могу ответить. Я хочу жить, и еще больше хочу, чтобы жил мой сын. Но это желание не сделает из меня труса вам на забаву, господин насмешник.

Это было первое проявление испытываемого им раздражения или негодования.

Капитан Блад ответил не сразу. Он снова присел на край стола.

— А не хотели бы вы, сеньор, заслужить жизнь и свободу — для себя самого, для вашего сына и всех прочих находящихся на борту испанцев?

— Заслужить? — переспросил дон Диего, и от наблюдательного капитана Блада не ускользнуло, что по телу его пробежала дрожь. — Заслужить, говорите? Почему бы и нет, если служба, о которой вы говорите, не нанесет какого-либо ущерба моей чести.

— Разве я мог бы предложить подобное? — воскликнул капитан. — Я прекрасно понимаю, что даже у пирата есть честь.

И он тут же изложил свое предложение.

— Если вы посмотрите в эти окна, дон Диего, то увидите на горизонте нечто вроде легкого облачка. Это — остров Барбадос, оставшийся далеко-далеко позади. Весь день мы плыли на восток с одной-единственной целью — отойти от Барбадоса на как можно большее расстояние.

Но сейчас, когда земли почти не видно, возникла проблема. Единственный среди нас, кто обучен искусству судовождения, слег с лихорадкой

Наконец дон Диего повернулся и, встав спиной к свету, так, чтобы капитан не мог видеть, сколь он бледен, произнес:
— Я согласен.

вследствие побоев, полученных еще на берегу, прежде чем мы унесли его с собой, и фактически мечется сейчас в бреду. Я сносно управляю кораблем в бою, и на борту есть еще парочка девонширцев, которые, если что, мне помогут, но высокие таинства кораблевождения и искусства нахождения пути на непроторенных просторах океана нам совершенно неведомы. Держаться же берегов и бродить вокруг этого, как вы удачно выразились, «тлетворного» архипелага, — значит, как вы и сами, возможно, понимаете, накликать на себя беду.

Это подводит нас к следующему. Мы хотим кратчайшим путем добраться до голландской колонии Кюрасао, запастись там продовольствием и пополнить команду теми местными искателями приключений, которые пожелают к нам присоединиться. Можете ли поклясться честью, что, если я освобожу вас под честное слово, вы отведете туда корабль? Если — да, то по прибытии туда мы отпустим вас и тех из ваших людей, что остались в живых, на свободу, либо, если таково будет ваше волеизъявление, доставим на один из малых островов.

Дон Диего склонил голову на грудь и в раздумье подошел к окнам, выходившим на корму. Какое-то время так он и стоял там, глядя на залитое солнцем море и пенящуюся кильватерную струю корабля — его корабля, который эти английские псы захватили и теперь просят благополучно провести туда, где он будет окончательно для него потерян и переоснащен для ведения военных действий против любимой родины. Такие мысли лежали на одной чаше весов; на другой же были жизни одиннадцати человек, включая его собственную.

Наконец он повернулся и, встав спиной к свету, так, чтобы капитан не мог видеть, сколь он бледен, произнес:

— Я согласен.

Так сделка была заключена, и дону Диего были переданы обязанности штурмана и предоставлена полная свобода передвижения на его бывшем корабле, и поскольку люди, захватившие судно, были новичками в морях Испанского Мэйна и еще не научились видеть в каждом испанце вероломного, жестокого пса, которого следовало уничтожить на месте, в ответ на его изысканную учтивость они относились к нему с уважением. Обедал дон Диего в большой каюте с Бладом и полудюжиной офицеров, выбранных ирландцу в помощники. В их число, помимо прочих, входили Хагторп, худощавый блондин лет тридцати; Волверстон, смуглый гигант, потерявший глаз в битве при Седжмуре; и канонир Огл, дородный мужчина, повидавший на своем веку немало сражений и столь же невежественный в мореходстве, сколь прекрасно разбиравшийся в пушках и во всем, что к ним относилось.

Они нашли дона Диего приятным и даже интересным собеседником, и их дружеское расположение к нему подкреплялось выдержкой и невозмутимостью, с которыми он переносил постигшее его несчастье.

Невозможно было даже предположить, что дон Диего ведет нечестную игру. Более того, нельзя было даже представить причину, способную побудить его к обману. Он был с ними предельно откровенен и сразу же указал их ошибку: отойдя от Барбадоса, они пошли по ветру, тогда как, направляясь от архипелага в Карибское море, им следовало оставить остров с подветренной стороны.

Теперь же, чтобы пойти в Кюрасао, им было необходимо пересечь его снова, и этот переход представлял существенный риск. В любой момент они могли встретиться со столь же или даже более мощным судном, и, вне зависимости от того, оказалось бы оно испанским или английским, для них это было бы одинаково плохо, — ведь с такой малочисленной командой они не могли принять бой. Дабы свести этот риск к минимуму, дон Диего избрал сначала южный, а затем западный курс, и, таким образом, благополучно пройдя через архипелаг между Тобаго и Гренадой, они миновали опасную зону и вышли в относительно безопасные воды Карибского моря.

— Если ветер не переменится, — объявил им испанец в тот вечер за ужином, после того, как определил местонахождение корабля, — мы окажемся в Кюрасао не позднее, чем через три дня.

* * *

Ветер держался трое суток, даже немного посвежел на вторые, — и, тем не менее, к вечеру третьего дня «Синко Льягас» все так же бороздил море, и кругом были лишь вода и небо. Капитан Блад с беспокойством сказал об этом дону Диего.

— Земля покажется завтра утром, — ответил тот со спокойной уверенностью.

— Клянусь всеми святыми, у вас, испанцев, всё — завтра, но это «завтра» никогда не наступает, мой друг.

— Не волнуйтесь, на этот раз «завтра» наступит. Сколь бы рано вы ни встали, дон Педро, земля уже будет перед вами.

Успокоенный таким ответом, капитан Блад отправился навестить своего пациента — Джереми Питта, болезненному состоянию которого дон Диего и был обязан шансом остаться в живых. У Питта уже второй день не было лихорадки, и он чувствовал себя настолько лучше, что стал жаловаться на свое пребывание в душной каюте.

Чтобы потрафить больному, Блад разрешил ему подышать свежим воздухом, и с последними лучами солнца, опираясь на руку капитана, Джереми вышел на палубу.

Сидя на крышке люка на комингсе, парень из Сомерсета с благодарностью наполнил легкие холодным ночным воздухом и заявил, что ему уже намного лучше. Затем он прошелся глазами по темному небосводу, усыпанному мириадами золотистых точек. Какое-то время Джереми разглядывал небо лениво и безучастно, но затем его взгляд вдруг сделался пристальным и напряженным. Оглядевшись, он посмотрел на стоявшего рядом капитана Блада.

— Ты что-нибудь понимаешь в астрономии, Питер? — спросил он.

— В астрономии? По правде говоря, даже не отличу Пояс Ориона от Пояса Венеры[1].

— Ха! Думаю, и остальные увальни из нашей команды столь же невежественны.

— Ты будешь ближе к истине, если предположишь, что они знают еще меньше меня.

Джерри показал на светлую точку в небе справа, по носу корабля, и пояснил:

— Это — Полярная звезда.

— Да ну? Черт возьми, и как только ты нашел ее среди прочих?

— И то, что Полярная звезда висит перед нами, почти над правым бортом, означает, что мы идем курсом норд-норд-вест или, может, норд-вест, так как я сомневаюсь, что мы находимся более чем в десяти градусах к западу.

— А почему бы нам не идти этим курсом?

— Ты, кажется, говорил мне, что, пройдя между островами Тобаго и Гренада, мы направились к западу от архипелага, к Кюрасао. Но если бы мы шли таким курсом, Полярная звезда должна была бы быть у нас на траверсе[2] — вон там.

---

[1] *Пояс Ориона* — астеризм (то есть легко различимая группа звезд) в созвездии Ориона. *Пояс Венеры* — атмосферное оптическое явление, названное в честь пояса Афродиты из античной мифологии. Выглядит как полоса от розового до оранжевого цвета между темным ночным небом внизу и голубым небом вверху. Появляется перед восходом или после заката и проходит параллельно горизонту на высоте 10–20° в месте, противоположном Солнцу.

[2] *Траверс* — направление, перпендикулярное курсу судна.

Состояние лености, владевшее капитаном Бладом, в один миг испарилось. Он уже собирался что-то ответить, как вдруг темноту прорезал луч света из приоткрывшейся двери большой каюты. Дверь снова закрылась, и с трапа донесся звук гулких шагов. К ним приближался дон Диего.

Многозначительно сжав пальцами плечо Джереми Питта, капитан Блад обратился к дону Диего по-английски, как обычно делал в присутствии других членов команды.

— Не разрешите наш небольшой диспут, дон Диего? — беззаботно спросил он. — Мы тут с мистером Питтом спорим, какая из этих звезд — Полярная.

— В самом деле? — непринужденно спросил испанец; в его тоне даже прозвучала легкая ирония, объяснявшаяся уже следующей его репликой: — Но вы же, кажется, говорили мне, что мистер Питт — ваш штурман?

— За неимением лучшего, — с добродушной снисходительностью рассмеялся капитан. — Сейчас я готов поспорить с ним на сто песо, что Полярная звезда — вон та.

И, выставив руку в направлении, перпендикулярном курсу судна, он указал на первую попавшуюся светлую точку.

Позднее Блад признался Питту, что, если бы дон Диего с ним согласился, он убил бы его на месте. Однако испанец откровенно выказал свое презрение к астрономическим познаниям капитана.

— Ваше убеждение основано на невежестве, дон Педро. И вы проспорили: Полярная звезда — вон та, — и испанец указал на нее.

— Вы уверены?

— Мой дорогой дон Педро! — запротестовал испанец, которого, похоже, уже начинал забавлять этот разговор. — Разве я могу ошибаться? Да и потом, есть же компас. Пройдите в румпельное отделение и сами увидите, каким мы следуем курсом.

Его предельная откровенность и спокойствие человека, которому нечего скрывать, тут же развеяли все сомнения капитана Блада. Однако убедить Джерри Питта было не так легко.

— В таком случае, дон Диего, может, вы скажете мне, почему, раз уж мы направляемся в Кюрасао, наш курс сейчас — вот такой?

И вновь дон Диего не проявил ни малейшего замешательства.

— Понимаю, почему вы об этом спрашиваете, — ответил он и вздохнул. — Надеялся, это останется незамеченным. Я был беспечен: и подобная небрежность, конечно же, заслуживает всяческого порицания. Я пренебрег наблюдениями — всегда ими пренебрегаю, ибо уверен в себе и всецело полагаюсь на навигационное счисление пути. Сегодня же, взяв в руки квадрант, я обнаружил, что мы отклонились на полградуса к югу, и теперь Кюрасао находится почти прямо к северу от нас. В этом и заключается причина нашей задержки. Но уже завтра мы будем на месте.

Такое объяснение, столь убедительное и с такой готовностью предоставленное, не оставило места для дальнейших сомнений. Когда испанец

удалился, Блад заметил Питту, что подозревать дона Диего вообще абсурдно: пусть тот пират, он уже показал себя человеком достойным, открыто заявив о своем желании скорее умереть, чем взять на себя обязательства, порочащие его честь.

Будучи новичком в море и не зная повадок здешних авантюристов, капитан Блад все еще питал по отношению к ним некоторые иллюзии.

Но события следующего утра грубо их развеяли, раз и навсегда.

* * *

Выйдя на палубу еще до восхода солнца, Блад увидел впереди землю, обещанную ему накануне вечером испанцем. Примерно в десяти милях от них расстилалась длинная береговая линия, покрывавшая весь горизонт к востоку и западу, тогда как прямо перед ними лежал большой мыс.

Глядя на эту землю, ирландец нахмурился. Он и не предполагал, что остров Кюрасао может достигать столь внушительных размеров. То, что располагалось перед ними, походило скорее на материк, чем на остров.

Идя против легкого бриза, в четырех или пяти милях от них по правому борту двигался большой корабль, насколько Блад мог судить на таком расстоянии, водоизмещением не уступавший, если не превосходивший «Синко Льягас». Пока ирландец наблюдал за судном, оно изменило курс, пойдя на сближение в крутом бейдевинде.

Человек двадцать из команды толпились на баке, нетерпеливо поглядывая на сушу; их громкие голоса и смех доносились до капитана через весь величественный «Синко Льягас».

— Это и есть земля обетованная, дон Педро, — произнес на беглом испанском чей-то голос у него за спиной.

Было в этом голосе нечто такое — возможно, какая-то приглушенная нотка торжества, — что сразу же разбудило в Бладе все его подозрения и превратило сомнения в уверенность. Он так круто повернулся к дону Диего, что заметил коварную улыбку, не успевшую сойти с губ испанца.

— Учитывая все обстоятельства, ваше удовлетворение при виде этой земли мне не очень понятно.

— Ну разумеется, — испанец потер руки, и капитан Блад заметил, что они дрожат. — Это удовлетворение моряка.

— А может, всё же — предателя? — резко вопросил ирландец.

Увидев, что испанец внезапно переменился в лице и попятился, подтвердив все его сомнения, Блад указал рукой на приближающуюся сушу и свирепо вскричал:

— Что это за земля? Хватит ли вам наглости и сейчас утверждать, что это — берег Кюрасао? — он яростно наступал на дона Диего, который шаг за шагом отступал назад. — Или мне самому́ сказать вам, *что* это такое? Сказать?

Яростная убежденность, с которой говорил Блад, казалось, удивила и ошеломила испанца: он молчал. И тогда Блад наугад — а может, и не совсем наугад — рискнул высказать свою догадку. Если эта береговая линия не принадлежит Мэйну — а он знал, что Мэйну она принадлежать не может, — то должна принадлежать Кубе либо Эспаньоле. Но зная, что Куба, несомненно, пролегает дальше к северо-западу, Блад тут же сообразил, что, задумай дон Диего предательство, он привел бы их к берегам ближайшей из испанских территорий.

— Эта земля, испанская ты псина, предатель и клятвопреступник, — остров Эспаньола!

Произнося эти слова, капитан Блад пристально вглядывался в смуглое, но сильно побледневшее лицо испанца, чтобы по выражению этой физиономии понять, верно ли он угадал. Но теперь отступавший испанец дошел уже до середины квартердека, где крюйсельный парус заслонял их от глаз стоявших внизу англичан. Губы его скривились в презрительной ухмылке.

— Слишком уж ты, perro inglez[1], много знаешь! — процедил он сквозь зубы и, бросившись на Блада, схватил его за горло.

Вцепившись друг в друга, с пару мгновений они боролись, затем ирландец подцепил ногу испанца своей правой ногой, и они вместе упали на палубу. Дон Диего самоуверенно решил, что сможет придушить Блада и тем самым выиграть полчаса, необходимые для подхода направлявшегося к ним прекрасного судна — несомненно, испанского, как он полагал, ибо ни один корабль другой национальности не посмел бы столь дерзко крейсировать в этих испанских водах близ Эспаньолы. Однако расчеты дона Диего не оправдались: он сообразил это только тогда, когда обнаружил, что лежит на спине, придавленный к палубе коленом противника, а люди Блада уже бегут по трапу на помощь своему вожаку, откликнувшись на его громкий призыв.

— Не помолиться ли мне за твою мерзкую душу, пока я стою в приличествующей молитве позе? — насмешливо вопросил разъяренный капитан Блад.

Но испанец, пусть ему и не на что было уже надеяться, выдавил из себя улыбку и ответил на издевку издевкой:

— Интересно, кто помолится за твою душу, когда этот фрегат возьмет вас на абордаж?

— Этот фрегат?! — пробормотал Блад, внезапно осознав мотивы поступка своего пленника и поняв, что последствий предательства дона Диего избежать уже никак не удастся.

Шутливость и любезность в один миг покинули ирландца. Теперь в голубых глазах Блада сверкало пламя, лицо сделалось смертельно бледным от едва сдерживаемой ярости.

[1] Английский пёс (исп.)

Он встал и, кивком указав своим людям на испанца, распорядился:

— Свяжите ему руки и ноги, но не троньте даже и пальцем — с его драгоценной головы не должен упасть ни один волосок!

Это предупреждение было отнюдь не лишним, ибо люди Блада, рассвирепевшие от мысли о том, что они сменили одно рабство на другое, еще более страшное, были готовы разорвать испанца на куски. Если они и подчинились своему капитану, сдержавшись, то лишь потому, что внезапно зазвучавшие в его голосе стальные нотки обещали Диего Вальдесу нечто гораздо более изощренное, нежели смерть.

— Мерзавец! Грязный пират! — презрительно бросил Блад. — Какой ты после этого «человек чести»?

Дон Диего поднял на него глаза и рассмеялся.

— Ты недооценил меня, — произнес он по-английски, чтобы все могли его понять. — Я говорил тебе, что не боюсь смерти, и докажу это. Тебе не понять. Ты всего лишь английская псина.

— Ирландская, с твоего позволения, — капитан Блад настаивал на этом даже в столь драматичный момент. — А как же твое — благородного испанца — честное слово?

— Неужели ты думал, что я оставлю в ваших грязных лапах прекрасный корабль, на котором вы будете сражаться с испанцами? Ха-ха-ха! — дон Диего громко расхохотался. — Глупцы! Можете убить меня. Тьфу! Смерти я не боюсь. Пусть и умру, но умру с сознанием выполненного долга. Не пройдет и часа, как вы станете пленниками Испании, а над «Синко Льягас» вновь взовьется наш гордый флаг!

Белый как смерть, капитан Блад продолжал смотреть на него; ярость затуманила ему мозг, лишив способности мыслить здраво.

— Ждите, — бросило он наконец своим людям и, крутнувшись на каблуках, отошел к поручням.

Там к нему присоединились Хагторп, Волверстон и Огл, канонир. Какое-то время все четверо в полном молчании взирали на приближающийся к ним корабль. Тот сделал поворот через фордевинд и теперь бежал наперерез курсу «Синко Льягас».

— Не пройдет и получаса, — сказал наконец капитан Блад, — как он сблизится с нами, и его пушки сметут все с нашей палубы.

— Мы будем драться! — смачно выругавшись, вскричал одноглазый гигант Волверстон.

— Драться? — насмешливо переспросил Блад. — Да у нас — некомплект! Как мы можем драться, если на борту едва наберется человек тридцать? Это будет чистое самоубийство. Наш единственный шанс — убедить этот фрегат в том, что мы — испанцы... Может, тогда он позволит нам продолжить наш путь.

— А разве это возможно? — спросил Огл.

— Это невозможно, — сказал Блад. — Конечно, если бы...

Он умолк и погрузился в размышления, устремив взор в зеленую воду. Огл, склонный к сарказму, вдруг предложил горьким тоном:

— Мы могли бы послать дона Диего Вальдеса в шлюпке, с его испанцами на веслах, заверить капитана этого корабля, что все мы — верные подданные его католического величества.

Капитан повернулся к нему с таким видом, будто собирался его ударить, но затем в глазах Блада зажегся другой огонек — счастливого вдохновения.

— Черт возьми, ты нашел выход! — воскликнул он.

Резко развернувшись, он направился к группе людей, стоявших вокруг дона Диего.

— Давайте-ка живо вниз и тащите сюда пленных испанцев, — скомандовал он. — А ты, Хагторп, подними испанский флаг так, чтобы его было хорошо видно.

Когда, через пару минут, десять угрюмых, закованных в кандалы испанцев выстроились перед ним в линию на квартердеке, капитан Блад, не особо вдаваясь в подробности, холодно поведал им о предательстве дона Диего и нависшей над его, Блада, людьми угрозе.

— Эту опасность, — объявил ирландец, — вы разделите с нами, ибо если нам суждено погибнуть, вы тоже умрете. Но, если согласитесь сделать то, о чем я вас попрошу, шанс выжить, пусть и крошечный, у нас — у всех — всё же есть.

За спиной у Блада снова захохотал дон Диего. Бледное лицо испанца выражало исступленность готового пойти на смерть мученика.

— Вам ничто уже не поможет! — прокричал он дрожащим от волнения голосом. — Не ведитесь на его обещания, парни! Давайте лучше умрем, погибнем во славу Испании!

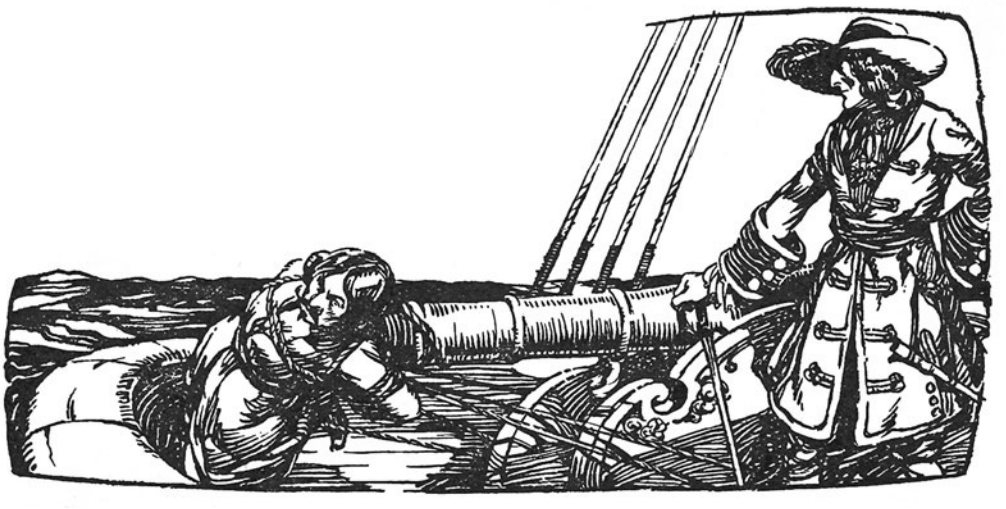
Блад не слушал его. Все внимание капитана было сосредоточено на десяти пленниках, и на мрачных лицах этих мужланов он не обнаружил даже намека на ту экзальтацию, которую пытался разжечь в них их вожак. Блад обернулся к людям, державшим дона Диего, и, указав на ближайшее кормовое орудие, распорядился:

— Привяжите его к жерлу этой пушки.

* * *

Этот приказ несколько пригасил тот романский дух, который был отмечен в пленнике капитаном Бладом и даже вызывал у него — внешне, впрочем, никак не проявлявшееся — восхищение. Даже не страшась само́й смерти, любой может прийти в ужас от того, как именно ему предстоит умереть.

Дон Диего неистово завращал вытаращенными глазами, попытавшись вырваться из державших его рук; с губ испанца полетели ругательства и оскорбления, вызванные обуявшим его ужасом. Впрочем, все усилия дона оказались напрасными: тело его быстро и накрепко привязали к жерлу орудия, а руки



Приказ несколько пригасил тот романский дух,
который был отмечен в пленнике капитаном Бладом
и даже вызывал у него восхищение.

и ноги прикрутили к станине лафета. Тогда он обезумевшим тоном принялся на чем свет стоит поноси́ть своего мучителя:

— Тупой еретик, варвар! Бесчеловечный дикарь! Неужели нельзя удовольствоваться тем, чтобы убить меня как-нибудь по-христиански?

— Суньте ему в рот кляп, — распорядился ирландец.

И приказ этот он отдал не без определенной коварной цели. Оправившись от потрясения, испанец мог вновь воспрянуть духом и попытаться пробудить в своих сторонниках твердость.

Повернувшись к пленникам, капитан Блад с удовлетворением отметил ужас, отпечатавшийся на каждом из десяти лиц. Он приказал канониру, внушительному парню властного вида, выйти вперед, а затем медленно изложил свои намерения на великолепном кастильском, которым владел в совершенстве.

— Данный корабль, — сказал он, — вскоре откроет по нам огонь, если мы не предпримем меры к тому, чтобы это предотвратить. Драться мы не можем, о чем ваш капитан прекрасно знал, когда нарушил слово и завел нас в эту западню. Но, будучи не в состоянии драться, мы не можем и сдаться, потому что это для нас означало бы смерть или даже что-то похуже. Если нам суждено умереть, мы всё же будем сражаться. А если придется сражаться, то огонь с нашей стороны откроет вот эта вот пушка.

И его рука коснулась орудия, к жерлу которого был привязан дон Диего.

— Надеюсь, ты меня понял.

Эстебан, канонир-испанец — он был бледен как смерть — вперил взгляд в безжалостные голубые глаза ирландца.

— Понял ли я? — воскликнул он. — Но, nombre de Dios[1], *что* конкретно я должен понять? Вы сказали, бой можно предотвратить. Но как?

— Мы могли бы избежать боя и спокойно уйти, — последовал ответ, — если бы дон Диего отправился на борт этого фрегата и лично заверил капитана, что «Синко Льягас» — действительно испанский корабль, как об этом и свидетельствует его флаг.

Блад указал на верхушку мачты, где развевался золотисто-пурпурный стяг Кастилии.

— Но поскольку дон Диего занят другим делом и не может отправиться лично, он пошлет туда своего представителя. Ты поедешь как его лейтенант, для довершения иллюзии взяв с собой испанских гребцов. Если вернешься без происшествий, сыграв свою роль столь хорошо, что мы сможем беспрепятственно продолжить свой путь, дон Диего и все вы останетесь в живых. Но если будет хоть намек на предательство или какие-либо неприятности, сражение с нашей стороны начнется выстрелом из этой вот пушки, которая будет наведена на ваш баркас.

Выдержав небольшую паузу, Блад спросил:

— Что скажешь?

Последовало молчание, которое прервали испанцы, стоявшие за спиной канонира.

— Соглашайся! — взмолились они все как один. — Соглашайся, во имя Христа, и сделай так, как он говорит!

Капитан Блад улыбнулся.

— Слышишь? — спросил он и добавил: — Поверь мне, это хороший совет.

Эстебан облизнул сухие губы и тыльной стороной ладони вытер выступивший на лбу пот. Он не сводил глаз со своего капитана и видел, как тот напрягает мышцы в попытке разорвать путы.

— Но... но что следует делать? Что я должен сказать капитану того корабля?

— Ты оденешься, как подобает лейтенанту дона Диего, и доставишь письмо, которым я снабжу тебя, — мол, дону Диего необходимо срочно отправить его, это письмо, в Кадис, и он послал тебя на этот корабль в надежде на то, что судно направляется домой, в Испанию.

Стоявшие за спиной Эстебана и видевшие в этом предложении свой единственный шанс на спасение принялись охрипшими голосами умолять его сделать то, что от него требуют. Уступив их мольбам и собственному страху, канонир согласился.

Капитан Блад оживился. Времени и так уже было потрачено достаточно; корабли сблизились настолько, что расстояние между ними не превышало мили. Он приказал снять с пленников кандалы и приготовить к спуску баркас.

[1] Бога ради (исп.)

Уведя Эстебана с собой в кормовую рубку, Блад позволил испанцу переодеться там в предоставленный ему наряд, а сам принялся орудовать перьями и бумагой, найденными среди пожитков дона Диего. К тому времени, как Эстебан закончил свой туалет, Блад уже завершил задуманное и вручил канониру пакет, на котором были указаны некое имя и адрес в Кадисе, обнаруженные капитаном в корреспонденции дона Диего. Пакет был запечатан гербом Вальдеса, и по в высшей степени корректно оформленному экстерьеру данного свертка никто бы не смог заподозрить, что он содержит всего-навсего несколько листов чистой бумаги.

* * *

Когда они снова вышли на квартердек, большой корабль находился уже примерно в полумиле от них. Блад отдал приказ, и носовая пушка выстрелила холостым; руль тотчас же был положен к ветру, и «Синко Льягас» лег в дрейф с лениво заполоскавшимися под утренним бризом парусами, тогда как испанские моряки принялись спускать на воду лодку.

Тем временем другой корабль, чуть изменив направление, продолжал сближение до тех пор, пока расстояние между судами не сократилось вдвое. Лишь тогда он также лег в дрейф, повинуясь сигналу, и стал ждать баркас, мчавшийся к нему по залитой солнцем воде. Тот факт, что судно подошло так близко и до сих пор не показало своего флага, выглядел подозрительным, и капитан Блад на какой-то миг даже испугался, что оно остановится только тогда, когда станет с «Синко Льягас» борт о борт. Когда корабль наконец-то лег в дрейф, ирландец вздохнул с облегчением.

Вместе с Волверстоном, Хагторпом и Оглом он стоял возле пушки, к которой был привязан продолжавший извиваться дон Диего. Огл держал орудие нацеленным на баркас, тогда как его помощник был готов в любой момент по команде поднести брызжущий огнем запал к жерлу.

Взволнованными и внимательными были взгляды, провожавшие лодку, пока та пересекала разделявшее корабли водное пространство: наконец она подошла вплотную к черному корпусу фрегата, и все увидели, как Эстебан быстро поднялся по трапу.

Минут через пять тревожного, почти изнуряющего ожидания над водой разнесся звук горна, в следующие мгновения потонувший в реве восьми пушек, исторгнувших огонь и металл. Бортовой залп был нацелен высоко, — несомненно, с целью очистить палубы стоявшего носом к врагу «Синко Льягас».

К счастью, прицел был взят слишком высоко, и ядра просвистели сквозь ванты судна, причинив незначительный ущерб и легко ранив двух человек разлетевшимися по сторонам обломками. Но пусть этот залп и не вызвал смертей, которые определенно должен был вызвать, он всё же посеял на борту корабля почти столь же фатальный ужас.

— Нас предали! Этот испанский пёс предал нас! — прокатилось по всему судну.

Выругавшись сквозь сжатые зубы, Огл повернулся к своему помощнику.

— Огонь! — прокричал он, и помощник послушно протянул фитиль к запальному отверстию пушки.

Дон Диего дернулся еще раз, а затем повис на веревках, обратив взгляд на море, но прежде чем запал смог коснуться пороха, капитан Блад вырвал его из руки парня и, затушив подошвой, обернулся с выражением дикого возбуждения на смуглом лице.

— Опустите флаг! — проревел он. — Нас никто не предавал, напротив, причиной этого залпа стала верность испанцев.

И он указал рукой на грот-мачту другого корабля, к верхушке которой быстро поднимался английский флаг, раскрывая наконец, теперь, когда всё уже шло к битве истинную национальность судна.

Каждый на борту тотчас же сообразил, что происходит. Кто-то уже тянул за фал, и прежде чем «Гордость Бристоля» — как называлось другое судно — начала поворот, испанский флаг соскользнул вниз, а утренний бриз развернул над «Синко Льягас» английский стяг.

Данного обстоятельства, а также невероятной истории, уже рассказанной к этой минуте Эстебаном и частично подтвержденной пустым содержимым захваченного им с собой свертка, оказалось достаточно для того, чтобы «Гордость Бристоля» взяла паузу. Испанцам приказали подняться на борт, где их на какое-то время задержали, тогда как английские моряки во главе с помощником капитана спустились в баркас и направились с визитом на «Синко Льягас».

Капитан Блад встретил помощника капитана «Гордости Бристоля» побасенкой, в которой волей-неволей кое о чем умолчал. История мало того что выглядела вполне убедительной, но и развеселила англичанина до такой степени, что Блад испытал острое желание выбросить его за борт.

Когда британец наконец оправился от бурного веселья, то заявил, что возвратит Бладу его испанских пленников, но посоветовал незамедлительно повесить дона Диего Вальдеса за вероломное пиратство.

— Вот с этим я совершенно не согласен, — ответил Блад. — Пусть он пират, испанец, предатель, но вместе с тем католик по духу. Да и потом, я дал слово, что если его люди выполнят мое поручение, сохраню ему жизнь.

* * *

Обернувшись к тем, кто стоял рядом, Блад указал на орудие, к которому все еще был привязан дон Диего.

— Освободите его, — скомандовал капитан. — Я держу свое слово, дон Диего: вам дарована жизнь. Слышите?

Что-то дрогнуло в его лице, когда он задал этот вопрос. Блад подошел к испанцу вплотную, и дыхание его прервалось. Дон Диего Вальдес был мертв.

Капитан Блад молча стоял в стороне, пока его люди опускали безжизненное тело на палубу. Затем в нем пробудился врач, он подошел к трупу, опустился рядом с ним на колено, но ни ран, ни каких-либо — даже малейших — повреждений не обнаружил.

Питер Блад понял, что не ошибся в своем предположении. Дон Диего не пережил ожидания смерти, когда другой корабль дал бортовой залп.

Капитан встал и когда снова обернулся, взгляд его был преисполнен щемящей тоски.

— Он был человеком, чей дух оказался сильнее того, что могло вынести бренное тело, — проговорил Блад. — Его бессмертная душа оказалась более выносливой, чем бедное сердце смертного. Пусть это будет его эпитафией!

ТРОФЕЙ

Слава о капитана Питере Бладе пробежала, словно рябь под дуновением ветра, по всему Карибскому морю от Багамских до Наветренных островов, от Нью-Провиденс до Тринидада. Эхо этой славы достигло Европы, и испанский посол при Сент-Джеймсском дворе заявил ноту протеста, на которую ему было отвечено: капитан Блад не только не состоит на королевской службе, но и является ссыльным бунтовщиком, и что любые меры, предпринятые против него королем Филиппом V[1], получат горячее одобрение короля Якова II. Это были brutum fulmen[2], не внушавшие ни малейшего страха.

Капитан вел вполне комфортную и непринужденную жизнь на старой Тортуге, в этом пиратском гнезде, где около ста шестидесяти его бесшабашных последователей играли, пили и проматывали золото, привезенное из последнего набега на морских подданных короля Испании. А тем временем искатели приключений всех мастей — от людей, не знавших другого ремесла, кроме пиратства, до суровых буканьеров, томимых жаждой легкой добычи, — стекались туда, чтобы предложить ему свои клинки.

Однажды, когда он сидел с Хагторпом и Волверстоном за трубкой и бутылкой рома в провонявшей смолой и несвежим табаком прибрежной таверне, к нему подошел надменный головорез в расшитом золотом дублете из темно-синей тафты, подпоясанном малиновым кушаком в фут шириной.

— C'est vous qu'on appelle Le Sang?[3] — обратился к нему этот тип.

Капитан достаточно хорошо знал французский и потому понял вопрос без труда, но, прежде чем ответить, поднял глаза, чтобы как следует рассмотреть спрашивающего: высокий и сильный, гибкая фигура, грубой красоты смуглое лицо с орлиным носом, не слишком чистая рука покоится на эфесе длинной рапиры, на безымянном пальце сверкает огромный бриллиант,

---

[1] Ошибка автора. Во времена правления Якова II Стюарта (1685–1688) испанским королем являлся Карлос /или Карл/ II; внук же Людовика XIV, герцог Анжуйский Филипп, вступил на испанский трон под именем Филиппа V только в 1700 году.

[2] Пустые угрозы (лат. — в буквальном переводе: «бессмысленная молния»).

[3] Это вас называют «Кровь»? (фр.)

в ушах — золотые кольца, наполовину скрытые длинными локонами маслянистых каштановых волос.

Капитан Блад вынул изо рта мундштук трубки.

— Мое имя Питер Блад, — сказал он. — Испанцы знают меня как дона Педро Сангре, француз же может называть меня «Лё Сан», если ему так больше нравится.

— Хорошо, — произнес броско одетый искатель приключений по-английски и, не ожидая приглашения, придвинул табурет и сел за этот же засаленный стол.

— Меня зовут Левасёр, — сообщил он трем мужчинам, как минимум двое из которых поглядывали на него с подозрением. — Возможно, вы обо мне слышали.

Разумеется, это имя было им известно. Левасёр был капитаном двадцатипушечного корабля с командой, состоявшей в основном из французских буканьеров из северной части Эспаньолы, и пользовался среди членов «Берегового братства» немалой известностью. Жутко тщеславный, сварливый, горластый, пьяница и азартный игрок, он, впрочем, стяжал себе и еще одну репутацию — совсем иного рода. В его безвкусной, щегольской развязности имелось нечто такое, что находили весьма притягательным женщины.

Ходили слухи, что даже мадемуазель де ла Плас, дочь губернатора Тортуги, попалась в ловушку его необузданной привлекательности, и что Левасёр имел наглость просить у отца ее руки. Господин де ла Плас дал ему единственно возможный ответ: указал на дверь. Левасёр удалился в ярости, поклявшись, что женится на мадемуазель наперекор воле всех отцов христианского мира и что месье де ла Плас горько пожалеет о нанесенном ему оскорблении.

Таков был человек, пришедший к капитану Бладу с предложением сотрудничества и готовый предоставить в распоряжение ирландца не только собственный клинок, но и свой корабль вместе с командой.

Лет двенадцать назад, тогда еще двадцатилетним юношей, Левасёр плавал с жестоким чудовищем — французским флибустьером Франсуа л'Олонэ — и своими последующими «подвигами» доказал, что не зря обучался в его школе. Едва ли во всем «Береговом братстве» тех времен нашелся бы больший негодяй, чем Левасёр; и все же, сколь глубокое отвращение ни питал к французу капитан Блад, он не мог отрицать, что предложения этого парня отличаются смелостью, изобретательностью и находчивостью и что совместно с ним можно было бы предпринять более серьезные операции, чем те, что были под силу каждому из них по отдельности.

Кульминацией плана Левасёра должен был стать набег на богатый материковый город Маракайбо, но для такого рейда, по его словам, требовалось не менее шестисот человек, а столько людей, конечно, нельзя было перевезти на двух имевшихся у него сейчас кораблях. Следовало совершить два-три предварительных плавания, целью которых явился бы захват недостающих судов.

Под давлением Хагторпа и Волверстона, не разделявших личной неприязни капитана к французу, через неделю Левасёр и Блад заключили договор, подписанный не только ими, но, как и было принято, избранными представителями обеих команд.

* * *

Как обычно, договором было предусмотрено, что в том случае, если корабли вдруг разойдутся в море и, соответственно, будут действовать не в совместном бою, а вдали друг от друга, впоследствии будет составлен строгий отчет обо всех трофеях, захваченных по отдельности, и судно, захватившее трофеи, оставит себе три пятых их части, отдав две пятых партнеру. Эти доли затем следовало честно разделить между командами каждого корабля, уже в соответствии с договором, заключенным между каждым капитаном и его людьми. В остальном пункты соглашения не отличались от обычных, включая и такой, по которому любой член команды, признанный виновным в присвоении или укрытии любой части трофейного имущества, будь то даже стоимостью не более одного песо, должен был быть немедленно повешен на рее.

Завершив все эти предварительные дела, пираты начали готовиться к выходу в море, но уже в канун самого отплытия Левасёр едва не был застрелен при романтической попытке перебраться через стену губернаторского сада, для того чтобы страстно проститься с влюбленной в него мадемуазель де ла Плас. Француз был вынужден отказаться от этой затеи после того, как в него дважды стреляли располагавшиеся в засаде среди деревьев душистого перца охранники губернатора.

Ту ночь Левасёр провел на борту своего корабля, названного им, с характерной для него помпезностью «La Foudre» — «Молния», а на следующее утро там же встретился с капитаном Бладом, которого он приветствовал как своего адмирала. Ирландец приехал, чтобы уточнить кое-какие детали совместного плавания, из которых наиболее важным было понимание того, что, если в море судам — случайно или по необходимости — придется разделиться, ровно через месяц они должны будут воссоединиться на Тортуге.

После этого Левасёр угостил своего адмирала обедом, и они вместе выпили за успех экспедиции, причем в большей степени на спиртное налегал француз. Ближе к вечеру капитан Блад спустился в лодку и на веслах был доставлен на его большой красивый корабль «Коллин», некогда испанский фрегат «Синко Льягас».

Едва он отплыл, как к «Молнии» пристало каноэ, из которого выбрался индеец-полукровка, по веревочному трапу поднялся на борот и вручил Левасёру сложенный в несколько раз клочок бумаги.

Капитан развернул жутко перепачканную и скомканную метисом записку.

В приблизительном переводе, в послании содержалось следующее:

Любовь моя,

я на голландском бриге «Jonkvrouw» — «Дева», — который вот-вот отплывет. Решив разлучить нас навсегда, жестокий отец отправляет меня в Европу под присмотром моего младшего брата. Умоляю вас, помогите! Спасите меня, мой горячо любимый герой.

Безутешная, но любящая вас Мадлен.

«Горячо любимый герой» был тронут этой страстной мольбой до глубины души. Его хмурый взгляд скользнул по бухте в поисках голландского брига, стоявшего там на якоре еще утром, но корабля нигде не было видно. Левасёр прокричал — буквально проревел — терзавший его вопрос. В ответ метис указал на парус, видневшийся в море примерно в миле от них.

— Бриг там, — сказал он.

— Там? — Француз побагровел, несколько долгих мгновений вглядывался в море, а затем свирепо уставился на метиса. — И где ты шлялся, что явился сюда с этим только сейчас? Отвечай!

Перепуганный этим взрывом ярости бедняга сжался в комок, но так и не смог дать объяснения, ибо, если оно у него и имелось, его буквально парализовало от страха. Левасёр схватил его за горло, взрычал, дважды встряхнул и с силой отшвырнул к борту. Ударившись головой о планшир, метис упал и остался лежать без движения; изо рта у него потекла струйка крови.

Левасёр хлопнул одной рукой о другую, словно смахивая с них пыль.

— Выбросьте эту дрянь за борт! — приказал он тем, кто стоял позади него на шкафуте. — Затем поднимайте якорь, нужно догнать голландца!

— Спокойнее, капитан. В чем дело?

На плечо Левасёра легла чья-то рука, и он увидел перед собой широкое лицо своего лейтенанта Каюзака, дородного и бесстрашного негодяя-бретонца, взиравшего на него с бесстрастным видом.

Пересыпая свой рассказ абсолютно необязательной непристойной бранью, Левасёр сообщил ему, что намерен предпринять.

Каюзак покачал головой:

— Голландский бриг? Нет, ничего не выйдет! Нам не дозволят.

— И кто же нам помешает? — вне себя не то от изумления, не то от гнева вскричал Левасёр.

— Прежде всего, ваша собственная команда не проявит особого рвения. Ну, и кроме того, есть еще капитан Блад.

— Капитана Блада я не боюсь.

— А следовало бы. Он влиятелен и превосходит нас в мощи огня и людях.

— И что с того? — процедил Левасёр, обнажив зубы, но его взгляд, прикованный к далекому парусу, был мрачным и задумчивым.

В душе уже, еще до выхода в море, проклиная заключенный союз, он размышлял над тем, как бы от этой договоренности уклониться. Каюзак был прав: Блад ни за что бы не допустил, чтобы в его присутствии было совершено насилие над голландцем, но ведь это можно было бы сделать в его отсутствие, и тогда уже ирландец волей-неволей вынужден был бы потворствовать содеянному.

Не прошло и часа, как «Коллин» и «Молния» вместе вышли в море. Весь день голландский бриг был в поле зрения, но к вечеру превратился в крошечное пятнышко на северном горизонте.

Курс, которым должны были следовать Блад и Левасёр, пролегал на восток, вдоль северного побережья Эспаньолы. «Коллин» неуклонно придерживалась этого направления всю ночь, но когда занялась новая заря, оказалась одна. Подняв на реях все паруса, «Молния» под покровом темноты ушла на северо-восток.

Каюзак снова попытался возразить, но как-то вяло.

— Черт бы тебя побрал! — ответил ему Левасёр. — Корабль есть корабль, будь то голландский или испанский, и суда — наша насущная потребность. Для парней этого объяснения будет вполне достаточно.

Рассвет застал «Молнию», следовавшую по пятам за голландцем, менее чем в миле от его кормы, и вид преследователя, очевидно, немало взволновал «Деву». Судя по всему, брат мадемуазель де ла Плас, узнав корабль Левасёра, встревожился не на шутку и внушил свое беспокойство капитану голландского судна. В тщетной попытке уйти от «Молнии» на «Деве» подняли дополнительные паруса, и Левасёр, забрав чуть правее, гнался за нею до тех пор, пока не оказался в том положении, когда смог дать предупредительный выстрел по ее носу.

«Дева» повернула, показав им корму и открыла огонь из расположенных там орудий. Небольшие ядра просвистели сквозь снасти «Молнии», нанеся незначительные повреждения парусам. Пока корабли шли на сближение, голландцу удалось сделать только один бортовой залп.

Спустя пять минут абордажные крюки вцепились в борта «Девы», и корсары с криками хлынули на шкафут голландского брига.

* * *

Капитан-голландец, багровый от ярости, смело выступил вперед, чтобы высказать вожаку пиратов всё, что он о нем думает. По пятам за ним следовал элегантный молодой джентльмен с бледным лицом, в котором Левасёр узнал своего будущего шурина.

— Капитан Левасёр, это вопиющая наглость, за которую вам придется ответить. Что вы ищете на борту моего корабля?

— Сначала я искал лишь то, что принадлежит мне. Но раз уж вы выбрали войну и открыли огонь, слегка повредив мой корабль и убив пять человек из моей команды, стало быть, ваш корабль — военный трофей.

Стоявшая у кормового поручня мадемуазель де ла Плас, затаив дыхание от восхищения, горящим взглядом смотрела вниз, на своего «горячо любимого героя». Властный и дерзкий, он казался ей в эту минуту воплощением отваги и красоты. Левасёр увидел девушку и с радостным криком бросился к ней.

Капитан голландского брига попытался преградить ему путь, но Левасёр, в своем естественном нетерпении поскорее добраться до возлюбленной, даже не приостановился для нового спора. Он взмахнул алебардой, которую держал в руках, и голландец упал с раскроенным черепом. Нетерпеливый любовник небрежно переступил через труп и с сияющим радостью лицом двинулся дальше.

Но мадемуазель де ла Плас в ужасе отпрянула от поручня. То была девушка, уже стоявшая на пороге восхитительной женственности, высокая и обладавшая гибкой фигурой, с гордым лицом цвета слоновой кости, обрамленным пышными локонами блестящих черных волос. Выражение высокомерия еще сильнее подчеркивалось низко опущенными веками больших темных глаз.

В мгновение ока ее «горячо любимый герой» оказался рядом с ней. Отбросив окровавленный бердыш в сторону, Левасёр широко раскрыл объятия, намереваясь прижать возлюбленную к груди. Но, и попав в объятия, в которых она не могла ему отказать, девушка всё еще съеживалась от страха; гримаса ужаса сменила обычное высокомерие на ее почти идеальном лице.

— О, наконец-то ты моя! Моя, несмотря ни на что! — восторженно воскликнул ее герой.

Но она, уперевшись руками в его грудь, попыталась оттолкнуть его и едва слышно пробормотала:

— Зачем, о, зачем вы его убили?

Левасёр рассмеялся и героически ответил ей с терпимостью и снисхождением Бога к одной из смертных:

— Он стоял между нами. Пусть его смерть станет символом и предупреждением для любого, кто осмелится встать между нами!

Это было так великолепно, жест был столь широкий и изящный, от Левасёра исходил столь неотразимый магнетизм, что девушка, отбросив в сторону свои глупые страхи, отдалась его нежным объятиям. Забросив мадемуазель себе на плечо, легко ступая с этой ношей, «герой» с триумфальным видом понес ее под торжествующие крики его команды на палубу «Молнии». Отважному брату молодой леди, возможно, удалось бы разрушить весь романтизм данной

сцены, если бы бдительный Каюзак не сбил его вовремя с ног, а затем не связал по рукам и ногам, словно птичку для жарки.

Пока капитан наслаждался в кормовой рубке улыбками своей дамы, Каюзак занялся учетом военных трофеев. Голландской команде было приказано сесть в баркас и убираться к дьяволу. К счастью, голландцев оказалось менее тридцати человек, так что баркас, хотя он и был опасно перегружен, все же смог их вместить. Затем лейтенант, осмотрев груз, оставил на борту «Девы» старшину-рулевого и два десятка матросов, велев им следовать за «Молнией», направлявшейся теперь на юг, к Подветренным островам.

Каюзак пребывал в отвратительном настроении. Риск, которому они подвергались, захватив голландский бриг и совершив насилие над членами семьи губернатора Тортуги, был несоразмерен ценности их добычи. Он угрюмо сказал об этом Левасёру.

— Держи свое мнение при себе, — ответил ему капитан. — Неужели ты думаешь, что я человек, который сам сует голову в петлю? Я собираюсь выставить губернатору Тортуги условия, которые он будет вынужден принять. Проложите курс на Вирхен Магру. Мы сойдем на берег и там все уладим. И распорядись, чтобы этого молокососа ла Пласа привели в кормовую рубку.

Левасёр вернулся к обожаемой даме.

* * *

Вскоре в рубку был препровожден и брат леди. Капитан поднялся ему навстречу, нагнувшись при этом, чтобы не удариться головой о потолок каюты. Мадемуазель тоже встала.

— К чему это? — спросила она, указывая на связанные запястья своего брата — остатки мер предосторожности, принятых Каюзаком.

— Весьма сожалею, — сказал Левасёр. — Мне и самому хочется положить этому конец. Пусть месье де ла Плас даст мне слово...

— Ты от меня вообще ничего не получишь! — воскликнул побледневший от гнева юноша, не испытывавший недостатка в храбрости.

— Вот видишь.

Левасёр пожал плечами в знак глубокого сожаления, и мадемуазель, повернувшись к брату, попыталась было протестовать:

— Анри, это же глупо. Ты ведешь себя не как мой друг. Ты...

— Маленькая глупышка, — оборвал ее брат, хотя слово «маленькая» в данном случае было едва ли уместно, ибо она значительно старше. — Неужели ты думаешь, что я был бы тебе другом, если бы решил договориться с этим мерзавцем-пиратом?

— Спокойнее, мой юный петушок, — рассмеялся Левасёр, но смех его не был приятным.

Однако ла Плас продолжал, ничуть не смутившись:

— Неужели ты не видишь, сколько вреда уже принесла своим порочным безрассудством? Ради того, чтобы этот монстр смог заполучить тебя, погибло несколько человек. Неужели ты всё еще не осознаешь, где находишься? Ты во власти этого зверя, этой шавки, рожденной в сточной канаве и воспитанной на воровстве и убийствах?

Возможно, он продолжил бы говорить, но в этот момент Левасёр ударил его кулаком в лицо: как и многие другие, француз был мало заинтересован в том, чтобы выслушивать правду о себе.

Мадемуазель де ла Плас подавила готовый вырваться у нее возглас, а ее брат, шатаясь от удара, прислонился к переборке с рассеченной губой. Но дух его был непоколебим; он искал глазами взгляд сестры, и на его бледном лице играла страдальческая улыбка.

— Видишь, — спокойно произнес юноша. — Он бьет человека, у которого связаны руки.

Простые слова и, более того, их тон, полный невыразимого презрения, пробудили гнев, никогда, впрочем, глубоко и не дремавший в Левасёре.

— И что бы ты сделал, жалкий щенок, будь твои руки развязаны?

Он схватил своего пленника за ворот дублета и встряхнул его.

— Отвечай! Что бы ты сделал, болтун, пустомеля...

Вслед за этим хлынул поток слов, значения которых мадемуазель не знала, но интуитивно поняла весь их гнусный смысл.

Она смертельно побледнела и, вскрикнув от ужаса, принялась умолять Левасёра остановиться. Повинуясь девушке, тот открыл дверь и вышвырнул ее брата из каюты.

— Бросьте его в трюм, и пусть сидит там до тех пор, пока я снова не позову, — прорычал он и захлопнул дверь.

Но мадемуазель уже увидела истинную натуру своего «горячо любимого героя» и нашла это зрелище ужасающим. Вспомнив, с какой жестокостью Левасёр зарубил капитана брига, она сразу же убедилась в справедливости слов, сказанных о нем ее братом.

— Ну, что ты, милая, что с тобой? — воскликнул Левасёр, глядя на нее.

Он шагнул к девушке, но та отпрянула при его приближении. Неизменная улыбка на его устах, блеск в глазах пробудили в ней панику, и сердце ее болезненно сжалось.

Француз настиг ее у дальней стенки каюты, схватил своими длинными руками и притянул к себе.

— Нет, нет! — пролепетала мадемуазель де ла Плас, задыхаясь.

— Да, да, — передразнил ее Левасёр с жуткой ухмылкой.

Он грубо прижал ее к себе, умышленно причиняя боль. Отчаянно сопротивляясь, девушка извивалась в его объятиях, но он, разъярившись, насильно поцеловал и тем самым раскрыл себя еще больше, сорвав последнюю часть маски героя, которая, возможно, еще висела на его лице.

— Маленькая глупышка, разве ты не слышала, как твой брат сказал, что ты в моей власти? Помни это и не забывай, что ты здесь по своей собственной воле. Я не тот человек, с которым женщина может пофлиртовать и бросить, так что тебе лучше принять то, на что ты сама меня пригласила.

Он снова поцеловал ее, на сей раз почти с презрением, и отшвырнул от себя.

— И больше никаких хмурых взглядов, — сказал он. — Будешь мне улыбаться, не то сильно пожалеешь о своем поведении.

Кто-то постучал в дверь, и Левасёр пошел открывать. Вошел Каюзак, лицо его было мрачным.

— Хочу вам кое-что показать, капитан, — угрюмо проворчал он. — Вы не могли бы выйти?

Каюзак указал на правый борт. Левасёр посмотрел в означенном направлении и приглушенно выругался. Находившиеся в этот момент милях в пяти, к ним направлялись два корабля, которые даже на таком расстоянии выглядели весьма мощными.

Впереди показалось низкое облако, и Каюзак пояснил, что это самый северный из группы Виргинских островов.

— Что, если они вздумают нас преследовать? — спросил Каюзак.

— Будем драться, — прорычал Левасёр.

— Премудрость отчаяния, — сказал Каюзак и сплюнул на палубу. — Вот что случается, когда в море выходит изнывающий от любви безумец. Впредь держите себя в руках, капитан, потому что, если из-за этой истории с голландцем у нас возникнут проблемы, мы рискуем потерять команду.

* * *

Остаток того дня мысли Левасёра были заняты чем угодно, но только не любовью. Он бродил по палубе, устремляя взгляд то на далекую сушу, то на два медленно приближавшихся корабля. Искать спасения в открытом море было бесполезно. Он вынужден был оставаться в заливе и готовиться к драке.

Ближе к вечеру, находясь в трех милях от берега и уже намереваясь отдать приказ готовиться к бою, Левасёр чуть не упал в обморок от облегчения, когда голос матроса с наблюдательного поста на мачте объявил, что более крупный из двух кораблей — «Коллин», а другой, вероятно, трофейный.

Пессимизм Каюзака, однако, ничуть не уменьшился.

— И что скажет по поводу этого голландца Блад?

— Да пусть говорит всё, что угодно!

Левасёр рассмеялся, всё еще находясь под впечатлением испытанного им облегчения.

— А как насчет детей губернатора Тортуги?

— Ему не следует о них знать.

— В конце концов он всё же узнает.

— Да, но к тому времени, morbleu[1], вопрос уже будет решен: я заключу с губернатором мир. Говорю же тебе, я знаю, как заставить его прийти к соглашению.

Вскоре четыре корабля подошли к северному побережью Вирхен Магры, бесплодного и лишенного растительности узкого островка, населенного только птицами и черепахами и не имеющего других полезных ископаемых, кроме соли, — вот соляных прудов в южной части острова было предостаточно.

Левасёр приказал спустить лодку и в сопровождении Каюзака и двух других офицеров отправился с визитом к капитану Бладу на борт «Коллин».

— Наша короткая разлука, похоже, оказалась весьма прибыльной, — приветствовал Левасёра ирландец и повел в свою большую каюту для подведения итогов. — У нас обоих было напряженное утро.

Блад определенно пребывал в приподнятом настроении.

Большой корабль, сопровождавший «Коллин», оказался испанским шестнадцатипушечным судном «Сантьяго», везшим из Пуэрто-Рико сто двадцать тонн какао, сорок тысяч песо и еще тысяч на десять различных драгоценностей. То был весьма богатый улов, две пятых которого, согласно заключенному договору, принадлежали Левасёру и его команде.

Деньги и драгоценности были тут же поделены, тогда как какао пираты решили перевезти для продажи на Тортугу.

Затем настал черед Левасёра отчитываться о том, что было сделано им, и по мере того, как француз излагал свою историю, Блад мрачнел все больше и больше. Дослушав доклад до конца, ирландец в резких выражениях выразил неодобрение. Голландцы были дружественным народом, оттолкнуть который было бы глупостью, особенно из-за такой мелочи, как табак и кожи, за которые можно было выручить в лучшем случае двадцать тысяч песо.

Но Левасёр ответил ему так же, как незадолго перед этим Каюзаку: мол, корабль есть корабль, а именно в судах они нуждаются сейчас больше всего. Возможно, потому что день выдался для Блада удачным, тот в конечном счете закрыл глаза на столь предосудительные действия компаньона.

Затем Левасёр предложил, чтобы «Коллин» и ее трофейное судно вернулись на Тортугу для разгрузки какао и набора новых искателей приключений, которых теперь уже было на чем разместить. Сам же Левасёр тем временем занялся бы ремонтом «Молнии», а затем, направившись на юг, дождался бы своего адмирала на острове Салтатюдос, удобно расположенном на 11° 11' северной широты, чтобы уже оттуда вместе с ним уйти в набег на Маракайбо. Француз испытал глубочайшее облегчение, когда Блад не только согласился, но и заявил о своей готовности отплыть немедленно.

Едва «Коллин» ушла, Левасёр завел свои корабли в лагуну и приступил к возведению временных помещений на берегу для себя, команды и вынужденных гостей на время ремонта «Молнии».

[1] Черт возьми (фр.)

Вечером, к заходу солнца, ветер посвежел, потом перерос в шторм, а затем в ураган такой силы, что Левасёр обрадовался тому, что оказался на берегу, а его корабли — в безопасном убежище.

Утром следующего дня — а оно выдалось чудесным: в бодрящем и чистом после шторма воздухе ощущался солоноватый запах озер, подступавший с южной стороны острова, — Левасёр занялся решением серьезной проблемы: нужно было позаботиться о том, чтобы обезопасить себя от гнева губернатора Тортуги.

Левасёр восседал, словно на троне, на пустом бочонке у подножия белых дюн (если быть совсем точным — спиной к ним), рядом с натянутой парусиной, из которой он соорудил себе импровизированную палатку. Вокруг него расположился «почетный караул» из полудюжины его офицеров.

Перед капитаном, охраняемый двумя неграми в хлопчатобумажных панталонах, стоял молодой ла Плас, в сорочке с кружевными оборками на рукавах и сатиновых бриджах. Его миловидное лицо выглядело изможденным, руки были связаны за спиной кожаным ремешком. Здесь же, справа от юноши и тоже под охраной, но не связанная, на песчаном холмике сидела, чуть ссутулившись, его сестра.

Обратившись к месье де ла Пласу по-французски, Левасёр с притворной учтивостью произнес:

— Во избежание недоразумений позвольте мне, месье, повторить. Выкуп за вас составляет двадцать тысяч песо, и, если вы дадите слово, что вернетесь сюда, можете хоть сейчас же отправляться за ними на Тортугу. Я предоставлю вам, на чем добраться туда. Едва ли ваш отец сочтет эту сумму чрезмерной, ибо это плата за жизнь и свободу его единственного сына и за приданое его дочери. Pardieu[1], если уж на то пошло, то мне кажется, что я даже слишком скромен!

Месье де ла Плас поднял голову и посмотрел капитану прямо в глаза.

— Я отказываюсь — категорически и безоговорочно! Делайте что хотите, и будьте вы прокляты, грязный пират!

Левасёр беззаботно рассмеялся. Этим утром он владел собой в полной мере.

— Думаю, вы недолго будете упорствовать в своем отказе, — сказал он. — Но должен предупредить: если вы дадите мне слово в состоянии стресса, а потом обманете меня, я сумею разыскать и наказать вас. К тому же, если вы забудете вернуться с приданым, то, надеюсь, хорошо понимаете, что у меня будут все причины просто-напросто взять и забыть жениться на вашей сестре. Советую вам помнить, что ее честь находится у меня в залоге.

Ла Плас бросил дикий взгляд на сестру и заметил в ее глазах отчаяние, почти стершее с лица всю красоту. Юношей снова овладели ярость и отвращение.

[1] Ей-богу (фр.)

Вне себя от гнева, он решительно ответил:

— Нет, пёс! И я готов тысячу раз повторить — нет!

Пальцы Левасёра завязывали узлы на длинной бечевке, из которой делается плеть. На какой-то миг он вскинул ее и спросил:

— Знаешь, что это такое? Это четки боли. После знакомства с ними многие упрямые еретики превратились в католиков. От них у любого лезут на лоб глаза, и человек сразу же становится благоразумным... Ну, раз уж ты сам пожелал...

Капитан швырнул бечевку с узелками одному из негров, который поймал ее на лету, в мгновение ока закрутил вокруг головы пленника и вставил между бечевкой с узлами и головой небольшой кусок металла, круглый и тонкий, как чубук трубки. Завершив эту операцию, негр уставился на Левасёра, ожидая сигнала начинать пытку.

Левасёр взглянул на жертву. Анри де ла Плас весь подобрался, его изможденное лицо стало свинцово-бледным, на лбу, пониже бечевки, выступили крупные капли пота.

Мадемуазель вскрикнула и хотела было подняться, но, удерживаемая стражами, с протяжным стоном снова опустилась на песок.

— Прошу вас пощадить себя и вашу сестру, проявив благоразумие, — сказал Левасёр. — В конце концов, так ли велика обозначенная мною сумма? Для вашего богача-отца это — сущий пустяк. Повторюсь: я был слишком скромен. Но раз уж я сказал: двадцать тысяч песо, так оно и будет — двадцать тысяч песо.

* * *

— И за что, позвольте полюбопытствовать, вы запросили двадцать тысяч песо?

Вопрос этот, донесшийся откуда-то сверху, был задан на отвратительном французском, но четким и приятным голосом, в котором, казалось, прозвучали отголоски той насмешки, коей была пронизана вся речь Левасёра.

Французы изумленно оглянулись и на гребне дюн позади себя они увидели высокую, худощавую фигуру капитана Блада, четким силуэтом вырисовывавшуюся на фоне темно-синего неба. Он был в безукоризненно чистом черном дублете, расшитом серебристыми галунами; над широкими полями шляпы, прикрывавшей его смуглое лицо, ярким пятном выделялся малиновый плюмаж из страусовых перьев.

Ступив на мягкий, податливый песок, в который его прекрасные сапоги из испанской кожи погружались чуть ли не до голенищ, капитан Блад проворно спустился на берег. С ним были одноглазый великан Волверстон и с дюжину других корсаров. Сняв шляпу и элегантно взмахнув ею, ирландец приветствовал даму.

— Доброе утро, капитан, — произнес он уже по-английски и сразу же объяснил свое появление: — Вчерашний ураган не оставил нам другого выбора, кроме как убрать паруса и отдаться на волю стихии, а там уже шторм пригнал нас обратно. В довершение всех несчастий, на «Сантьяго» сорвало грот-мачту, так что мы поставили его на якорь в небольшой бухте в западной части острова... Но кто это такие?

И он указал на мужчину и женщину.

— Voilà![1] — многозначительно произнес Каюзак.

Левасёр переменился в лице от ярости и огорчения, но всё же, сдержавшись, вежливо ответил:

— Как видите, мои пленники.

— Ха! Вынесенные на берег бушевавшим прошлой ночью штормом, полагаю?

— Да нет, — Левасёр с трудом удержался от того, чтобы не ответить на это ироничное замечание какой-нибудь грубостью. — Они находились на борту голландского брига.

— Не помню, чтобы вы упоминали о них раньше.

— А я и не упоминал. Они мои собственные пленники. Это личное дело. Они французы.

— Французы?

Голубые глаза капитана Блада впились сначала в Левасёра, затем — в пленников.

Месье де ла Плас стоял всё в той же напряженной позе, но выражение ужаса сошло с его лица. Это вмешательство, неожиданное как для мучителя, так и для жертвы, вселило в душу юноши надежду. Его сестра, интуитивно ощутившая то же самое, чуть наклонилась вперед с приоткрытым ртом и широко открытыми глазами.

— И кто же они такие? — осведомился Блад.

Он держался с такой твердостью, властностью и, возможно, даже легким презрением, что Левасёра в один миг обуял жгучий гнев. Кровь медленно прилила к его побелевшему лицу, взгляд сделался дерзким, почти угрожающим. Между тем пленник ответил за него:

— Я — Анри де ла Плас, а это — моя сестра. Господин де ла Плас, губернатор Тортуги, — наш отец.

Левасёр с проклятием отскочил в сторону. В капитане Бладе изумление подавило все прочие эмоции.

— Да сохранят нас все святые! Вы что, совсем сбрендили, Левасёр? Это же дети губернатора Тортуги, единственного нашего безопасного прибежища на этих островах...

Левасёр сердито прервал его:

— Я же сказал вам, для меня это — личное дело. Я сам отвечу за это перед губернатором Тортуги.

[1] Ну вот! (фр.)

— А двадцать тысяч песо? Это тоже — ваше личное дело?

— Именно так.

— Вот тут я с вами не согласен.

Капитан Блад сел на бочонок, который недавно занимал Левасёр, и любезно посмотрел на француза.

— Сообщаю вам: я отчетливо слышал предложение, сделанное вами этой леди и этому джентльмену, и хочу вам напомнить, что мы плаваем под идами, которые не допускают двусмысленностей. Вы назначили за них выкуп в двадцать тысяч песо. Эта сумма принадлежит вашей и моей командам в долях, установленных нашим договором, — едва ли вы станете это отрицать. Но, что гораздо серьезнее, вы утаили от меня эту часть трофеев, захваченных в вашем последнем плавании, а за подобный проступок статьями нашего соглашения предусмотрены определенные наказания, которые носят довольно-таки суровый характер.

— Если вам не нравится мое поведение, мы можем расторгнуть наш союз.

— Так мы и сделаем. Но сначала вы выполните условия соглашения, заключенного нами перед отправлением в плавание.

— Что вы имеете в виду?

— Буду максимально краток, — сказал капитан Блад. — Я пока что не стану касаться неуместности развязывания войны с голландцами, захвата в плен французов и риска навлечь гнев губернатора Тортуги. Я готов принять ситуацию в том виде, в каком ее нашел. Вы сами назначили сумму выкупа за этих двоих в двадцать тысяч песо; и, как я понимаю, предполагается, что леди перейдет в вашу собственность. Но почему она должна принадлежать вам, когда, по нашему обоюдному соглашению, этот трофей принадлежит всем нам?

Лицо Левасёра стало чернее грозовой тучи.

— Впрочем, — добавил Блад, — я не стану оспаривать девушку, если вы готовы ее выкупить.

— Выкупить?

— По установленной вами цене.

Левасёр едва сдержал обуявший его гнев и попытался урезонить ирландца:

— Это сумма выкупа за мужчину. Она будет выплачена за него губернатором Тортуги.

— Нет-нет. Вы объединили этих двоих, призна́юсь, весьма странно. Вы определили их стоимость в двадцать тысяч песо, и за эту сумму можете получить их, если пожелаете; но вы заплатите за них двадцать тысяч монет, которые в конечном счете достанутся вам в качестве выкупа за одного и приданого за другую, и эта сумма будет поделена среди наших команд.

Левасёр дико расхохотался.

— Ah, ça! Crédieu![1] Прекрасная шутка!

— Совершенно с вами согласен, — сказал Блад.

[1] Вот как! Черт подери! (фр.)

Левасёр прочел на их лицах полное и единодушное согласие с предложением Блада поделить между всеми выкуп, который их главарь намеревался присвоить себе.

* * *

Но когда Левасёр, все еще смеясь, повернулся к своим офицерам, то увидел нечто такое, от чего вся его наигранная веселость угасла. Капитан Блад искусно сыграл на алчности, являвшейся для этих искателей приключений сильнейшим стимулом. Левасёр прочел на их лицах полное и единодушное согласие с предложением Блада поделить между всеми выкуп, который их главарь намеревался присвоить себе.

Это заставило кричаще одетого головореза призадуматься, и хотя в душе он проклинал тех своих последователей, которые могли быть верны лишь собственной жадности, всё же понял, и как нельзя вовремя, что следует действовать осторожно.

— Вы неверно поняли, — сказал он, подавляя свой гнев. — Выкуп, как только он будет получен, мы разделим между всеми. Девушка же пока что останется у меня.

— Хорошо! — проворчал Каюзак. — Тогда всё устраивается само собой.

— Вы так думаете? — спросил капитан Блад. — А если господин де ла Плас откажется платить? Что тогда?

Он рассмеялся и лениво поднялся на ноги.

— Нет, нет, — продолжал он. — Если капитан Левасёр, как он предлагает, пока желает оставить девушку у себя, пусть сам внесет выкуп и возьмет на себя риск, связанный с тем, что мы его, этот выкуп, можем и не получить.

— Всё верно, — сказал один из офицеров Левасёра.

А Каюзак добавил:

— Капитан Блад прав. Таков и был договор.

— Каков — таков? Идиоты! — вскричал Левасёр, теряя самообладание. — Nom de Dieu![1] И где, по-вашему, я возьму двадцать тысяч песо? Вся моя доля трофеев от этого плавания не составляет и четверти этой суммы. Я буду вашим должником, пока не заработаю этих денег. Вас это устраивает?

Возможно, пиратов это и устроило бы, но капитан Блад был настроен иначе.

— А если вы умрете до того, как их заработаете? Наш промысел, капитан, сопряжен с риском.

— Будьте вы прокляты! — Левасёр бросился на него, побагровев от ярости. — Неужели вас ничто не удовлетворит?

— Ну почему же? Двадцать тысяч песо для незамедлительного дележа.

— У меня их нет.

— Тогда пусть пленников выкупит тот, у кого такие деньги есть.

— И у кого же, по-вашему, они есть, если их нет у меня?

— У меня, — спокойно ответил капитан Блад.

— У вас?! — У Левасёра отвисла челюсть. — И вам — вам? — нужна девушка?

— Почему бы и нет? И я превосхожу вас не только в галантности, идя на определенные жертвы, дабы заполучить ее, но и в честности, поскольку готов заплатить за то, что мне требуется.

Снова усевшись на бочонок, капитан Блад вытащил из внутреннего кармана дублета небольшой кожаный мешочек и принялся неторопливо его развязывать. Левасёр наблюдал за его действиями, разинув рот. Блад между тем уже высыпал на левую ладонь четыре или пять жемчужин, каждая из которых была величиной с воробьиное яйцо.

— Вы как-то хвастались тем, что разбираетесь в жемчуге, Каюзак. Во что вы оцените это?

Бретонец двумя пальцами — большим и указательным — взял предложенный ему блестящий, мягко переливающийся всеми цветами радуги шарик. Его проницательные глаза сначала расширились от восхищения размером и красотой жемчужины, затем сузились, когда он принялся рассматривать ее более внимательно — с целью оценки.

— В тысячу песо, — наконец ответил он коротко.

— На Тортуге или на Ямайке за нее дадут гораздо больше, — сказал капитан Блад, — а в Европе — вдвое больше. Но я принимаю вашу оценку. Как вы и сами видите, они все — почти одного размера. Здесь их двенадцать, то есть двенадцать тысяч песо, которые составляют долю команды «Молнии» в три пятых стоимости трофеев, как и предусмотрено нашим договором. За восемь тысяч песо, отходящих по его условиям моему кораблю, я лично несу ответственность перед своими людьми. А теперь, Волверстон, будь добр доставить мою собственность на борт «Коллин».

[1] Боже правый! (фр.)

— Исходя из условий нашего договора, висеть бы вам на нок-рее, где подлецам самое место. Но раз уж веревка, грязный вы негодяй, вам не так нравится, право же, я ублажу вас иначе.

Указав на пленников, он снова поднялся на ноги.

Тут уж Левасёр, не сдержавшись, широко распахнул шлюзы своей ярости.

— Ну уж нет! Вы ее не заберете!

Француз бы набросился на капитана Блада, но один из его собственных офицеров встал у него на пути.

— Nom de Dieu, капитан! И что вы намерены делать? Всё уже улажено честь по чести — ко всеобщему удовлетворению.

— Ко всеобщему? — взревел Левасёр. — Ah, ça! Разве что к вашему, свиньи, но только не к моему!

Каюзак, сжимая в руке жемчужины, подскочил к Левасёру.

— Не глупите, капитан! Или вы хотите спровоцировать ссору между командами? Да у Блада вдвое больше людей! К тому же он щедро заплатил за девушку и поступил с нами честно.

— Честно? Да ты...

Не найдя во всем своем обширном нецензурном лексиконе подходящего для описания лейтенанта эпитета, Левасёр с такой силой ударил его кулаком, что едва не сбил с ног. Жемчужины рассыпались по песку.

Каюзак, а вслед за ним и его товарищи, словно искусные пловцы, нырнули за ними и какое-то время ползали на четвереньках, забыв обо всем остальном. Между тем в эти мгновения перед ними разворачивались события жизненной важности.

Опустив руку на эфес шпаги, Левасёр с побелевшим от ярости лицом встал перед вознамерившимся уйти Бладом.

— Пока я жив, — вскричал он, — она вам не достанется!

— Тогда это будет уже после вашей смерти, — с холодным безразличием промолвил капитан Блад, и на солнце сверкнула его собственная шпага. — Исходя из условий нашего договора, висеть бы вам на нок-рее, где подлецам самое место. Но раз уж веревка, грязный вы негодяй, вам не так нравится, право же, я ублажу вас иначе.

Он жестом остановил тех, кто хотел помешать столкновению, и спустя пару мгновений зазвенели клинки.

Месье де ла Плас ошеломленно наблюдал за сражением, совершенно не представляя, *что* может означать для него исход этого противостояния, каким бы он ни был. Между тем люди Блада, сменившие негров, которые охраняли пленников, сняли бечевку с головы юноши. Что касается мадемуазель, то она поднялась на ноги, прижав руку к вздымающейся груди; лицо ее было белым, как мел, взгляд выражал дикий ужас.

Схватка длилась недолго. Грубая сила, на которую столь самоуверенно рассчитывал Левасёр, уступила опыту и ловкости ирландца. И когда француз распростерся на белом песке с обоими пробитыми легкими, вместе с кровью

Схватка длилась недолго.
Грубая сила уступила опыту и ловкости ирландца.

выхаркивая свою гнусную жизнь, стоявший над его телом Блад взглянул на Каюзака.

— Полагаю, это аннулирует наш договор, — промолвил ирландец. — На нашей стоянке вы сможете получить свою долю захваченной нами добычи, а там уж распоряжайтесь ею, как вам заблагорассудится. Пожелаете снова выйти со мной в плавание — заключите мир с голландцами и верните им бриг и его груз.

Пираты, а вместе с ними и пленники, отправились вместе с Бладом на стоянку его корабля, где после раздела добычи французские буканьеры с капитаном расстались, тогда как мадемуазель де ла Плас и ее брат, уже освобожденный от пут, были препровождены в большую каюту «Коллин».

Там они какое-то время просто молча сидели в мучительном замешательстве, полагая, что их спасение стало лишь сменой огня на полымя, затем девушка бросилась перед братом на колени, моля его о прощении за все страдания, которые вызвала ее порочная глупость.

Однако Анри де ла Плас не был склонен к снисходительности.

— Я рад, что ты, по крайней мере, осознаёшь, что натворила, — промолвил он с горечью. — Теперь же тебя купил этот человек, и ты принадлежишь ему. Надеюсь, это ты тоже понимаешь?

Он мог бы сказать и больше, но осекся, заметив, что дверь приоткрылась и в дверях возник капитан Блад. При виде его мадемуазель вскочила и задрожала от страха.

Капитан Блад вошел в каюту.

— Прошу вас отбросить все ваши тревоги и опасения, мадемуазель, — сказал он с мягкой серьезностью. — На борту этого корабля с вами будут обращаться со всем подобающим уважением. Как только мы будем готовы снова выйти в море, то возьмем курс на Тортугу, чтобы отвезти вас к отцу. И, пожалуйста, забудьте о том, что я вас купил, как только что выразился ваш брат. Я всего лишь предоставил выкуп, необходимый для того, чтобы подкупить банду негодяев и убедить их выйти из повиновения еще более гнусному негодяю, ими командовавшему, и таким образом избавил вашу честь от грозившей ей опасности. Прошу вас, считайте это дружеским займом, который вы сможете погасить в любое подходящее для вас время.

Мадемуазель посмотрела на него с недоверием. Господин де ла Плас поднялся на ноги.

— Месье, возможно ли, что вы говорите серьезно?

— Так оно и есть, хотя это случается редко. Возможно, я и пират, но всё же не такой низкий негодяй, как Левасёр, которому следовало бы остаться в Европе и попрактиковаться в срезании кошельков. Обед будет подан через час, и я надеюсь, что вы почтите мой стол своим присутствием.

Мадемуазель медленно выступила вперед, глядя на него со страхом и удивлением.

— Вы благородный человек, капитан!

— Вовсе нет, насколько мне известно, — ответил Блад.

Внезапно девушка упала на колени, схватила его руку и, прежде чем он успел вырвать ее, поцеловала.

— Что вы делаете? — воскликнул Блад.

— Это всего лишь amende[1]. Мысленно я обесчестила вас, сочтя таким же, как Левасёр, представив вашу схватку с ним дракой шакалов. На коленях умоляю вас, месье, — простите меня!

Капитан Блад посмотрел на нее сверху вниз, и на губах его заиграла улыбка, осветившая голубые глаза, столь необычно выглядевшие на этом смуглом лице.

— Полноте, дитя мое, — сказал он. — Мне не за что вас прощать, ведь, по сути, ваша мысль обо мне была совершенно верной.

---

[1] Здесь: попытка загладить вину (фр.)

МАРАКАЙБО

Когда капитан Питер Блад вышел из церкви Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен в Маракайбо, которую он бесцеремонно превратил в corps-de-garde[1], и присоединился к группе спорщиков, перебранка уже достигла апогея.

В ссоре принимали участие, с одной стороны, одноглазый лейтенант Блада Волверстон, молодой Джерри Питт, штурман «Коллин», и командовавший «Элизабет» Хагторп; с другой — Каюзак, бретонский пират, присоединившийся к ним со своим кораблем «Молния» и командой из примерно ста двадцати французских искателей приключений.

Внизу, на широкой, залитой солнцем пыльной площади, окаймленной редкими пальмами с опущенными от зноя листьями, собралось несколько сотен принадлежащих к обеим партиям свирепых парней, которым временами удавалось обуздывать свое возбуждение, для того чтобы не упустить главного из пикировки вожаков этих двух групп.

Каюзак, похоже, являвшийся в диспуте ведущей фигурой, то и дело повышал свой резкий, ворчливый голос, чтобы все могли услышать его яростные осуждающие сентенции. Это был невысокий, плотный, мощно сложенный мужчина, кривоногий и с длинными, как у обезьяны, руками. Вся его одежда буквально кричала о том, чем он промышляет, до смешного контрастируя со строгим костюмом Хагторпа и почти щегольской элегантностью Джерри Питта.

Его грязная, измазанная кровью синяя хлопчатобумажная рубашка была расстегнута спереди, открывая волосатую грудь; за поясом кожаных бриджей торчали целый арсенал пистолетов и нож; на кожаной перевязи, небрежно перекинутой через тело, болталась абордажная сабля; вокруг головы, над широким и плоским монголовидным лицом, был обвязан на манер тюрбана красный шарф.

— Я еще вначале предупреждал вас всех, — гневно сетовал он, — что все идет слишком гладко. Мне хватило того, что мы обнаружили форт заброшенным, вошли тоже практически беспрепятственно... Потом был такой же брошенный, как и форт, город, из которого жители бежали, забрав с собой все

[1] Караульное помещение (фр.)

ценное. Тогда-то я и скумекал, что все это неспроста, нас заманили в ловушку; еще немного — и думать о возвращении в море будет слишком поздно. Но вы меня и слушать не стали, вам нужно было идти дальше! Что ж, мы двинулись дальше и дошли до Гибралтара. Да, в конце концов мы поймали вице-губернатора и быстро заставили его заплатить выкуп за этот город, но даже совокупно грабежи и выкуп принесли нам не более двухсот тысяч песо. Но что это, если подумать? Всего лишь кусок сыра в мышеловке, а мы — мыши. Мы сейчас в западне, и коты ждут нас в обличии тех четырех испанских военных кораблей, которые притаились у выхода из этой проклятой лагуны. Sangdieu![1] Вот в какую ситуацию нас завело ваше упрямство.

Единственный глаз великана Волверстона страшно закатился.

— Пусть с меня сдерут шкуру... — начал было он, но тут Питер Блад, неторопливо выступив вперед, встал между ними.

Слегка опиравшийся на длинную трость черного дерева, худощавый и смуглолицый, с необычайно светлыми глазами, он был в широкополой шляпе с плюмажем и походил на праздного фата с Мэлла[2] или Аламеды[3] — последнее, пожалуй, вернее, поскольку его элегантный костюм из фиолетовой тафты с отделанными золотом петлицами был сшит по испанской моде.

Но при более внимательном взгляде на него это впечатление менялось. Зажатая в левой руке длинная, крепкая, удобная шпага, небрежно откинутая назад, и стальной блеск в голубых глазах Блада выдавали в нем искателя приключений.

— Вы забыли принять во внимание следующее, Каюзак, — произнес он скорее утомленным, чем гневным голосом. — Успех, как все мы знаем, зависел от быстроты. Мы потратили месяц на то, что можно было сделать за неделю, не допусти вы сам грубый просчет.

— Ха, nom de Dieu! Стало быть, я еще и виноват, что...

— А кто виноват в том, что вы посадили свой корабль на мель посреди озера? Действительно, зачем вообще нужны лоцманы? Вы понадеялись на себя, в результате чего мы потратили три драгоценных дня на поиск каноэ для перевозки ваших людей и снаряжения. За эти три дня жители Гибралтара не только узнали о нас, но и успели скрыться. Потому-то нам и пришлось последовать за вице-губернатором в его островную крепость и потерять у ее стен две недели и почти сто человек. Вот как вышло, что мы проторчали здесь до тех пор, пока из Каракаса не подошла испанская эскадра, заблокировавшая нам выход отсюда. Впрочем, не потеряй вы «Молнию», сократив таким образом наш собственный флот с трех кораблей до двух, мы бы даже и сейчас могли

---

[1] Господи! (фр.) — Буквально: Кровь Господня!

[2] *Пэлл-Мэлл* — центральная улица Сент-Джеймсского квартала в лондонском Вестминстере.

[3] Скорее всего, имеется в виду бульвар *Аламеда*, находящийся перед королевским дворцом в Валенсии (равновероятны Alameda de Hercules в центре Севильи, Alameda Principal в центре Малаги или Castillo de La Alameda в Мадриде).

попытаться прорваться, причем, с не такой уж и малой надеждой на успех. И вы еще смеете являться сюда и шуметь, попрекая нас ситуацией, которая целиком и полностью есть результат вашей собственной некомпетентности!

* * *

Блад отвернулся от Каюзака, дабы обратиться к толпе пиратов, уже подошедших поближе, чтобы лучше его слышать, потому что повысить голос он не потрудился.

— Надеюсь, мне удалось развеять возникшие у вас заблуждения.

— Какой смысл говорить о том, что сделано в прошлом? — воскликнул Каюзак с видом скорее угрюмым, нежели свирепым, после чего Волверстон рассмеялся надрывным смехом, напоминавшим лошадиное ржание. — Вопрос в другом — что нам делать теперь?

— Такого вопроса вообще не стои́т, — сказал капитан Блад.

— Как это — не стои́т? Еще как стои́т! — Каюзак явно не намерен был отступать. — Дон Мигель де Эспиноса предлагает нам безопасный и беспрепятственный выход в море, если мы сейчас же отплывем без ущерба для города, освободив пленных и вернув все, что мы захватили на Гибралтаре.

— Что доказывает лишь одно, — заметил Хагторп. — Несмотря на все преимущества своего положения этот испанский адмирал нас по-прежнему боится.

— Или же просто не в полной мере осознаёт нашу слабость! — резко возразил Каюзак. — В любом случае, полагаю, нам следует принять эти условия.

— У меня на это иное мнение, — сказал капитан Блад. — Потому-то я их, эти условия, и отклонил.

— Отклонили?!

Широкое лицо Каюзака побагровело. Раздавшийся позади ропот приободрил его.

— Отклонили? Тогда, может, вы скажете, каким был ваш ответ адмиралу?

— Я послал ему следующее сообщение: если в течение ближайших суток он не предоставит нам свободный выход в море и не выплатит за сохранность Маракайбо пятьдесят тысяч песо, мы сожжем этот прекрасный город дотла, а затем выйдем отсюда и уничтожим его флот.

От такой дерзости Каюзак потерял дар речи. Но из толпы собравшихся на площади английских пиратов донеслись смех и возгласы одобрения, свидетельствовавшие о том, что им пришелся по вкусу смелый юмор человека, угодившего в западню и все же диктующего тому, кто завлек его в эту ловушку, свои условия. Вскоре даже французские сторонники Каюзака оказались захваченными этой волной энтузиазма, и Каюзак, с его свирепым упрямством, остался единственным несогласным.

Терзаемый горькой обидой, он удалился, но смог насладиться местью уже на следующий день, когда от дона Мигеля прибыл посланник с письмом, в котором испанский адмирал призывал небеса в свидетели, что, поскольку пираты отклонили его великодушное предложение капитулировать с военными почестями, теперь он будет ждать их у выхода из озера и при появлении там уничтожит. Если же отплытие морских разбойников задержится, добавлял адмирал, то, как только его эскадру пополнит пятый корабль, который он ждет из Каракаса, он сам войдет в озеро и разыщет их у Маракайбо.

Тут уже Блад вышел из себя.

— Больше меня не беспокойте! — резко бросил он Каюзаку, когда тот снова явился к нему с недовольным видом. — Сообщите дону Мигелю, что вы от меня отделились, и он, даже не сомневаюсь, выпустит вас и ваших людей. Забирайте один из шлюпов, выходите в море и убирайтесь к дьяволу!

Каюзак, несомненно, так бы и поступил, проявляй его люди единодушие в этом вопросе, но французы разрывались надвое между жадностью и дурным предчувствием. Уйдя, они должны были бы оставить свою — весьма значительную — долю добычи, а также захваченных ими рабов и пленных. Сделай они это, и если бы капитану Бладу впоследствии удалось выбраться невредимым — а, зная, сколь он находчив, французы полагали это пусть и маловероятным, но все же возможным, — он оставил бы себе все то, от чего им пришлось бы отказаться.

Одна уже мысль об этом была столь горькой, что в конечном счете они решили не сдаваться дону Мигелю, а остаться с Бладом. Вместе с ним они ввязались в эту затею, с ним же и вернутся, если вообще доведется возвратиться. Таким было послание французских пиратов, полученное ирландцем из уст самого Каюзака.

* * *

Блад приветствовал это решение и предложил бретонцу присоединиться к совету, уже собравшемуся для обсуждения дальнейших действий. Совещание проходило в просторном внутреннем дворике губернаторского дома, который капитан Блад приспособил для собственных нужд. Дворик представлял собой окруженный аркадами каменный четырехугольник, в центре которого, под решеткой для вьющихся растений, журчал прохладный фонтан.

По обе стороны от фонтана росли апельсиновые деревья, и дремлющий вечерний воздух был насыщен их ароматом. То было одно из тех приятных как снаружи, так и внутри сооружений, которые мавританские архитекторы ввели в моду в Испании, а испанцы привезли с собой в Новый Свет.

Именно там военный совет, состоявший всего из шести человек, допоздна обсуждал план действий, предложенный Бладом.

Огромное пресноводное озеро Маракайбо, питаемое множеством рек, стекающих с заснеженных хребтов, которые окружают его с двух сторон, тянется примерно на сто двадцать миль в длину и достигает почти таких же значений в самом широком месте. Оно имеет форму большой бутылки, обращенной горлышком к морю у города Маракайбо. За этим горлышком озеро снова расширяется, а дальше, непосредственно перекрывая канал и образуя естественный волнорез, пролегают две длинные узкие полоски суши, известные как острова Паломас и Вихилиас. Единственный путь для кораблей любой осадки проходит между этими островами через узкий пролив. Паломас имеет около десяти миль в длину и неприступен на протяжении полумили с обеих сторон для любых судов, кроме небольших, с мелкой посадкой, за исключением его восточной оконечности, где, господствуя над узким выходом в море, возвышается массивный форт, который корсары обнаружили по прибытии брошенным.

Где-то в глубине этого естественного волнореза стояли на якоре в середине канала четыре испанских корабля. Флагманский «Консепсьон» был могучим галеоном с сорока восемью большими пушками и восемью малыми; следующим по мощности был тридцатишестипушечный «Сальвадор»; оставшиеся два корабля, «Инфанта» и «Сан-Фелипе», являлись судами гораздо меньших размеров, но тоже представляли грозную силу, имея по двадцать пушек и полторы сотни человек команды каждый.

Таким было это место. Таким был флот, пройти который предстояло Бладу и его «Коллин» с сорока пушками, «Элизабет» с двадцатью и двумя захваченными в Гибралтаре шлюпами, вооруженными всего-навсего четырьмя кулевринами каждый. Выставить против нескольких тысяч испанцев пираты могли всего четыреста человек, оставшихся из тех пяти с лишним сотен, что покинули Тортугу.

* * *

План, вынесенный Бладом на обсуждение, казался безрассудным, о чем бескомпромиссно и заявил Каюзак.

— Ну да, так оно и есть, — согласился капитан. — Но мне доводилось совершать и куда более отчаянные поступки.

Он благодушно закурил трубку, набитую душистым «табаком жрецов», которым так славился Гибралтар и которого они взяли на борт несколько хогсхедов[1].

[1] В колониальные времена табак транспортировали и хранили в очень больших бочках, называемых *хогсхедами* (англ. hogshead означает «голова кабана»). Стандартная бочка для табака имела 48 дюймов (121,92 см) в длину и 30 дюймов (76,2 см) в диаметре в верхней части. Полностью наполненный табаком, такой хогсхед весил около 1 000 фунтов (453,6 кг).

— И, что более важно, все они увенчались успехом.

Ему удалось вдохнуть в товарищей — и даже в Каюзака — частицу своего собственного духа непоколебимой уверенности, и с этой уверенностью все усердно принялись за работу. Три дня с восхода до заката пираты трудились в поте лица, готовясь к акции, которая должна была принести им победу.

Основная работа велась на более крупном из двух шлюпов, захваченных в Гибралтаре. Пираты начали с того, что сломали все переборки, превратив судно в своего рода пустую раковину, а в бортах просверлили столько отверстий, что планшир превратился в некое подобие решетки. Затем в палубе было пробито еще с полдюжины люков, а корпус корабля набит смолой, дегтем и серой, к которым добавили шесть бочонков пороха, размещенных наподобие пушек в отверстиях шлюпа по правому борту.

Вечером четвертого дня, когда все уже было готово, пираты поднялись на борт, но с якоря снялись только часа через два после полуночи. Затем, как только начался отлив, подгоняемые легким бризом, едва ощутимым в фиолетовой тьме тропической ночи, корабли бесшумно двинулись к бару[1], свернув все паруса, кроме шпринтовых, задававших нужное направление.

Порядок их продвижения был таким: впереди шел на скорую руку оборудованный брандер под командованием Волверстона с шестью добровольцами на борту, каждому из которых была обещана особая награда: еще по сто песо сверх обычной доли прибыли. За ним следовала величественная «Коллин»; на некотором расстоянии от нее — «Элизабет» под командованием Хагторпа, с которым был оставшийся без корабля Каюзак и бóльшая часть его французских приспешников. Замыкали шествие второй шлюп и восемь каноэ с пленными, рабами и почти всеми захваченными товарами.

Когда первые проблески опалового рассвета рассеяли темноту, напряженно всматривавшиеся в даль пираты смогли различить очертания высоких такелажей испанских судов, стоящих на якорях менее чем в четверти мили от них. Поскольку испанцы не испытывали ни малейших подозрений и были совершенно уверены в своем подавляющем превосходстве, судя по всему, они проявляли не бóльшую бдительность, чем диктовала их всегдашняя беспечность.

Несомненно, в этом тусклом свете они заметили флот Блада лишь после того, как корсары увидели их. К тому времени, как испанцы засуетились, шлюп Волверстона подошел уже почти вплотную, подняв все паруса в тот момент, как только галеоны замаячили в поле зрения.

Волверстон направил шлюп прямо на огромный флагманский корабль, «Консепсьон»; затем, обнайтовив штурвал, зажег большой факел из скрученной соломы, пропитанной нефтью. Дождавшись, пока тот разгорится, гигант раскрутил его, уже вспыхнувший ярким пламенем, над головой, как только маленькое судно с треском ударилось о борт «Консепсьона» и запуталось снастями в его вантах, отчего натянулись реи и лягнули рангоуты. Шесть

[1] *Бар* — песчаная подводная отмель, которая образуется в море на некотором расстоянии от устья реки под действием морских волн.

его парней стояли на своих постах по правому борту, вооруженные дреками; четверо — на планшире, двое — на реях. В момент удара они забросили дреки за борт испанского корабля, как бы привязав к нему брандер; крюки, брошенные с рей, должны были еще больше перепутать снасти.

На борту грубо разбуженного галеона поднялись суета и смятение; порой перекрывая истошные крики, трубы затрубили тревогу. От отчаяния испанцы попытались было поспешно поднять якорь, но затем отказались от этой идеи, решив, что пираты вот-вот пойдут на абордаж, и потому встали с оружием в руках, готовясь отразить нападение. Медлительность нападавших — а такое поведение совсем не походило на обычную тактику корсаров — изумила испанцев. Еще больше их поразил вид великана Волверстона, который полуголым носился по палубе своего суденышка, размахивая высоко над головой пылающим факелом. Они догадались о том, что этот гигант творит, лишь когда он закончил свою работу — он поджигал запальные фитили, и тогда один из офицеров «Консепсьона», обезумев от паники, распорядился послать на шлюп абордажную команду. Но приказ запоздал.

Увидев, что шестеро его парней спрыгнули за борт, Волверстон бросился к планширу левого борта, бросил пылающий факел в ближайший открытый люк и уже сам, в свою очередь, нырнул в воду, где его вскоре подобрал баркас с «Коллин». Но еще до того, как это произошло, шлюп оказался объят пламенем. Из этого огромного костра силой взрывов выбрасывались и летели на испанский флагманский корабль пылающие куски горючих материалов. Длинные языки пламени лизали борт галеона, отбрасывая назад тех немногих отважных испанцев, которые отчаянно пытались, но было слишком поздно, оттолкнуть шлюп.

И в то время, как самое грозное судно испанского флота уже в первые минуты было таким вот образом выведено из строя, приблизившийся к «Сальвадору» Блад открыл огонь. Сначала «Коллин» дала бортовой залп по носу этого корабля, с ужасающими разрушениями сметая все с его палуб, затем, продолжив движение, с близкого расстояния выпустила второй бортовой залп по корпусу «Сальвадора». Оставив его сильно поврежденным и, по крайней мере, на какое-то время выведенным из строя, придерживаясь своего курса, «Коллин» парочкой залпов из пушек, размещенных над бигхедом, привела в смятение команду «Инфанты», а затем, врезавшись в ее борт, взяла судно на абордаж, пока Хагторп проделывал то же самое с «Сан-Фелипе», предварительно подвергнув этот корабль карающему огню.

И за все это время испанцы умудрились не сделать ни одного выстрела — настолько были захвачены врасплох и столь быстрым и ошеломляющим был удар Блада.

Взятые на абордаж и столкнувшиеся с холодной сталью пиратов, ни «Инфанта», ни «Сан-Фелипе» не оказали особого сопротивления. Зрелище объятого пламенем флагманского корабля и легшего в дрейф подбитого «Сальвадора» столь глубоко их обескуражило, что они признали себя побежденными и сложили оружие.

«Сальвадор», возможно, и попытался бы изменить ситуацию, вступив в яростный бой и тем самым подтолкнув два других неповрежденных судна к решительному сопротивлению, что, быть может, решило бы исход дела. Но вышло так, что «Сальвадор», как это нередко случается у испанцев, оказался в крайне затруднительном положении: именно на этом корабле хранилась вся казна эскадры.

Стремясь прежде всего спасти свой драгоценный груз от попадания в руки пиратов, дон Мигель, перебравшийся тем временем с остатками команды со своего горящего корабля на «Сальвадор», направил его к Паломасу и охранявшему проход форту.

В дни ожидания адмирал принял определенные меры предосторожности, тайно разместив в этом форте гарнизон и перевооружив его. Для этой цели он снял с форта Кохеро, расположенного чуть глубже в заливе, все его вооружение, которое, если и не было очень значительным по количеству орудий, по крайней мере, включало батарею дальнобойных 74-фунтовых «королевских» пушек, более мощных, чем обычные.

Не подозревая об этом, капитан Блад пустился в погоню за испанцами на «Коллин», сопровождаемой «Инфантой», которой уже управляли пираты с Волверстоном во главе. Кормовые орудия «Сальвадора» беспорядочно отвечали на непрерывный огонь преследователей, но полученные им повреждения были таковы, что, добравшись до мелководья под защиту пушек форта, судно начало тонуть и в конечном счете опустилось на дно, оставив часть корпуса над водой. Оттуда, кто на лодках, кто вплавь, команда нового флагманского корабля с горем пополам добралась до берега.

А затем, когда Блад уже считал победу добытой, а выход в море свободным, форт внезапно продемонстрировал свою скрытую мощь. С ревом заявили о себе 74-фунтовые «королевские» пушки, и «Коллин» пошатнулась от двойного удара. Шестидесятифунтовое ядро пробило фальшборт в средней части верхней палубы, сея смерть и смятение среди находившихся там моряков, тогда как другое угодило прямо над реей в бизань-мачту, отчего та упала на грот-ванты, и судно на какое-то время лишилось возможности сражаться или отойти на безопасное расстояние.

Джерри Питт, штурман «Коллин», подскочил к штурвалу и резко, до предела, вывернул его в сторону. Частично изувеченный, корабль, пусть и не сразу, ушел вправо. К счастью, он находился почти вне досягаемости менее мощных батарей форта, и к тому времени, когда 74-фунтовые пушки удалось перезарядить, испанским артиллеристам была видна только его корма.

* * *

Между тем на более хрупкой «Инфанте» дела обстояли еще хуже. Хотя в корабль угодило лишь одно ядро, оно размолотило тимберсы левого борта на ватерлинии, в пробоины хлынула вода, и судно, несомненно, затонуло

бы, не прикажи Волверстон тотчас же сбросить все пушки левого борта за борт. Тем самым значительно облегчив «Инфанту», кренившуюся теперь на правый борт, он развернул ее и повел, слегка пошатывающуюся, вслед за «Коллин». Пушки форта продолжали стрелять по удаляющимся кораблям, но уже не могли причинить им новых сколь-либо значительных повреждений.

Наконец, выйдя из-под огня форта и соединившись с «Элизабет» и «Сан-Фелипе», «Коллин» и «Инфанта» легли в дрейф, и капитаны всех четырех кораблей собрались, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Для Блада то был горький момент. Ему пришлось переварить тот факт, что, уничтожив силы, настолько численно превосходящие пиратов в кораблях, орудиях и людях, что испанский адмирал справедливо считал свое преимущество подавляющим, он получил победу, оказавшуюся сведенной на нет всего лишь тремя удачными выстрелами заставшей их врасплох батареи, о существовании которой они даже не подозревали . И эта победа так и будет бесплодной до тех пор, пока им не удастся захватить форт, по-прежнему остающийся преградой на пути к морю.

«Коллин» выходить в море теперь не могла, «Инфанта» держалась на плаву разве что номинально, а «Сан-Фелипе» получил серьезные повреждения при обстреле еще до его захвата пиратами. Было очевидно, что им не остается ничего другого, кроме как вернуться в Маракайбо, чтобы там переоснастить корабли и уже затем попытаться форсировать проход снова.

Мрачный пессимизм Каюзака лишь усилил раздражение Блада, и аргументы, которые ирландец привел французу, были ровно же теми, с которыми он обратился на следующий день к дону Мигелю в грубом письме, написанном, однако, на чистейшем и изысканнейшем кастильском.

«Вчера я показал Вашему превосходительству (писал он)*, на что способен. Я потопил или захватил суда гордого флота, с которым Вы прибыли в Маракайбо, чтобы уничтожить нас. Теперь, даже получив из Каракаса подкрепление в лице «Санто Ниньо», Вы уже не сможете похвастать тем, что задуманное удастся. На основании происшедшего, Вы легко можете себе представить, что еще произойдет. Мне не следовало бы беспокоить Ваше превосходительство этим письмом, но я — человек гуманный человек, питающий отвращение к кровопролитию.*

Поэтому, прежде чем разделаться с фортом, который Вы, возможно, считаете неприступным, так же, как раньше я расправился с Вашей эскадрой, которую Вы тоже считали непобедимой, я из элементарных человеческих побуждений делаю Вам последнее предложение.

Если Вы предоставите мне возможность беспрепятственно выйти в море, заплатите выкуп в пятьдесят тысяч песо и поставите сто голов скота, то я не стану уничтожать город Маракайбо и оставлю его, освободив сорок взятых мною здесь пленных.

Пленных, среди которых в основном уважаемые лица, в том числе — вице-губернатор и епископ, я оставлю у себя в качестве заложников впредь до нашего отбытия, после чего отправлю обратно на лодках, которые мы возьмем с собой специально для этой цели.

Если Ваше превосходительство неблагоразумно откажется принять эти условия, предупреждаю: пощады не ждите. Я начну с того, что оставлю кучу пепла там, где сейчас стоит чудесный город Маракайбо, и, как только мои корабли будут переоборудованы, выйду и сделаю то же самое с Вашим фортом».

Это письмо Блад отправил к дону Мигелю с захваченным в Гибралтаре вице-губернатором Маракайбо, проявив в выборе посыльного тонкий расчет. Высокопоставленный чиновник как никто другой был заинтересован в том, чтобы с городом ничего не случилось, и лично умолял бы об этом адмирала со всей пылкостью, на какую только был способен.

Все вышло так, как на то и рассчитывал Блад. Вице-губернатор присовокупил к изложенным в письме предложениям свои собственные пылкие просьбы. Но дон Мигель обладал более стойким характером. Да, его флот был частично уничтожен, частично захвачен, но адмирал объяснял это себе чистой случайностью: его просто-напросто застигли врасплох.

Подобное не могло повториться. Форт никому не удастся захватить врасплох. Дон Мигель пригласил вице-губернатора к себе, чтобы тот смог увидеть, что численность гарнизона возросла, а вооружение увеличилось за счет тридцати шести пушек «Сальвадора», которые его люди, работая во время отлива, снимали с севшего на мель галеона.

Пусть капитан Блад ровняет Маракайбо с землей; когда он наконец решит выйти в море — а рано или поздно сделать это придется, — его будет ждать жестокое возмездие.

С таким ответом адмирала вице-губернатор вернулся в Маракайбо и, заразившись непоколебимой стойкостью Эспиносы, вел себя так дерзко, что дон Мигель остался бы им доволен.

— Ах так! — промолвил Блад с улыбкой, хотя, когда он услышал, что форт наращивает свою мощь, сердце его упало, словно камень в воду. — Что ж, мне искренне жаль, что адмирал столь упрям. Именно потому он и потерял свой флот, а вы потеряете свой город. Я полон сожаления, потому что ненавижу разрушения и кровопролития. Но что я могу поделать? Утром сюда доставят вязанки хвороста, и, быть может, увидев зарево пожара, дон Мигель поверит, что Питер Блад — человек слова. Можете идти, дон Франсиско.

* * *

Вспышка гнева, переполнявшего вице-губернатора, угасла в охватившем его смятении, и, с трудом волоча ноги, он вышел в сопровождении стражи.

Едва он удалился, Каюзак, присутствовавший на совете, собравшемся, для того чтобы услышать ответ адмирала, вскочил на ноги с белым, как полотно, лицом.

— Разрази меня гром! И что вы теперь скажете? — Даже не став дожидаться ответа, он продолжил неистовствовать: — Я знал, что адмирал сочтет ваши угрозы пустыми. Он прижал нас к стенке, и прекрасно это осознаёт. Затянувшийся ремонт лишил нас последней надежды, и это ваше дерзкое письмо обрекло всех нас на гибель.

— Вы закончили? — спокойно осведомился Блад.

— Нет, еще не закончил.

— Неважно, от остального можете нас избавить. Все равно это ничего нам не даст и не поможет разгадать стоящую перед нами загадку.

— Можете сказать, что вы намерены делать?

Это прозвучало не как вопрос, скорее, как требование.

— А вот это вас уже не касается, — ровным тоном произнес Блад. — Без вас тут будет гораздо приятнее, Каюзак. Вы сами, и все те, кто думает так же, как вы, можете нас покинуть. Ничуть не сомневаюсь, что пусть время сейчас и позднее, испанский адмирал только обрадуется тому, что нас стало меньше. В качестве прощального подарка вы получите шлюп, и можете присоединиться к дону Мигелю в форте, мне все равно.

Бледный, как смерть, и дрожащий от гнева, Каюзак с пару мгновений смотрел на него сердито, затем пробурчал:

— Будет так, как решат мои люди.

С этими словами вышел, дав остальным возможность поразмышлять над сложившейся ситуацией в более спокойном ключе.

На следующее утро Каюзак снова отправился на поиски Блада. Он нашел капитана одного во внутреннем дворике расхаживающим взад и вперед с опущенной на грудь головой. Каюзак ошибочно принял эту задумчивость за уныние: каждый из нас мерит ближнего своего по себе.

— Мы воспользуемся вашим предложением, капитан, — дерзко объявил он несколько угрюмым тоном.

Немного сутулясь и продолжая держать руки за спиной, капитан Блад остановился и окинул пирата слегка вопрошающим взглядом.

— Ночью я послал одного из своих людей к испанскому адмиралу с письмом, в котором высказал согласие капитулировать, если он разрешит нам уйти отсюда с военными почестями. Утром я получил ответ. Дон Мигель де Эспиноса согласен предоставить нам все это при условии, что мы ничего с собой не возьмем. Мои люди уже садятся на шлюп, и мы тотчас же отплываем.

— Bon voyage[1]! — сказал капитан Блад и развернулся на каблуках, чтобы возобновить прерванные размышления.

— И это всё, что вы можете мне сказать? — воскликнул Каюзак.

[1] Счастливого пути! (фр.)

— Хочу пощадить ваши чувства, — бросил Блад через плечо.

— Ха! В таком случае — adieu, капитан, — и он едко добавил: — Уверен, мы больше не встретимся.

— Надеюсь, — сказал капитан Блад.

Разразившись грубой бранью, Каюзак удалился. Еще до полудня он отплыл вместе с шестьюдесятью удрученными сторонниками, которых ему удалось убедить уйти с пустыми руками. Адмирал сдержал данное слово и позволил им беспрепятственно выйти в море, чего Блад, исходя из того, что он знал об испанцах, даже не ожидал.

Между тем, как только отделившиеся от Блада французы снялись с якоря, вице-губернатор снова попросил дозволения встретиться с капитаном. Ирландец принял его любезно.

— Доброе утро, дон Франсиско. Я отложил разведение костра до вечера. В темноте он будет смотреться лучше.

Вице-губернатор, худощавый, робкий пожилой человек высокого происхождения и минимальной жизненной силы, сразу же перешел к делу. Он признался, что ночные размышления усилили его опасения за прекрасный город, доверенный его управлению, и теперь он в еще большей степени порицает непримиримость адмирала.

— Я здесь для того, чтобы сказать вам, дон Педро: если вы отло́жите разрушение Маракайбо на три дня, я обязуюсь собрать выкуп, в котором вам отказал дон Мигель.

— И где же вы его соберете? — спросил Блад, выразив свое удивление хмурым взглядом.

— Это уже мое личное дело. Освободите меня на три дня под честное слово, и я прослежу за тем, чтобы ваши требования были удовлетворены в полной мере. Мой сын на это время останется у вас в качестве заложника.

— Клянусь всеми святыми, вы смелый человек, дон Франсиско, если решились явиться ко мне с такой басней, заявляете, что можете собрать выкуп, но отказываетесь сказать — как. Может, с горящей спичкой между пальцами вы станете более разговорчивым?

Дон Франсиско сделался еще более бледным, однако покачал головой.

— Так поступали Морган и л'Олоне́, но капитан Блад так не поступит. У вас репутация человека, который ведет войну как истинный джентльмен.

— Так оно и есть, — сказал капитан Блад. — Я нахожу это более выгодным. Потому-то вам и будут предоставлены эти три дня. Вы полу́чите столько мулов, сколько вам нужно. Но больше, дон Франсиско, ничего не проси́те.

Вице-губернатор ушел, но на третий день пунктуально вернулся с мулом, нагруженным столовым серебром и монетами на затребованную сумму, а также стадом в сто голов крупного рогатого скота, пригнанным невольниками-неграми.

Скот был передан тем членам пиратской компании, которые когда-то были охотниками-буканьерами и умели заготовлять мясо впрок. Бо́льшую часть следующей недели они провели на берегу за засолкой разделанных туш.

Пока с одной стороны шла эта работа, с другой — беспрестанно производились ремонт и переоснащение кораблей. Разведчики-индейцы, нанятые Бладом, подтвердили заявление вице-губернатора: испанцы действительно сняли с севшего на мель «Сальвадора» тридцать шесть пушек и тем самым значительно усилили и без того мощную артиллерию форта.

Тот факт, что, с целью контроля над каналом, всю ею разместили на той стороне форта, что была обращена к морю, подсказал Бладу мысль о том, что можно было бы тайно высадиться на Паломасе и попытаться взять форт штурмом, внезапно атаковав его с тыла, прежде чем пушки перебросили бы туда для отражения атаки. Если капитан и отказался от этого плана, то не столько из-за трудностей, которые он представлял, сколько потому, что одна вытекающая из него уловка обещала более верный и полный успех.

* * *

Все уже было готово к отплытию, и Блад решил действовать. Он настолько уверился в успехе, что сразу же распорядился освободить пленников, за исключением рабов, которых считал законной добычей. Поднявшись на борт, погрузив в трюмы захваченные ценности и поместив рабов под палубы кораблей, пираты снялись с якоря и направились к бару. Каждое судно тянуло за собой на буксире три пиро́ги.

Адмирал, наблюдавший за их продвижением при ярком свете полуденного солнца, удовлетворенно потер руки и рассмеялся сквозь зубы.

— Наконец-то, por Dios! — вскричал он. — Вот и конец проблемам, которые создавал подданным его католического величества короля Испании этот гнусный пират!

Он быстро отдал распоряжения. У пушек выстроились люди, за них отвечавшие; канониры уже поджигали фитили, когда было замечено, что пиратский флот, по-прежнему приближаясь к Паломасу, вместе с тем отклоняется к западу. Наконец четыре корабля бросили якорь примерно в полутора милях от форта и в полумиле от острова, то есть на самом краю мелководья, которое делает Паломас неприступным с обеих сторон для всех, за исключением судов с минимальной осадкой. Там-то пираты и встали — в зоне видимости испанцев, но вне пределов досягаемости их самых дальнобойных пушек.

Наблюдая за ними в подзорную трубу, озадаченный адмирал заметил, что шедшие за кораблями на буксире пироги были подтянуты к бортам и какое-то время оставались скрытыми за корпусами судов. Когда же, удалявшиеся на веслах от флота, они наконец появились снова, каждый челнок был полон вооруженных людей. Нагруженные таким образом, пироги направились к берегу, сплошь покрытому густыми кустарниками, начинавшимися у самой кромки воды.

Адмирал провожал лодки взглядом до тех пор, пока они не скрылись в прибрежной растительности. Вскоре пироги показались снова, однако теперь в них, кроме гребцов, никого не было. Челноки шли обратно к судам, чтобы вернуться еще раз со свежим грузом вооруженных людей, которых они доставили на берег точно таким же образом.

— Высаживаются, чтобы атаковать нас с тыла! — вскричал один из офицеров.

— Это я уже понял, — заметил адмирал и рассмеялся, ничуть не встревожившись. — Пусть нападают, где им будет угодно, — не поздоровится не нам, а им самим.

Но вечером, а к тому моменту каноэ уже раз шесть доставили на берег вооруженных пиратов и, как было отмечено, перевезли как минимум дюжину пушек, адмирал выглядел уже не столь невозмутимым.

— Какой баран говорил, что их всего триста? Они уже высадили на берег по меньшей мере вдвое больше.

Ему и голову не могло прийти, что пироги возили одних и тех же людей: при поездке на берег они сидели и стояли в лодках, а при возвращении на корабли лежали на дне челноков, и поэтому со стороны казалось, что в пирогах нет никого, кроме гребцов. Не додумался он и до того, что с наступлением сумерек, несмотря на все эти показные операции по высадке, на берегу не было ни одного пирата.

Теперь дон Мигель уже разделял живейшие опасения своих сторонников относительно предстоящей ночной атаки с суши силами, по меньшей мере в два раза превосходившими те, которыми, как они полагали ранее, командовал несносный Блад. В последние часы дневного света испанцы сделали именно то, на что со столь глубокой убежденностью рассчитывал капитан Блад. Они принялись работать, как проклятые, перетаскивая тяжелые пушки, установленные так, чтобы полностью простреливать узкий проход к морю. Кряхтя и обливаясь по́том, они в панической спешке старались перетянуть как можно большее количество наиболее мощных орудий на ту сторону форта, что была обращена к суше, и там установить заново, чтобы быть готовыми к атаке, которая в любой момент могла обрушиться на них из леса, расположенного менее чем в полумиле.

Наступила ночь, темная и безлунная, и испанцы с тревогой в душе принялись ждать нападения этих бешеных дьяволов, чья ярость и безрассудная отвага в атаке давно уже стала в морях Мэйна притчей во языцех.

И пока они столь бдительно ждали нападения со стороны суши, корабли Блада, не освещаемые ни единым огнем, покинули свою якорную стоянку и, промеряя глубину лотом, направились к узкому проходу в море.

Шедшие бок о бок «Элизабет» и «Инфанта» уже поравнялись с фортом, когда испанцы заметили наконец их смутные очертания и услышали тихий плеск рассекаемых волн.

Раздался вопль: «Тревога!», за которым тут же последовал такой взрыв человеческой ярости, какой, вероятно, звучал в Вавилоне в дни смешения языков.

Дабы повергнуть испанцев в еще бóльшую растерянность, выявленная ими «Элизабет» в ту минуту, когда быстрый отлив проносил ее мимо, произвела по форту залп из всех своих орудий левого борта.

Осознав, хотя все еще и не понимая как, — что его провели и добыча вот-вот ускользнет, адмирал пришел в бешенство. Распорядившись оттащить передвинутые пушки на их прежнее место, он бросил канониров на те слабенькие батареи, которые из всего его мощного, но пока бесполезного вооружения одни охраняли проход в море.

Наконец, потеряв еще несколько драгоценных минут, форт открыл бешеный огонь. Навязчивая мысль о том, что их в любой момент всё еще могут атаковать с тыла, лишь усиливала всеобщее замешательство.

В ответ на эту канонаду уже поравнявшаяся с фортом и теперь поднимавшая паруса «Коллин» дала мощнейший залп. Разъяренные испанцы на какой-то миг увидели судно, когда его красный бок осветила вспышка огня, но после этого корабль они больше не видели.

Скрывшись в благоприятствующую им темноту, куда беспорядочно и наугад стреляли мелкокалиберные испанские пушки, уходящие корабли, чтобы не выдать сбитым с толку и озадаченным врагам своего местоположения, не произвели больше ни одного выстрела.

Повреждения, хотя и незначительные, пиратские корабли, конечно же, получили, но к тому времени, когда испанцы пришли в себя от замешательства и смогли перестроиться для более или менее грозного нападения, подгоняемый южным бризом флот Блада уже миновал узкий проход и вышел в море.

* * *

Дону же Мигелю де Эспиносе оставалось лишь снова и снова пережевывать горькую жвачку упущенной возможности покончить с Бладом раз и навсегда и думать о том, в каких выражениях он сообщит верховному совету его католического величества о том, что Питер Блад ушел из Маракайбо с двумястами пятьюдесятью тысячами песо, не говоря уже о рабах и менее значимых товарах, и двумя двадцатипушечными фрегатами, еще недавно являвшимися собственностью Испании.

На этом потери, понесенные его католическим величеством, не закончились, ибо на следующий вечер флот капитана Блада встретил у берегов Арубы[1] запоздалый «Санто Ниньо», на всех парусах спешивший в Маракайбо на помощь адмиралу.

Сначала испанцы подумали, что видят победоносную эскадру дона Мигеля, возвращающуюся после разгрома пиратов. Когда же корабли оказались на сравнительно небольшом расстоянии одни от других, на грот-мачте «Коллин», к глубочайшему разочарованию новоприбывших, взвился Крест

[1] В оригинальном тексте рассказа — ошибочно — «Оруба» (Oruba).

Святого Георгия, и капитан «Санто Ниньо», решив, что береженого Бог бережет, свой флаг спустил. Капитан Блад приказал команде испанского корабля погрузиться в шлюпки и отправляться на Арубу или куда еще им заблагорассудится.

Затем, поднявшись на борт «Санто Ниньо», он приступил к осмотру этого своего нового трофея. Когда люки подняли, в трюмах обнаружился живой груз.

— Рабы, — сказал Волверстон и упорствовал в этом убеждении до тех пор, пока из темных недр корабля, моргая и морщась от яркого солнечного света, не выполз Каюзак.

Бретонский пират, конечно, морщился не только от солнца, и те, кто вылез вслед за ним, а это были остатки его команды, кляли Каюзака на чем свет стоит за малодушие, навлекшее на них позор, ибо их спасли те самые люди, которых они предательски бросили, не оставив, казалось бы, ни малейшей надежды на спасение.

Тремя днями ранее их шлюп случайно наткнулся на «Санто Ниньо» и был им потоплен, и Каюзак, как показали события, едва избежал виселицы лишь для того, чтобы в будущем стать посмешищем всего «Берегового братства».

Долго еще его с издевкой спрашивали на Тортуге:

— И на что же ты потратишь золото, привезенное из Маракайбо?

ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Капитан Блад был доволен жизнью, иными словами, доволен собой.

Он стоял на молу в Кайоне, наблюдая за судоходством в этом порту, которому, казалось бы, по замыслу само́й природы суждено было стать могучей цитаделью. Укрывшись в этой крепости, заключенной между громадными скалистыми стенами в устье крошечного залива, подойти к которому по двум фарватерам можно было только при наличии умелого лоцмана, в массивном форте (тут уже творение природы довершил человек), французские и английские пираты, устроившие там свое логово, открыто насмехались над властью короля Испании.

Капитан Блад с гордостью рассматривал пять огромных судов, составлявших теперь его флот; все они когда-то, от киля до верхушек мачт, принадлежали Испании. Красные фальшборты и золоченые порты его флагманского корабля, сорокапушечной «Коллин», некогда именовавшегося «Синко Льягас», сверкали в лучах заходящего солнца. Рядом шла «Элизабет», позади нее — три корабля поменьше, двадцатипушечные, недавно захваченные в бою при Маракайбо. Эти суда, первоначально называвшиеся «Инфанта», «Сан-Фелипе» и «Санто-Ниньо», Блад переименовал в «Клото», «Лахесис» и «Атропос»[1], тем самым шутливо давая понять, что отныне они станут вершителями судеб всех испанских судов, которые повстречаются им в океане.

Капитан Блад улыбнулся, оценив свой собственный тонкий юмор вкупе с ученостью. Он был, повторимся, чрезвычайно доволен собой. За ним стояло около тысячи человек, и при желании он в любой миг легко мог удвоить это число, ибо его удача уже вошла в поговорку, а удача — самое ценное из качеств, которыми должен обладать тот, кто ведет за собой людей в опасные предприятия. Сам великий Морган в зените славы не обладал таким авторитетом и властью. Даже Монбар, прозванный испанцами «Истребителем», не нагонял на них в свое время такого страха, как теперь дон Педро Сангре — они сочли уместным перевести его, Питера Блада, имя буквально.

---

[1] *Клото, Лахесис и Атропос* — в древнегреческой мифологии три мойры (доля, участь, которую получает каждый при рождении), богини судьбы.

Блад знал, что объявлен вне закона. Не только король Испании, могуществу которого капитан не раз бросал вызов, но и английский король, которого он, и не без оснований, глубоко презирал, принимали определенные меры к его уничтожению. А недавно до Тортуги дошла весть о том, что испанский адмирал Дон Мигель де Эспиноса, последняя жертва Блада, жестоко пострадавший от его рук, объявил, что заплатит десять тысяч песо любому, кто доставит ему капитана живым: мстительность дона Мигеля была столь ненасытной, что не удовлетворилась бы просто смертью человека, которого кастилец с некоторых пор полагал самым заклятым своим врагом.

Все это отнюдь не запугало Питера Блада, не вынудило утратить веру в удачу, и потому он вовсе не намерен был прозябать на Тортуге, служившей ему надежным прибежищем. За все те страдания, которые он претерпел от людей, а их он претерпел немало, предстояло ответить Испании. Тем самым, как сам себе объяснял Блад, он преследовал двойную цель: получал определенную компенсацию и в то же время служил, конечно же, не королю Стюарту, которого, как уже было сказано, презирал, хотя сам родился ирландцем и был воспитан как благоверный папист, — но Англии, и, если уж на то пошло, всему остальному цивилизованному миру, который жестокая, алчная, фанатичная Кастилия стремилась отстранить от общения с Новым Светом.

Питер Блад отвернулся от мола, почти опустевшего к этому времени от обычной толпы суетливых торговцев многих наций — англичан, французов и голландцев, — плантаторов и моряков разного ранга, буканьеров (среди которых были как охотники на дикий рогатый скот и свиней, так и чисто пираты), индейцев, торгующих фруктами полукровок, невольников-негров и всех прочих представителей человеческого рода, изо дня в день устраивавших на кайонских набережных некое подобие вавилонского столпотворения.

Блад уже спускался с мола, когда с лодки, доставившей капитана на берег, его окликнул Хейтон, боцман «Коллин»:

— Назад в восемь склянок, кэп?

— Да, в восемь склянок, — бросил через плечо Блад и, помахивая длинной тростью черного дерева, неторопливо направился к городу, — элегантный франт в расшитом серебром сером костюме, ничуть не похожий на безжалостного пирата.

Он шел по широкой немощеной rue du Roi de France [1], которую горожане вздумали приукрасить, обсадив с обеих сторон рядами пальм. Большинство встречных вежливо с ним здоровались, остальные провожали долгими взглядами.

Когда Блад поравнялся с таверной «Король Франции», его внимание привлекла небольшая группа, околачивавшаяся у дверей заведения. Изнутри доносился ровный гул голосов, казавшийся приглушенным аккомпанементом грубой брани, обрывкам непристойных песен и визгливо-глупому женскому

[1] Улица Короля Франции (фр.)

смеху, а на фоне этих разнообразных звуков глухо стучали игральные кости и звякали жестяные кружки.

Блад понял: его парни развлекаются, проматывая золото, привезенное из Маракайбо. Кучка головорезов, вывалившихся наружу из дверей этого дома бесчестия, встретила его приветственными криками, — как-никак он был королем всех этих разбойников, объединившихся в великое «Береговое братство».

Ответив на их приветствие поднятием трости, капитан проследовал мимо. У него было дело к господину де ла Пласу, губернатору Тортуги, и это дело привело его сейчас в красивый каменный дом, стоявший на возвышенности к востоку от города.

Будучи человеком предусмотрительным, Блад готовился к тому дню, когда смерть или падение короля Якова дадут ему возможность вернуться домой. С некоторых пор у него вошло в обычай передавать значительную часть своей доли трофеев губернатору в обмен на векселя французских банков, которые капитан переправлял затем в Париж для инкассации и депонирования.

Поскольку эти сделки приносили господину де ла Пласу немалую прибыль, но еще больше потому что когда-то капитан оказал ему и его родным неоценимую услугу, Питер Блад всегда был в доме губернатора желанным гостем, причем с теплотой к нему относился не только сам де ла Плас, но и члены его семьи — сын и две дочери.

В этот вечер, как только Блад и ее отец покончили с делами, мадемуазель де ла Плас пожелала прогуляться с капитаном по короткой аллее благоухающего сада. Красавица-брюнетка с матово-бледным лицом, высокая, статная, богато одетая по последней французской моде, мадемуазель де ла Плас была столь же романтична внешне, сколь и по своему характеру. Грациозно вышагивая в сгущающихся сумерках близ капитана, она показала, что ее желание совершить променад тоже не было лишено определенного романтического оттенка.

— Monsieur, — сказала она и, на миг запнувшись, по-французски же и продолжила: — Будьте начеку, умоляю. У вас слишком много врагов.

Блад остановился, обернулся вполоборота и, сняв шляпу, поклонился так низко, что длинные черные локоны почти закрыли его точеное, бронзовое, как у цыгана, лицо.

— Мадемуазель, мне льстит, чрезвычайно льстит ваша забота, — он выпрямился, и его дерзкие голубые глаза, казавшиеся совсем светлыми под черными, как смоль, бровями, встретили ее взгляд с веселой усмешкой. — Вы правы, недостатка во врагах я не испытываю. В этих широтах я слыву великой знаменитостью, за что приходится нести такое вот наказание. Впрочем, здесь, на Тортуге, врагов у меня нет.

— Вы вполне в этом уверены?

Нахмурившись, Блад на миг задумался, а затем медленно произнес:

— Похоже, мадемуазель, вам что-то известно...

— Не так уж и много. Я знаю лишь то, что сегодня сказал мне один из наших невольников. По его словам, испанский адмирал назначил награду за вашу голову.

— У испанского адмирала просто такая манера делать комплименты, мадемуазель.

— Еще вроде бы и Каюзак грозился, что заставит вас пожалеть о том, как вы обошлись с ним в Маракайбо.

— Каюзак? С его стороны это весьма неосмотрительно. Да и потом, все же знают, что по отношению к нему не было допущено ни малейшей несправедливости. Когда он счел, что ситуация становится слишком опасной, то сам пожелал уйти, что ему и было дозволено.

— Но при этом он лишился своей доли добычи, и с тех пор над ним и его товарищами смеется вся Тортуга. Можете сами себе представить, что теперь чувствует к вам этот мерзавец!

Они подошли к воротам.

— Обещайте, что будете начеку! — взмолилась девушка.

— Раз уж таково ваше милостивое желание, обещаю — я позабочусь о сохранности своей жизни, чтобы и впредь иметь возможность служить вам, — любезно согласился Блад и церемонно склонился в поцелуе над ее рукой.

Впрочем, предостережение мадемуазель де ла Плас его не слишком обеспокоило. Что Каюзак вынашивает планы мщения — в это Блад еще мог поверить, но чтобы француз решился открыто угрожать ему здесь, на Тортуге!.. В такое верилось с трудом: будучи по натуре человеком трусливым, всегда избегавшим даже малейших рисков, Каюзак едва ли отважился бы на столь неблагоразумный поступок, ибо и сам прекрасно понимал, чем это для него чревато.

Капитан бодро зашагал в сгущающемся мраке нежной и теплой ночи и вскоре увидел перед собой огни rue du Roi de France. Он уже подходил к этой безлюдной в подобное время суток улице, когда из темного проулка по правую его руку, наперерез ему выскочила какая-то тень.

Блад остановился и весь подобрался, готовый, в случае чего, дать отпор, но в следующий миг различил женскую фигуру и услышал негромкий оклик:

— Капитан Блад!

Женщина подошла ближе и, с трудом переведя дыхание, затараторила:

— Я видела, как вы прошли тут пару часов назад, но, не осмелившись заговорить с вами здесь, на улице, при дневном свете, решила дождаться вашего возвращения. Не ходите дальше, капитан, — вы идете навстречу опасности, навстречу смерти!

Сначала несколько озадаченный, теперь Блад узнал ее. Перед его мысленным взором промелькнула сцена, разыгравшаяся в «Короле Франции» с неделю тому назад. Два пьяных головореза поссорились из-за женщины — одной из тех бедняжек, что потерпели крах в Европе и оказались выброшенными на берег небольшого островка Нового Света, — несчастного создания, еще сохранившего некоторую привлекательность, которая, впрочем, как и поно-

шенная одежда этой особы, была потускневшей, грязной и мятой. Женщина попыталась было вмешаться в спор, из-за нее и начавшийся, но получила от одного из своих спутников увесистую затрещину, и Блад, в порыве рыцарского гнева, сбил ее обидчика с ног, а саму ее увел из кабака.

— Они подстерегают вас там, внизу, — продолжала она. — Хотят вас убить.

— Кто — они? — спросил Блад, мгновенно вспомнив предостережение мадемуазель де ла Плас.

— Их там человек двадцать, и если бы только они узнали... если бы только увидели, что я вас предупредила... Мне и само́й бы еще до утра перерезали горло.

Говоря это, она испуганно озиралась в полумраке по сторонам, ее голос дрожал от, казалось бы, с каждой секундой возраставшего страха. Вдруг она хрипло вскрикнула:

— О, да не стойте же здесь! Пойдемте со мной, я укрою вас кое-где до рассвета, а там уж сможете вернуться на свой корабль, и если вам хватит ума, больше не будете его покидать или хотя бы станете ходить не один, а с товарищами. Пойдемте! — повторила она, потянув его за рукав.

— Спокойнее! Спокойнее! — проворчал Блад, высвобождая руку. — Куда вы собираетесь меня отвести?

— Да какая разница, если со мной вы будете в безопасности? — женщина снова настойчиво потянула его за рукав. — Вы были добры ко мне, и я не могу оставить вас тут погибать. А не пойдете — нам обоим конец!

Уступив наконец ее уговорам, Блад позволил увести себя с широкой улицы в проулок, из которого женщина выскочила, чтобы перехватить его. По одной стороне этого узкого проулка стояли на довольно большом расстоянии один от другого убогие одноэтажные домишки, в основном деревянные, вдоль другой бежал частокол, огораживающий какую-то плантацию.

У второй по счету лачуги женщина остановилась. Низенькая дверь была открыта, внутри тускло мерцал огонек стоявшей на столе медной керосиновой лампы.

— Входите, — пробормотала она дрожащим голосом.

* * *

Две ступеньки вели вниз: пол этой хижины находился ниже уровня улицы. Спустившись по ним, капитан Блад вошел в комнату, воздух которой был пропитан вонью табачного перегара и тошнотворным запахом небольшой масляной лампы. Женщина проследовала за ним и закрыла дверь; а затем, прежде чем Блад успел оглядеться по сторонам в этом тусклом свете, мощный удар по голове, нанесенный сзади каким-то тяжелым предметом, оглушил его, и он в полуобморочном состоянии повалился ничком на грязный, ничем не покрытый дощатый пол.

В тот же миг тишину разорвал пронзительный женский вопль, моментально перешедший в сдавленное бульканье.

Блад не успел даже пошевелиться, оправиться от изумления, как чьи-то ловкие, жилистые, умелые руки быстро принялись за дело: кожаные ремни стянули его лодыжки и заведенные за спину руки; самого его перевернули, подняли, усадили на стул и крепко-накрепко привязали к спинке.

Над ним склонился мужчина невысокого роста и мощного, обезьяноподобного сложения, с длинным туловищем и короткими ногами. Рукава его голубой рубашки, закатанные до локтей, обнажали огромные, длинные, мускулистые и волосатые руки. Маленькие черные глазки злобно поблескивали на широком, плоском и желтоватом, как у мулата, лице. Красно-синий платок покрывал его голову, полностью скрывая волосы; в мочках больших ушей висели тяжелые золотые кольца.

Блад смерил его долгим взглядом, стараясь подавить закипавшую в душе ярость, лишь усиливавшуюся по мере того, как прояснялось сознание. Инстинктивно он понимал: неистовство и гнев никак не помогут, их любой ценой следует обуздать. Усилием воли капитан взял себя в руки.

— Каюзак! — медленно, с расстановкой произнес он, а затем добавил: — Какая неожиданная, но приятная встреча!

— Наконец-то ты бросил якорь, капитан, — сказал Каюзак и издал тихий, злорадный смешок.

Блад отвел от него глаза и посмотрел на дверь, у которой извивалась, пытаясь вырваться из рук спутника Каюзака, женщина.

— Уймись, дрянь, не то я сам тебя успокою! — угрожающе проворчал этот тип.

— Что вы хотите с ним сделать, Сэм? — проскулила несчастная.

— Не твое дело, подруга.

— Еще как мое! Ты сказал, что ему угрожает опасность, и я поверила тебе, лживый мерзавец!

— Ну да, так оно и было. Зато теперь ему хорошо и уютно. А ты ступай-ка туда, Молли, — скомандовал Сэм и указал на темневший в дальнем конце комнаты вход в какую-то нишу.

— Никуда я не пойду... — огрызнулась было женщина.

— Ступай, говорят, — прорычал Сэм, — не то хуже будет.

Он снова грубо схватил ее и оттащил, все еще сопротивлявшуюся, через всю комнату в нишу. Затем закрыл и запер на засов дверь.

— Сиди там и не шуми, не то я угомоню тебя раз и навсегда.

Из-за двери донесся стон, скрипнула кровать, на которую в отчаянии бросилась женщина, и наступила тишина.

Капитан Блад решил, что ее роль в этом деле более-менее понятна и, по всей видимости, закончена. Он посмотрел в лицо своему бывшему сотоварищу и растянул губы в улыбке, изображая спокойствие, которого отнюдь не испытывал.

— Не сочти за бестактность, Каюзак, но все же — что ты задумал? — осведомился он.

Спутник Каюзака, высокий, вихлястый парень с тощим лицом, сильно смахивающий на индейца, вразвалочку подошел к столу. Судя по одежде, он был охотник. Так как Каюзак, хмуро взиравший на пленника, промолчал, этот тип ответил за него:

— Мы намерены передать тебя, капитан, дону Мигелю де Эспиносе.

Наклонившись к лампе, он оправил фитиль, и света в убогой комнатенке сразу же заметно прибавилось.

— C'est ça![1] — подтвердил Каюзак. — А дон Мигель, вероятно, вздернет тебя на нок-рее.

— Так все это — ради мести дона Мигеля? Черт возьми! Похоже, вас соблазнила награда, назначенная за мою голову. Дьявол меня раздери, но для тебя, Каюзак, — это самая подходящая работенка! Вот только все ли ты учел, приятель? Даже интересно, как ты обойдешь рифы, что поджидают тебя на пути? В восемь склянок у мола меня должен был встретить со шлюпкой Хейтон. Я и так уже опоздал — восемь склянок пробило час назад, а то и больше. Они вот-вот поднимут тревогу. Все знают, куда я направился, так что, разыскивая меня, просто пойдут тем же путем. Сам знаешь, мои парни перетряхнут и вывернут наизнанку, словно мешок, всю Тортугу. И вот что тогда ждет тебя, Каюзак? Ты об этом подумал? Вся твоя беда в том, что ты начисто лишен прозорливости. Вот из-за этой своей недальновидности ты и ушел тогда из Маракайбо с пустыми руками. И не выручи я тебя через несколько дней, ты бы сейчас сидел на веслах на какой-нибудь испанской галере. Так нет же — будучи малодушной, строптивой шавкой, ты изволил обидеться и, желая выплеснуть свою злобу, несешься прямиком к своей погибели. Если у тебя есть хоть капля здравого смысла, убавь паруса, приятель, и, пока не стало слишком поздно, встань на другой курс.

Каюзак в ответ лишь окинул капитана плотоядным взглядом, а затем молча обшарил его карманы. Его товарищ тем временем уселся на трехногий сосновый табурет.

— Который час, Каюзак? — спросил он.

Каюзак взглянул на часы Блада.

— Почти половина десятого, Сэм.

— Чтоб им всем пусто было! — проворчал Сэм. — Еще три часа ждать.

— В шкафу есть кости, — заметил Каюзак, — а сыграть есть на что.

Он указал большим пальцем сжатой в кулак руки на содержимое карманов капитана Блада, образовавшее на столе небольшую кучку. Среди всего этого добра было десятка два золотых монет, немного серебра, золотые часы в форме луковицы, золотая табакерка, пистолет и, наконец, булавка с крупным драгоценным камнем, которую Каюзак вынул из кружевного жабо капитана. Рядом лежали шпага Блада и роскошная перевязь из серой кожи, богато отделанная золотом.

[1] Именно! Так точно! (фр.)

* * *

Сэм встал, подошел к шкафу и достал оттуда игральные кости. Бросив их на стол, придвинул табурет и снова сел на свое место. Монеты он разделил на две равные кучки, после чего добавил шпагу и часы к одной из них, а булавку с драгоценным камнем, пистолет и табакерку — к другой.

Питер Блад, внимательно и настороженно следивший за ними, он был настолько сосредоточен на поисках какого-либо пути к спасению, что едва ощущал боль от удара по голове, свалившего его с ног, — снова заговорил. Страх и отчаяние настойчиво стучались в его сердце, но он решительно отказывался туда их впускать.

— Ты не принял во внимание, Каюзак, еще вот какой момент, — медленно, словно нехотя, произнес он. — Что, если я пожелаю выкупить себя за гораздо более высокую цену, чем предложил за мою голову испанский адмирал?

Француз рассмеялся.

— Tiens![1] А как же твоя уверенность в том, что Хейтон непременно придет тебе на помощь, а? Рассеялась, как дым?

Каюзак снова расхохотался, а вместе с ним и Сэм.

— Вероятно, так оно и будет, — сказал Блад. — Более чем вероятно. Но на сто процентов я не уверен — в этом шатком, изменчивом мире нет ничего определенного. Нельзя быть уверенным даже в том, что испанец заплатит вам те десять тысяч песо[2], которые, как я слышал, он за меня предлагает. Со мной, Каюзак, ты мог бы заключить и куда более выгодную сделку.

Блад умолк, но его острый, настороженный взгляд успел уловить алчный блеск, промелькнувший в глазах француза; успел заметить он и хмуро сдвинутые брови другого головореза.

— Со мной ты мог бы заключить сделку, которая компенсировала бы тебе все, что прошло мимо тебя в Маракайбо, так как за каждую тысячу песо, предложенную испанцем, я готов предложить две.

У Каюзака от изумления отвисла челюсть, глаза округлились.

— Двадцать тысяч песо! — пробормотал он.

Но тут огромный, как окорок, кулак Сэма обрушился на шаткий стол, и, смачно выругавшись, напарник француза проревел:

— Этому не бывать! Я уже заключил сделку, и уговор не нарушу! Если же что-то пойдет не так, — тем хуже для меня... и для тебя, Каюзак. Да и неужто ты настолько глуп, что готов поверить, будто этот изнеженный красавчик действительно сдержит свое обещание?

— Он знает, что данное мною слово нерушимо. Мы с ним плавали вместе, — сказал Блад. — Ему известно, что мое слово даже испанцами ценится дороже золота.

---

[1] Ну и ну! (фр.)

[2] Или восемьдесят тысяч реалов (1 песо в те времена был равен 8 реалам).

— Может, и так. Но для меня оно мало что значит. — Сэм угрожающе приблизил к капитану Бладу свое злобное скуластое лицо с тяжелыми, набрякшими веками и низким, покатым лбом. — Я пообещал в полночь доставить тебя кое-куда в целости и сохранности, а когда я обещаю что-то сделать, я это делаю. Понятно?

Капитан Блад поднял на него глаза и даже улыбнулся.

— Вполне, — сказал он. — Столь подробное разъяснение не оставляет места для воображения.

Он и в самом деле полагал именно так, поскольку теперь для него стало очевидно: не кто иной, как Сэм, договорился обо всем с испанцами, и он не осмеливается нарушить данное им слово, опасаясь за свою жизнь.

— Ну вот и прекрасно, — проворчал Сэм. — И если не хочешь ближайшие три часа провести с кляпом во рту, держи свой поганый язык за зубами. Это, надеюсь, ты тоже уяснил?

И, хищно осклабившись, он снова приблизил свою тощую физиономию к лицу пленника.

Да, капитан Блад уяснил все, и, уяснив, перестал отчаянно цепляться за ту единственную тоненькую соломинку надежды, которую обнаружил в сложившейся ситуации. Он понимал, что вынужден будет сидеть здесь, беспомощный, прикрученный к стулу ремнями, и ждать, когда его передадут тому, кто доставит его к дону Мигелю де Эспиносе. О том, что произойдет дальше, капитан старался не думать. Он знал, на сколь чудовищную жестокость способны испанцы, и без труда представлял себе, сколь буйно будет неистовствовать адмирал.

При одной лишь мысли об этом Блада прошиб холодный пот. Неужели ему и в самом деле суждено закончить свою славную, полную опасностей и приключений жизнь таким вот жалким образом? Неужели тот, кто столь горделиво бороздил моря Мэйна на правах победителя, безвестно сгинет в какой-нибудь мутной заводи? На поиски, к этой минуте уже, наверное, предпринятые Хейтоном и другими пиратами, больших надежд Блад не возлагал. Он был уверен: парни перетряхнут весь остров, но ничуть не сомневался и в том, что когда они доберутся сюда, будет уже слишком поздно. Возможно, им удастся выследить и жестоко покарать этих вероломных предателей, но ему это уже никак не поможет.

* * *

От страстного желания вырваться на свободу у Питера Блада помутилось сознание, отчаяние подавило силу мысли. У него было около тысячи преданных людей здесь, на Тортуге, почти под рукой, но он связан и беспомощен, и вскоре будет передан в руки мстительного кастильца. Эта навязчивая, постоянно повторяющаяся мысль стучала в висках, маятником раскачивалась в мозгу, мешая сосредоточиться...

Затем Бладу все же удалось в какой-то мере овладеть собой. Мозг снова прояснился, заработал крайне четко и деятельно. Каюзака он прекрасно знал — то был корыстный негодяй, готовый кого угодно предать ради собственной выгоды. И другой, вероятно, не лучше, а возможно, даже и хуже, поскольку его-то толкнула на это дело одна только жажда наживы — деньги, обещанные испанцами за голову «дона Педро Сангре». Из этого Блад заключил, что слишком рано отказался от попытки перебить цену, озвученную испанским адмиралом. Как знать, быть может, еще удастся подкинуть этим грязным псам яблоко раздора, из-за которого они, возможно, в конце концов перегрызут друг другу глотки.

Какое-то время он молча разглядывал этих двоих, с злобной алчностью следивших за тем, как падают кости, и раз за разом делавших ничтожные ставки из той кучки золота и безделушек, которые они вытащили из его карманов и на которые теперь играли, коротая время в ожидании назначенного часа.

А затем Блад вдруг услышал свой собственный твердый голос, нарушивший тишину:

— К чему вам играть на какие-то полпенса, когда у вас чуть ли не под носом — целое состояние?

— Ты опять за свое? — прорычал Сэм.

Но капитан невозмутимо продолжал:

— К той сумме, которую назначил за мою голову испанский адмирал, я готов добавить еще сорок тысяч песо. Предлагаю вам — в обмен на мою жизнь — пятьдесят тысяч.

Сэм, вскочивший было в порыве гнева, внезапно застыл как вкопанный — столь грандиозной представлялась озвученная Бладом сумма.

Каюзак тоже поднялся, и теперь они оба стояли друг против друга по разные стороны стола, дрожа от возбуждения, которое еще не нашло у них выхода, но тем не менее читалось во внезапной бледности их лиц и расширившихся зрачках. Наконец француз нарушил молчание.

— Dieu de Dieu![1] Пятьдесят тысяч песо! — он произносил слова медленно, словно желая запечатлеть эти цифры в собственном сознании и сознании своего спутника. — Пятьдесят тысяч песо! — повторил он. — По двадцать пять тысяч на брата! Черт подери! Да ради таких денег можно и рискнуть, а, Сэм?

— Согласен, сумма огромная, — задумчиво произнес Сэм, но затем словно прозрел: — Ну и что с того? Это ведь всего лишь слова. Кто им поверит? Как только он окажется на свободе, кто заставит его заплатить, да и потом, он...

— О нет, я заплачу́, — сказал Блад. — Каюзак подтвердит: я всегда плачу́, если о чем-то договорился... Сами подумайте: такие деньги, даже если их поделить, сделают каждого из вас богачом, позволят до конца ваших дней жить на широкую ногу. Mucho viño, muchas mugeres![2] — рассмеявшись, добавил он по-испански. — Ну же, сделайте наконец правильный выбор!

---

[1] Боже правый! (фр.)

[2] Много вина, много женщин! (исп.)

— Можно бы и рискнуть, — увещевающе пробормотал Каюзак. — Еще нет и десяти, к полуночи мы умотали бы так далеко, что наши испанские друзья и днем с огнем нас не сыскали бы.

Но Сэма было не переубедить. Он размышлял. И все же, сколь соблазнительной ни была приманка, он никак не мог решиться принять это предложение, видя в нем двойную опасность. Связавшись с испанцами, теперь он не осмеливался отступиться от них: ему казалось, что тогда его неминуемо ждет гибель, либо от рук разъяренных испанцев, которых он предаст, либо от рук самого Блада, который, если его освободить, естественно, ничего им не простит. Уж лучше было взять верные пять тысяч песо, на которые можно было бы какое-то время припеваючи жить в относительной безопасности, чем, возможно, получить двадцать пять тысяч, несущие смертельную опасность.

— Я же сказал: этому не бывать! — сердито воскликнул он. — И давай, капитан, чтобы больше — ни слова! Я ведь предупреждал тебя, разве нет?

— Mordieu! — прохрипел Каюзак. — А я говорю: сто́ит рискнуть! Еще как сто́ит!

— Тебе легко верещать — сам-то ты ничем не рискуешь! Испанцы даже не знают, что ты — со мной в этом деле. Чего бы тебе, приятель, и не порассуждать о рисках, на которые и идти-то не придется!.. А для меня вот все обстоит иначе. Если я не выполню своего обещания, дон Мигель пожелает узнать, почему так случилось. Да и потом, у нас с ним уговор, а я человек слова. Так что давай на этом данный вопрос и закроем.

Свирепый и решительный, Сэм перегнулся через стол, и Каюзак, бросив хмурый взгляд на его непреклонное костлявое лицо, с досадой вздохнул и снова опустился на табурет.

Блад отчетливо ощущал, что в душе француза клокочет ярость. Сколь бы горячо ни хотелось этому продажному негодяю отомстить капитану, завладеть золотом своего врага было для него соблазнительнее, чем лишать Блада жизни, и нетрудно было догадаться, какую он испытывал досаду, видя, что возможность крупной наживы уплывает у него из-под носа, только потому что для его компаньона это сопряжено с риском.

Какое-то время между этой парочкой негодяев не было произнесено ни единого слова. Блад тоже молчал, полагая, что, добавив что-либо к уже сказанному, он ничего сейчас не добьется. Впрочем, он несколько воспрянул духом, ибо видел, что вбить клин между напарниками ему все же удалось.

Когда же он наконец нарушил царившую в комнате гнетущую тишину, его слова, казалось, никак не относились к сложившейся ситуации.

— Хотя вы, судя по всему, и твердо вознамерились продать меня испанцам, это еще отнюдь не причина для того, чтобы я тут умер от жажды. У меня уже горло — все равно что соленые пруды Салтатюдоса, ей-богу.

И хотя мучившая Блада жажда служила для него лишь предлогом для достижения поставленной цели, все же сама эта жажда была вполне реальной, и его похитители страдали от нее не менее сильно. Воздух в комнате, дверь

и окно которой были забраны решетками, был нестерпимо удушливым. Проведя рукой по взмокшему лбу, Сэм смахнул крупные капли пота.

— Проклятье! Ну и жарища! — пробормотал он. — Я бы и сам с радостью чего-нибудь выпил.

Каюзак облизнул пересохшие губы.

— А тут в доме ничего нет? — спросил он.

— Ни капли. Но отсюда до «Короля Франции» два шага. — Сэм поднялся на ноги. — Схожу-ка я за вином — сейчас принесу бурдюк.

Капитан Блад почувствовал, как в груди его, неистово забив крыльями, воспарила надежда.

Вот для того-то он и затеял всю эту игру. Зная пристрастие этих мерзавцев к выпивке, зная, что силой внушения будет нетрудно пробудить в них желание потворствовать данной слабости, он надеялся, что в итоге один из них отправится за бутылкой и что этим человеком окажется именно Сэм. А уж с Каюзаком-то — в этом Блад даже не сомневался — достичь согласия не составит труда.

И тут Каюзак, безмозглый кретин, все загубил своим чрезмерным рвением. Тоже вскочив, он вскричал:

— Бурдюк вина! Конечно, неси! Да поскорее, а то мне и самому не терпится промочить горло.

Голос его дрожал от волнения, и уши Сэма эту дрожь уловили. Замерев на месте, он окинул напарника внимательным взглядом, прочитав по лицу этого шельмеца все его коварные намерения.

Ухмыльнувшись, Сэм медленно произнес:

— По зрелом размышлении, думаю, будет лучше, если сходишь ты, а я покараулю.

Каюзак побледнел, рот его приоткрылся. «Трижды кретин!» — выругался про себя Блад.

— Ты что — не доверяешь мне? — проворчал француз.

— Да нет... не то чтобы... — последовал уклончивый ответ. — Но останусь именно я.

— Ah, ça!..[1] — сердито воскликнул Каюзак. — Что ж, если ты мне не доверяешь, то знай: я тебе — тоже!

— А тебе и незачем мне доверять. Тебе и так известно, что ни на какие его посулы я не куплюсь. Потому-то именно я и должен остаться.

Каюзак смерил компаньона долгим взглядом, потом пожал плечами и отвернулся, словно согласившись с его доводами. Несколько мгновений француз о чем-то размышлял, прищурив глаза, затем, похоже, принял решение.

— Ладно, схожу я! — объявил он и пулей вылетел из комнаты.

Когда дверь за Каюзаком захлопнулась, Сэм вернулся на свое место за столом. Блад прислушивался к быстро удалявшимся шагам ровно до тех пор, пока они не затихли вдали, а затем вдруг рассмеялся так громко, что его страж даже вздрогнул.

[1] Вот, значит, как!.. (фр.)

— Что тебя так позабавило, капитан? — спросил он, резко вскинув голову.

Блад предпочел бы иметь дело с Каюзаком, с которым его план наверняка бы сработал. Добиться же чего-то от Сэма, боявшегося испанцев, как огня, представлялось маловероятным, и, тем не менее, следовало использовать любой, даже самый призрачный шанс.

— Да твое безрассудство, черт подери! — ответил капитан Блад. — Караулить меня ты ему не доверил, но скрыться из виду позволил...

— И какой от этого вред?

— Он может вернуться уже не один, — загадочно произнес капитан.

— Разрази меня гром! — воскликнул Сэм. — Если он попробует выкинуть что-то подобное, я пристрелю его прямо тут, без малейших раздумий! С такими ловкачами у меня разговор короткий.

— Тебе в любом случае, Сэм, следовало бы от него избавиться. Мне ли не знать, какой это вероломный мерзавец? Сегодня ты встал у него на пути, а он не из тех, кто такое прощает. Да ты и сам должен был бы уже это понять — видишь же, как он предал меня? Но ты почему-то так ничего и не уразумел. Вроде у тебя и есть глаза, Сэм, но видишь ты ими не больше, чем слепой щенок. Да и башка у тебя вроде тоже есть, но мозгов в ней не больше, чем в дыне, иначе ты и не подумал бы колебаться между мной и испанцами.

— Ну вот, ты опять начинаешь!..

— Да, опять — предлагаю тебе пятьдесят тысяч песо и ручаюсь честью, что заплачу́ эту сумму. Кроме того, даю слово, что не затаю против тебя зла и не стану искать мести. Даже Каюзак подтвердил, что мое слово — кремень, — уж он-то в любой момент готов принять мое предложение.

Тут Блад намеренно сделал паузу. Каналья-буканьер какое-то время пристально смотрел на него в полном молчании; лицо Сэма посерело, на лбу выступили новые капли пота. Затем он вдруг прохрипел:

— Говоришь, пятьдесят тысяч песо?

— Именно — пятьдесят тысяч, и не реалом меньше. Зачем тебе делиться с этим французишкой? Думаешь, он бы с тобой поделился, будь он в состоянии на что-то влиять? Скорее он забрал бы себе все без остатка, воткнув нож тебе в спину! Ну же, Сэм, смелее, до счастья — рукой подать! И к черту твои страхи перед испанцами, забудь о них раз и навсегда! Испания — призрак! Я защищу тебя от нее. На борту моего флагманского корабля ты будешь в полной безопасности.

Негодяй снова задумался.

— Пятьдесят тысяч... Но и риск больно уж велик...

— Да риска нет вообще никакого, — продолжал убеждать его Блад. — Его и вполовину нет от того, которому ты подвергнешь себя, когда выяснится, что именно ты продал меня испанцам. Рано или поздно правда обязательно выйдет наружу, и тогда, парень, живым с Тортуги тебе уже не уйти. И даже если это тебе вдруг каким-то чудом удастся, мои пираты разыщут тебя на краю света.

— Но откуда они про меня узнают?

— Найдется кто-нибудь, кто им донесет, — так всегда бывает. Ты сглупил, что взялся за эту работу, но еще больше сглупил, когда выбрал себе в напарники Каюзака, который на каждом углу тут кричал, что обязательно со мной поквитается. Как думаешь, на кого в первую очередь падет подозрение? Конечно же, на него! А когда мои парни схватят его — а они его непременно схватят, — он тут же выдаст тебя; это так же верно, как дважды два четыре!

— Черт подери, а ведь в этом ты прав! — воскликнул Сэм, когда все эти соображения, совсем не приходившие ему на ум, проникли наконец в его сознание.

— Как и во всем остальном, Сэм, даже не сомневайся.

— Подожди! Дай мне подумать!

Капитан Блад снова мудро рассудил, что на данный момент сказал достаточно: в разговоре с Сэмом он и так достиг большего успеха, чем смел надеяться.

* * *

Незаметно, одна за другой, бежали минуты. Сэм, положив локти на стол и подперев голову руками, сидел неподвижно, погруженный в раздумья. Когда он наконец поднял глаза, и желтоватый свет лампы снова упал на его лицо, Блад увидел, что оно бледное и блестит от пота. «Знать бы еще, — подумал пленник, — подействовал ли яд, по капле влитый мною в его тупую башку?» Внезапно Сэм вытащил из-за пояса пистолет и осмотрел затравку. «Вот это уже неспроста», — сказал себе Блад, особо отметив тот факт, что обратно за пояс Сэм оружие не убрал. Он продолжил возиться с пистолетом; желтоватое лицо было мрачно-сосредоточенным, грубые губы твердо сжаты.

— Ну, и что ты решил, Сэм? — осторожно спросил капитан Блад.

— Я не предоставлю этому французскому ублюдку шанса одурачить меня, — ответил громила.

— И на этом — всё?

— Остальное может и подождать.

Капитан Блад с трудом обуздал желание продолжить свои подстрекательства.

В полной тишине, нарушаемой только тиканьем лежавших на столе часов капитана, время тянулось бесконечно. Наконец где-то в проулке послышался звук шагов, сначала слабый, но становившийся все более и более громким по мере приближения. Через несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге возник Каюзак с большим черным бурдюком в руках.

Сэм уже стоял на ногах по другую сторону стола, заложив правую руку за спину.

— Долго же тебя не было! — проворчал он. — С чего бы такая задержка?

Каюзак был бледен и тяжело дышал, будто возвращался бегом. Блад, а мозг его в эти минуты функционировал с поразительной четкостью, тотчас

же понял, что француз и не думал бежать. Поискав иную причину такого его состояния, капитан решил, что оно вызвано страхом или же возбуждением.

— Торопился как мог, — пробормотал Каюзак. — Просто в горле так пересохло, что подзадержался малёк, чтобы утолить жажду. Вот твое вино.

Он поставил бурдюк на стол.

И в тот же миг, почти в упор, Сэм выстрелил ему в висок.

В клубах едкого дыма, вынудившего его закашляться, взору Блада предстала картина, запечатлевшаяся в его памяти на всю жизнь. Каюзак лежал ничком на полу с судорожно подергивающимися конечностями, в то время как Сэм, перегнувшись через стол, смотрел на него со зловещей ухмылкой на зверином лице.

— С вами, французскими свиньями, уж лучше перестраховаться, — объяснил он свой вероломный поступок, словно убитый все еще мог его слышать.

Положив пистолет на стол, Сэм потянулся за бурдюком и, запрокинув голову, влил в свою пересохшую глотку изрядное количество вина. Затем шумно причмокнул губами, опустил бурдюк на стол и скривился, словно почувствовав во рту горький привкус. Внезапно страшная догадка сверкнула в его мозгу, в глазах отразился испуг. Он снова схватил бурдюк и понюхал вино, громко, словно недоумевающая собака, втягивая ноздрями воздух. Лицо его посерело, округлившимися от ужаса глазами он уставился на Блада и жутким голосом сумел выдавить из себя одно-единственное слово:

— Manzanilla[1]!

Затем он резко развернулся и, изрыгая ужасные, леденящие кровь богохульства, швырнул бурдюк со всем остававшимся в нем вином в распростертое на полу тело.

В следующую секунду он скорчился от боли, схватившись руками за живот. Затем, собрав последние силы и уже не думая ни о Бладе, ни о чем другом, кроме сжигавшего его внутренности огня, пошатываясь, пересек комнату и широко распахнул дверь.

Эти потуги, казалось, лишь усилили агонию Сэма. Жуткая судорога согнула его тело пополам, его колени почти уперлись в грудь, и слетавшая с уст брань перешла в нечленораздельный, звериный вой. Наконец он рухнул на пол и, корчась от боли, принялся неистово, мучительно извиваться.

Капитан Блад окинул его мрачным взглядом. Он был потрясен, но ничуть не озадачен.

Во всем этом не было ни малейшей загадки. Никогда еще поэтическое возмездие не настигало пару злодеев столь к месту и быстро. Каюзак добавил в вино сок манцинеллы — ядовитого яблока, — раздобыть который на Тортуге не составляет труда. Дабы получить возможность свободно заключить с Бладом сделку и забрать себе весь предложенный капитаном выкуп, француз с помощью этого яда убил своего сообщника в тот самый момент, когда Сэм — с таким же намерением — убил его самого.

[1] Вид сухого хереса, крепленое вино (исп.)

Капитану Бладу оставалось поблагодарить за спасение не только свой острый ум, но и — в куда большей степени — свою удачу.

Постепенно и медленно, как казалось взиравшему на все это пленнику, хотя на самом деле очень быстро, борьба отравленного человека за жизнь ослабевала. Вскоре он и вовсе перестал дергаться, его дыхание стало прерывистым. Теперь он совершенно неподвижно лежал на пороге распахнутой двери.

Капитан Блад уже не обращал на него внимания. Напрягшись, он попытался было порвать путы, но быстро осознал всю тщетность своих усилий. Впрочем, через несколько мгновений он услышал стук в дверь, что вела в нишу, и вспомнил о женщине, которая, сама того не желая, заманила его в эту ловушку: судя по всему, звук выстрела и вопль Сэма побудили ее к действию.

— Вышибай дверь! Здесь теперь только я, — прокричал ей капитан Блад.

К счастью, то была скорее даже и не дверь, а тонкая дощатая перегородка, которая тут же поддалась, едва женщина подналегла на нее плечом. Растрепанная, с одичалым взором, она влетела в комнату и, резко остановившись, закричала при виде представшей ее взору картины.

— Довольно уже голосить, дорогуша, — резким тоном, чтобы сразу же привести ее в чувство, произнес капитан Блад. — В них теперь жизни не больше, чем в досках вот этого стола, а мертвецы никому еще не причиняли зла. Вон там валяется нож. Просто просунь его под эти чертовы ремни.

Через несколько мгновений, избавленный от пут, он вскочил на ноги, отряхивая свой помятый плюмаж. Затем подобрал шпагу, пистолет, часы и табакерку, а золото и драгоценности сложил на столе в одну небольшую кучку.

— Уверен, это поможет тебе вернуться в родные края, моя девочка. Ведь где-то же в этом мире он есть — дом, в котором ты выросла и где тебя ждут?

Она разрыдалась. Блад надел шляпу, поднял с пола свою трость черного дерева, пожелал женщине спокойной ночи и вышел в проулок.

Десять минут спустя он столкнулся на молу с возбужденной толпой пиратов с горящими факелами в руках. То была поисковая партия, отправившаяся во главе с Волверстоном и Хагторпом прочесывать город. Увидев капитана, Волверстон свирепо зыркнул единственным глазом.

— Где, черт возьми, ты шлялся?

— Да так, смотрел, улыбается ли Фортуна тем, кто желает обогатиться за счет предательства, — ответил капитан Блад.

САНТА-МАРИЯ

Пиратская флотилия из пяти высоких кораблей уютно стояла на якоре в уединенной бухте на западном побережье Дарьенского залива. На расстоянии кабельтова, за слегка вздымающимися прозрачными водами, искрившимися в лучах утреннего солнца, простирался широкий полумесяц серебристо-серого песка; за ним возвышался лес, ярко-зеленый после прошедших дождей, крутой и массивный, словно утес.

У подножия этого леса, среди пламенеющих рододендронов, выступавших вперед этакими аванпостами джунглей, стояли палатки и грубые бревенчатые хижины, покрытые листьями пальметто, — лагерь пиратов в этот сезон кренгования[1], переоборудования и запасания мясом жирных черепах, в изобилии водившихся в окрестностях.

Пиратское войско численностью около восьмисот человек — разношерстная толпа, в основном состоявшая из англичан и французов, но включавшая в себя также и голландцев, и даже несколько вест-индских полукровок — нахлынуло туда, словно растревоженный улей. Там были буканьеры-охотники с Эспаньолы, лесорубы из Кампече, бродячие моряки, сбежавшие с плантаций каторжники и объявленные вне закона бандиты из Старого и Нового Света.

Тем ясным апрельским утром из джунглей в самую гущу этой толпы вышли трое дарьенских индейцев; тот из них, что шел первым, отличался высоким ростом, внушительной внешностью, широкими плечами и длинными руками. На нем были панталоны из мохнатой, недубленой шкуры, и красное одеяло, служившее ему накидкой. Обнаженная грудь была испещрена черными и красными полосами, в носу индеец носил свисавшую до верхней губы пластину из чеканного золота в форме полумесяца, в ушах — массивные золотые кольца. Из его гладких черных волос торчал пучок орлиных перьев, а вооружен он был копьем, на которое опирался, словно на посох.

---

[1] *Кренгование* — придание судну крена без выхода киля из воды в целях осмотра, очистки, окраски и исправления подводной его части. Само накренение в этом случае производится перемещением грузов с борта на борт или же с помощью специального воротового устройства на берегу.

Индеец спокойно, без малейшей робости подошел к изумленно уставившимся на него пиратам и на примитивном испанском заявил, что он касик[1] племени гуанахани и что испанцы, мол, называют его Бразо Ларго. Вождь попросил, чтобы корсары отвели его к их капитану, которого он также называл на испанский лад — доном Педро Сангре.

Касика провели на борт «Коллин», флагманского корабля, где в капитанской каюте он был любезно принят элегантно одетым по последней испанской моде худощавым джентльменом высокого роста, чье решительное лицо с резкими чертами и глубоким медно-коричневым загаром вполне могло бы, если бы не голубые глаза, сойти за лицо индейца из дарьенских джунглей. Бразо Ларго без лишних слов, к чему его вынуждало ограниченное знание испанского языка, перешел прямо к делу.

— Usted venir con migo. Yo llevar usted mucho oro Español. Caramba! — сказал он глубоким, гортанным голосом. Дословно это переводится так: «Ты идти со мной. Я тебе давать много испанский золото». Бранное слово «Caramba!»[2], вероятно, добавлено исключительно для большей экспрессии.

В голубых глазах Блада вспыхнул интерес, и на беглом испанском, которым он овладел еще в те далекие годы, когда его разрыв с цивилизацией не был столь полным, капитан, рассмеявшись, ответил:

— Ты пришел как нельзя кстати. Caramba! И где же находится это испанское золото?

— Там! — касик неопределенно указал куда-то на запад. — Десять дней ходу.

Лицо Блада помрачнело. Вспомнив поход Моргана через перешеек, он наугад спросил:

— Панама?

Но индеец покачал головой, и на его сурово-задумчивом лице отразилось некоторое нетерпение.

— Нет. Санта-Мария, — и вождь принялся неуклюже объяснять, что туда, к реке с таким же названием, свозят все золото, добываемое в окрестных горах, и уже оттуда его переправляют в Панаму. Как раз в это время года золота скапливается очень много, но скоро его увезут. Если капитан Блад хочет заполучить это золото, а сейчас его там страсть сколько — это Бразо Ларго знает наверняка, — отправляться нужно сейчас же.

В искренности и доброжелательности касика капитан Блад не усомнился ни на секунду. Горькая ненависть к Испании, тлевшая в груди всех индейцев при испанском правлении, делала их инстинктивными союзниками любого врага Испании.

---

[1] *Касик* (исп. cacique). Культурно-исторический термин. Первоначально так назывались вожди на языке таино, коренного населения Антильских островов аравакской группы, которые первыми из индейцев вступили в контакт с европейцами. Позднее испанские колонизаторы стали использовать это слово для всех индейских правителей.

[2] Черт возьми! (исп.)

Присев на рундук под кормовыми окнами, Блад уставился на залитые солнцем воды лагуны.

— Сколько на это потребуется людей? — спросил он наконец.

— Сорок десять, может, пятьдесят десять, — сказал Бразо Ларго, из чего капитан заключил, что он имеет в виду четыреста или пятьсот.

Блад подробно расспросил вождя о характере местности, которую им предстояло пересечь, и об укреплениях, защищавших Санта-Марию. Бразо Ларго представил все в самом выгодном свете, сгладив все трудности и пообещав не только лично направлять корсаров, но и предоставить носильщиков для переноски их снаряжения. И все это время, со взволнованным взглядом сверкающих глаз, он не переставал повторять капитану Бладу:

— Много золото. Много испанский золото. Caramba!

— Тебе так хочется, чтобы мы туда отправились, друг мой? — спросил Блад, «прощупывая» вождя. — Похоже, ты крепко ненавидишь испанцев.

— Ненавидишь! — повторил Бразо Ларго. Его губы скривились, и он издал гортанные звуки: «Ху! Ху!», словно подтверждая: «Да! Да!»

— Ладно, мне нужно подумать.

Кликнув боцмана, Блад препоручил касика его заботе, наказав устроить для индейца какие-нибудь развлечения.

С квартердека «Коллин» тотчас же протрубили сигнал к сбору на военный совет, который состоялся после того, как все те, кому было положено на нем присутствовать, поднялись на борт.

* * *

Собравшись за дубовым столом в адмиральской каюте, они образовали неоднородную группу, представлявшую все слои разношерстного воинства, расположившегося лагерем на берегу. Блад, занявший место во главе стола, с длинными локонами черных волос, доходивших до изящного кружевного воротничка, в мрачном богатстве своего черного с серебром костюма выглядел настоящим испанским grandee[1]; юный Джерри Питт, с простодушным лицом, в простой серой домотканой одежде, походил на пуританина Западной Англии, каковым он, впрочем, и был; Кристиан, крепко сбитый, с суровым лицом, носивший эффектную одежду без всякого изящества, казался простым, прямым и откровенным капитаном удачи, каковым ему пришлось стать; Волверстон, исполинского сложения, с бронзовой кожей и живописно неопрятной внешностью, с единственным глазом, в котором полыхала свирепость, выходившая далеко за рамки его натуры, был, пожалуй, единственным, чья наружность действительно соответствовала выбранному им роду занятий; Маккетт и Джеймс в целом походили на моряков; наконец, Ибервиль, командовавший французским контингентом и способный посоперничать в элегант-

[1] Гранд; вельможа (англ.)

Юный Джерри Питт, с простодушным лицом, в простой серой домотканой одежде, походил на пуританина Западной Англии, каковым он, впрочем, и был...

ности с Бладом, обликом и манерами больше походил на изысканного версальца, чем на вожака отчаянных и кровавых пиратов.

Адмирал — ибо таково было звание, коим к этому дню уже удостоили капитана Блада его сторонники, — изложил им предложение Бразо Ларго, а затем добавил, что оно пришлось как нельзя кстати, так как на ближайшее время у них все равно нет никаких планов.

Возражения, вполне естественно, прозвучали со стороны тех, кто был, прежде всего, моряками — от Питта, Маккетта и Джеймса. Каждый из них по очереди рассказал о трудностях и опасностях, сопутствующих длительным сухопутным экспедициям. Кристиан и Волверстон, полные решимости ударить испанцев по самому больному месту, одобрили предложение, напомнив совету об успешном набеге Моргана на Панаму. Ибервиль, французский гугенот, объявленный вне закона и изгнанный с родины за его веру и, главным образом, стремившийся резать глотки испанским фанатикам, где бы и когда бы это ни было возможно, также высказался «за» данное предприятие тоном столь же мягким и нежным, сколь пылкими и кровожадными были его слова.

Словом, так вышло, что совет разделился поровну, и решить вопрос теперь должен был голос Блада. Но адмирал колебался и в конце концов постановил: пусть решение примут сами пираты. Он спросит, есть ли желающие, и если их число достигнет необходимого, сам поведет их через перешеек, оставив остальных на кораблях.

Капитаны одобрили данное предложение, и все немедленно сошли на берег, прихватив с собой индейцев. Уже там, на берегу, Блад обратился

к пиратам с речью, в которой объяснил, что это за экспедиция, и беспристрастно изложил все «за» и «против».

— Я и сам, — объявил он, — отправлюсь туда, если наберется достаточно желающих, — затем, как некогда Писарро в подобной же ситуации, он выхватил шпагу и острием прочертил на песке линию. — Пусть те, кто готов последовать за мной через перешеек, встанут с наветренной стороны от этой линии.

Добрая половина корсаров шумно откликнулась на его приглашение. Среди волонтеров были все до единого буканьеры[1] с Эспаньолы, к тому времени уже ставшие опытными морскими бойцами и самые храбрые из всего этого отважного воинства, а также большинство лесорубов из Кампече, для которых болота и джунгли не представляли ни малейших опасностей.

При подсчете их оказалось четыреста двадцать человек. Остальные, державшиеся в стороне, в основном были парнями, которые по воспитанию или по старой привычке являлись приверженцами моря и вдали от своих кораблей начинали сомневаться в собственных силах.

Бразо Ларго с довольной улыбкой на медно-красном лице ушел собирать людей для переноски грузов и на следующее утро вернулся в лагерь с полусотней дюжих дикарей. Искатели приключений уже были готовы. Они разделились на три роты, каждой из которых командовали соответственно Волверстон, Ибервилль, снявший свои безделушки и облачившийся в кожаные одежды охотника, и закаленный боец по имени Кристиан.

Так все и отправились в путь: впереди носильщики-индейцы, тащившие наиболее тяжелое снаряжение — палатки, шесть фальконетов[2], банки для огненных шаров, изрядный запас провизии (в основном, пончики и длинные, узкие куски сушеного черепашьего мяса) и медикаментов. Корабельные горны протрубили прощальное напутствие, а оставшийся за главного Питт, как только искателей приключений поглотили джунгли, чисто ради показухи отсалютовал из всех орудий.

Спустя десять дней, преодолев около ста шестидесяти миль, пираты разбили лагерь на незначительном удалении от пункта назначения. Самой тяжелой выдалась первая часть путешествия, когда приходилось идти через отвесные горы, на которые даже эти крепкие и выносливые мужчины с трудом взбирались с одной стороны и почти с таким же трудом спускались — с другой. На седьмой день они немного передохнули в большой

[1] Здесь — в прямом смысле этого слова: охотники на одичавших коров и свиней на Больших Антильских островах. *Буканьеры* (фр. boucanier) получили свое название от слова «букан» (фр. boucan) — решетки из сырого зеленого дерева, на которой они коптили мясо, долго не портившееся в условиях тропиков (само мясо, приготовленное таким образом, также зачастую называли «букан»).

[2] *Фальконет* (итал. falconetto, англ. falconet — «молодой сокол») — чугунное или медное малокалиберное артиллерийское орудие, состоявшее на вооружении различных армий и флотов в XVI–XVIII веках.

индейской деревне, где жил верховный вождь всех дарьенских индейцев, который, узнав от Бразо Ларго о цели экспедиции, оказал корсарам самый радушный прием.

Состоялся обмен подарками: ножами, ножницами и бусами — с одной стороны, против бананов и сахарного тростника — с другой; и, получив подкрепление в лице еще нескольких десятков индейцев, пираты двинулись дальше. На следующий день они подошли к реке Санта-Мария, по которой и отплыли флотилией примерно из семидесяти каноэ, предоставленных индейцами.

Но этот способ передвижения поначалу не приносил обещанной, казалось бы, легкости. Весь тот день и день следующий они были вынуждены чуть ли не через каждые тридцать — сорок метров выбираться из каноэ и на руках перетаскивать лодки через отмели, обломки скальной породы или упавшие поперек канала деревья.

В конечном счете навигация наладилась, и вскоре, когда река стала широкой и глубокой, индейцы отбросили шесты, с помощью которых до сих пор управляли каноэ, и взялись за гребки и весла.

И вот наконец ночью они подошли к Санта-Марии на расстояние выстрела из фальконета. Город стоял на берегу реки в полумиле за следующим поворотом.

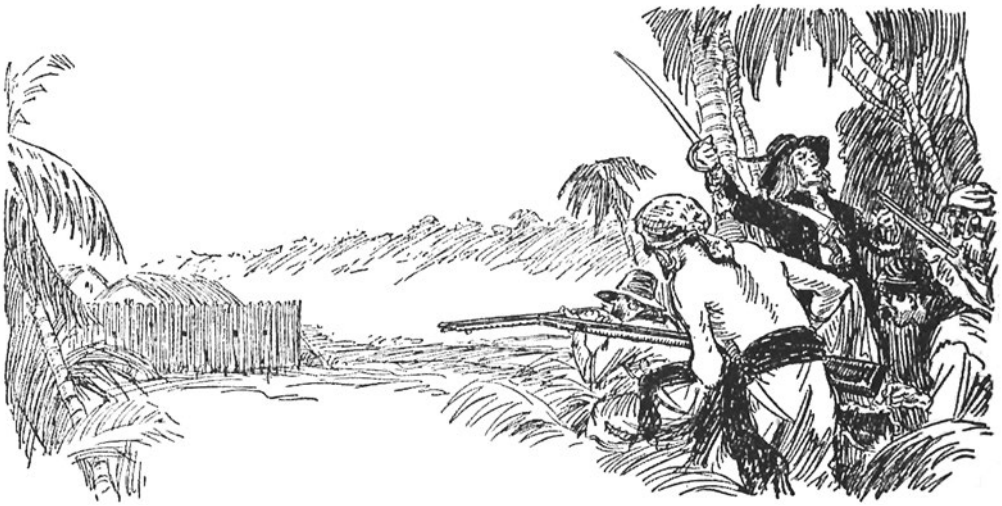
* * *

Пираты приступили к выгрузке оружия, крепко привязанного к внутренней части каноэ, замко́в, патронных ящиков и рожков с порохом, надежно зачехленных и натертых воском. Затем, не осмеливаясь развести костер, чтобы не выдать своего присутствия, выставили часовых и улеглись отдыхать до рассвета.

Блад надеялся напасть на испанцев настолько внезапно, чтобы захватить их город, прежде чем они успеют занять оборонительную позицию, и, таким образом, одержать бескровную победу. Эта надежда, однако, развеялась уже на заре, когда отдаленный мушкетный залп, вслед за которым из города донесся яростный бой барабана, дал пиратам понять, что они подкрались к испанцам не так незаметно, как им казалось.

Честь возглавить авангард выпала Волверстону, и около сорока его парней вооружились зажигательными снарядами — неглубокими цилиндрическими банками, наполненными смолой и порохом, — тогда как остальные потащили за собой фальконеты, находившиеся под особым присмотром Огла, канонира с «Коллин». Следом шла рота Кристиана; Ибервиль со своей замыкал шествие.

Пираты быстрым шагом прошли через лес к самому краю саванны и оттуда увидели свой Эльдорадо, до которого оставалось не более пары фарлонгов.



Блад приказал выдвигать фальконеты вперед, решив пробить брешь в северо-восточном углу частокола, где штурмовой отряд был бы в наименьшей степени досягаем для артиллеристов форта.

Его внешний вид был разочаровывающим. Это был не красивый город Новой Испании, как они ожидали, а просто скопление крытых диким тростником и листьями королевской пальметто одноэтажных деревянных построек, сгрудившихся вокруг церкви и защищенных фортом. Это место существовало исключительно как пункт приема золота, добываемого в окрестных горах, и, не считая гарнизона и рабов, работавших на золотых приисках, жителей там было совсем мало.

Добрая половина площади, занимаемой городом, была оккупирована глинобитным фортом, построенным лицом к реке, но сбоку окаймленным саванной. Для дополнительной защиты от крайне враждебно настроенных дарьенских индейцев Санта-Мария была окружена прочным частоколом высотой около двенадцати футов, в котором через небольшие промежутки были проделаны бойницы для стрельбы из мушкетов.

Неистово бившие в городе барабаны смолкли, но затем до пиратов, решивших, прежде чем выйти на открытое пространство, провести рекогносцировку с опушки леса, донесся гул людского движения. На парапете форта возникла небольшая группа людей в морионах[1] и латах. Над частоколом, подрагивая, поднималась тонкая струйка дыма, — знак того, что испанские мушкетеры находятся на позициях с уже тлеющими фитилями.

[1] *Морион* (исп. morrión) — европейский боевой шлем эпохи Ренессанса с высоким гребнем и сильно загнутыми спереди и сзади полями. Название происходит от испанского morra — буквально: «макушка», «темя».

Блад приказал выдвигать фальконеты вперед, решив пробить брешь в северо-восточном углу частокола, где штурмовой отряд был бы в наименьшей степени досягаем для артиллеристов форта, и потому Огл установил батарею там, где выступающий отрог леса, находившийся слева от него, обеспечивал ему прикрытие. Но тут вдруг задул легкий восточный бриз, понеся дым от зажженных пиратами фитилей и тем самым выдавая испанским мушкетерам их местонахождение. Пули уже начали с треском разрывать ветки вокруг пиратов, когда Огл наконец открыл огонь из своих пушек. Со столь небольшого расстояния не составляло особой проблемы пробить брешь в деревянном частоколе, который возводился не для того, чтобы противостоять такому оружию. В эту брешь с целью удержать ее и устремилась, но как-то суматошно и беспорядочно, словно и не реагируя на приказы офицеров, первая группа испанских солдат. Новый сокрушительный залп артиллерии Огла разметал обороняющихся, и Блад приказал Волверстону идти в атаку.

— Огненные шары — в авангард! Как подойдете поближе — рассеивайтесь и не лезьте на рожон! Да хранит вас Бог, Нед! Вперед!

Авангардная группа бросилась в атаку бегом и преодолела уже половину открытого пространства, прежде чем испанцы обрушили на нее сколь-либо значительный огонь. Атакующие тотчас же припали к земле и отлежались в низкорослой траве до тех пор, пока не утих бешеный мушкетный огонь, после чего снова вскочили и стремительно, пользуясь теми мгновениями, которые требовались испанцам на перезарядку оружия, помчались дальше. Тем временем Огл развернул фальконеты вправо и беспрепятственно послал в город первое пятифунтовое ядро с фланга наступающего на форт отряда.

Семь парней Волверстона остались лежать на земле там, где и выжидали, пока пройдет первый шквальный огонь испанцев, еще десять погибли во время второй атаки, но теперь Волверстон был уже у пролома. За стену полетело множество огненных шаров, сеявших смерть и ужас, и прежде чем испанцы смогли оправиться от вызванного этими снарядами замешательства, грозный враг с жуткими воплями ринулся на них через брешь в облаке дыма и пыли.

Тем не менее испанский командир, мужественный, но лишенный воображения офицер, некто дон Доминго Фуэнтес, столь эффективно расставил людей, что в течение четверти часа сражение в проломе яростно раскачивалось взад и вперед. Но в битве холодным оружием во всем мире не было войск, которые при хоть сколь-либо близкой к равенству численности могли бы долго противостоять этим отважным, сильным, совершенно безрассудным парням.

Мало-помалу, но неумолимо и неизбежно, бранящиеся, вопящие испанцы были оттеснены Волверстоном, которого теперь поддерживали основные силы пиратского войска под командованием самого Блада. Испанцев, сражавшихся со свирепой яростью отчаяния, отбрасывали все дальше и дальше, и в какой-то момент ослабленная линия их сопротивления внезапно оборвалась. Разбитые

и разбросанные кто куда, они все же сумели перегруппироваться и, благодаря бою, навязанному противнику тыльным отрядом, укрыться в форте, оставив во владение пиратам город.

* * *

Внутри форта, с двумя сотнями деморализованных выживших из гарнизона в триста солдат, дон Доминго Фуэнтес провел военный совет и вскоре выслал капитану Бладу флаг перемирия и записку, в которой выражал готовность сдаться с военными почестями. На это Блад — даже исключительно из благоразумия — согласиться не мог. Он знал, что его люди, скорее всего, еще до наступления ночи напьются, и не хотел идти на риск иметь в такое время по соседству двести вооруженных испанцев.

Впрочем, стремясь избежать ненужного кровопролития и покончить со всем без дальнейших боев, капитан отправил дону Доминго ответное послание, в котором давал слово: если тот безоговорочно капитулирует, всем солдатам гарнизона и жителям Санта-Марии будет гарантирована жизнь и — чуть позднее — свобода.

Испанцы сложили оружие на большой площади внутри форта, и пираты вошли в форт с развевающимися знаменами и ревущими трубами. Командир выступил вперед, чтобы официально сдать свою шпагу. Позади него выстроились две сотни его сложивших оружие солдат, за ними — те немногочисленные жители города, которые некогда надумали поискать у испанцев убежища. Их насчитывалось не более шестидесяти, в том числе, возможно, с десяток женщин, несколько негров и три монаха в черно-белых одеждах ордена святого Доминика. Чернокожие рабы, как вскоре было установлено, работали на горных рудниках, откуда лишь недавно вернулись.

Дон Доминго, высокий, представительный мужчина лет тридцати, в латах и шлеме из черной стали, с небольшой остроконечной бородкой, которая удлиняла его продолговатое узкое лицо, обратился к капитану Бладу почти в презрительном тоне.

— Я поверил вам на слово, — промолвил он, — потому что, хотя вы пират и негодяй, да и во всех прочих отношениях гнусный еретик, по крайней мере, у вас репутация человека, соблюдающего свои обещания.

Капитан Блад поклонился. Вид его оставлял желать лучшего. В бою он был ранен в голову, одежда на спине висела клочьями. Но даже такой, весь в поту, запятнанный кровью, пылью и порохом, он сохранял грациозность манер.

— Ваша учтивость обезоруживает, — сказал он.

— Моя учтивость не распространяется на разбойников и пиратов, — ответил бескомпромиссный кастилец, и Ибервиль, самый яростный ненавистник испанцев, тяжело задышав, ринулся было вперед, но Блад жестом остановил его.

— Я хочу знать, — бесстрашно продолжал дон Доминго, — с какой гнусной целью вы явились сюда; хочу знать, почему вы, подданный нации, находящейся в мире с Испанией, смеете нападать на испанцев?

Блад усмехнулся.

— Право же, мы здесь исключительно из-за золота, которое в любом уголке мира является для пиратов соблазном не менее сильным, чем и для более респектабельных негодяев, — тем самым соблазном, который и вас, испанцев, вынудил основать в столь удобной близости от золотых приисков этот город. Откровенно говоря, капитан, мы пришли для того, чтобы забрать урожай, снятый вами в этом году, и чем быстрее вы нам его отдадите, тем быстрее избавитесь от нашего гнусного присутствия.

Испанец рассмеялся.

— Похоже, вы принимаете меня за глупца! — сказал он.

— Отнюдь. И надеюсь, вы докажете мне — ради вашего же собственного блага — свое благоразумие.

— Неужели вы думаете, что, будучи предупрежденным о вашем прибытии, я оставил золото в Санта-Марии? — испанец насмешливо хмыкнул. — Вы опоздали, капитан Блад. Золото уже на пути в Панаму. Ночью мы погрузили его в несколько каноэ и отправили отсюда под охраной сотни солдат. Это заметно ослабило мой гарнизон, — потому-то я без колебаний и сдался.

Он снова рассмеялся, заметив разочарование, отразившееся на лице Блада.

Услышав столь обескураживающую новость, пираты, теснившиеся позади своего вожака, едва не зарычали от ярости. Весть распространилась с быстротой пламени, охватывающего порох, и с таким же эффектом вызванного ею взрыва. С грязной бранью и зловещим звоном оружия корсары набросились бы на испанского военачальника, который, как они полагали, обманул их, и вмиг разорвали его на куски, если бы Блад не повернулся и не встал перед доном Доминго, прикрыв его, словно щитом.

— Назад! — скомандовал он оглушительно громким, трубным голосом. — Дон Доминго — мой пленник, и я дал слово, что его никто и пальцем не тронет!

Чувства каждого из пиратов выразил Ибервиль, свирепо вскричавший:

— И ты намерен держать обещание, данное какому-то испанскому псу, оставившему нас в дураках? Да его нужно вздернуть!

— Он всего-навсего выполнил свой долг, и я не позволю вешать человека, чья вина — только в этом.

На мгновение голос Блада потонул в яростном реве, но, сохраняя полнейшее хладнокровие, он даже не шелохнулся; его голубые глаза смотрели сурово, рука была поднята в успокаивающем жесте.

— Замолчите и выслушайте меня! Мы только напрасно теряем время. Все еще поправимо. Ты, Ибервиль, и ты, Кристиан, сейчас же сажайте людей в лодки и отправляйтесь в погоню за испанцами. Скорее всего, вы нагоните их прежде, чем они достигнут залива, но даже если это вам и не удастся, до Панамы все равно далеко, — успеете перехватить их задолго до того, как

панамский берег предстанет их взору. Ну, что стои́те — вперед! Мы с Волверстоном и его парнями будем ждать вас здесь.

Только это и могло сдержать ярость пиратов, не то бы безоружных испанцев безжалостно вырезали всех до единого. Не став дожидаться повтора распоряжения, корсары высыпали из форта даже быстрее, чем вошли туда. Недовольными выглядели разве что сто двадцать человек из роты Волверстона, которым было приказано остаться. Собрав всех испанцев воедино, они заперли их в одном из длинных бараков, составлявших внутреннюю часть форта, после чего разбрелись по городку в поисках еды и всего, чем только можно было поживиться.

* * *

Теперь следовало заняться ранеными. Всех их — как пиратов, так и испанцев — перенесли в другой барак, где для них были наскоро устроены лежаки из сена и сухих листьев. Всего их было с полсотни, может, чуть меньше; примерно четверть из них составляли пираты. Испанцы потеряли убитыми и ранеными более ста человек, корсары — от тридцати до сорока.

С полудюжиной помощников, один из которых был испанцем, кое-что смыслившим в медицине, Блад энергично принялся за работу, вправляя конечности и подлатывая раны. Поглощенный этим занятием, он не обращал ни малейшего внимания на звуки, доносившиеся снаружи — там теперь расположились лагерем индейцы, во время боя залегшие на землю, — но затем вдруг услышал чей-то пронзительный крик.

Прежде чем капитан успел поднять голову или что-то сказать, дверь хижины распахнулась, и какая-то женщина, прижимавшая к груди младенца, с отчаянным воплем бросилась к нему, называя его на испанский лад:

— Дон Педро! Дон Педро Сангре!

Нахмурившись, Блад шагнул ей навстречу, а она, задыхаясь, пытаясь унять рукой судорожно вздымавшуюся грудь, упала перед ним на колени и обезумевшим от волнения голосом по-испански же прокричала:

— Спасите его! Он его там убивает — самым жестоким образом!

Это было гибкое юное создание, едва переступившее порог женственности, и, при поверхностном взгляде, судя по ее одежде и общему виду, сию особу можно было принять за испанку из крестьянского сословия. Ее иссиня-черные волосы и влажные черные глаза были такими, какие можно увидеть у многих андалузок, кожа — не намного смуглее. Только высокие скулы и своеобразные темные губы, да и то при ближайшем рассмотрении, выдавали ее настоящую расу.

— В чем дело? — спросил Блад. — Кого убивают?

Освещенный солнцем дверной проем заслонила какая-то тень, и вошел Бразо Ларго, полный достоинства и мрачной решимости. При виде прибли-

жающегося индейца припавшая к земле женщина утратила дар речи, на лице ее отразился непередаваемый ужас. Подойдя к ней, касик наклонился и, положив руку на ее дрожащее плечо, быстро заговорил с ней на гортанном дарьенском наречии, и Блад, хотя и не понял ни слова, все же безошибочно уловил в голосе вождя нотки жесткого приказа.

Взгляд, который устремила на Блада несчастная, был полон безумия.

— Он предлагает мне пойти посмотреть, как они поджаривают его заживо! Пощадите, дон Педро! Спасите его!

— Спасти кого? — почти раздраженно рявкнул капитан.

Ответил ему Бразо Ларго, объяснивший:

— Моя дочь — эта. Капитан Доминго, он приезжать деревня, назад год, и увозить ее с собой. Caramba! Теперь я поджарить его, а ее забрать домой.

Повернувшись к девушке, касик на своем примитивном испанском скомандовал:

— Vamos[1], ты идти со мной. Смотреть, как я его поджарить, а потом возвращаться деревня.

И тут капитан Блад все понял. Мгновенно он вспомнил, сколь рьяно вождь уговаривал его пойти за испанским золотом; вспомнил и то, что тогда это рвение на миг возбудило в нем подозрения. Стало быть, побуждая его предпринять рейд на Санта-Марию, Бразо Ларго использовал пиратов для личной мести и возврата своей похищенной доном Доминго Фуэнтесом дочери. Но пусть это похищение и заслуживало сурового наказания, как выяснилось — вне зависимости от того, по своей ли воле девушка ушла с испанским капитаном, — впоследствии этот Фуэнтес обращался с ней так, что теперь она желала остаться с ним и ужасно волновалась за его жизнь и безопасность.

— Твой отец говорит, что дон Доминго соблазнил тебя, и теперь этот испанец — твой любовник. Это правда? — спросил капитан.

— Он взял меня в жены, он мой муж, моя любовь, — ответила девушка со страстной мольбой в мокрых от слез глазах. — А это — наш малыш. Прошу вас, дон Педро, не допустите смерти его отца! О, если они убьют дона Доминго, — простонала она, — я покончу с собой!

Капитан Блад покосился на сидевшего с мрачным видом индейца.

— Ты слышишь? Испанец был добр к ней. Она хочет, чтобы ему сохранили жизнь. И если он повинен только в том, о чем ты рассказал мне, ей и решать его участь. Что вы с ним сделали?

Оба заговорили одновременно: отец — гневно, почти бессвязно, с упреками; девушка — со страстной благодарностью. Вскочив на ноги, она схватила Блада за руку и потащила к двери.

Но Бразо Ларго, продолжая протестовать, преградил им путь и заявил, что капитан Блад, мол, нарушает их уговор.

— Уговор! — фыркнул Блад. — Ты использовал меня в своих собственных целях. Тебе следовало быть честным со мной и рассказать о твоей ссоре

[1] Давай (исп.)

с доном Доминго до того, как я связал себя словом, пообещав ему полную неприкосновенность. Теперь же...

Пожав плечами, он поспешно вышел из барака вместе с молодой матерью. Бразо Ларго, хмурый и задумчивый, последовал за ними.

Уже выйдя из форта, Блад наткнулся на Волверстона, возвращавшегося из города с парой десятков парней, и приказал им следовать за ним, сказав, что индейцы убивают испанского капитана.

— Удачи им в этом! — пробормотал изрядно наклюкавшийся Волверстон.

Тем не менее и он сам, и его люди последовали за Бладом, так как, в сущности, на деле все они были куда менее кровожадными, чем на словах.

За проломом в частоколе они наткнулись на четыре десятка индейцев, разжигавших костер. Неподалеку лежал беспомощный дон Доминго, связанный кожаными ремнями. Девушка бросилась к нему, мурлыча какие-то нежности на испанском. Ее «муж» улыбнулся, все же сохраняя на бледном лице некое подобие презрительного спокойствия. Будучи человеком более практичным, чем юная индианка, капитан Блад подошел к пленнику с ножом и перерезал путы.

По толпе индейцев прокатилась волна гнева, тотчас же подавленная Бразо Ларго. Вождь быстро заговорил с соплеменниками, и те замерли в неподвижности, разочарованные, но бесстрастные. Люди Волверстона держались в стороне с мушкетами в руках, донельзя разъяренные.

Под их эскортом дона Доминго отвели обратно в форт. Его маленькая жена чуть ли не вприпрыжку бежала между ним и капитаном пиратов, на ходу объясняя Бладу, почему индейцы с такой готовностью подчинились ее отцу.

— Он сказал им: мол, ты обещал Доминго, что ему сохранят жизнь, и должен свое слово сдержать, но вскоре ты отсюда уйдешь... Тогда они смогут вернуться, чтобы разделаться с Доминго и всеми остальными испанцами, что еще остались в живых.

— Не волнуйся, мы им этого не позволим, — успокоил ее Блад.

По возвращении в форт они обнаружили, что в их отсутствие оставшиеся индейцы, числом чуть более двадцати, ворвались в сарай, где содержались испанцы. К счастью, заварушка только-только началась, и испанцев, хоть и безоружных, там было достаточно много, вследствие чего их сопротивление оказалось — по крайней мере, до этой минуты — весьма эффективным. Тем не менее, капитан Блад вернулся как нельзя вовремя: его приход предотвратил всеобщую резню.

Как только Блад прогнал своих свирепых союзников, испанский командир пожелал переговорить с ним наедине.

— Дон Педро, — сказал он, — вы спасли мне жизнь. Даже не знаю, как мне отблагодарить вас.

— Прошу вас, не утруждайте себя, — промолвил капитан Блад. — Я сделал все это не ради вас, а из-за данного мною слова... Да и вашу юную жену-индианку не хотелось ввергать в печаль.

Испанец задумчиво улыбнулся, на миг переведя взгляд на стоявшую рядом девушку, буквально пожиравшую его любящим взглядом.

— Утром я был с вами неучтив. Прошу меня за это простить.

— Я более чем удовлетворен, — с достоинством произнес Блад.

— Вы очень великодушны. Могу я поинтересоваться, сеньор, каковы ваши намерения по отношению к нам — ко мне и моим подчиненным?

— Как я и обещал, на вашу свободу мы посягать не станем. Как только мои люди вернутся, мы уйдем, оставив вас в покое.

Испанец вздохнул.

— Вот этого-то я и боялся. Наши ряды поредели, оборонительные заграждения разрушены, и когда вы уйдете, мы окажемся во власти Бразо Ларго и его индейцев, которые перережут нас в тот же миг, как только вы тронетесь в путь. Будьте уверены, они не покинут Санта-Марию, пока не разделаются с нами.

Капитан Блад нахмурился.

— Это уж точно: Бразо Ларго пылает к вам личной местью и потому будет безжалостен. Но что в этой ситуации могу сделать я?

— Вы могли бы позволить нам отплыть в Панаму — сейчас же, незамедлительно, пока вы еще здесь и можете удержать своих союзников-индейцев от нападения. Ах, подождите, дон Педро! Я бы не стал этого предлагать, не считай я вас, исходя из того, что видел, человеком широкой души, настоящим джентльменом, пусть вы и пират. К тому же заметьте: поскольку, по вашему собственному заверению, вы не намерены держать нас в плену, фактически, я ни о чем сверх этого и не прошу.

* * *

По сути, так оно все и было, и, хорошенько поразмыслив над этой просьбой, капитан Блад пришел к выводу, что им будет гораздо лучше в Санта-Марии без испанцев, которых нужно охранять с одной стороны, и защищать — с другой. Поэтому он согласился ее удовлетворить.

Волверстон заявил решительный протест, но когда Блад спросил его, какой возможной цели могло бы послужить удержание испанцев в Санта-Марии, одноглазый великан честно признался, что не знает. Все его возражения сводились к тому, что он, мол, не доверяет ни одному живому испанцу, — к сложившейся проблеме это не имело ни малейшего отношения.

Словом, Блад отправился на поиски Бразо Ларго и нашел его сидевшим в мрачной задумчивости на дощатой пристани прямо под фортом.

При приближении капитана индеец поднялся с выражением подчеркнутой бесстрастности на лице.

— Бразо Ларго, — сказал Блад, — твои люди пренебрегли данным мною словом, едва не нанеся моей чести непоправимый ущерб.

— Моя не понимать, — ответил индеец. — Ты стать другом эти испанские воры?

— Другом? Конечно же, нет! Но когда они сдались мне в плен, я пообещал им — в качестве условия их капитуляции — полную неприкосновенность. Если бы твои люди убили их, это стало бы нарушением моего обещания, — вот я и вынужден был предотвратить резню.

Индеец презрительно поморщился.

— Ху! Ху! Ты мой не друг. Я приводить тебя к испанский золото, а ты идти против меня.

— Здесь нет никакого золота, — сказал Блад. — Впрочем, я не стану ссориться с тобой из-за этого. Просто тебе следовало сказать мне, мой друг, прежде чем мы отправились в это путешествие, что я нужен для того, чтобы помочь тебе вернуть дочь и поквитаться с испанским врагом. Тогда бы я не обещал дону Доминго неприкосновенность, и ты смог бы выпить кровь каждого здешнего испанца. Но ты обманул меня, Бразо Ларго.

— Ху! Ху! — произнес Бразо Ларго. — Больше я ничего не сказать.

— А мне, напротив, есть что добавить. Это касается твоих людей. После всего, что случилось, я не могу доверять им. А данное мною слово обязывает меня защищать испанцев до тех пор, пока я сам нахожусь здесь.

Индеец кивнул.

— Perfectamente![1] Пока ты здесь. А потом?

— Если снова пойдет заварушка, может начаться стрельба, и кто-нибудь из твоих храбрецов может пострадать. Это вызвало бы у меня куда бóльшие сожаления, чем потеря испанского золота. Этого нельзя допустить, Бразо Ларго. Ты должен собрать своих людей и разрешить мне запереть их на какое-то время в одном из бараков форта — ради их же собственного блага.

Бразо Ларго задумался. Потом кивнул. Пусть он был и дикарь, но весьма здравомыслящий. Собрав индейцев, Бразо Ларго, с улыбкой человека, умеющего ждать своего часа, позволил Бладу запереть их — и себя тоже — в одной из надстроек форта.

По толпе пиратов пронесся глухой ропот, и Волверстон отважился выразить всеобщее неодобрение.

— Ты что-то больно далеко заходишь, капитан. Гляди, как бы из-за этих испанских псин мы не нажили себе проблем с индейцами!

— Дело тут вовсе не в испанцах, а в данном мною слове и в этой малышке-индианке с ребенком. Испанский командир был добр к ней, да и вообще он неплохой малый.

— Помоги нам Всевышний! — проворчал Волверстон и, недовольно сморщив нос, отошел в сторону.

Спустя час испанцы отчаливали от пристани на глазах у пиратов, которые с глинобитной стены форта наблюдали за их отплытием с нехорошим предчувствием. Из оружия Блад разрешил путешественникам взять с собой разве

[1] Прекрасно! (исп.)

что с полдюжины охотничьих ружей. Впрочем, они захватили с собой еще и обильный запас провизии; в отношении же пресной воды дон Доминго, проявив себя предусмотрительным капитаном, оказался крайне разборчивым. Он лично проследил за погрузкой бочонков на борт каноэ, после чего подошел к капитану Бладу — попрощаться.

— Даже не знаю, дон Педро, — сказал испанец, — как мне отблагодарить вас за ваше великодушие. Я горжусь тем, что вы были моим врагом.

— Давайте просто скажем, что вам повезло.

— Ну да, не без этого. Теперь везде, где рядом будут испанцы, я не премину заявить, что дон Педро Сангре — истинный джентльмен.

— Я бы не стал, — сказал капитан Блад. — Ибо вам все равно никто не поверит.

Все еще продолжая протестовать, дон Доминго поднялся на борт piragua, где уже находились его жена-индианка и их ребенок-полукровка. Его люди столкнули суденышко в воду, и он отправился в свое путешествие в Панаму, вооруженный запиской за подписью капитана Блада, в которой Ибервилю и Кристиану приказывалось пропустить его целым и невредимыми в том случае, если он им вдруг повстречается.

* * *

Прохладным вечером пираты закатили пирушку на открытой площади форта. В городе они нашли большие запасы домашней птицы, сколько-то коз, а также — в доме отцов-доминиканцев — несколько хогсхедов превосходного вина. Блад в компании Волверстона и Огла ужинал в богато обставленных покоях убывшего в Панаму командира испанцев, через открытые окна с удовлетворением взирая на веселую гулянку своих последователей. Волверстон, в отличие от капитана, пребывал в крайне пессимистичном расположении духа.

— Впредь держись-ка ты лучше моря, капитан, вот что я тебе скажу, — проворчал он между глотками. — Там уж, если ты подошел на расстояние пушечного выстрела, золото от тебя никуда не уплывет. А что здесь? Мы идем уже десять дней, и впереди еще столько же дней ходу! И я вознесу хвалу Господу, если мы выберемся отсюда так же благополучно, как и пришли сюда, потому что, скорее всего, нам еще придется улаживать разногласия со стариной Бразо Ларго, и повезет, если мы вообще когда-нибудь отсюда выберемся. На этот раз ты свалял дурака, капитан.

— Да ты просто тупая груда мускулов, Нед, — ответил Блад. — И дурака я нигде не свалял. А что касается Бразо Ларго, то, поверь мне, он дикарь вполне рассудительный, и сохранит с нами дружбу, хотя бы уже потому что ненавидит испанцев.

— Ну, а ты ведешь себя так, будто они тебе нравятся, — пробурчал Волверстон. — Все с улыбкой расшаркивался перед их треклятым командиром, который обманом лишил нас золота, и вообще ты...

— Тут ты не прав: пусть он и испанец, но храбрый малый, — сказал Блад. — А то, что, услышав о нашем приближении, дон Доминго отослал отсюда все золото, так это он всего-навсего выполнил свой долг. Будь он менее отважен, не остался бы здесь, на своем посту, а уплыл бы и сам вместе с золотом. Достойные поступки заслуживают уважения, больше мне сказать по этому поводу нечего.

И тут, прежде чем Волверстон успел что-либо ответить, со стороны реки, перекрывая шум, производимый пиратами, донесся резкий и чистый звук горна.

— Похоже, Кристиан и Ибервиль возвращаются! — воскликнул Блад, вскочив на ноги.

— Дай Бог, с золотом, — сказал Волверстон.

Выскочив из дома, они устремились к брустверу, куда уже стекались люди. Блад взбежал на бруствер в тот момент, когда первое из возвратившихся каноэ причалило к пристани, и из него выпрыгнул Кристиан.

— Быстро же вы обернулись! — крикнул Блад, спрыгивая вниз, навстречу французу. — Как все прошло? Удачно?

Кристиан, высокий и коренастый, с желтым платком на голове, остановился перед ним в сгущающихся сумерках.

— Смотря что ты имеешь в виду, капитан, — произнес он загадочным тоном.

— Хочешь сказать, вы их не догнали?

Ибервиль, только-только сошедший на берег, ответил за товарища:

— А догонять-то было и некого, капитан. Этот вероломный испанец тебя одурачил, — солгал, когда сказал тебе, что отослал золото... И ты поверил ему — поверил испанцу!

— Давайте-ка ближе к делу! — потребовал капитан Блад. — Я не ослышался, Кристиан, — ты утверждаешь, он не отсылал золото? Выходит, оно все еще здесь? Вы это хотите сказать?

— Нет, — ответил француз. — Мы хотим сказать, что после того, как дон Доминго одурачил тебя своими лживыми побасенками, ты, даже не потрудившись провести обыск, позволил этим чертям спокойно уплыть, увезя золото с собой.

— Что?.. — рявкнул на него капитан. — Тебе-то это откуда известно?

— Милях этак в десяти отсюда мы заприметили какую-то индейскую деревню, и у нас хватило ума остановиться и спросить, как давно этим путем прошли испанские каноэ. Так вот, индейцы ответили, что никакие каноэ не проходили мимо ни сегодня, ни вчера, ни в какой-то другой день после последних дождей. Тогда-то мы и поняли, что твой отважный испанец солгал. Мы сразу же повернули обратно и на полпути наткнулись прямо на дона Доминго. Встреча с нами стала для него сюрпризом. Он никак не ожидал, что мы так быстро обо всем пронюхаем. Но он был такой же обходительный и благовидный, как и всегда, разве что стал еще более учтивым. Он совер-

шенно откровенно признался, что солгал тебе, добавив, что уже после нашего отплытия купил себе и своим людям свободу, отдав тебе золото, — он даже показал нам свою охранную грамоту, написанную твоей рукой. По его словам, ты велел ему передать нам приказ немедленно возвращаться, но...

Тут Ибервиль подхватил рассказ Кристиана:

— Но, поскольку мы не питаем к испанцам особого доверия — да и известно ведь: солгавший единожды, солжет снова, — мы вынудили их причалить к берегу и тщательно обыскали.

— И сейчас ты скажешь мне, что вы нашли золото? — совершенно ошеломленный, воскликнул Блад.

Ибервиль улыбнулся и после небольшой паузы ответил:

— Ты позволил им взять с собой в дорогу кучу всякой провизии. А ты видел, из какого источника дон Доминго наполнял свои бочонки для пресной воды?

— Бочонки для пресной воды? — переспросил Блад.

— Ну да — вот только в них была не вода, а золото. Фунтов шестьсот — семьсот, не меньше. Мы привезли его с собой.

К тому моменту, как ликующий рев, вызванный этим сообщением, наконец стих, капитан Блад уже оправился от нанесенного ему удара. Рассмеявшись, он сказал Кристиану и Ибервилю:

— Что ж, как говорится: снимаю перед вами шляпу. И самое малое, что я могу сделать, чтобы загладить свою вину за то, что позволил столь жестоко себя одурачить, — это отказаться от полагающейся мне доли добычи, — затем, уже более серьезным тоном, он спросил: — Что вы сделали с доном Доминго?

— Лично я бы пристрелил его на месте за подобное вероломство! — пылко воскликнул Кристиан. — Но Ибервиль — да, да, Ибервиль; кто бы мог подумать? — в приступе внезапно накатившей сентиментальности уговорил меня отпустить испанца.

Молодой француз смущенно опустил голову, избегая вопрошающего взгляда капитана.

— Ну, а чего вы хотите? — воскликнул Ибервиль, с вызовом посмотрев на Блада. — Как-никак, с доном Доминго была дама — эта его юная жена-индианка.

— Честно говоря, о ней-то я сейчас и думал, — заметил Блад. — И ради ее и ее мужа блага, да и нашего тоже, — полагаю, лучше всего будет сказать Бразо Ларго, что дон Доминго и его супруга были убиты в схватке за золото. Вид привезенных вами бочонков для пресной воды в полной мере подтвердит эту историю. Так будет спокойнее для всех, в том числе и для самого вождя.

Таким образом, хотя корсары и вернулись из Санта-Марии с богатой добычей, этот поход был записан ими в счет личных — весьма редких — неудач Блада. Впрочем, сам он был иного мнения.

МИССИЯ ЛОРДА ДЖУЛИАНА

Пятнадцатого сентября 1688 года на расстоянии многих миль друг от друга воды Карибского моря бороздили три судна, которых ждала скорая встреча, предопределившая, как стало ясно позднее, судьбу сразу нескольких человек. Первым из этих судов был флагманский корабль капитана Блада «Коллин», отделившийся от пиратской флотилии во время урагана, разразившегося у Малых Антильских островов. Теперь, подгоняемое периодическими юго-восточными бризами того душного сезона, судно шло где-то в районе 17° северной широты и 74° западной долготы в направлении Наветренного пролива, намереваясь достичь Тортуги. Вторым был могучий испанский галеон «Милагроса», который, в сопровождении меньшего по размеру фрегата «Идальга», скрывался в засаде у Каймановых островов, к северу от длинного полуострова, выступающего из юго-западной части Эспаньолы.

На борту «Милагросы» находился испанский адмирал дон Мигель де Эспиноса, образно выражаясь, метавший громы и молнии.

Немилость, в которую он впал в результате всех тех бед, что принес ему капитан Блад (их кульминацией стал конфуз, приключившийся с адмиралом в Маракайбо) , чуть не свела кастильца с ума. Словно одержимый, он метался по всему Карибскому морю, отыгрываясь на любом судне — французском ли, английском ли, — которое появлялось в пределах его досягаемости. Верховный совет Кастилии мог в любой момент отправить адмирала под суд за такие вольности, но какое это могло иметь значение для того, кто и так уже был осужден безвозвратно?

Третьим судном был английский военный корабль, следовавший из Плимута на Ямайку и перевозивший очень важного пасссажира — лорда Джулиана Уэйда, которому его родственник, милорд Сандерленд, поручил весьма ответственную и деликатную миссию.

Чтобы умиротворить Испанию — и в ответ на постоянные и яростные упреки испанского посла, — Сандерленд, министр иностранных дел Англии, назначил полковника Бишопа вице-губернатором Ямайки.

Человек решительный и непреклонный, несколько лет фактически правивший Барбадосом, где он сколотил огромное состояние на обширных

плантациях, полковник Бишоп сразу же дал пиратам понять, что терпеть их он не намерен. Но самым опасным из тех немногих пиратов, которым еще удавалось от него ускользать, был капитан Питер Блад, продолжавший безустанно и бесстрашно преследовать испанцев на море и на суше, тем самым поддерживая отношения между Англией и Испанией в состоянии постоянного брожения.

Со времен Моргана в этих широтах не знали более прославленного и грозного пирата, чем Блад; о том, сколь он удачлив, с какой ловкостью выходит из самых затруднительных ситуаций, судачили повсюду, от Багамских островов до Тринидада, и до тех пор, пока он мог свободно бороздить моря, отбоя от желавших служить под его началом не было.

Его логово находилось на Тортуге, в этом французском пристанище пиратов, которые в качестве платы за убежище, предоставленное им в сей крепости, отдавали губернатору часть трофеев. О том, чтобы захватить Блада непосредственно на Тортуге и очистить ее от корсаров, не могло быть и речи: Франция, несомненно, расценила бы подобный рейд как тяжкое оскорбление, нанесенное дружественному государству.

Уже пришедший было в отчаяние, Сандерленд вдруг вспомнил о плане, приведенном в исполнение в отношении Моргана: при Карле II тот был зачислен на королевскую службу. Министр знал: Бладу есть за что обижаться на британскую власть. Осужденный за участие в восстании Монмута, он был отправлен на плантации. Возможно, занявшийся корсарством лишь в силу данных обстоятельств, теперь он будет рад возможности отказаться от этой противоправной деятельности.

Основываясь на этом выводе, Сандерленд отправил на Ямайку своего родственника, лорда Джулиана Уэйда, снабдив его несколькими полностью, оставалось лишь вписать фамилии, заполненными офицерскими патентами и четкими указаниями относительно того, какой линии поведения ему следует придерживаться в общении с капитаном Бладом и любым другим грозным пиратом, которого уже сам Уэйд сочтет целесообразным привлечь на королевскую службу.

«Ройял Мэри» — судно, на борту которого находился этот изобретательный, сносно образованный, немного беспутный и чрезвычайно элегантный посланник милорда Сандерленда, — благополучно добралось до Сен-Николя, своей последней стоянки перед Ямайкой. Еще в Англии было условлено, что сначала лорд Джулиан явится к вице-губернатору в Порт-Ройял, а уже оттуда, при необходимости, отправится на Тортугу.

Так уж вышло, что примерно двумя месяцами ранее на Сен-Николя, в гости к родственникам, прибыла племянница вице-губернатора. С учетом ранга и положения ее дяди, просьба этой молодой женщины предоставить ей место на борту «Ройял Мэри» была тотчас же удовлетворена.

С ее появлением лорд Джулиан, уже начавший находить путешествие несколько нудным и утомительным, заметно воодушевился.

Мисс Арабелла Бишоп, возможно, и не являлась той дамой, на которой взгляд этого привередливого и проницательного джентльмена остановился бы в Англии. Это была стройная девушка довольно высокого роста, с задорным мальчишеским голосом и почти мальчишеской же легкостью движений. У нее были темно-каштановые волосы, очень нежного, розово-белого цвета лицо, большие карие глаза и мелкие черты лица.

Оценить очарование мисс Бишоп мог лишь человек с тонким складом ума, и хотя милорд Джулиан совсем не был мужланом, вместе с тем он не обладал и необходимой степенью деликатности; впрочем, это не следует понимать как какой-то выпад против него.

Они сразу же стали хорошими друзьями и, возможно, провели бы вместе весьма приятное путешествие, не столкнись они уже на второй день плавания, на полпути через залив Гонавес, с этим уподобившимся бешеному псу испанским адмиралом.

Капитан «Ройял Мэри» был отважным моряком. Его сердце не дрогнуло, даже когда дон Мигель открыл по его кораблю огонь. Если этот испанец хотел драки — что ж, «Ройял Мэри» была как раз тем судном, которое вполне могло удовлетворить это желание дерзкого наглеца и, несомненно, оправдало бы свой доблестный облик, но в результате удачного выстрела с «Милагросы» ядро взорвалось в пороховом погребе английского корабля, разнеся в щепки почти половину его еще до начала боя.

В капитанской каюте под кормой этого полуразрушенного судна лорд Джулиан утешал мисс Бишоп — не сказать, чтобы успешно. Его светлости и самому было не по себе. Не то чтобы он был трусом. Но мысль о рукопашном бое на этой деревянной посудине, которая в любой момент могла погрузиться в морскую бездну, была весьма неприятной для человека, довольно храброго на суше. К счастью, мисс Бишоп, по всей видимости, не особо нуждалась в поддержке. Конечно, девушка была бледна, ее карие глаза выглядели чуть расширившимися, но владела собой она в полной мере. Склонившись над капитанским столом, она сохраняла достаточно хладнокровия, для того чтобы успокаивать перепуганную мулатку-горничную, ползавшую у ее ног.

Дверь каюты распахнулась, и на пороге возник испанский офицер, окинувший их внимательным взглядом. За его спиной стояло несколько человек в сверкающих шлемах и нагрудниках. Резко обернувшись, лорд Джулиан опустил руку на эфес шпаги.

Испанец без лишних слов перешел к делу.

— Не глупите! — резко бросил он на родном языке. — Корабль тонет. Если не хотите уйти на дно вместе с ним, сейчас же поднимайтесь на борт «Милагросы». Меня послали за вами. Впрочем, решать всё же вам.

Мисс Бишоп перевела, и поскольку ни сама она, ни лорд Джулиан утонуть не хотели, выбор был сделан в пользу менее зловещей возможности. Они задержались в каюте не дольше, чем это было необходимо для того, чтобы мисс Бишоп смогла собрать кое-какие вещи, а милорд — подхватить свой саквояж.

Уцелевшие моряки «Ройял Мэри» — капитан корабля погиб при взрыве — были предоставлены самим себе. Пусть садятся в шлюпки, заявили испанцы, а если таковых окажется недостаточно, пусть сами, за счет исключительно силы рук, плывут куда душе угодно или же просто тонут без лишних мучений. Лорда Джулиана и мисс Бишоп взяли на испанский корабль лишь потому, что дон Мигель осознавал их очевидную ценность.

Кастилец принял их с вежливостью, на которую, впрочем, лорд Джулиан отнюдь не ответил взаимностью. Его светлость был глубоко раздосадован. Пусть он и не сделал ничего компрометирующего в том необычном и трудном положении, в какое поставила его судьба, но и ничем положительным также похвастаться не мог. Да и потом, с ним же была дама! Он был полон решимости исправить ее впечатление о себе и потому надменно потребовал, чтобы тот, кто позволил себе захватить подданных английского короля, назвал свое имя.

Адмирал, высокий загорелый мужчина с черной бородой и орлиным лицом, представился.

— Я дон Мигель де Эспиноса, адмирал военно-морского флота его католического величества короля Испании.

Лорд Джулиан ахнул.

Если Испания подняла такой шум из-за разбойничьих набегов какого-то ренегата-авантюриста, которым, по сути, капитан Блад и являлся, что же на это ответить Англии?

— Тогда, может, вы скажете мне, зачем всё это сделали? — спросил он, а затем добавил: — Надеюсь, вы понимаете, к сколь строгому ответу будете привлечены за ваше насилие над этой леди и мною.

Дон Мигель улыбнулся, сверкнув белыми зубами под черной бородой.

— Я не совершал над вами никакого насилия. Напротив, я спас вам жизнь. Полковник Бишоп — человек состоятельный. Вы, милорд, несомненно, тоже богаты. Я подумаю, какой назначить за вас выкуп.

— Выходит, вы просто чертов пират, как я и предполагал! — взорвался его светлость.

Адмирал перестал улыбаться, и сквозь напускную учтивость пробилась ярость, разъедавшая его мозг.

— Я поступаю с вами, английскими собаками-еретиками, — прорычал он, — точно так же, как взращенные вашей страной разбойники и грабители поступают в этих морях с испанцами! Вы вероломно натравливаете на нас своих бладов, хагторпов и морганов, снимая с себя ответственность за все их бесчинства! — он издевательски рассмеялся. — Вот пусть теперь и Испания снимет с себя ответственность за мои действия, когда ваш посол явится в Эскуриал жаловаться на это Верховному совету.

— Капитан Блад и ему подобные не являются английскими адмиралами!

— Не являются? Но мне-то откуда знать? Откуда знать об этом Испании? Разве вы, английские еретики, неспособны на ложь?

— Сэр! — резким, похожим на скрежет голосом вскричал лорд Джулиан, и глаза его вспыхнули. Инстинктивно он потянулся рукой к пустым ножнам, затем, вспомнив, что шпаги в них нет, пожал плечами и уже более спокойным тоном произнес: — Конечно, вы можете безнаказанно оскорблять безоружного человека, вашего пленника, — это же так соответствует всему тому, что я слышал об испанской чести!

Лицо адмирала побагровело. Вскочив со своего места, он уже вскинул было руку, намереваясь ударить Уэйда, но затем, столь же внезапно, обуздал искавший выхода гнев, снова сел и коротко приказал дежурному офицеру увести пленников.

Выйдя из каюты, лорд Джулиан улыбнулся.

— Полагаю, последнее слово все же осталось за мной, — сказал он почти весело, тряхнув золотисто-каштановыми локонами. Он чувствовал, что неплохо держал себя в присутствии леди. Мисс Бишоп ответила на его улыбку своей, широкой и искренней. «До чего же она восхитительна!» — подумал Уэйд.

— Вам не страшно? — спросил он.

— Раз уж нас намерены удерживать здесь ради получения выкупа, из этого следует, что вреда нам не причинят, — ответила девушка.

— В этом вы правы, — согласился лорд Джулиан, а когда вскоре заговорил снова, то уже на другую тему. — Я здесь для того, чтобы покончить с пиратством, но черт возьми — простите, мисс! — уже начинаю думать, что французы правы, желая сохранить его как меру, необходимую для обуздания этих испанских мерзавцев.

Вскоре ему предстояло окончательно утвердиться в этом мнении.

Пока же с ними обращались любезно и вежливо. В распоряжение мисс Бишоп и ее до смерти перепуганной служанки была предоставлена отдельная каюта, лорду Джулиану выделили другую.

«Милагроса» вместе с неизменно бежавшей за ней «Идальгой» шли юго-западным курсом; затем, повернув на юго-восток, обогнули мыс Тибурон и, выйдя в открытое море, откуда земля казалась едва приметным облачком по левому борту, направились на восток, устремившись прямо на «Коллин» капитана Блада. Это произошло ранним утром следующего дня.

Мисс Бишоп, только что вставшая, вышла на квартердек в сопровождении его светлости, — и застыла, уставившись на большой красный корабль. Судно шло прямо на них. Горы белоснежной парусины вздымались, надутые утренним бризом; на грот-мачте трепетал длинный вымпел с изображением креста Святого Георгия; красный корпус с позолоченными портами и позолоченным же бикхедом на форштевне ярко сверкал в лучах восходящего солнца.

Девушка не узнала в нем корабль, который уже видела однажды, три года тому назад, когда, еще именуемое «Синко Льягас», это судно совершило набег на барбадосский Бриджтаун, где тогда проживала мисс Бишоп, а Блад был рабом в поместье ее дяди. Ночью, пока испанцы пировали в разоренном

городе, Блад с несколькими товарищами-невольниками незаметно поднялся на борт галеона, жестоко расправился с теми немногими участниками победоносного рейда, что оставались на судне, а затем сбежал со своей командой мятежников, став бичом для всех испанцев в этих морях.

— Взгляните! — сказала мисс Бишоп, указывая на корабль, и лорд Джулиан заметил, что ее глаза лихорадочно заблестели. — Это английское судно! Оно идет к нам! Его капитан явно намерен драться.

Лицо лорда Джулиана выражало что угодно, только не удовлетворение. Побывав накануне в своем первом морском сражении, он чувствовал, что этих впечатлений ему хватит надолго. Впрочем, менее мужественным — хотелось бы сей факт подчеркнуть — его светлость оттого не выглядел.

— В таком случае его капитан еще больший глупец, чем я думал, — заметил милорд. — На что он рассчитывает, идя в бой против двух таких мощных кораблей, как эти? Если им удалось так легко потопить «Ройял Мэри», во что они превратят его судно? Посмотрите на этого дьявола, дона Мигеля! До чего же он отвратителен в своем мерзком ликовании!

Стоя на квартердеке с подзорной трубой в руке, дон Мигель отдавал приказы с горящими глазами и преображенным лицом. Канониры уже раздували фитили; матросы убирали наверху паруса; остальные были заняты тем, что натягивали над шкафутом прочную веревочную сеть для защиты от падающих обломков рангоута.

Между тем «Идальга», по сигналу дона Мигеля, выдвинулась вперед и теперь располагалась чуть впереди «Милагросы», на расстоянии полукабельтова по правому борту, и с высокого полуюта милорд и мисс Бишоп могли видеть уже ее собственные приготовления. Приближающийся английский корабль также готовился к бою, убирая все паруса, за исключением шпринтовых и парусов бизань-мачты. Не сговариваясь друг с другом, без вызова или обмена сигналами, противники будто заранее решили, что сражение неизбежно.

«Коллин», несколько замедлившая ход, была уже на расстоянии выстрела из фальконета, и можно было разглядеть суетящиеся на ее баке фигуры и поблескивающие на носу медные пушки. Канониры «Милагросы» продолжали раздувать тлевшие фитили, нетерпеливо поглядывая на адмирала.

— Терпение! — увещевал тот их. — Приберегите огонь до тех пор, пока он подойдет. Он движется прямо к своей погибели — к нок-рее и веревке, давно уже его ожидающим!

— Разрази меня гром! — пробормотал его светлость. — Да они просто безумцы — шансы же минимальные!..

— Порой храбрость, — промолвила мисс Бишоп, — сокрушает даже, казалось бы, неодолимую силу.

Взглянув на нее, лорд Джулиан с удивлением заметил на ее лице разве что возбуждение, но ни малейшего признака страха.

— Если позволите, — сказал он, — я отведу вас в укрытие.

— Отсюда мне лучше видно, — ответила девушка и тихо добавила: — Я молюсь за этого англичанина. Должно быть, он очень смел.

— Скорее безрассуден! — мрачно произнес его светлость.

* * *

«Коллин» теперь шла курсом, линия которого как раз пролегала между двумя испанскими кораблями.

Указав на это, милорд воскликнул:

— Несомненно, он сумасшедший! Сам лезет в смертельную западню. Неудивительно, что этот чернолицый дон пока что не открывает огонь.

Но прямо в этот момент адмирал поднял руку, и находившиеся на носу канониры дали залп из своих орудий. Как только прокатился их грохот, из медной пушки на носу «Коллин» одна за другой вырвались две вспышки огня, и едва дозорные, стоявшие на корме «Милагросы», заметили легкий всплеск, произведенный одним из ядер, упавшим в воду рядом с испанским судном, как второе с грохотом ударилось в носовую часть корабля, сотряся его весь, от носа до кормы, и разлетевшись мелкими осколками.

В ответ «Идальга» пальнула по английскому судну из своих носовых пушек, но, хотя расстояние было относительно близким — не более двухсот — трехсот ярдов, — ни один выстрел не возымел должного эффекта.

Быстро перезаряженные, носовые орудия «Коллин» снова выстрелили по «Милагросе» с расстояния уже в сто ярдов и на сей раз разнесли в щепки ее бушприт. Дон Мигель смачно выругался, и передние пушки «Милагросы» ответили. Но прицел был взят слишком высоко: если первое ядро повредило грот-мачту «Коллин», то второе прошло мимо. Теперь английский корабль был уже между испанскими галеонами (нос его находился на одной линии с их носами) и неуклонно продвигался.

Его светлость затаил дыхание, мисс Бишоп ахнула. Перед ней промелькнуло злорадно оскалившееся лицо дона Мигеля и ухмыляющиеся физиономии канониров, стоявших на шкафуте у пушек. Наконец «Коллин» оказалась полностью — нос к корме, корма к носу — между испанскими кораблями.

Уже начав было отдавать приказ стоявшему рядом с ним трубачу подавать сигнал обоим кораблям, дон Мигель запнулся на полуслове, с запозданием сообразив, что, обстреливая английское судно, «Милагроса» и «Идальга» стали бы обстреливать друг дружку.

Адмирал тут же приказал рулевому повернуть корабль влево, выведя его тем самым на более удобную для атаки позицию — увы, приказ запоздал.

В этот самый момент «Коллин», проходившая между испанскими кораблями, будто бы взорвалась: восемнадцать орудий, расположенных по каждому из ее бортов, практически в упор выпустили залп по корпусам «Милагросы» и «Идальги».

Оглушенная и потерявшая равновесие из-за внезапного крена судна, мисс Бишоп упала на лорда Джулиана, который сумел удержаться на ногах, ухватившись за поручень. Поднимавшиеся по правому борту клубы дыма покрыли все вокруг. От его едкого запаха у них сразу же перехватило горло; начав задыхаться, они зашлись надсадным, судорожным кашлем.

Из мрачного смятения и неразберихи, царивших внизу, донеслись яростная испанская брань и крики искалеченных людей.

Покачиваясь на волнах, «Милагроса» медленно продвигалась вперед; в ее фальшбортах зияли огромные дыры, фок-мачта была разбита вдребезги, в натянутой внизу сетке болтались обломки рей. Нос корабля был разнесен в щепки, одно из ядер насквозь прошило огромную носовую каюту, безжалостно в ней все раскурочив.

Внезапно сквозь поднимающийся дым замаячили очертания корабля, сначала призрачные в обволакивающей дымке, затем контур его красного корпуса обрисовался отчетливее. Мачты приближавшегося судна были обнажены; только на бушприте белел парус.

Вместо того, чтобы придерживаться, как предполагал дон Мигель, своего курса, «Коллин» под прикрытием дыма развернулась и, двигаясь теперь в том же направлении, что и «Милагроса», сближалась с ней столь быстро, что почти еще до того, как обезумевший дон Мигель осознал, что происходит, его судно пошатнулось от мощного бокового удара.

Лязгнули, ломая дерево, зацепившиеся в полудюжине мест «кошки», и «Милагроса» оказалась в щупальцах английского корабля.

Оставшаяся уже далеко за ее кормой «Идальга», зловеще накренившись на левый борт, быстро шла ко дну, — до ее полного погружения в морскую пучину оставались считанные секунды. Команда отчаянно пыталась спустить на воду шлюпки.

Страдальческий взгляд дона Мигеля успел уловить это лишь мимолетно, хотя и всеобъемлюще, прежде чем на палубу уже его флагманского корабля с диким ревом высыпал целый рой корсаров из штурмовой команды. Никогда еще охотник не превращался так быстро в беспомощную добычу, ибо испанцы оказались именно в таком положении. Стремительно проведенный абордажный манёвр захватил их врасплох в момент замешательства, вызванного сокрушительным бортовым залпом «Коллин».

Некоторые офицеры дона Мигеля предприняли отважную, но тщетную попытку сплотить людей, но испанцы, никогда не отличавшиеся храбростью в рукопашном бою, выглядели совершенно деморализованными, ибо знали, с кем им приходится иметь дело. Их наспех сформированные ряды были тотчас же разбиты.

Начавшееся на шкафуте и переместившееся затем к надстройкам квартердека и полубака сражение вскоре перешло в стычки между отдельными группами, в то время как другая группа корсаров, прорвавшись через люк на главную палубу, быстро разобралась с орудийными расчетами.

Непреодолимая волна пиратов во главе с обнаженным по пояс одноглазым великаном нахлынула на квартердек, где, оцепеневший от отчаяния и ярости, стоял дон Мигель де Эспиноса. Чуть выше и позади него, на корме, находились лорд Джулиан и мисс Бишоп: его светлость был ошеломлен яростью этой суровой схватки, кипевший на ограниченном пространстве палубы; леди тошнило, от ужаса она была на грани потери сознания.

* * *

Наконец короткий, но ожесточенный бой закончился. Какой-то корсар абордажной саблей перерубил фал, и развевающееся знамя Кастилии соскользнуло с верхушки мачты. Пираты из штурмовой команды к этой минуте уже овладели всем кораблем, и обезоруженные испанцы, сбившись в кучку, словно стадо баранов, толпились на верхней палубе.

Внезапно мисс Бишоп, уже справившаяся с накатившей было тошнотой, резко наклонилась вперед, на что-то уставившись округлившимися от изумления глазами.

Изящно пробираясь сквозь царивший на шкафуте беспорядок и хаос, по палубе шел высокий, стройный мужчина с сильно загорелым лицом, затененным широкополой шляпой с плюмажем. Он был в дорогом черном камзоле с серебряными кружевами и держался с непринужденной уверенностью.

Поднявшись по широкому трапу на квартердек, он снял украшенную перьями шляпу и отвесил испанскому адмиралу изысканно-грациозный поклон. Мертвенно-бледный и, казалось бы, потерявший дар речи дон Диего стоял совершенно неподвижно; лицо его было искажено злобой. До двух зрителей — мисс Арабеллы Бишоп и лорда Уэйда, — стоявших на корме, донесся четкий металлический голос, произнесший на безупречном испанском:

— Наконец-то, дон Мигель, мы встретились снова. Возможно, эта встреча проходит и не так, как вам бы хотелось, но вы сами ее добивались.

Издав нечленораздельный крик ярости, испанец опустил было руку к эфесу шпаги, но человек в черном схватил его за запястье и крепко-накрепко сжал, словно клещами.

— Успокойтесь, дон Мигель! — тихим, но твердым голосом произнес он. — Не доводите меня до уродливых крайностей, к которым вы сами прибегнули бы, окажись в ситуации обратной. Вы вольны уйти.

Он указал на шлюпки, которые его люди спускали с талей в средней части судна.

— Ваши лодки будут спущены на воду. Вон там — берега Эспаньолы, вы доберетесь до них без каких-либо затруднений. И прислушайтесь к моему совету, дон Мигель: прекратите охотиться на меня. Возвращайтесь домой, в Испанию, и займитесь там тем, в чем вы соображаете лучше, чем в морском деле.

До двух зрителей — мисс Арабеллы Бишоп и лорда Уэйда, — стоявших на корме, донесся четкий металлический голос, произнесший на безупречном испанском:
— Наконец-то, дон Мигель, мы встретились снова.

Несколько долгих мгновений поверженный адмирал молча смотрел на него с ненавистью, затем, все так же без единого слова, пошатываясь, словно пьяный, спустился по трапу, бряцая волочившейся позади шпагой, теперь уже бесполезной. Его победитель, даже не потрудившийся обезоружить испанца, проводил Эспиносу взглядом, после чего повернулся и столкнулся лицом к лицу с парочкой англичан, стоявших прямо над ним на корме.

Занимай его меньше другие проблемы, его светлость, возможно, заметил бы, как под глубоким загаром незнакомца проступила внезапная бледность. Затем этот элегантный мужчина быстро взбежал по трапу. Лорд Джулиан сделал шаг ему навстречу.

— Вы же не хотите сказать, сэр, что позволите этому испанскому негодяю спокойно уйти? — вскричал он.

Джентльмен в черном, казалось, только теперь заметил его светлость.

— А вы еще, черт возьми, кто такой? — спросил он с заметным ирландским акцентом. — И какое вам вообще до всего этого дело?

Его светлость счел подобную грубость и полное отсутствие должного почтения недопустимыми, на что и решил указать.

— Я лорд Джулиан Уэйд, — промолвил он с этой целью, но сие объявление не произвело ожидаемого им эффекта.

— Да неужели? Тогда, может, вы объясните, что, черт подери, делаете на борту этого корабля?

Едва удержавшись, чтобы не вспылить, лорд Джулиан коротко и нетерпеливо объяснил.

— Так он взял вас в плен, да еще и с мисс Бишоп? — изумился Блад.

— Вы знакомы с мисс Бишоп? — воскликнул его светлость.

Но его не отличавшийся благовоспитанностью собеседник быстро обошел Уэйда и склонился перед дамой, которая, впрочем, не только не ответила на его поклон, но и вообще всем видом выразила презрение и неприступность. Тогда Блад повернулся, чтобы ответить на вопрос лорда Джулиана.

— Когда-то я удостоился такой чести, — сказал он. — Но, похоже, мисс Бишоп забыла меня.

В его голосе прозвучала насмешливая нотка, губы исказила кривая улыбка, а в голубых глазах, ярко сверкавших под черными бровями, отразилась мучительная боль.

— Среди моих знакомых, капитан Блад, нет воров и пиратов, — холодно промолвила леди.

— Капитан Блад?!.. — взволнованно воскликнул его светлость. — Так вы — капитан Блад?

— А кто же еще, по-вашему? — Блад задал этот вопрос устало, его мысли определенно были заняты чем-то другим.

Здесь мы имеем дело с величайшей любовью в жизни этого немало повидавшего на своем веку джентльмена.

Несколько лет назад, когда Блад, ссыльный мятежник, был невольником в имении дяди мисс Бишоп, он и она в некотором роде сдружились, — все-таки Блад был не таким, как другие рабы. Он был человек незаурядный и пользовался определенными вольностями, обычно не предоставляемыми ему подобным. Исключительно из-за своего глубокого уважения к девушке Блад — со значительным риском для себя — убедил своих товарищей-рабов дать полковнику Бишопу шанс на жизнь, хотя, в тот час, когда они обрели свободу, этот жестокий человек находился в их полной власти.

О любви, которую Питер Блад питал к этой леди, никогда не говорилось вслух, но все эти три года это чувство жило в его сердце, и он мечтал, что, возможно, настанет день, когда они встретятся снова — на уже более равных правах.

Однако он не допускал и мысли о том, что встретит мисс Бишоп таким вот образом — как ее избавитель, среди вони и дыма сражения на палубе захваченного корабля. Но если предвкушение подобной ситуации приятно согрело бы сердце благородного ирландца, то осознание ее теперь обдавало его, это измученное и трепещущее сердце, ледяным холодом.

Короткая, жестокая речь мисс Арабеллы была для Блада как удар по лицу, но, будучи не в состоянии заставить себя ответить даме, он обратился к лорду Джулиану:

— Если вы изволите сопроводить мисс Бишоп на борт моего корабля, я распоряжусь высадить вас на берег в каком-нибудь удобном месте. И вам бы лучше поторопиться, ибо мы намерены затопить эту громадину.

Он повернулся, чтобы уйти, но лорд Джулиан одной рукой схватил его за рукав, а другой указал на дона Мигеля, который стоял на баке, уныло прислонившись к шпангоуту.

— Верно ли я понял, что вы не собираетесь повесить этого мерзавца-испанца?

— Почему я должен его вешать?

— Да потому что он гнусный пират!

— Да? — произнес Блад, и лорд Джулиан поразился тому, сколь внезапно поблекло лицо, всего несколько мгновений назад казавшееся столь победоносным. — Я и сам пират, и поэтому милосерден к себе подобным. Дон Мигель останется на свободе.

Лорд Джулиан едва не задохнулся от возмущения.

— И это — после того, что он сделал со мной... с нами! — воскликнул он, но затем, сдержав изумление, уже холодным тоном проговорил: — Вы меня разочаровываете, капитан Блад. Я возлагал на вас большие надежды.

— Да идите вы к черту! — сказал капитан Блад, прежде чем удалиться.

В течение следующих нескольких часов лорд Джулиан его не видел.

Они встретились снова уже ближе к вечеру на квартердеке «Коллин», и этой встречи искал его светлость. Как ему и было приказано, он перебрался на корабль Блада вместе с мисс Бишоп, их багажом и ее служанкой. Еду им подали в большую каюту, но капитан Блад не присоединился к ним за столом, да и вообще не удостоил их своим присутствием.

Впрочем, он прислал к ним человека, который сообщил, что капитан изменил курс, намереваясь высадить их на побережье Ямайки, как можно ближе к Порт-Ройялу.

— Удивительно, — сказала мисс Бишоп, когда дверь за ушедшим посыльным закрылась, — что он не требует за нас выкупа.

Лорд Джулиан посмотрел на даму. Было в ее поведении нечто, глубоко его интриговавшее.

— Не кажется ли вам, мисс Бишоп — осмелюсь высказаться со всей покорностью, — не кажется ли вам, что это несколько неблагодарно?

— Неблагодарно? — от пристального взгляда карих глаз девушки его светлость немного смутился. — Не понимаю, о чем вы.

— Ну... разве он не пришел нам на выручку?

— Я и понятия не имела о том, что он знал о нашем присутствии на борту «Милагросы».

— Так или иначе, именно он освободил нас, — в тоне лорда Джулиана не было ни малейшей резкости. — И, проживая в этих суровых местах Нового Света, вы едва ли могли не заметить того, что известно даже в Англии, — что этот человек, по сути, воюет только с испанцами. Хотя я и сейчас не могу понять, как он может быть столь любезным после всего, что с ним случилось. Чтоб мне пусто было! Как подумаю о том, сколько страданий ему причинили собственные соотечественники!.. Просто поразительно, что он еще способен различать англичан и испанцев! Быть проданным в рабство! Бр-р-р! — его

светлость содрогнулся. — И к какому-то проклятому колониальному плантатору! — он запнулся. — Прошу прощения, мисс Бишоп. Я на какой-то миг...

— Да-да, похоже, вы слишком увлеклись, защищая этого морского разбойника! — презрение мисс Бишоп уже почти перешло в озлобление.

Его светлость снова пристально уставился на леди, затем сощурил свои красивые глаза.

— Интересно, почему вы так его ненавидите? — тихо спросил он.

— Ненавижу его? — пару мгновений мисс Бишоп смотрела на него с изумлением, затем презрительно рассмеялась. — О Боже! Что за мысль! Да этот тип мне глубоко безразличен.

— И зря! На него следует обратить внимание. Человек, который способен действовать так, как утром действовал Блад, стал бы ценным приобретением для королевского флота. Разрази меня гром! Я вообще сомневаюсь, что у нас во флоте есть подобные ему люди. Умышленно втиснуться между этими двумя кораблями на расстояние прямого выстрела и тем самым поменяться с ними ролями! Своим манёвром он обманул не только нас — этот испанский адмирал тоже разгадал его намерения слишком поздно; к тому моменту Блад уже был хозяином положения.

— Так используйте свое влияние на милорда Сандерленда, — саркастично заметила мисс Бишоп. — Пусть посоветует королю предложить Бладу звание.

— По правде говоря, в этом нет необходимости — все это уже сделано. В данную минуту его офицерский патент лежит у меня если и не в кармане, то в саквояже уж точно.

И лорд Уэйд удивил мисс Бишоп еще сильнее, рассказав ей о цели своей миссии, после чего, оставив ее пребывать в изумлении, отправился на поиски Блада.

Капитана его светлость нашел расхаживающим по квартердеку с чрезвычайно задумчивым видом удрученного человека.

Со свойственной ему любезной фамильярностью взяв Блада под руку, лорд Джулиан пошел с ним в ногу.

— Вы крайне снисходительны, сэр, — усмехнулся Блад.

Его светлости следовало бы заметить, что ирландец сейчас не в настроении вести приятную беседу.

— Мне бы хотелось, чтобы мы были друзьями, капитан.

— Право же, это весьма любезное с вашей стороны предложение.

Его светлость предпочел не заметить очевидного сарказма этих слов.

— Просто поразительно, что мы встретились таким образом, — сказал он, — учитывая, что я прибыл в Вест-Индию специально для того, чтобы разыскать вас.

— Вы не первый, у кого это вышло, — мрачно сказал капитан Блад. — Но в основном это были испанцы, и им не так повезло, как вам. Дон Мигель де Эспиноса не даст соврать.

— Вы поняли меня совершенно превратно, — заметил лорд Джулиан и приступил к изложению цели своей миссии.

* * *

Когда он закончил, Блад высвободил свою руку из руки его светлости и, встав прямо перед ним, сказал:

— Вы мой гость на борту этого корабля, и от прежних времен у меня все еще сохранились кое-какие представления о порядочном поведении, поэтому я не скажу, что думаю лично о вас за то, что вы осмелились сделать мне данное предложение, или о направившем его мне милорде Сандерленде, раз уж он ваш родственник. Но меня ничуть не удивляет, что один из министров Якова Стюарта считает, что любого человека можно соблазнить взятками, тем самым вынудив его предать тех, кто ему доверился, — и Блад легким взмахом руки указал на бесцельно слонявшихся по шкафуту пиратов.

— Вы и в этом поняли меня неверно! — воскликнул лорд Джулиан, испытывая одновременно и беспокойство, и негодование. — Ваши сторонники также будут приняты на королевскую службу.

— И вы полагаете, они пойдут за мной охотиться на своих товарищей из «Берегового братства»? Клянусь, лорд Джулиан, это вы заблуждаетесь. Но и это еще не всё. Как вы могли подумать, что я приму от короля Якова офицерское звание? Вот что я вам скажу: я не стану пачкать вашим патентом свои руки, пусть даже это руки вора и пирата. Именно так назвала меня мисс Бишоп. Но кто сделал меня пиратом и вором?

— Если вы были мятежником... — начал было его светлость.

— Да не был я им — я вообще в восстании не участвовал. Да и что было мне, паписту, делать в протестантской армии Монмута? Я просто совершал акт милосердия, когда они забрали меня, а этот грязный вампир Джеффрейс — чтоб его!.. — отправил меня на каторгу. Знаете, каково это — быть рабом? Конечно же, нет! Я сейчас полон гнева и возмущения, ибо пострадал ни за что. Я благодарен вам, лорд Джулиан, за ваши добрые намерения, действительно благодарен, но, надеюсь, вы меня поймете. По крайней мере, вы кажетесь человеком, который способен меня понять.

Лорд Джулиан пожал плечами.

— Жаль, — пробормотал он, — чертовски жаль! — он протянул Бладу руку. — Но между нами — никаких обид. Право, капитан, вы отличный парень!

— Я пират и вор. — Блад невесело рассмеялся и, проигнорировав протянутую руку, удалился.

Лорд Джулиан со скорбным видом направился в свою каюту, но уже в дверях коридора чуть не налетел на мисс Бишоп. Слишком занятый мыслями о капитане Бладе и потому даже не поинтересовавшийся, куда она идет, Уэйд проследовал за девушкой в кормовую рубку, там плюхнулся в кресло и взорвался:

— Будь я проклят, если когда-либо встречал человека, который бы мне так нравился! И, однако же, с ним ничего не поделаешь.

Он окинул девушку задумчивым взглядом.

— Ваши слова задели его за живое: он дважды бросил их мне прямо в лицо. Он отказался пойти на королевскую службу; даже не изволил пожать мне руку. И что можно сделать с таким человеком? Несмотря на всю сопутствующую ему удачу, он закончит жизнь на нок-рее. Сейчас этот глупец из-за нас подвергает себя смертельной опасности.

— И почему же? — апатичным тоном поинтересовалась девушка.

— Да потому что идет к Ямайке, где располагается штаб английского флота. Правда, этим флотом командует ваш дядя...

Мисс Бишоп вдруг распрямилась и, перегнувшись через стол, взволнованно пробормотала:

— Даже не думайте, что ему это чем-то поможет. Во всем мире у него нет злее врага, чем мой дядя! Полагаю, только надежда на то, что удастся схватить его и повесить, и вынудила моего дядю принять пост вице-губернатора Ямайки и покинуть свои барбадосские плантации. Капитану Бладу об этом, конечно же, неизвестно...

— Вряд ли Блад изменил бы свое решение, даже если бы узнал об этом, — заметил лорд Джулиан. — Человека, который может простить такого врага, как дон Мигель, и занять столь бескомпромиссную позицию по отношению ко мне, нельзя судить по обычным правилам. Он рыцарь до идиотизма.

— И все же в эти последние три года он был тем, кем был, и делал то, что делал!

Мисс Бишоп снова села и, погрузившись в раздумья, уставилась через кормовые окна на угасающий вечер.

* * *

На следующее утро ее спозаранку разбудили резкие звуки горна и звон судового колокола. С главной палубы, располагавшейся прямо под ее каютой, доносился топот множества ног, хриплые крики и оживленная возня. Охваченная смутной тревогой, девушка встала и позвала служанку.

Разбуженный теми же звуками, лорд Джулиан уже тоже был на ногах и торопливо одевался. Вскоре он вышел на палубу и увидел возвышавшуюся над головой гору парусины. Каждый фут паруса, имевшегося на «Коллин», был поднят на реи для того, чтобы поймать утренний бриз.

Впереди, по обе стороны, простиралась бескрайняя гладь океана, золотом сверкавшая под лучами солнца, всего лишь полудиском висевшего над горизонтом прямо по курсу. Капитан Блад стоял у перил полуюта и о чем-то препирался с одноглазым великаном Волверстоном, накануне возглавлявшим абордажную команду.

Едва лишь показался его светлость, как эти двое умолкли, и Блад, повернувшись, поздоровался с лордом Джулианом:

— Доброе утро. Вынужден признать, я допустил серьезную ошибку. Мне не следовало подходить к Ямайке так близко ночью, но не терпелось высадить вас на берег.

Говоря это, он указал рукой за корму, и лорд Джулиан, обернувшись, не сдержал возгласа изумления.

Там, не более чем в трех милях от них, лежала земля, тянувшаяся неровной ярко-зеленой полосой вдоль всего западного горизонта. А в паре миль со стороны открытого океана, следуя за ними, шли три больших белых корабля.

— На них нет флагов, но они принадлежат к ямайскому флоту, — без особого волнения заметил Блад. — Едва рассвело, мы обнаружили, что бежим прямо на них, повернули, и началась погоня. А так как «Коллин» в плавании вот уже четыре месяца, у нее настолько обросло днище, что она просто не в состоянии развивать нужную скорость.

— Словом, прежде чем вы, милорд, покончите с кораблями и сойдете на берег, похоже, вам предстоит еще раз побывать в бою, — сардонически прокомментировал слова капитана Волверстон.

— Об этом-то мы сейчас и спорили, — сказал Блад, — ибо я считаю, что мы ни в коем случае не должны драться при подобном раскладе.

— К черту весь этот твой расклад! — выругался Волверстон. — Видали и не такое! В Маракайбо расклад бы еще хуже, но мы всё же победили, захватив три судна.

— Да, но то были испанцы.

— А чем лучше эти черти под командованием тупого барбадосского плантатора? Что тебя тревожит, Питер? Я еще никогда не видел тебя таким перепуганным.

Позади них прогрохотала пушка.

— Вот и сигнал лечь в дрейф, — сказал Блад и тяжело вздохнул.

Волверстон вызывающе выпрямился перед своим капитаном.

— Да я скорее встречусь с полковником Бишопом в преисподней, чем соглашусь лечь в дрейф по его приказу! — и, вероятно, для пущей убедительности он сплюнул на палубу.

Тут в их разговор вступил его светлость:

— С вашего позволения я хотел бы заметить, что полковника Бишопа вам уж точно опасаться не следует. Учитывая ту услугу, которую вы оказали его племяннице и мне...

— Пфф! — прервал его Волверстон. — Вижу, вы совсем не знаете полковника Бишопа. Ни ради племянницы, ни ради родной матери он не откажется от крови, если думает, что она ему причитается. Он — законченный кровопийца, уж мы-то знаем — как-никак, мы с Питером были его рабами.

— Но здесь же я! — с величайшим достоинством произнес его светлость.

Волверстон громко расхохотался.

— Уверяю вас, — отрезал лорд Уэйд, — в Англии мое слово что-то да значит!

— В Англии, черт подери, может, и значит, но здесь у нас не Англия.

Громыхнула еще одна пушка, и ядро вспороло воду менее чем в кабельтове от кормы.

Блад перегнулся через поручни к белокурому юноше, стоявшему прямо под ним рядом с рулевым у штурвала, и спокойно сказал:

— Распорядись, чтобы убрали паруса, Джерри. Мы ложимся в дрейф.

Волверстон поспешил вмешаться:

— Секундочку, Джерри! Подожди-ка! — великан повернулся лицом к капитану. — Питер, да ты не в себе! Неужели ты всех нас обречешь на погибель из-за нежных чувств к этой холодной девчонке?

— Заткнись! — в ярости вскричал Блад.

Но Волверстон не собирался затыкаться.

— Так оно всё и есть, глупец ты этакий! Из-за этой чертовой юбки ты стал трусом. Это за нее ты трясешься, а она — племянница полковника Бишопа! Черт подери, дружище, ты получишь мятеж на борту, и я скорее сам возглавлю его, чем сдамся, чтобы оказаться повешенным в Порт-Ройяле!

Их взгляды встретились, и могучий колосс прочел безошибочную боль, отразившуюся в этих голубых глазах — глазах, которые ему доводилось видеть веселыми, злыми, хитрыми, безрассудными, но никогда — печальными.

— Ни для кого на борту, — заметил капитан Блад, — не может быть и речи о капитуляции, за исключением меня одного. Этому мерзавцу Бишопу нужен только лишь я. Я отправлю ему сообщение, в котором будет сказано, что я готов явиться на борт его судна вместе с мисс Бишоп и его светлостью и сдаться, но только лишь при условии, что «Коллин» позволят беспрепятственно уйти. Насколько я его знаю, на такую сделку он точно пойдет.

— Такая сделка никогда не будет ему предложена! — злобно прорычал Волверстон.

И тут на палубу вышла мисс Бишоп. Она слышала каждое слово и не постеснялась признать этот факт.

— Есть и другой выход, сэр, — сказала она, — который, возможно, вы упустили из виду, — она выглядела немного запыхавшейся, ее приятный мальчишеский голос немного дрожал. — Допустим, мой дядя и в самом деле такой кровопиец, каким вы его полагаете, но вы можете обезопасить себя, свой корабль и команду от его гнева, приняв предложение, сделанное вам вчера лордом Джулианом.

Блад ничего не ответил — лишь окинул ее ничего не выражающим взглядом.

— Чертовски верно, разрази меня гром! — нетерпеливо воскликнул его светлость. — Пусть мое слово, возможно, будет иметь мало веса в этих варварских широтах, слово короля уж точно будет уважено. Это тот путь, капитан Блад, которым вам следует пойти.

— Это каким же? — недоверчиво переспросил Волверстон, и Джерри Питт поднял голову до уровня палубы, чтобы услышать ответ.

— Путем Моргана, — ответил капитан Блад. — Поступить на королевскую службу и тем самым прикрыть нас всех.

Волверстон разинул рот от изумления.

— И... тебе было это предложено?

— Да, и он отверг данное предложение, хотя, видит Бог, оно куда предпочтительнее, чем упокоиться на дне моря, — сказал его светлость.

— Лучше объясни это людям, — крикнул Питт, и Волверстон одобрительно хмыкнул.

— Ничего подобного я не сделаю, — сказал Блад.

— Тогда это сделаю я, — заявил Питт и сразу же отправился исполнять задуманное, не обращая внимания на горячие возражения Блада.

Тот все еще протестовал, когда Питт вернулся с двумя третями команды, столпившимися за ним, и все они принялись уговаривать Блада воспользоваться этим единственным их шансом на спасение. Ирландец протестовал до тех пор, пока не вмешалась мисс Бишоп.

— Это благородное предложение, сэр, — сказала она с пылкостью, вызванной тем презрением, с которым Блад отнесся к данной оферте.

В голубых глазах капитана, пылавших, словно сапфиры, читалась непоколебимая твердость.

— То есть вы теперь полагаете, — спросил он, — что тот, кто был пиратом и вором, тем самым сможет искупить свою вину?

Отведя взгляд, мисс Бишоп ответила слегка дрогнувшим голосом:

— Если он нуждается в искуплении. Но, возможно, вынесенное о нем суждение было слишком суровым.

Голубые глаза сверкнули, твердо сжатые губы смягчились.

— Что ж, раз вы такого мнения, — сказал Блад, — то, в конце концов, может, и оставшись в живых, я смогу сделать что-то полезное, — он повернулся к лорду Джулиану. — Проставьте в патенте вчерашнюю дату. И, во имя любви к славе, произведите меня ни много ни мало в полковники, чтобы я мог говорить с Бишопом как мужчина с мужчиной.

Втайне радуясь успешному выполнению своей миссии, лорд Джулиан удалился в свою каюту, а Блад повторил приказ убрать паруса и лечь в дрейф. На этот раз ему подчинились без возражений. Когда он снова повернулся, чтобы обратиться к мисс Бишоп, той на палубе уже не было.

* * *

Когда корабли ямайского флота поравнялись с корсарами, Блад просигналил — пришлите, мол, шлюпку. Та подошла к «Коллин» с двумя десятками матросов на веслах, на корме сидел сам полковник Бишоп.

— По крайней мере, мужеством он обладает, — заметил Блад, наблюдая за приближающейся лодкой с фальшборта в средней части судна.

— Жажда крови зачастую подавляет благоразумие, — усмехнулся Волверстон.

Но определенные меры Бишоп все же принял. Ступив на палубу «Коллин», он объявил, что на нее направлены орудия трех его кораблей, готовые затопить судно при первых же проявлениях предательского вероломства.

Массивный мужчина с одутловатым красным лицом, он стоял, подбоченившись и широко расставив ноги, и злорадно взирал своими глазами-бусинками на грозного корсара, которого вынудил сдаться. Но этот вроде бы загнанный в угол корсар, явно ничуть не смутившись, беззаботно улыбнулся в знак приветствия.

— Добрый день, дорогой полковник. Весьма рад видеть вас таким здоровым и бодрым.

— И сердечно желающим повесить тебя, гнусного пирата, — проворчал вице-губернатор.

Блад повернулся к стоявшему рядом с ним лорду Джулиану:

— Слышите? Вы вообще когда-либо слышали нечто подобное? А что я вам говорил? Но, может, вы объясните полковнику, кто я такой.

— Имею честь сообщить вам, сэр, что перед вами — полковник Блад, джентльмен, состоящий на службе его величества.

Вице-губернатор нахмурился, испытав при виде этого изысканно одетого оратора глухой гнев, к которому, впрочем, примешивалось и некоторое недоумение, ибо наряд лорда Джулиана, его манера держаться и речь исключали возможность того, что он является членом команды Блада.

— Ты еще, черт подери, кто такой? — грубо спросил Бишоп.

— Вы не слишком-то вежливы, сэр, даже для колониального плантатора, — ответил его светлость с холодным упреком. — Меня зовут Уэйд, лорд Джулиан Уэйд. Я близкий родственник милорда Сандерленда и посланник его величества в этих варварских краях. Полагаю, вы были уведомлены о моем прибытии. Мой корабль, «Ройял Мэри», был потоплен испанским капером, и я, вероятно, никогда не добрался бы сюда, если бы не храбрость полковника Блада, который спас меня, а заодно и вашу племянницу.

Он указал на квартердек, где ждала со служанкой мисс Бишоп. Девушка помахала дяде рукой, подтверждая своим присутствием только что услышанную им невероятную и неприятную историю. Но полковник был настолько ошеломлен, что в этот момент не мог даже и думать о своей племяннице.

— Вы выдали этому человеку королевский офицерский патент? — смачно выругавшись, вице-губернатор скривил губы в полной презрения гримасе. — Документ должен быть немедленно аннулирован.

— На каком основании, скажите на милость? — осведомился его светлость ледяным тоном.

— На том, что вас, черт возьми, провели; что вы не ведали, что творите; не знали, что сделал этот человек. Когда-то он был мятежником, потом стал беглым рабом, теперь же он — кровожадный пират.

— Уверяю вас, сэр, мне обо всем этом известно. Я не так легко раздаю королевские патенты.

— Да неужели, забери вас чума!.. Позвольте мне сказать вам, что в данном случае вы поступили именно так. И как вице-губернатор Ямайки, назначенный его величеством королем Англии, на берегу я сам исправлю вашу ошибку. В Порт-Ройяле этого мерзавца ждет виселица.

Из толпы пиратов, собравшихся на шкафуте, донесся недовольный ропот, но лорд Джулиан быстро ответил:

— Если это и была ошибка, полковник, то отнюдь не моя. Я действую в соответствии с инструкциями милорда Сандерленда, который и поручил мне передать патент капитану Бладу, если тот согласится этот патент принять. У меня с собой письмо с прямым на сей счет распоряжением министра.

Он сделал паузу, давая тем самым Бишопу возможность уяснить суть происходящего, а затем добавил:

— Вы и теперь, сэр, осмелитесь настаивать на том, что это была ошибка, которую следует исправить? Готовы рискнуть?

Надменный, злорадный взгляд вице-губернатора дрогнул, а его полное лицо утратило часть своего яркого румянца.

— Не мне подвергать сомнению мудрость милорда Сандерленда, — произнес он наконец внезапно охрипшим голосом.

— Его светлость будет рад это услышать, — сказал лорд Джулиан.

Блад наконец-то позволил себе вздохнуть с облегчением.

— Что ж, теперь вам, полковник Бишоп, — сказал он, — остается решить: вернетесь ли вы на свой корабль или удостоите меня чести провести оставшуюся часть пути до Порт-Ройяла, куда я везу лорда Джулиана, в вашей компании.

Вице-губернатор отклонил это любезное приглашение. Удаляясь вместе с племянницей, он даже забыл поблагодарить капитана за ее спасение. Но мисс Бишоп сама исправила сие упущение, еще более подпитав и так уже заметно возросшие надежды Блада на искупление.

ЗАЛОЖНИК

«Коллин», большой корабль Питера Блада, выделявшийся из общей массы судов красным корпусом, стоял на якоре в огромной гавани Порт-Ройяла, столь просторной, что в ней могли бы пришвартоваться все корабли всех флотилий мира. Казалось, судно находится в плену, ибо чуть впереди, примерно в четверти мили по правому борту, высилась массивная круглая башня форта, в то время как на расстоянии пары кабельтовых за кормой и уже по левому борту располагались шесть военных кораблей ямайской эскадры.

С траверза корабля, на противоположном от гавани берегу, белели плоские фасады строений этого внушительных размеров города, спускавшегося к самой кромке воды.

Позади них подобно террасам поднимались красные крыши, обозначая пологий склон, на котором стоял город. Местами над этим склоном возвышались то башенка, то шпиль; еще дальше тянулись, насколько хватало глаз, зеленеющие холмы, над которыми этаким куполом из полированной стали висело небо. На кушетке из плетеного тростника, установленной на квартердеке и защищенной от ослепительного, обжигающего солнца самодельным тентом из коричневой парусины, развалившись лежал Питер Блад.

С нижней палубы доносилось шуршание швабр и журчание воды в шпигатах, потому что было еще совсем рано, и моряки под чутким руководством боцмана работали на шкафуте и баке. Несмотря на уже ощущавшийся зной, один из тружеников, не отвлекаясь от своего непосредственного занятия, находил в себе силы еще и на то, чтобы хрипло горланить скабрезную пиратскую песенку, общий смысл которой — в буквальном и, уж простите, совсем не поэтическом переводе — можно передать такими словами:

Взяв корабль на абордаж,
Мы пустили в ход клинки
И на дно синего моря
Отправили это корыто.
О-хо-хо, э-хе-хе!
Кто пойдет со мной на юг?

Блад тяжело вздохнул, и по его худощавому, загорелому лицу пробежала тень улыбки. Затем черные брови сошлись над ярко-голубыми глазами, и капитан погрузился в раздумья.

Он размышлял о своей странной судьбе, и ему казалось, что колесо ее совершило полный оборот.

Осужденный как мятежник и отправленный на плантации после битвы при Седжмуре, на Барбадосе он был продан в рабство богатому и жестокому плантатору по фамилии Бишоп. Сбежав из рабства, вскоре он стал адмиралом пиратского флота, наводившего ужас на Испанию и являвшегося причиной неизменно напряженных отношений между дворами Эскуриала и Сент-Джеймсского дворца.

Отчаявшись подчинить Блада силой, лорд Сандерленд, министр иностранных дел, решил вынудить его нарушить верность «Береговому братству», предложив поступить на королевскую службу. Блад отверг бы это предложение с надменным презрением, но целая цепь занятных обстоятельств опутала его своим сетями.

Корабль, на борту которого находился лорд Джулиан Уэйд, посланник и родственник лорда Сандерленда, у берегов Эспаньолы стал жертвой испанского капера, и лорд Джулиан был взят в плен вместе с мисс Арабеллой Бишоп, возвращавшейся с острова Сен-Николя на Ямайку, вице-губернатором которой теперь был ее дядя, еще в недавнем времени — барбадосский плантатор. Блад вызволил этих двоих из плена, а затем, в значительной степени именно из-за этого своего поступка, наткнулся на половину порт-ройялской флотилии под командованием самого полковника Бишопа, пощады от которого Бладу, как он знал наверняка, не приходилось ждать ни при каких обстоятельствах.

Таким образом, когда мисс Бишоп рекомендовала ему встать под защиту королевского офицерского патента, доставленного из Британии лордом Джулианом, Блад согласился — не из любви к жизни, но потому что она, презиравшая его за то, кем он стал, указала, что верным служением родине он сможет искупить прежние прегрешения.

Так вот и вышло, что ликование его злейшего врага, полковника Бишопа, испарилось в тот самый миг, когда уже достигло апогея и руки бывшего плантатора были готовы сомкнуться на шее пирата, которого он когда-то поклялся повесить. Вместо того чтобы отправиться на виселицу, Блад получил звание полковника королевского флота и полную свободу действий в водах Порт-Ройяла, а его чудесный корабль вошел в состав ямайской эскадры.

Вскоре, когда весть об этом достигнет пиратского флота, напрасно ожидающего его на Тортуге, имя Блада, до сих пор столь высоко почитаемое всем «Береговым братством», станет притчей во языцех, будет упоминаться с омерзением; впрочем, возможно, еще прежде ему придется поплатиться жизнью за то, что всеми будет расценено как «предательское отступничество». И ради чего он поставил себя в такое вот положение? Ради того, чтобы

искупить вину в глазах девчонки, которая, даже несмотря на это, все еще продолжает питать к нему отвращение.

Блад почти не видел Арабеллу с тех пор, как явился в Порт-Ройял две недели назад, и это несмотря на то, что он каждый день ходил в форт, где жил ее дядя, не обращая внимания на неприкрытую враждебность и злобу, с которыми относился к нему полковник. Похоже, все свое время и внимание мисс Бишоп уделяла лорду Джулиану Уэйду, изысканному и элегантному молодому вельможе из числа бездельников Сент-Джеймсского двора. И какие, спрашивается, шансы имел Блад, отчаянный авантюрист, долгое время стоявший вне закона, против такого соперника, к тому же человека — как вынужден был признавать сам ирландец — не без способностей?

Душу его переполняла такая горечь, что Блад чувствовал себя похожим на пса из басни, который выпустил из пасти кость, погнавшись за ее отражением.

Со скрежетом ударилась о борт «Коллин» незаметно подошедшая от берега шлюпка, и послышался чей-то хриплый голос. С корабельной колокольни донеслись две чистые и резкие серебристые ноты, вслед за которыми раздался длинный, пронзительный свисток боцмана.

Эти звуки отвлекли полковника Блада от его мрачных размышлений. Он встал, высокий энергичный мужчина, чрезвычайно элегантный в черной с серебром одежде, пошитой по испанской моде, с длинными локонами черных, как смоль, волос, доходивших до стоячего ворота из тонкой шерсти, украшавшего его дублет, и подошел к резным перилам квартердека как раз в тот момент, когда Джерри Питт, штурман «Коллин», ступил на палубу корабля. Этот подвижный стройный белокурый парень из Девоншира был товарищем Блада по рабству на Барбадосе и его ближайшим другом в те три года пиратства, что прошли со дня их побега.

— Тебе записка от вице-губернатора, — сказал Джерри и протянул сложенный листок, который держал в руке.

Блад сломал печать и быстро пробежал записку глазами. Питт, в просторной рубахе и бриджах, наблюдал за ним, прислонившись к перилам, и на его честном, открытом лице читалась явная озабоченность.

Блад коротко хохотнул и скривил губы.

— Весьма настоятельный вызов, — пробормотал он, возвращая листок другу.

Ознакомившись с текстом, Питт полувопросительно-полуутвердительно произнес:

— Ты же не пойдешь?

— Почему бы и нет? Я же и так бываю в форте чуть ли не каждый день.

— Но речь ведь пойдет не о тебе, а о Волверстоне. Похоже, у Бишопа наконец-то появился новый серьезный повод для недовольства. Ты ведь и сам знаешь, Питер, что только присутствие здесь лорда Джулиана мешает этому мерзавцу в полной мере проявить всю свою ненависть к тебе. Если сейчас он сможет доказать, что...

— А даже если и сможет? — беззаботно прервал его Блад. — Разве на берегу я буду в большей опасности, чем здесь, на борту, теперь, когда у нас осталось всего пятьдесят человек, и все они — вялые, равнодушные негодяи, которым все равно, кому служить: мне или королю? Джерри, дорогой мой, клянусь Богом: стоя здесь, между тем фортом и вон той вот флотилией, «Коллин» все равно что в плену. Не забывай об этом.

Джерри сжал кулаки.

— Тогда почему ты позволил Волверстону и остальным уйти? — выкрикнул он чуть ли не с горечью.

— Говоря по совести, а что я мог сделать? — и, поскольку Питт ничего не ответил, Блад пожал плечами и спокойно добавил: — Я возьму шляпу, трость и шпагу и отправлюсь на берег в шлюпке. Распорядись — пусть ее подготовят.

— Ты же сам отдаешь себя в руки Бишопа! — вскричал Джерри.

— Ну, это мы еще посмотрим. Возможно, он обнаружит, что меня не так-то и легко взять, как ему кажется, — и, рассмеявшись, Блад удалился в свою каюту.

На этот смех Джерри Питт ответил крепким ругательством. Несколько мгновений он стоял в нерешительности там, где его оставил Блад, затем медленно, почти нехотя спустился по трапу, чтобы отдать приказ о спуске на воду шлюпки.

— Если с тобой что-нибудь случится, Питер, — сказал он, когда Блад снова появился на палубе, — пусть Бишоп пеняет на себя. Эти пятьдесят парней сейчас, может, и вялые, как ты говоришь, но — провалиться мне на этом месте! — если полковник проведет нас, от их вялости не останется и следа.

— А что со мной может случиться? Не волнуйся, Джерри, к обеду я непременно вернусь. — Блад спустился в ожидавшую его лодку. Впрочем, он и сам прекрасно осознавал, что, отправляясь этим утром на берег, подвергает себя огромному риску. Быть может, именно поэтому, ступив на узкий мол в тени невысокой внешней стены форта, из амбразур которой торчали черные жерла тяжелых пушек, он приказал гребцам ждать его на этом же месте: могло выйти и так, что ему пришлось бы отступать в страшной спешке.

* * *

Неспешной походкой он обогнул защищенную зубцами и бойницами стену и через большие ворота прошел во внутренний двор в задней части форта. Там бездельничало с полдюжины солдат, а в тени стены неспешно прогуливался сам комендант. Увидев полковника Блада, он резко остановился и, как и полагалось по уставу, отдал ему честь, но улыбка, приподнявшая жесткие усы офицера, была мрачно-сардонической.

Внимание полковника Блада, однако, было обращено на совсем другое. Справа от него простирался большой сад, за которым возвышался белый

дом — резиденция вице-губернатора. На главной аллее этого сада, обрамленной пальмами и сандаловыми деревьями, Блад заприметил мисс Бишоп, прогуливавшуюся в полном одиночестве. Ускорив шаг, он быстро пересек двор.

— Доброе утро, мэм, — приветствовал он девушку, снимая шляпу, и с ноткой протеста добавил: — Но, право же, это крайне немилосердно, заставлять меня бегать в такую жару!

— Зачем же вы бежали? — холодно спросила мисс Бишоп, стройная, держащая безукоризненно правильную осанку, словом, если не считать странной невозмутимости, в точности такая, какой и подобает быть юной леди. — Я спешу, — добавила она, — поэтому, надеюсь, вы извините меня, что не могу задержаться.

— До моего появления вы совсем не спешили, — промолвил Блад, и хотя губы его улыбались, взгляд голубых глаз был весьма жестким.

— Раз уж вы это заметили, сэр, меня удивляет ваша настойчивость.

— Просто мне непонятно, почему вы меня избегаете. А я по натуре человек любознательный.

Дыша совершенно спокойно и незатрудненно, она смерила его пристальным взглядом ясных карих глаз, а затем сказала:

— Я, однако же, полагала, что предельно ясно дала вам понять причину моего нежелания видеть вас.

— Намекаете на то, что я вор и пират?

Мисс Бишоп пожала плечами и отвернулась.

— Мне бы не хотелось повторять слова, которые, похоже, вы сочли оскорбительными, — холодно сказала она.

— Вижу, хоть в чем-то вы способны быть милосердной, — Блад мягко рассмеялся. — Ей-богу, теперь мне следует быть признательным вам и за такую малость. И все же я никак не могу забыть, что, когда я был всего лишь рабом в имении вашего дяди на Барбадосе, вы относились ко мне даже с некоторой добротой.

— Тогда вы были другим. Вы оказались там за участие в мятеже. Но это было единственным вашим проступком, а мятежника уважать можно. В то время вы были просто несчастным джентльменом.

— А как вы можете назвать меня сейчас?

— Едва ли несчастным. Мы слышали о вашей неизменной удаче на море, о ней тут уже слагают легенды. Ходили слухи и кое о чем другом.

— Не сомневаюсь, черт подери, что все это ложь, — и я могу вам доказать это!

— Не вижу, к чему вам утруждать себя подобными «доказательствами», — заметила мисс Бишоп, чтобы еще больше его обескуражить.

— Да хотя бы для того чтобы вы не думали обо мне так плохо.

— То, что я думаю о вас, сэр, не так уж и важно.

— Как вы можете говорить так теперь? Вы же знаете, почему я согласился поступить на королевскую службу, которую презираю! Разве не вы просили —

чуть ли не умоляли — меня принять это предложение и тем самым получить возможность искупить грехи прошлого? Я пошел на это не для того, чтобы загладить вину, но чтобы восстановить свое доброе имя в ваших глазах. Да и вообще, принимая во внимание тот факт, что я имел все основания гневаться, я не сделал ничего такого, чего должен стыдиться.

Не выдержав его пристального взгляда, мисс Бишоп опустила глаза.

— Я... я не понимаю, почему вы так говорите со мной, — пробормотала она уже без прежней уверенности.

— В самом деле не понимаете? — воскликнул Блад. — Что ж, я вам объясню.

— О нет, прошу вас!.. Умоляю, не делайте этого! — в ее голосе прозвучала подлинная тревога, но Блад этой эмоции не заметил.

— Вы, наверное, помните тот день, когда пару недель назад на меня шли три корабля ямайского флота. Как думаете, что заставило меня отказаться от боя? Вы слышали, как Волверстон говорил, что мне доводилось бывать и в более затруднительных ситуациях и выходить из них победителем. Возможно, вы слышали и то, как он сказал, что именно ваше присутствие на борту сделало меня трусом. Так вот, то была истинная правда. Мне была невыносима сама мысль, что вы тоже можете пострадать в ужасной схватке, которая неизбежно началась бы, вступи я в сражение.

— Я... я поняла это, и, поверьте, очень вам благодарна. И всегда буду благодарна.

— Возможно. Но если вы и дальше намерены думать обо мне, как о пирате и воре, то, право же, лучше оставьте эту вашу благодарность при себе. Мне она ни к чему.

Щеки мисс Бишоп окрасил легкий румянец.

— Вы не так всё поняли, — пробормотала она. — Дело не в этом.

— Тогда в чем же? — спросил Блад и тут же добавил: — В лорде Джулиане?

Девушка вздрогнула и смерила его негодующим взглядом.

— О, будьте со мной откровенны! — увещевал ее Блад. — Сделайте милость, скажите прямо!

— Вы... вы совершенно невыносимы, — проговорила она, задрав подбородок. — Прошу вас, позвольте пройти.

Блад отступил в сторону и широкополой шляпой с перьями, которую все еще держал в руке, сделал жест в сторону дома.

— Не смею вас больше задерживать, мэм.

Мисс Бишоп прошла пару шагов, затем остановилась и снова повернулась к нему лицом. Было хорошо заметно, как под легким лифом из серого шелка вздымается изящная грудь.

— В тот день три года назад, — сказала она, — когда дон Диего Вальдес напал на Бриджтаун, я видела такое, что буду с ужасом вспоминать до своего смертного часа, и позднее слышала рассказы о других, еще более жутких событиях. И теперь, когда я думаю о том, что Вальдес и его люди творили тогда

на Барбадосе, а вы и ваши пираты с тех самых пор творите в десятках испанских поселений, может ли вас удивлять, что я... что я желаю как можно реже бывать в вашем обществе, пока ваши новые обязанности все еще удерживают вас в Порт-Ройяле?

На этом она не остановилась. Чувствуя себя обязанной объясниться, она дошла почти до границ откровенности.

— Возможно, потому что некогда я почитала вас как несчастного джентльмена, жалела за выпавшие на вашу долю несчастья, уважала за проявленные вами таланты и ту стойкость, с которой вы переносили невзгоды, сейчас я с куда большей готовностью прихожу в ужас при мысли о том, кем вы стали.

Этим — крайне беспощадно — она нанесла Бладу смертельную рану, разрушив все его надежды. Уже в одних только этих словах мисс Бишоп можно было найти достаточную причину для ее отчужденности, но его закипавшая ревность предпочла предложенной ею иную. Да и вообще, ее объяснение было столь исчерпывающим и полным, что Блад узрел в нем и не причину вовсе, а просто предлог.

— Хо, мэм! — воскликнул он, и в его резком голосе прозвучала насмешка. — Qui s'excuse, s'accuse[1]. Французский вы, несомненно, знаете.

— Чтобы догадаться, к чему вы клоните, знания одного только французского явно недостаточно. Впрочем, все это неважно. Тот Питер Блад, которого я когда-то знала на Барбадосе — и уважала, — давно уже мертв, сэр.

— Полагаю, в этом вы правы, — ответил Блад с еще большей горечью. — Ибо это вы убили его, — и в ответ на ее «ах!» и быстрый взгляд, полный презрения и вместе с тем изумления, он объяснился: — Да, это вы убили его — в тот день, когда уговорили принять предложение, которое сделало его отступником и обманщиком по отношению к тем, кто ему доверял. При всех тех прегрешениях, которые он совершил, и всех тех, которые добавляет к ним ваше воображение, он по меньшей мере до того дня мог похвастаться, что никогда не нарушал данного кому-либо слова. Он уступил, поскольку увидел, что вы презираете его как пирата, и поскольку вы притворно представили все так, будто таким образом он сможет искупить свою вину, И ради чего он все это сделал? Ради того, чтобы сейчас слышать те самые слова, которые вы только что мне сказали — что, хотя я теперь и чист в глазах мира и закона, в ваших глазах я остаюсь пиратом и вором, человеком, заслуживающим презрения, тем, кого следует избегать... Разве все это было сделано не для того, чтобы обмануть меня? Или сейчас вы скажете, будто не понимали, что меня волнует искупление лишь в ваших глазах? Что для меня весь прочий мир и закон? Я показал,... — он резко прервался. — Ну да ладно! Я и так уже сказал достаточно, возможно, даже более чем достаточно; потому что, в конечном счете, со всей этой растреклятой байдой, на которую вы меня толкнули ради непонятно чего, уже все равно ничего не поделаешь. Доброго вам дня, мэм.

[1] Буквально: кто оправдывается, тот сам себя обвиняет (фр.)

Блад повернулся, с какой-то резкой свирепостью надел шляпу и, не дожидаясь ответа, зашагал в направлении дома.

Невольник-негр провел его на расположенную с другой стороны дома широкую веранду, в тени которой полковник Бишоп и милорд Джулиан Уэйд спасались от удушливой жары.

Они странно контрастировали, эти двое: вице-губернатор, пожилой, крупный и тучный мужчина с грубым лицом цвета красного дерева, и лорд Джулиан — молодой, высокий и элегантный, с благородными чертами лица и тягучим музыкальным голосом.

Полковник Бишоп приветствовал гостя серией маловразумительных, но явно недоброжелательных хрюканий. Он не удосужился подняться, даже когда его светлость, повинуясь инстинктам более изысканного воспитания, подал ему пример. Нахмурив брови, состоятельный барбадосский плантатор пристально разглядывал полковника Блада, который некогда был его рабом, в то время как сам полковник Блад стоял, держа в руке шляпу и слегка опираясь на длинную, украшенную лентами трость, и просто ждал, ничем не выдавая кипевшего в нем гнева, вызванного и неуклонно подпитываемого столь высокомерным приемом.

Наконец суровым и вместе с тем самодовольным тоном полковник Бишоп заявил:

— Я послал за вами, полковник Блад, из-за кое-каких новостей, только что до меня дошедших. Мне сообщили, что вчера вечером из гавани вышел фрегат с вашим товарищем Волверстоном и сотней человек из тех ста пятидесяти, что служили под вашим началом. Мы с его светлостью были бы рады получить от вас объяснение — на каком основании вы разрешили им уйти?

— Разрешил? — переспросил Блад. — Да я приказал им уйти.

Лорд Джулиан удивленно приподнял бровь, в то время как Бишоп, на какой-то миг, казалось бы, утративший дар речи, с оттенком недоверия воскликнул:

— Приказали? Раны Господни! Может, вы объяснитесь точнее? Куда именно направился Волверстон?

— На Тортугу. Я поручил ему от моего имени сообщить командирам четырех других кораблей моего флота о том, что здесь произошло и почему им не следует больше меня ждать.

Широкое лицо Бишопа, казалось, раздулось и еще больше побагровело.

— Вы слышали, милорд? — вскричал он. — Он намеренно снова выпустил Волверстона в море — Волверстона, самого опасного из всей этой пиратской шайки после него самого. Надеюсь, ваша светлость теперь понимает, какую ошибку вы совершили, выдав, вопреки всем моим советам, королевский офицерский патент такому человеку. Ведь это же... это же просто мятеж... измена! Клянусь всеми святыми, эти делом должен заняться военный трибунал!

— О, да прекратите уже нести вздор о мятеже, измене и военных трибуналах. — Блад надел шляпу и, не ожидая приглашения, сел. — Я послал

Волверстона сообщить Хагторпу, Кристиану, Ибервилю и остальным моим парням, что у них есть месяц на размышление — последовать моему примеру, бросить пиратство и вернуться к boucans или заготовке леса, или же убраться из Карибского моря. Вот и всё, что я сделал.

— Ну, а как же все эти люди? — ровным голосом, не повышая тона спросил лорд Джулиан. — Я о тех ста пиратах, которых Волверстон взял с собой

— Это те из моей команды, кому королевская служба не пришлась по душе, — все они предпочли искать занятие иного рода. Нашим соглашением, милорд, предусматривалось, что никакому принуждению мои люди подвергаться не будут.

— Я ничего такого не помню, — сказал его светлость.

— Возможно, это и не было заявлено прямо. Но вы же не думали, что я согласился бы на что-то другое.

И тут вице-губернатор взорвался:

— Вы предупредили этих гнусных мерзавцев, что торчат на Тортуге, специально, для того чтобы они могли сбежать! Вот что вы сделали! Вот как вы злоупотребляете офицерским патентом, который спас вашу шею от виселицы!

С бесстрастным, словно маска, лицом, полковник Блад смерил его долгим, пристальным взглядом, а затем тихо сказал:

— Целью миссии лорда Уэйлда было — не принимая во внимание ваши собственные аппетиты, которые, как всем известно, являются аппетитами палача — очистить Карибское море от корсаров. Я уверен, что выбрал наиболее эффективный способ для выполнения этой задачи. Известие о моем поступлении на королевскую службу само по себе должно привести к роспуску флота, которым я до недавнего времени командовал.

— Ха! — злорадно усмехнулся вице-губернатор. — А если этого не случится?

— У нас будет достаточно времени для того, чтобы решить, что нам делать.

Лорд Джулиан предотвратил новую вспышку гнева со стороны Бишопа.

— Возможно, — сказал он, — милорд Сандерленд будет доволен, если все выйдет так, как вы обещаете.

Это были вежливые примирительные слова, продиктованные дружелюбным отношением к Бладу и пониманием трудного положения, в котором оказался пират. Его светлость был склонен придерживаться буквы своих инструкций, поэтому сейчас он дружески протягивал корсару руку, чтобы помочь преодолеть последнее и самое трудное препятствие, которое сам Блад позволил Бишопу поставить на пути его искупления.

К сожалению, этот молодой дворянин, в котором Питер Блад видел успешного соперника, был последним человеком, от кого ирландец готов был в данный момент принять помощь.

— В любом случае, — ответил Блад с легким вызовом и отнюдь не легкой насмешкой, — это максимум того, что вам следует ожидать от меня, и уж точно максимум того, что вы получите.

Его светлость нахмурился.

— Не думаю, что мне нравится, как вы это преподносите. Разрази меня гром, полковник Блад, но мне это совсем не нравится!

— Сожалею, что это так, — дерзко произнес Блад, — но что есть, то есть, и я не намерен что-либо изменять.

Глаза его светлости, казалось, чуть расширились. Это были серые глаза, ясные, честные и бесстрашные.

— Ха! — сказал он. — А вы на редкость невежливый тип. Вы разочаровываете меня, полковник Блад. Я почему-то полагал, что вы вполне можете быть джентльменом.

— И это не единственная ошибка вашей светлости, — вставил Бишоп. — Вы совершили еще более грубую, выдав этому мерзавцу офицерский патент и тем самым буквально сняв его с виселицы, которую я уже приготовил для него в Порт-Ройяле.

— Да, но самая грубая ошибка во всей этой истории с патентом, — сказал его светлости Блад, — была допущена, когда этого жирного работорговца назначили вице-губернатором Ямайки, тогда как его следовало бы назначить ее палачом. Эта должность как нельзя лучше соответствует его натуре.

— Полковник Блад! — резко воскликнул его светлость. — Честное слово, сэр, вы заходите слишком далеко. Вы...

Но тут Бишоп прервал его. С усилием поднявшись на ноги, он излил свою ярость в непечатных выражениях. Полковник Блад, также поднявшийся на ноги, стоял перед ним с бесстрастным видом, ожидая, пока буря утихнет. Когда наконец это произошло, он спокойно, словно полковник Бишоп ничего и не говорил, обратился к лорду Джулиану.

— Ваша светлость, кажется, хотели что-то сказать? — спросил он с вызывающей мягкостью.

Но к его светлости уже вернулось его обычное самообладание и прежняя склонность занимать примирительную позицию. Рассмеявшись и пожав плечами, он заметил:

— Право же, мы слишком горячимся. Видит Бог, этот проклятый климат тоже в немалой степени этому способствует. Возможно, полковник Бишоп, вы слишком непреклонны, а вы, сэр, определенно чересчур вспыльчивы. Я уже заявил от имени милорда Сандерленда, что готов дождаться результатов вашего эксперимента.

Но ярость Бишопа к этому моменту достигла той стадии, когда ее было уже невозможно сдержать.

— Вот, значит, как? — взревел он. — Ну, а я, в отличие от вас, не готов. И уж позвольте мне, ваша светлость, решить этот вопрос самому. В любом случае я беру на себя риск действовать под свою личную ответственность.

Лорду Джулиану, похоже, уже надоело это сражение. Устало улыбнувшись, он снова пожал плечами и махнул рукой — хорошо, мол, валяйте. Вице-губернатор продолжал бушевать:

— Поскольку милорд произвел вас в полковники, Блад, я не имею права разделаться с вами за пиратство так, как вы того заслуживаете. Но вы отве-

тите за свои действия в отношении Волверстона перед военным трибуналом и понесете ответственность за последствия.

— Понимаю, — сказал Блад. — И именно вы как вице-губернатор будете председательствовать на этом военном трибунале. Раз уж вы получили возможность свести старые счеты, повесив меня, вам абсолютно без разницы, как вы этого добьетесь! — рассмеявшись, он добавил: — Praemonitus praemunitus.

— И что это должно означать? — резко спросил лорд Джулиан.

— Я полагал, вы, ваша светлость, — человек образованный.

Казалось, Блад намеренно ведет себя как можно более вызывающе.

— Я спрашиваю не о буквальном значении этих слов, сэр, — произнес лорд Джулиан с ледяным достоинством. — Я хочу знать, какой смысл в них вкладываете вы.

— Позволю вашей светлости строить на сей счет догадки, — сказал Блад. — Хорошего вам дня, джентльмены!

Взмахнув широкополой шляпой с перьями, он изобразил крайне элегантный поклон.

— Прежде чем вы уйдете, — сказал Бишоп, — и чтобы уберечь вас от какой-либо праздной опрометчивости, скажу вам, что капитан порта и комендант уже получили приказы. Вы не покинете Порт-Ройял, ибо по вам плачет висельница! Будь я проклят, если вы не найдете вечную стоянку здесь, на местном Пирсе для казней!

Полковник Блад весь подобрался, его ярко-голубые глаза впились в обрюзгшее лицо смертельного врага. Переложив длинную трость в левую руку, а правую небрежно засунув за отворот дублета, Блад повернулся к задумчиво хмурившемуся лорду Джулиану.

— Кажется, ваша светлость, вы обещали мне неприкосновенность.

— Возможно, и обещал, — ответил лорд Уэйд, — но вы затрудняете выполнение этого обещания своим собственным поведением, — он поднялся на ноги. — Вы оказали мне услугу, полковник Блад, и я надеялся, что мы сможем стать друзьями. Но поскольку вы, похоже, предпочитаете иное... — пожав плечами, он махнул рукой в сторону вице-губернатора.

Блад посмотрел на его светлость с нескрываемой враждебностью. Затем рассмеялся — неприятным, злобным смехом.

— Вы хотите сказать, что вам недостает силы характера, чтобы противостоять требованиям этого мордоплюя. Что ж, как я и сказал, praemonitus praemunitus. Полагаю, Бишоп, в латыни вы не сильны, а то бы знали, что это означает «предупрежден значит вооружен».

— Предупрежден? Ха! — взрычал Бишоп. — Ваше предупреждение несколько запоздало. Вы не покинете этот дом!

Сделав шаг к двери, он позвал, было, повысив голос: — Эй, там!..

Но тут же, шумно втянув в себя воздух, запнулся. Вытащив из-за отворота дублета правую руку, полковник Блад держал в ней длинный пистолет

в богато украшенной драгоценными камнями серебряной оправе, и дуло этого пистолета смотрело вице-губернатору прямо в лоб.

— И вооружен, — сказал Блад. — Ни с места, милорд, а то как бы не произошел несчастный случай.

Лорд Уэйд, уже бросившийся было на помощь Бишопу, мгновенно остановился. В один миг побледневший вице-губернатор с удрученным видом покачивался на нетвердых ногах. Полковник Блад смотрел на него столь мрачно, что паника Бишопа лишь усилилась.

— Я и сам удивлен, что не пристрелил вас без лишних слов, жирный вы негодяй. И если я этого не сделал, то по той же причине, по которой однажды вернул вам вашу почти что потерянную жизнь. Вам, конечно же, неизвестна эта причина, но, возможно, сам тот факт, что она существует, станет для вас утешением. Вместе с тем хочу вас предупредить: не слишком злоупотребляйте моей щедростью, которая сейчас обретается в моем указательном пальце, лежащем на спусковом крючке. — Блад отбросил от себя трость, высвободив тем самым левую руку. — Будьте так добры, полковник Бишоп, протяните ко мне вашу руку. Давайте же, протягивайте!

Побуждаемый этим резким тоном, повелительным взглядом этих живых, решительных глаз и поблескиванием пистолета, Бишоп подчинился без возражений. Его недавнее нецензурное многословие иссякло; он не мог выдавить из себя даже слово. Полковник Блад продел свою левую руку сквозь согнутую руку губернатора, потом засунул правую, все еще державшую оружие, за отворот камзола.

— Хоть его и не видно, тем не менее пистолет нацелен на вас, и даю вам честное слово, что при малейшей провокации, независимо от того, от вас она будет исходить или от кого-то еще, я пристрелю вас без колебаний... Вы тоже, лорд Джулиан, имейте это в виду. А теперь, жирный вы палач, давайте, шагайте, да как можно живее и бодрее, и ведите себя как можно естественнее. Не забывайте, ваша жизнь висит на волоске.

Слонявшийся по двору форта комендант, которому было приказано быть наготове и иметь при себе некоторое количество людей на случай ареста полковника Блада, был крайне изумлен занятным зрелищем, представшим его взору: вице-губернатор Ямайки шел под руку с предполагаемым пленником, находясь с ним, судя по всему, в наиприятельских отношениях, ибо полковник Блад оживленно болтал и беззаботно смеялся.

Они беспрепятственно вышли за ворота и столь же беспрепятственно добрались до мола, где их ждала шлюпка с «Коллин». В ней они расположились на корме, и их обоих, сидевших бок о бок — ни дать ни взять закадычные друзья, — отвезли на большой красный корабль, на борту которого, сгорая от нетерпения, ждал новостей Джерри Питт.

Нетрудно представить, как он изумился, когда увидел с трудом поднимающегося по веревочной лестнице вице-губернатора и следующего за ним буквально по пятам Блада.

— Конечно, как ты и предполагал, Джерри, я угодил в ловушку! — приветствовал друга Блад. — Но я все же выбрался и забрал траппера[1] с собой. Он очень любит жизнь, этот жирный трус.

Полковник Бишоп стоял на шкафуте. Его широкое лицо посерело, рот отвис, он боялся даже взглянуть на развалившихся неподалеку свирепых парней, которых мимоходом заметил краем своих испуганных выпученных глаз. Блад прокричал приказ боцману, стоявшему у переборки бака.

— Перекинь-ка мне веревку с петлей через нок-рею, на случай, если понадобится. Не пугайтесь, дорогой полковник. Это всего лишь мера предосторожности — вдруг вам вздумается проявить несговорчивость, хотя, уверен, этого не случится. Мы обсудим вопрос за трапезой, поскольку, я надеюсь, вы не откажете мне в чести пообедать в моей компании.

Блад отвел безвольного, усмиренного задиру в свою большую каюту, и негр в белых штанах до колен и рубахе из хлопка по его команде проворно сервировал стол.

Рухнув на рундук, стоявший под кормовыми окнами, полковник Бишоп, заикаясь, пробормотал:

— М-м-могу я с-спросить, к-каковы ваши н-намерения?

— Ничего зловещего, полковник, в них нет. Хотя вы вполне заслуживаете этой самой веревки на нок-рее, уверяю вас, к ней мы прибегнем лишь в крайнем случае. Вы сказали, что его светлость совершил ошибку, вручив мне патент, который имел честь выписать для меня сам министр иностранных дел. В этом, пожалуй, вы правы, так что, думаю, я вернусь на Тортугу к моим пиратам, — они, по крайней мере, люди честные и порядочные. Вас же я возьму на борт в качестве заложника.

— Боже!.. — простонал вице-губернатор. — Вы... вы же не хотите сказать, что повезете меня на Тортугу?

Блад громко, от души рассмеялся.

— О, я бы никогда не оказал вам столь дрянной услуги! Нет, нет. Я хочу лишь одного — чтобы мне был обеспечен свободный выход из Порт-Ройяла. Вы отдали какие-то распоряжения капитану порта и коменданту этого чертова форта. Сейчас вы изволите вызвать их обоих сюда, на корабль, и сообщить им в моем присутствии, что сегодня же, во второй половине дня, «Коллин» уйдет в море по служебной надобности и никто не должен препятствовать ее отбытию. Чтобы я окончательно мог убедиться в их повиновении, им и самим придется совершить со мной небольшое путешествие. Вот и всё, что мне от вас нужно. Теперь пишите — если, конечно, не предпочитаете нок-рею. Принуждать к чему-либо я вас не намерен. Выбор исключительно за вами самим.

Вице-губернатор взял протянутую ему ручку и нетвердой рукой написал письмо своим офицерам.

Отправив послание на берег, Блад пригласил своего невольного гостя к столу.

---

[1] *Траппер* — охотник, ставящий ловушки (от англ. trap — «ловушка»).

— Надеюсь, полковник, у вас, как обычно, отменный аппетит.

Имевший весьма жалкий вид Бишоп занял указанное ему место, но от страха не мог даже думать о еде — да и кто бы, оказавшись в его положении, мог? Впрочем, Блад и не настаивал. Сам же он уплетал за обе щеки. Не успел он разделаться с обедом и наполовину, как появился Джерри Питт и сообщил, что прибыл лорд Джулиан и просит немедленно его принять. Блад рассмеялся.

— Я ждал его светлость, — сказал он. — Приведи его сюда.

Лорд Джулиан, вошедший в каюту с крайне суровым и чинным видом, понял обстановку с первого же взгляда.

Полковник Блад поднялся ему навстречу.

— Весьма любезно с вашей стороны присоединиться к нам, милорд, — очень даже по-дружески!

— Я нахожу ваш юмор, полковник Блад, — резко ответил его светлость, — несколько неуместным. Не знаю, каковы ваши намерения, но я хотел бы спросить: вы осознаёте, на какой риск идете?

— Я тоже, в свою очередь, хотел бы спросить: осознавали ли вы, ваша светлость, на какой риск шли, отправляясь — как, впрочем, я и рассчитывал — ко мне на корабль?

— Что это значит, сэр?

Блад подал знак стоявшему позади Бишопа негру.

— Поставь-ка стул для его светлости. Джерри, отправь шлюпку его светлости обратно на берег. Скажи, что он вернется немного позднее.

— Что? — воскликнул лорд Джулиан. — Разрази меня гром! Вы хотите меня задержать? Уж не тронулись ли вы умом?

— Нет, лучше подожди, Джерри, — на тот случай, если его светлость вдруг впадет в ярость, — сказал Блад. — Тим, — повернулся он к негру, — ты слышал распоряжение? Передай Хейтону — пусть доставит по назначению.

— Может, вы всё же скажете мне, что намерены делать, сэр? — дрожа от гнева, потребовал его светлость.

— Хочу всего-навсего обезопасить себя самого и моих парней от здешней виселицы этого гнусного душегуба. Я знал, что, в силу своего благородства, вы не оставите его в беде и последуете за ним сюда, и уже отправил на берег написанную им записку с приказом капитану порта и коменданту форта немедленно явиться на судно. Как только они поднимутся на борт «Коллин», у меня будут все заложники, необходимые мне для безопасного выхода из гавани.

— Негодяй! — процедил его светлость сквозь зубы.

— Ну, это как посмотреть, — сказал Блад. — Обычно я ни от кого не терплю оскорблений, но, учитывая, что в свое время вы по доброй воле оказали мне услугу, а сейчас поневоле оказываете еще одну, я оставлю вашу грубость без внимания.

Его светлость рассмеялся.

— Глупец, неужели вы думаете, что я прибыл бы на ваш пиратский корабль, не приняв необходимых мер? Я подробно проинформировал комен-

данта о том, как вы вынудили полковника Бишопа сопровождать вас. Судите сами, явится ли он или капитан порта сюда и будет ли вам позволено отплыть беспрепятственно.

У Блада вытянулось лицо.

— Жаль, если всё это так, — серьезно сказал он.

— Я и не сомневался, что вы пожалеете.

— О, дело вовсе не во мне. Мне жаль вице-губернатора. Знаете, что вы натворили? Вы чуть ли не собственноручно накинули на его шею веревку с петлей.

— Боже Всемогущий! — воскликнул Бишоп в приступе внезапной паники.

— Если вслед моему кораблю прозвучит хоть один выстрел, вице-губернатора тут же вздернут на нок-рею. Впрочем, полковник Бишоп, у вас еще есть надежда на спасение, одна-единственная, и заключается она в том, что я все же сообщу на берег об этом своем намерении... И, чтобы, насколько это возможно, выправить сложившуюся тревожную ситуацию, вами же, милорд, и созданную, именно вы, ваша светлость, данное сообщение и доставите.

— Да я скорее встречусь с вами в аду, чем сделаю это! — раздраженно пробурчал его светлость.

— Вы ведете себя крайне неблагоразумно. Но, если вы собираетесь и дальше стоять на своем, можно будет отправить и кого-то другого, а лишний заложник на борту, на которого я изначально и рассчитывал, еще больше укрепит мою позицию.

Лорд Джулиан изумленно уставился на него, только теперь сообразив, от чего имел неосторожность отказаться.

— Может, все же передумаете? — спросил Блад.

— Богом вас заклинаю, милорд, — пролепетал Бишоп, — сделайте все так, как он просит. Этот треклятый пират держит меня за горло...

Его светлость бросил на вице-губернатора взгляд, весьма далекий от восхищения, затем, повернувшись к Бладу, медленно произнес:

— Хорошо. Но, черт возьми, я все равно не понимаю... Впрочем, вы можете обещать, что с полковником Бишопом ничего не случится, если вам позволят спокойно отплыть?

— Даю вам слово, — сказал Блад. — Мы ссадим полковника, как только отойдем от берега.

Лорд Джулиан отвесил притихшему вице-губернатору надменный поклон.

— Я поступаю, сэр, как вы сами того желаете, — холодно сказал он и в сопровождении Блада направился к веревочному трапу, у подножия которого все еще покачивалась шлюпка «Коллин».

— Прощайте, милорд, — вынув из кармана пергамент, Блад протянул его лорду Уэйду. — Вот ваш патент. Бишоп был прав: мне действительно выдали его по ошибке.

— Мне очень жаль, — искренне заметил лорд Джулиан.

— При иных обстоятельствах... — начал было Блад. — Впрочем, не будем об этом!.. Надеюсь, вы поймете меня. Шлюпка ждет вас.

Уже ступив на первую ступеньку лестницы, лорд Джулиан приостановился, словно колеблясь.

— Я все еще не понимаю — черт бы меня побрал! — почему вы не пожелали отправить на берег с этим вашим посланием кого-нибудь другого, а меня оставить здесь как еще одного заложника?

Блад с печальной улыбкой посмотрел своими выразительными голубыми глазами прямо в глаза Уэйда, затем, немного поколебавшись, все же ответил:

— Да по той же причине, милорд, которая заставила меня искать ссоры с вами, чтобы иметь затем удовольствие проткнуть вас шпагой. Эта причина зовется «мисс Арабелла Бишоп». Я принял от вас королевский патент, потому только, что надеялся: это поможет мне искупить вину за прежние прегрешения, но теперь вижу, что вряд ли у меня что-то получится — потому-то и возвращаю вам пергамент. К тому же, как мне кажется, из нас двоих она выбрала вас, и, по правде сказать, это здравый выбор. Вот почему я не хочу удерживать вас здесь, на борту, подвергая вашу жизнь опасности, — вдруг тот другой, кого я пошлю, что-то там намудрит... Я говорю вам все это для того — черт бы меня побрал! — чтобы вы сказали ей: вор и пират, которым она меня полагает, все еще сохранил кое-что от тех времен, когда он был джентльменом, и ее благополучие для меня дороже всего на свете. Вдруг, зная об этом, она вспомнит иногда обо мне в своих молитвах. Это всё, милорд.

Лорд Джулиан несколько мгновений молча смотрел на пирата. Затем, все так же молча, протянул руку, и Блад, тоже молча, пожал ее.

— Возможно, вы не правы, — сказал его светлость, — и из нас двоих она предпочитает вас.

— Так или иначе, вы уж постарайтесь склонить ее мнение в свою пользу. Всего хорошего, милорд.

Лорд Джулиан спустился по трапу к ожидавшей его шлюпке и направился к берегу. Уже отплыв на некоторое расстояние, он помахал рукой Бладу, который наблюдал за удаляющейся лодкой, облокотившись на фальшборт.

Спустя час, вяло покачиваясь под слабым бризом, «Коллин» вышла в море. Форт, как и прежде, дремал; ни на одном из судов ямайской эскадры не наблюдалось даже мало-мальского движения. Судя по всему, лорд Джулиан не просто передал послание Блада, но и дополнил его своими собственными распоряжениями.

На буксире за судном шел сторожевой корабль с несколькими моряками-ямайцами на борту, собранными в срочном порядке. Как только «Коллин» углубилась миль на пять в открытое море, полковника Бишопа пересадили в этот шлюп, и ночь застала его уже в Порт-Ройяле.

ДИЛЕММА КАПИТАНА БЛАДА

I

В пяти милях от Порт-Ройяла, откуда детали побережья Ямайки выглядели размытыми, «Коллин» легла в дрейф, и шлюп, который шел за ней на буксире, подтянули к борту.

Капитан Блад лично проводил к трапу на шкафуте своего невольного гостя — полковника Бишопа, заместителя губернатора, которого он взял в заложники и удерживал, чтобы обеспечить себе безопасный выход из Порт-Ройяла.

Полковник, мужчина солидный и тучный, в течение трех с лишним часов пребывавший в состоянии смертельной паники, наконец вздохнул свободно. Волна одолевавших его страхов отступила, и ненависть к дерзкому пирату вернулась в привычное русло. Однако, будучи человеком осторожным, он держал при себе пламенную клятву в том, что по возвращении в Порт-Ройял не пожалеет ни сил, ни времени, чтобы доставить Питера Блада к последней стоянке — на эшафот.

Капитан Блад не питал иллюзий. Но он не был законченным пиратом и не имел намерения таковым становиться. Ни один другой буканьер на Карибах не отказал бы себе в удовольствии повесить полковника Бишопа на рее. Блад не был одним из них. Ему недоставало безжалостности, он питал отвращение к кровопролитию и неоправданному насилию во всех формах. Кроме того, его сдерживало и кое-что еще.

Арабелла Бишоп была племянницей заместителя губернатора и, хотя она, возможно, презирала Блада как пирата и разбойника, хотя сам он, возможно, потерял всякую надежду когда-либо завоевать ее благосклонность, она все же жила в его душе горько-сладкой, очистительной и почти благословенной памятью.

Любовь, которой не суждено осуществиться, часто остается для мужчины путеводным идеалом. Из-за нее, если не по какой-либо другой причине, жизнь Бишопа, какую бы угрозу ни представлял полковник, оставалась для Блада священной.

И посему он улыбнулся в распухшую, желтоватую физиономию с маленькими злобными глазками, которые смотрели на него с нескрываемой ненавистью.

Капитан Блад не был законченным пиратом
и не имел намерения таковым становиться.

— Счастливого пути домой, дорогой полковник, — сказал он на прощание. — Вы уже во второй раз служите мне в качестве заложника. Мне повезло с вами, полковник, как вы сами должны понимать. Позвольте дать вам совет: избегайте меня в будущем.

Джерри Питт, шкипер «Коллин», стоял рядом с капитаном. Добродушный по натуре, этот светловолосый и голубоглазый уроженец Девоншира провожал заместителя губернатора Ямайки хмурым взглядом. Позади них собралась небольшая толпа пиратов, мрачных, крепких, загорелых и дерзких головорезов со свирепыми глазами, и лишь непреклонная воля капитана удерживала их от того, чтобы раздавить Бишопа, как блоху.

Чутье подсказывало полковнику, что его жизнь в опасности и висит на волоске. Поэтому он просто сбежал, неуклюже спотыкаясь, по трапу к шлюпу и ожидавшей его команде, состоявшей из негров.

Оттолкнув хрупкое суденышко от огромного, с красным корпусом корабля, они подняли парус, подняли весла и направились обратно в Порт-Ройял. Опустившись всей грузной тушей на кормовую скамью, хмуря темные брови и поджав обветренные губы, Бишоп сидел молча. Злоба и мстительность погасили недавнюю панику, и он уже забыл о своем чудесном спасении от реи и свисающей с нее петли.

На молу в Порт-Ройяле, под невысокой укрепленной стеной форта с единственной башней, его ждали комендант, майор Мэллард и лорд Джулиан Уэйд.

Лорд Джулиан был родственником и посланником хитрого, коварного интригана и государственного деятеля Сандерленда. Недавно он прибыл в Вест-Индию с миссией, имеющей целью любой ценой покончить с пиратством и, в частности, положить конец карьере капитана Блада, чьи подвиги в Мэйне стали источником постоянных раздоров между Испанией и Англией. От своего родственника лорд получил особые полномочия: в случае необходимости, если все прочие средства не помогут, соблазнить Блада предложением перейти на королевскую службу.

Обстоятельства благоприятствовали замыслу, лорд Джулиан почти преуспел, и его успех мог бы быть полным, если бы не неутолимая ненависть полковника Бишопа, стремившегося строить козни и преследовать капитана Блада до самой его гибели. Из-за этого, а также потому что надежды Блада увидеть прощение в глазах мисс Арабеллы Бишоп не сбылись, капитан разорвал предложенный ему патент и снова отправился на Тортугу, где должны были ждать корабли и люди, еще не догадывающиеся о его минутном отступничестве.

* * *

Майор Мэллард встретил сошедшего на берег полковника Бишопа извинениями.

— Сэр, я позволил кораблю Блада уйти по приказу лорда Джулиана. Я бы потопил его здесь, в гавани, пусть даже ваше превосходительство находились на борту, если бы не приказ лорда Джулиана пропустить корабль и заверения

На молу в Порт-Ройяле, под невысокой укрепленной стеной форта, его ждали комендант, майор Мэллард и лорд Джулиан Уэйд.

его светлости в том, что Блад дал слово не чинить насилия в отношении вас, и что я не должен препятствовать ему. Признаюсь, я посчитал, что его светлость поступил опрометчиво, положившись на слово этого... пирата...

— Я нахожу, что его слово не хуже любого, — холодно заметил лорд Джулиан, пресекая излишне многословные излияния майора. Он определенно пребывал не в лучшем расположении духа. Написав государственному секретарю о том, что миссия увенчалась успехом, он столкнулся теперь с необходимостью написать еще одно донесение, на сей раз с признанием, что успех оказался эфемерным. И поскольку усы майора Мэллард как будто дрогнули в насмешке при мысли о том, что слово пирата может быть приемлемо, лорд добавил резко и отрывисто: — Мое оправдание — присутствие здесь полковника Бишопа, вернувшегося целым и невредимым. В сравнении с этим, сэр, ваше мнение большого веса не имеет.

— О, как скажете, ваша светлость, — в голосе майора Мэллард слышалась плохо скрываемая ирония. — Да, конечно, полковник здесь, целый и невредимый. А там — этот несносный Блад, тоже целый и невредимый и намеревающийся продолжать свои разбойничьи набеги.

— Да, но это ненадолго. Клянусь... — полковник наконец проявил себя этим заявлением, подчеркнув его непечатным ругательством. — Пусть мне придется потратить все свое состояние до последнего шиллинга и утопить весь ямайский флот до последнего корабля, я все равно доберусь до этого мерзкого негодяя и надену ему на шею пеньковый галстук. И я не намерен ждать с этим долго, — он взял лорда Джулиана за руку. — Идемте, милорд. Нам нужно навести порядок в этом вопросе.

Они обогнули редут и прошли через большие ворота в стене, окружавшей вместе с фортом просторный, благоухающий сад и белый особняк, служивший резиденцией заместителя губернатора. Там их с нетерпением ждала Арабелла. Увидев дядю, она с облегчением вздохнула.

— Вы сильно рисковали, сэр, — с легким упреком обратилась она к лорду Джулиану.

Но лорд Джулиан ответил ей так же, как ответил майору Мэлларду.

— Не было никакого риска, мэм. Кораблю Блада было позволено пройти мимо форта при условии, что полковник Бишоп не подвергнется насилию. Капитан Блад дал мне слово и, как видите, сдержал его.

Арабелла взглянула на него, и ее лицо залилось румянцем. Однако настроение вице-губернатора не предполагало продолжения темы. За ужином и еще долго после он говорил лишь о том, как схватит Блада, как закует его в кандалы, как посадит в колодки. При этом Бишоп кипел от злости и сыпал проклятиями едва ли не при каждом упоминании имени пирата.

На следующее утро, очень рано, еще до того, как дневная жара вынудила его светлость искать защиты от нее под крышей, лорд Джулиан наткнулся в саду на мисс Бишоп. Заметив девушку из окна, он поспешил присоединиться к ней на одной из садовых террас, где короткая аллея апельсиновых деревьев служила идеальным местом для прогулок в тенистой, благоухающей прохладе.

Его светлость привез Арабелле нечто вроде послания от капитана Блада. Доставку он задержал и даже, может быть, отказался бы от нее вообще, если бы не выгода для себя, на которую лорд Джулиан втайне рассчитывал.

Пожелав доброго утра, он объявил, что ему нужно поговорить с мисс о капитане Бладе.

— Переменим тему, — иронично сказала она, намекая на недавние разглагольствования своего дяди. Но глаза более проницательные, чем у его светлости, могли бы заметить в выражении лица красавицы признак того, что эта полуулыбка была всего лишь женским притворством.

Арабелла была невысокого роста, по-мальчишески стройная, с мальчишескими нотками в голосе и мальчишеской же легкой грацией в движениях. Вьющиеся темно-каштановые локоны обрамляли шею, необычайно белую для девушки, которая провела большую часть своей короткой жизни в тропике Рака. Приколотая к ее груди свежесрезанная алая роза напоминала брызги крови на переливчатом сером шелковом платье.

Его светлость — в прекрасном камзоле из синей тафты, без того щегольства, которое считалось непозволительным для молодого человека знатного происхождения — окинул ее оценивающим взглядом и счел весьма привлекательной.

— Он хотел, чтобы я передал вам одно сообщение, которое должно доказать, что в нем все еще осталось что-то от несчастного джентльмена, каким вы знали его когда-то.

— Он считает меня легковерной, — бесстрастно сказала девушка, и милорда поразило ее равнодушие, которое из-за недостатка проницательности не показалось

ему подозрительным. — И что же, скажите на милость, было в этом сообщении?

Лорд Джулиан ответил не сразу. Он вдруг обнаружил, что не вполне уверен, к каким выражениям следует прибегнуть, чтобы изложить деликатный, в сущности, вопрос. Они молча шли к тому месту, где аллея прерывалась проходом наверх к дому, а тень сменялась ярким солнечным светом. В этой сияющей полосе порхала великолепная, роскошная, величиной с мужскую ладонь бабочка с черными и алыми, словно бархатными, крылышками. Некоторое время его светлость следил за бабочкой задумчивым взглядом и заговорил лишь после того, как та скрылась из виду.

— Это непросто. Нет, разрази меня гром, очень непросто. Этот человек заслуживал всего хорошего, и, между нами говоря, мы сами помешали ему воспользоваться шансом. Ваш дядя — потому что не смог обуздать свою злобу; вы — потому что... потому что, побудив его взять королевский патент как средство искупления прошлого, потом не признали за ним этого искупления.

Она отвернулась, так что он не мог видеть ее лица, и тихо спросила:

— А вы? Какую роль, ваша светлость, сыграли в этом вы? Что вы можете поставить в вину себе?

— Моя роль? — он замялся, а затем заговорил быстро и порывисто, ринувшись безрассудно вперед, как поступают люди, решившиеся совершить то, чего они боялись. — Если я правильно его понял — если он сам правильно понял, — моя роль была полностью пассивной, но все же эффективной. Прошу вас иметь в виду, что я всего лишь передаю его слова. Я ничего не говорю в свое оправдание. Он думал тогда и так мне сказал, что мое присутствие способствовало его неспособности восстановить доброе имя в ваших глазах, а раз так, то никакое искупление для него невозможно.

Девушка повернулась к нему с выражением растерянности, недоуменно сведя брови над встревоженными глазами.

— Он так подумал? — эхом отозвалась она. Было ясно, что здесь требуется объяснение, и лорд Джулиан поспешил ей на помощь. Щеки его вспыхнули, взгляд испуганно метнулся в сторону.

— Да, и он высказал это в выражениях, из которых я понял то, на что хотел надеяться, но чему не смел верить, потому что, видит Бог, я не какой-нибудь самодовольный хлыщ. Он сказал... Но сначала позвольте объяснить, в каком я оказался положении. Мне довелось подняться на борт его корабля, чтобы потребовать немедленной выдачи вашего дяди, которого Блад держал в плену. Он посмеялся надо мной и сказал, что полковник Бишоп взят заложником в обеспечение его, Блада, безопасности.

Опрометчиво поднявшись на борт его корабля, я предоставил ему в своем лице еще одного заложника, столь же ценного, по крайней мере, как полковник Бишоп. И все же он велел мне уйти не из страха перед последствиями, ибо он выше страха, и не из какого-либо личного уважения ко мне — он сам признался, он питает ко мне отвращение — по той самой причине, которая вынуждает его беспокоиться о моей безопасности...

— Не понимаю, — сказала она, воспользовавшись паузой. — Разве это не противоречие само по себе?

— Так только кажется. Во мне он увидел того, кто помешал ему завоевать вас — так он сказал. Он мог бы легко и с удовольствием убить меня. Но поскольку моя смерть, быть может, причинила бы вам боль, поскольку ваше счастье для него превыше всего, он отказался от той части гарантии своей безопасности, которую обеспечивала ему моя персона. Если бы его отходу попытались помешать и если бы вследствие этого я лишился жизни, могло случиться так, что вы стали бы меня оплакивать. Он не пожелал так рисковать, велел мне покинуть его корабль и высадил на берег.

Она посмотрела на него глазами, полными слез. У него перехватило дыхание, он сделал шаг к ней и протянул руку.

— Он прав был, Арабелла? Счастье моей жизни зависит от вашего ответа.

Но Арабелла продолжала молча смотреть на него своими полными слез глазами, и его охватило сомнение, мучительное сомнение. Когда же наконец она заговорила, лорд Джулиан понял, сколь верным было то глубокое внутреннее чувство, из которого родилось это сомнение, ибо ее слова показали с полной ясностью, что из всего им сказанного только одно затронуло ее сознание и заняло его полностью: поведение Блада по отношению к ней самой.

— Он так сказал! — воскликнула она. — Он сделал это! Ради меня! О! — она отвернулась и устремила взгляд туда, где за стройными, заслоняющими одно другое апельсиновыми деревьями поблескивали воды большой гавани и высились далекие холмы. Некоторое время милорд стоял недвижно, со страхом ожидая более полного ответа на свой вопрос. И наконец она заговорила, медленно, расчетливо, голосом, звучавшим временами почти сдавленно:

— Прошлым вечером, когда мой дядя явил затаенную ненависть и злобную ярость, мне открылось, что на такие сильные чувства способен лишь тот, кто поступил бесчестно. В такое безумие вгоняют себя люди для оправданья дурной страсти. Я начала подозревать, что была слишком доверчива; что все невероятные злодеяния, которые он приписывал в последние годы Питеру Бладу, возможно, придуманы им самим.

Теперь я уверена в этом так же, как уверена в том, что сама добавила несправедливостей, тяготящих сего несчастного джентльмена. Для такого негодяя, каким его описали, такого, а я слишком охотно поверила этому образу, то, о чем вы мне только что рассказали, было бы невозможно.

— Согласен, — мягко сказал лорд Джулиан.

— Конечно. Но даже если бы вы и не были согласны, это ничего бы не значило. Что тяготит меня безмерно, так это мысль о том, что, если бы не слова, которыми я оттолкнула его вчера, он мог бы быть спасен. И вот теперь все потеряно — он вернулся к беззакониям и пиратству, а мой дядя поклялся схватить его и уничтожить.

— Всему виной враждебность вашего дяди и его упрямство, нежелание идти на компромисс. Вы не должны ни в чем себя винить.

Она повернулась к нему с некоторым раздражением.

— Вы не можете так говорить после тех его слов, которые сами по себе доказывают, насколько я была виновата. Мое презрение к нему, те эпитеты, которые я бросала в его адрес, — именно это вывело его из себя. Он так много вам рассказал. Когда-то я очень высоко его оценила. Это было давно, на Барбадосе, когда его привезли туда рабом, мятежным каторжником, за участие в восстании Монмута. Именно потому что так высоко оценила его тогда, я возненавидела его потом, когда он стал тем, кем стал. Но теперь я начинаю понимать, что двигало им тогда, и испытываю стыд и сожаление из-за того, что толкнула его к отчаянию и обрекла на проклятие.

— У вас нет причин стыдиться, — возразил милорд. — Возможно, вас утешит, если я скажу, что вы в любом случае можете рассчитывать на меня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти его.

— Вы это сделаете? — воскликнула Арабелла с надеждой в голосе и порывисто протянула руку.

Лорд Джулиан взял ее руку в свои.

— Обещаю, — сказал он и мягко добавил: — Остался еще один вопрос, на который вы не ответили.

— Еще один вопрос?

— Это касается меня и всего моего будущего. Дело в том, что Блад потому все это сказал, что посчитал, будто... будто вы неравнодушны ко мне.

Ее бледное лицо вновь окрасилось румянцем и приняло озабоченное выражение.

— Неравнодушна к вам? — отозвалась она. — Конечно. Мы были хорошими друзьями и, надеюсь, останемся ими, милорд.

— Друзьями! Хорошими друзьями? — повторил он с отчаянием и горечью. — Я прошу не только вашей дружбы. Вы слышали, что я сказал. Так был ли Питер Блад не прав?

Арабелла осторожно попыталась высвободить руку, и беспокойство на ее лице проступило еще отчетливее. Мгновение он сопротивлялся, потом, осознав, что делает, отпустил ее.

— Арабелла! — с болью в голосе воскликнул милорд.

— Я могу предложить вам дружбу, милорд. Но только дружбу.

Замок надежды с грохотом обрушился на него, немало его ошеломив. Джулиан и впрямь не был фатом. И все же здесь было кое-что, чего он не понимал. Арабелла говорила о дружбе, но в его власти было предложить ей высокое положение, о котором она, дочь колониального плантатора, никогда не могла даже мечтать. Отвергнув это предложение, она заверила его в своей дружбе.

Значит, Питер Блад ошибся. Как сильно он ошибался? Неужели он так же ошибался в ее чувствах к себе, как, очевидно, ошибался в ее чувствах к его светлости? В таком случае... Он не стал развивать эти мысли дальше. Строить догадки значило сыпать соль на рану. Ему нужно знать наверняка. И поэтому он спросил с мрачной прямотой:

— Это Питер Блад?

— Я не знаю, — ответила она с запинкой, указывавшей на неискренность. В то утро будто сорвалась внезапно завеса, и Питер Блад предстал пред ней таким, каким был на самом деле. Она увидела его в истинных отношениях с другими людьми, и это откровение, явленное с опозданием на двадцать четыре часа, наполнило ее жалостью, сожалением и тоской.

Лорд Джулиан достаточно разбирался в женщинах, чтобы не сомневаться в истинном значении этого ответа. Он склонил голову, чтобы девушка не увидела гнева в его глазах, потому что как человек чести стыдился этого гнева, который он, будучи нормальным мужчиной, не мог подавить. И поскольку натура в нем была сильнее — как и у большинства из нас — воспитания, лорд Джулиан с этого момента ступил на путь злодейства.

Давнее уважение, с которым он относился к Питеру Бладу, задохнулось под тяжестью желания оттеснить и уничтожить соперника. Его светлость дал слово Арабелле, что воспользуется своим могущественным влиянием в интересах Блада. Но теперь он забыл об обещании и вместо этого втайне вознамерился помочь дяде Арабеллы и подтолкнуть его к осуществлению планов по поимке и уничтожению этого пирата.

* * *

Когда несколько дней спустя ямайский флот вышел в море, лорд Джулиан отплыл вместе с полковником Бишопом на флагманском корабле вице-адмирала Кроуфорда. Мало того, что присутствие на борту обоих джентльменов не оправдывалось какой-либо необходимостью, но обязанности заместителя губернатора требовали от Бишопа остаться на берегу, а что касается его светлости, то он был на корабле просто бесполезен. И все же они отправились в экспедицию, повинуясь побуждениям личной мести, и это общее чувство стало соединяющим звеном, связав их своего рода дружбой, которая иначе была бы невозможна между людьми, столь непохожими по воспитанию и устремлениям.

Охота началась. Некоторое время они крейсировали у берегов Эспаньолы, наблюдая за Наветренным проливом и испытывая тяготы и неудобства, связанные с наступившим сезоном дождей. Но никаких результатов патрулирование не дало, и через месяц они вернулись в Порт-Ройял, где их ждали тревожные вести из Старого Света.

Мания величия Людовика XIV обернулась пламенем войны. Французские легионеры опустошали рейнские провинции, а Испания присоединилась к альянсу стран, объединившихся, чтобы защитить себя от неумеренных амбиций Франции. И это было еще не самое плохое. Ходили слухи о гражданской войне в Англии, уставшей от фанатичной тирании короля Якова. Поговаривали о приглашении на трон Вильгельма Оранского.

Прошла неделя, и каждый приходящий с родины корабль приносил свежие новости. Вильгельм переправился в Англию, и в марте того же 1689 года стало известно, что он принял корону и что Яков бросился в объятия Франции с просьбой восстановить его в правах. Родственнику Сандерленда эта тревожная новость не обещала ничего хорошего.

За этим последовали письма, в которых полковника Бишопа извещали о начавшейся войне с Францией и о направлении в колонии Вест-Индии нового генерал-губернатора в лице лорда Уиллоуби, а с ним — для укрепления ямайского флота на случай непредвиденных обстоятельств — эскадры под командованием адмирала ван дер Кэйлена.

Бишоп понял, что его полной власти придет конец, даже если он останется в Порт-Ройяле в качестве заместителя губернатора. Лорд Джулиан, в отсутствие новостей напрямую касающихся его лично, не знал, что это может значить для него. Но будучи в близких и доверительных отношениях с полковником Бишопом, он рассчитывал на его содействие в своих надеждах завоевать расположение Арабеллы, тем более что и полковник теперь, когда из-за политических перемен над ним нависла угроза отставки, стремился заполучить в качестве родственника человека столь высокого положения, как лорд Джулиан.

— Девушка влюблена в этого негодяя Блада, — печально сообщил он. — И это — черт побери! — отвратительная правда. И пока Блад жив, она будет надеяться.

— Возможно, когда Блад умрет, она образумится, — сказал ее дядя. — Сейчас у нас есть такая возможность. Эта война с Францией устраняет все ограничения в отношении Тортуги. Мы вольны поставить ее на службу короне.

— А! — лорд Джулиан задумчиво потянул себя за губу.

— Вижу, вы понимаете. — Бишоп грубо рассмеялся. — Я выслежу этого негодяя в его логове, прямо под бородой короля Франции, и на этот раз мы возьмем его, даже если превратим Тортугу в груду пепла.

Имея в виду эту цель, и была снаряжена новая экспедиция. На этот раз в море вышел весь флот, включая несколько вспомогательных судов. Арабелле и всему населению в целом было объявлено, что они собираются совершить налет на французскую Эспаньолу.

Теперь — более, чем когда-либо — чувство долга и здравый смысл должны были удержать полковника Бишопа в Порт-Ройяле. Но голос ненависти заглушил голос долга, подтолкнув его к безрассудству. Заместитель губернатора в первую же ночь напился в большой каюте флагманского корабля «Император» вице-адмирала Кроуфорда, убеждая себя в том, что карьера капитана Блада близка к завершению.

II

Тем временем капитан Блад, терзаемый сердечными муками, ворвался, опережая штормы, в укрепленную гавань Тортуги, эту цитадель пиратов,

и, укрывшись там, предался мрачным размышлениям о прошлом, не строя планов и не надеясь на будущее. В те дни он сильно пил, и какое-то время ему всерьез угрожала опасность — из-за ощущения безнадежности и обреченности — опуститься до одного с ему подобными уровня жестокости.

Пираты, собравшиеся на острове, встретили его с радостью и без обиды за то, что было в прошлом. Волверстон объяснил отступничество капитана простой уловкой, имевшей целью выпутаться из пикового положения, и поскольку теперь он сам вернулся к ним, таковое объяснение было принято всеми.

Теперь он имел под своей командой около шестисот человек и четыре корабля. Практически все они были англичанами. Французский контингент взял один из кораблей и отправился в самостоятельное плавание. Офицеры Блада, быстро вспомнившие клятву верности, несколько раз обращались к нему с предложениями прибыльных набегов на различные испанские поселения. Но ко всему он проявлял безразличие, которое, по мере того как проходили недели и закончился сезон дождей, рождало сначала нетерпение, а затем раздражение.

Правда заключалась в том, что, хотя Блад вернулся на Тортугу и к Береговому братству, в памяти прочно засели слова «вор и пират», которыми наградила его Арабелла. Оковы ее презрения держались прочно, и оттого отчаяние только углублялось.

Капитан опускался на глазах у всех. Он перестал заботиться о своей внешности, стал небрежным и неряшливым в одежде. На щеках и подбородке, когда-то тщательно выбритых, отрастала черная щетина; длинные, густые черные волосы, некогда тщательно завитые, теперь свисали жидкой, неопрятной гривой с обеих сторон лица, энергичная смуглость которого менялась на нездоровую серость, а голубые глаза, бывшие такими яркими и неотразимыми, потускнели и утратили блеск. Волверстон, единственный, у кого был ключ к разгадке его падения, отважился однажды откровенно поговорить с ним об этом.

— Что за чума тебя мучает, Питер? — прорычал великан. — Господи, неужели ты так и будешь целыми днями хандрить и пьянствовать из-за того, что какая-то белолицая дурочка в Порт-Ройяле не желает тебя видеть? Разрази меня гром! Если она так тебе нужна, почему бы, черт возьми, не пойти и не взять ее?

В голубых глазах, сердито взглянувших на него из-под угольно-черных бровей, мелькнули отблески былого огня. Но Волверстон беззаботно продолжал:

— Я буду вежлив с девкой, если вежливость — ключ к ее благосклонности. Но можешь утопить меня, если я стану губить себя ромом из-за какой-то юбки. Если тебя ничем другим не соблазнить, почему бы не взять Порт-Ройял? И что с того, что это английское поселение? Там всем распоряжается полковник Бишоп, и у тебя здесь нет недостатка в парнях, которые последуют за тобой, если это будет означать возможность схватить Бишопа за горло. Мы можем это сделать, говорю тебе. Надо только улучить момент, когда ямайский флот будет далеко. Добычи в городе хватает, есть чем соблазнить парней, а ты получишь девку. Ну что, сказать ребятам?

Блад поднялся. Глаза его сверкали, мертвенно-бледное лицо исказила гримаса гнева.

— Ты сейчас же уберешься из моей каюты или, клянусь небесами, отсюда вынесут твой труп. Паршивый пес, как ты смеешь приходить ко мне с такими предложениями? — с яростью, невиданной прежде, и проклятиями капитан обрушился на своего верного офицера. Не сказав больше ни слова, Волверстон в ужасе вышел. Больше эта тема не поднималась. Капитана Блада оставили наедине с его праздными размышлениями.

* * *

И вот однажды на борт «Коллин» поднялся господин де ла Плас, губернатор Тортуги, в сопровождении маленького пухлого джентльмена приятной внешности, дружелюбного и уверенного в себе.

— Мой капитан, — заговорил ла Плас, — я привел к вам месье де Кюсси, губернатора французской Эспаньолы, изъявившего желание поговорить с вами.

Капитан Блад вынул трубку изо рта, тряхнул головой, разгоняя ромовый туман, поднялся и сделал шаг к господину де Кюсси.

— Serviteur![1] — сказал он.

Де Кюсси поклонился в ответ и занял место на рундуке под кормовыми окнами.

— У вас здесь под командованием хорошие силы, мой капитан, — заметил он.

— Около шестисот человек.

— И я так понимаю, что безделье их тяготит.

— Они могут катиться к дьяволу, коль того пожелают.

Месье де Кюсси осторожно взял понюшку табаку.

— У меня есть предложение получше.

— Тогда предлагайте, — равнодушно бросил Блад.

Начало разговора не внушало месье де Кюсси больших надежд. Тем не менее он продолжал.

— До нас дошли новости из Франции о том, что идет война с Испанией.

— Это новость? — удивился Блад.

— Я говорю официально, капитан. Я не имею в виду обычные колониальные столкновения и грабительские рейды, которым мы здесь потворствовали. В Европе идет война — формально объявленная война — между Францией и Испанией. Моя страна намерена перенести эту войну в Новый Свет. С этой целью из Бреста выходит флот под командованием барона де Ривароля. У меня есть письма, в которых он просит снарядить дополнительную эскадру и собрать силы численностью не менее тысячи человек, чтобы усилить его по прибытии. Коротко говоря, капитан, я пришел предложить вам перевести ваши корабли и живую силу под флаг господина де Ривароля.

Блад посмотрел на него с пробуждающимся интересом.

[1] Здесь: — К вашим услугам! (фр.)

— Вы предлагаете взять нас на французскую службу? — спросил он. — На каких условиях, сударь?

— С присвоением звания capitaine de vaisseau[1] вам и соответствующих званий офицерам, служащим вместе с вами. Вы будете получать жалованье, соответствующее этому званию, и вместе со своими людьми будете иметь право на десятую долю всех захваченных трофеев.

— Чертовски щедро! — фыркнул Блад. — Мы можем выйти в море завтра же, распотрошить испанское поселение и оставить себе всю добычу.

— Да, конечно, но не забывайте о рисках, связанных с актами пиратства. С нами вы будете иметь законный, официальный статус, и, учитывая силу флота, находящегося в распоряжении Ривароля, вы сможете принять участие в предприятиях куда более масштабных, чем те, которые вам удавались ранее. Так что одна десятая в этом случае может быть больше целого в другом.

— Я посоветуюсь со своими офицерами, — сказал капитан Блад и послал за ними.

Они пришли, и вопрос был изложен им самим де Кюсси. Предложение пришлось как нельзя кстати. Люди были недовольны бездействием своего вожака и склонялись к тому, чтобы ответить согласием, но их не устраивала слишком малая доля. Одна пятая и никак не меньше.

Месье де Кюсси был огорчен. Он получил определенные инструкции. Согласиться на требования людей Блада означало взять на себя обязательства, на которые он не был уполномочен. Пираты стояли на своем: если господин де Кюсси не готов дать им одну пятую, то и говорить больше не о чем. В конце концов де Кюсси согласился, документы были составлены и подписаны. Пиратам надлежало прибыть в Пти-Гоав к концу января, когда туда придет флот Ривароля.

* * *

Безделье сменилось активностью: люди занимались ремонтом кораблей, заготовкой мяса, погрузкой припасов.

И только капитан Блад как будто оставался в стороне от всего. Если он дал согласие на участие в этом предприятии или, точнее, позволил втянуть себя в него своим офицерам, то только потому что предлагаемая служба была законной и официальной, не связанной с пиратством, с которым, как он поклялся в своем сердце, было покончено навсегда.

Но его согласие оставалось пассивным. Служба, на которую он поступил, не пробудила в нем ни малейшего рвения. Ему было совершенно безразлично — как он и сказал Хагторпу, который однажды осмелился сделать замечание на сей счет, — отправятся ли они в Пти-Гоав, поступят на службу к Людовику XIV или к самому сатане.

[1] Капитан флота (фр.)

В таком же настроении он отплыл с Тортуги и подошел к причалу в бухте Пти-Гоав. В таком же настроении он приветствовал барона де Ривароля, когда сия высокопоставленная персона со своим флотом из пяти военных кораблей наконец бросила якорь рядом с пиратскими кораблями в середине февраля. Тот объявил, что находится в плавании уже шесть недель и задержался из-за неблагоприятной погоды.

Вызванный к командующему капитан Блад отправился в замок Пти-Гоав, где должна была состояться беседа. Барон, высокий мужчина лет сорока с ястребиным лицом, холодный и надменный, смерил капитана Блада взглядом, полным явного неодобрения. Хагторп, Кристиан и Волверстон, стоявшие в ряд позади своего капитана, внимания не удостоились.

Своим поведением Ривароль ясно давал понять, что презирает их и хочет, чтобы они сразу это осознали. На капитана Блада это произвело странное впечатление: в нем пробудился и дьявол, и давно дремавшее самоуважение.

Дерзости добавил и внезапно нахлынувший стыд за свой неопрятный, запущенный вид. Демонстративно, с вызовом поддернув пояс с рапирой так, что ее кованая рукоять открылась всем, он махнул своим капитанам, предлагая им садиться на стоящие вокруг стулья.

— Подсаживайтесь к столу, ребята. Не заставляйте барона ждать.

Взгляд Ривароля стал еще холоднее. Сидеть за одним столом с этими бандитами означало признать позорное равенство с ними.

Он считал, что — за возможным исключением для капитана Блада — пираты должны принимать его наставления стоя, как подобает людям их ранга в присутствии такого человека, как он. Барон сделал единственное, что оставалось, чтобы обозначить различие между ними и собою. Он надел шляпу.

— А вот это правильно, — добродушно сказал Блад, нахлобучивая касторовую шляпу с перьями. — Теперь и я чувствую сквозняк.

Ривароль изменился в лице, задрожал от гнева и даже взял паузу, прежде чем решился снова заговорить. Месье де Кюсси определенно чувствовал себя не в своей тарелке.

— Месье, — ледяным тоном произнес барон, — вынужден напомнить, что вы носите звание капитана флота и находитесь в присутствии генерала сухопутных и морских сил Франции в Америке. Вы вынуждаете меня еще раз напомнить вам, что ваше звание требует уважения к моему.

— Рад заверить вас, — ответил капитан Блад, — что в напоминании нет необходимости. Я считаю себя джентльменом, хотя и мало похож на него сейчас, и как джентльмен всегда с уважением относился как к тем, кого природа или судьба поставила надо мной, так и к тем, кто ниже меня по рангу и не имеет возможности возмутиться пренебрежением с моей стороны.

Упрек был выражен столь замысловато, что распознать его мог не каждый, и все же Ривароль прикусил губу. Капитан Блад продолжил, не дав ему времени ответить:

— Теперь, когда многое прояснено, может, перейдем к делу?

Некоторое время Ривароль молча смотрел на него, потом сказал:

— Возможно, так и впрямь будет лучше, — он взял в руки какую-то бумагу. — У меня здесь те статьи договора, которые вы обсуждали с господином де Кюсси. Прежде чем продолжить, должен заметить, что губернатор превысил свои полномочия и вышел за рамки данных ему инструкций, признав ваше право на одну пятую взятых трофеев. Он не должен был давать больше одной десятой.

— Это, мой генерал, ваше с месье де Кюсси дело.

— О, нет. Это наше с вами дело.

— Прошу прощения, мой генерал. Условия согласованы, договор подписан. Что касается нас, то вопрос закрыт. Кроме того, из уважения к господину де Кюсси нам не должно быть свидетелями упреков, которых, по вашему мнению, он заслуживает.

— То, что я должен сказать месье де Кюсси, вас ни в коей мере не касается.

— Именно об этом я и твержу вам, мой генерал.

— Но — nom de nom![1] — полагаю, вас должно касаться, что мы не можем дать вам более одной десятой. — Ривароль в раздражении ударил кулаком по столу.

— Вы совершенно уверены в этом, господин барон? Уверены, что не можете?

— Я совершенно уверен, что не буду этого делать.

Капитан Блад пожал плечами и поднял брови.

— В таком случае, мне остается только представить свой небольшой отчет о наших расходах и компенсации тех потерь, которые мы понесли в связи с приездом сюда. После решения этого вопроса мы можем расстаться друзьями, господин барон. Ничего страшного не случилось.

— Что, черт возьми, вы имеете в виду? — барон вскочил и подался вперед через стол.

— Возможно ли, что я не вполне ясно выразился? Мой французский, возможно, не из самых...

— Послушайте, господин пират, я не тот человек, с которым можно валять дурака, как вы очень скоро обнаружите. Вы поступили на службу к королю Франции — вы и ваши люди; вы носите звание и получаете жалованье капитана флота, а эти ваши офицеры носят звание лейтенантов. Данные звания влекут за собой обязательства, которые вам не мешало бы изучить, и наказания за их невыполнение довольно суровые. Первая обязанность офицера — повиновение. Советую обратить на это внимание. Не пытайтесь рассматривать себя, как вы, по-видимому, делаете, моими союзниками в предприятиях, которые я имею в виду, но считайте себя моими подчиненными. Я для вас командир, который поведет вас, а не товарищ или равный. Надеюсь, вы меня понимаете.

— О, будьте уверены, я понимаю, — рассмеялся капитан Блад. Под вдохновляющим стимулом конфликта он на удивление быстро становился собой прежним. Омрачало его настроение лишь то обстоятельство, что он не побрился. — Я ничего не забываю, уверяю вас, мой генерал. Я, например, не забываю, как, по-видимому, забыли вы: подписанные нами статьи являются

[1] Черт подери! (фр.)

условиями нашей службы, и эти статьи предусматривают получение нами пятой части всех трофеев. Отказав нам в этом, вы тем самым отмените наш договор. Отменив эти статьи, вы утратите право на наши услуги. С этого момента мы лишаемся чести носить офицерские звания в королевском флоте Франции.

Трое его капитанов отозвались на это заявление одобрительным ропотом.

Ривароль посмотрел на них сердито, как человек, загнанный в угол.

— Вообще-то... — робко начал месье де Кюсси.

— Вообще-то, сударь, это ваших рук дело, — набросился на него барон, довольный тем, что нашелся кто-то, в кого он может вонзить свои клыки. — Вас следует наказать за это. Вы подрываете репутацию королевской службы, ставите меня, представителя его величества, в невыносимое положение.

— Неужели невозможно отдать нам пятую долю? — вкрадчиво осведомился капитан Блад. — В таком случае не придется ни горячиться, ни наказывать месье де Кюсси. Он знает, что мы не пришли бы за меньшим. После вашего заверения, что дать нам больше совершенно невозможно, мы уйдем, и все вернется к тому состоянию, как если бы де Кюсси строго придерживался данных ему инструкций. Надеюсь, господин барон, я доказал, что если вы откажетесь от согласованных статей, то, если по чести, уже не сможете ни требовать наших услуг, ни препятствовать нашему отбытию.

— По чести? Что, черт возьми, вы хотите этим сказать? Намекаете на то, что я могу поступить бесчестно?

— Ни на что подобное я не намекаю, потому что это было бы невозможно, — сказал капитан Блад. — Мы обязаны сами позаботиться об этом, и никакой необходимости говорить обиняками нет. Только вам, мой генерал, решать, отвергнуты эти статьи или нет.

Барон сел.

— Я подумаю об этом, — угрюмо сказал он. — Вас уведомят о моем решении.

Капитан Блад встал, его офицеры поднялись вместе с ним, и все вместе они удалились, освободив от своего присутствия гневливого генерала королевских армий на суше и на море в Америке.

Последующие четверть часа стали чрезвычайно тяжелыми для Кюсси, заслуживавшего, по правде говоря, сочувствия. Самоуверенность слетела с него, как пух с чертополоха, сдутый осенним ветром, роль которого исполнил надменный Ривароль. Генерал королевских войск отчитывал его, губернатора Эспаньолы, как последнего лакея. Исчерпав проклятия, он перешел к оскорблениям.

Придя к выводу, что Кюсси показал себя недостойным занимаемой должности, барон принял на себя соответствующие обязанности на время своего пребывания на Эспаньоле. В обеспечение этого он начал с того, что привел солдат со своих кораблей и поставил собственную охрану в особняке месье де Кюсси.

Ждать неприятностей долго не пришлось. Волверстон, сошедший на берег на следующее утро в своем живописном наряде с цветным платком на голове, был осмеян французским офицером из числа новоприбывших. Не привыкший к издевательским подковыркам, Волверстон ответил тем же. Офицер перешел

к оскорблениям, и Волверстон нанес удар, сваливший француза с ног и оставивший его на какое-то время без чувств. Еще до полудня по приказу Ривароля Волверстона арестовали и доставили в замок.

* * *

Барон только что сел обедать с месье де Кюсси, когда негр, прислуживавший им, объявил посетителя — капитана Блада. Раздраженный вторжением, Ривароль велел впустить его, и в комнату вошел элегантный и модный джентльмен в черном с серебром платье, с четкими чертами тщательно выбритого лица цвета меди и длинными черными волосами, завитыми локонами, которые падали на воротник из тонких кружев.

В правой руке джентльмен держал широкополую черную шляпу с алым страусовым пером, в левой — длинную трость черного дерева. Наряд дополняли шелковые чулки, поддерживаемые подвязками с пышными бантами, и туфли с черными, отделанными золотом розетками.

В первое мгновение Ривароль не узнал его, поскольку Блад выглядел лет на десять моложе, чем накануне.

— Вижу, я пришел некстати, — вежливо сказал капитан. — Примите мои извинения. Но дело не терпит отлагательств. Это касается, месье де Кюсси, арестованного вами капитана Волверстона с «Лахезиса».

— Это я посадил его под арест, — сказал Ривароль.

— В самом деле? Но я думал, что месье де Кюсси — губернатор Эспаньолы.

— Пока я здесь, сударь, я являюсь верховной властью. Вам следует это запомнить.

— Прекрасно. Но, возможно, вы не понимаете, что допустили ошибку.

— Ошибку, говорите?

— Я называю это «ошибкой». Из вежливости. Это подходящее слово, и оно избавляет нас от ненужных споров. Ваши люди, месье де Ривароль, арестовали не того человека. Вместо французского офицера, который допустил грубейшую провокацию, они арестовали капитана Волверстона. Прошу вас без промедления пересмотреть это решение.

Хищное, ястребиное лицо Ривароля вспыхнуло от гнева. Темные, выпученные глаза полезли на лоб.

— Сэр, да вы... вы наглец! — человек предельного самообладания в обычных условиях, он испытал такое потрясение, что даже начал запинаться.

— Господин барон, вы ведете себя по-детски. Это Новый Свет. Он не просто новый; здесь все ново для тех, кто вырос среди предрассудков и суеверий Старого Света. Эту новизну вы, возможно, еще не успели осознать, поэтому я оставляю без внимания оскорбительный эпитет, который вы употребили. Но справедливость в Новом Свете такая же, как и в Старом, и несправедливость здесь так же нетерпима, как и там. Сейчас беспристрастность требует освобождения моего

офицера и ареста с последующим наказанием вашего. Совершить правосудие я и прошу вас покорно.

— Покорно? — презрительно и злобно фыркнул барон.

— В высшей степени покорно, сударь. Но я также напоминаю господину барону, что у меня за спиной шестьсот человек, у вас же только пятьсот, а месье де Кюсси сообщит вам такой интересный факт, что любой пират равен в бою, по крайней мере, трем солдатам регулярной армии. Я совершенно откровенен с вами, сударь, потому что не хочу впустую тратить время и слова. Либо вы незамедлительно освобождаете капитана Волверстона, либо мы принимаем меры, чтобы освободить его самим. Последствия могут быть ужасающими. Но решать вам, господин барон.

У Ривароля побелели губы. Никогда еще с ним не разговаривали столь дерзко и вызывающе. Но он взял себя в руки и сдержался.

— Вы окажете мне услугу, если подождете в приемной, господин капитан. Я хочу переговорить с де Кюсси. Вам сообщат мое решение.

Едва за Бладом закрылась дверь, барон обрушил всю свою ярость на голову несчастного губернатора.

— Итак, это те люди, которых вы завербовали на службу королю и которые должны служить под моим началом. Но они не служат, а указывают, и это еще до начала того самого предприятия, которое привело меня из Франции. Какие объяснения вы мне предлагаете, месье де Кюсси? Предупреждаю, я вами недоволен. Более того, как вы можете заметить, я чрезвычайно зол.

Губернатор натужно выпрямился, подтянулся, и все его округлости и припухлости как будто сгладились и втянулись.

— Ваше звание, сударь, как и непреложные факты, не дает вам права упрекать меня. Я завербовал для вас людей, которых вы хотели, чтобы я завербовал. И не моя вина, если вы не знаете, как лучше обращаться с ними. Как сказал вам капитан Блад, это Новый Свет.

— Так, так! — Ривароль злорадно усмехнулся. — Вы не только не предлагаете никаких объяснений, но и осмеливаетесь возлагать вину на меня. Я почти восхищаюсь вашей безрассудной смелостью. Но нет! — он сделал резкий жест рукой и продолжил уже другим — язвительным тоном. — Вы говорите мне про Новый Свет и... новые миры, новые нравы, я полагаю. Со временем я соотнесу свои идеи с этим новым миром или же приспособлю этот новый мир к своим идеям, — в его голосе зазвучали угрожающие нотки. — Пока что мне придется принимать то, что есть. Придется полагаться на ваши советы, сударь, советы человека, имеющего опыт общения с этими дикарями, и действовать на основании этого вашего опыта.

— Господин барон, арест этого капитана пиратов был ошибкой, просчетом. Упорствовать в ошибке — безумие. У нас нет такой силы, чтобы противостоять их силе.

— В таком случае, сударь, возможно, вы скажете, что нам делать в будущем. Неужели я буду вынужден все делать так, как велит этот Блад? Неужели все

наше предприятие, в которое мы ввязались, будет осуществляться под его диктовку? Короче говоря, должен ли я, представитель короля в Америке, действовать по указке этих негодяев?

— О, нет, ни в коем случае. Я рекрутирую добровольцев здесь, на Эспаньоле, и набираю отряд негров. По моим подсчетам, когда это будет сделано, в нашем распоряжении будет тысяча человек, не считая пиратов!

— Но в таком случае почему бы не обойтись без них?

— Потому что они, с их навыками и опытом, станут острым лезвием любого оружия, которое мы сможем выковать для будущей войны. В то же время у нас будет достаточно сил, чтобы держать их под контролем. Что до всего остального, сударь, то у них есть определенные понятия о чести. Они будут исполнять свои обязательства ради того, чтобы с ними поступили по справедливости, и в таком случае не доставят никаких хлопот. У меня есть опыт общения с ними, так что могу заверить вас в этом.

Месье де Ривароль позволил себе немного смягчиться. Ему было важно сохранить лицо, и губернатор предоставил для этого подходящие средства, а также определенную гарантию на будущее с расчетом на те силы, которые он собирал.

— Очень хорошо, — сказал он. — Будьте так добры, позовите этого капитана Блада.

Капитан вошел, держась уверенно и с достоинством. Один лишь его вид внушал Риваролю отвращение, но он старательно скрыл свои чувства.

— Господин капитан, я посоветовался с месье де Кюсси. Из того, что он мне говорит, следует, что весьма возможно была допущена ошибка. Правосудие, можете быть уверены, свершится. В обеспечение торжества справедливости, я сам намереваюсь председательствовать в совете, который будет состоять из двух моих старших офицеров, вас и вашего офицера. Этот совет должен немедленно провести беспристрастное расследование всего дела с тем, чтобы истинный виновный понес наказание.

Капитан Блад поклонился. Прибегать к крайним мерам без острой на то необходимости он не хотел.

— Прекрасно, господин барон. А теперь, сэр, у вас была ночь для размышлений по поводу условий нашего соглашения. Должен ли я понимать, что вы подтверждаете или отвергаете их?

Ривароль прищурился. Он еще не забыл довод Кюсси о том, что эти пираты станут острым лезвием любого оружия, которое он может выковать. Без них ему было не обойтись. Он понял, что допустил тактическую ошибку, пытаясь уменьшить согласованную долю. Отказ от договоренности такого рода всегда чреват потерей достоинства.

Да, те добровольцы, которых набирал Кюсси, могли бы укрепить руку королевского генерала. Их присутствие позволило бы вновь открыть этот вопрос и настоять на пересмотре договора. Но пока разумнее отступить, сохранив по возможности боевой порядок.

— Я подумал об этом, — объявил он. — И хотя мое мнение остается неизменным, должен признаться, что, поскольку месье де Кюсси дал вам обещание, мы должны это обещание выполнить. Статьи подтверждены, сэр.

Капитан Блад снова поклонился. Тщетно Ривароль искал хоть малейший след торжествующей улыбки на его твердых губах. Лицо пирата оставалось предельно серьезным.

Волверстона отпустили на свободу в тот же день, а затеявшего провокацию француза приговорили к двум месяцам тюремного заключения. Таким образом, гармония была восстановлена. Но такое начало не сулило ничего хорошего, и последовавшие вскоре события нарушили установившееся было согласие.

Неделю спустя Блад и его офицеры были вызваны на совет, собравшийся для определения предстоящих действий против Испании. Ривароль изложил план набега на богатый испанский город Картахена. Капитан Блад изобразил удивление. Ривароль с кислым видом предложил ему изложить свои доводы, что последний и сделал с предельной откровенностью.

— Будь я генералом королевских армий в Америке, я бы не испытывал ни колебаний, ни сомнений относительно того, как наилучшим образом послужить моему королю и французской нации. Думаю, для месье де Кюсси столь же очевидно, как и для меня, что нам следует незамедлительно вторгнуться в испанскую часть Эспаньолы и передать весь этот плодородный и великолепный остров во владение короля Франции.

— Это можно сделать потом, — сказал Ривароль. — Я хочу, чтобы мы начали с Картахены.

— В наше отсутствие возможно испанское вторжение во французскую Эспаньолу. Если мы начнем с изгнания испанцев здесь, возможность такого вторжения будет устранена. Мы добавим к французской короне самое желанное владение в Вест-Индии. Предприятие не представляет особых трудностей; оно может быть осуществлено достаточно быстро, а по его завершении придет время заглянуть дальше. По-моему, вся эта кампания должна проходить именно в таком логическом порядке.

Он замолчал, и наступила тишина. Ривароль откинулся на спинку стула, зажав в зубах кончик гусиного пера.

— Есть ли здесь кто-нибудь еще, кто разделяет мнение капитана Блада? — спросил наконец барон.

Никто не ответил. Его собственные офицеры благоговели перед ним и побаивались выступать против; люди же из команды Блада, естественно, предпочитали Картахену, обещавшую больше шансов на богатую добычу. Но и они не решались перечить своему капитану.

— Похоже, вы одиноки в своем мнении, — заявил барон, язвительно улыбнувшись.

Капитан громко рассмеялся. Надменный вид и заносчивые манеры барона так подействовали на Блада, что он только сейчас наконец распознал в этом человеке обычного охотника за наживой. Ничего другого, кроме как рассме-

яться, ему не оставалось. Но в его смехе было больше гнева, чем презрения. Получалось, что он обманывал себя, думая, что покончил с пиратством.

Уверенность в том, что французская служба свободна от какой-либо примеси позорного занятия, была единственной причиной, побудившей его принять предложение месье де Кюсси. И вот теперь этот высокомерный кавалер, называющий себя генералом французской армии, предлагает грабительский, воровской рейд, который, сорви с него подлую, прозрачную маску законной войны, предстал бы как вопиющий акт самого отвратительного пиратства.

Ривароль неодобрительно нахмурился.

— Почему вы смеетесь, сударь?

— Потому что обнаруживаю здесь в высшей степени забавную иронию. Вы, господин барон, генерал сухопутных и морских войск короля в Америке, предлагаете предприятие чисто пиратского характера, в то время как я, пират, настаиваю на том, что больше способствует защите чести Франции.

Ривароль ничего подобного, разумеется, не заметил и чрезвычайно разозлился. Он вскочил со стула, и все мужчины в комнате поднялись вместе с ним — за исключением одного только де Кюсси, который продолжал сидеть с мрачной улыбкой на губах. Он тоже читал барона, как открытую книгу, и потому презирал.

— Похоже, господин флибустьер, — воскликнул Ривароль хриплым голосом, — мне придется снова напомнить, что я старше вас по званию!

— Вы старше меня по званию?! Вы — владыка мира? Да вы всего лишь самый обычный пират! Надо же вам хоть раз услышать правду перед всеми этими джентльменами, которые имеют честь служить королю Франции. Мне, пирату, морскому разбойнику, приходится стоять здесь и объяснять вам, что отвечает интересам французской короны и подобает французской чести. Тогда как вы, назначенный королем Франции генерал, пренебрегая этим и расточая средства королевской казны, предлагаете напасть на далекое, не имеющее никакого значения поселение и пролить французскую кровь, только потому что в Картахене много золота, за счет которого вы намерены обогатиться.

Решение, достойное торгаша, пытавшегося урвать часть нашей доли после подписания договора. Если я ошибаюсь, пусть месье де Кюсси так и скажет. Если я ошибаюсь, пусть мне скажут, в чем именно, и я попрошу извинения. Так что, сударь, я выхожу из состава этого совета. Я больше не буду принимать участия в ваших обсуждениях. Я поступил на службу к королю Франции с лучшими намерениями, но не могу потворствовать пустой трате жизней и ресурсов в набегах, единственной целью которых является грабеж. Ответственность за такие решения должна лежать на вас, и только на вас. Я хочу, чтобы месье де Кюсси доложил мое мнение французским министрам. Что касается остального, сударь, вы можете отдавать мне свои приказания. Я жду их — как и все прочее личного характера — на борту моего корабля. Если, по вашему мнению, я оскорбил вас выражениями, которые счел необходимым использовать на этом совете, я к вашим услугам. Господин барон, имею честь пожелать вам доброго дня.

Он вышел, и три его капитана — хотя они и считали его сумасшедшим — последовали за ним в почтительном молчании.

Ривароль задыхался, как выброшенная на берег рыба. Высказанная в лицо суровая правда лишила барона дара речи. Придя в себя, он горячо возблагодарил Небеса за то, что капитан Блад по собственной инициативе покинул заседание, избавив совет от своего участия в дальнейших обсуждениях. В душе Ривароль сгорал от стыда и ярости. С него сорвали маску и выставили на посмешище — его, генерала королевских армий на море и на суше в Америке.

Тем не менее в середине марта они отплыли именно в направлении Картахены. Добровольцы и негры довели численность войск под непосредственным командованием Риваройля до тысячи человек. С их помощью барон рассчитывал удержать пиратов в подчинении.

Была собрана внушительная флотилия, флагманом которой стал могучий восьмидесятипушечный «Победоносный» Ривароля. Каждый из четырех других французских кораблей был по меньшей мере не слабее в плане вооружения «Коллин» Блада, огневую мощь которого обеспечивали сорок пушек. За ними следовали небольшие пиратские суда — «Элизабет», «Лахезис» и «Атропос», — а также дюжина фрегатов, груженных припасами, с каноэ и небольшими судами на буксире.

Эскадра месье де Риваройля разминулась с ямайским флотом во главе с Бишопом, который отплыл на север, к Тортуге, через два дня после того, как они ушли на юг.

III

Пересекший Карибское море при встречных ветрах, французский флот подошел к Картахене только в первых числах апреля, и Ривароль созвал совет на борту своего флагманского корабля, чтобы определить способ нападения.

— Очень важно, господа, — начал он, — захватить город врасплох. Не только до того, как они смогут организовать оборону, но и прежде чем успеют вывезти свои сокровища вглубь страны. Я предлагаю высадить силы, достаточные для достижения этой цели, к северу от города сегодня вечером после наступления темноты.

И он подробно изложил разработанный им план.

Французские офицеры слушали его с уважением и одобрением, капитан Блад — с презрением, а другие присутствующие капитаны пиратов — равнодушно. Следует понимать, что отказ Блада присутствовать в совете не касался тех заседаний, которые были связаны с обсуждением тактики боевых действий.

Капитан Блад был единственным среди собравшихся, кто точно знал, что ждет их впереди. Два года назад он сам подумывал о налете на Картахену при обстоятельствах, которые ему предстояло вскоре осветить.

Предложение барона основывалось на тех знаниях, почерпнуть которые можно из знакомства с картами. С точки зрения географии и стратегии, Картахена — весьма любопытное место. Она представляет собой четырехугольник, защищена с востока и севера холмами, и можно сказать, обращена на юг, к внутренней из двух гаваней, через которые к городу обычно приближаются суда. Вход во внешнюю гавань, которая на самом деле представляет собой лагуну около трех миль в поперечнике, проходит через перешеек, известный как Бока-Чика, или Маленькая Горловина, и защищен фортом.

Длинная густо поросшая лесом коса к западу играет здесь роль естественного волнореза, и по мере приближения к внутренней гавани другая коса выступает под прямым углом от первой, к материку на востоке. Недалеко от него она заканчивается, оставляя глубокий, но очень узкий проход — настоящие ворота в безопасную и защищенную внутреннюю гавань. Другой форт защищает этот второй проход.

К востоку и северу от Картахены лежит материк, но на западе и северо-западе город, так хорошо защищенный со всех сторон, лежит прямо у моря. Кроме береговой полосы и собственных крепких стен, других оборонительных сооружений у города нет.

Но эта видимость обманчива, чего не учел Ривароль, когда разрабатывал свой план. Теперь он сообщил капитану Бладу, что честь начать штурм будет предоставлена пиратам.

Капитан Блад прекрасно понял это намерение. Пиратам — опасности, Риваролю — почет, слава и вся добыча.

— Честь, которую вы нам столь любезно оказываете, я вынужден отклонить, — довольно холодно промолвил Блад.

Волверстон одобрительно хмыкнул, а Хагторп кивнул. Кристиан, который сам обладал холодным, расчетливым темпераментом, спокойно и выжидающе смотрел на своего лидера. Французские офицеры — их было шестеро — с надменным удивлением уставились на капитана Блада, тогда как барон с вызовом бросил на него вопросительный взгляд.

— Как? Вы отказываетесь, сэр? Вы хотите сказать, что отказываетесь подчиняться приказам?

— Насколько я понимаю, господин барон, вы вызвали нас, чтобы обсудить план захвата города.

— Вы неправильно меня поняли, господин капитан. Вы здесь для того, чтобы получать мои приказы. Я уже все обдумал и принял решение. Надеюсь, вы понимаете.

— Понимаю, — рассмеялся Блад. — Вы подумали и приняли решение. Но если ваше решение не основано на желании уничтожить моих пиратов, то вы измените его, когда я скажу, что ждет вас впереди. Этот город, Картахена, выглядит очень уязвимым с северной стороны, весь открытый морю, как это, по-видимому, и есть. Спросите себя, господин барон, как получилось, что испанцы, построившие его там, где он стоит, так старались укрепить его с юга, если на него легко напасть с севера?

Ривароль призадумался.

— Испанцы, — продолжал Блад, — не совсем такие дураки, какими вы их считаете. Позвольте мне сказать вам, господа, что два года назад я провел обследование Картахены, имея в виду вероятное нападение на город. Я приехал сюда с несколькими дружественными торговцами-индейцами, сам переодетый индейцем, и в этом обличье провел в городе неделю и тщательно изучил все подходы.

— Со стороны моря, откуда город выглядит таким соблазнительно открытым для нападения, есть мелководье более чем на полмили — достаточно далеко, уверяю вас, чтобы гарантировать, что ни один корабль не приблизится к нему на расстояние пушечного выстрела. Подходить к суше ближе, чем на три четверти мили, небезопасно, а город находится в полумиле от берега.

— Но мы воспользуемся для высадки каноэ, пирогами и шлюпками, — нетерпеливо воскликнул один из офицеров.

— В самое спокойное время года прибой будет препятствовать любой такой операции. Также нужно иметь в виду, что при осуществлении высадки предлагаемым вами способом ее невозможно прикрыть корабельными орудиями. На самом деле, высаживающиеся могут попасть под огонь своей собственной артиллерии.

— Если атака будет предпринята ночью, как я предлагаю, прикрытие не потребуется. Вы должны быть на берегу в полном составе до того, как испанцы узнают о ваших намерениях.

— Неужели вы полагаете, что Картахена — город слепцов и что они не сосчитали уже наши паруса и не спрашивают себя, кто мы такие и зачем сюда пожаловали?

— Но если они чувствуют себя в безопасности с севера, как вы предполагаете, — нетерпеливо воскликнул барон, — то само это чувство безопасности убаюкает их.

— Возможно. Но с другой стороны, они в безопасности.

— И всё же мы попытаемся, — сказал упрямый барон.

— Решать, конечно, вам. Но я не подвергну своих людей неоправданной опасности.

— Если я прикажу... — начал было барон. Но Блад бесцеремонно прервал его.

— Господин барон, когда месье де Кюсси нанял нас от вашего имени, это было связано как с нашими знаниями и опытом в такого рода боевых действиях, так и с нашей силой. Я предоставил в ваше распоряжение свои собственные знания и опыт в этом конкретном вопросе. Кроме того, я отказался от собственного плана набега на Картахену, поскольку в то время у меня не было достаточных сил, чтобы захватить вход в гавань, которая является единственным путем в город.

Ривароль в досаде прикусил губу и бросил мрачный взгляд в сторону неуступчивого пирата.

— Но если я прикажу вам пойти на штурм? — спросил он. — Ответьте мне, сударь, дайте нам знать раз и навсегда, на что нам рассчитывать и кто командует этой экспедицией.

— Вы определенно начинаете меня утомлять, — капитан Блад повернулся к де Кюсси, который сидел, нервно покусывая губу и явно смущенный происходящим. — Я обращаюсь к вам, сударь, с просьбой оправдать меня перед генералом.

Де Кюсси вышел из мрачной задумчивости и прочистил горло. Он заметно нервничал.

— Учитывая доводы, представленные капитаном Бладом...

— К дьяволу! — рявкнул Ривароль. — Похоже, вокруг меня одни только тру́сы! Послушайте, господин капитан, раз уж вы боитесь браться за это дело, я сам за него возьмусь. Погода стоит тихая, и мы успешно высадимся на берег. Если все так и будет — а все так и будет, — то завтра вам придется выслушать нечто малоприятное. Я слишком великодушен с вами, сэр, — он царственно взмахнул рукой. — Можете идти.

Им двигали чистое упрямство и пустая гордыня, и он получил заслуженный урок. Во второй половине дня флот остановился в миле от берега, и под покровом темноты триста человек, из которых двести были неграми, подошли к берегу на каноэ, пирогах и корабельных шлюпках. Гордость вынудила Риваролля, хотя ему самому это сильно не нравилось, лично возглавить предприятие.

Первые шесть лодок были захвачены прибоем и разбились о скалы прежде, чем сидевшие в них смогли выбраться. Грохот прибоя и крики потерпевших кораблекрушение предупредили идущих следом и тем самым спасли их от той же участи. По настоятельному приказу барона они отступили и остановились неподалеку, чтобы подобрать выживших. В этой авантюре они потеряли около пятидесяти человек, а также полдюжины лодок с боеприпасами и легкими орудиями.

Ривароль вернулся на флагманский корабль разъяренным, но отнюдь не поумневшим. Мудрость — даже та горькая мудрость, которую бросает нам опыт, — не для таких, как барон. Его гнев распространялся на всех, но сосредоточился в основном на капитане Бладе. В результате какого-то извращенного процесса рассуждений он возложил на него главную ответственность за провал.

Он отправился спать, лихорадочно обдумывая, что сказать пирату завтра. На рассвете его разбудил раскатистый гром орудий. Выйдя на ют в ночном колпаке и ночной рубашке, он стал свидетелем зрелища, которое усилило его безрассудную и беспричинную ярость. Четыре пиратских корабля, подняв паруса, выполняли некие необычные манёвры в полумиле от Бока-Чика и чуть более чем в полумиле от остальной части флота. Время от времени они становились боком к защищавшему узкий проход форту, и с их бортов вырывались языки пламени и клубы дыма. Форт отвечал огнем энергично и яростно. Но буканьеры с необычайной предусмотрительностью рассчитывали время своих залпов, производя залп в момент перезарядки орудий обороняющимися. Вызвав огонь испанцев, они снова поворачивались так, что с форта видели либо нос, либо корму.

За этим действом, столь самонадеянно предпринятым Бладом под свою личную ответственность, месье де Ривароль наблюдал, что-то недовольно бормоча себе под нос и ругаясь. Офицеры «Победоносного» столпились вокруг него, но только когда к ним присоединился де Кюсси, барон открыл шлюзы своей ярости. Губернатор де Кюсси вызвал потоп, который теперь настиг его. Он подошел, потирая руки и явно получая заслуженное удовлетворение от предприимчивости людей, которых сам и завербовал.

— Ага, господин барон! — рассмеялся де Кюсси. — А ведь он знает свое дело, этот капитан Блад, и, думаю, еще до завтрака посадит французские лилии в этом форте.

Ривароль с рычанием набросился на него.

— Знает свое дело, да? Позвольте мне сказать вам, месье де Кюсси, что его дело — подчиняться моим приказам, а я этого не приказывал. Побей меня гром! Когда это закончится, я разберусь с ним за... неподчинение.

— Конечно, господин барон, но неподчинение может быть оправдано успехом.

— Оправдано! Вот как! Разве возможно оправдать солдата, если он действует без приказа? — бушевал Ривароль, чувствуя поддержку своих офицеров, ненавидящих капитана Блада.

Тем временем бой продолжался. Форт получил значительные повреждения. И все же, несмотря на все их манёвры, пираты не избежали возмездия. Планшир правого борта «Атропоса» был разнесен в щепки, ядро попало в корму. У «Элизабет» значительно пострадал бак, у «Коллин» выстрелом снесло гротмачту, и наконец «Лахезис» вышел из боя с разбитым рулем, так что управлять им пришлось веслами.

Свирепые глаза барона светились мстительным удовлетворением.

— Я молю Небеса, чтобы они потопили все его треклятые корабли, — кричал он в своем безумии.

Но Небеса не услышали. Словно в ответ на его злобный вопль раздался ужасный взрыв, и половина форта разлетелась на куски. Удачный выстрел пришелся в пороховой погреб.

* * *

Спустя, может быть, часа два капитан Блад, подтянутый и невозмутимый, поднялся на квартердек «Победоносного» и предстал перед Риваролем, который так и не успел переодеться и стоял в ночной рубашке и ночном колпаке.

— Разрешите доложить, господин барон: мы овладели фортом на Бока-Чика. Знамя Франции развевается на руинах его башни, и вашему флоту открыт доступ во внешнюю гавань.

Ривароль собрал все силы, чтобы подавить душившую его ярость. Офицеры встретили новость таким ликованием, что продолжать в начатом духе он не мог. И все же его глаза наполнились злобой, а лицо побледнело от гнева.

— Вам повезло, господин Блад. В случае неудачи вам пришлось бы очень нелегко. В другой раз будьте так добры и дождитесь моих распоряжений, ведь может случиться, что не все сложится удачно, и у вас не будет таких оправданий, как сегодня.

Блад улыбнулся, сверкнув белыми зубами, и поклонился.

— Буду рад, генерал, услышать от вас приказ развить успех. Вы же понимаете, что медлить с нанесением удара нельзя. Быстрота — это первое, что нам необходимо.

Ривароль на мгновение застыл, разинув рот. Поглощенный своей нелепой яростью, он ни о чем другом и не думал. Но барон быстро пришел в себя.

— В мою каюту, пожалуйста, — надменно приказал он и повернулся, чтобы идти первым, когда Блад остановил его.

— Со всем уважением, мой генерал, здесь нам будет лучше. Картина предстоящих действий представлена не хуже, чем на карте. — Блад махнул рукой в сторону лагуны и города, лежащего на некотором удалении от берега. — Если с моей стороны не будет сочтено самонадеянностью предложить... — Он сделал паузу. Ривароль пристально посмотрел на него, подозревая иронию, но смуглое лицо было спокойным, как и проницательные голубые глаза.

— Давайте послушаем ваше предложение, — согласился француз.

Блад указал на форт у входа во внутреннюю гавань, который был едва виден за деревьями на разделяющей их полоске суши. Он заявил, что этот форт вооружен значительно слабее, чем внешний, который они уже захватили, но вместе с тем и канал здесь сужается, а значит, прежде чем идти во внутреннюю гавань, нужно подавить огонь со стороны второго форта. Предложение Блада сводилось к следующему: французские корабли входят во внешнюю гавань и немедленно приступают к бомбардировке. Тем временем триста пиратов с легкой артиллерией высаживаются на восточной стороне лагуны, за островами благоухающих садов, и атакуют форт с тыла. Как только тот будет захвачен, Ривароль разместит там гарнизон, тогда как капитан Блад двинется со своими людьми дальше и захватит церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пупа, хорошо видимую на холме непосредственно к востоку от города. Удерживая эту доминирующую позицию, можно будет ожидать скорой сдачи города.

Надменный и до сего момента слушавший пирата с намерением ради удовлетворения собственного тщеславия подвергнуть его предложение бесцеремонной критике, Ривароль внезапно изменился. Быстрое взятие города означало завладение его сокровищами. Он вдруг оживился, проникся вниманием и даже зашел так далеко, что одобрил план капитана Блада и отдал приказ немедленно принять меры по его осуществлению.

* * *

Описывать дальнейшие действия постепенно, шаг за шагом, нет никакой необходимости. Грубые ошибки со стороны французов помешали четкому исполнению

намеченного, а невнимательность и безразличие привели к потере в течение дня двух кораблей из-за артиллерийского огня форта. Но к вечеру, во многом благодаря неукротимой ярости, с которой пираты штурмовали укрепления со стороны суши, второй форт сдался, и еще до наступления сумерек Блад и его люди овладели господствующей над городом высотой Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пупа.

В полдень следующего дня лишенная оборонительных сооружений и находящаяся под угрозой бомбардировки Картахена направила Ривароло предложения о капитуляции. Раздувшись от гордости за победу, всю заслугу за которую он приписал себе, барон продиктовал свои условия. Он потребовал сдачи всего общественного имущества, передачи торговцами всех денег и принадлежащих им товаров; жителям предлагалось на выбор либо остаться в городе, либо уехать. Уезжающим надлежало сначала сдать все свое имущество, остающимся — сдать половину и стать подданными Франции. Ривароль обещал не трогать молитвенные дома и церкви, но обязал представить отчеты обо всех деньгах и ценностях, находящихся в их распоряжении.

Не имея возможности выбирать, Картахена согласилась исполнить предъявленные требования, и на следующий день, пятого апреля, Ривароль вошел в город и объявил его французской колонией, назначив губернатором месье де Кюсси. После этого он проследовал в собор, где в честь победы был исполнен благодарственный гимн «Te Deum». После этого вступления де Ривароль приступил к грабежу города. Единственное отличие французского завоевания Картахены от обычного пиратского набега заключалось в том, что солдатам категорически под страхом строжайшего наказания запрещалось входить в дома горожан.

Но это показное уважение к личности и имуществу побежденных на самом деле имело простое объяснение: Ривароль заботился о том, чтобы из богатств, поступивших в казну, открытую бароном от имени короля Франции, не пропал ни один дублон. Как только золотой поток прекратился, барон снял все ограничения и оставил город на растерзание своим людям. Продолжив грабежи, солдаты растащили имущество даже той части горожан, которые стали французскими подданными, хотя Ривароль обещал им неприкосновенность и защиту.

Добыча была огромной. Четыре дня более сотни мулов перевозили награбленное золото из города к ожидавшим у берега лодкам, которые доставляли сокровища на борт кораблей.

IV

Во время капитуляции и некоторое время после нее капитан Блад и бóльшая часть его пиратов находились на своем посту на высотах Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пупа, ничего не зная о происходящем. Блада — человека, благодаря которому город был взят столь быстро — даже не сочли нужным пригласить на военный совет, где барон де Ривароль определял условия капитуляции.

Пребывая в странном расположении духа, он довольствовался презрительной улыбкой по адресу французского генерала. Отнюдь не так, однако, были настроены его капитаны и уж тем более его люди. Некоторое время обида тихо тлела, но к концу первой недели пребывания в Картахене уголья недовольства вспыхнули пламенем. Блад успокоил их на время, пообещав выразить озабоченность, и с этой целью отправился на поиски Ривароля.

Он нашел его в конторе, со штатом счетоводов, регистрировавших привезенные сокровища и проверявших бухгалтерские книги для точного определения того, какими могут быть окончательные суммы.

— Господин барон, — сказал Блад, — я должен говорить откровенно, и вы должны это выслушать. Мои люди на грани мятежа.

Ривароль оглядел его, слегка приподняв брови.

— Господин Блад, я тоже буду говорить откровенно, и вы тоже должны это выслушать. Если произойдет мятеж, вы и ваши капитаны будете нести личную ответственность. Кроме того, вы ошибаетесь, говоря со мной тоном союзника. С самого начала я ясно дал вам понять: вы — только мой подчиненный. Правильное понимание этого факта избавит вас от пустой траты слов.

Блад с трудом сдерживал себя и уже чувствовал, что в один прекрасный день ему все же придется — во благо всего человечества — срезать гребень этому высокомерному, наглому петуху.

— Вы можете определять наше положение, как вам заблагорассудится, — сказал он. — Меня интересуют факты, главным образом те факты, что мы заключили с вами определенные соглашения. Статьи этого соглашения предусматривают определенное распределение добычи. Мои люди недовольны.

— Чем они недовольны? — резко спросил барон.

— Вашей честностью, месье де Ривароль.

Удар в лицо едва ли мог поразить француза сильнее. Он напрягся и выпрямился, глаза его сверкнули, лицо побледнело. Писари за столами отложили перья и с ужасом ожидали взрыва.

— Как вы смеете? Вы и те грязные воры, которые вас окружают! Громы небесные! Вы ответите мне за это! Я требую сатисфакции, хотя поединок с вами — унижение для меня! Фу!

Голос французского дворянина был концентратом гнева.

— Напомню вам, — сказал Блад, — что я говорю не от себя лично, а от имени своих людей. Это они недовольны и заявляют, что если их требования не будут удовлетворены, то они возьмут положенное сами.

— Возьмут сами? — эхом отозвался Ривароль, дрожа от ярости. — Пусть только попробуют это сделать, и...

— Осторожнее. Мои люди, как вам известно, требуют то, на что имеют право. Они хотят знать, когда состоится раздел добычи.

— Господи, дай мне терпения! — вырвалось у разъяренного генерала. — Как мы можем разделить добычу, если она еще не полностью собрана?

— Они полагают, что собрано все, и в любом случае с подозрением относятся к тому, что ценности предполагается разместить на ваших кораблях и оставить в вашем распоряжении. Они говорят, что после этого невозможно будет установить, каков на самом деле размер добычи.

— О небеса! Я сам веду учет. Ваши люди могут при желании посмотреть бухгалтерские книги.

— Они не хотят смотреть бухгалтерские книги, потому что мало кто из них умеет читать. Они хотят увидеть сами сокровища. Вы сами знаете — мне приходится быть откровенным и говорить прямо, — что отчеты были сфальсифицированы. Согласно вашим книгам, добыча в Картахене составляет около десяти миллионов ливров. Люди знают — и они очень искусны в этих вычислениях, — что на самом деле сумма превышает сорок миллионов. Они настаивают на том, чтобы вся добыча была представлена для проверки и взвешена в их присутствии, как это принято у Берегового братства.

— Я не имею никакого отношения к обычаям флибустьеров. Я командую армией, а не ворами и грабителями.

— О, ну конечно же! — Блад иронически усмехнулся. — Но предупреждаю: не уступив этому справедливому требованию, вы можете нарваться на неприятности, и меня не удивит, если вы вообще не покинете Картахену и не доставите домой во Францию ни одной золотой монеты.

Спор продолжался еще некоторое время и, наконец, завершился нелюбезным обещанием Ривароля подчиниться. Он считал, что может победить пиратов в открытой схватке. Но может и не победить. И даже в случае победы цена может быть столь велика, что впоследствии ему уже не хватит сил, чтобы удержать имеющееся.

Барон объявил, что проведет необходимые приготовления, и если капитан Блад и его офицеры пожалуют на борт «Победоносного» завтра утром, сокровища будут предъявлены, а их пятая доля передана на хранение.

Довольные победой над великим гордецом Риваролем, пираты веселились всю ночь. Но когда над Картахеной забрезжил рассвет единственными кораблями в пределах видимости были «Коллин» и «Элизабет», стоявшие на якоре, и «Атропос» и «Лахезис» у берега, куда их отвели для ремонта повреждений, полученных во время бомбардировки. Французские корабли исчезли. Они вышли из гавани под покровом ночи, и три паруса, едва различимые на западном горизонте, были всем, что от них осталось. Ривароль сбежал, ушел с сокровищами, забрав с собой войска и моряков, которых привез из Франции. Он оставил в Картахене не только обманутых им пиратов, но и месье де Кюсси, добровольцев и негров с Эспаньолы, которых обманул ничуть не меньше.

Общая ярость объединила две партии в одну, и перед ее лицом жителей злополучного города обуял ужас, какого они еще не знали со времени прибытия этой экспедиции.

Один только Блад обуздал свое глубокое огорчение и досаду. Капитан пообещал себе, что прежде чем расстаться с Риваролем, он предъявит послед-

нему счет за все мелкие унижения и оскорбления, которым подвергал его этот невыносимый тип, оказавшийся вдобавок еще и негодяем.

— Мы его догоним, — заявил он. — Догоним и накажем.

Заявление было встречено общими криками согласия. Однако, когда страсти поостыли, стало ясно, что только два из пиратских кораблей пригодны к плаванию, и они не могут вместить все наличные силы, тем более, с учетом недостатка продовольствия для длительного плавания.

Экипажи «Лахезиса» и «Атропоса», а вместе с ними и их капитаны, Волверстон и Кристиан, отказались от первоначального намерения. В конце концов, в Картахене все еще оставались припрятанными немалые ценности. Они останутся здесь, подбирая эти остатки, пока корабли не будут готовы снова выйти в море. Пусть Блад, Хагторп и те, кто был с ними, поступают так, как им заблагорассудится.

В какой-то момент дело едва не дошло до стычки между двумя партиями, на которые теперь разделились пираты, а тем временем французские паруса уходили все дальше за горизонт. Блад впал в отчаяние. Если он уйдет сейчас, одному богу известно, что случится с городом, учитывая характер тех, кто намеревался здесь остаться. С другой стороны, остаться означало бы, что его собственная команда и команда Хагторпа присоединятся к бесчинствам, тем самым усугубив и без того незавидное положение горожан.

Понуждаемый обстоятельствами, капитан быстро принял решение. В течение часа бочки с водой были наконец заполнены и помещены на борт; «Коллин» и «Элизабет» вышли в море и пустились в отчаянную погоню.

Блад сидел в своей каюте, обхватив голову руками, и с тоской в глазах смотрел прямо перед собой, когда одиночество капитана нарушил его квартирмейстер и лучший друг Джерри Питт.

— Что теперь, Питер? — спросил светловолосый молодой девонширский моряк, который, как и сам Блад, стал жертвой восстания Монмута и вместе с ним ступил на путь беззакония после того, как они вместе бежали с каторги. — Господи, старина, да не переживай ты так из-за этого Ривароля!

— Нет, — хрипло ответил Блад. В этот раз он был настроен пообщаться. Возможно, хотел дать выход тому, что его угнетало, чтобы не сойти с ума. — Но если бы она знала! Если бы она знала! О Боже! Я намеревался покончить с пиратством и думал покончить с ним навсегда. И все же этот негодяй втянул меня в самое ужасное пиратство, в котором я когда-либо был виновен. Подумай о Картахене! Подумай о том аде, который устроят там сейчас эти дьяволы! И вина за это лежит на мне!

— Нет, Питер, не на тебе, а на Ривароле. Это он, грязный вор, он все устроил. Что ты мог сделать? Как предотвратить такое?

— Я бы остался, если бы это могло помочь.

— Не помогло бы, и ты прекрасно это знаешь. Так что толку роптать?

— Это еще не все, — простонал Блад. — Что теперь? Что дальше? Служба Англии для меня невозможна. Попытка служить Франции привела вот к этому,

и продолжение в равной степени невозможно. Что же тогда остается? Пиратство? Я покончил с этим. Ей-богу, похоже, единственное, что осталось, — это пойти и предложить свою шпагу королю Испании.

Но кое-что еще оставалось — последнее, чего он мог ожидать, и к этому они стремились теперь по залитому тропическим солнцем морю.

Держа курс на Эспаньолу — куда, как они рассудили, и должен был отправиться Ривароль для ремонта, прежде чем пытаться переправиться во Францию, — «Коллин» и «Элизабет» быстро двигались на север при умеренно благоприятном ветре, но в течение двух дней и ночей так ни разу и не увидели добычу.

Третий рассвет принес с собой дымку, ограничившую поле зрения и породившую опасение, что Ривароль может вообще скрыться от них.

В то время они находились в точке с координатами — согласно бортовому журналу, который вел Джерри Питт, приблизительно 17°45' северной широты и 75°30' западной долготы на, так что Ямайка лежала у них по левому борту. В какой-то момент далеко к северо-западу появился, едва видимой грядой облаков, большой хребет Голубых гор, вершины которых поднимались в чистом верхнем воздухе над низкой дымкой. Дувший с запада ветер доносил до их ушей гулкий звук, похожий на шум прибоя, разбивающегося о подветренный берег.

— Пушки! — определил Питт, стоявший с Бладом на шканцах.

Блад, внимательно прислушавшись, кивнул.

— Милях в десяти отсюда, возможно, в пятнадцати — где-то недалеко от Порт-Ройяла, насколько я могу судить, — добавил Питт и посмотрел на своего капитана. — Нас это касается?

— Пушки у Порт-Ройяла— должно быть полковник Бишоп за работой. И с кем он может драться, как не с нашими друзьями? Думаю, нас это может касаться. Так или иначе, надо подойти и разобраться. Прикажи сменить курс.

По мере приближения к месту действия звуки боя становились все сильнее. Так продолжалось около часа. Затем, когда Блад уже приник к подзорной трубе, всматриваясь в дымку и ожидая в любой момент увидеть сражающиеся корабли, орудия внезапно смолкли. Тем не менее, они продолжали идти выбранным курсом, и теперь уже вся команда собралась на палубе, с нетерпением и тревогой вглядываясь в море. И вскоре в поле зрения замаячил объект, который через некоторое время проявился как большой, охваченный пламенем корабль. По мере того как «Коллин» и следовавшая за ней «Элизабет» подходили ближе, очертания пылающего судна проступали все отчетливее. Потом над дымом и пламенем появились мачты, и в свою подзорную трубу Блад ясно разглядел развевающийся на грот-мачте вымпел Святого Георгия.

— Английский корабль! — крикнул он.

Осматривая море в поисках победителя в битве, мрачное свидетельство которой предстало перед ними в виде обреченного судна, они разглядели темные очертания трех больших кораблей примерно в трех или четырех милях от них в направлении Порт-Ройяла. Первым и естественным предположением было

то, что они должны принадлежать ямайскому флоту, и что горящее судно — это побежденное пиратское. Решив так, они поспешили подобрать людей с трех переполненных лодок, стоявших в стороне от пылающего корпуса. Но Джерри Питт, продолжавший рассматривать удаляющуюся эскадру в подзорную трубу, заметил вещи, очевидные только опытному моряку, и сделал невероятное заявление, что самое большое из этих трех судов — «Победоносный»!

Убрав паруса, два корабля легли в дрейф, чтобы поднять на борт выживших. Немало было и таких, кто держался на поверхности, ухватившись за обломки, которыми было усеяно море.

Одна из лодок стукнулась о борт «Коллин», и первым по трапу поднялся худощавый, изящный джентльмен в камзоле из шелковистого, расшитого золотом атласа. Его сморщенное, желтое и довольно раздраженное лицо было обрамлено кудрями тяжелого черного парика. Модная, дорогая одежда ничуть не пострадала от приключений, через которые прошел мужчина, державшийся с уверенностью человека высокого положения.

С одного взгляда было ясно — этот человек пиратом быть не может. За ним неотступно следовал тот, кто во всем, кроме возраста, был его физической противоположностью — тучный, мускулистый, энергичный, с полным, круглым обветренным лицом, с насмешливым ртом и голубыми искристыми глазами. Он был хорошо, но без излишеств, одет, и от него веяло властностью и силой.

Ступив с трапа на палубу первым, тот, что поменьше, бросил взгляд острых, как у хорька, черных глаз на вышедшего встречать его Блада и нестройные ряды собравшейся команды.

— И где, черт возьми, я могу находиться? — раздраженно вопросил он и с вызовом обратился к Бладу. — Вы англичанин или... кто такой?

— Я имею честь быть ирландцем, сэр. Меня зовут Блад, капитан Питер Блад, а это мой корабль «Коллин», весь к вашим услугам.

— Блад! — пронзительно воскликнул гость. — Блад! Пират, — он повернулся к следовавшему за ним великану. — Пират, ван дер Кэйлен. Разорви мои печенки, но мы попали от Сциллы к Харибде!

— Да? — гортанным голосом спросил другой. — И што ше? — тут ирония ситуации перевесила сдержанность, и он рассмеялся.

— Чего вы хохочете? — возмутился атласный камзол. — Нечего сказать, посмеются же над нами в Англии! Сначала адмирал ван дер Кэйлен теряет ночью свой флот, потом французская эскадра топит его флагманский корабль, а заканчивается все тем, что сам он попадает в руки пиратов. Рад, что вы нашли здесь повод для смеха, поскольку я, по грехам своим, ничего смешного в этом не нахожу!

— Позвольте указать вам на небольшое недоразумение, — вмешался Блад. — Вы не захвачены, джентльмены, вы спасены. Когда вы это поймете, возможно, вам придет в голову признать предлагаемое мною гостеприимство. Оно, возможно, недостаточно хорошо для вас, но это лучшее, что есть в моем распоряжении.

Свирепый маленький джентльмен уставился на него.

— Полагаю, вы позволяете себе иронизировать, — неодобрительно сказал он и наконец представился. — Я лорд Уиллоуби, генерал-губернатор Вест-Индии при короле Вильгельме, а это адмирал ван дер Кэйлен, командующий вест-индской эскадрой его величества, в данный момент затерявшейся где-то здесь, в этом проклятом Карибском море.

— При короле Вильгельме? — повторил удивленно Блад, и его офицеры, удивленные не меньше своего капитана, подтянулись поближе. — Кто же такой этот король Вильгельм и монархом какой страны он является?

Лорд Уиллоуби уставился на него с нескрываемым изумлением.

— Я имею в виду его величество Вильгельма Оранского, который стал королем Англии два с лишним месяца тому назад.

На палубе воцарилась тишина, пока Блад не понял наконец, что ему говорят.

— Вы хотите сказать, сэр, что английский народ восстал и вышвырнул этого мерзавца Якова и его шайку негодяев?

От улыбки на обветренных щеках его светлости проступили морщины, похожие на глубокие порезы.

— Боже! Разве вы не слышали? Где, черт возьми, вы вообще были?

Капитан Блад коротко ввел гостя в курс дела. Последовали дальнейшие объяснения. Король Яков бежал во Францию и жил под защитой короля Людовика, поэтому и по другим причинам Англия теперь находилась в состоянии войны с Францией. Вот как случилось, что флагманский корабль голландского адмирала был атакован флотом Ривароля в то утро, из чего ясно следовало, что во время своего плавания из Картахены француз, должно быть, получил от кого-то последние известия о положении дел дома.

После этого, заверив генерал-губернатора и адмирала в том, что на борту его корабля им будет оказано положенное гостеприимство, капитан Блад повел их в свою каюту, тогда как спасательные работы продолжались. Разум Блада пребывал в смятении. Если король Яков свергнут с престола и изгнан, это может означать конец ссылки для него и других объявленных вне закона за участие в восстании Монмута.

Если дело обстоит именно так, то у него появляется возможность вернуться домой и начать свою жизнь с того момента, когда она, к сожалению, была прервана четыре года назад. Новости и открывшиеся в связи с ними возможности буквально ошеломили Блада. Не в силах сдерживаться, он обратился к проницательному маленькому джентльмену, невольно рассказав больше, чем ему хотелось бы. Тот выслушал его внимательно, а когда капитан замолчал, сказал:

— Возвращайтесь домой, если хотите. Можете быть уверены, никто не будет преследовать вас, учитывая, что именно толкнуло вас к пиратству. Но если вы решите служить сначала королю Вильгельму здесь, во время этой войны, ваше знание Вест-Индии и ваше мастерство, о которых мы много слышали, принесут вам благодарность нынешнего правительства. Подумайте, сэр: вам предоставляется прекрасная возможность проявить себя.

— Эту возможность предоставляете мне вы, ваша светлость, — поправил Блад. — Я очень благодарен, но в данный момент, признаюсь, способен думать только о тех важных событиях, которые меняют облик мира. Прежде чем определить свое место в этом изменившемся мире, я должен приучить себя рассматривать его в новом виде.

Питт, заглянув в каюту, сообщил, что спасательные работы завершены и люди подобраны — всего около сорока пяти человек — и размещены на двух пиратских кораблях. Он спросил, какие будут указания, и Блад поднялся.

— Увлекшись своими заботами, я пренебрег вашими, ваша светлость. Желаете, чтобы я высадил вас в Порт-Ройяле?

— В Порт-Ройяле? — Уиллоуби нервно заерзал на сиденье и рассказал, что накануне вечером они прибыли в Порт-Ройял, но не обнаружили заместителя губернатора на месте. — Он отправился на Тортугу в погоню за пиратами и взял с собой весь флот. Так мне сообщил майор Мэллард, который, по-видимому, управляет всем в его отсутствие. И сие несмотря на то, что известие о моем прибытии дошло до него до того, как он отплыл. Этот идиот, зная, что идет война с Францией, оставил Порт-Ройял совершенно незащищенным, за исключением ветхого форта, который можно разрушить за час.

Блад поднялся.

— А Ривароло об этом известно? — воскликнул он.

Ему ответил голландский адмирал.

— Расве Ривароль пойти бы туда, если бы не знать этого? Он закватить в плен коко-то из наших людей и, наверное, развязать им язик. Такой короший возмошность он не упускать.

Его светлость зарычал, как горный кот.

— Этот негодяй Бишоп ответит своей головой, если оставление его поста приведет к серьезным последствиям. Что если он поступил так преднамеренно, а? Что если таким образом он хочет услужить королю Якову, который и назначил его на эту должность?

Капитан Блад был великодушен.

— Едва ли, сэр. Бишопа подстегивает обычная мстительность. Он охотится за мной, милорд, и для этого отправился на Тортугу. Но я думаю, что пока он этим занимается, мне лучше самому присмотреть за Ямайкой для короля Вильгельма. — Блад рассмеялся весело, чего не случалось за последние два месяца. — Бери курс на Порт-Ройял, Джерри, и набирай полную скорость. Мы еще догоним Ривароля и сведем с ним свои счеты.

И лорд Уиллоуби, и адмирал вскочили на ноги.

— Но силы неравны! — воскликнул его светлость. — Любой из трех кораблей француза может сравниться с обоими вашими.

— По пушкам — да, — улыбнулся Блад. — Но в морском бою важно не только оружие. Если желаете посмотреть, как должно вести морское сражение, у вас будет такая возможность.

Оба уставились на него.

— Но каковы шансы? — воскликнул Уиллоуби.

— Это невосмошно, — ван дер Кэйлен покачал своей большой головой. — Искусство кораблевошдения вашно, но пушки есть пушки.

— Если я не смогу победить его, то затоплю свои корабли и блокирую выход, пока Бишоп не вернется из своей бессмысленной погони с флотом, или пока не появится ваша собственная эскадра.

— И какой в этом толк? — спросил Уиллоуби.

— Вот об этом я вам и расскажу. Ривароль — глупец, что так рискует, учитывая, какой груз у него на борту. В его трюмах сокровища, награбленные в Картахене, на сумму в сорок миллионов ливров.

Он отправился с ними в Порт-Ройял. Победит меня Ривароль или нет, он больше не выйдет с ними из Порт-Ройяла, и это сокровище попадет в казну короля Вильгельма, за исключением выплаты десятой доли моим пиратам. Вы согласны, лорд Уиллоуби?

Его светлость встал и, стряхнув облако кружев со своего запястья, протянул изящную белую руку.

— Капитан Блад, вы великий человек, — сказал он.

— Уверен, у вашей светлости прекрасное зрение, если вы заметили это, — рассмеялся капитан.

— Да, да. Но как ви хотеть это сделайть? — проворчал ван дер Кэйлен.

— Выходите на палубу, и я устрою вам наглядную демонстрацию еще до конца сегодняшнего дня.

V

— Шево ви шдете, мой друк? — спросил ван дер Кэйлен.

— Да, черт возьми, чего вы ждете?.. — рявкнул Уиллоуби.

Был полдень того же дня, и два пиратских корабля мягко покачивались с лениво хлопающими парусами на подветренной стороне длинной косы, образующей большую естественную гавань Порт-Ройяла и менее чем в миле от ведущего в нее пролива, находящегося под прикрытием форта. Прошло два с лишним часа с тех пор, как они приблизились к этому месту, пробравшись туда незаметно для города и кораблей Ривароля, и все это время воздух сотрясался от грохота орудий с моря и с суши, возвещая о завязавшемся бое между французами и защитниками города.

— Ви говорить, што показать нам што-то? Кде это што-то?

Блад стоял перед ними в полном боевом облачении, защищенный стальной кирасой.

— Я не намерен испытывать ваше терпение, — улыбнулся капитан. — Огонь и впрямь слабеет. Но спешка не даст нам ничего, а задержка позволит выиграть все.

Лорд Уиллоуби подозрительно посмотрел на него.

— Думаете, что тем временем Бишоп успеет вернуться? Или рассчитываете на флот адмирала ван дер Кэйлена?

— Ни на что такое я не рассчитываю. Я полагаюсь на то, что в сражении с фортом месье де Ривароль, человек довольно неуклюжий, понесет некоторый урон, и это поможет немного уравнять шансы. У нас будет достаточно времени, чтобы вступить, когда форт израсходует все боеприпасы.

— Да, да, — слова одобрения прозвучали, как сухой кашель. — Вы совершенно правы. У вас есть качества великого адмирала, капитан Блад. Прошу извинить — я неправильно вас понял.

— Весьма любезно со стороны вашей светлости. Видите ли, у меня есть некоторый опыт в такого рода действиях. Я пойду на любой оправданный риск, но не стану рисковать в тех случаях, когда в этом нет необходимости. Но... — он замолчал и прислушался. — Да, я был прав. Огонь ослабевает. Значит форт больше не может сопротивляться. Эй, там, Джерри!

Прислонившись к резным перилам, Блад отдал распоряжения коротко и ясно. Пронзительно затрубила боцманская дудка, и через мгновение корабль, который, казалось, дремал, пробудился к жизни топотом ног по палубе, скрипом блоков и хлопаньем парусов. Штурвал повернули, и через мгновение «Коллин» сдвинулась с места, «Элизабет» последовала за ней, а канонир Огл, получив последние инструкции Блада, спустился на свой пост на главной палубе.

Через четверть часа они обогнули мыс и оказались у входа в гавань, на расстоянии пушечного выстрела от трех кораблей Ривароля. Форт уже превратился в дымящуюся кучу мусора, а победоносный француз со штандартом с лилией, свисающим с верхушек его мачт, мчался вперед, чтобы взять приз — город, оборону которого он только что разгромил.

Блад оглядел французские корабли и усмехнулся. «Победоносный» и «Медуза», по-видимому, получили только незначительные повреждения, но третье судно, «Кит», сильно накренившееся на левый борт, чтобы держать над водой пробоину на правом борту, в расчет можно было не принимать.

— Видите! — крикнул он ван дер Кэйлену и, не дожидаясь одобрительного ворчания голландца, отдал приказ: — Руль влево!

Появление огромного красного корабля с позолоченной клювообразной фигурой на носу и открытыми артиллерийскими портами, должно быть, охладило восторг Ривароля. И все же, прежде чем он смог пошевелиться, чтобы отдать приказ, прежде чем смог определенно решить, какой приказ отдать, вулкан огня и металла обрушился на него с буканьера, давшего бортовой залп. По палубам словно прошлась смертоносная коса. «Коллин» продолжила движение, держась своего курса, а ее место заняла «Элизабет», которая, следуя по пятам, выполнила тот же манёвр.

И затем, пока французы все еще были в замешательстве, охваченные паникой из-за атаки, которая застала их врасплох, «Коллин» сделала круг и, повернувшись левым бортом, дала второй залп вслед за первым. Второй залп дала

и «Элизабет», после чего горнист Блада протрубил сигнал, прекрасно понятый Хагторпом.

— Давай, Джерри, — крикнул он. — Прямо на них, пока не опомнились. Приготовиться к абордажу! Хейтон — крючья! И передай канониру на носу, чтобы стрелял так быстро, как только сможет.

Он сбросил шляпу с перьями и надел стальной шлем, который принес ему негр.

— Абордаж — наш единственный шанс, — торопливо объяснил Блад гостям. — У них слишком большое преимущество в артиллерии.

За словами последовала впечатляющая демонстрация. Оба французских корабля, наконец опомнившись, развернулись бортом и, сосредоточившись на «Коллин», как на более близком и тяжелом судне, почти одновременно дали по нему совместный залп.

В отличие от пиратов, которые стреляли по палубам, французы били низко, по корпусу противника. «Коллин» качнулась и содрогнулась под этим ужасающим ударом, хотя Питт держал ее носом к французам, по возможности сужая мишень. На мгновение она, казалось, заколебалась, затем снова нырнула вперед, ее носовая часть разлетелась в щепки, бак был разбит, а чуть выше ватерлинии зияла дыра. Чтобы обезопасить судно от затопления, Блад приказал быстро сбросить за борт носовые орудия, якоря, бочонки с водой и все остальное, от чего можно было избавиться.

Тем временем французы, совершив поворот, оказали такой же прием «Элизабет». «Коллин» попыталась сблизиться, но прежде чем смогла достичь цели, «Победоносный» ударил по наступающему врагу вторым бортовым залпом с близкого расстояния. В громе пушек, треске бревен и криках искалеченных людей истерзанная «Коллин» нырнула и закачалась в облаке дыма, из которого донесся крик Хейтона, предупреждавшего, что корабль уходит носом под воду.

Сердце у Блада сжалось в груди. И в этот момент отчаяния сквозь дым замаячил золотисто-голубой борт «Победоносного». Но и уловив этот ободряющий проблеск, он понял, насколько замедлился их ход, и как он больше замедляется с каждой секундой. Блад понял, что они утонут, прежде чем доберутся до врага.

Такое же мнение, сопроводив его проклятием, выразил и голландский адмирал, тогда как лорд Уиллоуби обвинил Блада в опрометчивости, поскольку он рискнул всем ради азартного броска на абордаж.

— Другого шанса не было! — воскликнул в отчаянии Блад. — Если вы считаете, что это было отчаянно и безрассудно, то вы правы, но ничто другое в этих обстоятельствах и не годилось. — Я терплю поражение на пороге победы.

Но пока они еще держались на плаву. Сам Хейтон и два десятка крепких головорезов, которых вызвал его свисток, прятались среди обломков на баке с крючьями наготове. В девяти или десяти ярдах от «Победоносного», когда «Коллин» остановилась на виду у насмешливых, ликующих французов, а передняя палуба уже была залита водой, эти люди выскочили из укрытия

и швырнули свои веревки через разделявшую корабли пропасть. Из четырех брошенных крючьев два достигли шканцев француза и впились в дерево. Быстрые, как молния, пираты налегли на один, оставив без внимания другой, чтобы свести корабли вместе. Блад, наблюдавший за происходящим с квартердека, громко крикнул:

— Мушкетеры — на нос!

Стрелки, стоявшие в готовности на шкафуте, повиновались ему с быстротой людей, знающих, что в повиновении — единственная надежда на жизнь. Пятьдесят человек мгновенно бросились вперед и из развалин бака дали залп над головами людей Хейтона, выкашивая французских солдат, которые, не сумев вырвать крючья, глубоко вгрызшиеся в бревна «Победоносного», сами готовились открыть огонь.

Сойдясь правыми бортами, два корабля качнулись и ударились друг о друга с резким глухим стуком.

Блад, к тому времени уже стоявший по пояс в воде, раздавал указания с ураганной быстротой, которой и требовали обстоятельства.

Перерубив снасти, удерживавшие реи, пираты спустили паруса. Абордажному авангарду численностью в сто человек было приказано подняться на корму и ждать команду в самый момент столкновения. Еще полдюжины крючьев вцепились в борт француза и удержали тонущую «Коллин», прочно пришвартовав ее к «Победоносному».

Уиллоуби и ван дер Кэйлен стояли на корме, затаив дыхание, и с изумлением наблюдали за тем, с какой быстротой и точностью Блад и его отчаянная команда делают свое дело.

И вот уже горнист протрубил атаку, и основная масса пиратов последовала за своим вожаком, тогда как авангард во главе с канониром Оглом, отогнанным от орудий водой на главной палубе, с устрашающим воплем прыгнул на нос «Победоносного», до уровня которого опустилась высокая корма тонущей «Коллин». Ведомые теперь самим Бладом, пираты набросились на французов, как гончие на загнанного оленя. За ними последовали другие, и вскоре на корабле не осталось никого, кроме Уиллоуби и голландца, которые наблюдали за боем с кормы покинутой «Коллин».

Целых полчаса на борту француза бушевал бой. Начавшись на носу, он пронесся через бак до шкафута, где и достиг апогея ярости. Французы упорно сопротивлялись, и у них было численное преимущество. Но, несмотря на стойкость и доблесть, их медленно теснили назад и назад по палубам, опасно наклоненным на правый борт из-за притяжения полузатопленной «Коллин».

Пираты сражались с отчаянной яростью людей, которые знают, что отступление невозможно, потому что корабля нет и отступать некуда, и нужно взять верх и одержать победу — или погибнуть. И в конце концов они победили, что стоило жизни половине из них. Загнанные на квартердек, а оттуда наконец на ют, оставшиеся в живых защитники, подгоняемые разъяренным Риваролем, некоторое время оказывали отчаянное сопротивление. Но в итоге сам Ривароль

пал с пулей в голове, и остатки французов, насчитывавшие едва ли два десятка человек, взмолились о пощаде.

Но и это был еще не конец. «Элизабет» и «Медуза», сцепленные абордажными крючьями, представляли собой единое поле боя, и людей Хагторпа дважды загоняли обратно на борт их корабля. Требовались срочные меры. Пока Питт и его матросы занимались парусами, а Огл разбирался на нижней палубе с орудийной командой, Блад приказал вытащить крюки. Лорд Уиллоуби и адмирал уже перешли на борт «Победоносного». Перед тем как отправиться на выручку Хагторпу, Блад со шканцев захваченного судна в последний раз взглянул на корабль, который так долго и верно служил ему и стал почти частью его самого.

Освобожденная от крючьев, «Коллин» качнулась и медленно ушла под воду, оставив ненадолго лишь булькающие водовороты над верхушками мачт. Стоя среди обломков на шкафуте и провожая взглядом свой корабль, Блад не заметил, как сзади к нему подошел кто-то, и очнулся, лишь услышав голос.

— Думаю, капитан Блад, мне придется во второй раз попросить у вас прощения. Никогда прежде я не видел, чтобы невозможное стало возможным благодаря изобретательности и доблести, и чтобы поражение было столь решительно обращено в победу.

Он повернулся и предстал перед лордом Уиллоуби в грозном и страшном обличье: с непокрытой головой, пробитой кирасой и разорванным правым рукавом, тряпкой свисающим с плеча на обнаженную руку. Забрызганного кровью с головы до ног, со спутанными, слипшимися от крови волосами, грязным от гари и дыма лицом, его трудно было узнать. Но из-под ужасной маски смотрели два живых глаза, неестественно ярких, и выскользнувшие из этих глаз две слезы прочертили борозды на грязных щеках.

VI

Когда стали подсчитывать цену победы, выяснилось, что из трехсот двадцати пиратов, покинувших Картахену вместе с капитаном Бладом, в живых осталась лишь сотня. «Элизабет» пострадала так серьезно, что ее дальнейшая судьба представлялась сомнительной, и Хагторп, так храбро командовавший ею, оказался среди погибших. Против этого, с другой стороны, лежал Порт-Ройял, спасенный от бомбардировки и грабежа гораздо меньшими силами и исключительно благодаря мастерству и отчаянной доблести пиратов Блада, которые вдобавок захватили флот Ривароля и огромные сокровища на нем — в пользу короля Вильгельма.

Только вечером следующего дня флот ван дер Кэйлена из девяти кораблей бросил якорь в гавани Порт-Ройяла, и его офицеры, голландцы и англичане, были ознакомлены с истинным мнением своего адмирала об их достоинствах.

Шесть кораблей этого флота были немедленно переоборудованы для выхода в море. Инспекционного визита нового генерал-губернатора ждали другие поселения Вест-Индии, и лорд Уиллоуби спешил отплыть на Антильские острова.

— А между тем, — жаловался он своему адмиралу, — меня задерживает здесь отсутствие этого глупца вице-губернатора.

— И што? — спросил ван дер Кэйлен. — Пошему это долшно вас задершивать?

— Потому что я должен наказать этого пса по заслугам и назначить его преемником человека, понимающего свои обязанности и способного их исполнять.

— Ага! Но оставаться из-за этого необязательно. Вам нужно присмотреть за Барбадосом, который не очень хорошо защищен. А здесь уже есть подходящий человек. Ему не нужны никакие инструкции. Он сам знает, как обезопасить Форт-Ройял, без вас и без меня.

— Вы имеете в виду Блада?

— Ну конешна. Кто ше мошет лутше еко подкодить для эта долшность? Ви ше видели, што он за шеловек.

— Вы тоже так думаете, да? Черт возьми! Я думал об этом. Разрази меня гром, почему бы и нет? Как человек он лучше Моргана, а Морган был в свое время назначен губернатором.

Послали за Бладом. Он снова пришел, подтянутый и жизнерадостный, успев воспользоваться возможностями Порт-Ройяла, чтобы привести себя в порядок. Когда лорд Уиллоуби объявил о своем решении, он был слегка ошарашен. Ни о чем подобном Блад не мог и мечтать, и теперь его одолевали сомнения в собственных способностях взять на себя столь обременительное поручение.

— Черт возьми! — рявкнул Уиллоуби. — Разве я стал бы предлагать вам этот пост, если бы сомневался в ваших способностях? Если это ваше единственное возражение...

— Не единственное, милорд. Я рассчитывал вернуться домой. Я так соскучился по зеленым аллеям Англии, — он вздохнул. — По яблоням в цвету в садах Сомерсета...

— По яблоням в цвету! — голос его светлости взлетел, как ракета, и сорвался. — Что за?.. По яблоням в цвету!.. — он посмотрел на ван дер Кэйлена.

Адмирал поднял брови и поджал губы. Его глаза насмешливо поблескивали на огромном лице.

— Да, да! — сказал он. — Ошень поэтишно!

Милорд сердито повернулся к капитану Бладу.

— Вам еще нужно закрыть кое-какие старые счета, милейший! — предостерегающим тоном напомнил он. — Да, признаю́, вы кое-что сделали для этого и продемонстрировали свои лучшие качества. От имени его величества

короля Англии я предлагаю вам пост губернатора Ямайки — из всех, кого я знаю, вы кажетесь мне наиболее подходящим для этой должности человеком.

Блад низко поклонился.

— Ваша светлость, вы очень добры. Но...

— Никаких «но». Если вы хотите, чтобы ваше прошлое было забыто, а ваше будущее обеспечено, это ваш шанс. И вы не должны относиться к этому легкомысленно из-за яблонь в цвету или любой другой сентиментальной чепухи. Ваш долг — быть здесь, по крайней мере, до тех пор, пока длится война. Когда она закончится, вы, возможно, вернетесь в Сомерсет к сидру или в свою родную Ирландию с ее пивом, но до тех пор вам придется довольствоваться Ямайкой и ромом.

Ван дер Кэйлен разразился смехом, но у Блада шутка не вызвала улыбки. Он оставался серьезным до мрачности, потому что думал о мисс Бишоп. Она была где-то здесь, в этом самом доме, но после его прибытия в Порт-Ройял они еще не виделись. Если бы только она проявила к нему хоть немного сострадания...

Скрипучий голос Уиллоуби снова упрекнул его за нерешительность и указал на невероятную глупость из-за пренебрежения такой прекрасной возможностью. Блад напрягся и поклонился.

— Милорд, вы правы. Я глупец. Но не считайте меня неблагодарным. Если я колеблюсь, то лишь потому, что есть соображения, которыми я не стану докучать вашей светлости.

— Яблони в цвету, полагаю? — фыркнул Уиллоуби.

На этот раз Блад рассмеялся, но затаенная тоска в его глазах так и не рассеялась.

— Я с благодарностью принимаю ваше предложение, милорд, и постараюсь заслужить одобрение его величества. Можете на меня положиться.

— Не будь в вас уверен, я и не предлагал бы вам пост губернатора.

Так все и было улажено. Назначение оформили и скрепили печатью в присутствии Мэлларда, коменданта и других офицеров гарнизона, которые смотрели на все происходящее круглыми от изумления глазами, но держали свои мысли при себе.

— Ну, теперь ми мошем заняться своими делами, — сказал ван дер Кэйлен.

— Завтра утром мы отплываем, — объявил его светлость.

Блад посмотрел на него в изумлении.

— А как же полковник Бишоп?

— Теперь это становится вашим делом. Теперь вы — губернатор и поступите с ним так, как сочтете нужным, когда он вернется. Повесьте его на нок-рее. Он этого заслуживает.

— Задача не слишком приятная, милорд, — заметил Блад.

— Конечно... Да, и вдобавок я оставлю для него письмо. Надеюсь, оно ему понравится.

Капитан Блад приступил к своим обязанностям незамедлительно. После всего произошедшего предстояло сделать еще очень многое, чтобы привести

Порт-Ройял в надлежащее состояние обороноспособности. Он осмотрел разрушенный форт и дал точные указания относительно работ, приступить к которым следовало незамедлительно.

Далее Блад распорядился заняться ремонтом трех французских кораблей, чтобы на них можно было снова выходить в море. Наконец, с разрешения лорда Уиллоуби, он собрал пиратов и отдал им пятую часть захваченных сокровищ, предоставив после этого выбор: либо уйти, либо поступить на службу к королю Вильгельму.

Несколько десятков предпочли остаться, и среди них был Джерри Питт, чей статус, как и статус Блада, изменился с падением короля Якова.

На следующее утро, когда флот ван дер Кэйлена уже готовился к выходу в море, Блад сидел в просторной, побеленной комнате, служившей кабинетом губернатора, майор Мэллард сообщил ему, что в поле зрения появилась эскадра Бишопа.

— Прекрасно, — сказал Блад. — Я рад, что он будет здесь еще до убытия лорда Уиллоуби. Как только полковник сойдет на берег, арестуйте его, майор, и доставьте ко мне сюда... Минутку, — он торопливо написал записку. — Это лорду Уиллоуби на борту флагманского корабля адмирала ван дер Кэйлена.

Майор Мэллард отдал честь и удалился. Питер Блад откинулся на спинку стула и, нахмурившись, уставился в потолок. Время шло своим чередом. В дверь постучали — вошедший, пожилой негр-раб, осведомился, примет ли его превосходительство мисс Бишоп.

Его превосходительство изменился в лице. Он сидел совершенно неподвижно, пристально глядя на негра, чувствуя, как бьется пульс. Затем молча кивнул.

Когда Арабелла вошла, он встал, и если не побледнел, как она, то лишь потому что бледность скрыл загар. На мгновение воцарилась тишина. Затем она сделала несколько шагов вперед и заговорила, запинаясь, нетвердым голосом, удивительным для девушки, обычно такой спокойной и сдержанной.

— Я... я... Майор Мэллард только что сказал мне...

— Майор Мэллард превысил свои полномочия, — перебил ее Блад, и поскольку старался говорить ровным голосом, получилось резко и чересчур громко. Он заметил, как Арабелла вздрогнула и остановилась, и тут же попытался исправиться. — Вы тревожитесь без причины, мисс Бишоп. Что бы ни стояло между мной и вашим дядей, я не последую его примеру и не стану злоупотреблять своим положением ради личной мести. Напротив, я буду злоупотреблять им, чтобы защитить его. Лорд Уиллоуби рекомендовал мне повесить господина Бишопа. Мое собственное намерение состоит в том, чтобы отправить полковника на его плантацию на Барбадосе.

Она медленно продвинулась вперед.

— Я... я рада, что вы поступите именно так. Рада прежде всего за вас, — она протянула ему руку. Блад недоверчиво посмотрел на нее.

— Мне ли, вору и пирату, брать вашу руку, — с горечью сказал он.

— Вы теперь другой, — она попыталась улыбнуться.

— Тем, что теперь другой, я обязан не вам. Больше мне сказать нечего, разве что еще раз заверить, что лорду Джулиану Уэйду также не нужно опасаться меня. Этого достаточно для вашего душевного спокойствия?

— Ради вас самого — да. Но и только. Я бы не хотела, чтобы вы делали что-то подлое или бесчестное.

— Хоть я — вор и пират?

Она сжала пальцы в кулак и в отчаянии всплеснула руками.

— Неужели вы никогда не простите мне эти слова?

— Должен признаться, мне нелегко это сделать. Но какое это имеет значение, когда все сказано?

Пару мгновений она задумчиво смотрела на него своими ясными карими глазами. Потом снова протянула руку.

— Я уезжаю, капитан Блад. Поскольку вы так щедры к моему дяде, я вернусь на Барбадос вместе с ним. Мы не встретимся снова — возможно, никогда. Вы не хотите попрощаться?

Казалось, он пришел в себя, стряхнул с себя мантию нарочитой резкости и взял ее руку.

— Вы возвращаетесь на Барбадос? Лорд Джулиан отправится с вами?

— Почему вы спрашиваете об этом? — она посмотрела ему в глаза.

— Вы уверены, что он полностью передал вам мое сообщение? Или он что-то напутал?

— Нет, он ничего не напутал и передал мне всё, как вы сказали. Ваши слова меня глубоко тронули. Они заставили меня понять и мою ошибку и то, что я поступила с вами несправедливо. Я в долгу перед вами и должна извиниться. Я судила вас слишком строго, слишком предвзято и самонадеянно.

Он все еще держал ее за руку.

— А лорд Джулиан, значит? — спросил он, всматриваясь в нее глазами, горящими, как сапфиры, на медном лице.

— Лорд Джулиан, скорее всего, отправится домой в Англию.

— Но разве он не просил вас поехать с ним?

— Да, просил. Я прощаю вам эту дерзость.

В нем вдруг ожила безумная надежда:

— А вы? О, слава Богу! Вы хотите сказать... Вы отказали ему?.. Отказали, чтобы... стать моей женой, когда...

— О! Вы невыносимы! — Арабелла вырвала свою руку из его руки и попятилась. — Мне не следовало приходить. Прощайте.

Она быстро направилась к двери. Он бросился за ней и схватил за руку. Она вспыхнула, ее глаза пронзили его острым, как кинжал, взглядом.

— Что за пиратские манеры! Отпустите меня!

— Арабелла! — воскликнул он с мольбой в голосе. — Вы серьезно? Должен ли я отпустить вас? Отпустить и больше никогда вас не видеть? Или вы останетесь и облегчите мое изгнание, после чего мы сможем вернуться домой вместе? О, вы плачете! Что я такого сказал, что вы расплакались, моя дорогая?

Майор Мэллард выступил вперед.
— Полковник Бишоп, у меня приказ арестовать вас...

— Я... я думала, вы никогда этого не скажете, — ответила она сквозь слезы.

— Ну, видите ли, лорд Джулиан, такой видный джентльмен...

— Никогда, никогда не было никого, кроме тебя, Питер...

Конечно, им было что сказать друг другу после этого, и они сели и говорили, а время шло, и губернатор Блад напрочь забыл о своих обязанностях.

Тем временем флот Бишопа встал на якорь, и полковник с лордом Джулианом высадились на моле.

Там их встречал караул, перед которым стояли майор Мэллард и еще двое незнакомых заместителю губернатора господ: один худощавый и элегантный, другой крупный и мускулистый.

Майор Мэллард выступил вперед.

— Полковник Бишоп, у меня приказ арестовать вас. Вашу шпагу, сэр!

Бишоп уставился на него, покраснев и выпучив глаза.

— Что за?.. Арестовать меня? По чьему приказу, скажите на милость?

— По приказу губернатора Ямайки, — сказал элегантный, маленького роста человек за спиной майора Мэллард. Бишоп повернулся к нему.

— Губернатора? Вы сошли с ума! — он переводил взгляд с одного на другого. — Я исполняющий обязанности губернатора.

— Были им, — сухо ответил невысокий джентльмен. — Но вы отстранены от должности за то, что покинули пост без должной причины во время войны и тем самым поставили под угрозу поселение, за которое отвечали! Это серьезное дело, полковник Бишоп, как вы вскоре сможете убедиться. Ваша судьба полностью зависит от вашего преемника, независимо от того, идет ли речь о повешении...

Бишоп издал горловой звук, выругался, а затем, охваченный внезапным страхом, спросил:

— А кто вы, черт возьми, такой?

— Я — лорд Уиллоуби, генерал-губернатор колоний его величества в Вест-Индии. Вам сообщали о моем приезде.

Остатки гнева слетели с Бишопа, как осенние листья. От страха его прошиб пот. Красивое лицо стоявшего за его спиной лорда Джулиана внезапно побледнело и осунулось.

— Но, милорд, — начал полковник, — это потому, что...

— Я не стану выслушивать ваши доводы, — резко прервал Бишопа его светлость. — Я намерен отплыть, и у меня нет времени. Губернатор выслушает вас и, без сомнения, поступит с вами справедливо. — Он махнул майору Мэлларду, и Бишоп, смятый и сломленный, позволил увести себя.

Лорд Джулиан пошел с ним, поскольку его никто не удерживал, и именно ему Бишоп высказал свою обиду, когда оправился.

— Еще один пункт в счет этого негодяя Блада, — процедил он сквозь зубы. — Боже мой, какая будет расплата, когда мы встретимся!

Майор Мэллард отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

В холле губернаторского дома, дома, который так долго был его собственной резиденцией, полковника Бишопа задержала охрана, а майор Мэллард прошел в кабинет — доложить о приходе полковника. Мисс Бишоп все еще была с Питером Бладом. Появление майора Мэлларда вернуло их к реальности.

— Ты будешь милосерден к нему? Ты пощадишь его, Питер? Ради меня! — взмолилась Арабелла.

— Разумеется, я буду милосерден, но, боюсь, обстоятельства мне этого не позволят.

Она скрылась, и майор Мэллард позвал полковника.

— Его превосходительство губернатор готов принять вас, сэр, — сказал он и широко распахнул дверь.

Полковник Бишоп, пошатываясь, вошел и замер в ожидании. За столом, опустив голову с тщательно завитыми черными волосами, сидел незнакомый мужчина. Затем незнакомец поднял глаза и... Полковник Бишоп издал нечленораздельный горловой звук и, остолбенев от изумления, вытаращился на его превосходительство губернатора Ямайки, узнав в нем человека, за которым он охотился на Тортуге, что и привело его к сегодняшнему падению.

Ситуацию лучше всего выразил ван дер Кэйлен, когда вместе с лордом Уиллоуби ступил на борт адмиральского флагмана.

— Ошень поэтишно! — сказал он, и в его голубых глазах заплясали огоньки. — Капитан Блад любить поэзию — ви ше помнить яблок в цвету? Да? Ха-ха!

Содержание

Хроники Заксенбергского королевства

История любви шута 7
Проклятие 23
Разбойник Фалькенштайга 35
Затея д'Обвиля 51
Заложник 69
Женитьба Линденштайна 83
Разбойник и леди 95
Зависть Дельвенталя 107
Исчезновение Фельсхайма 121

Лал Февершем, любимец Фортуны

Шулерские кости 137
О том, что случилось в Бейлиночи 151
После битвы при Вустере 167
Дочь канцлера 183
Карлуша и Каролина 199
В одиннадцатом часу 215

12 историй о Великой французской революции

Трус 233
Под красной печатью 243
Призрак гражданина Дюваллона 257
Мадемуазель де Кастельрок 269
Пекарь из Русильона 280
Камизада 292
Пистолет 334
Жертва 349
Пропуск 359
Дюрок 375
Женитьба Корбиньи 385
В тени гильотины 423

«Береговое братство»

Предисловие 472
Осужденные мятежники 473
Дон Диего Вальдес 493
Трофей 511
Маракайбо 531
Цена предательства 547
Санта-Мария 563
Миссия лорда Джулиана 581
Заложник 601
Дилемма капитана Блада 617

Рафаэль Сабатини

ДИЛЕММА КАПИТАНА БЛАДА И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Том 219

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую,
художественную и культурную ценность для общества

Верстка, обработка иллюстраций *Андрей Кутковой*
Корректура: *Надежда Павленко, Светлана Булгакова*

Дизайн обложки, подготовка к печати
А. Яскевича

Гарнитура Гарамонд Премьер Про
12 кегль

Сдано в печать 22.11.2023
Объем 41,5 печ. лист
Тираж 3100 экз.
Заказ № 26782

Бумага
Сыктывкарская книжная кремовая офсетная 60 г/м^2

ООО «СЗКЭО»
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.сзкэо.рф

Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»,
196643, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Сапёрный,
ш. Петрозаводское, д. 61, строение 6,
тел. (812) 462-83-83, e-mail: office@ldprint.ru.

Написанная в конце XVIII века драма Шиллера «Разбойники» породила целый пласт литературы о нарушающих закон благородных героях. В XIX веке Вальтер Скотт написал «разбойничий» роман «Роб Рой». Александр Дюма и Говард Пайл описывали приключения Робин Гуда, а Александр Пушкин познакомил своих читателей с «Дубровским». В начале XX века европейцы зачитывались похождениями вымышленного Морисом Лебланом неуловимого грабителя Арсена Люпена. Роман Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада», опубликованный в 1922 году, прекрасно вписался в ряд этих произведений. Созданный Сабатини образ пирата Питера Блада был наделен всеми качествами супергероя. Он высок, худощав, силен и ловок, обладает живым умом, изобретательностью и богатым воображением. Блад никогда не теряет самообладание и соблюдает своеобразный кодекс чести. Разбоем пират занимается не ради наживы: по жизни его ведет неутолимая жажда приключений. Неудивительно, что именно роман о перипетиях на пути такого персонажа принес Рафаэлю Сабатини европейскую славу.

За перо Сабатини взялся рано, в двадцать лет, и хотя рассказы молодого литератора охотно печатали английские журналы, занятие литературой еще около десяти лет оставалось для Рафаэля скорее развлечением, чем главным делом жизни. Родители будущего писателя, профессиональные оперные певцы, подталкивали юношу заняться коммерцией, справедливо полагая, что знание языков поможет ему в этом деле. Рафаэль свободно владел пятью языками: итальянский был для него родным, а английский он выучил, общаясь со своей бабушкой по материнской линии. Она жила под Ливерпулем и несколько лет опекала малолетнего внука, пока его родители давали концерты в Европе. Когда Рафаэль посещал католическую школу в Порту, где его отец и мать открыли школу пения, он обучился также португальскому. Позднее он освоил французский и немецкий — семья подолгу жила за границей. И все же, когда в 1904 году вышла первая книга Рафаэля, он решил полностью посвятить себя литературе. С этого времени Сабатини исправно выпускал по роману или повести каждый год. Однако успех пришел к нему не сразу: захватывающие истории о капитане Бладе снискали славу, когда писателю было уже почти пятьдесят лет.

Капитан Блад впервые появился в рассказах, объединенных общим названием «Береговое братство». Этот цикл начал печататься в журнале «Премьер» в декабре 1921 года. Сабатини писал новые тексты о Бладе, переделывал старые и в итоге объединил все эти произведения. Позже вышли еще два его романа о полюбившемся читателям герое: «Хроника капитана Блада» и «Удачи капитана Блада». Все девять историй, наряду с другими сочинениями писателя, представлены в этой книге.